БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ТОМ
18

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

Этюды о нравах

Сцены сельской жизни

КРЕСТЬЯНЕ

Господину П.-С.-Б. Гаво.

Жан-Жак Руссо поставил в заголовке «Новой Элоизы» следующие слова: «Я наблюдал нравы моего времени и напечатал эти письма». Нельзя ли мне, в подражание великому писателю, сказать: «Я изучаю ход моей эпохи и печатаю настоящий труд»?

Задача этого исследования, страшная правда которого останется в силе до тех пор, пока общество будет возводить филантропию в принцип, вместо того, чтобы считать ее преходящим явлением,— задача этого исследования — дать читателю выпуклые изображения главных персонажей крестьянского сословия, забытого столькими писателями в погоне за новыми сюжетами. В эпоху, когда народ получил в наследство от королевской власти всех ее придворных льстецов, такое забвение — может быть, просто осторожность. Мы поэтизировали преступников, мы умилялись палачами, и мы почти обоготворили пролетария! Многие секты пришли в великое волнение и кричат устами всей своей пишущей братии: «Вставай, рабочий народ!», как в свое время было сказано «Вставай!» третьему сословию. Ясно каждому, что ни один из этих Герострато в не имел мужества отправиться в деревенскую глушь, дабы изучить на месте непрерывные ковни, которые строят те, кого мы до сих пор называем слабыми, против тех, кто почитает себя сильным,— крестьянин против богача... Мы хотим открыть глаза не сегодняшнему законодателю, нет, а тому, который завтра придет ему на смену. Не пора ли теперь, когда столько ослепленных писателей охвачено общим демократическим головокружением, изобразить наконец того крестьянина, который сделал невозможным применение законов, превратив собственность

в нечто не то существующее, не то не существующее? Вы увидите, как эта неутомимая землеройка, как этот грызун дробит и кромсает землю, делит ее на части и разрезает арпан на сотню лоскутков, неизменно привлекаемый к этому пиршеству мелкой буржуазией, делающей из него одновременно и своего помощника и свою добычу. Этот противообщественный элемент, созданный революцией, когда-нибудь поглотит буржуазию, как буржуазия в свое время пожрала дворянство. Пренебрегая в собственном своем ничтожестве законом, этот Робеспьер об одной голове и о двадцати миллионах рук непрерывно ведет свою работу, притаившись во всех сельских общинах, вершит дела в муниципальных советах, опираясь во всех кантонах Франции на оружие национального гвардейца, врученное ему 1830 годом, позабывшим, что Наполеон предпочел довериться своему несчастному року, чем вооружить народные массы.

Если я в течение восьми лет сто раз бросал эту книгу, самую значительную из всех задуманных мною, и сто раз снова принимался за нее, то ведь все мои друзья, и вы в том числе, конечно, поняли, что моя решимость могла поколебаться перед столькими трудностями и перед таким количеством мелочей, вплетенных в эту сугубо жестокую и кровавую драму. Но к числу причин, внушивших мне сегодня такую смелость, прибавьте и мое желание закончить этот труд, назначение которого — доказать вам мою горячую и неизменную признательность за преданную любовь, бывшую для меня великим утешением в несчастье.

Де Бальзак.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

КТО С ЗЕМЛЕЙ, ТОТ С ВОЙНОЙ

I

ЗАМОК

Господину Натану.
Эги, 6 августа 1823 г.

«Дорогой Натан, тебя, чьи фантазии услаждают читающую публику очаровательными грезами, я намерен унести в царство грез описанием самой настоящей действительности. А потом скажи мне, будет ли когда-нибудь в состоянии наш век завещать подобные сны Натанам и Блонде 1923 года! Прикинь мысленно расстояние, отделяющее нас от тех времен, когда Флорины XVIII века находили при своем пробуждении купчую на замки, подобные Эгам.

Любезный друг, если письмо мое будет тебе доставлено утром, сможешь ли ты из своей постели разглядеть примерно в пятидесяти лье от Парижа, там, где начинается Бургундия, на почтовом тракте, два небольших флигеля из красного кирпича, соединенных или, если угодно, разделенных выкрашенным в зеленый цвет шлагбаумом?.. Именно сюда доставила почтовая карета твоего друга.

В обе стороны от этих флигелей бежит, извиваясь, живая изгородь, откуда, как непокорные локоны из прически, выбивается ежевика. То там, то здесь задорно торчат древесные побеги. Откосы рва поросли

яркими цветами, корни которых купаются в стоячей, подернутой зеленью воде. Справа и слева изгородь подходит к двум лесным опушкам, обрамляя парные лужайки, явно отвоеванные у леса.

От этих уединенных и покрытых пылью флигелей идет великолепная дорога, обсаженная вековыми вязами, развесистые кроны которых, склоняясь друг к другу, образуют длинный величественный свод. Аллея поросла травой; чуть приметен на ней двойной след, проложенный колесами экипажа. Древний возраст вязов, ширина двух боковых аллей для пешеходов, почтенный вид флигелей, потемневшие от времени каменные пилястры — все говорит нам о въезде чуть ли не в королевский замок.

Еще не доезжая до шлагбаума, с вершины холма, не без тщеславия величаемого у нас, французов, горой и возвышающегося над деревней Куш (последний перегон), я увидел продолговатую долину Эгов, в конце которой большая дорога сворачивает к супрефектуре Виль-о-Фэ, где царит племянник нашего приятеля де Люпо. Над этой плодородной долиной, окаймленной вдалеке горами миниатюрной Швейцарии, носящей название Морван, высятся громадные леса, которыми поросла широкая холмистая гряда, омываемая рекой. Эти густые леса принадлежат владельцам Эгов, маркизу де Ронкероль и графу де Суланж, чьи замки, парки и деревни — если смотреть на них издали и с высоты — напоминают фантастические пейзажи «бархатного» Брегеля.

Ежели эти подробности не вызовут в твоей памяти всех воздушных замков, которыми ты хотел бы владеть на французской земле, то ты недостоин внимать рассказу остолбеневшего от изумления парижанина. Наконец-то я наслаждаюсь такой деревней, где искусство, присоединившись к природе, не испортило ее, где творение художника естественно, творение природы художественно. Я нашел тот оазис, о котором мы с тобой столько раз мечтали под впечатлением прочитанных романов; природа здесь роскошная, местность изрезана оврагами, во всем есть что-то дикое, неприлизанное, таинственное и необычное. Перелезай через шлагбаум, и отправимся дальше.

Когда я попытался окинуть любознательным взглядом всю аллею, куда солнце проникает лишь при восходе и на закате, пронизывая ее своими косыми лучами, мне загородил вид небольшой бугор; обогнув его, увидел я, что длинная аллея проходит через рощицу, и вот мы с тобой уже на перекрестке, в центре которого возвышается каменный обелиск словно для того, чтобы вечно восхищать наш взор. Между камнями монумента, увенчанного шаром с шипами (что за причуда!), растут цветы, красные или желтые,— в зависимости от времени года. Несомненно, Эги были построены женщиной или для женщины: мужчине не придут в голову такие кокетливые причуды, и архитектор, надо думать, получил соответствующие указания.

Пройдя лесок, выдвинутый сюда словно сторожевой пост, я достиг прелестной лощины с бурлящим по ее дну ручьем, через который я перешел по горбатому мостику из замшелых камней бесподобной окраски, словно время задалось целью создать очаровательную мозаику. Аллея тянется вверх по течению ручья, отлого поднимаясь вдоль берега. Вдали открывается первая панорама: мельница с запрудой, насыпная дорога, обсаженная деревьями, утки, развешанное белье, дом с соломенной кровлей, сети и рыбный садок, и тут же, конечно, мальчишка — помощник мельника, пристально уставившийся на мою особу. В деревне, где бы вы ни находились, даже когда вы уверены в полном одиночестве, за вами всегда наблюдает из-под холщового колпака пара любопытных глаз: работник бросает мотыгу, виноградарь выпрямляет согнутую спину, девочка, пасущая коз, овец или коров, взбирается на иву и подсматривает за вами.

Широкая дорога вскоре превращается в обсаженную акациями аллею, которая ведет к кованым воротам, поставленным еще в ту эпоху, когда произведения кузнечного искусства отличались воздушной филигранностью и своими узорами сильно напоминали завитушки из прописи учителя каллиграфии. По обе стороны ворот тянется ров с двойным валом, усаженным воистину грозными копьями и дротиками — словно перед тобой какой-то железный еж. Кроме того, к воротам примыкают две сторожки, очень похожие на такие же домики в Версале и так же увенчанные вазами огромных размеров. Позо-

лота на арабесках порыжела от времени, ржавчина наложила на нее свои тона, что, на мой взгляд, только придает прелести этим «въездным» воротам, которыми Эги обязаны щедрости дофина. Вслед за рвами идет ограда, неоштукатуренные стены которой сложены из красноватой глины и камней самой причудливой формы и самой разнообразной окраски: тут и ярко-желтый кремень, и белый известняк, и красно-бурый песчаник. Вначале парк, полвека не оглашавшийся стуком топора, кажется мрачным, ограда скрыта вьющейся зеленью и ветвями деревьев. Можно подумать, что этот лес каким-то чудом, свойственным только лесам, вновь обрел свою девственность. Стволы увиты ползучими растениями, перекинувшимися с дерева на дерево. Блестящая листва омелы свешивается со всех развилин сучьев, где задержалась хоть капля влаги. Я снова увидел здесь сплетенные в причудливые узоры гигантские гирлянды плюща, встречающиеся не ближе пятидесяти лье от Парижа — там, где земля стоит очень дешево и ее не жалеют. Для такого пейзажа нужен простор. Итак, здесь ничто не приглажено, здесь не видно следа садовых грабель, рытвины полны водой, и лягушки мирно выводят в них своих головастиков; нежные лесные цветочки растут на лужайках, а вереск здесь не менее красив, чем тот, которым я любовался у тебя на камине, в нарядной жардиньерке, принесенной Флориной. Тайна леса пьянит, вызывает смутные желания. Лесные ароматы, столь любезные лакомым до поэтических настроений душам, которым милы и безвредный мох, и ядовитые тайнобрачные, и влажная низинка, и плакучая ива, и цветочек мяты, и богородицына травка, и затянутая ряской лужа, и округлые звезды кувшинок,— все эти мощные лесные ароматы вливали в меня свою благодать, свою мысль, свою душу. И я представил себе розовое платье, мелькающее среди деревьев извилистой аллеи.

Аллею неожиданно преграждает последняя рощица, объединившая в одну разумную, стройную, изящную семью дрожащие березки и тополя и все прочие трепещущие деревья, деревья свободной любви! Отсюда, дорогой мой друг, я увидел пруд, покрытый лилиями и прочими водяными растениями с широкими распластан-

ными листьями или узенькими тонкими листочками, а на пруду — заброшенный челнок, выкрашенный в черный и белый цвет, челнок, кокетливый, как лодки на Сене, и легкий, как ореховая скорлупка. За прудом возвышается замок, датированный 1560 годом, построенный из кирпича приятного красного цвета с каменной связью и обрамлениями по углам и на окнах, еще сохранивших свой частый переплет (о, Версаль!). Каменные части вытесаны алмазной гранью, как у дворца дожей в Венеции, по его фасаду, выходящему к мосту Вздохов. В замке строго выдержан в едином стиле только центральный корпус с величественным каменным крыльцом, куда с двух сторон ведет изогнутая лестница с выточенными балясинами на перилах, тонкими у основания и бочкообразными посередине. К главному корпусу примыкают башенки с островерхой свинцовой кровлей, украшенной травяным орнаментом, и два флигеля в современном вкусе с галереями и вазами в более или менее греческом стиле. Тут, любезный друг, симметрии не ищи! Над этими как бы случайно собранными здесь постройками нависла зеленая сень, отчего пышней разрастается мох на кровле, а побуревшие семена, осыпаясь с деревьев на крышу, порождают жизнь в глубоких живописных трещинах. Тут и итальянская пиния с красной корой, шатром раскинувшая свои ветви, тут и двухсотлетний кедр, и плакучие ивы, и северная ель, и значительно переросший ее бук. Перед главной башенкой совсем неожиданные деревья: подстриженный тисс, вызывающий в памяти запущенный французский парк, магнолии, окруженные кустами гортензий,— словом, Пантеон, где покоятся герои садоводства, когда-то бывшие в моде, а теперь забытые, как и все герои.

Увидев на крыше трубу с оригинальным орнаментом, из которой шли густые клубы дыма, я убедился, что вся эта прелестная картина — не оперная декорация. Раз есть кухня, значит, есть и живые люди. Представляешь ли ты меня, твоего друга Блонде, которому достаточно попасть в Сен-Клу, чтобы вообразить себя за полярным кругом,— представляешь ли ты меня среди этого знойного бургундского пейзажа? Солнце немилосердно печет, зимородок сидит у берега пруда, кузнечики стрекочут, сверчок свиристит, стручки каких-то бобовых расте-

ний лопаются с сухим треском, маки изливают густыми слезами свое снотворное зелье, и все так отчетливо вырисовывается на фоне ярко-голубого неба. Над красноватой землей площадки трепещет веселое марево той натуральной жженки, которая пьянит и насекомых и цветы, обжигает нам глаза и покрывает загаром лица. Виноград наливается, листва его, подернутая паутиной белых нитей, посрамит тонкостью своего узора любую кружевную фабрику. А вдоль всего здания пестреют ярко-голубые цветы кавалерских шпор, огненная настурция и душистый горошек. Воздух напоен благоуханием тубероз и цветущих апельсиновых деревьев. Подготовленный поэтическими душистыми испарениями леса, я наслаждался теперь пряными курениями этого ботанического сераля. В заключение представь себе на верхней ступени крыльца женщину в белом платье, подобную царице цветов,— без шляпы, под зонтиком, подбитым белым шелком, женщину, более белоснежную, чем этот шелк, более белоснежную, чем лилии, что цветут у ее ног, более белоснежную, чем звездочки жасмина, дерзко пробравшегося меж балясин,— француженку, родившуюся в России; она встретила меня словами: «Я потеряла всякую надежду вас увидеть!» Она заметила меня еще на повороте дороги. С каким совершенством всякая женщина, даже самая бесхитростная, разыгрывает свою роль! По шуму, доносившемуся из столовой, где прислуга накрывала на стол, ясно было, что завтрак отложили до прибытия почтовой кареты. Хозяйка не решилась выйти мне навстречу.

Не в этом ли воплощение нашей мечты, мечты тех, кто боготворит красоту во всех ее видах: и ангельскую красоту, которую Луини вложил в свое «Благовещение» — замечательную Саронскую фреску, и красоту, которую Рубенс нашел для схватки, изображенной на картине «Битва при Термондоне», и красоту, над которой трудились пять веков в севильском и миланском соборах, и сарацинскую красоту в Гренаде, и красоту парков Людовика XIV в Версале, и красоту Альп, и красоту плодоносной Оверни.

К этому поместью, где не чувствуется ни чрезмерной царственности, ни чрезмерного богатства, хотя и принц королевской крови, и генеральный откупщик имели тут

свое местопребывание (а это и определяет основной его характер), принадлежат две тысячи гектаров леса, парк в девятьсот арпанов, мельница, три хутора, громадная ферма в Куше и виноградники,— все, вместе взятое, должно давать семьдесят две тысячи франков ежегодного дохода. Таковы, мой дорогой, Эги, где меня ожидали в течение двух лет и где я в данный момент нахожусь в «персидской» комнате, предназначенной для близких друзей.

Из верхней части парка, расположенной ближе к Кушу, течет не менее дюжины чистых, прозрачных родников, берущих свое начало в Морване и впадающих в пруд, предварительно разукрасив серебристыми струящимися лентами и лощинки в парке и великолепные цветники. Своим названием Эги[1] обязаны этим очаровательным водным потокам. В нем только отброшено слово «ключевые», так как в старых документах поместье именуется «Ключевые воды» в отличие от «Стоячих вод». Из пруда лишняя вода по широкому прямому каналу, окаймленному плакучими ивами, попадает в речушку, текущую вдоль главной аллеи. Канал восхитителен в своем зеленом убранстве. Когда плывешь по нему в лодке, кажется, будто ты под сводом грандиозного храма, а главный корпус замка, виднеющийся в конце свода,— амвон. При заходе солнца, когда на замок падают оранжевые пересеченные тенями лучи и горят в оконных стеклах, представляется, будто перед тобой пылающие яркими красками витражи. На другом конце канала виднеется село Бланжи, насчитывающее около шестидесяти дворов. Тут же и сельская церковь — давно не ремонтировавшийся домик с деревянной колокольней и полуобвалившейся черепичной кровлей. Среди прочих построек выделяется одна городского типа и дом священника. Приход в общем не маленький: к нему принадлежит еще двести разбросанных поблизости дворов, для которых Бланжи — административный центр. Вокруг селения разбиты небольшие огороды; проезжие дороги отмечены рядами плодовых деревьев. Как всегда в небольших крестьянских огородах, есть все, что угодно: и цветы, и лук, и капуста, и шпалерный виноград, и смо-

[1] То есть воды.

родина, и много навоза. Селение кажется таким патриархальным, таким мирным уголком, и в нем есть та нарядная простота, которой так добиваются живописцы. А вдали виднеется Суланж, городок на берегу большого пруда, вроде тех, что стоят на Тунском озере.

Когда прогуливаешься по парку, в котором имеется четверо прекрасных по стилю ворот, мифологическая Аркадия кажется плоской, как наша Босская равнина. Истинная Аркадия — в Бургундии, а не в Греции, истинная Аркадия — в Эгах, и нигде больше. Речка, питающаяся ручьями, течет, змеясь, по нижнему парку и придает ему какую-то успокоительную свежесть, какую-то своеобразную уединенность, тем более напоминающую тихую монастырскую обитель, что на одном из искусственно созданных островков в самом деле стоит полуразрушенный домик монастырского вида, по изяществу своей внутренней отделки вполне достойный того сластолюбивого денежного магната, по приказу которого он был возведен. Эги, любезный друг, когда-то принадлежали тому самому откупщику Буре, который истратил два миллиона на то, чтобы один-единственный раз принять у себя Людовика XV. Сколько кипучих страстей, тонкости ума, сколько счастливых стечений обстоятельств потребовалось, чтобы создать этот прекрасный уголок! Одна из возлюбленных Генриха IV перенесла замок на то место, где он стоит сейчас, и присоединила к нему лес. Фаворитка дофина, мадемуазель Шоэн, получившая Эги в подарок, обогатила их несколькими фермами. Буре ради некоей оперной дивы обставил замок с изысканностью, не уступающей парижским дворцам. Тому же Буре Эги обязаны реставрацией нижнего этажа в стиле Людовика XV.

Я был совершенно изумлен при виде столовой. Прежде всего привлекает взоры потолок, расписанный в итальянском вкусе и украшенный необыкновенно затейливыми арабесками. Лепные женские фигуры, как бы вырастающие из листвы и расположенные на некотором расстоянии друг от друга, поддерживают корзины с фруктами, откуда расходится по потолку богатый лиственный орнамент. В простенках между гипсовыми женщинами — прекрасные картины кисти неизвестных мне живописцев изображают все, чем славится

изысканный стол: лососей, кабаньи головы, устриц — целый мир съедобного, представителям которого художники придали какое-то фантастическое сходство с мужчинами, женщинами и детьми, не уступая по причудливости воображения художникам Китая — страны, где, на мой взгляд, лучше всего понимают декоративное искусство. Под ногой у хозяйки дома находится пружина от звонка для вызова прислуги, которая является лишь тогда, когда она нужна, не прерывает разговора, не нарушает настроения. Над дверьми изображены сцены эротического содержания. Оконные амбразуры мраморные, мозаичной работы. Столовая отапливается снизу. Из каждого окна прелестный вид.

С одной стороны столовой находится ванная, а с другой — будуар, смежный с гостиной. Стены ванной комнаты выложены севрскими плитками с гризайлью, пол мозаичный, а ванна мраморная. В алькове, замаскированном картиной, написанной на меди и поднимающейся при помощи противовеса, стоит кушетка золоченого дерева в чистейшем стиле Помпадур. Потолок выложен лапис-лазурью и усеян золотыми звездами. Роспись гризайлью сделана по рисункам Буше. Итак, здесь объединены омовение, яства и любовь.

За гостиной, представляющей стиль Людовика XIV во всем его великолепии, идет роскошная бильярдная, равной которой, по-моему, нет и в Париже. В нижний этаж входишь через полукруглую переднюю, в глубине которой расположена изящная лестница с верхним светом,— она соединяет покои, выстроенные в различные эпохи. А в 1793 году, мой дорогой, генеральным откупщикам рубили головы! Боже мой, как люди не поймут, что чудеса искусства невозможны в стране, где нет больших состояний и обеспеченной жизни на широкую ногу. Если «левая» непременно желает казнить королей, пусть она оставит нам хоть несколько самых что ни на есть малюсеньких принцев.

В настоящее время вся эта уйма богатств принадлежит хорошенькой женщине с тонким художественным вкусом, которая, не довольствуясь тем, что великолепно реставрировала здешние сокровища, продолжает любовно их оберегать. Так называемые философы, которые заняты только собой, делая вид, будто заняты судь-

бами человечества, называют все эти прекрасные вещи сумасбродством. Они обмирают перед фабриками миткаля и разными скучными изобретениями современной промышленной техники, а ведь мы сейчас не стали ни более великими, ни более счастливыми, чем во времена Генриха IV, Людовика XIV и Людовика XV, которые наложили отпечаток своего царствования на Эги. Какие дворцы, какие королевские замки, какие жилые дома, какие произведения искусства, какие шитые золотом ткани оставим после себя мы? Роброны наших бабушек теперь в большой цене: их скупают на обивку кресел. Мы скаредные эгоисты, мы пользуемся процентами с чужого капитала, мы сносим все и сажаем капусту там, где возвышались чудесные произведения зодчества. Совсем еще недавно соха прошлась по Персану, великолепному поместью, в свое время опустошившему кошелек канцлера Мопу; пал под ударами молотка замок Монморанси, стоивший безумных денег одному из тех итальянцев, что толпились вокруг Наполеона; разрушен Валь, создание Реньо де Сен-Жан д'Анжели; разрушен Кассан, построенный одной из любовниц принца Конти; в итоге четыре королевских дворца исчезли с лица земли в одной только долине Уазы. Мы готовим Парижу окрестности Рима к тому дню, когда налетевший с севера ураган разрушит наши гипсовые замки и все наше картонное великолепие.

Видишь, любезный друг, до чего может довести человека привычка к газетной болтовне,— вот я уже настрочил нечто вроде передовой статьи! Неужели у нашего ума, как у проселочных дорог, есть своя проторенная колея? Умолкаю, ибо явно обворовываю и свою владычицу и самого себя, а на тебя боюсь нагнать зевоту. Продолжение завтра.

Второй раз звонит колокол, оповещая об изобильном завтраке, какими уже давно не кормят в парижских домах, не считая, разумеется, исключительных случаев.

Вот история моей Аркадии. В 1815 году умерла в Эгах одна из знаменитых куртизанок последнего века, певица, забытая и гильотиной, и аристократией, и литературным, и финансовым миром, хотя она была близка и к финансовому, и к литературному, и к аристократическому миру и чуть было не познакомилась с гильо-

тиной; о ней забыли, как о многих былых прелестницах, уехавших в деревню искупать грехи своей молодости и заменивших утраченную любовь обожателей новой любовью: мужчину — природой. Эти женщины живут цветами, ароматами лесов, небом, солнечными эффектами — всем, что поет, трепещет, сверкает и растет: птичками, ящерицами, цветочками и травками; сами того не сознавая, не отдавая себе в том отчета, они все еще живут любовью столь пламенной, что ради этой сельской услады забывают герцогов, маршалов, соперниц, откупщиков налогов, свои былые безумства и необузданную роскошь, свои поддельные и настоящие бриллианты, свои туфельки на высоких каблуках и румяна.

Я собрал, дорогой друг, ряд драгоценных сведений о старческих годах мадемуазель Лагер, ибо время от времени меня начинает занимать старость девиц, подобных Флорине, Мариетте, Сюзанне дю Валь-Нобль и Туллии, совершенно так же как ребенка занимает, куда же в конце концов девалась старая луна.

В 1790 году мадемуазель Лагер, напуганная ходом политических событий, удалилась в Эги, купленные для нее откупщиком Буре, который провел в замке несколько летних сезонов; судьба Дюбарри так ее потрясла, что она закопала в землю свои бриллианты. Ей минуло тогда всего пятьдесят три года, и, по словам ее горничной (вышедшей впоследствии замуж за жандарма и с тех пор величаемой не иначе как «мадам Судри» или «супруга мэра»), «барыня была в ту пору еще красивей, чем раньше». Очевидно, любезный друг, такие создания—баловни природы, которая, должно быть, имеет на то свои основания: от излишеств они не только не болеют, а, наоборот, хорошеют, приобретают приятную полноту и моложавость. Правда, у них субтильная фигурка, зато крепкие нервы, которые поддерживают их чудесное тело; они сохраняют вечную красоту при той жизни, от которой наверняка подурнеет добродетельная женщина. Что ни говори, провидение не отличается высокой нравственностью.

Мадемуазель Лагер жила здесь, как самая безупречная женщина, может быть, лучше сказать, как святая,— памятуя о ее нашумевшем приключении. Однажды, пережив разочарование в любви, она, как была в те-

атральном костюме, убежала из Большой оперы куда-то за город, уселась у дороги в поле и проплакала там всю ночь. (А ведь чего только не наклеветали на любовь во времена Людовика XVI) Для нее было так необычно встречать восход солнца, что она приветствовала дневное светило одной из своих лучших арий. Ее поза, а также блестящий наряд привлекли внимание крестьян: изумленные ее жестами, голосом и красотой, они решили, что перед ними ангел, и преклонили колени. Не будь Вольтера, под Баньоле совершилось бы еще одно чудо. Не знаю, зачтет ли господь бог девице Лагер ее запоздалую добродетель, поскольку женщины, столь пресыщенные любовью, как, надо полагать, была пресыщена ею оперная дива, обычно питают отвращение к любви. Мадемуазель Лагер родилась в 1740 году, лучшая ее пора относится к 1760 году, когда некоего господина де... (не припомню фамилии), намекая на его связь с этой покорительницей сердец, называли «любителем лагерной жизни». Она распрощалась с фамилией Лагер, которая так и осталась неизвестной в этом краю, стала именовать себя госпожой дез Эг и замкнулась в своем поместье, любовно поддерживая его в самом художественном вкусе. Когда Бонапарт сделался первым консулом, она округлила свои владения, присоединив к ним церковные земли, на покупку которых пошли деньги, вырученные от продажи бриллиантов. Как и всякой оперной диве, ей было несвойственно распоряжаться имением, и потому она передала в ведение управляющего все хозяйство, а сама занялась только парком, цветником и фруктовым садом.

После смерти мадемуазель Лагер, которую похоронили в Бланжи, нотариус из Суланжа, кантонального центра, расположенного между Виль-о-Фэ и Бланжи, составил подробную опись имущества и в конце концов разыскал наследников певицы, не ведавшей об их существовании. Одиннадцать семейств бедных землепашцев из окрестностей Амьена легли спать на рваных простынях, а проснулись в одно прекрасное утро под золотым одеялом. Для раздела наследства пришлось продать имение с торгов. Эги были тогда куплены генералом Монкорне, за время своего командования в Испании и Померании накопившим сумму, необходимую для этой покупки,— что-то вроде миллиона ста тысяч франков, включая

и стоимость обстановки. Этому прекрасному поместью, очевидно, было суждено принадлежать военному. На генерала, без сомнения, оказала воздействие чувственная роскошь покоев нижнего этажа, и я еще вчера уверял графиню, что покупка этого поместья решила ее брак.

Дорогой мой, чтобы по достоинству оценить графиню, надо знать, что генерал — человек вспыльчивый, с багровым лицом, пяти футов и девяти дюймов роста, монументальный, как башня, с толстой шеей, с плечами молотобойца, на которых кирасирские латы сидели, наверное, как влитые. Монкорне командовал кирасирами в битве при Эслинге (австрийцы называют этот город Гросс-Асперн) и остался цел, когда наша прекрасная конница была отброшена к Дунаю. Ему удалось переправиться через реку, сидя верхом на огромном бревне. Увидя, что мост разрушен, кирасиры по призыву Монкорне приняли доблестное решение: они обернулись лицом к врагу и сражались против всей австрийской армии, которая на следующий день вывезла более тридцати повозок, нагруженных латами. Немцы прозвали этих кирасиров «железными людьми» [1]. У Монкорне внешность ан-

---

[1] Как правило, я избегаю примечаний, и это первое, которое я себе позволил: оправданием мне послужит его исторический интерес; цель его — доказать, что описывать сражения следует совсем не так, как это делается в сухих объяснениях писателей-специалистов, которые, вот уже три тысячи лет, говорят нам только о левом и правом фланге и о более или менее прорванном центре, не упоминая ни единым словом о солдате, о его геройстве и страданиях. Добросовестность, с которой я работаю над «Сценами военной жизни», побуждает меня посещать все поля сражений, орошенные кровью французов и чужеземцев,— понятно, что мне захотелось побывать и на равнине Ваграма. Подъехав к Дунаю, против острова Лобау, я обратил внимание, что берег, поросший здесь мягкой травою, имеет волнистую поверхность, напоминающую прорезанные широкими бороздами поля люцерны. Я поинтересовался, откуда взялись эти гряды, отнеся их за счет какого-нибудь особого способа обработки земли. «Здесь,— сказал наш проводник-крестьянин,— покоятся кирасиры императорской гвардии: это их могилы!» Я содрогнулся от его слов; переведший их князь Фридрих Шварценберг пояснил нам, что этот крестьянин сопровождал повозки, нагруженные кирасами. По одной из тех странных случайностей, которые часто наблюдаются на войне, наш проводник доставил Наполеону утренний завтрак в день битвы при Ваграме. При всей своей бедности, он до сих пор хранит двойной

тичного героя: руки большие и жилистые, грудь широкая, колесом, в голове что-то львиное, голос зычный — из тех, команда которых слышна в самый разгар сражения; но храбрость его — это храбрость сангвиника, ему недостает ума и широты кругозора. Как многие генералы, которым здравый смысл военных, недоверчивость, вполне естественная у людей, постоянно подвергающихся опасностям, и привычка командовать придают видимость превосходства, Монкорне производит на первый взгляд внушительное впечатление: он кажется титаном, но этот грозный облик скрывает карлика, как тот картонный великан, что кланялся Елизавете при входе в Кенильвортский замок. Он вспыльчив и добр, гордится воспоминаниями об Империи, но по-солдатски насмешлив, не сдержан на язык и еще более не сдержан на руку. На поле брани он, несомненно, великолепен, зато в семейной жизни совершенно невыносим — ему знакома только поход-

---

наполеондор, уплаченный императором за молоко и яйца. Гросс-асперпский священник провел нас на знаменитое кладбище, где дрались по колено в крови французы и австрийцы, причем с обеих сторон были проявлены достойные славы мужество и упорство. Тут же, на кладбище, наше внимание привлекла небольшая мраморная плита с выгравированным на ней именем кладельца Гросс-Асперна, убитого на третий день сражения; священник пояснил, что это единственная награда, которой удостоилась семья покойного, и с глубокой грустью прибавил: «То было время великих бедствий и великих посулов, а теперь настало время забвения...» Слова эти показались мне прекрасными по своей простоте; но, поразмыслив, я нашел оправдание кажущейся неблагодарности австрийского королевского дома. Ни народы, ни государи не настолько богаты, чтобы вознаграждать за все самоотверженные поступки, к которым дают повод великие сражения. Пусть тот, кто служит какому-либо делу с задней мыслью получить за это награду, продает кровь, вступив в ряды кондотьеров!.. Но тот, кто сражается за родину со шпагой или с пером в руке, должен думать только о том, чтобы «потрудиться ей на благо», как говаривали наши отцы, и всякую награду, даже славу, принимать как счастливую случайность.

Именно здесь, в третий раз отправляясь на приступ этого славного кладбища, раненый Массена, которого несли в кузове экипажа, бросил солдатам свои знаменитые слова: «Как, сукины дети, вы получаете только по пяти су в день, а у меня сорок миллионов, и вы допускаете, чтоб я был впереди!..» Известен тогдашний приказ императора своему маршалу, переданный господином де Сеит-Круа, который трижды переправлялся вплавь через Дунай: «Умереть или взять обратно деревню, дело идет о спасении армии! Мосты разрушены».

ная любовь, любовь солдатская, которой древние, сии искусные сочинители мифов, дали в покровители сына Марса и Венеры — Эроса. Эти превосходные летописцы истории богов запаслись целым десятком различных Амуров. Взявшись за изучение отцов и атрибутов этих Амуров, вы обнаружите самую полную роспись общественных слоев; а мы-то думали, что изобрели нечто новое! Когда земной шар перевернется, как больной в бреду, когда моря обратятся в материки, тогда французы найдут на дне нашего современного океана, в лесу водорослей паровую машину, пушку, газету и конституционную хартию.

Ну, а графиня де Монкорне, мой дорогой,— женщина хрупкая, изящная и робкая. Что скажешь ты об этой супружеской паре? Для человека, знакомого со светом, такие случайности — дело обычное, исключение составляют подходящие браки. Вот мне и захотелось посмотреть, на какие пружинки нажимает эта маленькая и слабенькая женщина, которая командует своим рослым, дородным и широкоплечим генералом ничуть не хуже, чем он командовал кирасирами.

Если Монкорне возвысит голос в присутствии своей Виржини, супруга его прикладывает пальчик к губам, и генерал тотчас же умолкает. Он грубый солдат, но, если ему захочется выкурить сигару или трубку, он уходит в беседку шагов за пятьдесят и, возвращаясь оттуда, не забывает опрыснуть себя духами. Он счастлив своей покорностью, и, что бы вы ему ни предложили, этот медведь, опьяневший от винограда, неизменно оборачивается к супруге и говорит: «Если вы, мой друг, не имеете ничего против». Когда он направляется на половину жены, тяжело ступая по каменным плитам и сотрясая их, как простые доски, а она кричит испуганным голоском: «Ко мне нельзя!»,— он по-военному делает полуоборот направо и смиренно произносит: «Благоволите поставить меня в известность, когда вам угодно будет побеседовать со мной...» — тем же голосом, каким на берегах Дуная кричал своим кирасирам: «Солдаты, умрем, и умрем с честью, раз нет другого выхода!» Как-то, говоря о жене, он сказал следующие трогательные слова: «Я ее не только люблю, я преклоняюсь перед ней». Когда на него находит припадок ярости, которая ломает все преграды и

изливается безудержным потоком, маленькая женщина удаляется в свои апартаменты, предоставляя ему вволю накричаться. А дней через пять, через шесть она говорит: «Не выходите, мой друг, из себя, у вас в груди может лопнуть сосуд, не говоря уже о том, как это мне неприятно». И тогда Эслингский лев поспешно скрывается, чтобы смахнуть набежавшую слезу. Если он появляется в гостиной, когда мы заняты разговором, она говорит: «Оставьте нас, он мне читает»,— и генерал оставляет нас одних.

Только сильные, крупные и вспыльчивые люди, только воины-громовержцы, только дипломаты с головой олимпийцев и гениальные люди умеют так безоговорочно верить и проявлять такую постоянную заботу, такое великодушие, такую любовь без примеси ревности, такую мягкость по отношению к женщине. Честное слово, я ставлю искусство графини настолько же выше сухих и сварливых добродетелей, насколько атласная обивка кушетки предпочтительнее бумажного плюша на дрянном мещанском диване.

Вот уже шестой день, любезный друг, как я нахожусь в этом прелестном деревенском уголке и непрестанно восхищаюсь красотами парка, окруженного тенистыми лесами, и хорошенькими его дорожками, бегущими вдоль ручьев. Тишина, покой, мирные наслаждения, беззаботная жизнь, к которой зовет природа,— все тут прельщает меня. Вот где настоящая литература! Зеленеющий луг не знает стилистических промахов. Было бы истинным счастьем позабыть здесь все, даже «Деба». Ты должен догадаться, что два утра подряд шел дождь. Пока графиня спала, а Монкорне охотился в своих владениях, я выполнил столь неосмотрительно данное обещание написать вам письмо.

До сего времени, хотя я и родился в Алансоне, как говорят, от старого судьи и префекта, хотя я и видал прекрасные пастбища — я принимал за пустые россказни существование поместий, приносящих четыре или пять тысяч франков дохода в месяц. Деньги в моем представлении означали четыре отвратительных слова: работа, издатель, газета и политика... Неужели в нашем распоряжении никогда не окажется поместья, где деньги будут произрастать на фоне какого-нибудь очаровательно-

го ландшафта? Вот чего я желаю вам во имя театра, книги и печати. Да будет так.

Воображаю, какую зависть почувствует Флорина к покойной мадемуазель Лагер! У наших современных Буре нет перед глазами французского дворянства, которое обучало бы их умению жить, они втроем покупают ложу в театр, вскладчину устраивают развлечения, они не обрежут великолепно переплетенных ин-кварто, чтобы подогнать их по размерам к ин-октаво, которые стоят в их книжном шкафу. И непереплетенных-то книг они почти не покупают! Куда мы идем? Прощайте, дети мои! Любите по-прежнему вашего нежного друга *Блонде*».

Если бы по чудесной случайности не сохранились в целости строки этого письма, слетевшие с ленивейшего пера нашего времени, было бы почти невозможно изобразить Эги. Без данного описания разыгравшаяся там вдвойне ужасная драма, быть может, оказалась бы менее интересной.

Многие, верно, рассчитывают, что под яркими лучами света засверкают латы бывшего полковника императорской гвардии, что вспыхнувший в нем гнев обрушится ураганом на хрупкую женщину и что повесть эта окончится тем же, чем кончается столько современных романов, то есть альковной драмой. Но разве может такая современная драма разыграться в прелестной гостиной, где голубоватая роспись над дверьми изображает любовные мифологические сценки, где потолок и внутренние ставни разрисованы сказочными птицами, а на камине хохочут во весь рот чудовища из китайского фарфора, где синие с золотом драконы обвивают своими закрученными хвостами богатейшие вазы с узорчатым, как кружево, цветным эмалевым бордюром — плод фантазии японского художника; где покойные глубокие кресла, кушетки, диваны, этажерки и столики манят к созерцанию и лени, ослабляют энергию? Нет, наша драма выходит из рамок обычной частной жизни,— она развивается или выше, или ниже ее. Не ждите бурных страстей, сама действительность будет достаточно драматична. К тому же писатель не должен никогда забывать, что его обязанность — воздать каждому должное, и бедняк и богач равны для его пера: крестьянин, в его гла-

зах, велик своею тяжелою жизнью, а богач ничтожен своими смешными притязаниями; богач удовлетворяет свои страсти, крестьянин удовлетворяет только свои насущные нужды, следовательно, он беден вдвойне; и если, по соображениям политики, его агрессивные действия следует безжалостно пресекать, то, с точки зрения религии и человечности, крестьянин для нас свят.

II

СЕЛЬСКАЯ ИДИЛЛИЯ, УПУЩЕННАЯ ИЗ ВИДУ ВЕРГИЛИЕМ

Когда парижанин попадает в деревню, он отрывается от своих прежних привычек и вскоре, несмотря на всю изобретательность и заботы хозяев, начинает ощущать, как медленно тянется время. Потому-то, сознавая всю невозможность постоянно поддерживать разговоры с глазу на глаз, темы которых исчерпываются очень быстро, помещики и помещицы, нисколько не стесняясь, говорят: «Вам здесь будет очень скучно». Действительно, чтобы вкусить все прелести деревни, надо быть в ней заинтересованным материально, надо знать сельские работы, понимать согласованное чередование труда и удовольствий — вечный символ человеческой жизни.

Когда приезжий отоспался, отдохнул с дороги и втянулся в уклад деревенской жизни, ему, ежели он парижанин, да к тому же еще не охотник, не агроном и носит изящную обувь, ему трудно придумать, на что убить утренние часы, особенно от момента пробуждения до завтрака. Женская половина общества еще почивает или занята туалетом и, следовательно, недоступна; хозяин дома спозаранку отправился по делам; итак, с восьми до одиннадцати — час завтрака почти во всех помещичьих домах — парижанин предоставлен самому себе. Он пробует занять свой досуг мелочным обдумыванием, как и во что одеться, но вскоре всякий источник развлечений иссякает, и писателю, если только он не привез с собой какой-нибудь совершенно неосуществимой здесь работы, которую увезет обратно в девственном виде, познав лишь ее трудности, не остается ничего другого, как шагать взад и вперед по аллеям парка, глазеть на ворон и пересчитывать толстые деревья. Но чем легче жизнь,

тем скучнее подобные занятия, в том случае, конечно, если ты не принадлежишь к секте квакеров-прыгунов, к почтенному цеху плотников или к цеху мастеров по набивке птичьих чучел. Если жить в деревне постоянно, как живут помещики, можно рассеять скуку, увлекшись геологией, минералогией, энтомологией или ботаникой; но разумный человек и пробовать не станет пристраститься к тем или иным занятиям только ради того, чтобы убить две недели. Роскошнейшее поместье и прекраснейшие замки приедаются довольно скоро тем, кто в них владеет только видами. Красоты природы кажутся весьма жалкими в сравнении с театральными декорациями. Париж начинает сверкать всеми своими гранями. Если тебя не приковывает особый интерес, как у Блонде, *«к местам, освященным стопами и озаренным взорами»* известной особы, невольно захочешь позаимствовать у птиц крылья, чтоб улететь обратно к всечасным потрясающим драмам Парижа, к его раздирающей душу борьбе.

Прочтя длинное письмо, написанное журналистом, проницательный читатель, несомненно, предположит, что в смысле утоления своей жажды любви и пресыщения счастьем наш герой и нравственно и физически достиг того состояния, которое превосходно передается тупым видом искусственно откормленной домашней птицы, когда, втянув голову в туго набитый зоб, она сидит неподвижно, не имея ни сил, ни охоты взглянуть на самую лакомую пищу. Поэтому-то, закончив свое длинное письмо, Блонде почувствовал непреодолимую потребность выбраться из садов Армиды и как-нибудь оживить смертельную скуку первых утренних часов — время между завтраком и обедом он проводил в обществе владелицы замка, а при ней часы летели незаметно. Умудриться продержать умного человека целый месяц в деревне, как это сделала г-жа де Монкорне, и ни разу не заметить на его лице натянутой улыбки, ни разу не поймать подавленный зевок — признаков утомления и скуки, которую никак не скроешь,— это величайшее торжество для женщины. Чувство, прошедшее подобный искус, должно быть вечным. Непонятно, почему женщины не прибегают к такому испытанию своих возлюбленных: человеку глупому, эгоистичному и недалекому его не выдержать. Сам Филипп II, этот Александр по части скрытности, и тот

выдал бы свои тайны, если бы ему пришлось провести месяц в деревне с глазу на глаз с хорошенькой женщиной. Потому-то короли и живут в постоянной сутолоке и допускают к себе не более как на четверть часа.

Итак, невзирая на нежное внимание, оказанное ему одной из прелестнейших парижанок, Эмиль Блонде вновь обрел давно позабытое удовольствие от прогулок по полям и лесам и, задавшись целью обследовать долину Авоны, приказал специально приставленному к нему старшему камердинеру, по имени Франсуа, на следующее утро разбудить себя пораньше.

Авона — небольшая речка, в которую выше Куша впадает множество ручьев, частично берущих свое начало в Эгах, а сама она впадает около Виль-о-Фэ в один из крупнейших притоков Сены. Благодаря географическому положению Авоны, годной для сплава приблизительно на протяжении четырех лье, а также благодаря изобретению Жана Руве леса, принадлежащие Эгам, Суланжу и Ронкеролю и раскинутые по гребню холмов, у подножия которых протекает эта очаровательная речка, приобрели большую ценность. Эгский парк занимает наиболее широкую часть долины между Авоной, окаймленной Эгским лесом, и большим почтовым трактом, который отмечен на горизонте рядом старых корявых вязов и идет по возвышенности, параллельной так называемым Авонским горам, кои и образуют первый уступ великолепного амфитеатра, именуемого Морваном.

Как ни вульгарно это сравнение, но парк, разбитый в глубине долины, похож на огромную рыбу, голова которой касается деревни Куш, а хвост — местечка Бланжи, поскольку парк больше вытянут в длину, чем в ширину; посередине ширина его доходит до двухсот арпанов, к Кушу он сужается до тридцати, а к Бланжи — до сорока арпанов. Быть может, самое местоположение поместья между тремя селениями, в одном лье от городка Суланжа, откуда виден этот земной рай, как раз и разожгло вражду и повело к тем эксцессам, которые придают главный интерес настоящему повествованию. Ежели этот райский уголок, вид на который открывается с большой дороги, с возвышенной части Виль-о-Фэ, вводит проезжих в грех зависти, то трудно предположить, чтобы богатые горожане Суланжа или Виль-о-Фэ оказа-

лись более добродетельными, раз они постоянно им любуются.

Без этой последней топографической детали трудно было бы понять, где были расположены и для чего предназначались четверо ворот, ведущих в Эгский парк, со всех сторон окруженный стеной, кроме тех мест, которые сама природа наметила, чтоб оттуда могли любоваться видами, и где вырыты глубокие рвы. Эти ворота — Кушские, Авонские, Бланжийские и Въездные — так удачно передают дух тех различных эпох, когда они были построены, что в интересах археологов мы опишем их, хотя бы с тою же краткостью, с какой Блонде описал Въездные ворота.

Ежедневно гуляя с графиней, знаменитый сотрудник «Журналь де Деба» по истечении недели основательно изучил и китайский павильон, и мостики, и острова, и «обитель», и швейцарскую хижину, развалины храма, и «вавилонский» грот, и беседки — словом, все выдумки создателей сада, располагавших площадью в девятьсот арпанов. Теперь он решил прогуляться к истокам Авоны, которые генерал и графиня ежедневно расхваливали ему, каждый вечер строя планы посетить их и каждое утро забывая об этом. И в самом деле, выше Эгского парка Авона весьма напоминает горный поток. Она то вырывает себе русло между скалами, то уходит в глубокий бочаг, напоминающий чан; здесь в нее низвергаются водопадами ручьи, там расстилается она, как Луара, мягко омывая песчаные отмели и постоянно изменяя свое русло, отчего становится совершенно несудоходной. Блонде, уже хорошо знакомый с запутанными дорожками парка, избрал кратчайший путь к Кушским воротам. Об этих воротах необходимо сказать несколько слов, кстати дающих кое-какие исторические сведения о поместье.

Основателем Эгов был один из младших сыновей фамилии Суланжей, который разбогател благодаря женитьбе и пожелал натянуть нос старшему брату. Волшебные сады Изола-Белла на Лаго-Маджоре обязаны своим возникновением примерно таким же чувствам. В средние века Эгский замок стоял на Авоне. От прежнего замка сохранились только крытые ворота, похожие на те, какие бывали в укрепленных городах, с двумя сто-

рожевыми башенками по бокам. Над сводом ворот толстая стена, поросшая вьющимися растениями, прорезана тремя широкими оконными амбразурами с поперечинами. Винтовая лестница, скрытая в одной из башенок, ведет в две верхние комнатки; а во второй башенке помещается кухня. На крыше ворот, островерхой, как у всех старинных построек,— два флюгера, торчащие по обоим концам конька, украшенного причудливым кованым орнаментом. Не в каждом местечке найдется такая великолепная ратуша. Спереди на замко́вом камне свода еще красуется герб Суланжей, хорошо сохранившийся благодаря твердости отборного камня, на котором его запечатлел резец каменотеса: *по голубому полю три серебряных посоха, все перерезано поперечной красной полосой с пятью золотыми остроконечными крестиками, и геральдический излом, присвоенный младшей линии рода.* Блонде разобрал девиз «Je soule agir» («Я привык действовать»), один из тех каламбуров, составленных из фамильного прозвища, которыми забавлялись крестоносцы, каламбур, вызывающий в памяти прекрасное политическое правило, по несчастью, как это будет видно дальше, позабытое генералом Монкорне. Калитка, которую открыла журналисту хорошенькая девушка, была из старого потемневшего дерева, окованного в шахматном порядке кусками железа. Сторож, разбуженный скрипом петель, в одной рубашке выглянул в окно.

«Как, сторожа еще спят в эту пору?» — подумал парижанин, полагая себя великим знатоком по части охраны лесов.

После четверти часа ходьбы он достиг истоков реки на высоте Куша, и взор его был очарован одним из тех пейзажей, описанию которых, как и истории Франции, следовало бы отвести тысячу томов или один-единственный том. Удовольствуемся двумя фразами.

Пузатая скала, вся бархатная от карликовых деревьев, подточенная снизу Авоной и немного похожая благодаря своему положению на огромную черепаху, перекинутую через реку, образует арку, в пролет которой видна гладкая, как зеркало, заводь, и кажется, будто Авона уснула, но вдалеке она срывается с высоких скал бурлящими водопадами, колебля мелкий ивняк, который,

как пружина, сгибается и разгибается под стремительным напором воды.

За водопадами высятся крутые обрывы каменистого холма, срезанные отвесно, словно утес на Рейне, одетые вереском и мхами и, как он, испещренные жилами сланца; кое-где из скал, пенясь, пробиваются ручьи и непрестанно орошают вечно зеленеющую лужайку, принимающую их в свое лоно; а дальше, словно для контраста с безлюдным и диким пейзажем, по другую сторону живописного хаоса за полями виднеются сады деревни Куш, колокольня и сбившиеся в кучу домики.

Вот вам две обещанные фразы, а восходящее солнце, прозрачность воздуха, сверкающую росу, гармонию воды и леса представьте себе сами!

«Красиво, честное слово! Почти так же красиво, как оперная декорация!» — мысленно воскликнул Блонде, поднимаясь вверх по течению несудоходной здесь Авоны, по сравнению с капризными излучинами которой казалось особенно прямым, глубоким и тихим русло нижней Авоны, осененное высокими деревьями Эгского леса.

Утренняя прогулка завела Блонде не очень далеко от дома — его задержал один из тех крестьян, которые играют в описываемой нами драме роль статистов, но столь необходимых для развития действия, что начинаешь колебаться, кому отдать предпочтение: им или первым персонажам.

Подойдя к группе скал, где главное русло реки как будто ущемлено между створками двери, наш остроумный писатель увидел человека, застывшего на месте так неподвижно, что уже одно это вызвало любопытство журналиста, да и самый облик и одежда этого одушевленного истукана возбудили в нем живой интерес.

В сей скромной личности он признал одного из стариков, любезных карандашу Шарле; крепостью сложения, приспособленного к любым невзгодам, он напоминал старых служак нашего солдатского Гомера, а сизо-багровой, морщинистой физиономией, отнюдь не выражавшей безропотной покорности,— его бессмертных подметальщиков улиц. Войлочная шляпа с полями, пришитыми к тулье на живую нитку, защищала от непогоды его почти лысую голову; из-под шляпы выбивались две пушистые пряди волос, и любой художник уплатил бы

по четыре франка за час, только бы запечатлеть их сверкающую белизну, в точности воспроизводящую седины классического бога Саваофа. По ввалившимся щекам не трудно было догадаться, что беззубый старец заглядывает в бочку чаще, нежели в хлебный ларь. Седая, реденькая бородка торчала щетиной, придавая нечто грозное его профилю. Глаза, слишком маленькие для огромного лица и поставленные наискось, как у свиньи, выражали хитрость и в то же время лень, но в настоящую минуту они словно пронизывали реку насквозь — так пристально глядел он на воду. Одет этот бедняк был в старую, когда-то синюю блузу и в штаны из грубой ткани, которая идет в Париже на обшивку кладей. От его потрескавшихся деревянных башмаков — в них не было никакой подстилки, даже клочка соломы — всякий горожанин пришел бы в ужас. Несомненно, и блуза и штаны представляли некоторую ценность только для чана бумажной фабрики.

Разглядывая этого деревенского Диогена, Блонде решил, что на свете действительно существует тот тип крестьян, какой ему случалось видеть на старинных вышивках, на старинных картинках, в старинной скульптуре и до сего времени представлявшийся ему плодом художественной фантазии. Теперь он уж не мог так безусловно отвергать школу уродливого в искусстве, поняв, что красота человека — только лестное исключение, своего рода химера, в которую мы силимся верить.

«Интересно, какое у него мировоззрение, какие нравственные понятия? О чем он думает? — задавал себе вопрос Блонде, охваченный любопытством.— Неужели это существо, подобное мне? Общего у нас с ним только внешний облик, да и то!..»

Он внимательно рассматривал лицо старика, дивясь его грубой, шероховатой коже, какая бывает у людей, живущих на воздухе, привыкших ко всякой погоде: и к лютому морозу и к палящему зною,— словом, у людей выносливых, у которых кожа словно дубленая, а нервы такие крепкие, что помогают им переносить физические страдания, не хуже, чем переносят их арабы или русские.

«Вот они, куперовские краснокожие,— подумал Блонде,— незачем ездить в Америку, чтобы наблюдать дикарей».

Хотя парижанин был всего в двух шагах, старик не обернулся, продолжая смотреть на противоположный берег пристально и неподвижно, словно индийский факир, уставившийся в одну точку остекленевшими глазами и застывший в одной позе. Побежденный этим своеобразным магнетизмом, более заразительным, нежели это принято думать, Блонде в конце концов и сам уставился на воду.

— Что же там, старикан, такое? — спросил Блонде по прошествии добрых пятнадцати минут, в течение которых он не заметил ничего, что бы могло оправдать столь пристальное внимание.

— Тш! — зашипел старик, делая знак Блонде, чтоб тот не нарушал тишины.— Спугнете...

— Кого?

— *Выдрю*, господин хороший, *выдрю*... Чуть голос человечий услышит, сейчас нырь в воду... Дело ясное, куда она шмыгнула... Гляньте-ка, где вода пузырится. Это она рыбку подстерегает, а как захочет подняться кверху, мой паренек ее тут и прищучит. *Выдря*, изволите ли знать, зверюга редкостная, добыча научная и притом тонкая... Мне за нее в Эгах франков десять заплатят, по случаю, что тамошняя барынька соблюдает посты, а завтрашний день у нас постный. В прежние годы покойница барыня мне по двадцати франков платила, да еще шкуру назад отдавала! Муш! — окликнул он шепотом.— Смотри хорошенько...

И тогда на другом берегу быстротечной Авоны журналист увидел в ольховой заросли два глаза, сверкавших, как у кошки; потом разглядел смуглую рожицу и взъерошенные вихры мальчугана лет двенадцати, который, лежа на животе, знаками показывал, где притаилась выдра, и давал понять старику, что не упускает ее из виду. Поддавшись надежде, воодушевлявшей старика и мальчугана, Блонде не устоял перед бесом охоты. А этот бес, уязвляя двумя когтями—надеждой и любопытством,— увлечет вас, куда захочет.

— Шкуру продают шапочникам,— продолжал старик.— Уж до того красивая, нежная! На отделку картузов она идет...

— Вы так полагаете, старикан? — с усмешкой промолвил Блонде.

— Вам, сударь, оно, конечно, лучше известно, хоть мне и стукнуло семьдесят годков,— смиренно и почтительно ответил старик, принимая позу подавальца святой воды,— и вы, пожалуй, сможете мне растолковать, почему эти картузы так любы кондукторам и винным торговцам?

Блонде, великий дока по части всякой иронии, памятуя о маршале Ришелье, уже почувствовал некоторое недоверие при словах *научная добыча* и заподозрил было насмешку, но наивные повадки и глупость, написанная на лице старого крестьянина, разуверили его.

— Когда я был помоложе, их тут водилась тьма-тьмущая, этих самых *выдрей*, им тут у нас приволье,— продолжал старичок.— Да уж столько их переловили, что теперь и хвоста ее за десять лет не увидишь... Зато наш *супарфект*... Вы, может, с ним знакомы? Хоть он из Парижа, а хороший такой молодой человек, вроде вас, и очень до разных редкостей охоч. А как он знает, что я мастак ловить этих самых *выдрей*,— а я знаю их сестру не хуже, чем вы свою грамоту,— он мне и говорит: «Дядя Фуршон, как поймаешь *выдрю*, тащи ее ко мне, я, мол, тебе хорошо за нее заплачу, а коли у нее спина будет серебриться, я, мол, тебе дам за нее тридцать франков». Так-то вот он и сказал мне на набережной в Виль-о-Фэ, вот те крест, не вру. Есть еще в Суланже очень ученый господин, наш доктор Гурдон, у него, сказывают, столько собрано разных редкостей, что и в Дижоне таких не сыщешь, ну, первейший ученый в нашем краю,— он мне тоже хорошо заплатил бы!.. Он тебе любое чучело сделает, что из человека, что из зверя. Ну, а мальчонка на одном стоит: *выдря* с сединой... «Коли так,— говорю я,— значит, господь хочет нас сегодня побаловать». Гляньте-ка, как пузырится вода... Она тут! Хоть и земная тварь, а целыми днями сидит под водой. Ай, ай, господин хороший, услыхала, насторожилась. Нет твари хитрее ее. Хуже бабы!

— Не потому ли и зовется она в женском роде — выдрой? — спросил Блонде.

— Вам, парижанам, господин хороший, это лучше, чем нам, известно, а только для нас было бы много лучше, кабы вы сегодня подольше поспали, потому видите, какая там пошла струя? Это она низом уходит... Пропа-

ло наше дело, Муш,— *выдря* услышала барина, и теперь ей ничего не стоит промаять нас до полуночи... Пошли... Уплыли наши денежки!..

Муш поднялся на ноги, но с сожалением. Он все смотрел на то место, где бурлила вода, указывая на него пальцем и, видимо, не теряя окончательно надежды. Курчавый мальчуган, со смуглым, как у ангелов на картинах XV века, лицом, был в изодранных, оборванных штанах, которые доходили ему до колен и заканчивались бахромой из приставших к ним сухих листьев и хвои. Эта необходимая часть костюма держалась на двух пеньковых веревках, заменявших подтяжки. Расстегнутая на загоревшей груди рубашка была из той же холстины, что и штаны старика, но от наложенных одна на другую обтрепавшихся заплат она стала еще толще. Таким образом, Муш был одет даже проще, чем дядя Фуршон.

«Какой здесь добродушный народ,— подумал Блонде.— Житель парижского пригорода здорово отделал бы человека, вспугнувшего его дичь».

И так как ему никогда не случалось видеть выдры, даже в парижском Зоологическом саду, он был в восторге от этого происшествия, оживившего его прогулку.

— Послушайте,— сказал он, умиляясь тому, что старик уходит, ничего не попросив,— вы считаете себя отличным охотником на выдр. Если вы уверены, что она в самом деле здесь...

На том берегу Муш вытянул палец, указывая на пузырьки воздуха, которые поднимались со дна Авоны и лопались на середине речки.

— Опять вернулась,— прошептал дядя Фуршон,— опять, стерва, дохнула! Это она волдыри пускает. И как это она ловчится дышать под водой? Ну, да ато такая хитрая бестия, что ей наплевать и на науку!

— Ну что ж,— заметил Блонде, относя последнюю шутку скорее за счет общекрестьянского, нежели собственного остроумия старика,— подождите еще немного и поймаете выдру.

— А нам с Мушем работать надо. День пропадет.

— Во сколько же вы цените свой рабочий день?

— Наш день? Подручного и мой?.. Пять франков...—

ответил старик, глядя в глаза Блонде с сомнением, явно обнаруживавшим, что он здорово запросил.

Журналист достал из кармана десять франков.

— Вот вам десять, и столько же вы получите за выдру,— сказал он.

— Она вам недорого обойдется, если на спине у нее серебро: *супарфект* сказывал мне, что в Париже, в Зоологическом саду, только одна такая и найдется. И учен же этот *супарфект* и не дурак. Покамест я охочусь за *выдрей*, господин де Люпо охотится за дочкой господина Гобертена, а у нее тоже, не хуже *выдри*, серебро — неплохое приданое. Вот что, господин хороший, не буду вами командовать, а отправляйтесь-ка вы на середку реки, вон на тот камушек... Когда мы *выдрю* как следует припрем, она поплывет вверх по реке — такая уж повадка у этих тварей: чтобы ловить рыбу, они уходят вверх по течению, выше своей норы, потому как понимают, что, поймавши рыбу, легче будет плыть с ней по течению. И до чего же хитрые! Если бы я обучался хитрости в ихней школе, я бы сейчас жил припеваючи!.. Поздно я догадался, что надо спозаранку подыматься вверх по реке да раньше прочих хватать добычу. Меня, видно, сглазили при рождении. Ну, да втроем мы авось перехитрим эту *выдрю*.

— А каким образом, старый колдун?

— Мы, мужики, до того глупы, что под конец начинаем понимать всякую скотину. Вот как сделаем. Когда *выдря* захочет вернуться к себе, мы с Мушем начнем ее здесь стращать, а вы там от себя стращайте. Мы — стращать, вы — стращать, ну, она и кинется на берег, а как вылезет на землю, тут ей и конец. Потому что *эта животная* ходить-то не может, лапки у нее гусиные, ей бы только плавать. Ну и потеха пойдет! Тут тебе сразу все удовольствия: и поохотишься и порыбачишь!.. Генерал, у которого вы гостите в Эгах, три дня кряду приходил. Вот как его за живое забрало!

Блонде вооружился веткой, срезанной стариком, приказавшим ему стегать по воде, когда услышит команду, и, перескакивая с камня на камень, занял свой пост посреди Авоны.

— Вот так, тут и стойте, господин хороший...

Блонде стоял, не замечая, как бежит время, ибо ста-

рик то и дело подавал ему знаки, сулившие счастливый исход ловли; к тому же время идет особенно быстро, когда ожидаешь решительного действия, которым должно смениться глубокое безмолвие засады.

— Дядя Фуршон,— прошептал мальчик, когда они остались одни,— тут взаправду есть *выдря*...

— Тебе видать ее?

— Вон она!

Старик опешил, заметив под водой красно-бурую шерсть.

— Она прет на меня...— прошептал мальчуган.

— Дай ей по голове покрепче, а сам прыгай в воду и держи ее на дне, да не выпускай.

Муш прыгнул в речку, как вспугнутая лягушка.

— Живей, господин хороший! — закричал дядя Фуршон и тоже бросился в воду, скинув на берегу деревянные башмаки.— Пужайте, пужайте ее хорошенько!.. Видать вам ее? Прямиком на вас плывет.

Старик прямо по воде побежал к журналисту, крича ему с тем деловым видом, который не покидает деревенских жителей даже в минуты наибольшего возбуждения.

— Видите, вон она, плывет вдоль скалы!

Блонде, поставленный стариком так, что солнечные лучи падали ему прямо в глаза, бил по воде наугад.

— Живей, живей! Вон там — у скал! — закричал дядя Фуршон.— Там ее нора, по левую руку от вас. Смелей, смелей, господин хороший! Тут она... Ах ты, господи! Она уходит у вас промеж ног! Уходит, уходит! — в отчаянии вопил старик.

И, будто бы в пылу увлечения охотой, он бросился в самую глубь реки, к тому месту, где стоял Блонде.

— Из-за вас мы ее упустили! — проговорил дядя Фуршон, берясь за руку, протянутую ему Блонде, и вылезая из воды, словно Тритон, но Тритон, потерпевший поражение.— Она, стерва, тут, под скалой!.. Рыбу-то она бросила,— продолжал старик, смотря вдаль и указывая на что-то плывшее по реке.— Ну, уж линя-то мы заполучим, ведь это самый настоящий линь!..

В этот момент на Кушской дороге показался скачущий верхом ливрейный лакей, с лошадью в поводу.

— Смотрите-ка, это из замка: вас ищут,— сказал

старик.— Если вам угодно перебраться через реку, беритесь за мою руку... Вымокнуть я не боюсь, по крайности без стирки дело обойдется.

— А если простудитесь? — сказал Блонде.

— Э, чего там! Разве вы не видите, что нас с Мушем насквозь солнцем прокалило, вроде как трубку старого капрала? Обопритесь об меня, господин хороший... Вы парижанин, где вам лазить по нашим камням, хоть вы и ученый барин да еще, говорят, в разных газетках пописываете. Вот поживете здесь подольше, многому научитесь, да не из книжек, а из природы...

Блонде уже выбрался на берег, когда выездной лакей Шарль заметил его.

— Ох, сударь, вы и представить себе не можете, до чего волнуется барыня; им сказали, что вы вышли через Кушские ворота, вот они и боятся, что вы утонули. Приказали уже в третий раз изо всей мочи к завтраку звонить, уже весь парк обегали, а господин кюре все еще вас там ищет.

— Который же теперь час, Шарль?

— Без четверти двенадцать.

— Помоги мне сесть в седло...

— Может, сударь, вы ненароком попались на выдру дяди Фуршона? — спросил лакей, заметив, что с ботинок и панталон Блонде стекает вода.

Этот вопрос все разъяснил журналисту.

— Никому ни слова, Шарль, и я тебя не забуду! — воскликнул он.

— А что тут такого! Сам господин граф попались на выдру дяди Фуршона,— ответил лакей.— Стоит только приехать в Эги гостю, дядя Фуршон уж тут как тут — подкарауливает и, как только приезжий пойдет посмотреть на Авонские ключи, непременно продаст ему свою выдру... Он до того ловко разыгрывает комедию, что их сиятельство три раза приходили сюда и уплатили ему за шесть рабочих дней, а всего-то и работы было, что в три пары глаз глядели, как бежит река.

«А я-то,— мысленно воскликнул Блонде,— воображал, что Потье, Батист-младший, Мишо и Монроз — лучшие актеры нашего времени. Что они в сравнении с этим оборванцем!»

— Дядя Фуршон здорово на этих самых выдрах на-

ловчился! — продолжал Шарль.— Впрочем, на выдру надеется, а сам тоже не плошает,— веревочным делом занимается. У него мастерская у самых Бланжийских ворот. Только уж лучше подальше от его веревок: он вас так заговорит, что вам захочется самому повертеть колесо и насучить хоть сколько-нибудь веревок; а тогда он потребует с вас плату за обучение. Графиня на этом попалась и выложила ему двадцать франков. Первейший ловкач! — добавил Шарль, пользуясь благопристойным словом.

Болтовня лакея навела Блонде на размышления о глубоком коварстве крестьян, воскресив в его памяти все слышанное от отца, судьи в Алансоне. Затем он припомнил шуточки дяди Фуршона, скрытые под личиной лукавой прямоты, а теперь освещенные разоблачениями Шарля, и сознался, что старый бургундский попрошайка обвел его вокруг пальца.

— Вы и не представляете, сударь, как надо всего остерегаться в деревне,— сказал Шарль, когда они уже подъезжали к крыльцу,— а в особенности здесь... Ведь его превосходительство у нас недолюбливают...

— А почему?

— Откуда же мне знать?..— ответил Шарль, сразу приняв тот глуповатый вид, которым слуги обычно прикрывают свое нежелание отвечать господам, что навело Блонде на серьезные размышления.

— Вот и вы, наконец, гуляка! — воскликнул генерал, вышедший на крыльцо, заслышав стук копыт.— Не волнуйтесь! Нашелся! — крикнул он жене, которая уже спешила навстречу Блонде.— Теперь не хватает только аббата Бросета. Шарль, пойди поищи его,— сказал он слуге.

III

ТРАКТИР

Ворота, под названием Бланжийских, построенные старанием Буре, представляли собой два отделанных рустикой пилястра,— каждый с навершьем в виде каменной собаки на задних лапах, держащей в передних лапах гербовый щит. Близость домика управляющего избавила

откупщика от необходимости строить сторожку для привратника. Между пилястрами красуется богатая кованая решетка, вроде той, что была заказана во времена Бюффона для парижского Зоологического сада; ворота выходят на мощеную дорогу, а та выводит на кантональный тракт, который заботливо поддерживали Суланжи, прежние владельцы Эгов; тракт соединяет Куш, Сернэ, Бланжи и Суланж с Виль-о-Фэ как бы гирляндой,— так много на этой дороге живописных усадеб, окруженных живыми изгородями, и домиков, утопающих в розах, жимолости и вьющихся растениях.

Возле Бланжийских ворот около красивой стены, обрывающейся у глубокого рва, что дает возможность любоваться из замка видом на долину значительно дальше Суланжа, стоит подгнивший столб со старым колесом и рядом колышков на манер грабель — все несложное оборудование деревенской веревочной мастерской.

В первом часу дня, когда Блонде, усаживаясь за стол напротив аббата Бросета, выслушивал ласковые упреки графини, дядя Фуршон и Муш подходили к своему заведению. Устроив у Бланжийских ворот веревочную мастерскую, дядя Фуршон получил возможность наблюдать за Эгами и видеть всех входящих в замок и выходящих оттуда. Открывались ли ставни, прогуливался ли кто-нибудь вдвоем по парку,— любое самое незначительное событие в жизни замка не ускользало от старого соглядатая, только три года назад занявшегося витьем веревок, на что, как на малосущественное обстоятельство, еще не обратили внимания ни эгские сторожа, ни слуги, ни хозяева.

— Прогуляйся-ка через Авонские ворота в замок, покуда я натяну нашу снасть,— промолвил дядя Фуршон.— Набреши господам с три короба, ну, они и пошлют за мной в «Большое-У-поение»,— я схожу туда промочить глотку. Страсть как хочется выпить, когда столько времени пробарахтаешься в воде! Коли ты возьмешься за дело, как тебе сказано,— заработаешь в замке хороший завтрак. Постарайся увидать графиню, да напирай на меня,— пускай господа меня уму-разуму поучат... Так-то! Глядишь, пропустим стаканчик-другой хорошего винца!

Дав эти последние наставления, собственно, излиш-

ние, судя по лукавому взгляду Муша, старый веревочник, с выдрой под мышкой, удалился по кантональному тракту.

В ту пору, когда Эмиль Блонде гостил в Эгах, на полпути между Бланжийскими воротами и деревней стоял один из тех домов, какие можно видеть только во Франции, и только там, где камень — большая редкость. Основательные, хотя и попорченные непогодой стены были сложены из кое-где подобранных обломков кирпича и булыжника, прочно вделанных в глиняную массу, словно бриллианты в оправу. Крыша, крытая соломой и тростником по стропилам из тонких жердей, грубо сколоченные ставни, дверь — все говорило о счастливых находках или выклянченных подарках.

Крестьянин так же инстинктивно привязан к своему жилью, как зверь к своему гнезду или норе, и эта привязанность сквозила во всем устройстве лачуги. Хотя окно и дверь выходили на север, но место для дома, стоявшего на небольшой возвышенности и на самом каменистом участке годной для виноградника земли, было, без всякого сомнения, выбрано удачно. К дому вели три ступени, искусно сделанные из досок и колышков и засыпанные щебнем. Вода по склону стекала, не задерживаясь. Кроме того, в Бургундии редко дует северный ветер, нагоняющий дождевые тучи, а следовательно, фундамент не мог развалиться от сырости, как бы он ни был непрочен. Внизу, вдоль тропинки, тянулся грубый частокол, скрытый за живой изгородью из боярышника и ежевики. Увитая плющом решетчатая беседка, в которой были расставлены простые столы и грубо сколоченные скамьи, приглашавшие путника передохнуть, закрывала своим зеленым шатром все пространство между лачугой и дорогой. Внутри ограды, по верху откоса, красовались розы, левкои, фиалки и прочие неприхотливые цветы. Кусты жимолости и жасмина сплетали свои ветви над кровлей, хотя и не ветхой, но уже поросшей мхом.

Справа от дома хозяин пристроил хлев на две коровы. Утрамбованный участок земли перед этой постройкой, сколоченной из старых досок, служил двором; в углу была сложена огромная куча навоза. По другую сторону дома и беседки стоял соломенный навес, подпертый двумя бревнами; там хранился виноградарский ин-

струмент, пустые бочки и вязанки хвороста, наваленные вокруг выступа, образованного печью, топка которой в крестьянских домах почти всегда устроена под колпаком очага.

К дому примыкал маленький виноградник, примерно с арпан, обнесенный живой изгородью и заботливо обработанный, как у всех местных крестьян: земля была так хорошо удобрена, лозы так умело рассажены и окопаны, что ветви их начинают зеленеть первыми на три лье в окружности. За тою же оградою кое-где покачивались жидкие верхушки фруктовых деревьев — миндальных, абрикосовых и слив. Между виноградными лозами обычно сажали картофель и бобы. Кроме того, к усадьбе принадлежал еще расположенный позади дворика и вытянутый по направлению к деревне участок, сырой и низменный, удобный для разведения излюбленных овощей рабочего люда — капусты, чеснока и лука — и огороженный плетнем с широкой калиткой, в которую проходили коровы, меся копытами землю и роняя по пути навозные лепешки.

В нижнем этаже дома, выходившего на виноградник, было две комнаты. Со стороны виноградника к стене была прилажена деревянная лестница под соломенным навесом, которая вела на чердак, освещавшийся слуховым окошком. Под этой грубой лестницей в погребе, целиком сложенном из бургундского кирпича, хранилось несколько бочек с вином.

Хотя в крестьянском обиходе для стряпни обычно употребляют только два предмета — сковороду и котел,— в этой лачуге в виде исключения имелись еще две огромные кастрюли, подвешенные под колпаком очага над переносной плиткой. Несмотря на такой признак зажиточности, вся обстановка соответствовала внешнему виду дома. Вода хранилась в глиняном кувшине, столового серебра в доме не водилось — ложки были из дерева или оловянные, тарелки и блюда фаянсовые, темные снаружи и белые изнутри, все облупившиеся и скрепленные проволокой; вокруг основательного стола — некрашеные стулья, пол — земляной. Каждые пять лет стены белились, равно как и жиденькие балки потолка, к которым были подвешены куски свиного сала, вязанки лука, пакеты со свечами и мешки для зерна; в древнем

ореховом шкафу, стоявшем рядом с хлебным ларем, лежало кое-какое белье, сменное платье и праздничная одежда всей семьи.

Над колпаком очага поблескивало настоящее браконьерское ружье, за которое вы не дали бы и пяти франков: ложе у него какое-то обгорелое, ствол с виду неказист и, по-видимому, давно не чищен. Правда, для охраны такой лачуги, запирающейся на простую щеколду и отделенной от дороги низким частоколом с калиткой, всегда открытой настежь, и такое ружье — излишняя роскошь, так что невольно возникает вопрос, к чему оно здесь. Но, во-первых, хотя ложе его не представляет ничего особенного, ствол подобран заботливо и, по-видимому, снят с дорогого ружья, выданного, должно быть, в свое время сторожу. Во-вторых, владелец этого ружья никогда не дает промаха: он так же сжился со своим оружием, как рабочий со своим инструментом. Если надо взять на миллиметр выше или ниже цели, браконьер хорошо знает, насколько от этой ничтожной разницы надо ружье обвысить или обнизить, и безошибочно следует этому закону. Кроме того, артиллерийский офицер мог бы констатировать, что все существенные части ружья в полной исправности, все налицо и ничего лишнего. Крестьянин не расходует зря своих сил; на все, что ему принадлежит, чем он пользуется, он затрачивает ровно столько энергии, сколько нужно, и ни капли больше. За особой красотой он не гонится. Зато в насущных делах он — непогрешимый судья, он умеет соразмерять свои силы и, работая на нанимателя, старается отдать возможно меньше труда за возможно бо̀льшую плату. Коротко говоря, это неказистое ружье играет видную роль в жизни семьи, и вы скоро узнаете, какую именно.

Достаточно ли подробно описал я вам эту лачугу? Можете ли вы представить себе, как она притулилась в пятистах шагах от живописных ворот Эгского замка, словно нищий перед дворцом? Так вот, вся эта сельская идиллия — крыша, поросшая бархатистым мхом, кудахтающие куры, валяющаяся свинья — вся эта сельская идиллия была исполнена страшного смысла. На верхушке длинного шеста возле калитки висел высохший букет из трех еловых ветвей и пучка дубовых листьев, перевя-

занных тряпочкой. Над этой же калиткой бродячий живописец за бесплатный завтрак вывел на белой дощечке размером в два квадратных фута зеленую заглавную букву «У», а для людей, знающих грамоту, начертал следующий каламбур в четырнадцать букв: «*Большое-У-поение*». Слева от калитки сверкала яркими красками примитивная вывеска с надписью «Лучшее мартовское пиво»; тут же была изображена огромная кружка пенящегося пива, а по обе ее стороны две фигуры — женщина в чрезмерно декольтированном платье и гусар, оба весьма грубо намалеванные. Невзирая на цветы и деревенский воздух, из лачуги несло тем же крепким и противным запахом вина и всякой снеди, который ударяет вам в нос, когда вы проходите мимо харчевни, где-нибудь на окраине Парижа.

Теперь вы знакомы с местом действия. А вот вам и люди, вот вам их история, весьма поучительная для филантропов.

Хозяин «Большого-У-поения», Франсуа Тонсар, предлагается вниманию философов в силу открытого им способа бездельничать за работой, обращая безделье в доходную статью, а работу сводя к нулю.

Он был мастер на все руки, умел возделывать и землю, но только для себя. Для других он копал канавы, вязал хворост, рубил лес и обтесывал деревья. При этих работах наниматель всецело в руках у работника. Своим клочком земли Тонсар был обязан щедротам мадемуазель Лагер. С самых ранних лет он работал поденно у садовника замка, так как не имел себе равного в искусстве подстригать деревья в аллеях, грабовые беседки, живые изгороди и индейские каштаны. Талант этот был у него в роду. В деревенской глуши тоже существуют привилегии, причем их завоевывают и отстаивают с тем же искусством, с каким добиваются своих привилегий купцы. Однажды, прогуливаясь по парку, мадемуазель Лагер услышала, как Тонсар, в те годы статный парень, говорил: «А мне с лихвой хватило бы арпана, чтобы прожить, и не как-нибудь, а припеваючи». Добрая женщина, привыкшая благодетельствовать, дала ему поблизости от Бланжийских ворот арпан виноградника за сто рабочих дней (плохо оцененная деликатность!), разрешив по-прежнему оставаться в Эгах,

где он жил вместе с прислугой, в глазах которой был лучшим во всей Бургундии парнем.

Бедняга Тонсар (так называли его все) отработал примерно тридцать дней из числившихся за ним ста; остальное время он проваландался, шутя шуточки с женской прислугой владелицы поместья, и преимущественно с ее горничной, мадемуазель Коше, хотя она и была некрасива, как все горничные красивых актрис. Шуточки его с мадемуазель Коше заходили так далеко, что Судри, тот счастливый жандарм, о котором упоминал в своем письме Блонде, даже по прошествии двадцати пяти лет косо посматривал на Тонсара. Ореховый шкаф, кровать с колонками и занавесочками, украшавшие его спальню, были, надо думать, результатом таких шуточек.

Получив участок, Тонсар первому же человеку, упомянувшему, что виноградник подарен ему мадемуазель Лагер, сказал:

— Черт меня побери, я за него заплатил, и не дешево! Когда это господа нам что-нибудь дарили? Даром я, что ли, сто дней работал? Участочек обошелся мне в триста франков. А что тут? Голый камень!

Разговор этот не дошел до господских ушей.

Тонсар собственноручно выстроил дом, беря материалы то там, то здесь, получая подмогу то от того, то от другого, потаскивая из замка всякий ненужный хлам или выклянчивая его. Старую дверь садовой беседки, разобранной для переноски на другое место, он приспособил к своему коровнику. Окно взял из прежней, уничтоженной теплицы. Итак, на сооружение этой роковой лачуги пошли обломки замка.

Спасенный от солдатчины сыном общественного обвинителя в местном департаменте, Гобертеном, который был эгским управляющим, а кроме того, не мог ни в чем отказать мадемуазель Коше,— Тонсар, покончив с постройкой дома и устройством виноградника, тут же и женился. Двадцатитрехлетний парень, свой человек в Эгах, плут, только что получивший от мадемуазель Лагер арпан земли и слывший хорошим работником, сумел выставить в благоприятном свете свои отрицательные достоинства и заполучил в жены дочь фермера из рон-

керольских владений, расположенных по ту сторону Эгского леса.

Этот фермер арендовал землю исполу; ферма приходила в упадок за отсутствием хозяйки. Будучи неутешным вдовцом, он пытался, следуя английскому методу, утопить свое горе в вине. Но когда он уже перестал вспоминать о своей дорогой покойнице, то, как шутили в деревне, оказался женатым на бутылочке и вскоре снова превратился из фермера в батрака, но в батрака — пьяницу и лентяя, злобного и сварливого, способного на все, как это обычно бывает с людьми из простонародья, после некоторой обеспеченности снова впавшими в жестокую нужду. Этого человека, который по своим практическим знаниям, грамотности и начитанности стоял значительно выше обычных батраков, пороки довели до полной нищеты; но только что мы были свидетелями позабытой Вергилием буколической сцены на берегу Авоны, во время которой старый пьянчуга померился силами с одним из остроумнейших людей Парижа.

Дядя Фуршон проработал некоторое время школьным учителем в Бланжи, но потерял это место вследствие дурного поведения и своеобразных взглядов на народное образование. Он больше помогал ребятишкам делать из страниц букварей кораблики и петушков, нежели обучал их чтению; а когда они воровали фрукты, бранил их так оригинально, что его наставления могли сойти за уроки, как перелезать через заборы. В Сулан-же до сих пор пересказывают его ответ опоздавшему в школу мальчугану, который пробормотал в свое оправдание:

— Да я, господин учитель, гонял по воду теленков.

— Надо говорить: «телят», *животная!*

Из учителей он пошел в почтальоны. На этом посту — обычном прибежище старых солдат — дядя Фуршон ежедневно подвергался выговорам. То он забывал письма где-нибудь в кабаке, то подолгу таскал их в своей сумке. Подвыпив, он относил письма, предназначавшиеся одному селению, в другое, а в трезвом виде читал их. Поэтому его скоро уволили. Не преуспев на государственном поприще, дядя Фуршон в конце концов обратился к производственной деятельности. В деревнях неимущие всегда занимаются каким-нибудь ремеслом, и таким

образом все они как будто находят источник честного существования. На шестьдесят девятом году старик принялся за кустарную выделку веревок, ибо этот промысел требует самых ничтожных предварительных затрат. Для мастерской, как мы видели, достаточно первой попавшейся стены, оборудование стоит не дороже десяти франков, подмастерье и хозяин ночуют где-нибудь в сарае и проедают то, что выручат за день. Алчность казны, установившей налог на окна и двери, теряет всякую силу для производства, действующего под открытым небом. Сырье берется взаймы и возвращается в виде готового изделия. Но главным доходом дяди Фуршона и его подручного Муша, незаконного сына одной из его незаконных дочерей, была «охота» на выдр да бесплатные завтраки и обеды, которыми их кормили люди неграмотные, прибегавшие к талантам дяди Фуршона, когда им нужно было ответить на письмо или представить счет. Наконец, он умел играть на кларнете и совместно со своим другом, прозывавшимся Вермишелем, скрипачом из Суланжа, выступал на деревенских свадьбах или на больших балах в местном «Тиволи».

По-настоящему Вермишеля звали Мишель Вер, но каламбур, составленный из его имени и фамилии, настолько привился, что даже судебный пристав суланжского мирового суда Брюне писал в своих актах: «Мишель-Жан-Жером Вер, по прозвищу Вермишель, понятой». Вермишель, которого очень ценили как скрипача в старом бургундском полку, в благодарность за услуги дядюшки Фуршона выхлопотал и ему должность понятого, обычно достающуюся в деревне тому, кто умеет подписать свое имя. Таким образом, дядя Фуршон прикладывал свою руку в качестве понятого или свидетеля к судебным актам, которые г-н Брюне составлял в селениях Сернэ, Куш и Бланжи. Вермишель и Фуршон, уже двадцать лет связанные собутыльничеством, можно сказать, являлись общественной необходимостью.

Муш и Фуршон, которых соединил порок, как Ментора и Телемака некогда соединяла добродетель, странствовали вроде этих героев древности в поисках хлеба насущного, «panis angelorum» [1],— единственные латин-

---

[1] Хлеб ангелов *(лат.)*.

ские слова, еще сохранившиеся в памяти старого деревенского Фигаро. Они подъедали остатки в «Большом-У-поении» и окрестных поместьях, ибо даже в те годы, когда было много заказов, в самые удачные годы, в среднем никогда не могли выработать и трехсот шестидесяти саженей веревок. Прежде всего ни один торговец на двадцать лье в округе не доверил бы пеньки ни Фуршону, ни Мушу. Опережая чудеса современной химии, старик отлично умел превращать пеньку в благословенный сок винограда. Да, кроме того, тройные обязанности — общественного писца в трех сельских общинах, понятого при мировом суде и кларнетиста — сильно мешали, как он сам говорил, развитию его коммерческой деятельности.

Таким образом, Тонсар, льстивший себя приятной надеждой приобрести некоторое благосостояние, увеличив свой участок, обманулся в ожиданиях; зять-лентяй столкнулся с тестем-бездельником — случай довольно обычный. Ухудшению дел, несомненно, способствовало еще и то, что Тонсарша, красавица в деревенском вкусе, высокая и статная, не любила работы на открытом воздухе. Тонсар злился на жену за отцовское разорение и весьма дурно с ней обращался, вымещая на ней свои неудачи, что очень свойственно простому народу, который видит только следствие и редко додумывается до причины.

Находя, что супружеская цепь тяжеловата, Тонсарша постаралась сделать ее полегче. Она воспользовалась пороками Тонсара и забрала его в руки. Сама сластена и любительница спокойной жизни, она и в муже поощряла лень и обжорство. Прежде всего она снискала расположение генеральских слуг, и Тонсар, удовольствовавшись результатами, не стал упрекать ее за средства, к каким она прибегала. Его очень мало беспокоило, что делает его жена, раз ее дела идут ему на пользу. На подобных тайных соглашениях построена добрая половина всех супружеств. И вот Тонсарша открыла кабачок «Большое-У-поение», куда зачастили и охотники, и лесники, и эгская прислуга.

Управляющий мадемуазель Лагер, Гобертен, один из первых клиентов красавицы Тонсарши, подарил ей для привлечения посетителей несколько бочек превосходного

вина. Эти подношения, поступавшие регулярно, пока управляющий оставался холостым, а также слава о сговорчивости и красоте хозяйки, распространившаяся среди местных донжуанов, сильно увеличили клиентуру «Большого-У-поения». Тонсарша, сама любившая покушать, научилась прекрасно готовить, и, хотя ее таланты могли проявляться лишь на деревенских кушаньях: на заячьем рагу, соусе из дичи, рыбе по-матроссски и яичницах, она прослыла во всей округе великой мастерицей стряпать всякие горячие закуски, благодаря чрезмерному количеству пряностей вызывающие усиленную жажду. Не прошло и двух лет, как жена забрала Тонсара в руки и толкнула его на ту опасную наклонную дорожку, по которой он и сам готов был покатиться.

Этот бездельник самым беззастенчивым образом занимался браконьерством. Связи его жены с управляющим Гобертеном, с лесными сторожами и сельскими властями, а также временно ослабленный надзор обеспечивали Тонсару полную безнаказанность. Когда его дети подросли, он и их обратил в средство наживы, проявляя так же мало щепетильности в своих взглядах на их поведение, как и на поведение жены. У него было два сына и две дочери. Беспечной жизни Тонсара, который, как и его жена, жил изо дня в день, весьма скоро пришел бы конец, если бы он не ввел в доме своего рода воинскую повинность — работать на поддержание его личного благополучия, в котором, впрочем, имела свою долю и вся семья. К тому времени, когда дети были выращены за счет тех, у кого жена его умела вытягивать подарки, основные законы и бюджет «Большого-У-поения» складывались так: старуха мать Тонсара и две его дочери — Катрин и Мари — ходили в лес два раза в день и возвращались оттуда, согнувшись в три погибели под тяжестью огромной вязанки хвороста, доходившей до самых пяток и торчавшей на два фута выше головы. Сверху вязанки, правда, всегда лежал сухой хворост, зато внутри частенько были припрятаны срубленные молодые деревца. Тонсар в полном смысле слова запасался дровами на зиму в Эгском лесу. Отец и оба сына занимались браконьерством. С сентября по март Тонсар продавал зайцев, кроликов, куропаток, дроздов и косуль — всю дичь, которая не пошла

на собственную кухню,— в Бланжи и в Суланже, кантональном центре, куда обе дочери Тонсара поставляли молоко, ежедневно узнавая там новости взамен тех, что они привозили из Эгов, Сернэ и Куша. Когда уже нельзя было стрелять дичь, отец и оба сына ставили силки. Если охота была удачна, Тонсарша приготовляла паштеты и отсылала их на продажу в Виль-о-Фэ. В пору жатвы семь Тонсаров — старуха мать, оба сына, пока им не исполнилось семнадцати лет, обе дочери, старик Фуршон и Муш — подбирали на полях колосья и ежедневно приносили домой до шестнадцати буасо ржи, ячменя, пшеницы — словом, всякого зерна, годного на муку.

Обе коровы, которых сначала пасла по обочинам дорог младшая из дочерей, постоянно заходили в эгские луга; если казенные стражники или помещичьи сторожа, при всем своем добром желании не заметить потравы, все же ловили детей на месте преступления, родители колотили ребят или лишали лакомых кусочков, а поэтому у молодых Тонсаров выработалась совершенно исключительная способность издали различать шаги приближающихся врагов, и никогда уже их не захватывали с поличным. К тому же дружеские связи Тонсара и его супруги с достойными должностными лицами затуманивали последним зрение. Коровы, привязанные на длинных веревках, при первом же окрике послушно возвращались на общественное пастбище, нисколько не сомневаясь, что по миновании опасности смогут продолжать даровую трапезу на соседском лугу. С тех пор как Фуршон взял к себе своего незаконного внука Муша под предлогом его воспитания, коров пасла старуха Тонсар, дряхлевшая все больше и больше. Мари и Катрин заготовляли в лесу сено. Они знали все места, где росла особо нежная трава, дававшая прекрасное сено, срезали ее, сушили и сносили охапками в сарай; таким путем Тонсары почти полностью обеспечивали на зиму кормом двух коров, которых в погожие дни гоняли на хорошо знакомые полянки, где трава зеленеет круглый год. В некоторых уголках Эгской долины, как и во всякой местности, со всех сторон защищенной горами, встречаются урочища, где, как в Пьемонте или Ломбардии, трава растет и зимой. Такие луга, называ-

емые в Италии marciti, очень ценятся, но во Франции для них не требуется изобильного таяния снегов или льда; у нас явление это, очевидно, зависит от местных особенностей, от просачивающихся теплых вод.

За двух телят выручали обычно около восьмидесяти франков. Молоко, если отбросить период отела и отход молока на кормление телят, приносило примерно сто шестьдесят франков; кроме того, коровы снабжали хозяйство молочными продуктами. Поденной работой то там, то здесь Тонсар зарабатывал с полсотни экю[1] в год.

Кухня и проданное вино давали около ста экю чистой прибыли, так как крупные угощения бывали лишь изредка и в определенные времена года, к тому же заказчики пирушек заранее предупреждали Тонсаршу и ее мужа, закупавших тогда в городе немного мяса и прочую необходимую провизию. Вино собственного виноградника в обычные годы продавалось по двадцати франков за бочку, не считая тары, суланжскому трактирщику, с которым Тонсар вел постоянные дела. В особенно урожайные годы Тонсар получал со своего арпана двенадцать бочек, но обычно не больше восьми, и половину он оставлял для продажи в трактире. В тех краях, где разводят виноград, существует обычай «добора» гроздьев, оставшихся на лозах. Такой «добор» давал семейству Тонсаров еще около трех бочек вина, ибо Тонсары, не стесняясь, пользовались этим обычаем: не успевали хозяева закончить сбор винограда, все семейство кабатчика уже было тут как тут; совершенно так же налетали Тонсары и на хлебные поля, пока снопы еще стояли в копнах и ждали, когда их вывезут. Итак, трактирщик продавал по хорошей цене от семи до восьми бочек вина, как собранного с собственного виноградника, так и «добранного». Но из тех же средств «Большому-У-поению» приходилось покрывать убытки, вызванные аппетитом Тонсара и его жены, привыкших сладко есть и пить вино получше того, что шло на продажу; вино это доставлял им суланжский комиссионер в уплату за купленное у них. Следовательно, заработок семьи сводился примерно к девятистам франкам, так как, кроме всего прочего, Тонсары откар-

[1] Экю равнялось трем франкам.

мливали ежегодно двух свиней — одну для себя, другую — на продажу.

Рабочему люду и всем окрестным гулякам в конце концов весьма полюбился кабачок под вывеской «Большое-У-поение» — как благодаря талантам Тонсарши, так и благодаря приятельским отношениям, установившимся между семьей кабатчика и беднотой долины. Обе дочки, и та и другая замечательные красавицы, пошли по стопам матери. Да и давность существования трактира, основанного в 1795 году, окружила его в глазах сельских жителей своего рода ореолом. Все рабочие люди от Куша и до Виль-о-Фэ шли сюда, чтобы заключить сделки и послушать новости, которые выуживали дочери Тонсаров, Муш и Фуршон или рассказывал Вермишель и популярный в Суланже судебный пристав г-н Брюне, приезжавший сюда за своим понятым. Тут устанавливались цены на сено, на вино, на поденную и сдельную работу. Тонсар, безапелляционный судья во всех этих вопросах, давал советы за стаканом вина. Суланж считался городом, где местное общество развлекалось и только, а Бланжи был средоточием торговли, хотя его и затмил главный центр, Виль-о-Фэ, за двадцать пять лет выросший в столицу этой великолепной долины. Зато в Бланжи на рыночной площади торговали скотом, всякой живностью и зерном, и по тамошним ценам равнялась вся округа.

Тонсарша, которая больше сидела дома, сохранила свежесть, белизну лица, приятную полноту и не была похожа на женщин, работающих в поле, ибо те увядают быстро, как цветы, и в тридцать лет уже старухи. И надо сказать, супруга Тонсара любила принарядиться. Правда, щегольство ее сводилось к опрятности, но в деревне опрятность в одежде — уже роскошь. Дочери, одетые лучше, чем позволяли их скудные достатки, не отставали от матери. Платья они носили относительно изящные, а белье более тонкое, чем самые зажиточные крестьянки. В праздничные дни они красовались в нарядах, добытых бог весть какими средствами. Эгская дворня продавала им по сходной цене поношенные платья горничных, поистрепавшиеся в Париже, и, перешив их на себя, Мари и Катрин щеголяли обновами в отцовском трактире. Сестры, вольные, как цыганки, не

получали ни гроша от родителей, которые давали им только кров да пищу; обе девушки и старуха бабка спали на жалких койках на чердаке, и тут же, прямо на сене, как скотина, ночевали их братья. Ни отец, ни мать не задумывались над этой недопустимой близостью.

Железный век и век золотой более похожи друг на друга, чем это принято думать: в первом не боятся ничего, во втором боятся всего, но для общества результат, быть может, один и тот же. Присутствие старухи бабки, вызванное скорей нуждою, нежели предосторожностью, только усугубляло безнравственность.

Недаром аббат Бросет, изучив нравы своих прихожан, высказал однажды епископу следующее глубокомысленное замечание:

— Ваше преосвященство, они все сваливают на нищету, но, право же, крестьяне боятся утерять это оправдание своей распущенности.

Хотя всем было известно, какое Тонсары бессовестное и порочное семейство, однако никто не осуждал нравов, царивших в «Большом-У-поении». Приступая к настоящему рассказу, следует раз навсегда разъяснить людям, привыкшим к крепким устоям буржуазных семейств, что в крестьянском быту не очень-то щепетильны по части морали. Родители обольщенной дочери только в том случае взывают к нравственности, если обольститель богат и труслив. На сыновей, пока государство не отнимет их у семьи, в деревне смотрят, как на средство наживы. Корысть завладела всеми помыслами крестьян, после 1789 года в особенности; им не важно, законен ли тот или иной поступок, не безнравствен ли, а только выгоден ли он для них, или нет. Нравственность, которую отнюдь не следует смешивать с религией, начинается с достатка: деликатность чувств, которую мы наблюдаем в более высоких сферах, расцветает в душе человека только после того, как богатство позолотит его обстановку. Вполне честный и нравственный крестьянин — редкость. Любознательный читатель поинтересуется, почему это так. Вот основная причина, которой можно объяснить подобное положение вещей: в силу своего общественного назначения крестьяне живут чисто материальной жизнью, весьма близкой к дикарскому состоянию, чему способствует и постоянное общение

с природой. Труд, изнуряющий тело, отнимает у мысли ее очищающее действие, тем более у людей невежественных. И, наконец, как это высказал аббат Бросет, для крестьянина его нищета все оправдывает.

Никогда не забывая своих собственных интересов, Тонсар выслушивал жалобы каждого и руководил плутнями, выгодными для бедняков. Жена его, женщина с виду добрая, подстрекала местных мошенников своими речами и никогда не отказывала в одобрении и даже в помощи завсегдатаям трактира, что бы они ни затевали против господ. Так в этом кабаке — настоящем осином гнезде — поддерживалась неугасимая и ядовитая, жгучая и деятельная ненависть пролетария и крестьянина к хозяину и богачу.

Благополучие Тонсаров послужило весьма дурным примером. Каждый думал, почему бы и мне, как Тонсарам, не пользоваться дровами из Эгского леса и для стряпни и для отопления дома? Почему бы не накосить там травы для коровы и не настрелять дичи и для себя и на продажу? Почему бы, по примеру Тонсаров, ничего не сея, собирать урожай с чужих полей и чужих виноградников? Вот поэтому-то тайное воровство — порубка лесов и взимание налогов с чужих полей, лугов и виноградников — стало повальным явлением и вскоре превратилось как бы в законное право общин Бланжи, Куша и Сернэ, где находилось Эгское поместье. Язва эта по причинам, о которых будет сказано в свое время и в своем месте, поразила Эгское поместье гораздо сильней, чем владения Ронкеролей и Суланжей. Не подумайте, однако, что Тонсар, его жена, дети и старуха мать в один прекрасный день сознательно решили: «Давайте жить воровством, только, чур, не попадаться». Привычка к воровству развилась у них постепенно. Сначала Тонсары стали подбавлять к хворосту несколько свежесрубленных сучьев; затем они осмелели, воровство стало для них делом привычным, а кроме того, они узнали, что никто их не поймает, так как попустительство входило в планы, которые раскроются в ходе рассказа, и за двадцать лет семейство кабатчика научилось «промышлять» себе дрова, да и вообще почти все нужное для жизни. Началось с потрав, потом пошли злоупотребления при «доборе» колосьев и винограда. А раз уж эта

семейка и все прочие местные лодыри вошли во вкус четырех прав, завоеванных деревенской беднотой, нередко превращавшихся в открытый грабеж, то ясно, что отступиться от этих обычаев могла заставить только сила, превосходящая дерзость крестьян.

К тому времени, как начинается этот рассказ, Тонсару было лет пятьдесят; это был рослый и сильный мужчина, склонный к тучности, с черными курчавыми волосами, кирпично-красным лицом, усеянным лиловатыми пятнышками, глазами янтарного оттенка и оттопыренными ушами с широкой кромкой; рыхлый с виду, он отличался, однако, крепким телосложением; лоб у него был вдавленный, нижняя губа тяжело отвисла. Он скрывал свой истинный характер под личиной глупости, сквозь которую иногда поблескивал здравый смысл, походивший на ум, тем более что от тестя он перенял «подковыристую» (пользуясь словарем Фуршона и Вермишеля) речь. Приплюснутый нос, как бы подтверждающий поговорку «бог шельму метит», наградил Тонсара гнусавостью, такой же, как у всех, кого обезобразила болезнь, сузив носовую полость, отчего воздух проходит в нее с трудом. Верхние зубы торчали вкривь и вкось, и этот, по мнению Лафатера, грозный недостаток был тем заметнее, что они сверкали белизной, как зубы собаки. Не будь у Тонсара мнимого благодушия бездельника и беспечности деревенского бражника, он навел бы страх даже на самых непроницательных людей.

Если портретам Тонсара и его тестя и описанию кабачка отведены первые же страницы нашего повествования, то поверьте, что и Тонсар, и кабачок, и вся семейка занимают по праву это место. Прежде всего так обстоятельно обрисованный быт Тонсаров типичен для ста других крестьянских семейств, живущих в Эгской долине. Затем Тонсар, хотя он являлся только орудием в руках тех, кого снедала лютая и глубокая ненависть, имел огромное влияние на ход предстоящей битвы, так как был главным советчиком всех недовольных крестьян. В кабачок его, как это будет видно в дальнейшем, постоянно сходились все жаждущие боя, а сам он сделался их предводителем в силу страха, какой внушал местным жителям, и не столько своими делами, сколько тем, что от него можно было ждать чего угодно. Угрозы этого

браконьера вызывали такой страх, что ему никогда не приходилось их осуществлять.

У всякого явного или тайного восстания есть свое знамя. Знаменем мародеров, бездельников и пьянчуг стал грозный шест у калитки «Большого-У-поения». В трактире было весело, а веселье — редкая утеха, к которой стремятся как в городе, так и в деревне. Кроме того, на всем кантональном тракте длиною в четыре лье, иначе говоря, на протяжении трех часов езды, если ехать с поклажей, не было другого питейного заведения. Поэтому все направлявшиеся из Куша в Виль-о-Фэ непременно заворачивали в «Большое-У-поение» хотя бы для того, чтобы подкрепиться. Там часто бывали и эгский мельник, выполнявший обязанности помощника мэра, и его молодцы. Даже графские лакеи не брезговали этим вертепом, которому дочери Тонсара придавали много привлекательности, и через прислугу в трактире «Большое-У-поение» становилось известным все, что было известно самой прислуге, связывавшей замок с трактиром невидимыми нитями. Хоть ты осыпь прислугу милостями, хоть ты озолоти ее, она всегда будет держать руку народа. Дворня выходит из народа и стоит на его стороне. Этой же круговой порукой объясняется та недомолвка, которая проскользнула в последних словах выездного лакея Шарля, сказанных им журналисту у подъезда замка.

IV
ДРУГАЯ ИДИЛЛИЯ

— Ах, черт вас побери, папаша! — воскликнул Тонсар, увидя входящего тестя и полагая, что он заявился к нему на голодный желудок.— Раненько вы сегодня разинули пасть! Ничего здесь про вас не припасено... А как поживают ваши веревки? Просто даже удивительно, с вечера будто невесть сколько их приготовите, а наутро, глядишь, всего ничего! Давно бы вам пора свить веревочку покрепче да отправиться отдыхать на погост. Уж больно дорого вы нам обходитесь.

Мастеровой и крестьянин любят меткую шутку, сдобренную крепким словцом и без утайки выражающую мысль. В салонах тоже любят шутить. Только грубую

выразительность там заменяют остроумием,— вот и вся разница.

— Никаких папашей,— процедил старик,— разговаривай со мной, как с гостем. Подайте-ка мне бутылочку лучшего вина!

Говоря так, Фуршон стукнул блеснувшей, будто солнце, в его руке пятифранковой монетой по дрянному столу, к которому он присел; на стол этот страшно было глядеть, такой он был засаленный, весь в черных прожогах, винных пятнах и зарубинах. Услышав, как звякнула монета, Мари Тонсар, созданная, точно пиратский корвет для захвата «купцов», бросила на деда хищный взгляд, искрой сверкнувший в ее голубых глазах. Тонсарша, привлеченная звоном серебра, вышла из спальни.

— Вечно ты к отцу придираешься,— напустилась она на Тонсара.— А ведь он, почитай, уже год, как хорошо зарабатывать стал; дай-то бог, чтобы честным путем! А ну, покажи...— сказала она, подскочив к Фуршону и вырвав у него из рук монету.

— Пойди посмотри, Мари,— важно сказал Тонсар,— там на верхней полке еще осталось бутылочное вино.

Вино в деревне все одинаково по качеству, но одно и то же вино продается там в виде двух сортов, то как разливное, то как бутылочное.

— Откуда это у вас? — спросила Тонсарша отца, пряча монету в карман.

— Филиппина, ты плохо кончишь! — сказал старик, качая головой и не пытаясь вернуть свои деньги.

Фуршон, конечно, давно понял, что бороться с таким страшным зятем и дочерью бесполезно.

— Вот и еще за одну бутылочку вы с меня сто су взяли,— промолвил он с горечью,— ну, да это последняя! Перейду от вас в «Кофейню мира».

— Молчи, папаша,— возразила пышная, белотелая трактирщица, похожая на римскую матрону.— Тебе рубашка нужна, чистые штаны, новая шляпа, да и жилетку носить не мешало бы!

— Сколько раз я тебе говорил, что это для меня разорение! — воскликнул старик.— Будут думать, что я богат, и никто ничего не подаст.

Появление белокурой Мари с бутылкой вина прервало красноречие старика, принадлежавшего к той породе

людей, которые не боятся слов и высказывают любую мысль, как бы ужасна она ни была.

— Ну, так как же, не скажете, откуда у вас деньги берутся? — спросил Тонсар.— Мы бы тоже не прочь!..

Продолжая налаживать силок, свирепый трактирщик исподтишка приглядывался к тестю и вскоре усмотрел, что у старика в кармане штанов обрисовывается толстый кружок второй пятифранковой монеты.

— За ваше здоровьице!.. Богатеем понемножку,— промолвил дядя Фуршон.

— Кабы вы захотели, вы бы давно разбогатели,— сказал Тонсар,— смекалки у вас хватит!.. Да только вот горе: черт наградил вас уж очень широкой глоткой, все в эту дыру и уходит!

— Ну, так и быть, скажу. Я поймал на *выдрю* того барина, что приехал в замок из Парижа,— вот и все.

— Кабы побольше народу приезжало смотреть на Авонские ключи, вы бы, дедушка Фуршон, богачом стали,— сказала Мари.

— Да, верно,—ответил старик, допивая бутылку.— Только вот, играючи с *выдрями*, я до того доигрался, что они осерчали, и одна кинулась мне прямо под ноги, теперь с нее поболе двадцати франков барыша будет.

— Бьюсь об заклад, папаша, что вы смастерили свою выдру из пакли! — сказала Тонсарша, лукаво поглядывая на отца.

— Дай мне крепкие штаны и помочи с каемкой, чтобы не очень срамить Вермишеля на подмостках в «Тиволи» — потому как дядя Сокар всегда на меня ворчит,— и я тебе, дочка, оставлю монету; это ты с паклей хорошо придумала. Может, гость из замка опять на эту удочку пойдет,— пожалуй, он с того случая приохотился к *выдрям!*

— Сходи-ка принеси нам еще бутылочку,— сказал Тонсар дочери.— Кабы у папаши действительно была выдра, он показал бы ее,— продолжал трактирщик, обращаясь к жене и стараясь подзадорить Фуршона.

— Побаиваюсь я, как бы она не попала на жаркое к вам в печку! — ответил старик, устремив на дочь маленькие зеленые глазки и подмигивая ей.— Филиппина уже стибрила мою монетку. А сколько вы у меня их повытягивали, этих самых монеток, то на кормежку, то

на одежку!.. А все меня попрекаете: и пасть-то я разинул и хожу-то я оборванцем.

— Продали же вы, папаша, свое последнее платье, чтобы попить «горячительного» в «Кофейне мира»! — сказала Тонсарша.— Недаром же Вермишель хотел вам помешать...

— Вермишель?.. А кого же я угощал? Нет, Вермишель не способен предать своего друга. Нет, это сделала его шестипудовая старая свинья о двух ногах. И как он не совестится называть ее женой!

— Он ли, она ли, а может быть, Бонебо...— заметил Тонсар.

— Бонебо? — возмутился Фуршон.— Да он сам постоянно торчит в кофейне... Коли это сказал Бонебо, так я ему... Ну, ладно же...

— Ну, и что из того, что вы продали свои вещи, старый гуляка? Ну, продали и продали, вы же совершеннолетний! — продолжал Тонсар, хлопая старика по коленке.— Валяйте, не давайте спуску моим бочкам, прополощите-ка себе горлышко. Папаша госпожи Тонсар имеет на это полное право. Все лучше, чем таскать свои денежки к Сокару!

— И подумать только, что вот уже пятнадцать лет, как пляшут под вашу музыку в «Тиволи», а вы до сих пор не разнюхали, как приготовляет Сокар свое «горячительное», и это при вашей-то пронырливости! — выговаривала дочь отцу.— А ведь узнай вы этот секрет, мы стали бы такими же богачами, как Ригу!

В Морване и в той части Бургундии, которая протянулась у его подножия по направлению к Парижу, глинтвейн — «горячительное» вино, которым Тонсарша попрекнула дядю Фуршона,— напиток довольно дорогой, занимающий весьма видное место в жизни крестьянина; его более или менее искусно изготовляют бакалейные торговцы и содержатели питейных заведений и кофеен. Этот благословенный напиток, составленный из хорошего вина, сахара, корицы и разных пряностей, лучше всех настоек или водок, известных под названием «ратафии», «зверобоя», «перцовки», «черносмородинной», «желудочной настойки», «анисовки», «солнечного спирта» и прочего. «Горячительное» вино встречается вплоть до самых границ Франции и Швейцарии. На Юре, в диких

горных уголках, куда иной раз забредет настоящий турист, содержатели гостиниц, доверяясь словам коммивояжеров, именуют этот, кстати сказать, превосходный продукт «сиракузским вином», и всякий, кто нагуляет себе волчий аппетит, поднимаясь на вершины, с великим удовольствием заплатит три-четыре франка за бутылку «горячительного». Морванские и бургундские жители рады любому предлогу — пустячной боли, незначительному нервному расстройству, только бы выпить «горячительного». Женщины во время, до и после родов запивают им посыпанные сахаром гренки. «Горячительное» разорило много крестьянских семейств. И не одному мужу приходилось «поучить» жену, пристрастившуюся к этому напитку.

— Э! Тут ничего не разнюхаешь! — ответил Фуршон.— Сокар всегда крепко-накрепко запирается, когда готовит «горячительное» вино. Он и своей покойнице-жене ничего про это дело не открыл. Все, что ему надо, он из Парижа выписывает.

— Не приставай ты к отцу! — крикнул Тонсар.— Не знает... Ну и не знает! Нельзя же все знать!

Фуршон сразу встревожился, заметив, как смягчились речь и выражение лица его зятя.

— Что-то ты собираешься у меня украсть! — простодушно заметил старик.

— В нажитом мною добре нет ничего незаконного,— сказал Тонсар,— и когда я у вас, папаша, что-нибудь беру, так это идет в счет обещанного вами приданого.

Фуршон, успокоенный этой грубой прямотой, опустил голову, как человек, побежденный и убежденный.

— Вот славный силочек,— продолжал Тонсар, подсаживаясь к тестю и кладя ему силок на колени.— Понадобится дичь в замке, ну, мы им и продадим их же собственную. На то и господь бог, чтоб нам, беднякам, помогать...

— Крепкая работа,— сказал старик, разглядывая зловредную ловушку.

— Дайте и нам заработать,— сказала Тонсарша.— И мы, папаша, хотим получить свой кусочек от эгского пирога!

— Ох, уж эти болтуньи! — промолвил Тонсар.— Если я когда-нибудь угожу на виселицу, то, будьте уверены,

не за ружейную пулю, а за пулю, которую отольет ваша дочка...

— Может, Эги и будут распроданы по кускам, да только вы тут ничем не поживитесь,— ответил Фуршон.— Вот уж тридцать годков, как дядя Ригу высасывает мозг у вас из косточек, а вы все еще не расчухали, что нынешние буржуа будут почище прежних господ. В этом дельце, деточки вы мои, всякие Судри, Гобертены и Ригу заставят вас поплясать под песенку «Табачок мы держим, да не про тебя!..»— любимая это песенка всех богачей. Так-то! Крестьянин навсегда крестьянином и останется! Разве вы не видите (эх, да ничего вы не смыслите в политике!..), что правительство только для того акциз на вино и накинуло, что хочет отнять у нас последние гроши, прищемить и держать в нищете? Буржуа и правительство — это все одно. Что с ними бы сталось, кабы мы все разбогатели? Сами они, что ли, стали бы пахать? Сами стали бы хлеб убирать?.. Им нужны бедняки! Я сам был богатым с десяток годков и хорошо помню, что я думал о голытьбе!..

— А все-таки надо нам с ними заодно действовать,— сказал Тонсар,— раз они намерены поделить на участки большие имения; а там мы возьмемся и за Ригу. Будь я на месте Курткюиса, которого он живьем съел, я бы уж давно рассчитался с ним другой монетой, а не той, которой платит ему этот бедняга...

— Это вы правильно,— ответил Фуршон.— Дядя Низрон один из всех еще республиканцем остался, так вот он говорит: «Жизнь у народа тяжелая, но народ не умрет,— за него время!»

Фуршон погрузился в задумчивость, и Тонсар воспользовался этим, чтобы забрать обратно свой силок; но беря его, он улучил минуту, пока дядя Фуршон подносил стакан к губам, быстро надрезал ножницами карман его штанов и наступил ногой на монету, упавшую на сырой пол, куда посетители выплескивали подонки из своих стаканов. Эта быстрая и ловкая кража все же была бы, вероятно, замечена стариком, но как раз в эту минуту появился Вермишель.

— Тонсар, вы не знаете, где обретается папаша?— крикнул он из-за забора.

Три действия — оклик Вермишеля, кража монеты и осушение стакана произошли одновременно.

— Здесь, ваше благородие! — отозвался дядя Фуршон и, подав руку Вермишелю, помог взойти на крыльцо.

Из всех бургундских физиономий самой бургундской показалась бы вам физиономия Вермишеля. Она была не то что красной, а пунцовой. На ней, как в иных местах под тропиками на земном шаре, как будто разбросаны были потухшие вулканчики, оставившие на лице какую-то зеленоватую плесень, которую Фуршон довольно поэтично называл «винными цветочками». В этой пламенеющей роже, с непомерно распухшими от непробудного пьянства чертами, было нечто циклопическое: правая сторона освещалась ярко сверкавшим глазом, левая же казалась в тени из-за желтоватого бельма на зрачке. Рыжие, всегда взъерошенные волосы и борода, как у Иуды, придавали Вермишелю грозный вид, хотя в действительности он был человеком кротким. Нос, трубой, походил на вопросительный знак, а рот, растянутый до ушей, казалось, всегда говорил, даже когда пребывал в закрытом состоянии.

Вермишель был невысок ростом, носил башмаки с железными подковками, плисовые штаны бутылочного цвета, старый жилет в разноцветных заплатках, как будто сшитый из лоскутного одеяла, куртку грубого синего сукна и серую широкополую шляпу. Всю эту роскошь, предписанную городом Суланжем, где Вермишель совмещал должности привратника в ратуше, барабанщика, тюремного сторожа, скрипача и понятого, поддерживала жена Вермишеля, грозная противница философии Рабле. Эта усатая и мужеподобная особа имевшая метр в поперечнике и сто двадцать килограммов веса, но отличавшаяся большим проворством, крепко забрала в руки своего супруга; в пьяном виде он покорно терпел от нее побои, да и в трезвом не очень им противился. Поэтому-то дядя Фуршон с презрением говорил об одежде Вермишеля: «Лакейская ливрея».

— Только заговоришь о солнце, а лучи его тут как тут,— сказал Фуршон, повторяя шутку, вызванную сияющей рожей Вермишеля, в самом деле походившей на одно из тех золотых светил, какие нередко малюют на трактирных вывесках в провинции.— Ох, уж, верно, ма-

дам Вермишель заметила, что у тебя спина пыльная, вот ты и удрал от своих четырех пятых...— продолжал он,— ведь нельзя же назвать эту женщину твоей половиной? Что привело тебя сюда спозаранку, отставной козы барабанщик?

— Да все те же государственные дела! — ответил Вермишель, явно привыкший к подобным шуткам.

— Так-с, стало быть, торговые делишки в Бланжи идут неважно и нам придется опротестовать несколько векселечков,— заметил дядя Фуршон, наливая стакан вина своему другу.

— «Сам» вслед за мной идет,— сказал Вермишель, пожимая плечами.

Слово «сам», которым рабочие часто называют хозяина, входило в словарь Вермишеля и Фуршона.

— И чего господин Брюне здесь не видал? — спросила Тонсарша.

— И-и! Господи боже мой! — воскликнул Вермишель.— Вы ему тут за последние три года даете дохода больше, чем сами того стоите... Здорово вас прижимает эгский хозяин, ловко действует Обойщик... Дядя Брюне так и говорит: «Нам бы сюда еще три таких помещика, и мое состояние было бы обеспечено!..»

— Чего они еще там придумали, чтоб бедный народ поприжать? — спросила Мари.

— Ей-богу, не глупо придумали! — отозвался Вермишель.— Вам в конце концов придется уступить... Что тут поделаешь! Вот уж скоро два года, как они забрали над вами силу, у них три сторожа да конный объездчик, все старательные, что твои муравьи, и еще казенный стражник, злющий, как собака. Полиция тоже теперь готова по каждому пустяку мчаться им на помощь... Они вас прижмут...

— Чего там! — сказал Тонсар.— Мы и без того прижаты... Легко сломать дерево, а трава стелется...

— Не очень-то полагайся на это,— возразил зятю дядя Фуршон,— за тобой земелька и дом...

— А до чего же вас любят эгские господа,— продолжал Вермишель,— с утра и до вечера только о вас и думают! Они так рассудили: «Ихняя скотинка травит наши луга, ну, мы и отберем у них скотинку,— не сами же они будут жрать траву на наших лугах». А потому как на каж-

дого из вас судебный приговор есть, они приказали приставу отобрать у вас коров. Сегодня утречком мы начнем с Куша: заберем коров у тетки Бонебо, у тетки Годэн, у Митанши...

Как только Мари, возлюбленная Бонебо, сына старухи — владелицы коровы, услышала фамилию Бонебо, она тут же подмигнула отцу с матерью и выскочила в виноградник. Как змея, шмыгнула она в дыру в изгороди и помчалась к Кушу с быстротой преследуемого зайца.

— Добьются они того, что им кости переломают,— спокойно сказал Тонсар,— а жалко: матери им новых не понаделают.

— Кто знает, а может, и понаделают,— промолвил дядя Фуршон.— Только, видишь ли какая оказия, Вермишель,— мне раньше как через час с вами никак нельзя пойти, у меня важнейшее дело в замке.

— Важнее трех подписей, по пяти су за каждую? Еще папаша Ной сказал: «Не плюй в колодец».

— Опять же говорю тебе, Вермишель, что мне по торговым моим делам надо побывать в замке,— повторил старик Фуршон, напуская на себя смешную важность.

— А даже не будь этого,— сказала Тонсарша,— не лучше ли было бы папаше временно улетучиться? Да неужто вам хочется разыскать коров?

— Господин Брюне — человек не злой, ему бы, право, куда спокойней найти на месте коров одни навозные лепешки. Такому человеку, как он, приходится иной раз ездить по ночам, вот он и ведет себя с оглядкой.

— И хорошо делает, коли так,— сухо заметил Тонсар.

— Поэтому-то,— продолжал Вермишель,— он так и сказал господину Мишо: «Я поеду, как только кончится присутствие». Кабы ему хотелось найти коров, он бы поехал завтра в семь утра. Но ведь господину Брюне тоже очень упираться не приходится. Мишо два раза не проведешь, у него собачий нюх! У, прямо разбойник!

— Этому бандитскому племени так бы у себя в армии и торчать,— сказал Тонсар,— его только на неприятеля и спускать... Хотел бы я, чтобы он напоролся на меня,— пусть он себя называет старым воякой наполеоновской гвардии, а думаю я, что, случись нам подраться, у меня побольше его шерстки в когтях останется.

— Да! А где же афиши к суланжскому празднику? — обратилась Тонсарша к Вермишелю.— Ведь уже восьмое августа.

— Вчера отнес печатать в Виль-о-Фэ к господину Бурнье,— ответил Вермишель.— У мадам Судри говорили, что на озере фейерверк будет.

— Вот наберется народу-то! — воскликнул Фуршон.

— Славные деньги для Сокара, коли не будет дождя,— с завистью сказал трактирщик.

Тут со стороны Суланжа послышался конский топот, и минут через пять судебный пристав уже привязывал свою лошадь к столбу, специально врытому возле калитки, в которую проходили коровы. Затем он сам показался в дверях «Большого-У-поения».

— Ну, ну, ребятки, надо поторапливаться,— проговорил он, делая вид, что очень спешит.

— Ах, господин Брюне,— сказал Вермишель.— Сегодня один понятой отлынивает... Дядя Фуршон капельку заболел...

— Знаем мы его капельки! — ответил исполнитель.— Но закон вовсе не обязывает его быть трезвым.

— Уж извините меня, господин Брюне,— выступил Фуршон,— меня дожидаются по одному делу в Эгах, у меня там приторговывают *выдрю*...

Брюне — одетый в черное, сухонький, бледный, курчавый человечек иезуитского вида, с желтоватыми глазами, плотно сжатым ртом, остреньким носиком и осипшим голосом — представлял собой редкое явление: у него и лицо, и повадки, и все свойства характера вполне соответствовали его профессии. Он так хорошо знал все законы, или, вернее, все виды крючкотворства, что был одновременно и пугалом и советчиком кантона и пользовался известной популярностью среди крестьян, с которых обычно брал взятки натурой.

Все эти положительные и отрицательные свойства, равно как и его оборотистость, привлекали к нему местную клиентуру, не в пример его собрату мэтру Плиссу, о котором речь впереди. В мировых судах глухих деревенских уголков нередко случается, что из двух судебных приставов один делает буквально все, а другой ровно ничего.

— Видно, забрало его за живое? — спросил Тонсар щуплого дядюшку Брюне.

— А ты как думаешь? Очень уж вы его здорово обираете, волей-неволей будешь защищаться! — ответил пристав.— Все эти ваши дела кончатся скверно: вот погодите, вмешаются власти.

— Стало быть, нам, беднякам, приходится подыхать? — спросила Тонсарша, поднося судебному исполнителю на блюдечке стаканчик водки.

— Беднякам можно подыхать, в них недостатка не будет,— сентенциозно заметил Фуршон.

— Уж очень вы лес опустошаете! — стоял на своем Брюне.

— Подумаешь, столько разговора из-за каких-то паршивых вязанок хвороста,— огрызнулась Тонсарша.

— Мало повырезали богачей в революцию, вот и весь сказ,— заключил Тонсар.

В это время раздался шум, совершенно непонятный и потому особенно страшный: шуршание листьев и ветвей, волочащихся по земле, торопливые шаги убегающего человека, а все эти звуки покрывал топот ног преследователя, звяканье оружия, громкие крики двух голосов — мужского и женского, столь же различных, как и шаги. Сидевшие в кабаке догадались, что мужчина гнался за женщиной, но почему?.. Неизвестность длилась недолго.

— Это мать,— сказал, быстро вскакивая, Тонсар,— ее свиристелка!

Тут распахнулась дверь и, преодолев усилием воли, никогда не покидающей контрабандиста, последнее препятствие — крутую лестницу,— в кабачок влетела и растянулась во весь рост бабка Тонсар. Она задела за притолоку огромной вязанкой хвороста, которая с грохотом рассыпалась по полу. Все отскочили. Столы, бутылки и стулья, задетые сучьями, полетели в разные стороны. Если бы обвалилась сама лачуга, и то шума было бы меньше.

— Ой, батюшки, сейчас помру! Убил меня злодей!

Вслед за старухой в дверях показался лесник в зеленом суконном костюме, в шляпе, обшитой серебряным галуном, с саблей на кожаной перевязи, украшенной гербами Монкорне и Труавилей, одним над другим, в крас-

ном солдатском жилете и кожаных гетрах выше колен; его появление объяснило крики и бегство старухи.

После минутного колебания лесник сказал, глядя на Брюне и Вермишеля:

— У меня есть свидетели.

— Свидетели чего?..— спросил Тонсар.

— В вязанке у нее десятилетний дубок, распиленный на кругляки... Это — нарушение закона!

При слове «свидетель» Вермишель счел за благо выйти в виноградник — подышать свежим воздухом.

— Свидетели чего?.. Что ты говоришь? — повторил Тонсар, став перед лесником. Тонсарша тем временем поднимала свекровь.— Убирайся-ка отсюда подобру-поздорову, Ватель! Можешь составлять протоколы и хватать людей на дороге, там твое право, разбойник, а отсюда уходи. Мой дом, надо думать, принадлежит мне. И угольщик — хозяин у себя дома...

— Я поймал ее на месте преступления. Идем со мной, старая.

— Арестовать мою мать у меня в доме,— да какое ты имеешь на это право? Мое жилище неприкосновенно! Уж это-то мне хорошо известно. Есть у тебя приказ об аресте за подписью следователя, господина Гербе? Сюда без судебного постановления ты не войдешь! Ты еще не судебное постановление, хоть и присягал на суде уморить нас с голоду, проклятый лесной сыщик!

Разъяренный лесник попытался силой завладеть вязанкой, но бабка, похожая на уродливую черную мумию, наделенную движениями, вроде той старухи, что изобразил Давид на картине «Сабинянки»,— закричала:

— Не тронь, не то глаза выцарапаю!

— Ну, тогда развяжите вязанку в присутствии господина Брюне,— сказал лесник.

Хотя судебный пристав и напустил на себя равнодушный вид, который вырабатывается у чиновников юстиции, ко всему привычных, все же он подмигнул трактирщице и ее мужу, давая этим понять: «Скверное дело!» Старик Фуршон, со своей стороны, весьма выразительно посмотрел на дочь и пальцем указал на кучу золы, скопившуюся в очаге. Тонсарша сразу смекнула, какая опасность грозит ее свекрови, поняла смысл отцовского совета и, схватив горсть золы, бросила ее в глаза леснику. Ватель

взвыл от боли; на минуту он потерял зрение, Тонсар же, наоборот, как бы прозрел, он вытолкал Вателя на кривые ступени лестницы, где сослепу легко было оступиться, и действительно лесник скатился до самой дороги, выронив из рук ружье. В мгновенье ока Тонсары распотрошили вязанку, вынули кругляки и припрятали их с не поддающимся описанию проворством. Брюне, не желая быть свидетелем этой предвиденной им операции, бросился к леснику, помог ему встать, усадил на откосе, затем побежал, чтобы смочить носовой платок и промыть глаза пострадавшему, который, охая от боли, пытался дотащиться до ручья.

— Ватель, вы сами виноваты,— сказал ему Брюне.— Какое вы имеете право входить в чужой дом...

Глаза беззубой сгорбленной старушонки метали молнии, она вышла на порог, подбоченилась и, брызжа слюной, начала ругаться на всю деревню:

— Так тебе и надо, мерзавец! Чтоб тебе на том свете ни дна ни покрышки! Ишь, что на меня наговаривает! Это я-то ворую лес? Да честнее меня женщины во всей деревне не сыщешь! И еще гнался за мной, как за лютым зверем! Чтоб у тебя буркалы лопнули, мы бы хоть вздохнули. Лиходеи вы наши, и ты и твои приятели, невесть что выдумываете, только и знаете, что хозяина на нас натравлять!..

Судебный пристав тем временем промывал глаза леснику и, ухаживая за ним, всячески ему доказывал, что с точки зрения законности он был не прав.

— У, ведьма! И задала же она нам работы! — сказал наконец Ватель.— С самой ночи сидит в лесу...

А в кабаке каждый приложил свою руку к скорейшей уборке спиленного дубка, и вскоре все было приведено в порядок. В дверях показался Тонсар и свысока заявил:

— Слушай, Ватель... коли ты еще раз попробуешь ворваться ко мне, то познакомишься с моим ружьем. Ты плохо знаешь свое дело. Но как-никак, а ты упарился, и, если хочешь выпить стаканчик, тебе поднесут; да кстати убедишься, что у матушки в вязанке нет ни щепочки незаконного дерева,— одни только сухие прутья.

— Сволочь!..— шепнул судебному приставу лесник, задетый за живое этими насмешками, которые жгли его больше, чем зола, разъедавшая ему глаза.

В эту минуту у калитки «Большого-У-поения» появился Шарль, тот самый выездной лакей, которого посылали на розыски Блонде.

— Что с вами случилось, Ватель? — спросил он.

— Да вот какая история,— ответил лесник, вытирая глаза, которые он только что промывал, окунув все лицо в ручей.—У меня здесь завелись должники, и я не я буду, если они не проклянут тот день, когда появились на божий свет.

— Раз уж дело принимает такой оборот,— холодно процедил Тонсар,— то скоро, Ватель, вы убедитесь, что в Бургундии народ не трусливый!

Ватель удалился. Мало интересуясь разрешением этой загадки, Шарль заглянул в кабачок.

— Ступайте в замок вместе с выдрой, если она у вас на самом деле есть,— сказал он дяде Фуршону.

Старик поспешно вскочил и последовал за Шарлем.

— А где же выдра? — спросил Шарль с улыбкой сомнения.

— Вон там,— сказал старик, направляясь к Туне.

Так называется речушка, в которую спускают избыток воды из мельничного пруда и прудов Эгского парка. Туна течет вдоль всего кантонального тракта, впадает в небольшое Суланжское озеро, а оттуда в Авону, по пути снабжая водой мельницы и пруды поместья Суланж.

— Вот она, я ее припрятал в речке, с камушком на шее.

Наклонившись за выдрой и снова поднявшись, старик почувствовал, что монета исчезла; серебро бывало редким гостем в его кармане, и не заметить недостачу монеты дядя Фуршон не мог.

— Ах, подлецы! — воскликнул он.— Я охочусь за выдрой, а они охотятся за мной!.. Весь мой заработок отбирают, да еще доказывают, что это мне же на пользу. Еще бы не на пользу! Кабы не бедняжка Муш, единственное мое утешение на старости лет, я бы давно утопился. Дети — разорение отцов. Вы не женаты, господин Шарль? Никогда не женитесь! По крайней мере не будете себя упрекать, что народили детей себе на горе... А я-то рассчитывал купить на эти деньги кудели,— вот она и раскуделилась, моя кудель! Тот барин, славный

такой, дал мне десять франков, ну, значит, моя *выдра* вздорожает.

Шарль привык не доверять дяде Фуршону и воспринял его жалобы, на этот раз вполне искренние, как подготовку к тому, что он на своем лакейском языке называл «набивать цену»; он имел глупость обнаружить свое подозрение улыбкой, которая не ускользнула от хитрого старика.

— Смотрите, дядя Фуршон, подтянитесь! Вам придется разговаривать с самой барыней,— сказал он, увидя, как пылают нос и щеки старика.

— Я свое дело знаю, Шарль, и могу это доказать. Коль угостишь меня в людской остаточком завтрака и одной-другой бутылочкой испанского вина, тогда я тебе скажу три словечка, которые уберегут тебя от встрепки...

— Скажите, и барин распорядится, чтоб Франсуа поднес вам стакан вина,— ответил лакей.

— Твердо?

— Твердо.

— Так вот: тебе случается беседовать с моей внучкой Катрин под Авонским мостом; Годэн ее любит, он вас видел и сдуру приревновал... Я говорю «сдуру», потому что у крестьянина не должно быть этаких чувств, они дозволены только богатым. И коли в день суланжского праздника ты пойдешь с ней плясать в «Тиволи», тебе там, пожалуй, напляшут так, что ты и не обрадуешься!.. Годэн — парень завистливый и злой, ему ничего не стоит переломать тебе руки и ноги, да так, что ты не будешь знать, на кого и в суд подавать.

— Это дороговато! Катрин — девушка красивая, но такой цены не стоит,— сказал Шарль.— И чего Годэн злится! Другие же не злятся.

— Он ее любит, жениться хочет...

— Вот бита-то будет!.. — усмехнулся Шарль.

— Это еще как сказать...— заметил старик.— Она вся в мать, а Тонсар на жену ни разу не замахнулся рукой, побаивается, как бы она не поддала ему ногой. Женщина расторопная, бойкая, всегда в доме голова... Да потом, как ни силен Годэн, а попадет под горячую руку, Катрин ему всыплет.

— Вот вам, дядя Фуршон, сорок су, выпейте за мое

здоровье на тот случай, если нам не удастся побаловаться аликантским вином.

Опуская монету в карман, дядя Фуршон отвернулся, чтобы скрыть от Шарля веселую ироническую усмешку, от которой не мог удержаться.

— Ох уж эта Катрин, такая потаскуха! — продолжал старик.— А как малагу любит! Ты бы ей, дурень, сказал, чтоб пришла в замок отведать малаги.

Шарль посмотрел на дядю Фуршона с простодушным восхищением, даже не подозревая, как важно было для врагов генерала подослать в замок еще одного соглядатая.

— Генерал, наверное, радуется? — спросил старик.— Крестьяне теперь притихли. Что он говорит? По-прежнему доволен Сибиле?

— Один только господин Мишо придирается к господину Сибиле. Хвастается, что добьется, чтобы его уволили.

— Все зависть! — заметил Фуршон.— Об заклад побьюсь, что и ты был бы рад, если бы рассчитали Франсуа, а тебя заместо него назначили старшим камердинером.

— Еще бы! Он тысячу двести франков получает,— сказал Шарль.— Только его нельзя рассчитать, он знает все тайны генерала.

— Как жена Мишо знала все тайны барыни,— подхватил Фуршон, жадно впиваясь в глаза Шарля.— Скажи-ка мне, паренек, у барина и барыни отдельные спальни?

— Ну, понятно, отдельные! А то барин разве любил бы так барыню? — ответил Шарль.

— А больше ты ничего не знаешь? — спросил Фуршон.

Однако разговор пришлось прекратить, так как Шарль и Фуршон уже проходили под окнами кухни.

V

ВРАГИ ЛИЦОМ К ЛИЦУ

В начале завтрака старший камердинер Франсуа, подойдя к Блонде, сказал вполголоса, однако достаточно громко, чтобы услышал граф:

— Сударь, мальчишка от дяди Фуршона пришел, говорит, выдру-то они поймали, и спрашивает, угодно ли вам ее купить, не то они отнесут ее супрефекту в Вильо-Фэ.

Эмиль Блонде при всей своей опытности по части мистификаций не мог скрыть смущения и покраснел, словно девица, выслушивающая несколько вольный анекдот, развязка которого ей известна.

— А, так вы сегодня поохотились на выдру с дядей Фуршоном! — воскликнул генерал, заливаясь хохотом.

— В чем дело? — спросила графиня, обеспокоенная смехом мужа.

— Раз такой умный человек попался на удочку дяди Фуршона,— продолжал генерал,— отставному кирасиру нечего краснеть, что и он тоже поохотился на эту выдру, удивительно похожую на третью лошадь, за которую почта берет с нас прогоны, хотя лошади этой мы и в глаза не видим.— И сквозь раскаты вновь одолевшего его хохота генерал проговорил: —Теперь не удивляюсь, что вы сменили сапоги и панталоны,— значит, вам пришлось поплавать... Я оказался менее легковерен, в воду не полез. Ну, да оно и понятно, мне до вас далеко.

— Вы забываете, мой друг,— заметила г-жа де Монкорне,— что я не знаю, о чем идет речь.

После этих слов, в которых слышалась обида за сконфуженного Блонде, генерал сразу прекратил шутки, и журналист сам рассказал про свою охоту на выдру.

— Но,—заметила графиня,—если эти бедняки в самом деле поймали выдру, они не так уж виноваты.

— Конечно! Только вот уже десять лет, как никто не видывал здесь выдр,— продолжал безжалостный генерал.

— Ваше сиятельство,— сказал Франсуа,— мальчишка божится, что поймали...

— Если это верно, я куплю,— сказал генерал.

— Господь бог не на веки веков изгнал выдр из Эгов,— заметил аббат Бросет.

— О господин кюре,— воскликнул Блонде,— если вы напустите на меня и господа бога...

— А кто пришел? — заинтересовалась графиня.

— Муш, ваше сиятельство, тот мальчишка, что всегда ходит с дядей Фуршоном,— ответил камердинер.

— Приведите его,— сказал генерал и добавил, обращаясь к графине:— Если вы, конечно, разрешите. Может быть, он вас позабавит.

— Надо же по крайней мере узнать, в чем дело,— ответила графиня.

Через несколько минут вошел Муш во всей красе своих жалких отрепьев, едва прикрывавших наготу. Глядя на это живое олицетворение нищеты посреди роскошной столовой, где стоимость любого трюмо на всю жизнь сделала бы богачом такого мальчишку, разутого и раздетого, с голой грудью и обнаженной всклокоченной головой, нельзя было не поддаться чувству сострадания. Муш пожирал глазами, сверкавшими, как два уголька, богатое убранство комнаты и изобильные яства на столе.

— У тебя нет матери? — спросила г-жа де Монкорне, не находя иного объяснения подобной наготе.

— Нет, барыня. Мамка померла с горя, не дождавшись отца, а он ушел на войну в двенадцатом году, не женившись на ней по бумагам, и там, извините, замерз... А есть у меня дедушка Фуршон, человек хороший, хоть и выколачивает из меня иной раз душу.

— Как могло случиться, мой друг, что в ваших владениях живут столь несчастные люди? — спросила графиня, взглянув на генерала.

— Ваше сиятельство,— ответил кюре,— крестьяне сами виноваты в том, что они несчастны. Граф преисполнен добрых намерений; но нам приходится иметь дело с людьми, лишенными всякого религиозного чувства; они помышляют только о том, чтобы жить на ваш счет.

— Но, дорогой господин кюре,— заметил Блонде,— ведь это ваше дело наставить их на путь истины.

— Сударь,— ответил аббат Бросет, повернувшись к Блонде,— его преосвященство отправил меня сюда, словно миссионера в страну дикарей; но, как я имел честь ему доложить, к французским дикарям никак не подступишься: они поставили себе за правило нас не слушать, между тем как американских дикарей можно чем-нибудь заинтересовать.

— Господин кюре,— сказал Муш,— сейчас мне люди еще малость помогают, а стану ходить в вашу церк-

ву, мне совсем перестанут помогать да еще надают колотушек.

— Религия должна бы для начала выдать ему пару штанов, дорогой аббат,— сказал Блонде.— Разве вы не пользуетесь в миссионерской практике прельщением дикарей?

— Он тут же бы их продал,— ответил вполголоса аббат.— Да и мое жалованье не дает мне возможности заниматься такой благотворительностью.

— Господин аббат совершенно прав,— заметил генерал, глядя на Муша.

Хитрый мальчуган притворялся, будто он ничего не понимает, когда ему было невыгодно понимать.

— Мальчишка смышленый, ясно, что он соображает, что хорошо, что дурно,— продолжал генерал.— В его возрасте он мог бы уже работать, а он только думает, как бы ему безнаказанно набедокурить. Он давно на примете у сторожей... Этот наглый мальчишка уже прекрасно знает, что землевладелец не является свидетелем потравы, совершенной на его земле, и не может составить протокол, и, пока я еще не был мэром, он преспокойно пас коров на моих лугах, не думая уходить, когда видел меня. Зато теперь он немедленно удирает.

— Ах, как нехорошо,— сказала графиня.— Не следует брать ничего чужого, дружок!

— Есть-то ведь надо, милая барыня. Дедушка меня больше тумаками кормит, чем хлебом, а от затрещин только живот подтягивает. Когда коровы отелятся, я их малость поддаиваю, ну и сыт. Разве вы, ваше сиятельство, такие бедные, что нельзя вашей травой немножко поживиться?..

— Может быть, он сегодня весь день ничего не ел!— всполошилась графиня, тронутая такой ужасной нищетой.— Дайте ему хлеба, пусть он доест пулярку... Ну, словом, накормите его завтраком!..— добавила она, глядя на камердинера.— Где ты ночуешь, мальчик?

— Везде, барыня. Зимой — где пустят, а в тепло — на воле.

— Сколько тебе лет?

— Двенадцать.

— Значит, время еще не ушло направить его на добрый путь,— сказала графиня, обращаясь к мужу.

— Из него выйдет солдат,— сурово отчеканил генерал.— Он прошел хорошую подготовку. Я вытерпел не меньше его, и вот видите, каков я стал!

— Извините меня, господин генерал, я нигде не записан,— сказал мальчуган,— мне не тянуть жеребья. Мамка-то моя невенчанная, и родила она меня в поле. Дедушка говорит, что я дитё земли. Значит, мамка-то укрыла меня от солдатчины. И Мушем я только так зовусь, могу зваться и по-другому. Дедушка мне все объяснил, как мне вольготно будет: я не записан в казенных бумагах и, когда подрасту до жеребьевки, пойду бродяжить по Франции! Меня не изловишь!

— Ты любишь своего дедушку? — спросила графиня, пытаясь заглянуть в душу этого двенадцатилетнего мальчика.

— А то нет? Затрещин он мне отсыпает вволю, когда у него разойдется рука. Ничего не поделаешь! Зато он хороший, забавник такой. А насчет колотушек дедушка говорит, что это он плату берет за то, что обучил меня читать и писать.

— Ты умеешь читать? — спросил граф.

— Еще как умею-то, ваше сиятельство! И даже самые маленькие буковки! Истинная правда, как то, что мы выдру поймали.

— Что здесь написано? — спросил граф, положив перед ним газету.

— «И-жи-днев-нае»...—прочел Муш, запнувшись только три раза.

Все, и даже аббат Бросет, рассмеялись.

— Еще бы! — закричал Муш, выходя из себя.— Заставили газетину читать! Дедушка говорит — газеты только для богатых, все равно потом узнаешь, что в них такое прописано.

— Мальчуган прав, генерал, он вызвал во мне желание еще раз повидаться с моим утренним победителем,— сказал Блонде.— Вижу теперь, что мистификация дедушки и Муша, прямо скажу, «мушиная».

Муш прекрасно понимал, что служит предметом развлечения для господ; ученик дяди Фуршона оказался вполне достойным своего учителя: он вдруг расплакался.

— Как у вас хватает духа смеяться над ребенком, у которого нет башмаков на ногах?..— сказала графиня.

— И который к тому же считает вполне естественным, что дедушка возмещает оплеухами свои труды по его обучению,— добавил Блонде.

— Слушай, мальчуган: правда, что вы поймали выдру? — спросила графиня.

— Да, барыня, правда, и *выдря* — правда, и то, что вы раскрасавица,— правда,— ответил Муш, утирая рукавом слезы.

— Так покажи нам эту *выдру*,— сказал генерал.

— Дедушка ее припрятал, ваше сиятельство. Но она еще дрыгала ногами, когда мы были у себя в мастерской... Вы пошлите за дедушкой, он сам хочет ее продать.

— Отведите его в людскую,— приказала графиня камердинеру Франсуа,— пусть он там позавтракает, пока придет дядя Фуршон,— за ним пошлите Шарля. Позаботьтесь, чтобы мальчику подыскали башмаки, панталоны и куртку. Пусть тот, кто придет сюда голым, уйдет отсюда одетым...

— Благослови вас бог, дорогая барыня,— сказал Муш, выходя из комнаты.— Господин кюре, уж будьте спокойны, я приберегу новое платье для праздников.

Эмиль и г-жа де Монкорне переглянулись, дивясь этим как бы вскользь брошенным словам, и взгляд их, казалось, говорил аббату: «А ведь мальчишка не так-то глуп!»

— Конечно, ваше сиятельство,— сказал кюре, когда мальчик уже вышел из столовой,— не следует сводить счеты с нищетой. Я лично думаю, что для нее имеются свои скрытые причины, судить о которых может только один бог,— причины физические, часто роковые, и причины нравственного порядка, порожденные свойствами характера и такими наклонностями, которые мы осуждаем, а меж тем они нередко проистекают из добрых качеств, к несчастию для общества, не нашедших себе применения. Чудеса храбрости на полях сражений говорят нам, что отъявленные негодяи могут перерождаться в героев... Но в данном случае вы находитесь в особых, исключительных условиях, и если в ваших добрых делах вы не будете руководствоваться рассудительностью, вы, возможно, будете выплачивать жалованье своим врагам...

— Врагам? — воскликнула графиня.

— Жестоким врагам! — многозначительно подтвердил генерал.

— Дядя Фуршон и его зять Тонсар,— продолжал кюре,— это разум местного простонародья, с ними советуются во всех мелочах. Их макиавеллизм просто непостижим. Имейте в виду, что десяток крестьян, собравшихся в кабачке, стоят крупного политического деятеля...

В эту минуту Франсуа доложил о приходе Сибиле.

— Это наш министр финансов,— с улыбкой сказал генерал.— Попроси его сюда, Франсуа. Сибиле разъяснит вам, какое создалось у нас серьезное положение,— добавил он, посмотрев на жену и Блонде.

— Тем более что Сибиле и не особенно скрывает это от вас,— прошептал кюре.

Тут перед глазами Блонде предстал человек, о котором он много слышал с первого же дня своего приезда и с которым очень хотел познакомиться лично,— управляющий имением. Это был мужчина среднего роста, лет тридцати, с угрюмым, неприятным лицом, чуждым улыбке. Из-под нахмуренных бровей глядели зеленоватые, вечно бегающие глазки, скрывавшие его мысли. Сибиле был одет в коричневый сюртук, черные панталоны и жилет, носил длинные, гладко причесанные волосы, что придавало ему сходство с лицом духовного звания. Панталоны плохо скрывали кривизну его ног. Судя по бледному лицу, можно было подумать, что Сибиле — человек болезненный, на самом же деле он был очень крепок. Глуховатый голос вполне согласовался с неблагообразной наружностью.

Блонде незаметно переглянулся с аббатом Бросетом, и ответный взгляд молодого священника дал понять журналисту, что его подозрения относительно управляющего были для аббата вопросом решенным.

— По вашим подсчетам, милейший Сибиле,— сказал генерал,— крестьяне как будто крадут у нас четверть дохода?

— Много больше, ваше сиятельство,— ответил управляющий.— Государство требует с вас меньше, чем присваивает себе здешняя беднота. Какой-нибудь шельмец вроде Муша ежедневно собирает с ваших полей по два буасо зерна. А старухи, которые, кажется, не сегодня-

завтра умрут, ко времени сбора колосьев вдруг обретают и проворство, и здоровье, и молодость. Вы можете воочию убедиться в этом чуде,— прибавил Сибиле, обращаясь к Блонде,— через шесть дней начнется уборка хлебов, задержавшаяся из-за июльских дождей... На следующей неделе мы начнем жать рожь. Сбор колосьев следовало бы разрешать только людям, имеющим справку о бедности, выданную мэром данной общины; а главное, каждая община должна допускать к сбору колосьев только свою бедноту; у нас же общины разных кантонов собирают друг у друга колосья без всяких удостоверений. Если считать, что у нас в общине шестьдесят бедняков, то к ним пристанет еще человек сорок лодырей. Да что говорить, даже зажиточные крестьяне бросают свои дела и идут собирать чужие колосья и неснятый виноград. В нашем кантоне этот народ собирает скопом до трехсот буасо в день, уборка продолжается недели две, значит, мы ежегодно теряем четыре тысячи пятьсот буасо зерна. Вот и выходит, что сбор колосьев беднотой составляет больше чем десятую часть урожая. А из-за потрав мы лишаемся примерно одной шестой части сенокосов. Потери от лесных порубок не поддаются учету; уже принялись рубить шестилетний молодняк... Вы, ваше сиятельство, терпите большие убытки — более двадцати тысяч франков в год.

— Так вот, сударыня,— сказал генерал, обращаясь к жене,— вы сами теперь изволили убедиться!

— А это не преувеличено? — спросила г-жа де Монкорне.

— К несчастью, нет, сударыня,— ответил кюре.— Бедный дядя Низрон, знаете, тот седой старик, что, несмотря на свои республиканские убеждения, выполняет обязанности звонаря, церковного сторожа, могильщика, псаломщика и певчего — словом, дедушка Женевьевы, которую вы поместили у госпожи Мишо...

— Пешина! — прервал аббата управляющий.

— Какая Пешина, в чем дело? — спросила графиня.

— Может быть, вы припомните, графиня, как встретили однажды на дороге Женевьеву в ужасно жалком виде и воскликнули по-итальянски: «Piccina!» [1] Это про-

---

[1] Крошка, бедняжка *(итал.)*.

звище так за неи и осталось, но его переиначили, и теперь вся округа зовет вашу подопечную Пешиной,— сказал кюре.— Только она одна и ходит в церковь с госпожой Мишо и госпожой Сибиле.

— И это ей сильно вредит! — сказал управляющий.— Ее попрекают религиозностью и не любят.

— Так вот, бедный семидесятидвухлетний старик Низрон набирает, и притом совершенно честно, около полутора буасо в день,— продолжал аббат.— Но эта самая честность и не позволяет ему продавать собранное зерно, как это делают все остальные; он оставляет его себе. Из уважения ко мне ваш помощник, господин Ланглюме, ничего не берет с него за помол, а моя служанка, когда печет хлеб, заодно печет и ему.

— Я ведь позабыла про свою маленькую протеже! — воскликнула графиня, испуганная словами управляющего.— С вашим приездом я совсем потеряла голову,— сказала она, обращаясь к Блонде.— Но после завтрака мы вместе пойдем к Авонским воротам, и я покажу вам в натуре одно из тех женских лиц, какие мы видим на картинах художников пятнадцатого века.

В это время дядя Фуршон, которого привел камердинер Франсуа, застучал своими поломанными деревянными башмаками, снимая их у дверей в буфетную. По знаку графини, которой камердинер доложил, что старик тут, в столовую вошел дядя Фуршон, держа в руке выдру, висевшую на бечевке, привязанной к ее желтым и звездообразным, как у всех перепончатых, лапам, а следом за ним явился Муш с набитым едою ртом. Старик обвел недоверчивым и раболепным взглядом, часто скрывающим подлинные мысли крестьян, четырех господ, сидевших за столом, посмотрел на Сибиле, а затем торжествующе потряс своей земноводной добычей.

— Вот она! — сказал он, обращаясь к Блонде.

— Моя выдра! — воскликнул парижанин.— Я за нее полностью заплатил.

— Э, господин хороший,— ответил Фуршон,— ваша *выдря* ушла! Она сидит сейчас в норе и не хочет оттуда вылазить,— ведь та была самка, а эта, между прочим, самец! Эту *выдрю* Муш увидал издалеча, уже после того как вы отошли. Истинная правда, как то, что их сиятельство, господин граф, прославились со своими кирасирами

под Ватерлоо. Этой *выдре* я хозяин, как их сиятельство, генерал, хозяин Эгам... Ну, а за двадцать франков *выдря* будет ваша, не то я снесу ее *супарфекту*, если господин Гудрон найдут, что она им дорога... По случаю того, что мы сегодня с вами охотились вместе, я вам, как полагается, предпочтение делаю...

— За двадцать франков! — воскликнул Блонде.— На добром французском языке это никак не может назваться предпочтением.

— Эх, господин хороший! — воскликнул старик.— Я так плохо понимаю по-французски, что, если вам угодно, спрошу у вас свои деньги по-бургундски, лишь бы они попали ко мне в карман, мне все едино, буду разговаривать хоть по-латыни: latinus, latina, latinum. Ведь эту же цену вы сами мне давали сегодня утром. А ваши денежки у меня отобрали мои же собственные детки, уж я плакал по ним, плакал, покуда шел сюда. Спросите Шарля.... Не срамить же их из-за десяти франков, не тащить же их в суд за плутни... Как заведется у меня несколько су, так они беспременно их у меня вытащат, угостят вином... Разве легко, когда приходится идти за стаканчиком вина к чужим людям, а не к родной дочери? Вот они, теперешние детки! Этого только мы от революции и дождались! Все для детей, а отцов хоть и вовсе не надо! Нет, Муша я по-другому воспитываю,— он меня любит, пострел!— сказал он, дав легкий шлепок своему внуку.

— Мне кажется, вы готовите из него такого же воришку, как и все здешние жители,— сказал Сибиле.— Ведь дня не пройдет, чтоб он чего-нибудь не напакостил.

— Эх, господин Сибиле, у него совесть поспокойнее вашей. Бедный мальчонка! Что он возьмет-то? Немножко травки. Оно лучше, нежели душить человека! Понятно, он еще не знает, как вы, арифметики, не умеет вычитать, складывать и умножать... Ух, и вредите же вы нам! Рассказываете, будто мы шайка разбойников. От вас и пошла эта рознь между вот ими, нашим барином, человеком честным, и между нами, тоже честными людьми... Нету честнее нашего края! Ну, скажите на милость, какие у нас доходы? Мы с Мушем почитай что нагишом ходим! А уж на каких мягких перинах спим!.. Каждое утро умыты росой. Разве только кто позарится на воздух,

которым мы дышим, да на солнышко, что нас пригревает, а то, право, уж и не знаю, что с нас взять! Богатый ворует, сидя дома, возле печки,— так оно много спокойней, чем подбирать, что валяется где-то в лесу. Для господина Гобертена нет ни стражников, ни лесников, а поглядите-ка на него: пришел сюда гол как сокол, а теперь нажил два миллиона. Долго ли сказать: «Воры!» А вот уже скоро пятнадцать годов, как дядя Гербе, суланжский сборщик податей, объездив деревни, в самую темноту отправляется со своей кассой домой, а никто с него и двух лиаров не стребовал... Что-то не похоже это на воровскую страну! Что-то мы с воровства не богатеем! Ну-ка, скажите, кто из нас — мы или вы, буржуа,— может жить, ничего не делая?

— Если бы вы работали, то и у вас был бы обеспеченный доход,— промолвил кюре.— Бог благословляет труд.

— Не стану вам перечить, господин аббат, вы ученей меня и, может статься, разъясните мне это дело. Ну, вот я тут весь перед вами — лентяй, бездельник, пьяница, никудышный дядя Фуршон... Кое-чему я учился, образования понюхал, побывал в фермерах, а потом пришла беда, и вот не сумел я поправиться... Ну какая же разница между мной и таким славным, таким честным дядей Низроном, семидесятилетним стариком виноградарем,— он мне ровесник — шестьдесят годов копался он в земле, вставал ни свет ни заря на работу; у него и тело крепче железа и душа чище чистого! Богаче он меня, что ли? Пешина, его внучка,— в служанках у жены Мишо, а Муш, мой мальчонка,— свободен, как ветер! И выходит, бедняге Низрону за хорошие дела и мне за дурные одна награда. Он и не знает, что такое стаканчик вина, он скромнее какого ни на есть праведника, он хоронит мертвых, а под мою музыку живые пляшут. Он натерпелся и холода и голода, а я пожил в свое удовольствие, как и надлежит веселому чертову отродью. Нам обоим с ним одинаково повезло, обоим нам побелило снегом головы, у обоих у нас шиш в кармане; я поставляю ему веревку, которой он звонит в свой колокол. Он хоть за Республику, а я даже не за публику. Вот и вся разница. Честным ли трудом живет крестьянин или, как вы говорите, нечестным, все равно помирает он, как и родился, в лохмотьях, а вы в тонком белье!..

Никто не перебил дядю Фуршона, по-видимому, обязанного своим красноречием тонсаровскому вину. Сначала Сибиле хотел было его остановить, но Блонде подал ему знак, и управляющий умолк. Кюре, генерал и графиня по взглядам журналиста поняли, что он хочет на живом примере изучить вопрос пауперизма и, может быть, отыграться за утреннюю неудачу.

— А как вы понимаете воспитание Муша? Как думаете вы за него взяться, чтобы сделать его лучше ваших дочерей?..— спросил Блонде.

— О боге он ему никогда не говорит,— сказал кюре.

— Вот уж чего нет так нет, господин кюре. Я ему говорю: бойся не бога, а людей! Бог добрый, он, по вашим словам, обещал нам царство небесное, потому что земное прихватили себе богачи. Я говорю ему: «Муш, бойся тюрьмы, из нее дорога на эшафот. Ничего не воруй, пусть тебе сами дают! От воровства недалеко до убийства, а за убийство тебя будут судить люди. Ножа правосудия — вот чего надо бояться! Оно бодрствует, чтобы сон богатых не пострадал от бессонницы бедноты. Учись грамоте. Будешь образованным, найдешь способ накопить денег под защитой законов, как господин Гобертен,— вот он молодец! Станешь управляющим, во! — как господин Сибиле,— он берет что ему полагается с разрешения его сиятельства господина графа... Вся штука в том, чтобы держаться поближе к богатым: под столами у них валяются крошки». Вот это я называю самым что ни на есть хорошим и дельным воспитанием... И мой щенок против закона ни-ни. Из него выйдет добрый малый, он позаботится обо мне.

— А кем же вы его сделаете? — спросил Блонде.

— Для начала — слугой,— ответил Фуршон,— потому, имея хозяев перед глазами, он живо пообтешется, и будьте покойны: хороший пример поможет ему разбогатеть, не задевая законов, как вы все это делаете!.. Кабы вы, ваше сиятельство, назначили его к себе на конюшню, чтобы он приучился ходить за лошадьми, мальчонка был бы здорово рад... потому что он людей боится, а скотины нет.

— Вы, дядя Фуршон, человек умный,— прервал его Блонде,— вы прекрасно отдаете себе отчет в том, что говорите, и без толку не болтаете...

— Нечего сказать, хорош ум! Да я свой ум в «Большом-У-поении» оставил вместе в двумя моими монетками. Вот оно что...

— Как же это такой человек, как вы, дошел до нищеты? Ведь при теперешнем положении крестьянин должен пенять на самого себя за постигшее его неблагополучие, он свободен, он может работать. Теперь не то, что раньше. Если крестьянин сумеет сколотить копейку, он всегда найдет продажную землю. Он может ее купить, а тогда он сам себе хозяин!

— Видел я прежние времена, вижу и теперешние, дорогой вы мой ученый барин,— ответил Фуршон.— Вывеску, правда, сменили, а вино осталось все то же! Нынешний день — только младший братец вчерашнего. Вот пропишите-ка это в своих газетах! Разве нас освободили? Мы все так же приписаны к своей деревне, и барин по-прежнему тут, и зовут его Труд... Все наше достояние — мотыга — по-прежнему у нас в руках. На барина ли, на налоги ли,— налогов с нас много берут,— а все одно надо всю жисть трудиться в поте лица.

— Но вы же можете выбрать себе какое-нибудь занятие, поискать счастья в другом месте?—сказал Блонде.

— Говорите — поискать счастья?.. А куда я пойду? Чтобы уйти из своего округа, нужен паспорт, а за него пожалуйте сорок су! Вот уж сорок годов не слыхал я, как у меня в кармане звякает паршивенькая монета в сорок су о свою соседку. Чтобы идти куда глаза глядят, надобно столько же экю, сколько встретишь на пути деревень, а много ли найдется Фуршонов, у которых есть на что побывать в шести деревнях? Только военная служба вытягивает нас из селений. А на что нам нужна она, эта армия? Чтобы полковник жил за счет солдат, как богатый живет за счет крестьянина? Пожалуй, на сотню полковников одного и то не сыщешь, чтоб из нашего брата, крестьян, был. Тут, как и везде, богатеет один, а сотни других пропадают. А почему они пропадают?.. Богу известно да ростовщикам тоже! Вот и выходит, что лучше всего сидеть по своим деревням, куда нас, не хуже овец, загнала тяжелая наша жизнь, как раньше загоняли господа. И плевать мне на то, что́ нас здесь держит! Держит ли нас здесь нужда или барин — все одно мы, как каторжные, на весь век к земле прикованы.

Вот мы ее, матушку, и ковыряем, и перекапываем, и навозим, и разделываем для вас, что родились богатыми, как мы родились бедняками. Все мы, вместе взятые, никуда не уйдем, какие есть, такие и останемся... Наших в люди выходит куда меньше, чем ваших вниз скатывается! Мы хоть и не ученые, а в этом деле тоже кое-что понимаем. Не надо нам ставить каждое лыко в строку. Мы вас не беспокоим, дайте и нам спокойно пожить... Не то, если дело этак дальше пойдет, придется вам нас кормить в ваших тюрьмах, а там много лучше, чем на нашей соломке... А хотите оставаться хозяевами, так мы всегда будем врагами,— сегодня, как и тридцать лет назад. У вас — все, у нас — ничего, нельзя же еще требовать от нас и дружбы.

— Вот что называется открытым объявлением войны,— сказал генерал.

— Ваше сиятельство,— продолжал Фуршон,— когда Эги принадлежали бедняжке барышне (да помилует господь ее душу, потому как говорят, она в молодости пожила в свое удовольствие), мы горя не знали. Она позволяла кормиться с ее полей и дровишки из ее леса таскать, бедней от этого она не стала! А вы хоть и не бедней ее, травите нас, ни дать ни взять как лютых зверей, и тягаете бедноту по судам!.. Ну, так вот, это кончится плохо! Быть из-за вас страшной беде. Я видел, как ваш лесник, мозгляк Ватель, чуть было не убил несчастную старуху из-за полена дров. Вас ославят врагом бедного люда, будут ругать на всех деревенских посиделках; будут так же проклинать, как благословляют покойную барышню! Проклятие бедноты, ваше сиятельство, быстро растет и вырастает много выше самых высоких ваших дубов, а из дубов делают виселицы... Никто здесь не говорит вам правды,— так вот вам эта самая правда! Я со дня на день смерти жду, мне терять нечего, ежели я ко всему прочему в придачу выложу вам правду!... Под мою и Вермишелеву музыку по большим праздникам в «Кофейне мира» в Суланже пляшут крестьяне, и я слышу, что они промеж себя говорят. Ну так вот, они вас не очень-то жалуют, и вам здесь не житье. Если ваш проклятый Мишо не изменится, вас заставят его уволить... Надо думать, за мои советы да за *выдрю* стоит мне дать двадцать франков!..

В то время как старик произносил эту последнюю фразу, послышались приближающиеся мужские шаги, и тот, кому только что угрожал Фуршон, без доклада вошел в столовую. По взгляду, который Мишо метнул на защитника бедняков, легко было догадаться, что угроза дошла до его слуха, и вся смелость сразу слетела с Фуршона. Этот взгляд оказал на ловца выдр то же действие, что встреча с жандармом на вора. Фуршон знал, что проштрафился; Мишо, казалось, имел право потребовать у него отчета в словах, явно ставивших себе целью запугать обитателей Эгского замка.

— Вот наш военный министр,— сказал генерал, представляя Мишо журналисту.

— Простите, графиня,— сказал ей «министр»,— что я прошел через гостиную, не осведомившись, угодно ли вам меня принять, но у меня неотложное дело к его превосходительству.

Принося извинение графине, Мишо в то же время наблюдал за Сибиле, который внутренне радовался дерзким речам Фуршона, но отражение этой радости на его лице ускользнуло от внимания сидевших за столом, всецело поглощенных Фуршоном, а Мишо, из тайных соображений постоянно наблюдавшего за Сибиле, поразило выражение его лица и весь его вид.

— Он прав, говоря, что заработал свои двадцать франков, ваше сиятельство,— воскликнул Сибиле.— Выдра обойдется вам недорого...

— Дай ему двадцать франков,— приказал генерал камердинеру.

— Вы, стало быть, отбираете у меня выдру? — спросил Блонде генерала.

— Я закажу из нее чучело! — заявил генерал.

— А ведь этот добрый барин обещал оставить мне шкурку, ваше сиятельство! —сказал дядя Фуршон.

— Хорошо,— воскликнула графиня,— вы получите еще пять франков за шкурку, а теперь уходите...

Изнеженное обоняние г-жи де Монкорне сильно страдало от крепкого, терпкого запаха, который шел от дяди Фуршона и Муша и отравлял воздух, и если бы эти двое бездомных бродяг задержались еще на некоторое время, она была бы вынуждена сама покинуть столовую. Именно этому неприятному запаху старик и был обязан

двадцатью пятью франками. Он вышел, опасливо поглядывая на Мишо и отвешивая ему бесчисленные поклоны.

— А то, что я говорил их сиятельству, господин Мишо,— сказал Фуршон,— я говорил им же на пользу.

— Или тем, которые вам за это платят,— ответил Мишо, пронизывая его взглядом.

— Подайте кофе и можете идти,— сказал генерал слугам,— не забудьте только затворить двери.

Блонде, еще не имевший случая видеть начальника охраны Эгского поместья, испытывал, глядя на него, совершенно иное впечатление, нежели только что произведенное на него управляющим Сибиле. Насколько последний внушал ему отвращение, настолько же Мишо вызывал чувство уважения и доверия.

Начальник охраны привлекал к себе прежде всего красивым складом тонкого лица безупречно овальной формы, разделенного носом на две совершенно симметричные части, что редко встречается у французов. При всей правильности черт лицо его не было лишено выразительности,— быть может, благодаря гармоничности цвета лица, где преобладали смуглые и красноватые оттенки, свидетельствующие о действенном мужестве. Светло-карие живые и проницательные глаза не скрывали мысли и всегда прямо смотрели в лицо собеседнику. Высокий и чистый лоб оттеняли густые черные волосы. Честность, решительность и святая доверчивость одушевляли это прекрасное чело, на котором невзгоды солдатской жизни проложили морщины; на нем без труда можно было прочесть любое промелькнувшее подозрение или недоверчивость. Как все военные, принятые в отборную кавалерию, начальник охраны по своему еще тонкому и гибкому стану мог почитаться статным мужчиной. Мишо, носивший усы, бакенбарды и узкий ободок бороды, напоминал тот воинственный тип, который чуть было не превратился в карикатуру, так опошлил его безудержный поток патриотических рисунков и картин. Тип этот, на свое несчастье, стал обычным в рядах французской армии. Возможно также, что однообразие впечатлений, трудности бивуачной жизни, от которых не избавлены были ни высшие, ни низшие чины, и, наконец тяготы войны, почти одни и те же у командиров и солдат,— возможно, что все это вместе выработало такое единообразие об-

лика военных. Мишо носил синий мундир с черным атласным галстуком, высокие сапоги военного образца, и походка у него была соответственная, слегка деревянная. Плечи откинуты назад, грудь колесом, как будто он все еще в строю. В петлице у него рдела красная ленточка ордена Почетного легиона. Добавим один моральный штрих, который завершит этот чисто физический набросок: если управляющий Сибиле с момента своего вступления в должность не упускал случая титуловать своего патрона «ваше сиятельство», Мишо никогда не называл хозяина иначе, как «ваше превосходительство».

Блонде, украдкой указав аббату Бросету на управляющего и на начальника охраны, снова обменялся с ним взглядом, как бы говоря: «Какой контраст!» Затем, желая убедиться, что у обоих характер, мысли и речь соответствуют осанке, наружности и манерам, он посмотрел на Мишо и сказал:

— Удивительное дело! Сегодня я рано вышел из дома и застал ваших сторожей еще спящими.

— В котором часу? — с беспокойством спросил бывший военный.

— В половине восьмого.

Мишо лукаво взглянул на генерала.

— А через какие ворота вы изволили выйти? — осведомился он.

— Через Кушские, сторож в одной рубашке выглянул в окно,— сказал Блонде.

— Гайяр, очевидно, только что лег,— заметил Мишо.—Когда вы сказали, будто рано вышли из дома, я подумал, что вы действительно встали чуть свет. Вот если бы тогда сторож был дома, я решил бы, что он захворал, но в половине восьмого он, должно быть, только еще ложился спать. Мы караулим по ночам,— продолжал после небольшой паузы Мишо, отвечая на удивленный взгляд графини,— но наша бдительность ровно ни к чему не приводит! Вы сейчас приказали выдать двадцать пять франков человеку, который только что преспокойно помогал скрыть следы покражи, совершенной сегодня утром у вас в лесу. Впрочем, мы поговорим об этом, ваше превосходительство, когда вы кончите завтрак. Надо же на что-нибудь решиться...

— Вы всегда преисполнены своими правами, дорогой

Мишо, a summum jus, summa injuria[1]. Если вы не будете терпимее, вы наживете себе много неприятностей,— сказал Сибиле.— Мне жаль, что вы не слышали, о чем сейчас говорил здесь дядя Фуршон, которому вино развязало язык.

— Он меня напугал,— сказала графиня.

— Все, что он говорил, мне уже давно известно,— заметил генерал.

— Он, мошенник, вовсе не был пьян, он просто разыграл свою роль. Но для кого он старался?.. Может быть, вы это знаете? — спросил Мишо, пристально глядя на Сибиле, покрасневшего от этого взгляда.

— O rus!..[2] — воскликнул Блонде, покосившись на аббата Бросета.

— Бедные люди! Им так тяжело живется,— сказала графиня.— И есть доля правды в том, что нам здесь выкрикивал Фуршон, именно выкрикивал — ведь нельзя же сказать, что он это высказывал.

— Сударыня,— ответил Мишо,— неужели вы думаете, что солдаты императора в течение четырнадцати лет возлежали на розах?.. Его превосходительство — граф, командор ордена Почетного легиона, он не раз получал денежные награды, а я дослужился только до младшего лейтенанта, но разве я ему завидую, хотя начинали мы службу одинаково и сражался я так же, как и он? Разве я стремлюсь опорочить его славу, украсть его награды, не признавать присвоенных его чину почестей! Крестьянин обязан повиноваться, как повинуется солдат; у него должна быть солдатская честность, солдатское уважение к приобретенным правам; он должен стараться выдвинуться в офицеры,— законно, трудом, а не воровством. Лемех и тесак — близнецы. У солдата есть одно только, чего нет у крестьянина,— смерть всегда глядит ему в глаза.

— Вот что мне хотелось бы сказать им с кафедры! — воскликнул аббат Бросет.

— Вы говорите, надо быть терпимее,— продолжал начальник охраны, отвечая на слова Сибиле.— Я готов терпеть потерю десяти процентов валового дохода, при-

---

[1] Много суда — много несправедливости *(лат.)*.
[2] O деревня! (*лат.*).

носимого Эгами; но при таком порядке, который сейчас заведен, вы теряете все тридцать процентов, ваше превосходительство. И если господин Сибиле получает некоторый процент с дохода, я не понимаю его терпимости, так как он добровольно отказывается от тысячи или тысячи двухсот франков в год.

— Любезный Мишо,— возразил Сибиле ворчливым тоном,— я уже докладывал его сиятельству, что предпочитаю лишиться тысячи двухсот франков, нежели жизни. Я, кажется, уже не раз и вам советовал!..

— Лишиться жизни?—воскликнула графиня.—Дело идет о чьей-нибудь жизни, неужели это возможно?

— Здесь не место обсуждать вопросы государственной важности,— смеясь, заметил генерал.— Просто мой военный министр отличается отвагой и так же, как его генерал, не боится ничего, а Сибиле, по своему званию финансиста, робок и труслив.

— Скажите лучше: осторожен, ваше сиятельство!— воскликнул Сибиле.

— Вот как! Стало быть, мы здесь, как герои Купера в лесах Америки, окружены ловушками дикарей?—насмешливо спросил Блонде.

— Слушайте, господа, ваша обязанность управлять, не пугая нас шумом колес административной машины,— сказала г-жа де Монкорне.

— А может быть, графиня, вам не бесполезно было бы узнать, сколько пота стоил хотя бы один из ваших хорошеньких чепчиков! — воскликнул аббат.

— Ни в коем случае! Ведь тогда я перестану носить хорошенькие чепчики, проникнусь благоговейным почтением к двадцатифранковой монете, сделаюсь скупой, как все женщины в деревне, а это мне не к лицу,— со смехом возразила графиня.— Извольте предложить мне руку, дорогой аббат, оставим генерала в обществе двух его министров, а сами прогуляемся к Авонским воротам навестить Олимпию Мишо, у которой я еще не была со дня своего приезда, и займемся моей маленькой подопечной.

И тут же позабыв лохмотья Муша и Фуршона, их злобные взгляды и опасения Сибиле, очаровательная графиня отправилась к себе, чтобы переобуться и надеть шляпу.

Аббат Бросет и Блонде, покорные приказу хозяйки дома, вышли вслед за ней из столовой и в ожидании ее остановились на террасе перед главным фасадом замка.

— Что вы обо всем этом думаете? — спросил Блонде у аббата.

— Я здесь на положении парии, за каждым моим шагом следят, словно я общий враг, я все время должен быть настороже, не закрывать глаз, иначе я попаду в ловушку, которую мне расставляют,— ведь от меня хотят избавиться,— ответил священник.— Говоря между нами, я дошел до того, что иногда сам себе задаю вопрос: не подстрелят ли меня здесь?

— И все-таки вы не уезжаете? — спросил Блонде.

— Господу богу надо служить столь же верно, как императору! — ответил священник с простотой, поразившей Блонде.

Писатель взял руку священника и сердечно пожал ее.

— Теперь вам должно быть понятно,— продолжал аббат Бросет,— что я ничего не могу узнать о здешних кознях. И все же мне сдается, что генерал живет тут «под несчастной звездой», как говорят в Артуа и в Бельгии.

Здесь уместно будет сказать несколько слов о кюре Бланжийского прихода.

Аббат Бросет, уроженец Отена, четвертый сын в зажиточной буржуазной семье, был человеком умным, с большим достоинством носившим священнический сан. Тщедушный, маленького роста, он искупал свою невзрачную внешность непреклонным видом, который так под стать бургундцам. Преданность делу побудила его принять этот малозначительный приход, ибо его религиозные убеждения были подкреплены политическими взглядами. Многое напоминало в нем прежних священнослужителей: он был страстно предан интересам церкви и духовенства, он понимал положение в стране, и эгоистические помыслы не оскверняли его рвения. «Служить» было его девизом, служить церкви и монархии на самом угрожаемом посту, служить в последних рядах, как солдат, который чувствует, что благодаря старанию и мужеству ему рано или поздно суждено стать генералом. Он не входил в сделку с совестью и не нарушал обетов целомудрия, бедности и послушания.

Этот выдающийся священник с первого же взгляда

угадал привязанность Блонде к графине и понял, что в обществе хозяйки дома, урожденной Труавиль, и писателя монархического направления надо блеснуть умом, поскольку его духовный сан уже обеспечивает ему уважение. Почти каждый вечер он приходил в замок, чтобы составить партию в вист. Блонде, сумевший по достоинству оценить аббата Бросета, выказал ему много внимания, и оба они прониклись взаимной симпатией, как это бывает со всеми умными людьми, обрадованными встречей с собратом или, если хотите, со слушателем. Каждой картине нужна своя рама.

— Но чем же, господин аббат, объясняете вы создавшееся здесь положение, ведь вы занимаете этот пост только из преданности делу.

— После столь лестного для меня заключения,— ответил с улыбкой аббат Бросет,— мне не хотелось бы отделываться общими фразами. То, что происходит у нас в долине, наблюдается повсеместно во Франции и коренится в надеждах, посеянных в крестьянстве тысяча семьсот восемьдесят девятым годом. Революционное движение затронуло одни местности больше, другие меньше, а эта пограничная полоса Бургундии, столь близкая к Парижу, принадлежит к тем местностям, где Революция была понята, как победа галла над франком. С исторической точки зрения жакерия для крестьян совсем еще недавнее прошлое, тогдашнее поражение глубоко запало им в душу. Они уже не помнят о самом факте, он перешел в разряд инстинктивных идей. Идея эта живет у крестьянина в крови, как идея превосходства жила некогда в крови дворянства. Побежденные добились своего в революции тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Крестьянство получило в собственность землю, владеть которой в течение двенадцати веков ему запрещало феодальное право. Отсюда любовь крестьян к земле, доходящая до того, что при разделах они готовы разрезать одну борозду на две части, а это нередко делает невозможным взимать налог, так как стоимость владения не покрывает расходов по взысканию недоимок...

— Их упрямство или, если хотите, их недоверчивость в этом отношении таковы,— прервал Блонде аббата,— что в тысяче кантонов из трех тысяч, на которые делится Франция, богатому человеку невозможно купить кресть-

янский участок. Крестьяне охотно перепродают друг другу свои клочки земли, но ни за какую цену и ни на каких условиях не уступят их буржуа. Чем выше цена, предлагаемая крупным землевладельцем, тем сильнее у крестьянина смутная тревога. Только в случае отчуждения крестьянская земля становится предметом обычной купли-продажи. Многие наблюдали этот факт, но так и не могли найти ему объяснение.

— Объясняется это вот чем,— ответил аббат Бросет, не без основания полагая, что у Блонде пауза равнозначна вопросу.— Двенадцать веков ровно ничего не составляют для сословия, которое никогда не отвлекалось от своей исконной идеи зрелищем последовательного развития цивилизации и все еще гордо носит широкополую, украшенную шелковым шнурком шляпу своих былых хозяев, носит с того дня, как эта самая вышедшая из моды шляпа перешла к крестьянину. Любовь, корни которой глубоко ушли в самую гущу народа,— любовь, буйно обратившаяся на Наполеона и непонятая им даже в той мере, как это думалось ему,— любовь, которой объясняется его непостижимое возвращение в тысяча восемьсот пятнадцатом году,— всецело вытекала из этой заветной идеи. В глазах народа Наполеон, неразрывно связанный с народом миллионом солдат, все еще остается королем, вышедшим из недр революции, человеком, который отдал народу национальное имущество. Его коронование было освящено этой идеей.

— Идеей, на которую, к несчастью, покушались в тысяча восемьсот четырнадцатом году, хотя монархия должна почитать ее священной,— горячо подхватил Блонде,— ибо народ может найти недалеко от трона государя, которому его отец оставил в наследство голову Людовика Шестнадцатого.

— Вот и графиня, прекратим этот разговор,—прошептал аббат Бросет.— Фуршон ее напугал, а между тем в интересах трона, религии и здешнего края необходимо удержать ее в Эгах.

Причиной появления Мишо, начальника эгской охраны, было, конечно, нападение на Вателя. Но прежде чем приступить к рассказу о прениях, готовившихся на заседании эгского «государственного совета», необходимо ввиду сложности событий кратко изложить те обстоя-

тельства, при которых генерал приобрел Эги, рассказать о веских основаниях, вызвавших назначение Сибиле управляющим этого великолепного поместья, ознакомить с причинами, которые привели Мишо на должность начальника охраны, и, наконец, дать обзор предшествующих событий, обусловивших как настроение умов, так и опасения, высказанные Сибиле.

Этот беглый обзор будет иметь то достоинство, что он познакомит нас с некоторыми главными действующими лицами драмы, обрисует их интересы и даст представление об опасности, угрожающей генералу графу де Монкорне.

VI
ИСТОРИЯ О ВОРАХ

Посетив около 1791 года свое поместье, девица Лагер взяла в управляющие сына бывшего суланжского судьи, по фамилии Гобертен. Городок Суланж, в наши дни простой кантональный центр, был столицей значительного графства в те времена, когда Бургундский дом воевал с французским королевским домом. Виль-о-Фэ, теперешняя резиденция супрефекта, был тогда небольшим феодальным владением Суланжей, наравне с Эгами, Ронкеролем, Сернэ, Кушем и пятнадцатью другими селами. Суланжи остались графами, тогда как Ронкероли стали нынче маркизами по воле могущественной силы, именуемой двором, некогда сделавшей герцогом сына безвестного капитана Дюплесси и поставившей его выше целого ряда знатнейших французских фамилий. Это доказывает, что судьба городов так же изменчива, как и судьба отдельных семей.

Сын суланжского судьи, юноша без всякого состояния, занял место предыдущего управляющего, который, разбогатев за тридцать лет управления Эгами, предпочел своей прежней должности треть паев в знаменитой компании Миноре. Переходя на роль поставщика провианта для интендантства, он в своих собственных интересах рекомендовал в управляющие тогда уже совершеннолетнего Франсуа Гобертена, в течение пяти лет прослужившего у него конторщиком, но обязал своего преемника прикрыть его отступление и в благодарность за препо-

данную ему науку по части управления имением получить от сильно напуганной революцией девицы Лагер расписку в окончательном расчете. Бывший судья, сделавшись общественным обвинителем департамента, стал покровителем пугливой певицы. Этот провинциальный Фукье-Тенвиль подстроил против театральной королевы, явно подозрительной по своим связям с аристократией, фиктивный бунт, чтобы его сын мог заслужить признательность за ее бутафорское спасение, что и помогло получить расписку в приеме отчетности от бывшего управляющего. Гражданка Лагер столько же из расчета, сколько из благодарности сделала тогда Франсуа Гобертена своим первым министром.

Прежний управляющий не баловал девицу Лагер: он отсылал ей ежегодно в Париж около тридцати тысяч франков, хотя Эги к этому времени должны были приносить по меньшей мере сорок тысяч дохода. Естественно, что ничего не понимавшая в делах оперная дива пришла в восторг, когда Гобертен обещал ей обеспечить доход в тридцать шесть тысяч.

Чтобы перед судом теории вероятности обосновать размеры состояния, нажитого вторым управляющим девицы Лагер, необходимо показать, с чего он начал. Благодаря влиянию отца молодой Гобертен был назначен мэром Бланжи. Следовательно, он имел возможность приказать (вопреки законам), чтобы все платежи вносились ему серебром, «терроризируя» (тогдашнее модное словечко) должников, которых он мог по своему усмотрению подвергать или не подвергать тяжелым реквизициям республиканского правительства. Сам же Гобертен платил своей хозяйке ассигнациями, пока были в ходу бумажные деньги, которые, правда, не обогатили государство, зато обогатили многих частных лиц. В течение трех лет, с 1792 по 1795 год, управляющий нажил в Эгах сто пятьдесят тысяч франков, которыми он и оперировал на парижской бирже. Девице Лагер, оставшейся при своих ассигнациях, пришлось обратить в деньги бриллианты, теперь уже ей не нужные; она поручила Гобертену продать их, и тот честно отдал ей вырученные деньги серебром. Такая добросовестность очень растрогала девицу Лагер; с той поры она уверовала в Гобертена, как в самого Пиччини.

В 1796 году, ко времени своей женитьбы на гражданке Изоре Мушон, дочери бывшего члена Конвента и друга его отца, Гобертен владел тремястами пятьюдесятью тысячами франков серебром; полагая, что Директории обеспечено длительное существование, он пожелал, прежде чем жениться, получить от своей хозяйки похвальную аттестацию за пять лет управления, ссылаясь на перемену в своей жизни.

— Я буду отцом семейства,— сказал он.— Вы знаете, какая слава идет об управляющих; мой будущий тесть — республиканец истинно римской честности и к тому же человек влиятельный; я хочу доказать ему, что достоин быть его зятем.

Девица Лагер утвердила все отчеты Гобертена в самых лестных для него выражениях.

Желая заслужить доверие г-жи дез Эг, управляющий в первое время испробовал несколько обуздать крестьян, вполне основательно опасаясь, как бы из-за их хищений не пострадал доход с леса и не сократились будущие магарычи от лесопромышленников. Но в те времена народ был властелином и везде чувствовал себя как дома, помещица испугалась нежданных владык, увидев их вблизи, и сказала своему Ришелье, что хочет умереть спокойно. Доходы бывшей оперной примадонны настолько превышали ее расходы, что она смотрела сквозь пальцы на весьма роковые факты, терпела захват своей земли, не желая судиться с соседями. Зная, что парк окружен прочной оградой, она не опасалась непосредственного нарушения своей приятной жизни и в качестве истого философа желала только одного — покоя. Получать с имения на несколько тысяч франков больше или меньше, сделать скидку с договорной цены по требованию лесоторговца за порубки, произведенные крестьянами,— что значило все это в глазах отставной оперной дивы, расточительной и беззаботной женщины, нажившей на поприще удовольствий сто тысяч франков ежегодной ренты, а теперь безропотно позволявшей урезывать на две трети свой шестидесятитысячный доход?

— Э, всем надо жить, даже Республике! — говаривала она с беспечностью куртизанки старого режима.

Ее камеристка и визирь в юбке, грозная девица Коше, видя, какую власть забрал Гобертен над хозяйкой, ко-

торую он, невзирая на революционные законы о равенстве, с самого начала стал величать «сударыней», попробовала было раскрыть ей глаза; но Гобертен, в свою очередь, раскрыл глаза девице Коше, показав ей донос, якобы полученный его отцом, общественным обвинителем, где оперная певица весьма настойчиво обвинялась в сношениях с Питтом и Кобургом. С той поры обе домашние власти поделили между собой выгоды, но на манер Монгомери. Горничная расхваливала хозяйке Гобертена, а Гобертен расхваливал хозяйке горничную. Впрочем, судьба мадемуазель Коше была вполне обеспечена,— особе этой было известно, что хозяйка отказала ей в завещании шестьдесят тысяч франков. Барыня уже не могла обойтись без своей камеристки, до того она к ней привыкла. Сия девица была посвящена во все тайны туалета своей дорогой барыни, она обладала талантом усыплять дорогую барыню по вечерам занимательными рассказами и будить по утрам льстивыми комплиментами, словом, до последнего дня жизни дорогой барыни преданная горничная уверяла ее, будто та ничуть не постарела, и надо полагать, что девица Коше нашла свою дорогую барыню еще красивей, когда та лежала в гробу...

Ежегодные барыши Гобертена и девицы Коше, их жалованье и доходы достигли такой значительной суммы, что и самые нежные родители не могли бы сильнее привязаться к столь прелестному созданию, как их хозяйка. Никто не знает, до какой степени мошенник лелеет свою жертву! Ласка и заботы, которыми любящая мать окружает свою дочь, ничто по сравнению с той лестью, которой делец окружает свою дойную корову. Зато и успех таких представлений «Тартюфа», разыгранных при закрытых дверях, огромен! Подобные отношения стоят дружбы! Мольер умер слишком рано, иначе он показал бы нам, как бедняга Оргон, замученный семьей, задерганный детьми, с сожалением вспоминает льстивые речи Тартюфа и грустно причитает: «Хорошее было времечко!»

За последние восемь лет своей жизни девица Лагер получала не больше тридцати тысяч франков из пятидесяти, которые Эги приносили на самом деле. Гобертен, как видно, пришел к тем же результатам, что и его предшественник, хотя и арендная плата и цены на сельскохозяйственные продукты значительно возросли с 1791

по 1815 год, не говоря уж о том, что девица Лагер непрестанно приобретала новые земли. Но дело в том, что Гобертен задумал получить Эгское поместье по смерти его владелицы, а так как кончина ее была уже не за горами, в планы управляющего не входило повышать ценность этого великолепного имения и увеличивать его явные доходы. Девица Коше, посвященная во все его соображения, должна была участвовать в прибылях. На склоне своих дней бывшая театральная королева получила еще двадцать тысяч франков от так называемых *обеспеченных* ценностей (как политический язык напрашивается на шутку!) и не расходовала за год даже этих двадцати тысяч; ее управляющий, чтобы использовать свободные суммы, ежегодно приобретал земельные участки, и девица Лагер весьма этому удивлялась, ибо сама она привыкла жить в счет своих будущих доходов. Экономия, объяснявшаяся сокращением ее старушечьих потребностей, казалась ей результатом честности Гобертена и девицы Коше.

— Два перла,— говорила она знакомым, приходившим ее проведать.

Впрочем, Гобертен соблюдал в своих отчетах видимость честности. Он регулярно заносил на приход арендные платежи. Все, в чем певица могла разобраться при своих слабых познаниях в области арифметики, было ясно, отчетливо и точно. Управляющий нагонял себе барыши на других статьях — на всяких издержках, на расходах по хозяйству, на заключаемых сделках, на производимых работах, на измышляемых судебных процессах, на ремонте, на всяких мелочах, ибо счета никогда не проверялись владелицей, и ему случалось удваивать суммы с согласия подрядчиков, получавших за свое молчание соответственную мзду. При такой вольготности Гобертену нетрудно было снискать всеобщее уважение, а хвалы по адресу мадемуазель Лагер не сходили с уст, ибо она всем давала заработать да, кроме того, еще и благотворительствовала.

— Дай бог здоровья нашей дорогой барышне! — слышалось со всех сторон.

И в самом деле, не было человека, который чем-нибудь от нее не поживился бы прямым или косвенным образом. Как бы в возмездие за грехи ее молодости, старую

артистку буквально обирали, но обирали умно, соблюдая известную меру, не доводя дело до того, чтобы у нее раскрылись глаза и она, продав Эги, уехала бы в Париж.

То же стремление поживиться на чужой счет было, увы, причиной убийства Поля-Луи Курье: он имел неосторожность объявить о том, что продает землю и увозит жену, щедротами которой кормилось несколько туренских Тонсаров. Опасаясь невыгодных перемен, эгские мародеры рубили молодые деревья лишь в самой последней крайности, когда уже не оставалось ветвей, до которых можно было достать серпом, прикрепленным к шесту. В собственных интересах они старались наносить своим воровством возможно меньше вреда. И все же в последние годы жизни мадемуазель Лагер обычаем сбора хвороста стали уже слишком злоупотреблять. В иные светлые ночи из лесу выносили не менее двухсот вязанок, а на сборе колосьев и винограда Эги, как доказал Сибиле, теряли четвертую часть урожая.

Пока мадемуазель Лагер была жива, она не позволяла своей камеристке выходить замуж, ибо, как и многие барыни, питала к своей горничной себялюбивое пристрастие, многочисленные примеры которого можно найти в любой стране, пристрастие столь же нелепое, как и мания хранить до последнего издыхания совсем ненужные для материального благополучия ценности, рискуя, что тебя отравят нетерпеливые наследники. Но спустя три недели после погребения мадемуазель Лагер девица Коше вышла замуж за суланжского жандармского унтер-офицера по имени Судри, видного сорокалетнего мужчину, который с 1800 года, когда был учрежден жандармский корпус, почти ежедневно навещал ее в Эгах и не менее четырех раз в неделю обедал вместе с нею и четой Гобертенов.

Мадемуазель Лагер в течение всей своей жизни обедала одна или со своими гостями. При всей простоте отношений ни камеристка, ни Гобертены не допускались к столу примадонны Королевской академии музыки и танца, до последнего часа сохранившей раз навсегда заведенный этикет, особую манеру одеваться, румяна, туфли без задника, карету, прислугу и присущую ей величественность богини. Она была богиней на сцене, богиней в Париже, богиней осталась она и в деревенской

глуши, где память о ней живет и посейчас и «высшим обществом» Суланжа чтится, вне всякого сомнения, не менее благоговейно, чем память о дворе Людовика XVI.

Судри, с момента своего появления в этих местах начавший ухаживать за мамзель Коше, имел лучший дом в Суланже, капитал около шести тысяч франков и твердую надежду на пенсию в четыреста франков по выходе в отставку. Сделавшись мадам Судри, бывшая горничная стала пользоваться в Суланже великим почетом. Хотя она скрыла от всех размеры своих сбережений, помещенных, так же как и капитал Гобертена, в Париже у некоего Леклерка, местного уроженца и комиссионера всех здешних виноторговцев, принявшего управляющего Эгов к себе в пайщики, все же, по общему мнению, бывшая горничная была богаче всех в городке, насчитывавшем около тысячи двухсот жителей.

К великому удивлению всей округи, чета Судри в брачном своем договоре узаконила побочного сына жандарма, тем самым обеспечив за ним состояние мадам Судри. К тому времени, когда этот сын приобрел официальную мать, он только что закончил юридическое образование в Париже и собирался там же пройти стаж, необходимый для поступления в судебное ведомство.

Стоит ли говорить, что за двадцать лет полного единомыслия супруги Судри и Гобертены крепко сдружились. И тем и другим не оставалось ничего иного, как до окончания дней своих выдавать друг друга urbi et orbi [1] за честнейших людей во всей Франции. Своекорыстие, основанное на обоюдном знании тайных пятен, которые проступают на белых ризах совести, сковывает в нашем мире самыми неразрывными узами. Вы, читатели этой социальной драмы, сами настолько в этом убеждены, что для объяснения преданности и постоянства, заставляющих вас краснеть за собственный эгоизм, говорите о двух задушевных друзьях: «Ясно, что их связывает какое-нибудь преступление!»

За двадцатипятилетнее управление поместьем Гобертен нажил шестьсот тысяч франков серебром, а у каме-

---

[1] Городу Риму и всему миру *(лат.)*.

ристки примерно было двести пятьдесят тысяч франков. Быстрое и постоянное обращение их капиталов, доверенных торговому дому Леклерк и К°, что на Бетюнской набережной, на острове Людовика Святого, конкуренту знаменитого дома Гранде, весьма способствовало обогащению сего винного комиссионера и самого Гобертена.

Уже после смерти мадемуазель Лагер к старшей дочери управляющего, Женни, посватался Леклерк, глава торгового дома на Бетюнской набережной. Гобертен в то время льстил себя надеждой сделаться владельцем Эгов, надежда эта зиждилась на некоем тайном сговоре, имевшем место в конторе нотариуса Люпена, которому Гобертен одиннадцать лет назад помог обосноваться в Суланже.

Люпен, сын последнего управляющего графов Суланжей, занимался жульничеством при экспертизах, расценивая имущество на пятьдесят процентов ниже его стоимости, расклеивал какие-то темные объявления — словом, шел на всевозможные уловки,— к несчастью, весьма частые в глухой провинции,— для того, чтобы, как говорится, сбить цену на ту или другую крупную недвижимость. По слухам, в Париже недавно сорганизовалась компания, которая угрозами взвинтить цены на торгах вымогает деньги с изобретателей подобных махинаций. Но в 1816 году пламя гласности еще не горело во Франции так, как теперь, и сообщники — бывшая горничная, нотариус и Гобертен — могли рассчитывать, что они тайно поделят между собой Эгское поместье, причем Гобертен в душе решил предложить компаньонам известную сумму с тем, чтобы они отступились от своей доли, когда земля будет куплена на его имя. Поверенный, которому Люпен поручил вести в суде дело о назначении торгов на имение, продал Гобертену в кредит для его сына свою адвокатскую контору и тем самым способствовал грабежу, хотя надо полагать, что одиннадцать пикардийских земледельцев, на коих словно с неба свалилось наследство девицы Лагер, не считали себя ограбленными.

В тот самый момент, когда все заинтересованные лица уже считали свое состояние удвоенным, накануне окончательного утверждения торгов, из Парижа приехал некий поверенный и поручил поверенному в Виль-о-Фэ, оказавшемуся его прежним конторщиком, приобрести

имение Эги, которое тот и купил за миллион сто тысяч пятьдесят франков. Поднять цену выше миллиона ста тысяч франков никто из заговорщиков не решился. Гобертен заподозрил предательство со стороны Судри, а Судри и Люпен думали, что их обманул Гобертен, но когда стало известно имя действительного покупателя, они помирились. Хотя провинциальный поверенный и подозревал, что у Гобертена, Люпена и Судри был свой план, он имел осторожность ничего не сказать своему бывшему патрону, и вот почему: в случае если бы новые владельцы оказались невоздержанными на язык, наш судейский чиновник нажил бы себе столько врагов, что пребывание его в здешних местах стало бы немыслимым. Впрочем, тактика молчания, свойственная провинциальным жителям, была вполне обоснована, как это и явствует из дальнейшего повествования. Если провинциал скрытен, он вынужден к этому, оправданием ему служит опасность его положения, прекрасно выраженная в пословице: «С волками жить — по-волчьи выть», пословице, в которой передано все мировоззрение Филинта.

Когда генерал де Монкорне вступил во владение Эгами, Гобертен оказался не так богат, чтобы бросить свое место: ему пришлось дать в приданое за старшей дочерью, к которой сватался богатый банкир Леклерк, двести тысяч франков; тридцать тысяч франков следовало уплатить за нотариальную контору, приобретенную для сына; значит, у него осталось только триста семьдесят тысяч, а ему еще рано или поздно пришлось бы выделить приданое младшей дочери Элизе, которую он мечтал выдать замуж во всяком случае не менее блестяще, чем старшую. Управляющий решил присмотреться к графу де Монкорне и выяснить, нельзя ли отбить у него охоту к житью в деревне, а тогда уже попробовать единолично осуществить сорвавшийся замысел.

С проницательностью, свойственной людям, наживающим состояние хитростью, Гобертен предположил, что между старым воином и старой певицей должно существовать некоторое сходство характеров; предположение, впрочем, весьма резонное; оперная дива и наполеоновский генерал — не те же ли у них привычки к мотовству и беззаботности? Что оперной диве, что солдату богатство сваливается по милости случая,— одной при громе

рукоплесканий, другому в грохоте пушек! Правда, среди военных встречаются ловкие, хитрые люди, тонкие политики, но они — исключение. А чаще всего солдат, особенно такой рьяный рубака, как Монкорне, прост, доверчив, неопытен в делах и к сельскому хозяйству с его мелочными заботами не приспособлен. Гобертен твердо надеялся загнать генерала в те же тенета, в которых мадемуазель Лагер закончила свои дни. А в свое время император вполне сознательно поставил генерала в Померании примерно на такую же должность, на какой Гобертен был в Эгах,— значит, генерал знал толк в сельскохозяйственных поставках интендантства.

Прибыв в деревню «сажать капусту», по выражению первого герцога Бирона, старый кирасир, чтобы несколько развлечься после постигшей его опалы, решил сам заняться делами. Хотя он и сдал свой корпус Бурбонам, услуга эта, оказанная многими генералами и получившая название роспуска Луарской армии, не могла искупить такого преступления, как участие в последнем походе героя Ста дней. При иностранцах пэру 1815 года нельзя было оставаться в армии, а тем паче появляться в Люксембургском дворце. И Монкорне, по совету одного опального маршала, отправился на лоно природы «выращивать морковку». Генерал не лишен был известной хитрости, свойственной старым служакам, и с первых же дней, которые он посвятил осмотру своих владений, признал в Гобертене типичного опереточного управителя из породы тех плутов, с которыми наполеоновским маршалам и герцогам, этим грибам, выросшим на народной почве, почти всем случалось встречаться на своем веку.

Генерал был человек себе на уме. Убедившись в великой опытности Гобертена как управляющего имением, он понял, насколько будет полезно сохранить его при себе и с его помощью постигнуть «это чертово сельское хозяйство»; поэтому он притворился, что следует по стопам мадемуазель Лагер, своей обманчивой беззаботностью введя управляющего в заблуждение. Генерал прикидывался простоватым ровно столько времени, сколько ему потребовалось на изучение слабых и сильных сторон эгского хозяйства: каковы разнообразные статьи дохода, каким образом эти доходы поступают, к каким улучше-

ниям следует приступить в первую очередь, на чем навести экономию. Затем в один прекрасный день, изловив Гобертена, как говорится, с поличным, генерал страшно вспылил, что часто бывает с покорителями чужих стран, и в пылу гнева совершил одну из тех крупных ошибок, от которых вся его жизнь могла бы пошатнуться, не обладай он таким крупным состоянием и такой стойкостью,— ошибку, чреватую малыми и великими несчастьями, которыми изобилует наша повесть. Воспитанный в школе императора, привыкший все рубить сплеча и презирающий «штафирок», Монкорне без долгих разговоров выставил за дверь мерзавца-управляющего. «Штатская» жизнь с ее церемониями была не по нутру генералу, и без того раздраженному опалой, поэтому он самым жестоким образом оскорбил Гобертена; впрочем, сам управляющий навлек на себя такую расправу своим циничным ответом, приведшим в ярость Монкорне.

— Вы кормитесь моей землей! — заявил ему граф с насмешливой суровостью.

— А по-вашему, мне надо было кормиться воздухом? — с усмешкой возразил Гобертен.

— Вон, негодяй, убирайтесь отсюда! — закричал генерал, ударив его хлыстом,— обстоятельство, которое Гобертен впоследствии всегда отрицал, благо это произошло без свидетелей.

— Я не уйду, пока не получу от вас расписки в том, что отчетность в полном порядке,— холодно заявил Гобертен, предварительно отойдя от свирепого кирасира.

— Посмотрим, что скажет о вас исправительный суд,— промолвил Монкорне, пожав плечами.

Услышав, что ему угрожают исправительным судом, Гобертен с усмешкой взглянул на графа. От этой усмешки у генерала сразу, словно подрезанная, опустилась рука. Поясним значение этой усмешки.

Уже два года, как зять Гобертена, некий Жандрен, бывший долгое время членом суда первой инстанции в Виль-о-Фэ, был назначен по протекции графа де Суланжа председателем этого суда. Возведенный в пэры в 1814 году, г-н де Суланж сохранил верность Бурбонам во время Ста дней, он-то и испросил указанное назначение у министра юстиции. Родство с председателем

придавало Гобертену некоторый вес в здешних краях. И в самом деле, председатель суда в маленьком городке относительно более важная особа, чем председатель суда высшей инстанции в департаментском центре, ибо у того есть равные в лице начальника гарнизона, епископа, префекта и главного сборщика податей, тогда как у мирового судьи таких равных нет: прокуроров суда первой инстанции и супрефектов могут переводить с места на место или сменять. Молодой Судри, приятель Гобертена-сына как по Парижу, так и по Эгам, был только что назначен товарищем прокурора в главном городе департамента. Прежде чем сделаться жандармским унтер-офицером, Судри-отец, служивший в артиллерии, был ранен в одном сражении, защищая г-на де Суланжа, бывшего тогда в чине подполковника. При учреждении жандармерии граф де Суланж, уже произведенный в полковники, исходатайствовал для своего спасителя место жандармского унтер-офицера в Суланже; впоследствии он же выхлопотал должность, которая положила начало служебной карьере молодого Судри. Женитьба парижского банкира Леклерка на девице Гобертен тоже была уже делом решенным, и в силу всех этих причин мошенник-управляющий чувствовал себя более сильным в этом крае, чем генерал-лейтенант, оставленный за штатом.

Если бы значение настоящей повести ограничивалось назидательным уроком, который можно извлечь из ссоры генерала с управляющим, то и тогда она была бы очень поучительна для многих в качестве житейского руководства. Умеющему с пользой для себя читать Макиавелли наглядно доказывается, в чем состоит человеческая мудрость: не угрожай, действуй без слов, тесни врага, не наступай, как говорится, змее на хвост и пуще всего остерегайся задеть самолюбие нижестоящих. Поступок, причинивший какой бы то ни было материальный ущерб, с течением времени простится, его можно объяснить на тысячу разных ладов, но мнение, оскорбительное для нашего самолюбия, раны которого постоянно сочатся, никогда не прощается. В духовной жизни человек более чувствителен и в некотором смысле более живуч, чем в жизни физической. Сердце и кровь менее восприимчивы, нежели нервы. Словом, что бы мы ни де-

лали, наше внутреннее существо всегда господствует над нами. Можно примирить два семейства, члены которых убивали друг друга, как это было в Бретани или Вандее в годы гражданской войны, но никогда не удастся примирить ограбленных с грабителями, так же как и оклеветанных с их клеветниками. Оскорблять друг друга позволительно лишь в эпических поэмах, да и то только перед смертельным ударом. Дикарь и крестьянин, весьма схожий с дикарем, прибегают к словам исключительно с целью завлечь в ловушку своего противника. С 1789 года Франция старается вопреки очевидности уверить людей, что они равны между собой; сказать человеку: «Вы мошенник!»— было бы не имеющей значения шуткой, но доказать ему это, поймав его с поличным и отстегав хлыстом, грозить ему исправительным судом, не доведя дела до суда,— значит указать ему на неравенство общественного положения. Если толпа не прощает никакого превосходства, как же может мошенник простить честному человеку?

Если бы Монкорне уволил своего управляющего под тем предлогом, что хочет на его место взять какого-нибудь бывшего военного в награду за прежние заслуги, конечно, и Гобертен и генерал, не заблуждаясь насчет истины, прекрасно поняли бы друг друга. Но пощадив самолюбие управителя, генерал дал бы ему возможность отступить с честью. Гобертен оставил бы тогда помещика в покое, забыл бы о неудаче на аукционе и, может быть, попробовал бы найти применение своим капиталам в Париже; теперь же с позором выгнанный управляющий затаил злобу на хозяина, а в провинции долго помнят зло,— мстительность, упорство и козни провинциалов способны удивить даже дипломатов, привыкших ничему не удивляться. Жгучая жажда мести побудила Гобертена обосноваться в Виль-о-Фэ и оттуда всячески вредить Монкорне: он решил не давать житья генералу и принудить его продать имение.

Генерал не разгадал Гобертена, в поведении которого не было ничего, что заставило бы насторожиться или почувствовать страх. По заведенному раз навсегда порядку бывший управляющий продолжал прикидываться если не бедным, то во всяком случае необеспеченным. Это житейское правило он позаимствовал у своего пред-

шественника. Поэтому Гобертен при каждом удобном случае всячески напирал на своих трех детей, на жену и на огромные расходы, связанные с большой семьей. Мадемуазель Лагер, которую Гобертен убедил, что ему не по средствам платить за обучение сына в Париже, взяла на себя все расходы и выдавала по сто луидоров в год своему дорогому крестнику, так как она была крестной матерью Клода Гобертена.

На следующий день после ссоры Гобертен явился в сопровождении сторожа Курткюиса, весьма заносчиво потребовал расписки в принятии отчетности, показав при этом лестные отзывы, полученные им от покойной владелицы, и с явной иронией попросил генерала указать, где же нажитые им, Гобертеном, капиталы и недвижимость. Если ему и случалось получать «благодарность» от лесопромышленников и фермеров при возобновлении аренды, то делалось это всегда, по его словам, с согласия мадемуазель Лагер, которая от этого не только не бывала в накладе, но, наоборот обеспечивала себе полное спокойствие. Любой местный житель пошел бы за мадемуазель в огонь и в воду, а если генерал и впредь будет действовать в том же духе, то неприятностей ему не сбобраться.

Гобертен считал себя вполне честным человеком,— черта, часто наблюдаемая в различных профессиях, где люди присваивают себе чужое добро способами, не предусмотренными в Уголовном кодексе. Во-первых, он уже давно прикарманил серебро, которое вытянул с фермеров мадемуазель Лагер путем запугивания (тогда как все платежи ей он производил ассигнациями), и считал эти деньги своим законным достоянием. Он просто сделал обмен. С течением времени ему даже стало казаться, что он подвергался известной опасности, принимая в уплату звонкую монету. Ведь, согласно закону, мадемуазель должна была получать платежи только ассигнациями. «Согласно закону» — выражение очень солидное и служит опорой многим состояниям! Короче говоря, с тех пор как существуют крупный землевладелец и управляющий, то есть с незапамятных времен, управляющий измыслил на свою потребу некое рассуждение, очень распространенное в наши дни среди кухарок; и вот оно в упрощенной форме:

«Если хозяйка,— рассуждает кухарка,— сама бы ходила на рынок, она, может статься, платила бы за провизию дороже, чем ставлю за нее в счет я; значит, хозяйка выгадывает на этом деле; так уж лучше пусть доход идет в мой карман, а не в карман лавочника».

«Если бы мадемуазель сама вела хозяйство, она не выручила бы с имения и тридцати тысяч; крестьяне, торговцы и рабочие украли бы у нее разницу; не разумнее ли, чтобы я взял эту разницу себе, но зато избавил мадемуазель от множества хлопот!» — рассуждал Гобертен.

Только католическая религия может положить конец подобным сделкам с совестью; но с 1789 года религия утратила власть над двумя третями населения Франции. Поэтому-то крестьяне, народ сообразительный, по бедности своей легко следуют дурным примерам, и в Эгской долине они совершенно деморализовались. По воскресеньям они отправлялись к обедне, но в церковь не заходили, по привычке собираясь на паперти для обсуждения торговых и прочих дел.

Теперь нетрудно понять, сколько зла причинила своей нерадивостью и попустительством бывшая примадонна Королевской музыкальной академии. Мадемуазель Лагер из эгоистических побуждений предала имущих, всегда ненавистных неимущим. С 1792 года все землевладельцы Франции связаны общими интересами. Но, увы, если феодальные семьи, которых значительно меньше, чем буржуазных, не сознавали единства своих интересов ни в 1400 году, при Людовике XI, ни в 1600 году, при Ришелье, можно ли предположить, что, при всех притязаниях XIX века на прогресс, буржуазия окажется более сплоченной, чем было дворянство? Олигархия ста тысяч богачей имеет все невыгоды демократии, не обладая ее преимуществами. «Каждый у себя, каждый за себя» — такой семейный эгоизм убьет эгоизм олигархический, столь необходимый современному обществу и в течение трех веков прекрасно осуществляемый Англией. Что бы ни творилось кругом, собственник только тогда поймет необходимость дисциплины, благодаря которой церковь стала образцовым видом правления, когда он почувствует, что опасность угрожает ему в его же доме, а тогда уж будет слишком поздно. Смелость, с которой коммунизм, эта живая и действенная логика демократии,

ведет нападение на нравственные устои общества, доказывает, что отныне народный Самсон стал более осторожен и подрывает столпы общества в подвале, вместо того чтобы сотрясать их в пиршественном зале.

VII
ИСЧЕЗНУВШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПОРОДЫ

Эгское поместье не могло обойтись без управляющего, так как генерал вовсе не собирался отказываться от удовольствия проводить зиму в Париже, где у него был великолепный особняк на улице Нев-де-Матюрен. Поэтому он стал подыскивать заместителя Гобертену, но, конечно, не проявил при этом такого рвения, какое проявил Гобертен, чтобы подсунуть ему своего человека.

Из всех должностей, на которых людям доверяют серьезное дело, нет ни одной, требующей столь большого опыта и расторопности, как должность управляющего крупным имением. Как трудно подыскать управляющего, знают только богатые землевладельцы, имения которых расположены за пределами полосы шириной примерно в сорок лье, опоясывающей столицу. Здесь уже нельзя использовать землю так же, как в близких к столице поместьях, сельскохозяйственной продукции которых обеспечен верный сбыт в Париже; здесь нельзя рассчитывать на твердый доход от долгосрочной аренды, которой наперебой добиваются разбогатевшие арендаторы. Такие фермеры-арендаторы приезжают в собственных кабриолетах и сами привозят очередные взносы кредитными билетами или же поручают уплату своим комиссионерам на Центральном рынке. Поэтому-то фермы, расположенные в департаментах Сены-и-Уазы, Сены-и-Марны, Уазы, Эра-и-Луары, Нижней Сены и Луары, пользуются таким большим спросом, что с капиталов, вложенных в них, не всегда удается получить полтора процента. По сравнению с доходностью земель в Голландии, Англии и Бельгии этот процент еще чрезвычайно велик. Но в пятидесяти лье от Парижа в крупных поместьях землю приходится пускать под самые различные культуры и производить самые разнородные продукты; такое поместье представляет собою настоящее промыш-

ленное предприятие, подверженное всем случайностям фабрично-заводского производства. Иной богатый помещик ничем не отличается от купца, вынужденного искать сбыта для своих товаров, точь-в-точь как владелец железоделательного завода или хлопчатобумажной мануфактуры. Он даже не может избежать конкуренции: крестьянин и мелкий землевладелец не останавливаются ни перед чем и пускаются на сделки, совершенно неприемлемые для человека воспитанного.

Управляющий должен знать межевание, местные обычаи, условия сбыта, разные способы эксплуатации земли; должен немножко разбираться в судебном крючкотворстве, чтобы лучше защищать вверенные ему интересы; быть знакомым с коммерческим счетоводством, обладать прекрасным здоровьем и быть неутомимым в ходьбе пешком и в верховой езде. Управляющий обязан представлять своего хозяина, он постоянно с ним общается и, следовательно, не может быть человеком из простонародья. Ввиду того, что редкий управляющий получает тысячу экю жалованья в год, задача кажется неразрешимой. Как найти столько ценных качеств за скромную плату в стране, где обладатель подобных качеств может занять любую должность? Выписать человека, незнакомого с краем,— значит очень дорого заплатить за приобретение этим приезжим опыта. Подготовить молодого человека из местного населения — зачастую все равно, что искусственно вскормить неблагодарность. Остается, таким образом, только выбирать между честной бездарностью, малополезной из-за своей неповоротливости или близорукости, и смышленым плутом, пекущимся о собственных интересах. Отсюда та социальная номенклатура и та естественная история управляющих, которую следующим образом сформулировал один польский магнат. «У нас,— сказал он,— имеется два вида управляющих: одни думают только о себе, другие думают и о нас и о себе; счастлив землевладелец, если ему удалось напасть на управляющего второго вида. Такого же управляющего, который думал бы только о нас, до сих пор еще не встречалось».

Управителя, помышляющего и о своих и о хозяйских интересах, мы уже встречали (см. «Первые шаги в жизни» в «Сценах частной жизни»). Гобертен — тип

управляющего, занятого исключительно собственным благополучием. Изобразить третью разновидность этой породы — значило бы предложить общественному вниманию малоправдоподобную личность, которая все же была знакома прежнему дворянству (см. «Музей древностей» в «Сценах провинциальной жизни») и сошла со сцены одновременно с ним. Непрестанное дробление крупных состояний неизбежно повлечет за собой перемены и в самом быте аристократии. В теперешней Франции не найти и двадцати крупных состояний, управление которыми поручено доверенным лицам, а лет через пятьдесят не найдется и ста крупных имений, отданных на попечение управляющих, если, конечно, не изменится Гражданский кодекс. Богатому землевладельцу придется самому заботиться о собственных интересах.

Эта уже начавшаяся перемена вызвала следующий ответ одной остроумной старой дамы, у которой спросили, почему начиная с 1830 года она проводит лето в Париже. «Я перестала жить в поместьях с тех пор, как из них понаделали ферм». Но к чему приведет этот все сильнее разгорающийся спор человека с человеком, спор между богатым и бедным? Настоящая работа написана исключительно с целью осветить этот страшный социальный вопрос.

Нетрудно понять, в каком сложном и затруднительном положении оказался генерал, рассчитав Гобертена. Как всякий хозяин, вольный поступать по своему усмотрению, он в душе решил: «Прогоню этого мерзавца»,—но при этом он позабыл о случайностях, о своей вспыльчивости сангвиника-рубаки, готового прийти в ярость, как только какой-нибудь проступок откроет ему глаза на то, что он старался не видеть.

Впервые сделавшись землевладельцем, Монкорне, типичное детище Парижа, не позаботился заранее подыскать себе управляющего; теперь же, ознакомившись с краем, он понял, насколько необходимо такому человеку, как он, иметь посредника, чтобы вести дела со столькими людьми, принадлежащими к низшим слоям общества.

За те два часа, пока длилась бурная сцена между Гобертеном и его хозяином, управляющий сообразил, что генерал при своей горячности очень скоро окажется в

затруднительном положении; выйдя из гостиной, где произошла ссора, он вскочил на свою лошадку, домчался до Суланжа и там стал держать совет с четою Судри.

Услышав его слова: «Я расстаюсь с генералом. Кого бы ему подсунуть в управляющие, так, чтобы он ничего не заподозрил?»,— супруги Судри сразу поняли мысль своего приятеля. Не надо забывать, что Судри семнадцать лет стоял во главе кантональной полиции, а его жена, как и все субретки оперных див, была очень хитра.

— Долго придется ему искать,— сказала мадам Судри, —прежде чем он найдет кого-нибудь лучше нашего дорогого Сибиле.

— Крышка ему! — воскликнул Гобертен, еще весь красный от перенесенного унижения.— Люпен,— обратился он к нотариусу, присутствовавшему на этом совещании,— отправляйтесь-ка в Виль-о-Фэ да хорошенько настрочите Марешаля, на случай если наш красавец кирасир обратится к нему за советом.

Марешаль был тем самым поверенным, которого его бывший патрон, парижский поверенный в делах Монкорне, как и следовало ожидать, рекомендовал генералу в качестве советчика после удачной покупки Эгов.

Упомянутый Сибиле, старший сын секретаря суда в Виль-о-Фэ, двадцати пяти лет от роду, будучи еще конторщиком нотариуса, без гроша за душой, до безумия влюбился в дочь суланжского мирового судьи.

Этот достойный судья, по имени Саркюс, получавший полторы тысячи франков жалованья, женился на девушке без всякого приданого, старшей сестре суланжского аптекаря г-на Вермю. Единственной его дочери Аделине, богатой только своей красотой, пожалуй, проще было умереть, чем прожить на жалованье, которое получает в провинции конторщик нотариуса. Молодой Сибиле, приходившийся дальней родней Гобертену по каким-то довольно трудно уловимым семейным связям, по которым в маленьких городках добрая половина обывателей оказывается в родстве друг с другом, получил при поддержке своего отца и Гобертена тощенькое местечко в оценочном управлении. На долю этого бедняги выпало нерадостное счастье за три года оказаться отцом двух детей. Секретарь суда, у которого на руках было еще пятеро детей, не мог помогать старшему сыну. У мирового судьи ничего не

было, кроме дома в Суланже и ренты в сто экю. Поэтому-то г-жа Сибиле-младшая вместе со своими двумя детьми большей частью жила у отца. Адольф Сибиле, которому приходилось разъезжать по всему департаменту, изредка навещал свою Аделину. Может быть, именно при таких условиях жены и бывают особенно плодовиты.

Восклицание Гобертена, понятное после этого беглого обзора материального положения молодой четы Сибиле, требует еще некоторых пояснений.

Адольф Сибиле, отличавшийся, как мы уже видели из ранее набросанного портрета, исключительно неприглядной внешностью, принадлежал к тому разряду мужчин, которые могут найти доступ к женскому сердцу, лишь пройдя через мэрию и церковь. Одаренный гибкостью пружины, он уступал, но вслед за тем сейчас же возвращался к своей цели. Такое обманчивое свойство весьма похоже на трусость, но, пройдя выучку в конторе провинциального нотариуса, Сибиле привык скрывать этот недостаток под личиной угрюмости, подменявшей отсутствующую силу. Многие фальшивые люди прячут свою паскудную душонку под напускной резкостью; ответьте им резкостью, и эффект будет тот же, как если бы вы прокололи булавкой надутый пузырь. Таков был сын секретаря суда. Но большинство людей не отличается наблюдательностью, а среди наблюдательных людей три четверти производят свои «наблюдения» уже после совершившегося факта, поэтому ворчливость Адольфа Сибиле сходила за грубоватую прямоту (качество, превозносимое его патроном) и за несговорчивую честность, пока еще не подвергавшуюся серьезным испытаниям. Некоторым людям их недостатки так же идут на пользу, как другим — их достоинства.

Хорошенькую г-жу Сибиле ее мать, умершая за три года до этого брака, воспитала с великой заботливостью, какую уделяет нежная мать воспитанию своей единственной дочери в глухом городке; девушкой Аделина любила молодого и красивого Амори Люпена, единственного сына суланжского нотариуса. В самом начале нашего повествования старик Люпен, прочивший в жены сыну Элизу Гобертен, отправил его в Париж на выучку к своему корреспонденту, нотариусу Кротта, у коего Амори

должен был научиться составлять акты и контракты, но в активе Амори оказались только факты сумасбродства и долги, к которым его подстрекал Жорж Маре, другой ученик нотариуса Кротта, богатый молодой человек, посвятивший сотоварища в тайны парижской жизни. Когда нотариус Люпен поехал за своим сыном в Париж, Аделина уже носила фамилию Сибиле. Дело в том, что влюбленный Адольф посватался к ней, и старый мировой судья, побуждаемый Люпеном-отцом, поторопился с браком, на который Аделина согласилась с отчаяния.

Служба в оценочном управлении — отнюдь не карьера. Как и многие чиновничьи должности, она не сулит никакой будущности: это нечто вроде дыры в правительственной шумовке. Люди, попадающие в эти дыры (межевая часть, управление шоссейных дорог и мостов, учительство и т. д.), всегда несколько поздно спохватываются, что более ловкие тут же рядом с ними высасывают, как говорят оппозиционные писатели, соки из народа, всякий раз как шумовка с помощью аппарата, именуемого бюджетом, погружается в налоговую гущу. Адольф, работавший с утра до ночи и очень мало получавший за свою работу, вскоре убедился, насколько бесплодна и бездонна поглотившая его дыра. Странствуя из одной общины в другую и тратя жалованье на обувь и дорожные расходы, он мечтал о более солидном и выгодном месте.

Только человек косой и невзрачный, да к тому же еще обремененный двумя детьми, прижитыми в законном браке, может понять, какое честолюбие развилось за эти три горьких года, изредка скрашенных любовью, у Сибиле, одинаково неприглядного и внешне и внутренне, не уверенного в своем благополучии, которое хотя и не хромало на обе ноги, но во всяком случае было довольно шатким. Весьма возможно, что неполное счастье является главным побудителем скрытых дурных поступков и тайных подлостей. Человек, может быть, легче мирится с беспросветным несчастьем, чем с проблесками солнца и любви сквозь непрерывно льющийся дождь. В таких случаях бывают поражены и тело и душа, которую разъедает проказа зависти. У мелких натур этот порок развивается в трусливую и вместе с тем грубую алчность, од-

новременно и дерзкую и скрытую; у людей просвещенных он порождает антиобщественные взгляды, с помощью которых они забирают в руки своих начальников. Нельзя ли употребить как пословицу следующую мысль: «Скажи мне, что у тебя есть, и я скажу, что ты думаешь!»

При всей своей любви к жене Адольф Сибиле ежечасно твердил: «Какую я сделал глупость! У меня только две ноги, а надеты на них тройные оковы. Надо было сперва сколотить состояние, а потом жениться. Что такое жена? Жена — дело наживное, а вот нажить женатому состояние очень трудно».

В качестве родственника Адольф в течение трех лет три раза навестил Гобертена. По нескольким сказанным им словам Гобертен угадал, что душу его родственника, как глину при обжиге, опаляют помыслы об узаконенном воровстве. Будучи человеком хитрым, он быстро раскусил Сибиле и понял, что тот согласится на любые требования, лишь бы ему была пожива. При каждом своем посещении Сибиле угрюмо бубнил:

— Дайте мне какую-нибудь работу, братец. Возьмите к себе в приказчики и сделайте своим преемником. Испробуйте меня в деле! Я способен горы своротить, только бы доставить Аделине если не роскошное, то хотя бы безбедное существование. Вы облагодетельствовали господина Леклерка; почему бы вам не устроить меня в Париже... хотя бы в банке.

— Еще успеется, я тебя не забуду,—отвечал его честолюбивый родственник.— Набирайся знаний, все пригодится!

Будучи в таком умонастроении, Адольф сразу же, как получил письмо, в котором мадам Судри спешно вызывала своего протеже, примчался в Суланж, строя тысячу воздушных замков.

Саркюс-отец, которого супруги Судри убедили похлопотать за зятя, на следующий же день явился к генералу и предложил ему Адольфа в управляющие. По совету мадам Судри, игравшей в городе роль оракула, старичок взял с собой дочь, которая действительно произвела самое благоприятное впечатление на графа Монкорне.

— Я не дам окончательного ответа,— сказал генерал,— пока не наведу всех необходимых справок; но я не стану подыскивать другого управляющего, пока не вы-

ясню, отвечает ли ваш зять всем требованиям, связанным с этой должностью. Мое желание устроить в Эгах столь очаровательную особу...

— Мать двоих детей,— довольно тонко вставила Аделина, чтобы избежать ухаживаний кирасира.

Супруги Судри, Гобертен и Люпен прекрасно предусмотрели все шаги, предпринятые генералом, поэтому в главном городе департамента, где находится суд второй инстанции, они обеспечили своему кандидату поддержку советника Жандрена, дальнего родственника председателя суда в Виль-о-Фэ, рекомендацию прокурора высшего суда, барона Бурляка, которому был подчинен Судри-сын, прокурор первой инстанции, и, наконец, поддержку некоего советника префектуры Саркюса, троюродного брата мирового судьи. Начиная с поверенного генерала в Виль-о-Фэ и кончая префектурой, где г-н Монкорне побывал лично, все с похвалой отзывались о бедном и безупречно честном чиновнике оценочного управления... История женитьбы Сибиле была интересна, как чувствительные романы мисс Эджворт, и сверх того создала ему славу человека бескорыстного.

Время, которое уволенный управляющий еще оставался по необходимости в Эгах, он употребил на то, чтобы подготовить множество затруднений для своего бывшего хозяина, о чем может дать ясное представление одна из разыгранных Гобертеном коротеньких сцен. Утром в день своего отъезда он повидал Курткюиса, единственного сторожа, которого держал в Эгах, хотя имение по размерам своим требовало по меньшей мере троих сторожей.

— Что же это, господин Гобертен,— спросил Курткюис,— у вас, стало быть, нелады с хозяином?

— А до тебя уже дошло? — сказал Гобертен.— Ну да, генералу вздумалось командовать нами, как своими кирасирами. Плохо он знает бургундцев! Их сиятельство изволят быть недовольны моей службой, а так как я недоволен его обращением, то мы с ним и рассорились и чуть не пустили в ход кулаки, так он разбушевался... Берегись теперь, Курткюис! Эх, старик, думал я дать тебе хозяина получше...

— Знаю,— ответил сторож,— а как бы я вам послужил! Да и как же не послужить, когда мы двадцать

лет знаем друг друга! Вы же меня сюда и поставили еще при жизни нашей дорогой барыни! Уж и добрая же была барыня! Прямо сказать — святая! Теперь таких не увидишь... Мать родную все мы потеряли...

— Слушай-ка, Курткюис, если захочешь, ты можешь оказать нам большую услугу.

— Значит, вы никуда не уезжаете?.. А мы слышали, что вы собирались в Париж!..

— Нет, подождем, чем все это кончится, а пока что я займусь кое-какими делишками в Виль-о-Фэ. Генерал не представляет себе, что у нас за край, а его здесь здорово возненавидят, понимаешь... Надо посмотреть, как повернется дело. Не очень налегай на службу, хоть генерал тебе и прикажет строго взыскивать с народа, ведь он отлично видит, куда утекает добро.

— Он уволит меня, дорогой господин Гобертен! А вы знаете, как хорошо мне живется у Авонских ворот!..

— Генералу скоро опротивеет его имение,— сказал Гобертен,— и ты недолго проходишь без места, если он тебя ненароком и уволит. А потом, видишь, вон леса...— продолжал он, указывая вдаль,— там я буду посильнее хозяев!

Разговор этот происходил в поле.

— Сидели бы уж парижские *арминаки* в своей парижской грязи,— сказал сторож.

Со времени междоусобиц XV века слово «арминаки» (арманьяки — парижане, противники герцогов Бургундских) сохранилось как бранное прозвище на окраине Верхней Бургундии, претерпев в разных местностях различные искажения.

— Он в Париж и вернется, только побитым! — сказал Гобертен.— А мы, придет время, распашем Эгский парк, потому что держать для удовольствия одного человека девятьсот арпанов лучшей в долине земли — это значит обворовывать народ!

— Что и говорить! На это бы прожило четыреста семейств! — воскликнул Курткюис.

— Если хочешь получить два арпана на свою долю, ты должен нам помочь выжить отсюда этого грубияна!..

В то самое время как Гобертен предавал генерала анафеме, почтенный мировой судья приехал в имение к славному командиру кирасиров вместе со своим зятем

Сибиле, Аделиной и двумя внуками в плетеной тележке, взятой для этого случая у брата суланжского доктора, некоего г-на Гурдона, который занимал должность секретаря мирового суда и был куда состоятельнее самого судьи. Такое явление, отнюдь не соответствующее достоинству суда, наблюдается во всех мировых судах и судах первой инстанции, где у секретаря доход значительно больше, чем у председателя, между тем было бы так естественно положить секретарям определенное жалованье и соответственно уменьшить судебные издержки.

Простосердечие и спокойный нрав почтенного судьи, а также манеры и приятная внешность Аделины (и отец и дочь от чистого сердца хвалили Сибиле, так как не имели ни малейшего представления о дипломатической миссии, возложенной на него Гобертеном) пришлись графу по душе, и он предложил молодой и трогательной чете условия, приравнивавшие положение управляющего к положению супрефекта первого класса.

Семейству Сибиле отвели прежнюю квартиру Гобертена — флигель, построенный Буре и предназначенный для украшения пейзажа и для жилища управляющего,— изящное здание в том архитектурном стиле, который нашел себе достаточное отражение в нашем описании Бланжийских ворот. Генерал оставил в распоряжении управляющего лошадь, которую мадемуазель Лагер предоставляла Гобертену ввиду больших размеров поместья, отдаленности рынков, где заключались сделки, и необходимости присматривать за хозяйством. Он назначил Сибиле двадцать пять сетье ржи, три бочки вина, дров по потребности, вдоволь овса и сена и, наконец, три процента с чистого дохода. Раз мадемуазель Лагер в 1800 году получала более сорока тысяч франков дохода, теперь, в 1818 году, после сделанных ею значительных земельных приобретений, генерал вполне резонно желал получать шестьдесят тысяч. Значит, новый управляющий мог зарабатывать около двух тысяч франков деньгами. При готовой квартире, провизии и отоплении, при даровом корме для лошади и домашней птицы, при отсутствии налогов управляющий получил еще разрешение завести свой огород, причем граф обещал смотреть сквозь пальцы, если обработать землю помогут эгские

садовники. Такие льготы, несомненно, стоили более двух тысяч франков. Ясно, что для человека, зарабатывавшего в оценочном управлении тысячу двести франков, попасть на должность управляющего Эгами значило перейти от нищеты к богатству.

— Если вы будете блюсти мои интересы, я вас не забуду,— сказал генерал.— Во-первых, я имею возможность предоставить вам сбор податей по Кушу, Бланжи и Сернэ, отделив его от сбора податей по Суланжу. Словом, если вы доведете мой доход до шестидесяти тысяч франков, я в долгу не останусь.

К несчастью, достойный мировой судья и Аделина в порыве охватившей их радости имели неосторожность сообщить мадам Судри об обещании графа касательно сбора податей, не подумав о том, что суланжским сборщиком податей был некто Гербе, брат содержателя почтовых лошадей в Куше и, как увидим в дальнейшем, свойственник Гобертенов и Жандренов.

— Ну, это не так-то просто, моя милая,— сказала мадам Судри.— Но все же пусть граф похлопочет. И представить себе нельзя, как самые трудные дела легко улаживаются в Париже. Я видела кавалера Глюка у ног покойницы барыни, и она пела в его опере, несмотря на то, что пошла бы в огонь и воду за Пиччини, одного из самых любезных мужчин того времени. Славный был господин, всякий раз, как придет к барыне, непременно обнимет меня за талию и назовет «очаровательной плутовкой».

— Вот тебе на! — воскликнул жандармский унтер-офицер, когда жена рассказала ему сообщенную Аделиной новость.— Уж не воображает ли он, что будет распоряжаться в нашей долине, все переворачивать по-своему и командовать жителями, как кирасирами у себя в полку: «Направо! Налево!» Привыкли эти господа офицеры приказывать! Да нет, брат, подождешь! За нас вступятся господа Суланж и Ронкероль... Бедный дядя Гербе! Он и не подозревает, что у него собираются оборвать лучшие розы на кусте!

Это выражение в духе Дора бывшая горничная позаимствовала у своей хозяйки, позаимствовавшей его у Буре, в свою очередь, позаимствовавшего его у одного

из сотрудников «Меркурия», а Судри повторял его так часто, что в Суланже оно вошло в поговорку.

Дядя Гербе, суланжский сборщик податей, был прославленным остроумцем, то есть первым шутником в городке и желанным гостем в салоне мадам Судри. Выпад жандармского унтер-офицера против эгского помещика прекрасно отображает мнение, сложившееся о Монкорне в том краю, от Куша до Виль-о-Фэ, при содействии Гобертена, всюду подливавшего масла в огонь.

Сибиле был принят на должность управляющего в конце осени 1817 года. Весь 1818 год генерал не заглядывал в Эги, так как хлопоты, связанные с его женитьбой на мадемуазель де Труавиль, с которой он обвенчался в самом начале 1819 года, задержали его почти на все лето в окрестностях Алансона, в замке будущего тестя, где он ухаживал за своей невестой. Кроме Эгов и великолепного особняка, генерал де Монкорне имел шестьдесят тысяч франков ежегодного дохода с государственной ренты и получал пенсию по чину генерал-лейтенанта в запасе. Правда, Наполеон возвел этого славного рубаку в графы, дав ему герб в виде щита, разделенного на четыре поля: *в первом — по голубому полю с золотыми звездами три серебряные пирамиды; во втором — по зеленому полю три серебряных охотничьих рога; в третьем — по красному полю золотая пушка на черном лафете с золотым полумесяцем наверху; в четвертом — по золотому полю зеленая корона с девизом, достойным средневековья: «Труби атаку!»* — и все же Монкорне отлично понимал, что отец его был краснодеревцем из Сент-Антуанского предместья, хотя весьма охотно и позабыл бы об этом обстоятельстве. Ему до смерти хотелось получить пэрство. Он ни во что не ставил имевшийся у него большой крест Почетного легиона, крест святого Людовика и свои сто сорок тысяч франков дохода. Уязвленный бесом аристократизма, он не мог спокойно глядеть на голубую ленту. Славный эслингский кирасир готов был лизать грязь на Королевском мосту, только бы быть принятым у Наварренов, Ленонкуров, Гранлье, Мофриньезов, д'Эспаров, Ванденесов, Шолье, Верней, д'Эрувилей и им подобных.

Начиная с 1818 года, когда ему была доказана невозможность переворота в пользу Бонапартов, Монкорне

загорелся желанием породниться с каким-нибудь знатным семейством и через некоторых своих приятельниц, всячески прославлявших его в Сен-Жерменском предместье, предлагал благородным невестам руку и сердце, а в придачу особняк и состояние.

После невероятных усилий герцогиня де Карильяно нашла наконец подходящую для генерала партию в одной из трех ветвей рода де Труавилей, а именно в семье виконта, состоявшего с 1789 года на русской службе и вернувшегося из эмиграции в 1815 году. Сам виконт, не имевший, как младший член семьи, никаких средств, был женат на некоей княжне Шербеловой, принесшей ему в приданое около миллиона; однако с рождением двух сыновей и трех дочерей состояние его значительно уменьшилось. К этому древнему и влиятельному семейству принадлежали: один пэр Франции, маркиз де Труавиль, глава рода и носитель герба, и два обремененных обширным потомством депутата, пристроившихся к финансам, министерству и двору, как рыба к приманке. Поэтому, когда Монкорне был представлен де Труавилям супругой маршала, одной из наиболее преданных Бурбонам наполеоновских герцогинь, его приняли весьма благосклонно. Взамен своего состояния и беззаветной любви к будущей жене Монкорне потребовал для себя назначения в королевскую гвардию, титул маркиза и звание пэра Франции, но все три ветви рода де Труавилей пообещали ему только свою поддержку.

— Вы понимате, что это значит? — сказала супруга маршала своему старому приятелю, жаловавшемуся на неопределенность подобного обещания.— Королем нельзя распоряжаться, мы можем только постараться, чтобы он сам пожелал...

По брачному контракту Монкорне сделал Виржини де Труавиль своей наследницей. Всецело подчинившись жене, как это явствует из письма Блонде, он пока только мечтал о будущем потомстве. Но зато он был принят Людовиком XVIII, который пожаловал ему орден святого Людовика, разрешил присоединить к своему смехотворному гербу герб Труавилей и пообещал титул маркиза, когда Монкорне заслужит своей преданностью звание пэра.

Через несколько дней после этой аудиенции был

убит герцог Беррийский; Марсан одержал верх, Виллель стал министром; все нити, протянутые Труавилями, порвались, их пришлось подвязывать к новым министерским колышкам.

— Подождем,— сказали Труавили генералу Монкорне, которого, кстати сказать, Сен-Жерменское предместье осыпало любезностями.

Все это объясняет, почему генерал возвратился в Эги только в 1820 году.

Счастье, и не снившееся сыну торговца из Сент-Антуанского предместья,— молодая, изящная, умная и ласковая жена, словом, настоящая Труавиль, раскрывшая перед ним двери всех салонов Сен-Жерменского предместья, парижские удовольствия, которые он спешил ей доставить,— все эти разнообразные радости стерли воспоминание о сцене с эгским управляющим, и генерал забыл не только самого Гобертена, но даже его фамилию. В 1820 году он повез графиню в Эги, чтобы показать ей свое поместье. Он утвердил, не особенно в них вникая, все счета и договоры, представленные Сибиле: счастье ведь не придирчиво. Графиня, которую очень обрадовало, что у их управляющего такая очаровательная жена, осыпала Аделину подарками. Она поручила прибывшему из Парижа архитектору произвести кое-какие перемены в замке, так как решила, к великому восторгу мужа, проводить полгода в этом великолепном поместье. Все сбережения генерала ушли на заказанные архитектору переделки и на прелестную обстановку, выписанную из Парижа. Тогда-то Эги и приобрели тот последний штрих, благодаря которому они стали единственным в своем роде памятником изящества за пять истекших столетий.

В 1821 году Сибиле, можно сказать, вытребовал генерала в Эги ранее мая месяца. Надо было разрешить неотложное дело: 15 мая истекал срок девятилетнего договора на тридцать тысяч франков, заключенного Гобертеном в 1812 году с фирмой лесопромышленников.

Прежде всего Сибиле, ревниво оберегая свое честное имя, не хотел вмешиваться в возобновление договора. «Вам известно, ваше сиятельство,— писал он графу,— что я такими делами не занимаюсь». Вдобавок лесопромышленник претендовал на возмещение убытков от

порубок; мадемуазель Лагер, ненавидевшая судебные процессы, шла на это, а деньги делились поровну между арендатором и Гобертеном. Претензия лесопромышленников основывалась на том, что местные крестьяне вели себя так, будто пользуются в эгских лесах узаконенным правом рубки. Братья Гравло, которые держали в Париже лесной двор, отказывались производить последний взнос, предлагая доказать экспертизой, что ценность леса убавилась на одну пятую, и ссылались на обычай, заведенный еще при мадемуазель Лагер.

«Я уже предъявил этим господам,— писал генералу Сибиле,— иск в виль-о-фэйском суде, ибо в связи с настоящим договором они избрали своим местожительством дом моего бывшего патрона, нотариуса Корбине. Я опасаюсь решения в их пользу».

— Дело идет о наших доходах, ангел мой,— сказал генерал, показывая письмо жене.— Не согласитесь ли вы отправиться в Эги раньше, чем в прошлом году?

— Поезжайте, я приеду, как только наступят первые теплые дни,— сказала графиня, радуясь перспективе остаться одной в Париже.

Итак, зная, что смертельная язва пожирает самую крупную статью его дохода, генерал уехал один, с твердым намерением принять самые решительные меры. Но он, как мы увидим, упустил из виду Гобертена.

VIII
БОЛЬШИЕ ПЕРЕВОРОТЫ В МАЛЕНЬКОЙ ДОЛИНЕ

— Итак, мэтр Сибиле,— говорил генерал на следующий день после приезда своему управляющему, доказывая таким дружеским обращением, как высоко он ценит юридические познания бывшего писца,— стало быть, положение наше, выражаясь министерским слогом, весьма затруднительно?

— Так точно, ваше сиятельство,— ответил Сибиле, следуя за генералом.

Счастливый владелец Эгов прогуливался перед конторой, по небольшому цветнику, разбитому Сибиле, за которым простирался луг, орошаемый великолепным каналом, описанным Блонде. Отсюда виднелся Эгский за-

мок, а из его окон был виден боковой фасад флигеля, отведенного управляющему.

— Но в чем же трудности? — снова заговорил генерал.— Я буду судиться с братьями Гравло. Денежные раны не смертельны. Я широко оповещу о торгах и благодаря конкуренции получу за свой лес настоящую цену.

— Дела так не делаются, ваше сиятельство,—возразил Сибиле.— Ну, а если не окажется желающих, что тогда?

— Сам буду сводить лес и торговать им.

— Как? Вы сами сделаетесь лесоторговцем? — спросил Сибиле, заметив, что генерал пожимает плечами.— Хорошо, пусть так. Оставим в стороне ваши здешние дела. Ну, а в Париже? Вам придется нанять там лесной склад, оплатить патент, налоги, сплавной сбор, ввозную пошлину, оплатить выгрузку бревен, укладку в штабели, наконец, держать приказчика...

— Нет, это неосуществимо,— поспешно возразил запуганный генерал.— Но почему же не окажется желающих?

— У вас, ваше сиятельство, есть здесь враги.

— Кто же?

— Прежде всего господин Гобертен...

— Это кто? Тот мошенник, место которого вы заступили?

— Не так громко, ваше сиятельство,— воскликнул Сибиле,— не так громко! Моя кухарка может услышать...

— Как! — возмутился генерал.— У себя дома я не могу говорить о негодяе, который меня обкрадывал?

— Ради вашего спокойствия, ваше сиятельство, ютойдемте подальше!.. Господин Гобертен — мэр в Виль-о-Фэ.

— Ах, так! С чем я и поздравляю Виль-о-Фэ! Вот, черт побери, недурной градоправитель!

— Соблаговолите выслушать меня, ваше сиятельство, поверьте, это очень серьезно: дело идет о вашем будущем пребывании здесь

— Ну, слушаю. Сядем на скамейку.

— Ваше сиятельство, когда вы уволили господина Гобертена, ему пришлось подыскать себе какое-нибудь занятие, потому что он был небогат...

— Небогат? Да ведь он воровал здесь по двадцать тысяч франков в год!

— Ваше сиятельство, я вовсе не собираюсь его оправдывать,— возразил Сибиле.— Я желаю процветания Эгам, хотя бы только для того, чтобы доказать бесчестность Гобертена. Но не будем себя обманывать: это самый опасный мошенник во всей Бургундии, а при его теперешнем положении он может вам сильно навредить.

— Каким образом? — спросил генерал с озабоченным видом.

— Сейчас Гобертен снабжает дровами почти треть Парижа. Он здесь главный агент по лесным операциям, руководит эксплуатацией леса, рубкой, охраной, сплавом, выгрузкой из воды и дальнейшей отправкой лесных материалов. Он постоянно имеет дело с рабочими и устанавливает им плату. Три года потратил он на то, чтобы добиться такого положения, но теперь чувствует себя, как в крепости. Он — доверенное лицо всех лесопромышленников, ни одному из них он не оказывает предпочтения, он наладил все работы к их общей выгоде: теперь лесные операции значительно облегчены и обходятся им много дешевле, чем в те времена, когда каждый лесоторговец держал своего приказчика. Таким путем он ловко сумел устранить конкуренцию и забрал все подряды в свои руки; удельное ведомство и казна — его данники. Их подряды на вырубку леса, идущие с торгов, всегда достаются клиентам Гобертена; никому уже не по силам с ним тягаться. В прошлом году господин Мариот из Оссэра, подстрекаемый главным управляющим уделов, попробовал было конкурировать с Гобертеном. Для начала Гобертен заставил его сполна оплатить участки; затем, когда дело дошло до сводки леса, авонские рабочие заломили такую цену, что господину Мариоту пришлось выписать рабочих из Оссэра, а здешние рабочие их поколотили. Господин Мариот затеял судебный процесс по делу о стачке и драке. Процесс обошелся ему недешево; он оплатил все судебные издержки, так как у осужденных не оказалось и ломаного гроша за душой, да, кроме того, у него на совести то, что из-за него осудили бедняков. Судясь с бедняками, только озлобляешь против себя население. Позвольте по-

путно высказать вам эту истину, потому что вам придется вести борьбу со всей беднотой здешнего кантона. Но дело этим не ограничилось. В итоге старик Мариот, человек неплохой, понес еще убыток на всей операции. Ему приходилось платить за все наличными, а продавать в рассрочку, так как Гобертен, чтобы разорить конкурента, отпускал лесной материал с неслыханной рассрочкой, и Мариот поневоле продавал лес иной раз на пять процентов ниже себестоимости, в результате чего его кредит сильно пошатнулся. Короче говоря, Гобертен и по сию пору так преследует и донимает Мариота, что тот, по слухам, собирается покинуть не только Оссэр, но даже выехать из департамента, и хорошо сделает. После этого случая помещики надолго попали в лапы к лесоторговцам, которые теперь сами устанавливают цены, как парижские скупщики мебели на аукционах. Но вместе с тем Гобертен избавляет помещиков от стольких хлопот, что они в конце концов выигрывают на этом деле.

— Каким же образом? — спросил генерал.

— Во-первых, всякое упрощение рано или поздно идет на пользу всем заинтересованным лицам,— ответил Сибиле.— Затем помещики могут быть уверены в поступлении доходов. А в сельскохозяйственном деле это главное — вы в этом скоро убедитесь! Наконец, господин Гобертен — родной отец для рабочих: он им хорошо платит и никогда не оставляет без заработка; а так как семьи этих рабочих живут в окрестных деревнях, то у лесопромышленников и помещиков, которые поручили вести свои дела Гобертену, вот как господа де Суланж и де Ронкероль, крестьяне деревьев не рубят: они собирают валежник — и только.

— Вижу, что мошенник Гобертен не терял даром времени! — воскликнул генерал.

— Да, это человек ловкий! — подтвердил Сибиле.— По его словам, он теперь управляет доброй половиной департамента, вместо того чтобы управлять Эгами. С каждого он берет немножко, но при двухмиллионном обороте это «немножко» дает ему от сорока до пятидесяти тысяч франков в год. «За все платят парижские печи!» — говорит он. Вот какой у вас противник, ваше сиятельство! Мой вам совет — сложить оружие и пойти

на мировую. Как вы знаете, он в дружбе с суланжским жандармским унтер-офицером Судри и с нашим бланжийским мэром господином Ригу; все жандармы — его ставленники; бороться с разоряющими вас злоупотреблениями при таких условиях совершенно невозможно. За последние два года ваши леса окончательно загублены. У господ Гравло есть шансы выиграть процесс, ибо они говорят: «Согласно арендному договору, охрана леса лежит на вас; вы его не охраняете, чем наносите нам убыток; потрудитесь этот убыток возместить». Рассуждение правильное, но это еще не основание, чтобы выиграть процесс.

— Надо быть готовым к процессу, хотя бы и с денежными потерями, лишь бы оградить себя от таких притязаний в будущем,— промолвил генерал.

— Вы очень обрадуете Гобертена,— заметил Сибиле.

— Чем?

— Судиться с господами Гравло — это значит схватиться врукопашную с Гобертеном, их представителем,— ответил Сибиле.— Гобертен только об этом процессе и мечтает. Он так и говорит, хвалится, что доведет дело до кассационного суда.

— Ах, он мошенник!.. Ах, он...

— Если вы вздумаете сами сводить свои леса,— продолжал Сибиле, поворачивая нож в ране,— вы попадете в руки рабочих, которые запросят с вас не «купеческую», а «господскую» цену и отольют вам такую пулю, что вы окажетесь в положении бедняги Мариота и вам придется продавать лес себе в убыток. Если вы будете искать арендатора, вам его не найти: трудно ожидать, чтобы кто-нибудь ради частного лица пошел на риск, на который старик Мариот пошел в интересах уделов и казны... Посмотрел бы я, как этот голубчик будет жаловаться начальству на свои потери! Начальство — это чиновник, похожий на вашего покорного слугу, когда он служил в оценочном управлении,— почтенный субъект в потертом сюртуке, читающий газету за канцелярским столом. Получает ли он сто франков в месяц или тысячу — разницы никакой! Попробуйте поговорить о каких-нибудь скидках, о каких-нибудь льготах с государственным казначейством, представленным таким чинов-

ником! Он будет слушать вас, чиня перо и посвистывая. Вы вне закона, ваше сиятельство!

— Что же делать?—гневно крикнул генерал и принялся быстро шагать взад и вперед около скамейки.

— Ваше сиятельство, то, что я сейчас скажу, отнюдь не в моих интересах: вам надо продать Эги и уехать отсюда! — выпалил вдруг Сибиле.

Услышав эти слова, генерал подскочил, как ужаленный, и уставился на Сибиле испытующим взглядом.

— Чтобы генерал императорской гвардии отступил перед такими негодяями, да еще когда графине нравятся Эги!..—воскликнул он.— Да я отхлестаю Гобертена по щекам на площади в Виль-о-Фэ, он поневоле будет со мной драться, и я убью его, как собаку!

— Ваше сиятельство, Гобертен не так глуп, чтобы ввязываться с вами в ссору. К тому же нельзя безнаказанно оскорблять мэра такой значительной супрефектуры, как Виль-о-Фэ.

— Я добьюсь, чтобы его сместили. Труавили меня поддержат, дело идет о моих доходах...

— Вам это не удастся, ваше сиятельство. У Гобертена сильная рука! Вы только создадите себе затруднения, из которых вам не выпутаться...

— Ну, а процесс? — спросил генерал.— Надо думать о сегодняшнем дне.

— Ваше сиятельство, я устрою так, что вы его выиграете,— сказал Сибиле с выражением скромной решимости на лице.

— Молодец Сибиле! — воскликнул генерал, горячо пожимая руку управляющего.— Но каким образом?

— Вы выиграете дело в кассационном суде, когда оно туда в конце концов попадет. По-моему, братья Гравло правы, но мало быть правым по закону и по существу, надо еще все правильно обставить с формальной стороны, а они пренебрегли формальностями, которые всегда важнее самой сущности. Почему арендаторы не предупредили вас о необходимости более тщательной охраны леса? Нельзя требовать по окончании срока договора возмещения убытков, понесенных за время девятилетней аренды; в договоре имеется параграф, на который можно в данном случае сослаться. Вы проиграете дело в Виль-о-Фэ, может быть, проиграете его и во вто-

рой инстанции, но выиграете его в Париже. Вам придется потратить много денег на экспертизы, пойти на разорительные расходы. Даже выиграв дело, вы израсходуете от двенадцати до пятнадцати тысяч франков; но если вы захотите, вы непременно выиграете дело. Этот процесс не примирит с вами братьев Гравло, так как для них он будет еще разорительнее, чем для вас; они вас возненавидят, вы прослывете сутягой, на вас будут клеветать; но процесс вы все-таки выиграете...

— Что же делать? — повторил генерал, на которого доводы Сибиле действовали, как самые злые горчичники.

Он вспомнил, как проучил Гобертена хлыстом, и теперь, кажется, охотно отхлестал бы себя самого, и Сибиле без труда читал на его раскрасневшемся лице все переживаемые им муки.

— Что делать, ваше сиятельство?.. Выход один: пойти на мировую. Но самим вам мириться неудобно. Надо сделать так, будто я вас обворовываю. Правда, для нас, бедняков, все богатство и утешение в добром имени, и нам не следует, конечно, казаться мошенниками. Ведь о нас всегда судят по тому, чем мы кажемся. Гобертен в свое время спас жизнь мадемуазель Лагер, а все думали, что он ее обкрадывал; зато она вознаградила его за преданность, завещав ему бриллиант стоимостью в десять тысяч франков, мадам Гобертен носит его теперь в ферроньерке.

Генерал еще раз окинул Сибиле испытующим взглядом, но сквозившая в этом взгляде подозрительность, прикрытая благодушной улыбкой, по-видимому, не дошла до управляющего.

— Моя бесчестность так обрадует господина Гобертена,— продолжал Сибиле,— что он сразу станет мне покровительствовать. Поэтому он внимательнейшим образом выслушает следующее мое предложение: «Я могу сорвать с графа двадцать тысяч франков в пользу братьев Гравло при условии, что они поделятся со мной». Если противники ваши согласятся, я верну вам десять тысяч франков, вы потеряете только десять тысяч,—приличия соблюдены, и дело прекращено.

— Ты добрый малый, Сибиле,— сказал генерал, пожимая ему руку.— Если ты сумеешь и в дальнейшем так

же улаживать дела, ты в моих глазах золото, а не управляющий!

— Что касается дальнейшего,— ответил Сибиле,— то вы не умрете с голоду, если года два-три не будете сводить лес. Для начала примитесь хорошенько его оберегать. За это время в Авоне утечет немало воды. Гобертен может умереть, а может, он настолько разбогатеет, что отстранится от дел; наконец, у вас будет время найти ему конкурента, пирог достаточно велик, чтобы его поделить пополам; в противовес Гобертену вы подыщете другого.

— Сибиле,— воскликнул старый солдат, приходя в восторг от открывающихся перед ним различных способов разрешить задачу,— я дам тебе тысячу экю, если ты закончишь дело таким образом; а насчет дальнейшего подумаем!

— Ваше сиятельство,— сказал Сибиле,— прежде всего берегите леса. Взгляните, в какое состояние привели их крестьяне за два года вашего отсутствия... Что мог я с этим поделать? Я управляющий, а не сторож. Для охраны Эгов нужно иметь конного объездчика и трех лесников.

— Будем защищаться. Раз это война — будем воевать! Этого я не боюсь,— сказал Монкорне, потирая руки.

— Это денежная война,— заметил Сибиле,— и она покажется вам труднее обычной. Можно убить человека, но корысть не убьешь. Вы будете биться с врагом на том поле, где сталкиваются все землевладельцы, это поле — сбыт! Мало уметь производить — надо уметь продать, а чтобы продать, надо быть в добрых отношениях со всеми.

— За меня будет местное население.

— А чем вы этого добьетесь? — спросил Сибиле.

— Благотворительностью.

— Оказывать благодеяния крестьянам нашей долины и мелким суланжским обывателям? — воскликнул Сибиле, вдруг начав косить еще сильней, ибо один его глаз гораздо больше светился иронией, нежели другой.— Вы, ваше сиятельство, не отдаете себе отчета в том, что собираетесь предпринять; да здесь самого господа нашего Иисуса Христа вторично распяли бы на

кресте!.. Если вам дорог собственный покой, ваше сиятельство, берите пример с мадемуазель Лагер, закройте глаза на то, что вас грабят... или же нагоните на крестьян страх. Народом, женщинами и детьми можно управлять только страхом. В этом великий секрет силы Конвента и императора.

— Вот как! Стало быть, мы здесь в вертепе разбойников! — воскликнул генерал.

— Мой друг,— обратилась к Сибиле подошедшая Аделина,— завтрак готов. Простите, граф, но муж еще ничего не ел с самого утра, он ездил сегодня в Ронкероль продавать зерно.

— Ступайте, ступайте, Сибиле!

На следующее утро, поднявшись чуть свет, бывший кирасир снова прошел через Авонские ворота, имея в виду поговорить со своим единственным сторожем и выяснить его настроение.

Участок Эгского леса площадью в семьсот — восемьсот арпанов лежал по течению Авоны, и, чтобы сохранить величественный вид реки, по обоим берегам почти прямого русла на протяжении трех лье было оставлено по полосе невырубленных высоких деревьев. Фаворитка Генриха IV, некогда владевшая Эгами, такая же страстная охотница, как и сам Беарнец, приказала выстроить в 1593 году одноарочный мост, который соединил эту часть леса с купленным для нее гораздо более значительным участком, расположенным на холме по ту сторону реки. Тогда-то и были построены Авонские ворота и охотничий домик, а всем известно, с какой пышностью тогдашние архитекторы сооружали здания, служившие охоте, главному развлечению дворянства и королей. Отсюда тянулось шесть аллей, сходившихся к площадке в форме полумесяца. Посредине этого полумесяца возвышался обелиск, на одной стороне которого был изображен наваррский герб, а на другой — герб графини де Море; обелиск завершался солнцем, некогда покрытым позолотой. Вторая площадка в форме полумесяца, разбитая на берегу Авоны, соединялась с площадкой, устроенной у ворот, прямой аллеей, в конце которой был виден выгнутый горб упомянутого моста в венецианском вкусе.

Между двумя красивыми решетками, напоминавши-

ми великолепную, к сожалению разрушенную, решетку сада на Королевской площади в Париже, возвышался кирпичный флигель под островерхой кровлей, с фасадом, отделанным, как и в замке, кладкой из камня, тесанного алмазной гранью. Этот старинный архитектурный стиль, придававший флигелю казенный вид, подходит в городах только к тюрьмам, но на фоне лесного пейзажа он приобретает своеобразную величавость. За купой деревьев виднелись псарни, соколиный двор, фазанник и помещения для егерей, в свое время восхищавшие всю Бургундию, а теперь пришедшие в упадок.

В 1595 году из этого роскошного охотничьего домика выступила королевская охота; впереди бежали прекрасные собаки, излюбленные Паоло Веронезе и Рубенсом; лошади с лоснящимися голубовато-белыми крупами, уцелевшие только в чудесных творениях Вувермана, приплясывали под всадниками; за ними следовали охотники в парадной ливрее, словно сошедшие с полотна Ван дер Мелена; доезжачие, в сапогах с раструбами, в штанах желтой кожи, оживляли эту картину. Под наваррским гербом обелиска, воздвигнутого в ознаменование посещения Беарнца и охоты его с прекрасной графиней де Море, была проставлена соответствующая дата. Ревнивая фаворитка, сын которой был узаконен королем, не пожелала видеть на обелиске роковой для нее французский герб.

И вот перед взором генерала предстало это великолепное здание с позеленевшей от мха четырехскатной крышей. Изъеденные временем камни облицовки, казалось, выставили напоказ все свои язвы, жалуясь на осквернение памятника старины. Из свинцовых оконных переплетов, кое-где разошедшихся, повыпали восьмиугольные стекла, и окна как будто окривели. Между балясинами перил цвели желтофиоли, во все расщелины впивался белыми мохнатыми когтями плющ.

Всюду была мерзость запустения, отпечаток, накладываемый временными постояльцами на все, чем они пользуются. Два окна во втором этаже были заткнуты сеном. В окно нижнего была видна комната, заваленная всяким инструментом и вязанками хвороста; а из другого окна высовывала морду корова, ставя в извест-

ность посетителей, что Курткюис, не желая совершать длинный путь из флигеля к службам, обратил в коровник парадную залу — ту самую залу, где в кессонах лепного потолка были изображены гербы всех владельцев поместья Эги!..

Двор был обезображен почерневшим и грязным частоколом, за которым под дощатым навесом жили свиньи, а в отдельных загородках, откуда помет вычищался один раз в полгода,— утки и куры. На кустах, нахально торчавших по всему двору, сушились старые тряпки.

В тот момент, когда генерал подъезжал по ведущей от моста аллее, жена Курткюиса была занята чисткой котелка, в котором только что варила кофе с молоком. Сторож сидел в кресле, греясь на солнце, и взирал на жену взглядом дикаря. Услышав топот лошади, он обернулся и, узнав во всаднике графа, сконфузился.

— Ну, приятель Курткюис,— обратился генерал к сторожу,— чему же удивляться, что посторонние вырубают мои леса раньше господ Гравло: ты, очевидно, думаешь, что живешь здесь на покое!

— Честное слово, ваше сиятельство, я провел столько ночей в лесу, что схватил простуду. Сегодня утром я совсем занемог, жена даже ставила мне припарки; как изволите видеть, она чистит котелочек, в котором их грела.

— Вот что, любезный,— сказал генерал,— я не знаю иной болезни, кроме голода, от которой помогали бы кофейные припарки. Слушай, мошенник! Я вчера объехал свои леса и леса де Ронкеролей и де Суланжей; их леса в полной сохранности, а мой — в самом плачевном состоянии.

— Эх, ваше сиятельство, ведь они — здешние старожилы! Их добра не трогают. Да разве мне одному с шестью общинами управиться? Жизнь мне дороже вашего леса! Попробуй кто-нибудь как следует караулить ваш лес, он живо получит заместо награды пулю в лоб,— подстрелят из-за угла.

— Трус! — крикнул генерал, едва сдерживая ярость, вызванную дерзким ответом Курткюиса.— Сегодня ночь была прекрасная, но она обошлась мне в сто экю, а в будущем даст тысячу франков убытка... Или

вы, милейший, уберетесь отсюда, или же все должно измениться. Вину вашу я готов простить. Слушайте мои условия: в вашу пользу поступают штрафы, и, кроме того, вы будете получать по три франка с каждого протокола. Если я ошибусь в своем расчете, то вы получите расчет, и притом без пенсии; если же вы будете мне верно служить, если вам удастся прекратить порубки, обещаю вам пожизненную пенсию в сто экю. Подумайте-ка хорошенько. Вот шесть дорог,— сказал он, указывая на шесть аллей,— надо выбрать одну, как сделал это я, не опасаясь пуль; постарайтесь выбрать верную дорогу!

Курткюис, низенький сорокашестилетний человек, с лицом круглым, как луна, был большим лодырем. Он рассчитывал до самой смерти прожить в этом флигеле, который уже считал своим. Две его коровы кормились в лесу, дрова у него были даровые, он возился у себя в саду и не гонялся за порубщиками. Такая нерадивость была на руку Гобертену, и Курткюис это понимал. Порубщика он ловил только в том случае, если имел против него зуб. Прежде он преследовал девушек, не поддававшихся на его ухаживания, да тех людей, с кем не поладил; но теперь он уже давно жил со всеми в мире, крестьяне его любили за снисходительность.

В «Большом-У-поении» он всегда был желанным гостем. Женщины, собиравшие хворост, ни в чем ему не перечили, жена его и он сам получали подарки натурой ото всех мародеров. Дрова ему доставляли на дом, виноградник обрабатывали. Словом, все лесокрады работали на него. Насчет будущей своей судьбы он не беспокоился, рассчитывая на Гобертена и на два арпана земли при ожидаемой продаже Эгов; и вдруг его мирный сон был потревожен резкими словами генерала, который наконец, по прошествии четырех лет, проявил истинную природу собственника и впредь не желал быть жертвой обмана.

Курткюис надел фуражку, ягдташ, гетры, перевязь со свежеиспеченным гербом Монкорне, перекинул через плечо ружье и, поглядывая на окружающие леса, посвистывая своих собак, не спеша зашагал к Виль-о-Фэ с тем беззаботным видом, за которым крестьяне умеют скрывать свои самые глубокие думы.

— Ты жалуешься на Обойщика,— сказал Гобертен Курткюису,— а ведь теперь счастье в твоих руках! Как, этот дуралей обещает платить тебе по три франка за протокол и отдавать в твою пользу штрафы! Сумей только сговориться с приятелями, и ты наготовишь ему этих протоколов сколько угодно, хоть целую сотню. Да если у тебя будет тысяча франков, ты купишь Башельри у Ригу и сам сделаешься хозяином. Только, чур, лови тех, кто гол как сокол. С нищего взятки гладки. Не отказывайся от предложения Обойщика и не мешай ему пожинать убытки, если он их любит. У каждого свой вкус. Предпочел же дядюшка Мариот убытки барышам, несмотря на все мои предупреждения.

Курткюис вернулся домой, еще больше проникшись уважением к Гобертену и сгорая желанием поскорее сделаться землевладельцем и буржуа, как другие.

Вернувшись в замок, генерал Монкорне поделился с Сибиле впечатлениями от своей поездки.

— Вы, ваше сиятельство, поступили совершенно правильно,— сказал управляющий, потирая руки,— но не надо останавливаться на полдороге. Следовало бы сместить казенного стражника, раз он попустительствует крестьянам, опустошающим наши луга и поля. Вы, ваше сиятельство, легко могли бы получить назначение на должность мэра здешней общины и взять на место Водуайе какого-нибудь бывшего солдата, который не побоится выполнить отданное ему приказание. Крупный землевладелец должен быть мэром своей округи. Вспомните, сколько у нас было затруднений при теперешнем мэре!

Мэр бланжийской общины, по фамилии Ригу, бывший бенедиктинский монах, женился в первом году Республики на служанке прежнего бланжийского кюре. Несмотря на то, что женатый монах не должен был пользоваться симпатиями префектуры, его с 1815 года держали на должности мэра, так как в Бланжи он один был способен занимать этот пост. Но когда в 1817 году епископ назначил аббата Бросета в бланжийский приход, в течение двадцати пяти лет остававшийся без духовного пастыря, между вероотступником и молодым церковнослужителем, с характером которого мы уже

познакомились, естественно, разгорелась жестокая борьба.

Война, завязавшаяся с той поры между мэрией и домом священника, принесла популярность презираемому до того времени отцу города: Ригу, ненавистный крестьянам за его ростовщические махинации, вдруг превратился в защитника их политических и экономических интересов, которым будто бы угрожала Реставрация, а в особенности духовенство.

Главный орган либеральной партии газета «Конститюсьонель», которую в складчину выписывали двадцать человек на имя дядюшки Сокара, владельца питейного заведения, погостив в «Кофейне мира» и побывав в руках всех местных чиновников, на седьмой день перекочевывала к Ригу. Ригу передавал газету мельнику Ланглюме, а тот уступал ее уже в окончательно истрепанном виде всем умеющим читать. Таким образом, передовицы и антирелигиозные измышления парижского либерального листка определяли общественное мнение Эгской долины. Поэтому Ригу, подобно достопочтенному аббату Грегуару, обратился в героя. У него, как и у некоторых парижских банкиров, политика, окрашенная в популярный красный цвет, прикрывала гнусное грабительство.

В данное время монах-расстрига, как в свое время великий оратор Франсуа Келлер, слыл защитником народных прав, меж тем как несколько лет назад Ригу не решился бы выйти в поле после наступления темноты из боязни попасть в ловушку и умереть от «несчастного случая». Преследования за политические убеждения не только возвеличивают человека, но и обеляют его прошлое. В этом отношении либеральная партия оказалась великим чудотворцем. Ее пагубный орган, мудро понявший всю выгоду быть столь же пошлым, столь же клеветническим, столь же легковерным и глупо вероломным, как и все человеческие сборища, составляющие в совокупности «публику», быть может, нанес такой же ущерб частным интересам, как и интересам церкви.

Ригу надеялся встретить в опальном бонапартистском генерале, в сыне народа, выращенном революцией, врага Бурбонов и попов; но генерал в силу своих тай-

ных честолюбивых замыслов постарался в первые приезды в Эги уклониться от визита супругов Ригу.

Это была вторая важная ошибка, допущенная генералом из-за его аристократических замашек, и когда читатель ближе познакомится с ужасной личностью Ригу, хищника-ростовщика Эгской долины, он поймет, как велика была эта ошибка, к тому же еще усугубленная дерзкой выходкой графини, о чем будет рассказано в своем месте при изложении истории Ригу.

Если бы Монкорне постарался снискать расположение мэра, если бы он домогался его дружбы, влияние расстриги, быть может, парализовало бы влияние Гобертена. Но вместо этого генерал затеял в виль-о-фэйском суде три процесса против бывшего монаха, и один из них был уже выигран Ригу. До сего дня Монкорне так поглощали его честолюбивые проекты и женитьба, что он совершенно позабыл о Ригу; но как только Сибиле посоветовал ему занять место мэра, он нанял почтовых лошадей и отправился с визитом к префекту.

Префект, граф Марсиаль де ла Рош-Югон, государственный советник, был другом генерала с 1804 года. По его совету Монкорне, видевшийся с ним в Париже, и приобрел Эги. Граф Марсиаль, при Наполеоне состоявший префектом и сохранивший эту должность при Бурбонах, ухаживал теперь за епископом, чтобы удержаться на своем посту. А епископ уже неоднократно просил о смещении Ригу. Марсиаль, хорошо знакомый с положением дел в общине, очень обрадовался просьбе генерала, и не далее как через месяц Монкорне получил желаемое назначение.

По предложению своего друга генерал остановился в префектуре, и случай, впрочем, довольно естественный, свел его там с отставным унтер-офицером бывшей императорской гвардии, которому затягивали назначение пенсии. Генерал однажды уже помог этому храброму кавалеристу по фамилии Груазон, и тот не забыл оказанной ему услуги; он рассказал графу о своих злоключениях; у него не было никаких средств к существованию. Монкорне пообещал Груазону выхлопотать причитающуюся ему пенсию и предложил место стражника в Бланжи, предоставив ему, таким образом, возможность отплатить за услугу преданной службой. Новый мэр и

новый стражник одновременно приступили к исполнению своих обязанностей, и, разумеется, генерал снабдил своего солдата достаточно внушительными инструкциями.

От прежнего стражника, по фамилии Водуайе, крестьянина из Ронкероля, как и от большинства казенных стражников, было мало проку: он без толку слонялся взад и вперед, занимался пустяками и милостиво принимал лесть бедняков, всегда готовых подкупить этого низшего представителя власти, этого часового, охраняющего собственность. Водуайе был знаком с г-ном Судри, суланжским жандармским унтер-офицером, так как жандармские унтер-офицеры, выполняющие при составлении дознаний по уголовным делам почти что судебные функции, постоянно имеют дело со стражниками, своими естественными шпионами. Судри направил его к Гобертену, который весьма радушно принял своего старого знакомца, угостил вином и выслушал рассказ о его несчастьях.

— Голубчик,— сказал ему виль-о-фэйский мэр, умевший разговаривать с каждым на его языке,— то, что случилось с тобой, ожидает нас всех. Дворяне вернулись, а графы и герцоги, которых понаделал император,— заодно с ними; все они хотят раздавить народ, восстановить прежние права и отнять у нас землю. Но мы — бургундцы, и будем защищаться; надо прогнать *армиаков* обратно в Париж. Возвращайся в Бланжи, будешь работать у господина Полисара приказчиком по продаже леса,— он взял с торгов Ронкерольские леса. Ступай, голубчик, я найду тебе работу на целый год. Но твердо запомни: это лес *наш*, чтоб никаких порубок, гони порубщиков в шею! Пускай они идут рубить в Эги. А продажный хворост пусть покупают у нас, а не в Эгах. Скоро опять будешь стражником, долго все это не протянется! Генералу надоест жить среди «воров»! Знаешь, ведь Обойщик обозвал меня вором, меня, сына честного республиканца, меня, зятя Мушона, славного представителя народа, который не оставил после себя ни сантима. Похоронить не на что было!

Генерал увеличил жалованье новому стражнику до трехсот франков и выстроил дом для мэрии, где и отвел ему помещение; затем он женил Груазона на дочери

своего недавно умершего фермера, оставившего сироте три арпана виноградника. Не удивительно, что Груазон был предан генералу, как собака хозяину. Его вполне законную верность признавала вся община. Стражника боялись и уважали, но так же, как капитана корабля, нелюбимого экипажем; крестьяне сторонились его, как прокаженного. Они встречали молчанием или скрытой под личиной благодушия насмешкой этого караульщика, которого подстерегали другие караульщики. Один против многих, он был совершенно беспомощен. Порубщики изобретали всяческие способы красть лес, не оставляя улик, и старый служака выходил из себя, чувствуя свое бессилие. В своих новых обязанностях он открыл прелесть партизанской войны и радость охоты — охоты на преступление. Он привык к честной войне, требующей, чтобы игра велась до некоторой степени в открытую, и был врагом всякого вероломства; поэтому он возненавидел своих противников, изобретательных на всяческие подвохи, изощренных в воровстве и больно задевавших его самолюбие. Он скоро заметил, что владения соседних помещиков застрахованы от набегов, что крестьяне покушаются только на собственность графа Монкорне, и тогда он проникся презрением к крестьянам, считая, что с их стороны черная неблагодарность — грабить наполеоновского генерала, человека исключительной доброты и великодушия; и скоро к презрению присоединилась ненависть. Но он тщетно пытался стать вездесущим, он не мог попасть всюду, а правонарушители действовали всюду и одновременно. Груазон дал понять генералу, что необходимо организовать охрану по всем правилам военного искусства, что при всем его рвении он один ничего не сделает, и указал ему на злые умыслы жителей Эгской долины.

— Тут что-то кроется, ваше превосходительство,— сказал он.— Уж очень они осмелели, ничего не боятся, словно за них сам господь бог!

— Посмотрим,— ответил граф.

Роковое слово! Для крупных политиков глагол «смотреть» не должен иметь будущего времени.

Монкорне в этот момент был занят разрешением вопроса, казавшегося ему более срочным: он подыскивал себе заместителя на время пребывания в Париже. Так

как помощником мэра мог быть только человек грамотный, ему не оставалось ничего другого, как остановить свой выбор на Ланглюме, арендаторе мельницы. Выбор оказался более чем неудачным. Не говоря уже о том, что интересы генерала-мэра и мельника-заместителя были диаметрально противоположны, Ланглюме вел еще какие-то темные дела с Ригу, ссужавшим его деньгами для оборота и закупок. Мельник покупал весь укос с лугов замка на сено своим лошадям, причем благодаря его происка Сибиле не удавалось продать этот укос никому, кроме него. Каждый раз все луга в общине оказывались запроданными по хорошей цене раньше эгских лугов; и эгские покосы, оставшиеся последними, шли по дешевой цене, хотя были лучше других; ясно, что Ланглюме мог пригодиться генералу лишь как временный заместитель; но во Франции временное — вечно, хотя французов упрекают в непостоянстве. Ланглюме по совету Ригу притворился горячо преданным генералу. Итак, он был заместителем мэра в тот момент, когда, подчиняясь всемогуществу автора, начинается наша драма.

В отсутствие мэра в общинном совете царил Ригу, который, само собой разумеется, состоял его членом. Он добивался решений, противных интересам генерала. То он проводил ассигнование средств на расходы, выгодные только крестьянам и основной тяжестью ложившиеся на владельца Эгов, который по обширности своего имения платил две трети налогов; то по его настоянию совет отклонял такие полезные затраты, как прибавка оклада аббату, ремонт церковного дома или жалованье (sic!) школьному учителю.

— Что же будет с нами, если крестьяне выучатся грамоте? — наивно сказал генералу Ланглюме в оправдание такого нелиберального решения, отвергнувшего учителя из «Братства учения христова», которого аббат Бросет пытался устроить в Бланжи.

По возвращении в Париж генерал, очень довольный Груазоном, решил отыскать старых солдат императорской гвардии, рассчитывая с их помощью должным образом наладить охрану Эгов. После долгих поисков, после расспросов у своих приятелей и офицеров, состоявших на половинном окладе, он раскопал Мишо, отстав-

ного вахмистра из кирасиров наполеоновской гвардии, одного из тех людей, которых солдаты на своем солдатском языке называют «неуваристыми»,— прозвище, явно отдающее бивуачной кухней, где частенько кормят неуварившимися бобами. Мишо подобрал себе в помощники трех своих знакомых, уверенный, что они будут служить генералу не за страх, а за совесть.

Первый из них, по фамилии Штейнгель, чистокровный эльзасец, был незаконный сын носившего ту же фамилию генерала, убитого во время первых побед Бонапарта, в самом начале итальянских походов. Рослый и сильный, он принадлежал к категории солдат, привыкших, как русские солдаты, повиноваться беспрекословно. Ничто не могло остановить его при исполнении долга, он, не рассуждая, арестовал бы императора или папу, если бы получил на то приказание. Опасность он презирал. Несмотря на свое бесстрашие, Штейнгель не получил ни одной царапины за шестнадцать лет войны. Все тяготы службы он принимал со стоическим безразличием и засыпал под открытым небом, как в своей постели. При каждой новой невзгоде он только говорил: «Что поделаешь, верно, уж сегодня день такой выдался».

Второй лесник, Ватель, из полковых выкормышей, капрал вольтижеров, развеселый малый, несколько вольный в обхождении с прекрасным полом, без всяких религиозных принципов, храбрый до дерзости, был способен с усмешкой расстрелять своего товарища. Без всяких перспектив в будущем, не зная, за какое дело приняться, он охотно согласился на предложенную службу, которая рисовалась ему как ряд удалых набегов и стычек, а так как он боготворил «великую армию» и императора, то поклялся служить храброму Монкорне верой и правдой. Это был один из тех неисправимых задир, которым жизнь без врагов кажется бесцветной,— словом, натура сутяги и полицейского. А потому, не случись тут судебного пристава, он арестовал бы старуху Тонсар вместе с ее вязанкой в самом «Большом-У-поении» послав к черту закон о неприкосновенности жилища.

Третий сторож, Гайяр, старый, весь израненный солдат, дослужившийся до подпоручика, принадлежал к разряду солдат-хлебопашцев. По сравнению с судьбой

императора все казалось ему безразличным; но это безразличие стоило страстности Вателя. На руках у него была незаконная дочь, служба у генерала давала ему средства к существованию, и он поступил на новое место совершенно так же, как поступил бы на службу в полк.

Генерал прибыл в Эги раньше своих новых служак, чтобы уволить Курткюиса, и был поражен наглым бесстыдством сторожа. Бывает повиновение, равносильное злейшему издевательству раба над приказанием господина. Всякое дело может быть доведено до абсурда, а Курткюис перешел все границы.

Сто двадцать шесть протоколов против порубщиков, по большей части составленные Курткюисом с их доброго согласия, были предъявлены в суланжский мировой суд и рассмотрены там в порядке упрощенного судопроизводства, в результате чего было вынесено шестьдесят девять составленных по всем правилам приговоров, копии с которых были вручены судебному приставу; и Брюне, в восторге от такой неожиданной крупной прибыли, заготовил все бумаги, необходимые для составления протоколов, именуемых на судебном языке «протоколами о несостоятельности», то есть о такой предельной нищете, против которой правосудие бессильно. Этим актом судебный пристав удостоверяет, что ответчик не владеет никаким имуществом и живет в крайней нужде. Ну, а там, где ничего нет, кредитор, будь то сам король, теряет свое право... на взыскание. Все эти нарочно подобранные бедняки проживали в пяти окрестных общинах, куда судебный пристав и выезжал, как и полагалось, вместе со своими понятыми — Вермишелем и Фуршоном. Затем Брюне передал все бумаги Сибиле, приложив к ним счет на пять тысяч франков за судебные издержки, и попросил управляющего поставить его в известность о дальнейших распоряжениях графа де Монкорне.

В то время как Сибиле, имея на руках судебные акты, спокойно знакомил своего патрона с результатами приказания, столь неосмотрительно данного Курткюису, и хладнокровно наблюдал один из сильнейших приступов гнева, когда-либо испытанных генералом французской кавалерии, появился сам Курткюис, чтобы за-

свидетельствовать свое почтение хозяину и получить с него примерно тысячу сто франков — сумму обещанного ему вознаграждения. Генерал закусил удила и так вспылил, что забыл и о графской короне и о своем высоком чине: он снова превратился в простого кирасира и разразился руганью, за которую впоследствии ему пришлось краснеть.

— Ах! Так тысяча сто франков?..— закричал он.— Тысяча сто оплеух тебе в рожу!.. Тысяча сто пинков тебе в... Ты воображаешь, что я не вижу тебя насквозь... Вон отсюда, не то я тебя в порошок сотру!

Взглянув на побагровевшего генерала, Курткюис при первых же словах его выпорхнул из комнаты легче ласточки.

— Ваше сиятельство,— очень мягко сказал Сибиле,— вы не правы!

— Я не прав?! Я?!

— Господи боже мой, ваше сиятельство!.. Берегитесь, этот мошенник подаст на вас в суд...

— Наплевать мне на суд! Ступайте, и чтобы этот негодяй убирался отсюда сию же минуту! Проследите, чтобы он сдал все, что принадлежит мне, и приготовьте расчет

Четыре часа спустя во всем околотке уже судачили об этом происшествии. Генерал якобы до полусмерти избил несчастного Курткюиса, отказался заплатить то, что полагается, а должен был ему две тысячи франков.

Об эгском помещике опять пошли самые нелепые толки. Говорили, будто он сошел с ума. На следующий день Брюне, только что предъявлявший иски от имени генерала, доставил ему самому повестку мирового суда по иску Курткюиса. Льву грозили укусы тысячи мошек; его мучения только начинались.

Водворение лесника связано с некоторыми формальностями: он должен принести присягу в суде первой инстанции; поэтому прошло несколько дней, пока три новых караульщика были облечены официальными полномочиями. Хотя генерал написал Мишо, чтобы тот с женой приезжал, не дожидаясь, пока для него приготовят квартиру в охотничьем домике у Авонских ворот, будущий начальник охраны задержался недели на две из-за своей женитьбы и приехавших в Париж родст-

венников жены. В течение этих двух недель Эгские леса из-за ряда формальностей, с которыми не очень-то торопились в Виль-о-Фэ, никем не охранялись, и окрестные воры опустошали их без зазрения совести.

Появление трех сторожей в суконных зеленых мундирах (любимый цвет императора) было великим событием для всей Эгской долины, начиная от Куша и до Виль-о-Фэ; их отличная выправка и решительный вид говорили за то, что это люди твердого характера, хорошие ходоки, подвижные и способные проводить целые ночи в лесу.

Во всем кантоне один только Груазон обрадовался отставным гвардейцам. Придя в великий восторг от такой подмоги, он разразился угрозами по адресу воров, предрекая, что в самом близком будущем их крепко прижмут и не дадут больше вольничать. Таким образом, можно считать, что и тут не обошлось без обычного объявления войны, в данном случае войны ожесточенной, хотя и глухой.

Сибиле обратил внимание генерала на безусловно враждебное отношение к Эгам всей суланжской жандармерии и в особенности унтер-офицера Судри; он намекнул, какую пользу могла бы принести расположенная к Монкорне жандармерия.

— С хорошим унтер-офицером и преданными вашим интересам жандармами вы будете держать в руках всю округу! — сказал он.

Граф помчался в департаментский центр и добился у дивизионного генерала отставки Судри и замены его неким Виоле, отличным жандармом, служившим в департаментском центре и прекрасно отрекомендованным как самим дивизионным генералом, так и префектом. По распоряжению жандармского полковника, старого товарища Монкорне, все жандармы суланжской команды были переведены в другие пункты департамента, а вместо них были назначены отборные люди, получившие секретное предписание строго наблюдать, чтобы поместью графа де Монкорне не наносилось никакого ущерба; в особенности же рекомендовалось им не подпадать под влияние суланжского населения.

Этот переворот, совершенный с такой быстротой, что не было никакой возможности ему воспрепятство-

вать, поверг в удивление всех обитателей Виль-о-Фэ и Суланжа. Судри всем жаловался на то, что его сместили, а Гобертен постарался провести его в мэры и таким образом опять подчинил ему жандармерию. Поднялись крики о тирании. Монкорне сделался предметом общей ненависти. Мало того, что пять-шесть человек утратили из-за него свое прежнее положение, он задел самолюбие многих тщеславных людей. Крестьяне, возбужденные речами суланжских и виль-о-фэйских обывателей, а также разговорами Ригу, мельника Ланглюме и Гербе, содержателя почтовой станции в Куше, решили, что им не сегодня-завтра угрожает потеря законных, как они считали, прав.

Генерал прекратил судебное дело, поднятое его бывшим сторожем, уплатив Курткюису все, что тот с него требовал.

Курткюис купил за две тысячи франков небольшой участок земли, вклинившийся в эгские земли, у ремизов, где водилась дичь. Ригу не имел в виду продавать Башельри, но теперь он с особым злорадством уступил эту землю за полуторную цену Курткюису. Таким образом, Курткюис зависел теперь от Ригу, который держал его в руках, так как бывший сторож остался ему должен, заплатив за участок только тысячу франков.

Три лесника, Мишо и стражник стали с этой поры вести жизнь гверильясов. Они исходили весь лес, стараясь изучить его как можно внимательнее, так как на глубоком знании леса зиждется вся наука лесного сторожа, которая избавляет его от лишней потери времени; они ночевали в лесу, освоились со всеми тропинками, знакомились с породой и возрастом каждого дерева, приучались распознавать разнообразные лесные звуки и шумы. Кроме того, они наблюдали за местными жителями — за целыми семьями в различных деревнях кантона и за отдельными людьми, разузнавая их нравы, характер и средства к существованию. Все это много труднее, чем думают! Видя столь мудрые меры, крестьяне, кормившиеся Эгами, замкнулись в полном молчании и встретили умелых караульщиков притворной покорностью.

Мишо и Сибиле с самого начала не понравились друг другу Прямой и честный военный, краса унтер-

офицерства наполеоновской гвардии, не выносил слащавой грубости и вечно недовольного вида управляющего, которого он сразу же окрестил «пролазой». Он вскоре же обратил внимание и на возражения Сибиле против несомненно полезных мер и на его доводы в оправдание сомнительно полезных затей. Вместо того чтобы успокоить генерала, Сибиле, как читатель уже мог видеть из нашего беглого очерка, постоянно возбуждал его и подстрекал к крайним мерам, в то же время стараясь запугать множеством ожидавших его неприятностей, нескончаемыми дрязгами, придумывая все новые непреодолимые препятствия. Хотя Мишо и не догадывался о роли шпиона и провокатора, взятой на себя Сибиле, который, как только водворился в имении, тут же решил избрать себе хозяином либо генерала, либо Гобертена, в зависимости от того, что будет выгоднее, все же он разглядел в управляющем человека алчного и дурного и не знал, чем объяснить честность Сибиле. Впрочем, генералу пришлась по вкусу глубокая антипатия, разъединявшая двух его служащих. Неприязнь к управляющему побуждала Мишо следить за всеми его действиями, хотя он никогда не унизился бы до шпионства, если бы его об этом попросил генерал. Сибиле пробовал умаслить начальника охраны и униженно подольщался к нему, но ему ничего не удалось добиться: Мишо не отказался от сугубо вежливой холодности, которой этот честный солдат как бы отгораживал себя от управляющего.

После этих предварительных сведений мы легко поймем, чем руководствовались враги генерала и в чем заключалась суть его разговора со своими двумя «министрами».

IX

О «МЕДИОКРАТИИ»

— Ну, Мишо, что слышно нового? — спросил генерал, когда графиня вышла из столовой.

— Ваше превосходительство, поверьте мне, тут не надо говорить о делах: и у стен бывают уши, а я бы хотел быть уверенным, что наш разговор останется в тайне.

— Хорошо,— ответил генерал,— прогуляемся до конторы; пройдем по тропинке через луг, там уж никто нас не подслушает...

Несколько минут спустя генерал, сопровождаемый Мишо и Сибиле, шел через луг, в то время как графиня с аббатом Бросетом и Блонде направлялась к Авонским воротам. Мишо рассказал о происшествии в «Большом-У-поении».

— Ватель был неправ,— сказал Сибиле.

— Что ему и доказали, засыпав золой глаза,— ответил Мишо,— но не в этом дело. Помните, ваше превосходительство, мы предполагали забрать скот всех осужденных лесокрадов,— ну, так это нам не удастся. Ни Брюне, ни его собрат Плиссу не окажут нам добросовестного содействия; они всегда сумеют предупредить крестьян о предполагаемом аресте. Понятой судебного пристава, Вермишель, пришел за дядей Фуршоном в «Большое-У-поение», а Мари Тонсар, подружка Бонебо, переполошилась и со всех ног бросилась в Куш. Я сидел с удочкой под Авонским мостом, высматривая одного мошенника, замыслившего недоброе дело, и слышал, как Мари сообщила об этом Бонебо; тот, видя, что дочка Тонсара устала бежавши, сам вместо нее пустился в Куш. Словом, безобразия опять начинаются.

— Решительные меры с нашей стороны с каждым днем становятся все необходимее,— сказал Сибиле.

— Что я вам говорил! — воскликнул генерал.— Надо требовать, чтобы немедленно были приведены в исполнение все приговоры, присуждающие к тюремному заключению или к аресту за причиненные убытки и понесенные мною судебные издержки.

— Этот народ ни во что не ставит закон, они убеждают друг друга, что их не посмеют арестовать,— возразил Сибиле.— Они думают вас запугать! У них, несомненно, есть поддержка в Виль-о-Фэ, потому что местный прокурор, видимо, окончательно забыл о приговорах.

— Мне кажется,— сказал Мишо, замечая задумчивость, охватившую генерала,— мне кажется, что, затратив крупную сумму денег, вы еще можете спасти свое имение.

— Лучше затратить деньги, чем прибегать к строгим мерам,— сказал Сибиле.

— Что же вы придумали? — спросил Монкорне у своего начальника охраны.

— Очень просто,— сказал Мишо,— надо только обнести лес такой же оградой, как и парк, и мы можем быть спокойны. Тогда малейшая порубка уже будет уголовным преступлением и дело о ней будет подлежать рассмотрению суда присяжных.

— Считая по девяти франков за погонный туаз, одни материалы обойдутся его сиятельству в треть стоимости всего имения! — заметил, смеясь, Сибиле.

— Хорошо,— сказал Монкорне,— я сию же минуту отправлюсь к департаментскому прокурору.

— Департаментский прокурор,— мягко заметил Сибиле,— может оказаться одного мнения с окружным прокурором: такая намеренная нерадивость говорит о наличии между ними какого-то соглашения.

— Тем более надо в этом убедиться! — воскликнул Монкорне.— Если потребуется сместить здешних судей, прокурорский надзор и самого департаментского прокурора, я отправлюсь к министру юстиции, а понадобится — так дойду и до самого короля!

Тут Мишо настойчиво и выразительно посмотрел на генерала, и тот, обернувшись к Сибиле, сказал ему: «Прощайте, любезнейший!» Управляющий прекрасно его понял.

— Согласны ли вы, ваше сиятельство, пользуясь вашей властью мэра, ограничить вольности при сборе колосьев? — сказал Сибиле, кланяясь графу.— Скоро начинается уборка, и если вы собираетесь опубликовать постановление о выдаче свидетельств о бедности и о запрете сбора колосьев неимущим из соседних общин,— с этим делом надо поторопиться.

— Хорошо! Договоритесь с Груазоном,— ответил граф.— С таким народом,— добавил он,— надо в точности придерживаться законов.

Таким образом, управляющий в один миг одержал верх: в порыве гнева, вызванного случаем с Вателем, генерал вдруг одобрил те самые меры, которые Сибиле предлагал ему в течение двух недель, тщетно добиваясь его согласия.

Когда Сибиле отошел, граф спросил вполголоса своего начальника охраны:

— Ну, мой дорогой Мишо, в чем дело?

— У вас враг в собственном доме, ваше превосходительство, и вы доверяете ему планы, о которых не должен бы знать даже лучший ваш друг.

— Я разделяю твои подозрения, дорогой друг,— ответил генерал,— и впредь не повторю такой ошибки. Чтобы сместить Сибиле, я жду только, когда ты войдешь в курс управления имением, а Ватель сможет занять твое место. Но в чем же я могу упрекнуть Сибиле? Он аккуратен и честен, за пять лет не присвоил себе и ста франков. У него отвратительнейший характер, вот и все. Какой же у него может быть умысел?

— Ваше превосходительство,— очень серьезно промолвил Мишо,— я это узнаю, потому что умысел безусловно у него имеется. И если только вы разрешите, то кошель с тысячью франков развяжет язык здешнему плуту дяде Фуршону, хотя с сегодняшнего утра я сильно подозреваю, что дядя Фуршон служит и нашим и вашим. Вас хотят вынудить продать Эги,— так мне сказал этот пройдоха веревочник. Да будет вам известно: от Куша и до Виль-о-Фэ нет такого крестьянина, нет такого городского жителя, фермера, кабатчика, который не припас бы денег ко дню раздела добычи. Фуршон мне признался, что его зять Тонсар уже приглядел себе участок... Общее убеждение, что вы продадите Эги, как зараза, распространилось по всей долине. Весьма возможно, что флигель управляющего и тот или другой прилегающий к нему участок обещаны Сибиле за шпионство. Все, что мы говорим между собой, тотчас же становится известно в Виль-о-Фэ. Сибиле — родственник вашего недруга Гобертена. Слова, сорвавшиеся у вас о департаментском прокуроре, быть может, дойдут до него раньше, чем вы доедете до префектуры. Вы еще не знаете жителей здешнего кантона!

— Я не знаю?.. Да это сплошь канальи! И чтобы я отступил перед такими негодяями!..— воскликнул генерал.— Да я лучше собственными руками сожгу Эги!..

— Жечь не надо, лучше наметим такой план действий, чтобы разрушить все хитрости этих лилипутов. Если верить их угрозам, они ни перед чем не остановят-

ся, лишь бы вам насолить, а потому, ваше превосходительство, раз уж вы заговорили о пожаре, советую вам застраховать все постройки и фермы.

— Кстати, Мишо, ты не знаешь, что они разумеют под словом «обойщик»? Когда я шел вчера по берегу Туны, мальчишки крикнули: «Обойщик идет!» — и как припустятся от меня.

— Сибиле с удовольствием ответил бы вам на этот вопрос, он ведь любит, когда вы выходите из себя,— с грустным видом сказал Мишо.— Но раз уж вы спросили... Ну, так это прозвище, которым наградили вас здешние разбойники, ваше превосходительство.

— А почему?

— Но, ваше превосходительство, потому... что ваш отец...

— Ах, сукины дети!..— бледнея, воскликнул граф.— Да, Мишо, мой отец был мебельщиком, краснодеревцем; графиня ничего об этом не знает... О, если только кто-нибудь посмеет!.. Впрочем, я танцевал с королевами и с императрицами! Все скажу ей сегодня же вечером! — воскликнул он после минутного раздумья.

— Они считают вас трусом,— продолжал Мишо.

— Так!

— Они говорят: как это удалось ему спастись при Эслинге, когда там погибли почти все его товарищи...

Это обвинение вызвало лишь усмешку у генерала.

— Мишо, я еду в префектуру,— запальчиво воскликнул он,— хотя бы только для того, чтобы заказать страховые полисы! Предупреди графиню о моем отъезде. Они хотят войны — будет им война! И уж я дойму и суланжских горожан и их приспешников — крестьян... Мы в неприятельской стране — значит, надо быть осторожным! Предупреди лесников, чтоб не выходили из пределов законности. Бедняга Ватель! Позаботься о нем. Графиня напугана, надо чтоб до нее ничего не дошло, а то она сюда больше не приедет!..

Ни генерал, ни даже Мишо не понимали опасности свсего положения. В этой бургундской долине Мишо был еще совсем новым человеком и не имел представления о том, как силен противник, хотя и видел его действия. А генерал верил во всемогущество закона.

Закон, в том виде, как его создают теперешние зако-

нодатели, не имеет тои силы, какую в нем предполагают. Он неодинаково применяется во всей стране и претерпевает на практике такие изменения, что может стать отрицанием самой своей сути. Явление это более или менее отчетливо наблюдается во все эпохи. Найдется ли такой неграмотный историк, который станет утверждать что постановления самой сильной власти — Конвента — применялись одинаково во всей Франции, что рекрутский набор, реквизиция съестных припасов и денег, объявленные Конвентом, осуществлялись в Провансе, в глуши Нормандии и в пограничной полосе Бретани совершенно так же, как они выполнялись в крупных центрах общественной жизни? Какой философ посмеет отрицать, что в одном департаменте слетит с плеч голова, а в соседнем уцелеет — за те же самые, а иногда и за более ужасные преступления? Мы требуем равенства в жизни, тогда как неравенство царит в самом законе, в применении смертной казни!

Если численность населения какого-нибудь города ниже известной цифры, административные меры уже иные. Во Франции есть около ста городов, где законы применяются во всей своей строгости, где умственный уровень граждан высок, где они понимают, сколь важно общее благо, и думают о будущем, о котором печется закон; но во всей остальной Франции, где принимаются в соображение одни только непосредственные житейские выгоды, люди стремятся избежать всего, что так или иначе грозит этим интересам. Поэтому приблизительно в половине Франции действует какая-то сила инерции, о которую разбиваются любые требования закона, любые административные меры. Это противодействие, разумеется, не касается существенных сторон государственной жизни. Взимание налогов, рекрутский набор, кара за крупные преступления, конечно, идут своим чередом. Но за пределами этой общепризнанной необходимости все законодательные постановления, касающиеся нравов, частных интересов и некоторых злоупотреблений, совершенно парализуются общей *злой волей*. Сейчас, когда выходит в свет эта повесть, легко заметить, наблюдая печальные следствия закона об охоте, то же противодействие, с которым в свое время столкнулся в Бретани Людовик XIV. Ради спасения жизни не-

скольким животным ежегодно приносятся в жертву двадцать или тридцать человеческих жизней.

Во Франции для двадцати миллионов жителей закон — просто лист белой бумаги, вывешенный у входа в церковь или в мэрию. Этим объясняется, почему Муш употреблял слово «бумага», желая сказать «власть». Многие мэры кантонов (не говоря уже о мэрах сельских общин) завертывают виноград или крупу в «Вестник законодательных распоряжений». Если же говорить о мэрах сельских общин, то просто страшно становится, когда подумаешь, сколько среди них совсем неграмотных и как они ведут запись актов гражданского состояния. Опасность такого положения, прекрасно известная серьезным правителям, с течением времени, конечно, станет меньше; но есть другое обстоятельство, неодолимое для центральной власти, против которой у нас так ратуют, как вообще ратуют во Франции против всего большого, полезного и прочного,— существует сила, которую следует назвать «медиократия», и с ней-то и предстояло столкнуться генералу.

В свое время много кричали о тирании дворянства; теперь кричат о тирании капиталистов, о злоупотреблениях власти, хотя, быть может, это неизбежные болячки, причина которых — общественное ярмо, называемое Жан-Жаком Руссо договором, другими — конституцией, а третьими — хартией; здесь виноват царь, там — король, в Англии — парламент. Однако нивелировка, начатая в 1793 году и возобновленная в 1830 году, подготовила двусмысленное владычество буржуазии и отдала ей во власть Францию. К несчастью, в наше время нередко можно встретить городок, кантон или супрефектуру, порабощенные одним каким-нибудь семейством. Впрочем, могущество, которое сумел завоевать Гобертен в самый разгар Реставрации, лучше всяких голословных утверждений покажет нам во всю величину это общественное зло. Много угнетенных городков найдут свое отражение в этой картине, много втихомолку погубленных людей, быть может, обретут некоторое утешение в своих больших личных горестях, прочтя эту маленькую, но широко обнародованную эпитафию.

В то время как генерал воображал, что он возобновляет войну, хотя, в сущности, она никогда и не прекраща-

лась, его бывший управляющий доплетал последние петли той сети, в которой он держал весь виль-о-фэйский округ. Чтобы не отвлекаться в дальнейшем, необходимо бегло окинуть взглядом те ветви родословного древа, которыми Гобертен охватил всю округу, точно удав, до того ловко обвивающийся вокруг гигантского ствола, что путешественник принимает его за естественное явление азиатской растительности.

В 1793 году в Авонской долине жили три брата по фамилии Мушон. Из ненависти к прежним феодальным властителям Эгскую долину с 1793 года начали называть Авонской.

Старший из братьев Мушон, управляющий имениями Ронкеролей, был избран в Конвент депутатом от департамента. По примеру друга своего, общественного обвинителя Гобертена, спасшего Суланжей, он спас имение и жизнь Ронкеролей. У него было две дочери: одна вышла замуж за адвоката Жандрена, другая — за Гобертена-сына. Этот Мушон умер в 1804 году.

Второй брат получил бесплатно, по протекции своего старшего брата, должность содержателя почтовой станции в Куше. У него была единственная дочь и наследница, вышедшая замуж за богатого местного фермера Гербе. Этот второй брат умер в 1817 году.

Последний Мушон, принявший сан священника, еще до революции был назначен кюре в Виль-о-Фэ; после восстановления католической церкви он снова занял место кюре в этой маленькой столице Авонской долины и по-прежнему отправлял там обязанности священнослужителя. В свое время кюре Мушон отказался от присяги и долго скрывался в Эгах, живя в «обители» на острове под тайным покровительством отца и сына Гобертенов. Теперь он был шестидесятилетним стариком, всеми любимым и уважаемым за свой характер, весьма сходный с характером местных жителей. Он был бережлив до скупости и посему прослыл богатым человеком, а предполагаемое богатство еще усугубляло общее уважение. Епископ очень ценил аббата Мушона, которого все величали достопочтенным виль-о-фэйским кюре; не менее, чем за богатство, почитали кюре Мушона и за его неоднократный отказ (что было достоверно известно прихожанам) от прекрасного прихода в глав-

ном городе департамента, куда хотел его назначить епископ.

В описываемое время у Гобертена, мэра города Виль-о-Фэ, была крепкая поддержка в лице г-на Жандрена, председателя суда первой инстанции. Гобертен-сын, стряпчий с самой богатой практикой в суде и твердо установившейся репутацией в округе, проработав пять лет, уже поговаривал о продаже своей нотариальной конторы. Он хотел заниматься только адвокатской деятельностью, так как собирался заступить место своего дяди Жандрена, когда тот выйдет в отставку. Единственный сын председателя Жандрена служил по закладу недвижимых имуществ.

Судри-сын, занимавший уже два года важную должность в прокурорском надзоре, был душой и телом предан Гобертену. Дальновидная мадам Судри не упустила случая упрочить положение своего пасынка блестящей перспективой в будущем, женив его на единственной дочери Ригу. Двойное наследство — от монаха-расстриги и от отца, которое должен был получить прокурор,— выдвигало этого молодого человека в ряды самых богатых и значительных лиц департамента.

Супрефект Виль-о-Фэ г-н де Люпо, племянник старшего секретаря одного из важнейших министерств, намечался в мужья мадемуазель Элизе Гобертен, младшей дочери мэра, приданое которой, так же как и приданое старшей дочери, доходило до двухсот тысяч франков, не считая надежд на будущее. Этот чиновник, сам того не зная, поступил весьма умно, влюбившись в Элизу сразу же по приезде в Виль-о-Фэ в 1819 году. Не выкажи он таких намерений, сочтенных вполне приемлемыми, его давно вынудили бы просить о переводе, но предполагалось, что он уже принадлежит к семье Гобертена, глава которой, соглашаясь на этот брак, имел больше видов на дядюшку, нежели на племянника. Зато и дядюшка в интересах племянника предоставлял все свое влияние к услугам Гобертена.

Итак, церковь, суд, в обоих своих видах — сменяемый и несменяемый,— муниципалитет и префектура, то есть все четыре ноги власти, передвигались по воле мэра.

Вот таким образом и утвердил Гобертен свое могу-

щество, укрепившись и сверху и снизу в той сфере, где действовал.

Департамент, к которому принадлежал Виль-о-Фэ, по количеству своего народонаселения имел право посылать в палату шесть депутатов. Округ Виль-о-Фэ с момента образования левого центра избрал своим депутатом Леклерка, банкира и владельца винных складов, зятя Гобертена, ставшего членом правления Французского банка. Число выборщиков от богатой Авонской долины в Большой избирательной коллегии было настолько значительно, что г-ну де Ронкеролю, покровителю семейства Мушонов, всегда было обеспечено избрание, хотя бы путем сделки: избиратели Виль-о-Фэ предоставляли свою поддержку префекту под условием, чтобы он отстаивал в Большой коллегии кандидатуру маркиза де Ронкероля. Поэтому Гобертен, первый придумавший эту выборную комбинацию, был на прекрасном счету в префектуре, которую он избавлял от многих хлопот. Префект проводил трех правительственных кандидатов и двух депутатов левого центра. Эти два депутата: один — маркиз де Ронкероль, шурин графа де Серизи, а другой — председатель правления банка,— не были страшны кабинету, и выборы по этому департаменту считались в министерстве внутренних дел как нельзя более благополучными.

Граф де Суланж, пэр Франции, кандидат в маршалы, верный приверженец Бурбонов, знал, что его леса и земли содержатся в полном порядке и тщательно охраняются благодаря нотариусу Люпену и Судри; он мог почитаться покровителем Жандрена, так как выхлопотал ему сначала место судьи, а затем председателя суда, в чем ему оказал содействие и г-н де Ронкероль.

Господа Леклерк и де Ронкероль заседали на скамьях центра, ближе к левой, чем к центру, занимая политическое положение, весьма выгодное для тех, кто смотрит на политическую совесть как на легко сменяемую одежду.

Брату г-на Леклерка были отданы местные сборы в Виль-о-Фэ. Сам банкир, депутат округа, только что приобрел поблизости от столицы Авонской долины великолепное поместье с замком и парком, приносившее три-

дцать тысяч франков дохода; что делало г-на Леклерка влиятельным человеком в кантоне.

Таким образом, Гобертен мог рассчитывать на сильную и энергичную поддержку в высших правительственных сферах, в обеих палатах и в одном из главнейших министерств, причем он до сего времени никогда не обращался к своим покровителям по пустякам и не слишком часто утруждал их серьезными просьбами.

Советник Жандрен, назначенный председателем департаментского суда, заправлял в нем всеми делами, так как старший председатель, один из трех правительственных депутатов, оратор, необходимый партии центра, поручал в течение полугода свои обязанности по суду председателю Жандрену. Наконец, советник префектуры, двоюродный брат Саркюса, прозванный Саркюсом-богатым, был правой рукой префекта и тоже депутатом. Не будь семейных соображений и родственных уз, связывающих Гобертена с молодым де Люпо, население виль-о-фэйского округа *пожелало* бы себе в супрефекты одного из братьев г-жи Саркюс. Эта дама, супруга советника префектуры, принадлежала к суланжскому семейству Валля, приходившемуся родней Гобертенам; молва утверждала, будто в дни своей молодости она отличала нотариуса Люпена. Хотя ей уже минуло сорок пять лет и сын ее готовился в инженеры, Люпен при своих наездах в департаментский центр всегда являлся засвидетельствовать ей свое почтение и позавтракать или отобедать у нее.

Сын суланжского сборщика податей, он же племянник содержателя почтовой станции г-на Гербе, занимал важное место судебного следователя при виль-о-фэйском суде. Третий судья, сын нотариуса Корбине, был, разумеется, предан и душой и телом всесильному мэру. Наконец, помощником судьи был сын жандармского поручика молодой Вигор. Сибиле-отец, служивший секретарем суда с момента его учреждения, выдал свою сестру замуж за Вигора, жандармского поручика в Виль-о-Фэ. Старик Сибиле, отец шестерых детей, приходился свойственником отцу Гобертена по жене своей, урожденной Гобертен-Валля.

Полтора года тому назад оба депутата, г-н де Суланж и председатель Гобертен, соединенными усилия-

ми создали для второго сына секретаря Сибиле место полицейского комиссара в Виль-о-Фэ.

Старшая дочь Сибиле вышла замуж за учителя, г-на Эрве, школа которого в связи с этим браком была преобразована в коллеж, и теперь в Виль-о-Фэ уже год был свой собственный коллеж.

Третий Сибиле, старший писец у нотариуса Корбине, собирался купить контору своего патрона и ждал только денежного поручительства от Судри, Гобертенов и Леклерков.

Последний сын секретаря служил в управлении государственными имуществами, но ему была обещана должность сборщика в управлении косвенными налогами, когда занимавший это место чиновник выслужит срок для получения пенсии и выйдет в отставку.

Наконец, младшая шестнадцатилетняя дочь Сибиле была просватана за капитана Корбине, брата нотариуса, и ему было выхлопотано место почтмейстера.

Конная почта в Виль-о-Фэ была в руках зятя банкира Леклерка, г-на Вигора-старшего, являвшегося и командиром местной национальной гвардии.

Некая пожилая девица Гобертен-Валля, сестра супруги секретаря суда, занималась продажей гербовой бумаги.

Словом, в Виль-о-Фэ, куда ни повернись, всюду сидел сочлен этой незримой коалиции, вождем которой, признанным всеми от мала и до велика, был мэр города, главный агент всех лесопромышленников — Гобертен!..

Спустившись от супрефектуры в долину Авоны, вы также неминуемо сталкивались с г-ном Гобертеном: в Суланже — через чету Судри, через заместителя мэра, Люпена, управлявшего суланжским поместьем и состоявшего в постоянной переписке с графом, через мирового судью Саркюса, через сборщика податей Гербе, через доктора Гурдона, женатого на представительнице семейства Жандрен-Ватбле. Гобертен управлял селением Бланжи через г-на Ригу; Кушем — через содержателя почтовой станции, мэра сельской общины. По тому, как честолюбивый мэр Виль-о-Фэ распространял свое влияние на долину Авоны, легко догадаться, как он прибирал к рукам и остальной округ.

Глава банкирского дома Леклерк был пешкой, носив-

шей депутатское звание. Он с самого же начала согласился уступить свое депутатское кресло Гобертену, как только сам станет сборщиком налогов по департаменту. Прокурор Судри должен был занять пост товарища прокурора при департаментском суде, а богатый судебный следователь Гербе рассчитывал на место члена судебной палаты. Таким образом, замещение этих должностей не только никого не ущемляло, а, наоборот, способствовало продвижению по службе молодых виль-о-фэйских честолюбцев и обеспечивало коалиции дружбу их семейств.

Влияние Гобертена было так велико, так значительно, что Ригу, Судри, Жандрены, Гербе, Люпены и даже сам Саркюс-богатый помещали свои капиталы, сбережения и тайные свои накопления по его указаниям. К тому же город Виль-о-Фэ верил своему мэру. Таланты Гобертена превозносились не менее его честности и обязательности: он готов был в лепешку разбиться для родных и знакомых, конечно, при условии, чтобы и ему платили тем же. Муниципальный совет обожал своего главу. Поэтому весь департамент осуждал г-на Мариота из Оссэра за то, что он пошел против милейшего г-на Гобертена.

Виль-о-фэйские буржуа сами не подозревали, какая они сила, ибо им еще не представилось случая проявить себя в деле; пока они хвастались только, что у них всюду свои люди, и считали себя добрыми патриотами. Итак, все было подвластно этой хитрой, хотя и неприметной тирании, которую все считали победой их города. Так, например, как только либеральная оппозиция объявила войну старшей ветви Бурбонов, Гобертен, не знавший, куда бы пристроить своего побочного сына по фамилии Бурнье, о существовании которого не подозревала мадам Гобертен, ибо тот давно проживал под присмотром Леклерка в Париже, где учился на типографского фактора, выхлопотал ему патент на открытие типографии в Виль-о-Фэ. По совету своего покровителя молодой Бурнье стал издавать газету под названием «Авонский курьер»; она выходила три раза в неделю и сразу же отбила доход от казенных объявлений у официального органа префектуры. Новая департаментская газета поддерживала правительство в целом, а в частно-

сти — левый центр и была чрезвычайно полезна для торговли, ибо регулярно печатала справочные цены бургундских рынков; в общем же она была полностью предана интересам триумвирата — Ригу, Гобертена, Судри. Очутившись во главе довольно выгодного предприятия, уже начавшего давать некоторую прибыль, Бурнье стал ухаживать за дочерью стряпчего Марешаля. Этот брак считали вполне вероятным.

Единственным чужаком в этом огромном авонском клане был инженер путейского ведомства; поэтому общественное мнение настоятельно требовало замены его г-ном Саркюсом, сыном Саркюса-богатого, и по всему можно было заключить, что этот «недосмотр» скоро будет исправлен.

Грозная лига, захватившая в свои руки все государственные и частные должности, выжимавшая соки из края и присосавшаяся к власти, словно рыба «прилипало» ко дну корабля, как-то ускользала от постороннего глаза. Генерал Монкорне и не подозревал о ней. Префектура не могла нарадоваться на виль-о-фэйский округ, о котором в министерстве внутренних дел говорили: «Вот примерная супрефектура, все в ней идет как по маслу! Если бы все округа были такими, как было бы хорошо!» Дух кумовства так удачно сочетался с духом местного патриотизма, что здесь, как и во многих маленьких городках и даже департаментских центрах, чиновник-чужак не удержался бы и года.

Такая властолюбивая компания породнившихся между собой буржуа связывает по рукам и ногам намеченную ею жертву, затыкает ей рот, так что она не смеет и пикнуть и чувствует себя, как улитка, заползшая в улей и увязшая в липком меду. У этой незримой, неуловимой тирании есть могущественные союзники: желание жить среди родни, присматривать за своими владениями, взаимная поддержка, спокойствие центральной власти, которая знает, что ее представитель — свой человек в городе. Поэтому-то кумовство развито и в высших департаментских сферах и в захолустных городках.

К чему же все это приводит? Местные и краевые интересы берут верх над общегосударственными, воля парижской центральной власти часто бывает нарушена, истинное положение вещей искажается.

Совершенно ясно, что, если не говорить об удовлетворении основных потребностей государства, законы, вместо того чтобы влиять на массы, сами подпадают под их влияние и население, вместо того чтобы применяться к ним, приспособляет их к себе. Всякий, кому приходилось путешествовать по югу и западу Франции или по Эльзасу не только с целью ночевать в гостиницах и любоваться памятниками старины или красивыми видами, должен признать справедливость этих наблюдений. Такое буржуазное кумовство в настоящее время проявляется в единичных случаях; но при современных законах эти случаи легко могут умножиться. Господство пошлых людей может привести к большим бедствиям, как это наглядно покажут некоторые моменты драмы, разыгравшейся в описываемое нами время в Эгской долине.

Строй, разрушать который было гораздо более неосторожно, чем это принято думать,— строй былой монархии и империи — отчасти устранял эти злоупотребления благодаря искони установившимся различиям в общественном положении, сословиям и существованию социальных противовесов, получивших глупейшее название «привилегий». Привилегий больше не существует, ибо каждому дозволено карабкаться на ярмарочную мачту за призом в виде власти. А все-таки не лучше ли общепризнанные и всем известные привилегии, чем привилегии, добытые так случайно, установленные с помощью хитрости, в обход равенства, которое хотят сделать общественным достоянием,— привилегии, воздвигающие новый деспотизм, только на этаж ниже, чем прежний, так сказать «подвальный»? Неужели для того и свергли знатных тиранов, преданных своей стране, чтобы вместо них создать себялюбивых мелких тиранчиков? Надо ли власти ютиться в подвалах вместо того, чтобы царить на своем настоящем месте? Об этом следует подумать. Дух захолустья в том виде, как он сейчас описан, захватит и парламент.

Друг Монкорне граф де ля Рош Югон был уволен в отставку вскоре же после его посещения генералом. Отставка бросила этого государственного деятеля в объятия либеральной оппозиции, где он стал одним из столпов левой партии, но которую, однако, очень быстро

покинул ради поста посланника. Его преемником, к счастью для генерала, оказался зять маркиза де Труавиля, граф де Катеран. Префект встретил Монкорне по-родственному и любезно просил его чувствовать себя в префектуре как дома. Выслушав жалобы генерала, он пригласил на следующий день к завтраку епископа, департаментского прокурора, жандармского полковника, советника префектуры Саркюса и дивизионного генерала.

Департаментский прокурор барон Бурляк, снискавший известность в процессах ля Шантери и Рифоэля, был из числа людей, готовых служить любому правительству, приверженных власти, какова бы эта власть ни была, и потому очень для нее ценных. Слепой преданностью императору он достиг высокой судейской должности, а благодаря непреклонному характеру и добросовестному отношению к служебному долгу сумел ее сохранить. В свое время он ожесточенно преследовал остатки шуанов, а теперь с таким же ожесточением преследовал бонапартистов. Но годы и житейские бури понемногу смягчили его суровость, теперь он всех пленял своим обращением и манерами.

Граф де Монкорне рассказал о создавшемся положении и об опасениях начальника охраны; он говорил о необходимости острастки, о поддержании прав помещиков.

Департаментские чины очень внимательно выслушали его, отвечая лишь общими словами вроде: «Конечно, сила должна остаться на стороне закона»; «Ваше дело — дело всех помещиков»; «Мы обратим внимание, но теперешние обстоятельства требуют исключительной осторожности»; «Монархия обязана больше делать для народа, чем сделал бы для себя сам народ, если бы он, как в 1793 году, оказался господином положения»; «Народ страдает, наша обязанность — служить не только вам, но и ему».

Непреклонный прокурор департаментского суда очень мягко высказал ряд глубоких и весьма благих соображений о положении низших классов, соображений, которые могли бы доказать нашим будущим утопистам, что тогдашние чиновники высшего ранга уже понимали

трудность задачи, стоящей перед современным обществом.

Не лишним будет добавить, что в этот период Реставрации во многих пунктах королевства произошли кровавые стычки, вызванные как раз лесными порубками и злоупотреблениями, вошедшими в обычай у крестьян некоторых сельских общин. И министерству и двору были очень неприятны такого рода бунты и кровь, пролитая при их подавлении, все равно успешном или неуспешном. Отлично сознавая необходимость крутых мер, правительство, однако, считало представителей власти, подавлявших волнения силой, неумелыми, а проявивших слабость увольняло. Поэтому префекты всячески старались избежать таких прискорбных случаев.

При начале беседы Саркюс-богатый незаметно для генерала подмигнул прокурору и префекту, и это определило дальнейшее направление разговора. Прокурор был осведомлен о настроении умов в Эгской долине через своего подчиненного Судри.

— Я предвижу ужасную борьбу,— сказал Судри, специально приехавший к своему начальнику.— Жандармов перебьют, я это знаю через своих агентов. Нам не миновать неприятного процесса. Присяжные нас не поддержат, когда почувствуют, что им грозит месть со стороны семейств двадцати или тридцати подсудимых; они не вынесут смертного приговора убийцам, не осудят на каторжные работы их сообщников, как мы того потребуем в обвинительном акте. Даже если вы сами выступите на процессе, вам с трудом удастся добиться нескольких лет тюремного заключения для главных виновников. Лучше закрыть глаза, чем смотреть слишком зорко, раз мы уверены, что наша зоркость вызовет столкновение, которое обязательно приведет к кровопролитию, а государству, возможно, обойдется в шесть тысяч франков, не считая того, что весь этот народ надо кормить на каторге. Это несколько дорогая плата за победу, которая, наверно, покажет всем слабость правосудия.

Не имея понятия о силе «медиократии» в Эгской долине, Монкорне не поднял разговора о Гобертене, который своими руками подливал масло в огонь, всячески

раздувая утихшую было неприязнь. После завтрака департаментский прокурор взял графа Монкорне под руку и увел его в кабинет префекта. По окончании этого совещания генерал написал графине, что уезжает в Париж и вернется только через неделю. По мерам, принятым в дальнейшем генералом, согласно указанию барона Бурляка, можно судить, сколь разумны были преподанные им советы; и если Эги еще могли избегнуть влияния *злой воли,* то лишь благодаря политике, которой прокурор в беседе с глазу на глаз посоветовал держаться графу де Монкорне.

Иные люди, прежде всего интересующиеся развитием действия в рассказе, будут бранить нас за растянутость всех этих объяснений; но здесь полезно заметить, что бытописатель подчинен более строгим законам, чем рассказчик; он должен придать характер правдоподобия даже истине, между тем как в области рассказа, в точном смысле этого слова, самое невозможное оправдывается просто-напросто тем фактом, что оно совершилось. Превратности социальной или частной жизни порождаются множеством незначительных причин, связанных буквально со всем. Ученый обязан разрыть лавину, поглотившую целые селения, чтобы показать нам камни, оторвавшиеся от горной вершины и вызвавшие образование снегового обвала. Если бы речь шла только о самоубийстве, то ведь в Париже их ежегодно совершается до пятисот,— эта мелодрама стала явлением обыденным, и каждый может удовлетвориться самым кратким объяснением вызвавших ее причин. Но кого же удастся уверить, что в наше время, когда богатство ценится дороже жизни, возможно самоубийство собственности? De re vestra agitur [1],— сказал некий баснописец. В данном случае дело идет обо всех, кто чем-нибудь владеет.

Примите во внимание, что заговоры, подобные описываемому заговору целого кантона и захолустного городка против старого генерала, при всей своей храбрости вышедшего невредимым из множества сражений, возникали и в других департаментах против людей, стремившихся принести пользу. Такая коалиция непрестанно

---

[1] Речь идет о ваших делах *(лат.)*.

угрожает каждому даровитому человеку, каждому крупному государственному деятелю, талантливому агроному и вообще каждому новатору.

Это последнее пояснение, носящее, так сказать, политический характер, не только дает правильное освещение портретам действующих лиц этой драмы, не только раскрывает значение каждого мелкого обстоятельства, но также проливает яркий свет и на весь ход событий настоящего повествования, где сталкиваются все социальные интересы.

X

ГРУСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИНЫ

В то время как генерал усаживался в коляску, чтобы ехать в префектуру, графиня подходила к Авонским воротам, где полтора года назад поселились Мишо и Олимпия.

Кто припомнит сделанное нами выше описание охотничьего домика, тот, несомненно, подумает, что его теперь заново отстроили. Прежде всего выпавший и попорченный временем кирпич и обвалившаяся штукатурка были заменены новыми. Вычищенная аспидная крыша с белой балюстрадой, отчетливо вырисовывавшейся на ее синеватом фоне, придавала зданию былой веселый вид. За расчищенной и посыпанной песком площадкой перед домом следил специально приставленный человек, обязанностью которого было поддерживать в порядке садовые аллеи. Оконные наличники, карнизы — словом, вся каменная отделка здания была восстановлена, и дом принял свой прежний нарядный вид. Птичник, конюшни и хлев, перенесенные на фазаний двор и скрытые купой деревьев, уже не портили общей картины, наоборот, смутно доносившиеся со двора звуки, воркованье и хлопанье крыльев, присоединяясь к неумолчному лесному гомону, приятно вторили непрерывной мелодии вечно поющей природы. Здесь сочетались естественность запущенного леса с изяществом английского парка. Все вокруг радовало взор каким-то спокойным достоинством, приветливостью, да и внутри благодаря заботам молодой и счастливой хозяйки все вы-

глядело совершенно иначе, чем при Курткюисе, при котором на всем лежал отпечаток грубой нерадивости.

В описываемое время года природа блистала всем своим великолепием. Ароматы цветочных клумб сливались с благоуханием леса. Из парка, с недавно скошенных лужаек, доносился запах свежего сена.

Дойдя до конца одной из выходивших к флигелю извилистых аллей, графиня и два ее гостя увидели г-жу Мишо, сидевшую возле дома и занятую шитьем приданого для своего будущего ребенка. Женщина, в такой позе и за таким занятием, вносит в пейзаж что-то очень человечное, и в действительной жизни это так трогательно, что некоторые художники по неразумию пытались перенести такое настроение на свое полотно. Эти художники упускают из виду, что «дух» пейзажа, если он удачно передан, подавляет человека своей величественностью, а в жизни соотношение между человеком и обстановкой никогда не бывает нарушено, ибо наш взгляд замыкает подобную сцену в определенную рамку. И Пуссен, наш французский Рафаэль, правильно поступил, отведя пейзажу второстепенную роль в своих «Аркадских пастухах», ибо он понял, что человек мал и жалок на картине, где главное — природа.

А тут взгляд радовало лето во всей своей красе, созревшая жатва, картина, полная здоровых и простых чувств. Тут нашла свое воплощение мечта многих людей, чья бурная жизнь, полная и дурным и хорошим, породила в них стремление к покою.

Расскажем в немногих словах роман этой супружеской четы. Жюстен Мишо не особенно горячо откликнулся на предложение славного командира кирасиров поступить к нему в начальники охраны его поместья: он в то время подумывал вернуться на военную службу; но в связи с этим предложением и переговорами ему пришлось побывать в особняке графа, где он увидел старшую камеристку графини. Молодая девушка, доверенная попечению графини семьей честных фермеров из окрестностей Алансона, могла рассчитывать в будущем на некоторый достаток, ибо ее ожидало наследство от нескольких родственников, примерно двадцать — тридцать тысяч франков. Подобно многим земледельцам, которые поженились в молодом возрасте и

все еще смотрят из рук родителей, отец и мать девушки очень нуждались и, не имея возможности дать образование своей старшей дочери, поместили ее на службу к молодой графине. Г-жа де Монкорне обучила Олимпию Шарель кройке и шитью, приказала подавать ей обед отдельно от другой прислуги и была вознаграждена за свое внимание безграничной преданностью, столь нужной парижанкам. Олимпия Шарель, хорошенькая нормандка, с золотисто-белокурыми волосами, склонная к полноте, с живыми, умными глазами, примечательная изящным носиком с горбинкой, как у маркизы, и девичьим обликом, при испанских линиях стана, отличалась благовоспитанностью, какую может приобрести камеристка, по своему происхождению стоящая чуть выше простонародья, ежели ее знатной хозяйке будет угодно приблизить ее к себе. Она всегда была прилично одета, скромно себя держала и изъяснялась вполне правильным языком. Мишо сразу же поддался ее чарам, особенно когда узнал, что его красавица со временем получит неплохое состояние. Препятствия встретились со стороны графини, не желавшей расстаться с такой драгоценной горничной, но когда Монкорне объяснил ей, какое создалось в Эгах положение, она не стала спорить, и теперь свадьбу задерживала только необходимость посоветоваться с родителями невесты; они не замедлили дать свое согласие.

Жюстен Мишо, по примеру генерала, смотрел на свою молодую жену, как на высшее существо, которому следовало повиноваться по-военному, не рассуждая. В этом душевном спокойствии и занятиях вне дома он нашел то счастье, о котором мечтает солдат, покидая военную службу: труд, необходимый для здоровья тела, и усталость, необходимую для наслаждения отдыхом. Несмотря на всеми признанную свою храбрость, Мишо ни разу не был серьезно ранен и не испытывал тех болей, которые, несомненно, озлобляют ветеранов. Как у всех действительно сильных людей, у него был ровный характер, и жена полюбила его от всего сердца. Поселившись в охотничьем домике, эта счастливая супружеская пара наслаждалась счастьем медового месяца в полной гармонии и с природой и с искусством, творения коего ее окружали,— обстоятельство довольно ред-

кое! Окружающая обстановка далеко не всегда соответствует нашему душевному настроению.

Открывшаяся перед нашими путниками картина была так прелестна, что графиня остановила Блонде и аббата Бросета, чтобы они могли полюбоваться очаровательной Олимпией Мишо незаметно для нее.

— Гуляя, я всегда захожу в эту часть парка,— шепнула графиня.— Я с таким же удовольствием смотрю на этот домик и на двух его голубков, с каким любуюсь красивым пейзажем.

Говоря это, она многозначительно оперлась на руку Эмиля Блонде, желая поделиться с ним столь деликатными чувствами, что передать их словами поистине трудно, но женщины поймут ее.

— О, как бы мне хотелось быть в Эгах таким привратником! — улыбаясь, ответил Блонде.— Но скажите, что с вами? — спросил он, заметив на лице графини выражение печали, которое вызвали его слова.

— Так, пустяки.

— Думая о чем-нибудь значительном, женщина всегда считает своим долгом лицемерно заявить: «Так, пустяки».

— Но ведь бывает, что женщину мучат мысли, которые вам могут показаться пустыми, а для нас они ужасны. Я тоже завидую участи Олимпии.

— Да услышит вас бог! — промолвил аббат Бросет, сопровождая эти слова улыбкой, чтобы сгладить всю их серьезность.

Госпожа Монкорне встревожилась, уловив в позе и в выражении лица Олимпии какое-то беспокойство и грусть. По тому, как женщина вытягивает нитку при каждом стежке, другая женщина угадывает ее настроение. В самом деле, хотя жена начальника охраны была одета в премиленькое розовое платье, а непокрытая голова ее была тщательно причесана, мысли ее, очевидно, шли вразрез с этим нарядом, с погожим днем и спокойной работой. Ее красивый лоб, ее рассеянный взгляд, скользивший то по песчаной площадке, то по листве деревьев, выдавали затаенную тревогу, и тем откровеннее, что она не подозревала о присутствии наблюдателей.

— А я завидовала ей!.. Откуда у нее мрачные мысли?..— сказала графиня священнику.

— Сударыня,— тихо ответил аббат Бросет,— скажите, почему среди полного счастья человек всегда подвержен неясным, но зловещим предчувствиям?

— Аббат,— заметил с улыбкой Блонде,— вы позволяете себе епископские ответы!.. «Ничего не украдешь, за все расплатишься!» — сказал Наполеон.

— Такое изречение, высказанное устами императора, вырастает до размеров народной мудрости,— ответил аббат.

— В чем дело, Олимпия, что с тобой, дружок? — спросила графиня, подходя к своей бывшей горничной.— Ты как будто задумчива и печальна... Уж не было ли у вас размолвки?..

Госпожа Мишо встала, и выражение ее лица сразу изменилось.

— Дитя мое,— отечески обратился к ней Эмиль Блонде,— хотел бы я знать, почему мы грустны, когда тут во флигеле нам почти так же хорошо, как графу д'Артуа в Тюильри? Ваше жилище точно соловьиное гнездышко в зеленой чаще! Ведь у вас муж первый храбрец во всей наполеоновской гвардии, красавец, влюблен в вас до безумия? Если бы я только знал, какие условия предложил вам Монкорне, я бы бросил свое ремесло писаки и поступил бы на место начальника охраны!

— Это не место для человека с вашим талантом, сударь,— ответила Олимпия, улыбаясь Блонде, как старому знакомому.

— Но что же с тобой, дружочек? — спросила графиня.

— Мне страшно, сударыня...

— Страшно! Чего же? — живо спросила графиня, вспомнив при этих словах о Муше и Фуршоне.

— Страшно волков? — сказал Эмиль, делая г-же Мишо знак, не понятый ею.

— Нет, сударь, здешних крестьян. Я родилась в Перше, у нас, конечно, встречаются дурные люди, но я не думаю, чтобы там их было так много и таких злых, как здесь. Я притворяюсь, будто дела Мишо меня не касаются, но я все вижу: он настолько не доверяет

крестьянам, что носит при себе оружие даже среди бела дня, если ему приходится идти лесом. Он велит лесникам всегда быть начеку. Здесь иногда бродят люди, от которых нельзя ждать ничего доброго. Как-то на днях я прошла вдоль ограды к истоку ручейка, что вытекает из лесу и шагах в пятистах отсюда проходит в парк сквозь железную решетку; его зовут Серебряным ручьем, потому что, как говорят, Буре приказал рассыпать по его песчаному дну серебряные блестки... Вам, сударыня, об этом рассказывали? Так вот, я подслушала разговор двух старых женщин, полоскавших белье в том месте, где ручей пересекает Кушскую аллею; они не знали, что я рядом. Оттуда виден наш флигель. Старухи показывали на него. «И уйму же денег потратили на этого молодчика, что сменил старика Курткюиса!» — сказала одна. «А как же не платить человеку, который подрядился тиранить бедный народ!» —ответила другая. «Недолго ему тиранить,— возразила первая,— скоро придет конец. Что там ни говори, а запасаться дровами — наше право. Покойница барыня позволяла нам собирать хворост. Тридцать лет собирали, значит, так уж заведено». «Посмотрим, что зимой будет,— сказала вторая старуха.— Муж мой всеми святыми клянется, что хоть сюда с целого света жандармов сгонят, мы все-таки будем ходить в лес, муж и сам пойдет, а там как хотят, им же хуже будет». «А то как же! Помирать нам, что ли, от холода, да и хлеб печь тоже надо! — сказала первая.— У них-то во всем достаток! О молоденькой женушке подлеца Мишо позаботятся!..» Ну а потом, сударыня, они наговорили всяких мерзостей про меня, про вас, про графа... И под конец сказали, что сначала сожгут фермы, а потом замок...

— Э! — воскликнул Эмиль.— Бабья болтовня! Генерала обворовывали, а теперь воровству будет положен конец. Народ озлился, вот и все! Поверьте, что сила всегда на стороне правительства, даже и в Бургундии. В случае беспорядков пришлют, если потребуется, целый кавалерийский полк.

Кюре за спиной графини делал знаки г-же Мишо, давая ей понять, чтобы она молчала о своих страхах, без сомнения, порожденных предвидением, всегдашним спутником истинной любви. Человек, все помыслы кото-

рого заняты одним существом, в конце концов начинает проникать в духовный мир окружающих и замечать в нем признаки будущего. Любящая жена полна предчувствий, позднее озаряющих ее материнство. В этом причина грустного настроения, необъяснимой печали, часто непонятной мужчинам, которых жизненные заботы и непрерывная деятельность отвлекают от подобной сосредоточенности чувств. Всякая истинная любовь связана у женщин с ясновидением, у одних более, у других менее проникновенным, у одних более, у других менее глубоким,— в зависимости от характера.

— Ну, дружок, покажи свой домик господину Блонде,— промолвила графиня, очнувшись от задумчивости; она даже позабыла о Пешине, ради которой, собственно, и пришла сюда.

Внутреннее убранство реставрированного флигеля вполне соответствовало его великолепному наружному виду. Парижский архитектор, приезжавший со своими рабочими (обида, которую жители Виль-о-Фэ никак не могли простить эгскому помещику), восстанавливая первоначальное расположение дома, устроил в нижнем этаже четыре комнаты. Во-первых,— переднюю, откуда шла старинная винтовая деревянная лестница с перилами, а за нею — кухню; затем по обе стороны от передней — столовую и гостиную с гербами, вырезанными на потолке мореного дуба. Художник, приглашенный г-жой Монкорне для реставрации Эгов, позаботился, чтобы обстановка гостиной вполне соответствовала старинной отделке этой комнаты.

В то время мода еще не придавала преувеличенной ценности осколкам ушедших столетий. Резные ореховые кресла, вышитые стулья с высокими спинками, консоли, часы, гобелены, столы и люстры, лежавшие на складах оссэрских и виль-о-фэйских перекупщиков, стоили вдвое дешевле, чем рыночная мебель из Сент-Антуанского предместья. Архитектор купил два-три воза разного умело подобранного старья, добавил кое-какие вещи, оказавшиеся ненужными в замке, и создал из гостиной авонского флигеля своего рода художественное произведение. Столовую он окрасил под дерево и оклеил так называемыми шотландскими обоями, а г-жа Мишо повесила на окна белые перкалевые занавески с

зеленой каймой, поставила стулья красного дерева с зеленой суконной обивкой, два громадных буфета и стол красного дерева. Эта комната, украшенная гравюрами, изображавшими сцены из военной жизни, отапливалась изразцовой печью, по обе ее стороны на стене красовались охотничьи ружья. Все это дешево обошедшееся великолепие почиталось в Эгской долине последним словом азиатской роскоши. Странное дело! Оно вызвало зависть Гобертена, который, не отказываясь от мысли распродать Эги по участкам, решил in petto [1] сохранить для себя этот роскошный флигель.

В трех комнатах второго этажа помещалась супружеская чета. На окнах висели кисейные занавески, наводившие парижанина на мысль о мещанских вкусах и склонностях хозяйки. Предоставленная самой себе, г-жа Мишо выбрала глянцевые обои. В спальне стояла рыночная мебель красного дерева с плюшевой обивкой, кровать «ладьей» с колонками и венцом, откуда спускался вышитый кисейный полог. Камин украшали алебастровые часы, а по обе их стороны стояли два канделябра в кисейных чехлах и две вазы с искусственными цветами под стеклянным колпаком — свадебный подарок Мишо. Под крышей находились, также отделанные заново, комнаты кухарки, слуги и Пешины.

— Олимпия, дружочек, ты ведь сказала мне не все? — спросила графиня, входя в спальню г-жи Мишо без Эмиля Блонде и кюре, которые остались на лестнице и, услышав стук закрываемой двери, спустились вниз.

Госпожа Мишо, смущенная красноречивой мимикой аббата Бросета, решила избежать разговора о своих опасениях, тревоживших ее более, чем она это высказывала, и поделилась с графиней секретом, напомнившим последней о цели ее прихода.

— Вы знаете, сударыня, что я люблю мужа. Ну так, скажите, было бы вам приятно видеть возле себя, у себя же в доме соперницу?

— Соперницу?!

— Да, сударыня. Та смуглянка, которую вы отдали мне на попечение, влюблена в Мишо, сама того, бед-

---

[1] В тайне *(итал.)*.

няжка, не зная. Поведение этой девочки, долгое время остававшееся для меня загадкой, разъяснилось в самые последние дни.

— Влюблена? В тринадцать лет!..

— Да, сударыня... И согласитесь, что это может встревожить женщину, уже четвертый месяц носящую под сердцем ребенка, которого ей самой предстоит кормить. Но чтобы не выказывать своей тревоги при ваших гостях, я наговорила вам разных глупостей,— хитро добавила великодушная жена начальника охраны.

Госпожа Мишо вовсе не боялась Женевьевы Низрон; уже несколько дней она испытывала совсем иной, смертельный страх, который злорадно поддерживали в ней напугавшие ее крестьяне.

— Но что же дало тебе повод предполагать?..

— Ничего и все! — ответила Олимпия, глядя на графиню.— Если я ей что-нибудь прикажу, девочка чуть двигается, хуже черепахи, но стоит только о чем нибудь попросить Жюстену, и она становится проворнее ящерицы. Чуть она услышит голос моего мужа, и уж вся трепещет, как листочек, а когда смотрит на него, лицо у нее такое радостное, как у святой при вознесении на небо; но она и не подозревает, что это любовь, она сама не понимает, что любит.

— Бедная девочка! — с простодушной улыбкой сказала графиня.

— И вот,— продолжала мадам Мишо, тоже улыбнувшись в ответ на улыбку прежней своей хозяйки,— когда Жюстена нет дома, Женевьева мрачна, а если я спрошу, что ее тревожит, она уверяет, что боится господина Ригу... Какие глупости! Она воображает, что все на нее зарятся, а сама чернее сажи в печной трубе. Когда Жюстен объезжает по ночам леса, девочка беспокоится не меньше моего. Я открою окно, прислушиваюсь, не раздастся ли топот лошади, и вижу свет у Пешины — так ее здесь называют,— значит, она тоже не спит и ждет его; и ложится она спать только после его возвращения домой.

— В тринадцать лет! — вновь воскликнула графиня.— Несчастная!..

— Несчастная?..— воскликнула Олимпия.— Нет, эта ребяческая страсть спасет ее.

— Спасет? От чего? — спросила г-жа Монкорне.

— От участи, ожидающей здесь почти всех девушек ее возраста. С тех пор как я ее немного отмыла, она стала не такой некрасивой, в ней теперь есть что-то своенравное, что-то дикое, что привлекает мужчин. Она так изменилась, что вам, сударыня, ее не узнать. Сын этого ужасного трактирщика, хозяина «Большого-У-поения», Никола,— негодяй из негодяев, хуже его не найдешь во всей нашей общине, прицепился к бедняжке; он гоняется за ней, как за дичью. Трудно поверить, что такой богатый человек, как господин Ригу, каждые три года меняющий служанок, мог преследовать двенадцатилетнюю дурнушку, но нет ничего удивительного, что Никола Тонсар бегает за Пешиной,— мне Жюстен говорил. Это ужасно, потому что люди в здешнем краю, право, хуже зверей. Но Жюстен, двое наших слуг и я не спускаем глаз с девочки. Можете о ней не беспокоиться, сударыня, она выходит одна только днем и не дальше как до Кушских ворот. Если случайно она попадет в ловушку, любовь к Жюстену придаст ей силы и хитрости, ведь всякая женщина умеет сопротивляться ненавистному человеку, когда сердце влечет ее к другому.

— Ради нее я и пришла,— сказала графиня.— Я не знала, что тебе так нужен мой приход. Знаешь, дружочек, ведь девочка-то вырастет и похорошеет!..

— О сударыня,— с улыбкой возразила Олимпия,— я совершенно уверена в Жюстене. Что это за человек! Какое у него сердце!.. Если бы вы только знали, как глубоко признателен он генералу: Жюстен говорит, что обязан ему своим счастьем. Он всей душой ему предан и готов ради него, как на войне, рисковать жизнью, забывая, что скоро станет отцом семейства.

— Ну, вот! А я готова была тебя пожалеть,— сказала графиня, бросая на Олимпию взгляд, от которого та зарделась.— Но теперь я уже тебя не жалею, я вижу, что ты счастлива. Какое прекрасное и благородное чувство супружеская любовь! — добавила она, громко высказывая мысль, которую незадолго перед этим не решилась выразить при аббате Бросете.

Графиня де Монкорне ушла в свои мечты, а Олимпия, сочувствуя этим мечтам, не нарушала молчания.

— Она честная девочка? — спросила графиня, словно отрываясь от своих грез.

— Можете на нее положиться, как на меня,— ответила г-жа Мишо.

— Не болтливая?

— Могила!

— Благодарная?

— Ах, сударыня, иной раз она так льнет ко мне, столько в ней смирения! Просто ангел; целует мне руки и говорит такие слова, что сердце разрывается... Позавчера она меня спросила: «Можно ли умереть от любви?» — «Почему ты об этом спрашиваешь?» — «Чтобы узнать, а может, это болезнь!»

— Она так сказала? — воскликнула графиня.

— Если бы я помнила все ее слова, я бы вам еще не то рассказала! — промолвила Олимпия.— Можно подумать, что она перечувствовала больше, чем я.

— Как тебе кажется, дружок, могла бы она заменить тебя? Мне очень трудно обойтись без моей Олимпии,— сказала графиня, как-то грустно улыбнувшись.

— Пока еще нет, сударыня, она еще слишком молода; но года через два — вполне. Кроме того, если понадобится удалить ее отсюда, я вам скажу. Ее надо еще учить, она ровно ничего не знает. Дедушка Женевьевы, старик Низрон, скорее даст отрубить себе голову, чем скажет неправду. Он лучше с голоду умрет, а чужого не возьмет ни крошки; уж такие у него убеждения, и внучка его воспитана в тех же понятиях. Пешина стала бы считать себя вашей ровней, дедушка Низрон сам говорит, что воспитал ее республиканкой, точно так же, как дядя Фуршон готовит из Муша бродягу. Я только посмеиваюсь над ее выходками, но вас они могли бы рассердить. Она в вас почитает только свою благодетельницу, а не человека благородного звания. Что тут поделаешь! Пешина дика, как ласточка. Кровь матери сказывается в ней.

— А кто ее мать?

— Как, сударыня, вы не знаете этой истории? — спросила Олимпия.— Так вот, сын Низрона, бланжийского церковного сторожа, Огюст, красавец, как мне говорили здешние жители, попал во время рекрутского на-

бора в солдаты. Молодой Низрон в тысяча восемьсот девятом году был еще простым канониром в одном из армейских корпусов, когда корпусу этому приказано было быстро двинуться из глубины Иллирии и Далмации через Венгрию, чтобы отрезать отступление австрийской армии в том случае, если император выиграет сражение при Ваграме. Мишо мне рассказывал про эту Далмацию, он там был. Низрон, видный мужчина, покорил в Заре сердце одной черногорки; дочь гор, как видно, не чуралась французских солдат. Молодая девушка — звали ее Зена Краполи — погубила себя в глазах соотечественников, и после ухода французов ей уже нельзя было остаться в своем городке,— там ее ругали «француженкой»; она последовала за артиллерийским полком и после заключения мира вернулась с Низроном во Францию. Огюст просил разрешения жениться на черногорке,— она уже была тогда беременна Женевьевой, но бедная женщина умерла в Венсене от родов, в январе тысяча восемьсот десятого года. Все документы, необходимые для заключения брака, пришли несколько дней спустя. Огюст Низрон написал отцу, чтобы тот приехал за ребенком, захватив с собой из деревни кормилицу, и взял бы младенца на свое попечение. Он рассудил совершенно правильно, потому что сам был вскоре убит осколком снаряда под Монтеро. Маленькую далматку окрестили в Суланже, назвали Женевьевой, и ее взяла под свое покровительство мадемуазель Лагер, очень растроганная всей этой историей. Такая уж, должно быть, судьба у нашей Пешины — быть на попечении у владельцев Эгов. В свое время дедушка Низрон получил из замка и приданое для младенца и денежную помощь.

В этот момент графиня и Олимпия, стоявшие у окна, увидели, как Мишо подходит к аббату Бросету и Блонде, которые разговаривали, прогуливаясь по большому песчаному полукругу, сходному с полукругом в конце парка.

— Где же она? — спросила графиня.— После твоих рассказов мне очень хочется повидать ее.

— Она понесла молоко дочери Гайяра к Кушским воротам и, верно, сейчас где-нибудь недалеко,— уже больше часа как она ушла.

— Ну, тогда я пойду ей навстречу вместе с моими спутниками,— сказала графиня, направляясь вниз.

Когда графиня раскрывала свой зонтик, к ней подошел Мишо и предупредил, что генерал оставляет ее дня на два соломенной вдовой.

— Господин Мишо,— с живостью обратилась к нему графиня,— не обманывайте меня, здесь творится что-то серьезное. Ваша жена напугана, и если в этом краю много людей, похожих на дядю Фуршона, тут вовсе нельзя жить.

— Если бы дело обстояло так,— смеясь, ответил Мишо,— нас бы уже давно не было в живых, потому что нет ничего проще, как отделаться от нас. Крестьяне кричат — вот и все. Но они слишком дорожат своей жизнью и вольным воздухом, чтобы от крика перейти к делу и от проступков к преступлению... Олимпия, верно, рассказала вам, какие разговоры напугали ее, но при теперешнем ее положении она способна испугаться даже своих снов,— добавил он и, беря под руку жену, взглядом дал ей понять, чтобы в дальнейшем она молчала.

— Корнвен, Жюльета! — крикнула Олимпия.— Я надолго отлучусь, посмотрите за домом,— распорядилась она, увидав в окне голову старухи кухарки.

Свирепый лай двух огромных собак засвидетельствовал, что наличные силы гарнизона Авонских ворот достаточно внушительны. На лай из кустов высунул голову Корнвен, муж кормилицы Олимпии, типичный старый першеронец, каких можно встретить только в Перше. Корнвен, наверно, был шуаном в 1794 и 1799 годах.

Все последовали за графиней по той из шести аллей, которая вела прямо к Кушским воротам и пересекалась Серебряным ручьем. Г-жа де Монкорне шла впереди с Блонде. Аббат Бросет, Мишо и его жена вели вполголоса разговор о положении в крае, которое только что открылось графине.

— Быть может, такова воля провидения,— говорил священник,— потому что если графиня захочет, мы сумеем добрыми делами и кротостью исправить здешний народ.

Примерно шагах в шестистах от флигеля, уже прой-

дя ручей, графиня заметила на дорожке разбитый красный кувшин и пролитое молоко.

— Что случилось с девочкой? — воскликнула она, подзывая Мишо и его жену, направившихся было домой.

— Такое же несчастье, как и с Пьереттой в басне,— ответил Эмиль Блонде.

— Нет, кто-то внезапно напал на бедную девочку и погнался за ней,— кувшин отброшен в сторону,— сказал аббат Бросет, внимательно рассматривая землю.

— Да, ведь это же следы Пешины! — сказал Мишо.— Смотрите, они круто поворачивают в сторону,— это признак внезапного испуга. Девочка стремительно кинулась обратно, к флигелю, она хотела вернуться домой.

Все пошли по следам, на которые указывал пальцем начальник охраны, приглядываясь к ним на ходу; он остановился посредине аллеи, шагах в ста от разбитого кувшина, где отпечаток ног Пешины вдруг обрывался.

— Здесь она свернула к Авоне,— сказал он.— Возможно, что кто-то отрезал ей путь к флигелю.

— Но уже больше часа, как она ушла из дому! — воскликнула г-жа Мишо.

На всех лицах отразился страх. Кюре поспешно направился к флигелю, внимательно рассматривая дорогу, а Мишо, движимый теми же соображениями, пошел по аллее к Кушу.

— Боже мой, она здесь упала! — воскликнул Мишо, вернувшись с того места, где прерывались следы, ведшие к Серебряному ручью, на середину аллеи, где они тоже кончались.— Смотрите! — сказал он, указывая на землю.

Все действительно увидали на песке отпечаток человеческого тела.

— Следы, ведущие к лесу, оставил кто-то обутый в башмаки на веревочной подошве,— сказал кюре.

— Это женский след,— заметила графиня.

— А там, возле разбитого кувшина, след мужской ноги,— сказал Мишо.

— Здесь все следы совершенно одинаковые,— сообщил кюре, дошедший до самого леса по следу с отпечатком веревочной подошвы.

— Ее, наверно, схватили и унесли в лес! — воскликнул Мишо.

— Если это след женской ноги, то тут окончательно ничего нельзя понять,— заметил Блонде.

— Это, несомненно, проделки мерзавца Никола,— сказал Мишо.— Он уж несколько дней подстерегает Пешину. Я сегодня просидел целых два часа под Авонским мостом, чтобы захватить этого негодяя. Возможно, что его замыслам помогает женщина.

— Какой ужас! — воскликнула графиня.

— Для них все это милые шутки,— с грустью и горечью промолвил кюре.

— О, Пешина не дастся им в руки! — сказал начальник охраны.— Она скорее бросится вплавь через реку. Пойду осмотрю берег Авоны. Дорогая Олимпия, вернись-ка лучше домой. А вы, господа, и вы, сударыня, пройдитесь по аллее к Кушу.

— Что за край! — проговорила графиня.

— Всюду найдутся негодяи,— заметил Блонде.

— Правда ли, господин кюре,— спросила графиня,— что я вырвала эту девочку из когтей Ригу?

— Всякая девушка моложе пятнадцати лет, которую вы приютите у себя в замке, будет вырвана из лап этого изверга,— ответил аббат Бросет.— Стараясь залучить к себе в дом Пешину, когда ей только что минуло двенадцать лет, расстрига одновременно стремился к удовлетворению и своих распутных наклонностей и чувства мести. Он наговорил ее дедушке, что хочет исправить несправедливость, допущенную дядей Низрона, моим предшественником, но мне удалось разъяснить этому старику, взятому мной в сторожа, истинные намерения Ригу. И тогда у нашего бывшего мэра появилась еще одна лишняя обида против меня, и его ненависть с той поры возросла... Старик Низрон напрямик заявил Ригу, что убьет его в случае несчастья с Женевьевой и возложит на него ответственность за всякое покушение на честь девочки. Я весьма склонен видеть в преследованиях Никола Тонсара какой-нибудь отвратительный замысел со стороны Ригу, считающего, что ему здесь все дозволено.

— Он, стало быть, не боится правосудия? — спросил Блонде.

— Во-первых, он тесть местного прокурора,— ответил кюре, немного подумав.— А потом, вы и представить себе не можете, до чего доходит беспечность полиции и прокуратуры. Раз крестьяне не жгут ферм, не убивают, не отравляют и платят налоги,— пускай делают, что хотят, а поскольку крестьянам чужды какие бы то ни было религиозные принципы, здесь ужас что творится. По ту сторону Авоны немощные старики боятся остаться дома, потому что тогда их перестанут кормить; они работают в поле, пока держатся на ногах, так как прекрасно знают, что стоит им слечь — и они умрут с голода. Мировой судья Саркюс говорит, что, если привлекать к суду всех преступников, государство разорится на судебных издержках.

— Этот судья смотрит на вещи трезво,— заметил Блонде.

— Да. Вот и его преосвященство хорошо знал, как обстоят дела в здешней долине, в особенности в нашей общине,— продолжал священник.— Только религия может исправить это зло, а закон в его теперешнем виде, по-моему, бессилен...

Речь священника была прервана криками, раздавшимися из леса, и графиня вслед за Эмилем и аббатом смело побежала в ту сторону.

XI

ОАРИСТИС, ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ ЭКЛОГА ФЕОКРИТА, НЕ СЛИШКОМ ОДОБРЯЕМАЯ СУДОМ ПРИСЯЖНЫХ

Благодаря проницательности, развившейся у начальника охраны на новой его должности не хуже, чем у дикаря, а также благодаря знанию страстей и стремлений жителей бланжийской общины Мишо частично уже нашел объяснение третьей идиллии в греческом вкусе, в том «вольном», по классическому выражению, переводе, в каком воспроизводят античные идиллии в глухой провинции иные крестьяне-бедняки вроде Тонсаров и пожилые богачи вроде Ригу.

Второй сын Тонсара, Никола, вытянул при жеребьевке неудачный номер. За два года перед тем старший сын Тонсаров при содействии Гобертена, Судри и Сар-

кюса-богатого был признан негодным к военной службе: у него вдруг заболели мышцы правой руки; но в дальнейшем Жан-Луи Тонсар без особого труда справлялся с самой тяжелой полевой работой, что вызвало толки в кантоне. Покровители семейства Тонсаров — Судри, Ригу и Гобертен — предупредили трактирщика, что сейчас не время пытаться избавить рослого и сильного Никола от рекрутчины. Однако виль-о-фэйский мэр и Ригу живо чувствовали, как важно заручиться признательностью таких отчаянных головорезов, способных на всякие мерзости, а затем натравить их на эгских помещиков, и Ригу подал Тонсару и его сыну кое-какие надежды.

Монах-расстрига, к которому захаживала Катрин, чрезвычайно преданная своему брату, посоветовал Тонсарам обратиться к графине и генералу.

— Возможно, что он даже будет рад умаслить вас, оказав такую услугу, а это уже маленькая победа над врагом,— сказал Катрин грозный тесть прокурора.— Ну, а если Обойщик откажет, тогда посмотрим.

Ригу предвидел, что отказ генерала будет истолкован, как новое проявление враждебности по отношению к крестьянам; если же бывшему мэру при его изворотливости удастся освободить Никола от рекрутчины, то Тонсар почувствует себя еще более обязанным их коалиции.

Никола, которому в ближайшие дни предстояло явиться в воинское присутствие, не возлагал особых надежд на протекцию генерала, зная, как в Эгах недовольны семьею Тонсаров. Его страсть к Пешине, или, вернее, овладевшая им неотвязная прихоть, были до такой степени возбуждены мыслью о близком отъезде, не оставлявшем ему времени для обольщения, что он решил пустить в ход насилие. Презрение, которое Женевьева выказывала своему преследователю, ее решительное сопротивление разожгли в ловеласе Эгской долины чувство ненависти, по силе своей не уступавшее его страсти. Уже три дня подстерегал он Пешину, и бедняжка знала, что ее подстерегают: между Никола и его жертвой установилось такое же взаимное понимание, как между охотником и дичью. Стоило Пешине выйти за ворота, и тотчас же в аллее, проходившей вдоль ограды

парка, или на Авонском мосту она замечала Никола. Она могла бы избавиться от его преследований, пожаловавшись деду, но даже самые простодушные девушки из какого-то, быть может, инстинктивного страха боятся в такого рода делах прибегать к защите своих естественных покровителей.

Женевьева слышала, как Низрон клялся убить всякого, кто осмелится «тронуть» его внучку,— так именно он и выразился. Старику казалось, что его седины и безупречная жизнь — достаточная для нее охрана. Перспектива страшных драм до такой степени пугает пылкое девическое воображение, что нет необходимости приводить многие другие, подчас очень любопытные причины, скрытые в тайниках сердца и накладывающие печать молчания на уста такого юного существа.

Прежде чем отправиться с молоком, которое Олимпия посылала дочери Гайяра, сторожа при Кушских воротах, так как корова его только что отелилась, Пешина, точно кошка, решившая выйти из дома, предварительно огляделась вокруг. Однако нигде не было и признаков Никола; она внимала тишине, как говорит поэт, и, ничего не услышав, предположила, что этот мерзавец где-нибудь на работе. Крестьяне уже начинали жать рожь, так как они всегда торопятся убрать хлеб на своих полях, чтобы не пропустить поденщины, хорошо оплачиваемой жнецам. Но Никола был не из тех, кто жалеет о двухдневном заработке, тем более что после суланжской ярмарки он должен был расстаться с родными местами и пойти в солдаты, а для крестьянина это значит начать новую жизнь.

Когда Пешина, с кувшином на голове, прошла половину дороги, Никола, спрятавшийся в ветвях высокого вяза, словно дикая кошка, спрыгнул к самым ногам девочки, та бросила кувшин и помчалась обратно, рассчитывая добежать до дома, но не успела она сделать и ста шагов, как сидевшая в засаде Катрин Тонсар выскочила из леса и с такой силой толкнула Пешину, что бедняжка упала. От силы удара она потеряла сознание. Катрин подняла ее на руки и унесла в лес, на небольшую лужайку, по которой, журча, пробегает Серебряный ручей.

Катрин, девушка рослая и сильная, пленявшая авон-

скую молодежь, во всем походила на дев, и поныне избираемых скульпторами и художниками, как некогда избирала их Республика, для изображения Свободы: та же пышная грудь, те же мускулистые ноги и крепкие руки, тот же мощный и гибкий стан, те же глаза с огненными искорками, горделивая осанка, пышные волосы, заложенные небрежным узлом, мужской лоб и пунцовые губы, на которых играла почти жестокая улыбка, так удачно схваченная и воспроизведенная Эженом Делакруа и Давидом Анжерским. Пылкая и резкая Катрин со светло-карими глазами, горящими огнем мятежа, могла быть прообразом народа, если б не ее пронзительный, по-солдатски наглый взгляд. Она унаследовала от отца такой буйный нрав, что ее боялась вся семья, кроме самого Тонсара.

— Ну, как ты себя чувствуешь, старушка? — спросила она Пешину.

Катрин умышленно усадила свою жертву на бугорок возле ручья и привела ее там в чувство, облив холодной водой.

— Где я? — спросила девочка, открывая свои прекрасные черные глаза, словно пронизанные солнечным лучом.

— Ах, если бы не я, тебя бы уже не было в живых...

— Спасибо,— пролепетала Пешина, еще не совсем пришедшая в себя.— Но что же со мной случилось?

— Ты зацепилась ногой за корень, кубарем откатилась на несколько шагов и растянулась на земле... И до чего же ты быстро бежала! Мчалась, точно сумасшедшая.

— Во всем виноват твой брат,— сказала Пешина, вспомнив, что видела Никола.

— Мой брат? А разве он здесь? — удивилась Катрин.— И чем тебе не угодил бедняга Никола, что ты от него, как от оборотня, бегаешь? Он покрасивее твоего Мишо.

— О! — надменно воскликнула Пешина.

— Смотри, голубушка, наживешь ты себе горя, если будешь якшаться с теми, кто нас гонит! Почему ты не заодно с нами?

— А почему вы не ходите в церковь? Почему воруете и днем и ночью? — спросила девочка.

— И ты, значит, поддалась на господские уговоры!..— презрительно ответила Катрин, не подозревавшая о сердечной привязанности Пешины.— Для богатых мы все равно что кушанья: им каждый день подавай что-нибудь новое. Где это видано, чтобы барин женился на крестьянке? Вот увидишь, Саркюс-богатый нипочем не позволит сыну жениться на Гатьене Жибуляр из Оссэра, хотя она и раскрасавица и дочь богатого столяра!.. Ты ни разу не была в суланжском «Тиволи» у Сокара? Попробуй-ка поди туда,— насмотришься на господ! Тогда поймешь, что от них один прок: деньги вытянуть, когда они на нашу удочку попадутся! Придешь в нынешнем году на ярмарку?

— Суланжская ярмарка, говорят, очень уж хороша! — простодушно воскликнула Пешина.

— Постой, я тебе сейчас все расскажу,— продолжала Катрин.— Если ты красивая, все на тебя будут заглядываться. Да и то сказать, зачем и быть хорошенькой, вроде тебя, как не за тем, чтобы мужчины тобой любовались? Ах, как услышала я в первый раз: «Ну и красавица девка!» — вся кровь во мне вскипела. Это у Сокара было, в самый разгар танцев. Дедушка играл на кларнете, он услышал и улыбнулся. А мне «Тиволи» сразу таким большим и светлым показался. Одно слово — небо! Ведь там, голубушка, везде горят лампы с зеркалами... Ну, прямо как в раю. Кавалеры из Суланжа, Оссэра и Виль-о-Фэ все до последнего там. С того вечера я раз навсегда полюбила место, где услышала такие слова, словно военная музыка, раздались они у меня в ушах. Царствие небесное отдашь, голубушка, чтобы услышать такие слова от любимого человека!

— Да, пожалуй,— задумчиво ответила Пешина.

— Ну, так приходи, ты уж обязательно мужчинам приглянешься, будут тебя хвалить! — воскликнула Катрин.— Чего доброго, подвернется еще какой счастливый случай, ты девушка славная!.. Глядишь, сын господина Люпена, Амори, тот, что с золотыми пуговицами ходит, к тебе присватается. Это еще не все, какое там! Если бы ты только знала!.. В «Тиволи» против тоски есть сокаровское «горячительное»!.. Выпьешь «горячительного» винца и позабудешь самое сильное горе. Разные

мечтанья в голову полезут, и все на свете тебе нипочем!.. Ты никогда не пила «горячительного»? Ну, значит, ты не знаешь, что такое жизнь.

Привилегия взрослых время от времени прополаскивать горло стаканчиком глинтвейна до такой степени возбуждает любопытство детей, не достигших двенадцатилетнего возраста, что Женевьева однажды глотнула из стаканчика деда, которому доктор прописал такое вино. Девочке оно показалось чем-то волшебным, и потому она внимательно выслушала Катрин, а та как раз и рассчитывала на это для осуществления своего подлого замысла, наполовину уже выполненного. Ей, несомненно, хотелось привести свою жертву, ошеломленную ушибом, в состояние нравственного опьянения, очень опасного для деревенских девушек, ибо фантазия их, лишенная всякой пищи, разгорается при малейшем поводе. Припасенное Катрин под самый конец «горячительное» должно было окончательно одурманить ее жертву.

— Что же в него кладут? — спросила Пешина.

— Разные разности,— ответила Катрин, поглядывая по сторонам, чтобы посмотреть, не идет ли брат.— Перво-наперво всякие штуки из Индии — корицу, травы!.. Выпьешь, и все у тебя внутри изменится как по волшебству. Вот точно все, что сердцу мило, в руках держишь. И такая станешь счастливая и богатая, и на все-то тебе наплевать!

— А не страшно пить «горячительное» во время танцев? — осведомилась Пешина.

— Чего же бояться? — усмехнулась Катрин.— Тут нет никакой опасности, подумай, ведь народу-то кругом сколько. И все как есть господа на нас смотрят! Ах, ради такого дня можно многое стерпеть! Хоть одним глазком взглянуть, а потом умереть можно, ничего больше и не надо!

— Ах, если бы господин и госпожа Мишо согласились пойти! — воскликнула Пешина, и глаза ее загорелись.

— Ну, а твой дед Низрон? Ты же его, старика, не бросила, а уж как ему будет лестно, что тобой все, словно королевной какой, любуются... Что же тебе Мишо и всякие другие арминаки дороже деда и нас, бургун-

дцев? Нехорошо отрекаться от своего края. А потом, что за дело Мишо, если дед поведет тебя на праздник в Суланж? Ах, если бы ты знала, что значит взять волю над мужчиной, быть его *предметом*... Скажешь ему: «Ступай туда», как я говорю Годэну,— и он идет. «Сделай это» — и он делает!.. А ты, золотце мое, такая пригожая, что и городскому кавалеру, вроде сына господина Люпена, голову вскружишь... Подумать только, господин Амори втюрился в мою сестру, потому что она блондинка, но меня он, наоборот, будто побаивается... А тебя господа из флигеля, как принцессу какую, разодели.

Катрин умышленно не упоминала о Никола, чтобы усыпить недоверчивость Пешины, в то же время отравляя ее наивную душу сладким ядом похвал. Сама того не зная, она затронула тайную рану ее сердца. Пешина, простая крестьянская девочка, была не по возрасту развита, что свойственно многим натурам, которым суждено так же преждевременно увянуть, как преждевременно они расцвели. На нее, несомненно, оказало влияние и то обстоятельство, что в ее жилах текла черногорская и бургундская кровь, и то, что она была зачата и выношена в тревогах военной жизни. Тоненькая, хрупкая, смуглая, как листок табака, миниатюрная Пешина была не по росту сильна, чего не замечали крестьяне, которые не имеют ни малейшего представления о тайной силе нервных натур. Нервам не отведено места в системе деревенской медицины.

С тринадцати лет Женевьева перестала расти, хотя рост ее только-только соответствовал возрасту. Трудно сказать отчего, лицо ее напоминало своим цветом топаз: то ли оно было таким от природы, то ли стало таким под воздействием лучей бургундского солнца — блестящим по свойству кожи и темным по оттенку, что старит самую молоденькую девушку,— мы не беремся решать, тем более что медицина, вероятно, осудила бы любое наше утверждение. У Пешины некоторая старообразность лица искупалась живостью, блеском и редкой лучистостью ярких, как звезды, глаз, опушенных, пожалуй, чересчур длинными ресницами, за которыми, должно быть, всегда прячутся такие пронизанные солнцем глаза. Иссиня-черные длинные и густые волосы, запле-

тенные в толстые косы, лежали венцом надо лбом, изваянным, как у античной Юноны. Эта великолепная диадема волос, эти громадные армянские глаза, это божественное чело подавляли остальные черты лица. Нос был правильной формы, с красивой горбинкой, а ноздри тонкие и подвижные, как у лошади. Когда они страстно раздувались, в выражении ее лица появлялось что-то неистовое. И нос и вся нижняя часть лица казались незаконченными, словно божественному скульптору не хватило глины. Расстояние между нижней губой и подбородком было так мало, что, взяв Пешину за подбородок, вы обязательно задели бы и губы, но вы не замечали этого недостатка, любуясь красотою ее зубов. Вы невольно наделяли душою эти блестящие, гладкие, прозрачные, красиво выточенные зубки, которые не скрывал слишком большой рот с губами, похожими на причудливо изогнутые кораллы. Ушные раковины были так тонки, что на солнце они казались совсем розовыми. Цвет лица, хотя и смуглый, говорил об удивительной нежности кожи. Если прав Бюффон, утверждающий, что любовь основана на прикосновении, то нежность этой кожи, несомненно, волновала так же сильно, как запах дурмана. Грудь, да и все тело поражали своей худобой, но в соблазнительно маленьких ножках и ручках чувствовалась необычная нервная сила, живучесть организма.

Сочетание адского несовершенства и божественной красоты, гармоничное, несмотря на все их противоречия, объединенные господствующим выражением дикой гордости, читавшийся во взгляде вызов сильной души слабому телу — все это создавало незабываемый образ. Природа задумала создать из этого маленького существа женщину, а условия, при которых она была зачата, сделали ее похожей на мальчика и лицом и сложением. При взгляде на эту странную девушку поэт сказал бы, что родина ее — Йемен, ибо все в ней напоминало эфритов и гениев арабских сказок. Лицо Пешины не обманывало. Взгляд ее говорил о пламенной душе, прекрасное чело — о благородстве мысли, уста, блиставшие чудесными зубами, и раздувавшиеся ноздри — о бурных страстях. Поэтому любовь, жгучая, как пески пустыни, уже волновала тринадцатилетнюю девочку-черногорку

с сердцем двадцатилетней женщины, девочку, которой, как и снеговым вершинам ее родины, не суждено было украситься вешними цветами.

Читатель теперь поймет, почему Пешина, у которой все поры дышали страстью, пробуждала в развращенных людях их пресыщенное излишествами воображение; точно так же при виде плодов с темными пятнышками и червоточинками текут слюнки у гурманов, знающих по опыту, что по воле природы под такой оболочкой часто бывают скрыты особый аромат и сочность. Почему грубый землепашец Никола преследовал эту девочку, достойную любви поэта, когда буквально вся долина жалела ее за болезненное уродство? Почему старик Ригу воспылал к ней юношеской страстью? Кто из двух был молод и кто стар? Был ли молодой крестьянин так же пресыщен, как старый ростовщик? Каким образом два человека, стоящие на двух концах жизни, объединились в одной зловещей прихоти? Похожа ли сила на исходе на силу, только еще разворачивающуюся? Человеческая извращенность — бездна, охраняемая сфинксом; и начинается и завершается она под вопросами, не имеющими ответа.

Теперь должно быть понятным восклицание: «Piccina!», которое вырвалось у графини, когда она в прошлом году заметила на дороге Женевьеву, остолбеневшую при виде коляски и такой нарядной дамы, как г-жа Монкорне. И вот эта девушка, почти недоносок, со всем пылом черногорки полюбила рослого, красивого и благородного Мишо, начальника эгской охраны, полюбила так, как любят девочки ее возраста, то есть со всем жаром детских желаний, со всей силой юности, с самоотверженностью, вызывающей в чистых девушках божественно поэтические настроения. Катрин, таким образом, притронулась своими грубыми руками к чувствительным струнам арфы, натянутым до последнего предела. Отправиться на праздник в Суланж, блистать, танцевать там на глазах у Мишо, запечатлеться в памяти своего обожаемого повелителя!.. Какие мысли! Заронить их в эту пламенную головку, не значило ли это бросить горящие угли в высушенную августовским солнцем солому?

— Нет, Катрин,— ответила Пешина,— я некраси-

вая, да такая худая, мне на роду написано вековать свой век в девушках.

— Мужчины любят худышек,— возразила Катрин.— Видишь, я какая? — сказала она, вытягивая свои красивые руки.— Я нравлюсь мозгляку Годэну, нравлюсь плюгавому Шарлю, что ездит с графом, зато Люпенов сын меня боится. Говорю тебе, меня любят только маленькие мужчины, в Виль-о-Фэ да в Суланже только они говорят: «Вот это девка!» Ну, а ты приглянешься красавцам мужчинам...

— Ах, Катрин, да неужто это правда! — восторженно воскликнула Пешина.

— А как же не правда, раз Никола, первый красавец в кантоне, без ума от тебя. Он только тобой и бредит, голову потерял, а ведь его все девушки любят... Он парень хоть куда!.. Знаешь что, надевай в успеньев день белое платье с желтыми лентами и будешь первой красавицей у Сокара, а туда самая чистая виль-о-фэйская публика ходит. Ну как, согласна?.. Постой, я здесь для коров траву жала, у меня в бутылке немного «горячительного» осталось, мне его сегодня утром Сокар дал,— сказала она, увидя лихорадочный взгляд Пешины, взгляд, знакомый каждой женщине.— Я девушка добрая, мы разопьем его вместе... тебе и привидится, что у тебя дружок есть...

Во время этого разговора подкрался Никола, бесшумно ступая по траве, и спрятался за большим дубом у того бугорка, на который сестра его усадила Пешину. Катрин, время от времени оглядывавшаяся по сторонам, пошла за флягой с вином и наконец заметила брата.

— На, начинай,— сказала она девочке.

— Ой как жжется! — воскликнула Женевьева, отхлебнув два глотка и возвращая бутылку.

— Дура! Смотри! — засмеялась Катрин, залпом опорожняя свою флягу из высушенной тыквы.— Вот как пить надо. Прямо скажешь: словно солнцем нутро опалило!

— А ведь я должна была отнести молоко дочке Гайяра!..— воскликнула Пешина.— Никола меня так напугал...

— Ты, значит, не любишь Никола?

— Нет,— ответила Пешина.— И чего он гоняется за мной? Мало ли здесь податливых девушек?

— Но если ты, золотце, ему всех здешних девушек милее...

— В таком случае мне его жалко...— промолвила Пешина.

— Сразу видно, что ты с ним еще не познакомилась...— сказала Катрин.

Произнеся эту отвратительную фразу, Катрин Тонсар с молниеносной быстротой схватила Пешину за талию, опрокинула ее на траву, прижала к земле спиной, не давая пошевельнуться, и крепко держала ее в таком беспомощном положении. Увидя своего гнусного преследователя, Пешина закричала во все горло и так ударила Никола ногой в живот, что он отлетел от нее шагов на пять; тогда она перевернулась, как акробат, через голову с проворством, обманувшим расчеты Катрин, и вскочила, порываясь убежать. Катрин, не вставая с места, протянула руку, схватила ее за ногу, и Пешина растянулась во весь рост, упав ничком на землю. Крик замер в груди мужественной черногорки, ошеломленной падением. Никола, придя в себя после полученного удара, совсем разъярился, он подбежал к девочке, пытаясь схватить свою жертву. Видя грозящую ей опасность, Пешина, хоть и одурманенная вином, схватила Никола за горло и сдавила его, точно железными тисками.

— Катрин! Помоги! Она меня душит! — закричал Никола сдавленным голосом.

Пешина тоже громко кричала. Катрин зажала ей рот, но девочка до крови укусила ей руку. В это мгновение Блонде, графиня и аббат показались на опушке леса.

— Вон идут господа из замка,— сказала Катрин, помогая Женевьеве подняться.

— Жизнь тебе еще не надоела? — хриплым голосом спросил Никола Тонсар.

— Ну? — отозвалась Пешина.

— Скажи, что мы баловались, и я тебя помилую,— буркнул он.

— Скажешь, сука?..— повторила Катрин, бросая на девочку взгляд, еще более страшный, чем смертельная угроза Никола.

— Хорошо, только оставьте меня в покое,— ответила девочка.— Но уж теперь я не выйду из дома без ножниц.

— Смотри помалкивай, а не то я брошу тебя в Авону,— пригрозила ей свирепая Катрин.

— Вы изверги,— кричал аббат,— вас надо бы тут же арестовать и отдать под суд!..

— Вот как! А вы чем занимаетесь у себя в гостиных? — спросил Никола, бросив на графиню и Блонде взгляд, от которого оба они содрогнулись.— Небось, балуетесь? Ну, а наш дом — лес и поле, не все же время нам работать, мы тоже баловались!.. Спросите у сестры и Пешины.

— Что же у вас называется дракой, если это баловство? — воскликнул Блонде.

Никола поглядел на него с такой злобой, как будто готов был убить его.

— Ну, чего же ты молчишь? — сказала Катрин, беря Пешину за руку выше локтя и сжимая ее до синяков.— Правда ведь, мы баловались?..

— Да, сударыня, мы баловались,— пролепетала девочка, ослабев после выдержанной борьбы и вся поникнув, как в обмороке.

— Слышали, сударыня? — нагло спросила Катрин, кинув на графиню один из тех взглядов, которыми иногда обмениваются женщины и которые стоят удара кинжала.

Она взяла под руку брата и пошла с ним прочь, отлично понимая, какое впечатление они произвели на трех свидетелей этой сцены. Никола два раза обернулся и оба раза встретил взгляд Блонде, смерившего с головы до ног этого долговязого парня, пяти футов девяти дюймов ростом, краснощекого, курчавого, широкоплечего брюнета, с довольно приятным лицом, хотя в очертаниях его губ и в складках вокруг рта сквозила жестокость, свойственная сладострастникам и лентяям. Катрин с какой-то развратной кокетливостью покачивала бедрами, отчего при каждом шаге колыхалась ее белая в синюю полоску юбка.

— Каин и его жена! — кивнул на них Блонде, обращаясь к аббату.

— Вы не представляете себе, до чего верно вы их определили,— отозвался аббат Бросет.

— Ах, господин кюре, что они со мной теперь сделают? — проговорила Пешина, когда брат и сестра отошли на такое расстояние, что не могли их услышать.

Графиня побелела как полотно, она так перепугалась, что не слышала ни Блонде, ни кюре, ни Пешину.

— От таких дел убежишь даже из земного рая! — промолвила она наконец.— Но прежде всего надо спасти из их лап девочку.

— Вы были правы: эта девочка — поэма, живая поэма! — прошептал графине Блонде.

Черногорка в эти минуты переживала то состояние, когда в душе и теле как бы еще дымится пожарище, зажженное гневом, который потребовал напряжения всех духовных и физических сил. Глаза ее излучали несказанное, все затмевающее сияние, которое вспыхивает только под влиянием фанатического чувства, в пылу сопротивления или победы, любви или мученичества. Пешина вышла из дома в коричневом платье в желтую полосочку с плиссированным воротничком, который она обычно сама гладила, вставши пораньше утром, и теперь она еще не успела заметить, что у нее платье перепачкано землей, а воротничок помят. Почувствовав, что у нее распустились волосы, она стала искать упавший гребень. И в эту первую минуту ее смущения появился Мишо, тоже привлеченный криками. При виде своего кумира Пешина снова обрела всю свою энергию.

— Он до меня даже не дотронулся, господин Мишо! — воскликнула она.

Этот возглас, а также красноречиво разъяснявшие его взгляд и движение в одно мгновение открыли Блонде и аббату больше, чем рассказала Олимпия графине о страсти этой странной девочки к ничего не подозревавшему Мишо.

— Мерзавец! — воскликнул Мишо.

Невольно он поднял руку и в бессильном гневе, который может прорваться как у сумасшедшего, так и у вполне разумного человека, погрозил кулаком Никола, чья рослая фигура еще маячила среди деревьев.

— Вы, стало быть, не баловались? — спросил аббат Бросет, пристально вглядываясь в Пешину.

— Не мучьте ее,— сказала графиня,— идемте домой.

Пешина, хотя и совсем разбитая, почерпнула силы в своей страстной любви, ведь ее обожаемый повелитель смотрел на нее! Графиня шла следом за Мишо по одной из тропинок, известных только браконьерам и лесникам, слишком узкой для двух, но зато выводившей прямо к Авонским воротам.

— Мишо,— сказала графиня, когда они углубились в лес,— надо найти какой-нибудь способ удалить отсюда этого негодяя, он может убить девочку.

— Во-первых,— ответил Мишо,— Женевьева не будет выходить из флигеля; жена возьмет к себе племянника Вателя, который сейчас убирает аллеи в парке, а его мы заменим каким-нибудь земляком жены, потому что в Эги можно брать на службу только надежных людей. Если у нас будет Гуно и муж кормилицы Олимпии, старик Корнвен, они и за коровами присмотрят, и Пешина не выйдет из дома без провожатого.

— Я скажу мужу, чтобы он возместил вам лишний расход,— промолвила графиня,— но это не спасет нас от Никола. Как нам избавиться от него?

— Способ, и самый простой, уже найден,— ответил Мишо.— Никола должен на днях призываться; вместо того чтобы хлопотать о его освобождении, генералу на протекцию которого рассчитывают Тонсары, надо только пожаловаться на него в префектуре.

— Если понадобится,— сказала графиня,— я сама поеду к своему кузену де Катерану, здешнему префекту, но я не буду спокойна, пока...

Эти слова были сказаны уже в конце тропинки, выходившей на круглую площадку. Дойдя до края рва, графиня вдруг вскрикнула. Думая, что она ушиблась, наткнувшись на корень, Мишо подбежал, чтобы поддержать ее, но зрелище, представившееся его глазам, заставило Мишо содрогнуться.

На скате рва сидели Мари Тонсар и Бонебо и, казалось, оживленно беседовали, на самом же деле они притаились здесь, чтобы подслушивать. Они, вероятно. вышли из лесу, заслышав шаги и узнав голоса господ.

Бонебо, рослый сухопарый детина, прослуживший шесть лет в кавалерии, уже несколько месяцев как вер-

нулся в Куш, уволенный вчистую за дурное поведение: пример его мог испортить даже образцовых солдат. Он носил усы и «запятую» под нижней губой, и эта особенность в сочетании с выправкой, приобретаемой на военной службе, привлекала к нему всех местных девушек. Он по-военному коротко подстригал волосы на затылке, завивал хохол, кокетливо зачесывал виски и залихватски сдвигал набекрень свою солдатскую шапку. Словом, по сравнению с крестьянами, которые почти все ходили в лохмотьях, вроде Муша и Фуршона, он казался одетым великолепно и восхищал всех своими нанковыми штанами, высокими сапогами и кургузой курточкой. Все эти вещи, сильно поношенные и поистрепавшиеся во время походной жизни, были куплены им уже после увольнения со службы, но для праздничных дней у авонского льва был другой костюм, гораздо лучше. Бонебо жил, скажем прямо, щедротами своих приятельниц, однако того, что они давали, едва хватало ему на развлечения, ибо он был постоянным гостем в «Кофейне мира».

Круглое, плоское его лицо с первого взгляда было довольно привлекательным, но в облике этого бездельника чувствовалось что-то зловещее. Он был косоглаз, то есть один глаз у него как бы отставал от другого; косить он, собственно, не косил, но, как говорят художники, оба его глаза «не всегда глядели в одну точку». От такого, правда, незначительного недостатка во взгляде его было что-то неопределенное, тревожащее, а в соединении с морщинами на лбу, с подергиванием бровей это наводило на мысль, что он человек подлой души и низменных вкусов.

Подлость, равно как и мужество, бывает разная. В сражении Бонебо не уступил бы самому храброму солдату, но против своих пороков и прихотей он был бессилен. От этого, как выразились бы на казарменном жаргоне, «мастака по разбиванию тарелок и сердец», ленивого, как ящерица, ретивого только по части удовольствий, грубого, заносчивого и подлого можно было, несмотря на его вялость, ждать чего угодно, ибо ему было приятно учинить какую-нибудь каверзу, кому-нибудь напакостить. В деревенской глуши подобный человек столь же дурной пример, как и в полку. Бонебо,

так же как Тонсару и Фуршону, хотелось хорошо жить, ничего не делая. Поэтому он, заимствуя словечко из лексикона Вермишеля и Фуршона, «состряпал» себе план. С возрастающим успехом пользуясь своей «обворожительной» внешностью и, с переменной удачей, своими талантами в игре на бильярде, этот завсегдатай «Кофейни мира» мечтал жениться на Аглае Сокар, единственной дочери дядюшки Сокара, хозяина питейного заведения, которое, учитывая, конечно, все различия, было в Суланже тем же, чем «Ранелаг» в Булонском лесу.

Стать содержателем кофейни или танцевального зала казалось такому бездельнику пределом счастья. Привычки, уклад жизни и характер Бонебо, кутилы самого низкого пошиба, с такой отталкивающей выразительностью запечатлелись на его лице, что графиня невольно вскрикнула при виде этой парочки, словно она увидела двух гадюк.

Мари, безумно влюбленная в Бонебо, для него пошла бы на воровство. Усы, дешевая развязность, фатоватый вид этого парня пленяли ее точно так же, как походка, осанка и манеры какого-нибудь де Марсе пленяют хорошенькую парижанку. У каждого социального слоя свои вкусы. Ревнивая Мари отвергала другого провинциального фата — Амори; ее прельщала перспектива стать женой Бонебо!

— О-го-го! Эй, вы там! О-го-го! Идите сюда! — еще издалека стали кричать Катрин и Никола, заметив Мари и Бонебо.

Зычный крик их пронесся по лесу, словно призыв дикаря.

Увидя эту парочку, Мишо вздрогнул; теперь он сильно раскаивался, что высказал вслух свои соображения. Его разговор с графиней, если только он дошел до слуха Бонебо и Мари Тонсар, мог быть чреват неприятностями. С виду пустячное обстоятельство при той вражде, которая разделяла эгских помещиков и крестьян, могло сыграть решающую роль, как это бывает в сражении, где ручеек, через который легко перепрыгнет пастух, подчас останавливает артиллерию и решает исход сражения.

Отвесив галантный поклон графине, Бонебо с ви-

дом победителя взял под руку Мари и торжественно удалился.

— Это здешний сердцеед!..— шепотом сказал графине Мишо, пользуясь солдатским обозначением донжуана.— Преопасный человек. Стоит ему только проиграть двадцать франков на бильярде, и его легко можно уговорить убить и ограбить самого Ригу!.. Он так падок на удовольствия, что ради них пойдет на любое преступление.

— На сегодня с меня более чем довольно,— промолвила графиня, беря под руку Эмиля Блонде.— Идемте домой, господа.

Увидев, что Пешина вошла в дом, она грустно кивнула г-же Мишо. Печаль, томившая Олимпию, овладела и ею.

— Сударыня, неужели же трудности, препятствующие здесь благим начинаниям, отвратят вас от помощи беднякам? — воскликнул аббат Бросет.— Вот уже пять лет, как я сплю на жесткой постели, живу в доме почти без мебели, служу обедню в пустой церкви, говорю проповеди стенам, священнослужительствую в маленьком приходе, не имея побочных доходов и прибавок к шестистам франкам жалованья, положенного государством, ничего не прошу у его преосвященства и трачу треть своих скудных средств на благотворительность. И все-таки я не впадаю в отчаяние!.. Если бы вы знали, как мне живется здесь зимой, вы поняли бы все значение этого слова! Одна мысль согревает меня: спасти нашу долину, завоевать ее снова для бога! Дело не в нас, сударыня, а в будущем! Если мы поставлены для того, чтобы говорить бедным: «Умейте быть бедными», то есть: «Терпите, смиряйтесь и работайте», то богатым мы должны сказать: «Умейте быть богатыми, то есть творите добрые дела с разумением, будьте благочестивы и достойны места, определенного вам богом!» Поймите, сударыня, вы только хранители власти, даруемой богатством, и если вы пренебрежете обязанностями, которые налагает богатство, вы не передадите его своим детям таким, как получили сами! Вы грабите свое потомство. Если вы пойдете по стопам эгоистки-певицы, беспечностью своей положившей начало тому злу, размеры которого теперь приводят вас в ужас, вы снова увидите

эшафоты, на которых погибли ваши предшественники за прегрешения своих отцов. Тайно творить добро в глухом уголке земли, где такие люди, как Ригу, тайно творят зло,— вот она, действенная молитва, угодная богу!.. Если бы в каждой общине нашлось три человека, возлюбивших добро, Франция, наша прекрасная родина, была бы спасена от той бездны, куда мы катимся, куда нас толкает равнодушие к религии, безразличие ко всему, что нас непосредственно не касается!.. Прежде всего изменитесь сами, измените свои нравы, и тогда вы измените свои законы.

Глубоко растроганная этим порывом истинно христианской любви к ближнему, графиня все же ответила роковым словом: «Посмотрим!» — обычный многообещающий ответ богачей, который избавляет их от необходимости тут же раскрыть кошелек, а в дальнейшем дает возможность сложа руки смотреть на несчастье, ссылаясь на то, что оно уже совершилось.

Услышав это слово, аббат Бросет поклонился г-же де Монкорне и пошел по аллее, ведущей прямо к Бланжийским воротам.

«Значит, пир Валтасара так и останется вечным символом последних дней всякой господствующей касты, всякой олигархии, всякой власти! — воскликнул он мысленно, отойдя шагов на десять.— Господи! Если тебе в твоей святой воле угодно, чтобы бедняки хлынули, как безудержный поток, и преобразовали человеческое общество, тогда мне понятно, почему ты поразил слепотою богатых».

XII

КАБАК — ТОТ ЖЕ НАРОДНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Трактир «Большое-У-поение» находился на полпути между Бланжийскими воротами и деревней Бланжи, и потому неистовые вопли старухи Тонсар привлекли несколько любопытных деревенских жителей, пожелавших узнать, что стряслось в заведении Тонсара. В числе этих любопытных был и старик Низрон, дедушка Пешины, который, отзвонив ко второй молитве богородице, шел к себе в виноградник, чтобы окопать несколько лоз на последнем уцелевшем у него клочке земли.

Согбенный трудами, убеленный сединами старик виноградарь, с бескровным лицом, единственно честный человек в общине, был во время революции председателем якобинского клуба в Виль-о-Фэ и присяжным революционного трибунала. Жан-Франсуа Низрон, человек того же склада, что и апостолы, некогда в точности походил на св. Петра, каким его изображают художники, неизменно наделяя его широким лбом крестьянина, густыми, от природы вьющимися волосами рабочего, мускулатурой пролетария, загаром рыбака, крупным носом, насмешливой улыбкой, как будто подтрунивающей над всеми невзгодами, телосложением крепыша, который рубит в соседнем лесу хворост для обеда, покамест вероучители заняты разглагольствованием.

Таков был в сорок лет этот прекрасный человек, твердый, как сталь, и чистый, как золото, этот поборник прав народа. Он уверовал в Республику, когда прогремело это слово, быть может, более грозное, чем воплощаемая им идея. Он уверовал в республику Жан-Жака Руссо, в братство людей, во всеобщие прекрасные чувства, в признание заслуг, в человеческое беспристрастие — словом, во все, что осуществимо в скромных пределах небольшого округа вроде Спарты, а в большой империи становится химерой. Он скрепил эти идеи собственной кровью, он послал на защиту родины своего единственного сына; больше того, скрепил величайшей жертвой, доступной человеческому эгоизму: он принес им в жертву материальные интересы. Этот могущественный в деревне народный трибун был племянником и единственным наследником бланжийского кюре и мог отобрать у служанки покойного, красавицы Арсены, полученное ею наследство, но он уважал волю завещателя и примирился с нищетой, пришедшей к нему так же быстро, как быстро пала его Республика.

Никогда ни одна чужая копейка, ни один чужой прутик не попадали в руки этого неподкупного республиканца. Республика была бы приемлемой, если бы руководствовалась его принципами. Он отказался от покупки национального имущества, он не признавал за Республикой права на конфискацию. В соответствии с требованиями Комитета общественного спасения он ждал, что добродетель подвигнет граждан на чудеса доблести

во имя священной родины, тогда как дельцы, примазавшиеся к власти, расценивали свои действия на золото. Этот античный муж всенародно обличал Гобертена-отца в тайном предательстве, попустительствах и хищениях. Он неоднократно распекал и добродетельного Мушона, народного представителя, вся добродетель которого объяснялась его полной бездарностью, как и у многих его соратников, которые располагали такими политическими возможностями, какие вряд ли когда предоставлялись нацией своим избранникам, и все же, опираясь на силу целого народа, они не сумели так возвеличить Францию, как возвеличил ее Ришелье при всей слабости короля. И гражданин Низрон стал живым укором для очень многих. Беднягу погребли под лавиною забвения, сопроводив эти похороны жестокими словами: «Он ничем не доволен!» — словами тех, кто нажился в мятежное время.

Этот новоявленный «крестьянин с Дуная» вернулся в Бланжи под родной кров. Он видел, как одна за другой рушились его надежды, он видел, как дорогая его сердцу Республика кончила свои дни в арьергарде императора; и сам он впал в полную нищету на глазах у лицемерного Ригу, искусно сумевшего довести его до этого. И знаете, почему? Потому, что Жан-Франсуа Низрон наотрез отказался принять что-нибудь от Ригу. Эти неоднократные отказы дали понять человеку, завладевшему наследством кюре Низрона, как глубоко его презирает племянник покойного. Холодное презрение Низрона достигло предела, когда над его внучкой нависла та страшная угроза, про которую аббат Бросет рассказал графине.

Старик создал себе свою собственную историю двенадцати лет французской революции — историю, полную великих деяний, которые обессмертят эту героическую эпоху. Бесчестных поступков, убийств, грабежей — ничего этого для него не существовало; он восторгался подвигами самопожертвования, матросами «Мстителя», приношениями на алтарь отечества, патриотическим порывом пограничного населения и продолжал жить своими грезами, убаюкивая ими себя самого.

У революции было много поэтов, похожих на старика Низрона: и тайно и явно, на внутреннем государствен-

ном поприще и на полях сражения, слагали они свои поэмы, претворяя их в подвиги, погребенные затем волнами революционной бури; их героизм не уступал героизму времен Империи, когда раненые, забытые на поле брани, умирая, кричали: «Да здравствует император!» Подобное величие духа свойственно Франции. Аббат Бросет уважал безобидные убеждения Низрона, а старик в простоте душевной привязался к кюре за одну сказанную им фразу: «Истинная Республика — в евангелии». И старый республиканец носил крест, облачался в полукрасное, получерное одеяние, с достоинством, серьезно держал себя в церкви и кое-как существовал, выполняя тройные обязанности, возложенные на него аббатом Бросетом, который хотел если не обеспечить старика, то хотя бы не дать ему умереть с голоду.

Старый бланжийский Аристид, подобно многим благородным жертвам самообмана, облекающимся в мантию покорности судьбе, не был многоречив; однако он никогда не упускал случая обличить зло, и крестьяне побаивались его, как воры боятся полиции. Он не бывал и шести раз за год в «Большом-У-поении», хотя его там всегда принимали с почетом. Старик проклинал богатых за то, что они недостаточно милосердны, их эгоизм возмущал его, и это чувство, казалось, крепко связывало его с крестьянами. Недаром о нем говорили: «Дядя Низрон не любит богатых, он — наш». Вся долина говорила: «Нет человека честнее дяди Низрона!» Это был почетный гражданский венок, который он заслужил своей безупречной жизнью. Его часто выбирали непререкаемым третейским судьей в разных спорных делах, в нем нашел свое воплощение чудесный образ «деревенского старейшины».

Этот исключительно опрятный, хоть и бедно одетый старик всегда носил штаны до колен, толстые шерстяные чулки и башмаки, подбитые железными подковками, кафтан так называемого французского покроя с большими пуговицами, еще сохранившийся у некоторых старых крестьян, и широкополую войлочную шляпу; но в будничные дни он ходил в синей куртке, до того испещренной заплатами, что она больше походила на ковер. Гордость человека, знающего, что он свободен и достоин этой свободы, придавала его лицу и походке какое-то

особое благородство; словом, он носил не лохмотья, а платье.

— Ну, что у вас тут стряслось, бабушка? Вас было с колокольни слышно,— спросил он.

Старику рассказали о случае с Вателем, причем, как это водится в деревне, кричали все сразу.

— Если вы не рубили дерева,— промолвил старик Низрон,— Ватель не прав; а если срубили, то совершили два дурных поступка.

— Выпейте-ка стаканчик вина,— сказал Тонсар, подавая старику полный стакан.

— Ну что ж, отправились? — спросил Вермишель судебного пристава.

— Да. Обойдемся без дяди Фуршона, прихватим кушского помощника мэра,— ответил Брюне.— Ступай вперед, а мне еще надо отнести в замок один документик: дядя Ригу выиграл и второй процесс, я должен передать судебное постановление.

И г-н Брюне, подкрепившись двумя рюмками водки, сел на свою серую кобылу, не забыв перед уходом проститься с дядюшкой Низроном, ибо все в долине дорожили уважением старика.

Никакая наука, даже статистика, не может объяснить ту сверхтелеграфную скорость, с которой распространяются новости в деревне, и способ, которым они преодолевают глухие пространства вроде степей, еще существующие во Франции к стыду наших администраторов и капиталистов. Современная история знает, как самый знаменитый из всех банкиров, загнав лошадей на пути между Ватерлоо и Парижем (всем известно, для чего он мчался: он приобрел все, что потерял император,— владычество!), лишь на несколько часов опередил роковую весть. Итак. не прошло и часа после столкновения старухи Тонсар с Вателем, а в «Большом-У-поении» уже собралось несколько завсегдатаев.

Первым пришел Курткюис, но вы с трудом узнали бы прежнего веселого лесника и краснощекого бездельника, которому жена варила по утрам кофе, как о том рассказывалось выше, при изложении предыдущих событий. Он постарел, похудел, осунулся и мог служить для всех страшным, но ни для кого не поучительным примером.

— А что ж, он хотел прыгнуть выше головы,— говорили тем, кто жалел бывшего сторожа и обвинял Ригу.— Задумал сделаться помещиком!

Покупая владение Башельри, Курткюис в самом деле мечтал зажить помещиком, чем не раз похвалялся. А теперь жена его собирала на дорогах навоз! И она и Курткюис вставали ни свет ни заря, вскапывали свой хорошо унавоженный огород, снимали с него по нескольку урожаев, и все-таки денег хватало только на уплату процентов г-ну Ригу по оставшемуся за землю долгу. Дочь их, жившая в прислугах в Оссэре, отдавала родителям свое жалованье, но, несмотря на все усилия, несмотря на эту поддержку, у них после очередного платежа не оставалось ни гроша. Жена Курткюиса, прежде баловавшаяся время от времени бутылочкой «горячительного» с гренками, теперь пила только воду. Курткюис не смел заглянуть в «Большое-У-поение» из боязни потратить там три су. Лишившись прежней власти, он лишился и дарового угощения в трактире и, как все глупые люди, вопил о неблагодарности. Наконец, подобно большинству крестьян, одолеваемых бесом собственности, он работал все более рьяно, а ел все менее сытно.

— Ишь ты, сколько заборов понастроил Курткюис! — говорили завистники.— Прежде чем огороды городить, надо было стать полным хозяином.

Старик разделал и удобрил три арпана земли, купленные у Ригу; сад, примыкавший к дому, уже начинал приносить плоды, и Курткюис боялся его лишиться. Прежде он носил кожаные башмаки и охотничьи гетры, а теперь ходил на манер Фуршона в деревянных башмаках и обвинял эгских помещиков в постигшей его нищете. От забот помрачнело и стало тупым когда-то веселое лицо этого низенького толстяка, теперь похожего на человека, угасающего от хронического недуга или от действия яда.

— Что с вами, господин Курткюис? Язык вам отрезали, что ли? — спросил Тонсар, не дождавшись ни слова от старика в ответ на рассказ о недавней стычке.

— А жалко, если отрезали,— сказала Тонсарша.— Но ему не приходится плакаться на повитуху, подрезавшую ему язычок: ловко она это проделала.

— Поневоле присохнет язык, когда только и думаешь, как бы разделаться с господином Ригу,— печально ответил ей сильно «состарившийся старик».

— Да чего там,— сказала бабка Тонсар,— у вас семнадцатилетняя дочка-красавица, и, если она будет умницей, вы легко поладите с этим старым бабником.

— Вот уж два года, как мы отправили ее от греха в Оссэр к матери господина Мариота,— сказал Куртюис.— Лучше с голоду околею, а...

— Ну и дурень же! — возмутился Тонсар.— Взгляни-ка на моих дочерей, померли они, что ли? А ежели кто посмеет сказать, что они не святее святых, то познакомится с моим ружьем.

— Тяжко дойти до этого! — сказал Куртюис, покачав головой.— Лучше уж заплатили бы мне за то, что я подстрелю какого-нибудь арминака!..

— Много лучше спасти своего отца, чем трястись над своей добродетелью! — возразил трактирщик.

Тут дядя Низрон легонько ударил Тонсара по плечу.

— Нехорошо это ты говоришь! — промолвил старик.— Отец — хранитель чести своей семьи. Вот через такое ваше поведение нас и презирают; через вас и винят народ, говорят, что он не заслуживает свободы! Народ должен быть для богатых примером гражданской доблести и чести... А вы все до одного продаетесь Ригу за его золото. Вы для него поступаетесь если не дочерьми, так своей добродетелью! Это скверно!

— Взгляните-ка, до чего дошел Коротыш! — сказал Тонсар.

— Взгляни-ка, до чего дошел я! — ответил дед Низрон.— А сплю я спокойно, и совесть мою ничто не тревожит.

— Пусть его говорит,— громко прошептала на ухо мужу Тонсарша.— Ты же знаешь, бедный старикашка на этом помешан.

В эту минуту вошли Бонебо, Мари и Катрин с братом.

Они уже были раздражены неудачей, постигшей Никола, а подслушав Мишо и узнав его замыслы, совсем озлобились. И сейчас, войдя в трактир, Никола пустил крепкое ругательство по адресу супругов Мишо и обитателей замка.

— Вот уже и жатва. Ну, да я отсюда не уберусь, не прикурив своей трубки о горящие их скирды! — воскликнул он, ударив кулаком по столу, к которому присел.

— Нечего тявкать на людях,— сказал ему Годэн, указывая на деда Низрона.

— Пусть только вздумает болтать, я сверну ему шею, как цыпленку,— ответила Катрин.— Отжил свой век этот крикун на старый лад! Говорят — добродетельный! Просто он рыба, вот и все!

Поистине странное и любопытное зрелище представляли эти люди, когда, сдвинув головы, они совещались в жалкой лачуге, меж тем как у дверей, чтобы обеспечить тайну разговора, стояла на часах бабка Тонсар.

Из всех лиц — лицо поклонника Катрин Годэна, было, пожалуй, самым страшным, хотя оно менее других бросалось в глаза. Годэн был скуп и беден, а что может быть страшнее скупого бедняка! Разве тот, кто сидит на своем золоте, не уступает в свирепости тому, кто гоняется за золотом? Один замкнулся, ушел в себя; другой отпугивает всех своим жадно высматривающим взглядом. По наружности своей Годэн принадлежал к самому распространенному крестьянскому типу: неказистый (он даже был освобожден от солдатчины, так как не вышел ростом), худой от природы, еще более исхудавший от тяжелой работы и нелепого урезывания себя в еде, от которого гибнут в деревнях работяги вроде Курткюиса; лицо с кулачок, в желтоватых глазах с зелеными прожилками и коричневыми крапинками жажда наживы,— наживы во что бы то ни стало,— похожая на вожделение, лишенное страсти, ибо когда-то клокотавшая в нем алчность теперь застыла, как лава. Темная, как у мумии, кожа прилипла к вискам. Жесткая щетина жиденькой бороденки пробивалась сквозь морщинистую кожу, будто жниво на пашне. Годэн никогда не потел, все соки его рассасывались в организме. Волосатые кривые, жилистые и неутомимые руки казались вырезанными из старого дерева. Хотя ему только что исполнилось двадцать семь лет, в его черных с медным отливом волосах уже пробивалась седина. Он ходил в блузе, в раскрытый ворот которой виднелась заношенная до черноты холщовая рубашка; вероятно, он не менял белья месяцами и сам стирал его в Туне. Дере-

вянные башмаки были залатаны кусками жести; сказать же, из чего сшиты штаны, не представлялось возможным — столько на них пестрело подштопок и заплат. На голове он носил ужасающую фуражку, должно быть, подобранную в Виль-о-Фэ где-нибудь на задворках. Он был не глуп и, понимая, что Катрин — это возможность разбогатеть, мечтал сделаться преемником Тонсара по «Большому-У-поению»; поэтому он пустил в ход всю свою хитрость, все свои силы, чтобы полонить Катрин, он сулил ей богатство и такую же неограниченную свободу, какою пользовалась ее мать; он сулил, наконец, своему будущему тестю огромный доход с его трактира — пятьсот франков ежегодно, впредь до окончательной уплаты долга, который рассчитывал погасить векселями, так как на этот счет у него был особый разговор с г-ном Брюне. Обычно он работал подмастерьем в кузнице, но когда у каретника бывало много работы, шел к нему, вообще же нанимался на тяжелую, но хорошо оплачиваемую поденщину. Хотя у него было около тысячи восьмисот франков, помещенных у Гобертена, о чем не подозревал никто в округе, он жил как нищий, снимал чулан у своего хозяина и собирал опавшие колосья, когда наступала пора жатвы. В поясе его праздничных штанов была зашита расписка Гобертена, переписывавшаяся каждый год на бóльшую сумму, благодаря процентам и новым сбережениям.

— Ну и наплевать мне на это! — воскликнул Никола в ответ на благоразумное предупреждение Годэна.— Коли мне судьба идти в солдаты, пусть уж лучше моя кровь сразу прольется в корзину палача, чем точить ее капля по капле... Зато избавлю наш край от арминака, которого сам черт на нас напустил...

И он рассказал о заговоре, якобы замышленном против него Мишо.

— Где же, по-твоему, Франции брать солдат?..— проникновенным голосом спросил среди глубокого молчания, последовавшего за этой страшной угрозой, седовласый старик Низрон, поднимаясь с места и становясь перед Никола.

— Отслужишь свой срок и вернешься,— сказал Бонебо, покручивая усы.

Видя, что здесь собрались все местные негодяи, ста-

рик Низрон покачал головой и вышел из трактира, уплатив хозяйке лиар за выпитый стакан вина. По уходе старика все собутыльники вздохнули с облегчением: они рады были отделаться от этого живого укора собственной совести.

— Ну, что же ты скажешь насчет всего этого? Эй, Коротыш? — спросил только что появившийся Водуайе, которому Тонсар успел рассказать о случае с Вателем.

Курткюис, ходивший почти у всех под этим прозвищем, причмокнул языком и поставил пустой стакан на стол.

— Ватель дал маху,— ответил он.— Будь я на месте мамаши, я бы наставил себе синяков, лег в постель, сказался больным и подал бы в суд на Обойщика и на сторожа, стребовал бы с них двадцать экю на лечение. Господин Саркюс присудит...

— Во всяком случае, Обойщик заплатил бы, чтобы лишнего не болтали,— заметил Годэн.

Бывший стражник Водуайе, человек ростом в пять футов шесть дюймов, с лицом, изрытым оспой, вдавленным ртом и выдающейся нижней челюстью, помалкивал с видом сомнения.

— Ну, чего ты, дурак, беспокоишься? — сказал Тонсар, прельщенный шестьюдесятью франками.— Мамашу на двадцать экю изувечили, так нечего зевать! Мы шуму подымем на триста франков, а господин Гурдон заявит там, в Эгах, что у мамаши вывихнуто бедро.

— Можно и взаправду его вывихнуть,— заметила трактирщица,— в Париже это делают.

— Ну, я слишком наслышан о чиновниках и не поверю, что все пойдет как по маслу,— промолвил наконец Водуайе, которому приходилось помогать и в суде и бывшему жандарму Судри.— Пока речь идет о Суланже, еще куда ни шло; господин Судри здесь представитель власти, а он Обойщика ух как не любит. Но Обойщик и Ватель, если вы на них нападете, станут огрызаться, скажут: «Виновата старуха, дерево у нее было: не то она развязала бы свою вязанку еще на дороге, а не пустилась бы наутек; если с ней приключилось несчастье, пусть пеняет на самое себя — не воруй». Нет, это дело неверное!

— А разве огрызался Обойщик, когда я на него подал? — сказал Курткюис.— Он мне все заплатил.

— Хотите, я схожу в Суланж,— предложил Бонебо,— и посоветуюсь с секретарем суда господином Гурдоном. Вы сегодня же вечером узнаете, можно ли будет здесь чем поживиться.

— Тебе бы только придумать предлог, рад повертеться вокруг толстозадой Сокаровой дочки,— сказала Мари Тонсар, так основательно хлопнув Бонебо по плечу, что у того загудело в груди.

В это время с улицы донеслась бургундская застольная песенка:

В жизни он на миг одии
Счастлив был без меры,
Как сменил воды графин
На бутыль мадеры![1]

Все тотчас же признали голос дяди Фуршона, которому песенка, несомненно, пришлась по вкусу; а Муш подпевал ему дискантом.

— Ну, и здорово же они нализались! — крикнула старуха Тонсар своей невестке.— Твой отец так жаром и пышет, а мальчонку, как ветку, из стороны в сторону шатает.

— Наше вам почтение! — крикнул старик.— Много вас тут нищей братии набралось!.. Наше вам! — сказал он внучке, застав ее в тот момент, когда она целовалась с Бонебо.— Наше вам, всепорочная Мария, сатана с тобой, проклята ты в женах, и так далее. Наше почтение всей честной компании! Попались! Плакали ваши снопы! Имею великие новости. Говорил я вам, что Обойщик вас приструнит! Ну, вот он вас и постегает законом!.. Узнаете, как бороться с господами! Господа столько всяких законов понаписали, что теперь хоть кого под них подведут.

Почтенный оратор вдруг громко икнул, и мысли его приняли новое направление.

— Если бы Вермишель был здесь, я дохнул бы ему прямо в рожу,— пусть знает, что такое аликанское вино! Ну и вино! Не будь я бургундцем, право, хотел бы я быть испанцем! Сам господь бог такое вино пьет. Уж наверно, папа это самое вино за обедней потребляет! Ну

[1] Перевод стихов в тексте романа сделан А. М. Арго.

и винище! Да я молодым стал!.. Слушай, Коротыш, кабы твоя жена была здесь... я б забыл, что она старовата! Куда там нашему «горячительному» до испанского!.. Надо опять революцию сделать хоть ради того, чтобы очистить господские погреба!

— Какая же новость, папаша? — спросил Тонсар.

— Жатва теперь не про вашу честь, зот что! Обойщик запретит собирать колосья.

— Запретит собирать колосья?..— в один голос крикнули все, кто был в трактире, причем четыре женщины взвизгнули особенно громко.

— Да,— подтвердил Муш,— он напишет постановление, велит Груазону напечатать и расклеить по кантону. Кто получит свидетельство о бедности, только тому и разрешат собирать колосья.

— И вот что еще себе на ус намотайте,— прибавил Фуршон,— из других общин ни одного хапальщика не пустят!

— Еще что! Еще что! — воскликнул Бонебо.— Выходит, что ни моей бабке, ни мне, ни твоей матери, Годэн, нельзя собирать здесь колосья? Вот так штучки придумали! Ишь ведь что, я им поперек горла стал!.. Черт он, а не мэр, генерал этот!

— Ну, а ты, Годэн, как? Будешь все-таки собирать колосья? — спросил Тонсар у подручного каретника, чересчур нежно разговаривавшего с Катрин.

— У меня ничего нет, я бедняк.— ответил Годэн.— Я возьму свидетельство...

— Что дали отцу за выдру, сыночек? — допрашивала тем временем Муша дебелая трактирщица.

Хотя Муш, сидевший на коленях у Тонсарши, и осоловел от количества съеденного, хотя взгляд его и туманился от двух выпитых бутылок вина, все же хитрец прижался к плечу тетки и прошептал ей на ухо:

— Не знаю, а только золото у него есть... Если вы пообещаете целый месяц кормить меня до отвала, я, может быть, и разыщу его тайничок, есть у него одно такое местечко.

— У отца есть золото!..— шепнула Тонсарша мужу, голос которого выделялся среди общего шума и криков увлеченных горячим спором бражников.

— Тсс! Груазон идет! — крикнула старуха.

В трактире сразу воцарилась глубокая тишина. Когда проходивший мимо трактира Груазон отошел достаточно далеко, старуха Тонсар махнула рукой, и опять разгорелся спор, собирать ли, как прежде, колосья без всяких свидетельств о бедности или нет.

— Хочешь не хочешь, а придется вам подчиниться,— сказал дядя Фуршон,— потому как Обойщик отправился к префекту просить у него солдат для поддержания порядка. Вас перебьют, как собак... Да мы и есть собаки!..— крикнул старик, пытаясь совладать с языком, неповоротливым от выпитого испанского вина.

Как ни нелепо было это второе заявление Фуршона, все же все собутыльники призадумались: они боялись, как бы правительство и в самом деле не учинило безжалостной расправы.

— Такие же вот беспорядки были недалеко от Тулузы, где стоял наш полк,— сказал Бонебо.— Нас двинули вперед: одних крестьян порубили, других арестовали... Ну и смех же был, как они пробовали против войска идти! Десятерых присудили к каторге, одиннадцать пошло в тюрьму. Живехонько с ними расправились, чего там!.. Солдат солдатом и останется, а вы штафирки, вас можно изрубить, и делу конец!

— Ну чего вы все всполошились, словно стадо козлят? — сказал Тонсар.— Что отнимешь у мамаши или вот у моих дочерей? Посадят в острог?.. Что же, посидим и в остроге! Всей округи Обойщику в тюрьму не засадить. К слову сказать, арестанты куда лучше кормятся на казенный счет, чем у себя дома, да и в тепле зимой сидят.

— Эх вы, дуралеи,— промычал дядюшка Фуршон.— Лучше понемножку обсасывать Обойщика, чем прямо нападать на него, верно говорю! Все равно вас всех замотают. Коли каторга вам мила, тогда дело иное! Там, правда, поменьше работы, чем на поле, зато — неволя.

— А может, лучше,— выступил Водуайе, оказавшийся одним из самых рьяных советчиков,—чтобы кто-нибудь из нас не пожалел своей шкуры и избавил весь край от лютого зверя, что засел в берлоге у Авонских ворот...

— Прикончить Мишо?..— сказал Никола.— На это я пойду.

— Мало толку,— промолвил Фуршон.— Это нам, детки мои, слишком дорого обойдется. Лучше всего прибедниться, нашу нужду напоказ выставить; эгские господа захотят нам помочь, и вы на этом больше наживете, чем на сборе колосьев.

— Эх вы, мямли! — воскликнул Тонсар.— Ну, ладно, дойдет до суда, поцапаемся с войсками, не сошлют же целый край на каторгу — в Виль-о-Фэ, да и среди прежних господ есть кому за нас заступиться.

— Это так,— сказал Курткюис.— Ведь только один Обойщик жалуется на нас, а господа де Суланж, де Ронкероль и другие нами довольны! Эх, будь этот кирасир похрабрее, его бы убили в сражении вместе с остальными, и я бы теперь жил припеваючи у Авонских ворот, а он там все вверх дном перевернул, и узнать нельзя!

— Не пошлют же войска из-за какого-то одного негодяя-барина, перессорившегося с целым краем! — сказал Годэн.— Он сам виноват! Задумал здесь всех перемутить, всех свалить. Правительство ему скажет: цыц!

— А что может еще сказать правительство? Уж такая его доля, правительства-то,— промолвил Фуршон, вдруг охваченный нежностью к правительству.— И жалко же мне наше правительство... Бедненькое, без гроша за душой, вроде нас... А ведь это уж просто глупость, раз оно само выпускает деньги. Ух, кабы я был правительством!..

— Да,— воскликнул Курткюис,— я слышал в Виль-о-Фэ, что господин де Ронкероль говорил в палате о наших правах.

— Об этом и в газете господина Ригу писали,— сказал Водуайе, как бывший стражник, умевший читать и писать,— я сам читал...

Невзирая на свое напускное мягкосердечие, старик Фуршон, способности которого, как у многих простолюдинов, обострились от вина, ловил зорким оком и чутким ухом все перипетии спора, которому отдельные замечания придавали бурный характер. Он вдруг встал и выступил на середину комнаты.

— Послушайте старика, он пьян, значит, вдвое хитрее: вино ему еще хитрости прибавило! — крикнул Тонсар.

— Да вино-то какое — испанское!.. Это уж выходит втрое хитрее,— прервал его Фуршон с лукавым смехом сатира.— Детки мои, не надо бить прямо в лоб, у вас силенок не хватит; возьмитесь-ка за это дело с уверточкой! Ползайте на животе, виляйте хвостом по-собачьи. Барынька-то здешняя уж и так напугана, будьте уверены! Она скоро сдастся, уедет отсюда. А уедет она, и Обойщик за ней помчится, потому он ее страсть как любит. Вот что надо делать. А чтоб они поскорей убрались, надо, по-моему, отнять у них советчика, главную силу, того, кто за нами шпионит, обезьяну противную.

— Кого же это?

— Кого? Проклятого кюре, вот кого! — сказал Тонсар.— У всех грехи выискивает, хочет, чтоб мы причастными облатками сыты были...

— Что правда, то правда! — воскликнул Водуайе.— Мы отлично без кюре жили. Надо отделаться от этого святоши, вот где наш враг!

— Плюгаш все посты соблюдает,— продолжал Фуршон, наделяя аббата Бросета прозвищем, вызванным его хилым видом,— а вот какой-нибудь шельмой в юбке он, пожалуй, мог бы соблазниться. Эх, попался бы он на скоромной проделке, мы такого бы трезвона задали, что епископу волей-неволей пришлось бы его перевести в другое место. Вот уж кто был бы рад, так это наш дядюшка Ригу... Если б Курткюисова дочка согласилась расстаться со своей оссэрской хозяйкой и прикинуться святошей, такой красотке ничего не стоило бы спасти свое отечество. Раз-два — и готово.

— А почему бы тебе не взяться за это дело? — шепнул Годэн старшей дочери Тонсаров.— Чтобы замять скандал, тебе отвалили бы целую корзину золотых, вот ты и стала бы сразу здешней хозяйкой...

— Ну как, будем собирать колосья или не будем? — спросил Бонебо.— Мне на вашего аббата наплевать. Я из Куша, там у нас попа нет, некому донимать нашу совесть своим колокольчиком.

— Постойте,— предложил Водуайе,— надо сходить к дяде Ригу: он дока по части всяких законов. Он нам скажет, может Обойщик запретить нам собирать колосья или нет; он скажет, кто из нас прав. Ну, а если

Обойщик действует по закону, тогда придется, как сказал наш старик, пойти на уверточку...

— Без крови тут не обойдется,— мрачно заметил, вставая из-за стола, Никола, выпивший целую бутылку вина,— Катрин все время подливала своему брату, чтобы помешать ему говорить.— Послушайте меня, прикончим Мишо! Да где вам! Слюнтяи, дрянь — вот вы кто!

— Ну уж нет, я не слюнтяй! — воскликнул Бонебо.— Если бы я знал, что вы будете держать язык за зубами, я бы взялся отправить на тот свет Обойщика. С удовольствием всадил бы я ему пулю в пузо, уж заодно бы отомстил и всем мерзавцам-офицеришкам.

— Так-так-так! — воскликнул Жан-Луи Тонсар, о котором поговаривали, будто он приходится сыном Гобертену.

Этот парень, уже несколько месяцев ухаживавший за хорошенькой служанкой Ригу, унаследовал от Тонсара его прежнее ремесло: подстригал живые изгороди, грабовые аллеи и все прочее, что можно стричь. Бывая в зажиточных домах, он беседовал с хозяевами и прислугой, набирался от них ума-разума и слыл в своей семье за человека продувного и смекалистого. И в самом деле, дальнейшее покажет, что, обратив свои взоры на служанку дядюшки Ригу, Жан-Луи вполне оправдал лестное мнение о своей сметливости.

— Ну, что скажешь, пророк? — обратился трактирщик к сыну.

— А то скажу, что вы играете на руку нашим буржуа,— заявил Жан-Луи.— Припугнуть владельцев Эгов, не поступиться нашими правами — это, конечно, не плохо, но выгнать их отсюда и принудить продать Эги, как того хотят все здешние буржуа, вовсе не в наших интересах. Если вы будете содействовать разделу крупных владений, откуда же возьмутся поместья для продажи во время будущей революции? Ведь вы получили бы тогда землю за бесценок, как получил ее Ригу, а если вы допустите, чтобы ее захапали наши буржуа, обратно вы получите жалкие остатки и уже совсем по другой цене; и вы будете работать на них, как те, кто сейчас работает на старого Ригу. Взгляните-ка на Курткюиса!..

Это рассуждение было слишком умно, чтобы его

осмыслили пьяные люди, которые все, за исключением Курткюиса, подкапливали деньги, надеясь получить свою долю при разделе эгского пирога. Поэтому Жану-Луи предоставили разглагольствовать, а сами продолжали меж тем, как это принято и в палате депутатов, свои частные разговоры.

— Ну и валяйте! Будете, как машины, на Ригу работать! — воскликнул Фуршон, один из всех понявший своего внука.

В это время мимо трактира проходил эгский мельник Ланглюме; красавица Тонсарша окликнула его.

— Верно ли, господин помощник мэра,— спросила она,— что нам запретят сбор колосьев?

Ланглюме, веселый человек с белым от муки лицом, одетый в серый, тоже побелевший суконный костюм, поднялся по ступенькам, и при его появлении крестьяне сразу же приняли серьезный вид.

— Как вам сказать, друзья мои, и да и нет! Беднота будет собирать; но принятые меры пойдут вам на пользу...

— Это как же так? — спросил Годэн.

— А так, что если всем чужим беднякам будет запрещено стекаться сюда,— ответил мельник, прищуривая глаза на нормандский лад,— то ведь вам никто не помешает отправиться в другие места за колосьями, только бы там мэры не распорядились так же, как бланжийский.

— Значит, это правда? — угрожающе промолвил Тонсар.

— Ну, а я иду в Куш, предупредить приятелей,— проговорил Бонебо, сдвигая набок свою солдатскую шапку и помахивая ореховым хлыстиком.

И местный ловелас удалился, насвистывая солдатскую песенку:

Когда ты помнишь гвардии гусаров,—
Ты различишь походную трубу.

— Взгляни-ка, Мари, по какой этой чудно́й дорожке отправился в Куш твой дружок! — крикнула внучке старуха Тонсар.

— Он пошел к Аглае! — всполошилась Мари, бросаясь к двери.— Надо мне хоть разок как следует отдубасить эту толстую дуру!

— Слушай-ка, Водуайе,— обратился Тонсар к бывшему стражнику,— сходил бы ты к дядюшке Ригу. По крайности, будем знать, что нам делать; он все растолкует и за свои слова денег не возьмет.

— Еще одна глупость! — тихонько воскликнул Жан-Луи.— Ригу кого хочешь продаст. Анета недаром мне говорила, что его опаснее слушаться, чем самого черта.

— Советую вам быть благоразумными,— добавил Ланглюме,— потому что генерал поехал в префектуру жаловаться на ваши хорошие дела, и Сибиле мне говорил, что он честью клялся дойти до Парижа, до министра юстиции, до короля, всех на ноги поставить, если это понадобится, чтобы усмирить своих крестьян.

— *Своих* крестьян! — закричали кругом.

— Вот так здорово! Мы, стало быть, уже себе не хозяева?

При этом восклицании Тонсара Водуайе вышел из трактира и отправился к бывшему мэру.

Ланглюме, тоже было вышедший на лестницу, задержался на крыльце и ответил:

— Эх вы, стадо бездельников! Чего захотели! Себе хозяевами быть... А доходы у вас есть?

Это глубокомысленное замечание, хотя и сказанное в шутку, подействовало примерно так же, как удар кнута на лошадь.

— Так... так... так! Сами себе хозяева!.. А скажи-ка, сынок, ты что нынче утром натворил? Теперь тебе, пожалуй, сунут в руки не мой кларнет, а другую игрушку...— сказал Фуршон, обращаясь к Никола.

— Что пристал, смотри, намнет он тебе брюхо, все вино обратно пойдет! — грубо отрезала Катрин.

XIII

ДЕРЕВЕНСКИЙ РОСТОВЩИК

В стратегическом смысле Ригу занимал в Бланжи то же положение, что занимает на войне часовой, выставленный на передовой пост: он наблюдал за Эгами, и наблюдал не плохо. Полиции никогда не обзавестись такими соглядатаями, каких всегда найдет к своим услугам ненависть.

Когда генерал прибыл в Эги, Ригу как будто собирался взять помещика под свою защиту, ибо, без сомнения, имел на него какие-то виды, вскоре расстроенные женитьбой графа Монкорне на одной из Труавиль. Намерения Ригу были так очевидны, что Гобертен счел нужным привлечь его к заговору против Эгов и включить в долю. Прежде чем согласиться на это и взять на себя известную роль в заговоре, Ригу, по собственному его выражению, пожелал сначала прощупать генерала. В один прекрасный день, когда графиня уже водворилась в Эгах, к замку подъехала плетеная тележка, выкрашенная в зеленый цвет. Господин мэр в сопровождении супруги вылез из тележки и взошел на крыльцо. В одном из окон он заметил графиню. Графиня, всей душой преданная епископу, религии и аббату Бросету, поспешившему опередить своего врага, велела Франсуа сказать, что «барыни нет дома». При таком неучтивом отказе, достойном помещицы, родившейся в России, бывший бенедиктинец позеленел от злости. Если бы графиня полюбопытствовала взглянуть на человека, о котором кюре говорил: «Это закоренелый грешник, погрязший в беззакониях и пороках»,— она, может быть, не решилась бы положить начало той холодной и обдуманной ненависти между замком и мэром, какую питали либералы к роялистам,— ненависти, усугубленной близким соседством замка с деревней, где воспоминание о ране, нанесенной самолюбию, постоянно растравляется.

Несколько подробностей о г-не Ригу и его привычках осветят нам его роль в заговоре, который у двух его сообщников значился под названием «дела первостепенной важности», а заодно обрисуют чрезвычайно любопытный тип деревенского жителя, свойственный только Франции и еще не увековеченный кистью художника. К тому же ничто в этом человеке не лишено для нас интереса — ни его дом, ни то, как он раздувает огонь в камине, ни его манера есть. Его привычки, его взгляды — все послужит ценным материалом для истории, разыгравшейся в Эгской долине. Вероотступник Ригу поможет нам понять, в чем польза медиократии, ибо в нем воплотилась и теория и практика медиократии, он — ее альфа и омега, ее высшая точка.

Вы, может быть, помните некоторых великих скупцов, уже обрисованных в прежде написанных мною «Сценах»? Вспомним, во-первых, провинциального скупца дядюшку Гранде из Сомюра, которому так же присуща скупость, как тигру жестокость; затем ростовщика Гобсека, который как иезуит, служил золоту, наслаждаясь его могуществом и радуясь слезам несчастных, источник коих хорошо ему ведом; далее барона Нусингена, возводившего денежные мошенничества до высоты политических дел. Наконец, вы, наверное, помните старого Гошона из Иссудена, олицетворение мелкого, домашнего скряжничества, и другого скупца, скупца по семейной традиции,— щуплого ла Бодрэ из Сансера? Так вот человеческие чувства, а скупость в особенности, в различных слоях общества весьма различны по своим оттенкам, и для изучения человеческих нравов в нашем анатомическом театре остался еще один вид скупца, остался Ригу — скупец-эгоист, то есть человек весьма чувствительный к собственному благополучию, черствый и злобный по отношению к ближним,— словом, скряга-церковнослужитель, постригшийся в монахи, чтобы выжимать сок из лимона, именуемого хорошей жизнью, и вернувшийся в мир, чтобы хапать народную деньгу. Объясним прежде всего, почему Ригу находил неизменные радости под своей собственной кровлей.

Селение Бланжи, то есть шестьдесят домов, упомянутых Блонде в его письме к Натану, раскинуто на возвышенности, по левому берегу Туны. Селение это чрезвычайно привлекательно с виду, так как при каждом домике есть сад. Несколько домов спустилось к самой воде. На вершине обширного холма стоит церковь, а рядом — бывший дом священника, со стороны же алтаря к церкви, как и во многих деревнях, примыкает кладбище.

Святотатец Ригу не преминул купить церковный дом, некогда выстроенный доброй католичкой, мадемуазель Шуэнь на специально приобретенном ею участке земли. Из сада, спускавшегося вниз уступами и отделявшего прежний дом священника от церкви, открывался вид на земли Бланжи, Суланжа и Сернэ, занимавшие пространство между двумя господскими парками.

С другой стороны дома шёл луг, купленный последним бланжийским кюре незадолго до своей смерти, а теперь обнесенный изгородью недоверчивым Ригу.

Ввиду отказа мэра вернуть дом для его использования согласно первоначальному назначению приход принужден был купить крестьянский домик рядом с церковью; пришлось затратить пять тысяч франков на его расширение и ремонт, а также на устройство небольшого садика, примыкавшего к ризнице, так что теперь, как и прежде, церковный дом и церковь сообщались непосредственно.

Эти два дома, вытянутые в одну линию с церковью и как бы связанные с нею своими садами, выходили окнами на обсаженную деревьями площадку, выполнявшую роль городской площади, тем более что против нового церковного дома граф выстроил общественный дом для канцелярии мэра, квартиры стражника и училища «Братства учения христова», открытия которого так долго и тщетно домогался аббат Бросет. Итак, бывший бенедиктинец и молодой священник не только жили в домах, примыкавших к связывавшей или, если хотите, разъединявшей их церкви, но также и наблюдали друг за другом; а за аббатом Бросетом, кроме того, следила вся деревня. Деревенская улица, начинавшаяся у Туны, извилисто поднималась к церкви. Бланжийский холм венчали крестьянские виноградники, сады и небольшая рощица.

Дом Ригу, самый красивый в деревне, был построен из характерного для Бургундии крупного булыжника, скрепленного желтой глиной, по которой лопаточка каменщика прошлась во всю свою ширину, от чего получилась несколько волнистая поверхность, а сквозь глину кое-где проглядывал крупный черный булыжник. Вокруг окон шла гладкая, без единого булыжника кайма из той же глины, от времени покрывшаяся сеткой тонких и извилистых трещинок, вроде тех, что бывают на старых потолках. Грубо сколоченные ставни обращали на себя внимание своей прочной темно-зеленой окраской. Между аспидными плитками крыши пробивался бархатистый мох. Это был типичный бургундский дом; путешественники, проезжая по этой части Франции, видят множество таких же домов.

Небольшая дверь вела в коридор, с середины которого шла деревянная лестница. Тут же у входа была дверь в большую залу с тремя окнами на площадь. Кухня, помещавшаяся под лестницей, выходила окнами на тщательно вымощенный двор с воротами на улицу. Таков был нижний этаж.

Во втором этаже было три комнаты, а над ними чердачная каморка.

Дровяной и каретный сараи и конюшня примыкали к кухне под прямым углом. Над этими легкими строениями были устроены сеновал, кладовая для фруктов и комната для прислуги.

Птичник, коровник и хлев для свиней были расположены напротив дома.

В обнесенном стеною саду, площадью примерно в арпан, все указывало на тщательный уход: и шпалеры, и фруктовые деревья, и вьющийся виноград, и дорожки, посыпанные песком и обсаженные подстриженными деревцами, и аккуратные гряды овощей, удобренные навозом из своей конюшни.

Повыше, за домом, был луг с деревьями, обнесенный живой изгородью, где паслись две коровы.

На стенах зала с высокой деревянной панелью висели старые гобелены. Ореховая, обитая ручной вышивкой мебель, потемневшая от времени, была под стать деревянной панели и дощатому полу. На потолке выступали три деревянные, но окрашенные балки, а промежутки между ними были разрисованы. Зеркало в вычурной раме висело над камином орехового дерева, украшением которому служили два медных яйца на мраморных подставках; яйца эти разнимались пополам, и перевернутая верхняя половина представляла собою подсвечник. Такие двойного назначения подсвечники, украшенные цепочками, вошли в моду в царствование Людовика XV и теперь встречаются все реже.

У стены против окон, на зеленой с золотом тумбочке стояли совсем обыкновенные, но превосходные часы. Занавескам, сшитым из бумажной индийской материи в белую и розовую клетку, похожей на матрацную ткань, и с визгом раздвигавшимся на железных прутьях, было лет пятьдесят; буфет и обеденный стол дополняли обста-

новку, кстати сказать, содержавшуюся в исключительной чистоте.

У камина стояло глубокое кресло, в котором сидел только Ригу. В углу, над конторкой, служившей ему письменным столом, висели на самом простом крючке мехи, положившие начало благосостоянию Ригу.

Из этого сжатого описания, по стилю не уступающему объявлению о распродаже, нетрудно догадаться, что и обстановка двух спален — г-на и г-жи Ригу — сводилась к самому необходимому; но не следует думать, что такая скупость исключала добротность стоявших в доме вещей. Так, самая привередливая нежинка осталась бы довольна кроватью Ригу: превосходные тюфяки, простыни из тонкого полотна, перина, некогда купленная благочестивой поклонницей для какого-нибудь аббата, плотный полог, сквозь который не проникнет ни малейшее дуновение холодного ветра. То же самое, как увидим дальше, можно было сказать и обо всем остальном.

Скряга Ригу прежде всего привел к полной покорности жену, не умевшую ни читать, ни писать, ни считать. От роли домоправительницы у покойного кюре бедная женщина перешла под конец своей жизни на роль служанки у собственного мужа; она стряпала и стирала, пользуясь лишь самой незначительной помощью Анеты, прехорошенькой девятнадцатилетней девушки, находившейся в таком же подчинении у Ригу, как и ее хозяйка, и получавшей тридцать франков в год.

Высокая, сухопарая и костлявая мадам Ригу, с желтым лицом и красными пятнами на скулах, в неизменном фуляровом платке на голове, носила одну и ту же юбку в течение целого года, из дому отлучалась часа на два в месяц и тратила свою энергию на те заботы, которые поглощают все время преданной хозяйскому дому служанки. Самый тонкий наблюдатель не нашел бы в ней даже следов роскошного стана, рубенсовской свежести, пышной полноты, великолепных зубов и невинных глаз — того, чем она некогда прельстила кюре Низрона. После единственных родов, когда она произвела на свет дочь, мадам Судри-младшую, у нее повыпадали зубы, повылезли ресницы, потускнели глаза, испортилась талия, поблек цвет лица. Можно было подумать, что перст божий покарал жену расстриги-монаха. Как и

все богатые деревенские хозяйки, она радовалась, глядя на свои шкафы, ломившиеся от шелковых платьев, частью только скроенных, частью же сшитых и ни разу не надеванных, от кружев и драгоценностей, которые только вводили в грех зависти молоденьких служанок Ригу, с нетерпением ожидавших ее смерти. В этой женщине было много животного, она была рождена для чисто плотского существования. Бывшая красавица Арсена была не корыстолюбива, и поэтому может показаться непонятным, что покойный кюре Низрон отказал ей все свое состояние, но всему причиной одно любопытное происшествие, о котором необходимо рассказать в назидание бесчисленному племени наследников.

Жена Жана-Франсуа Низрона всячески обхаживала богатого дядю своего мужа, ибо от этого семидесятидвухлетнего старика ждали значительного наследства — как полагали, сорок с лишним тысяч ливров,— а оно обеспечило бы семейству единственного наследника благосостояние, коего с нетерпением ожидала ныне покойная жена Низрона — ведь у нее, кроме сына, была еще прелестная дочурка, милая шалунья, резвушка, одно из тех созданий, которые, возможно, потому наделены таким очарованием, что им не суждено долго жить; и в самом деле, дочка Низрона умерла четырнадцати лет от «бледной немочи», как называют в народе малокровие. Девочка, словно блуждающий огонек, мелькала то тут, то там в церковном доме, чувствовала себя у деда-кюре, как в родной семье, и наводила там свои порядки; она очень любила хорошенькую служанку Арсену, которую кюре взял к себе в дом в 1789 году, когда первые бури революции несколько ослабили строгие правила поведения духовенства. Арсена приходилась племянницей экономке кюре мадемуазель Пишар, которая призвала ее себе на смену, ибо, чувствуя приближение смерти, задумала передать свои права красавице Арсене.

В 1791 году, в то самое время, когда кюре Низрон предоставил у себя приют отцу Ригу и брату Жану, дочурка Низронов позволила себе невинную шалость. Забавляясь с другими детьми и с Арсеной игрой, которая заключается в том, что один прячет какую-нибудь вещь, а все остальные ищут, причем спрятавший кричит: «горячо» или «холодно» — в зависимости от того, при-

ближаются ли к спрятанной вещи, или удаляются от нее,— маленькая Женевьева придумала запрятать каминные мехи в постель хорошенькой Арсены. Мехи так и не нашли; игра кончилась; Женевьева, которую мать забрала домой, забыла повесить мехи на их обычное место. Арсена с теткой проискали мехи целую неделю, а потом перестали искать, можно было обойтись и без них: старый кюре стал раздувать огонь сарбаканом, сделанным в те времена, когда сарбаканы были в большой моде, и, наверное, в свое время принадлежавшим какому-нибудь придворному Генриха III. В конце концов однажды вечером, за месяц до своей смерти, экономка после обеда, на котором присутствовали аббат Мушон, семейство Низронов и суланжский кюре, снова стала жаловаться, что пропали мехи, совершенно непонятно куда исчезнувшие.

— Господи! Да ведь они уже две недели как лежат в кровати у Арсены! — воскликнула, громко смеясь, Женевьева.— Если бы Арсена не ленилась оправлять свою постель, она бы их нашла...

В 1791 году можно было по такому поводу, не стесняясь, рассмеяться, но после смеха наступило глубокое молчание.

— Тут нет ничего смешного,— сказала экономка.— С тех пор как я заболела, Арсена проводит ночи у моей постели.

Несмотря на это объяснение, кюре бросил на супругов Низронов уничтожающий иерейский взгляд, заподозрив, что это подстроено нарочно. Экономка умерла. Отец Ригу сумел так ловко направить гнев аббата Низрона, что тот лишил наследства Жана-Франсуа Низрона в пользу Арсены Пишар.

В 1823 году Ригу из чувства признательности продолжал пользоваться для раздувания огня сарбаканом.

Жена Низрона, до безумия любившая свою дочь, не пережила ее: мать и ребенок умерли в 1794 году. После смерти кюре гражданин Ригу сам занялся делами Арсены, женившись на ней.

Жак, бывший монастырский послушник, привязанный к Ригу, как собака к хозяину, превратился в конюха, садовника, скотника, лакея и управляющего этого сладострастного Гарпагона.

Арсена Ригу, выданная в 1821 году замуж без при-

даного за местного прокурора, грубоватой красотой несколько напоминала мать, а скрытным нравом вышла в отца.

Ригу, теперь уже шестидесятисемилетний старик, ни разу не болел за тридцать лет, и ничто, казалось, не угрожало этому воистину наглому здоровью. Высокий, сухой, с темными кругами под глазами, с очень темными веками; если бы вам довелось когда-нибудь утром взглянуть на его морщинистую, красную и пупырчатую шею, вы, несомненно, сравнили бы его с кондором, тем более что его длинный, прищипнутый у кончика нос своей багровой окраской еще усугублял это сходство. Знаток френологии ужаснулся бы, увидя его почти лысую голову с шишкой на затылке, что является признаком деспотической воли. Сероватые глаза, почти закрытые дряблыми пленками век, были как будто нарочно созданы для притворства. Две пряди волос неопределенного цвета и до того редкие, что сквозь них просвечивала кожа, торчали над большими оттопыренными ушами без обычной закраины — черта, указывающая на жестокость, если не на сумасшествие. Широкий рот с тонкими губами обличал заядлого обжору, закоренелого пьяницу, о чем убедительно говорили и опущенные углы рта, загнутые в виде каких-то запятых, по которым во время еды стекал соус, а при разговоре сочилась слюна. Таким, вероятно, был Гелиогабал.

Он неизменно ходил в длинном синем сюртуке с воротником военного покроя, в черном галстуке, панталонах и просторном жилете черного сукна; носил башмаки на толстой подошве, подбитой гвоздями, и носки, которые в зимние вечера вязала ему жена. Анета с хозяйкой вязали для г-на Ригу также и чулки.

Ригу звали Грегуаром, и друзья его никак не хотели отказаться от каламбуров, получавшихся из разных комбинаций его имени и фамилии, хотя эти каламбуры, которыми очень злоупотребляли, за тридцать лет сильно поизносились. Прозвища его были неисчислимы, но чаще всего его называли «Григу» [1] (Г. Ригу).

Хотя этот набросок и дает некоторое представление о характере Ригу, никому и никогда не представить себе,

---

[1] Скряга.

до каких пределов бывший бенедиктинец, живя в тишине и одиночестве, не встречая ни в ком противодействия, довел искусство себялюбия, умение хорошо пожить и сластолюбие во всех его видах. Прежде всего он садился за стол один, и ему прислуживали жена и Анета, сами обедавшие после него, на кухне, вместе с Жаном, пока Ригу, слегка осоловев от выпитого вина, переваривал обед и почитывал «новости».

В деревне не признают различных названий газет, и все они огулом именуются «новостями».

За обедом, а также за завтраком и ужином всегда подавались лакомые блюда, приготовленные с большим знанием дела, которое отличает экономок кюре от прочих поварих. Так, г-жа Ригу два раза в неделю собственноручно сбивала масло. Соусы готовились только на сливках. Овощи собирались вовремя и прямо с грядок попадали в кастрюлю. Парижане, привыкшие есть зелень и овощи, которые доживают свой век выставленными на солнце в зловонии улиц, преют в лавках, где их зеленщицы опрыскивают водой, чтобы придать им обманчивую свежесть,— парижане не знают, какой замечательный вкус у этих плодов земли, наделенных природой недолговечными, но могучими свойствами, сохраняющими свою силу, только когда овощи съедаются, так сказать, «живьем».

Суланжский мясник доставлял лучшее мясо, боясь потерять такого покупателя, как грозный Ригу. Выращенная и откормленная дома птица была исключительно нежной на вкус.

Доведенная до ханжества заботливость распространялась на все предметы, которыми пользовался г-н Ригу. Туфли этого изощренного «телемита» были, правда, сшиты из грубой кожи, зато на подкладке из лучшего шевро. Он носил сюртук из толстого сукна, но ведь сюртук не касался тела, зато рубашка, выстиранная и выглаженная дома, была выткана руками самых искусных фрисландских ткачих. Его жена, Анета и Жан пили местное вино собственного виноградника г-на Ригу, но в погребе, предназначенном для его личного пользования и не уступавшем бельгийским погребам, самые тонкие бургундские вина стояли бок о бок с бордоскими, шампанскими, руссильонскими, ронскими и испанскими, ко-

торые покупались на десять лет вперед и разливались в бутылки братом Жаном. Привозные ликеры вели свое происхождение от мадам Анфу; ростовщик запасся ими до конца дней своих, приобретя их при распродаже одного бургундского поместья.

Ригу ел и пил не хуже Людовика XIV, как известно, одного из величайших обжор, и на такую, более чем сластолюбивую жизнь, конечно, тратил немало. Но при всей своей тайной расточительности Ригу был осмотрителен и хитер; он торговался из-за каждой мелочи, как умеет торговаться только духовенство. Вместо бесчисленных мер предосторожности, чтобы обезопасить себя от обмана при сделках, хитрый монах оставлял у себя образчик товара и требовал, чтобы были точно оговорены все условия; а когда он выписывал откуда-нибудь вина или припасы, то предупреждал, что при малейшем дефекте откажется от покупки товара.

Жан, ведавший плодовым садом, был великим мастером по части хранения фруктов самых лучших сортов, какие только известны были в департаменте. Ригу ел на пасху яблоки, груши, а иногда и виноград.

Никогда ни одному пророку, даже если его принимали за бога, не повиновались так слепо, как повиновались Ригу его домашние, беспрекословно выполняя малейшие его прихоти. Одно движение его густых черных бровей повергало г-жу Ригу, Анету и Жана в смертельный трепет. Он крепко держал в руках своих трех рабов, точно цепями опутывая их множеством мелочных обязанностей. Каждую минуту они, бедные, чувствовали, что надо трудиться не покладая рук, что хозяин следит за ними, и в конце концов стали даже находить известную прелесть в исполнении этих непрерывных обязанностей, не оставлявших места для скуки. У всех троих была одна забота — ублаготворять г-на Ригу.

С 1795 года Анета была десятой хорошенькой служанкой, взятой Ригу; он похвалялся, что доедет до самой могилы на перекладных из молоденьких девушек. Поступив к нему шестнадцати лет, Анета к девятнадцати годам неминуемо должна была получить расчет. Всех служанок, с великим тщанием выбиравшихся в Оссэре, Кламси и Моване, он завлекал обещанием прекрасной будущности; но мадам Ригу как назло не умирала. А по

прошествии трех лет каждый раз оказывалось, что служанка надерзила бедняжке барыне и ее необходимо уволить.

Находчивая и задорная Анета, истинное совершенство красоты и изящества, не посрамила бы и герцогской короны. Она была достаточно умна, Ригу не подозревал о ее связи с Жаном-Луи Тонсаром, а это доказывает, что хорошенькой Анете, единственной из всех его служанок, удалось провести его, ибо она из честолюбивых соображений опутала эту старую рысь лестью.

Сей Людовик XV без престола не довольствовался одной хорошенькой Анетой. Прижимая должников крестьян закладными на землю, за покупку которой они не могли расплатиться наличными, он превратил всю долину, от Суланжа и на пять лье дальше Куша, до самого Ла-Бри, в свой сераль и лишь отсрочками судебных исков расплачивался за обладание мимолетными сокровищами, поглощающими состояние стольких сладострастных стариков.

Таким образом, блаженная жизнь, не уступавшая жизни откупщика Буре, почти ничего ему не стоила. На Ригу работали белые негры, они заготовляли ему дрова, обрабатывали землю, убирали хлеб и сено. Крестьянин мало ценит свой труд, особенно если за него обещают отсрочить платеж процентов. Не забывая накидывать понемножку за предоставленную на несколько месяцев отсрочку, Ригу прижимал своих должников, заставляя их в полном смысле этого слова отрабатывать ему барщину, на которую они шли, думая, что ничего не платят, ибо не вынимали денег из кармана. В действительности же они иногда выплачивали Ригу много более всей суммы долга.

Этот человек был глубокомыслен, как монах, молчалив, как бенедиктинец, трудящийся над летописью, хитер, как священник, скрытен, как всякий скупец; он старался не выходить из рамок порядка и законности,— в Риме он был бы Тиберием, при Людовике XIII — герцогом Ришелье, он был бы Фуше, если бы честолюбие привело его в Конвент; но он мудро рассудил, что лучше стать Лукуллом без его внешней пышности, и сделался скаредным сластолюбцем. Чтобы чем-нибудь занять свой ум, он предавался безудержной ненависти. Ригу чинил

всякие неприятности генералу графу де Монкорне. Крестьяне были марионетками в его руках, он управлял их действиями, дергая невидимые нити, и это занимало его, как игра в шахматы, где маршировали живые пешки, скакали офицеры, ржали кони вроде Фуршона, сверкали на солнце башни феодальных замков, а королева коварно делала шах королю! Каждое утро, встав с постели, он глядел из своих окон на гордые кровли Эгского замка, на трубы флигелей, на великолепные ворота и думал: «Все это рухнет, я высушу эти ручьи, вырублю эти тенистые рощи». Он намечал себе большую и малую жертву: замышляя погубить замок, расстрига одновременно питал надежду извести аббата Бросета мелкими булавочными уколами.

Чтобы закончить портрет бывшего монаха, достаточно сказать, что он ходил к обедне, сожалел о живучести своей жены и выражал желание примириться с церковью, как только останется вдовцом. Он почтительно кланялся аббату Бросету и приветливо разговаривал с ним, никогда не раздражаясь. Люди, принадлежащие к церкви или вышедшие из ее лона, вообще отличаются терпением насекомых: оно вырабатывается в них необходимостью соблюдать внешнюю благопристойность, оно плод того воспитания, которого, вот уже двадцать лет, так недостает большинству французов, даже и тем, кто считает себя хорошо воспитанным. Все монашествующие, изгнанные революцией из монастырей и занявшиеся мирскими делами, своим хладнокровием и сдержанностью доказали, какое превосходство дает духовная дисциплина сынам церкви, даже тем, которые покидают церковь. Раскусив Ригу еще в 1792 году по истории с завещанием, Гобертен понял, как хитер этот искусный лицемер, с желчным лицом, почуял в нем собрата и решил, что отныне они будут вместе служить золотому тельцу. При основании «Банкирского дома Леклерк» он посоветовал Ригу вложить в дело пятьдесят тысяч франков, поручившись за их целость. Ригу стал одним из самых влиятельных пайщиков, ибо не трогал нараставших процентов, тем самым увеличивая вложенный капитал. В описываемое время пай Ригу в этом предприятии еще составлял сто тысяч франков, несмотря на́ то, что в 1816 году он взял около восьмидесяти тысяч для помещения в го-

сударственные облигации, с которых получал семнадцать тысяч франков дохода. Люпену было известно, что сто пятьдесят тысяч он роздал небольшими суммами под залог крупных имений. Совершенно явным был доход Ригу от собственных земель, составлявший примерно четырнадцать тысяч франков чистыми деньгами. Таким образом, поддающийся учету доход Ригу составлял приблизительно сорок тысяч франков. Что же касается всего его состояния, то это был — *x*, который не было возможности определить никаким уравнением, точно так же, как никому, кроме черта, не были известны делишки, обделываемые им в компании с Ланглюме.

Сей грозный ростовщик, который рассчитывал прожить еще лет двадцать, придерживался при своих операциях совершенно твердых правил. Он ссужал деньгами крестьянина только в том случае, если тот покупал не менее трех гектаров земли и уплачивал по крайней мере половину стоимости наличными. Из этого явствует, что Ригу хорошо понимал порочность закона об отчуждении за долги применительно к мелким земельным участкам и ту опасность, которой грозит государственной казне и частной собственности чрезмерное дробление земельных владений. Попробуй-ка преследовать крестьянина, захватившего у вас борозду, когда их у него всего-навсего пять! Лицо заинтересованное всегда дальновиднее, чем собрание законодателей, и опережает их не менее чем на четверть века. Какой урок для всякой страны! Закон всегда зарождается в уме выдающегося, талантливого человека, а не в умах девятисот людей, которые, как бы они ни были велики, становятся мелкими, как только сольются в толпу. Действительно, нельзя ли положить правило Ригу в основу будущего закона, который прекратил бы бессмысленное дробление земельной собственности на половины, трети, четверти и десятые части центиара [1], как мы это видим, например, в Аржантейльской общине, где насчитывается до тридцати тысяч мельчайших земельных участков.

Ригу для его операций требовалось как раз такое широко распространившееся кумовство, какое охватило весь этот округ. Суланжский нотариус Люпен был для него

---

[1] *Центиар* — один квадратный метр земли.

тоже свой человек, так как примерно одну треть актов, ежегодно составлявшихся в его конторе, доставляли ему операции Ригу. И благодаря Люпену хищнику Ригу удавалось включать всю сумму незаконных, ростовщических процентов в долговое обязательство, при составлении которого, если должник был женат, всегда присутствовала и его жена. Крестьянин, обрадованный тем, что ему придется платить только пять процентов годовых до истечения срока ссуды, рассчитывал расплатиться усиленной работой и удобрением земли, от чего только улучшался его участок, отданный в заклад г-ну Ригу.

Отсюда и те разговоры о чудесах, которые якобы порождает «мелкое землепользование» (название это придумано глупцами-экономистами), являющееся следствием политической ошибки, из-за которой нам приходится тратить французские деньги в Германии на покупку лошадей, так как наша страна не занимается больше коневодством,— ошибки, из-за которой скоро сократится у нас и количество рогатого скота, так что мясо станет недоступно не только для простонародья, но и для мелкой буржуазии (см. «Сельский священник»).

Итак, между Кушем и Виль-о-Фэ все от мала до велика в поте лица работали на Ригу и, однако, его уважали, а генерал де Монкорне, единственный человек, дававший заработки местному населению и щедро плативший за труды, заслужил только проклятия и ненависть, которую обычно питают к богатым. Разве можно было бы объяснить себе эти факты, не бросив беглого взгляда на «медиократию»? Фуршон был прав: буржуазия заняла место дворянства. Мелкие собственники, типичным представителем коих являлся Курткюис, были крепостными Тиберия Авонской долины так же, как промышленники без капитала — крепостные крупных банков в Париже.

Судри орудовал по примеру Ригу, начиная от Суланжа и дальше на пять лье за Виль-о-Фэ. Два ростовщика поделили между собою округ.

Гобертен, применявший свои хищные наклонности в более высокой сфере, не только не конкурировал со своими союзниками, но препятствовал и другим виль-о-фэйским капиталам вступать на их плодоносный путь. Теперь нетрудно догадаться, какое влияние триумвират

Ригу, Судри и Гобертен оказывал во время выборов на избирателей, благосостояние которых всецело зависело от его милости.

Ненависть, ум и деньги — вот грозный треугольник, который выражал сущность ближайшего врага Монкорне; и обо всем, что делается в Эгах, этот враг был хорошо осведомлен через несколько десятков мелких землевладельцев, бывших в родстве или в свойстве с окрестными крестьянами и трепетавших перед своим кредитором.

Ригу был ступенью выше Тонсара: один жил воровством, другой жирел от узаконенных грабежей. Оба любили хорошо пожить; собственно, у обоих была одна и та же натура, только в одном случае в своем натуральном виде, а в другом отшлифованная монастырской выучкой.

Когда Водуайе вышел из «Большого-У-поения», чтобы посоветоваться с бывшим мэром, было около четырех часов. В это время Ригу обычно обедал.

Видя, что калитка заперта, Водуайе заглянул поверх занавесок в окно и крикнул:

— Господин Ригу, это я, Водуайе...

Из калитки выглянул Жан и немного погодя впустил Водуайе, сказав:

— Пройди в сад, у хозяина гости.

А в гостях у Ригу был Сибиле, якобы пришедший договориться насчет решения суда, только что объявленного Брюне, на самом же деле беседовавший с Ригу о совершенно иных предметах. Он застал ростовщика за сладким.

На квадратном столе, накрытом белоснежной скатертью, ибо Ригу, не жалевший трудов Анеты и жены, ежедневно требовал чистую скатерть, были представлены в изобилии все плоды этого времени года: миска земляники, абрикосы, персики, вишни, миндаль, поданные на белых фарфоровых тарелках, устланных виноградными листьями с тем же изяществом, что и в Эгах.

Увидав Сибиле, Ригу попросил его запереть на засов внутреннюю дверь столовой (почти все двери в доме были двойные для того, чтобы не сквозило и чтобы снаружи ничего не было слышно), а затем спросил, какое неотложное дело привело его сюда среди бела дня, когда можно спокойно переговорить обо всем ночью.

— Дело в том, что Обойщик собирается в Париж к министру юстиции; он может наделать вам много неприятностей, потребовать смещения вашего зятя, виль-офэйских судей и председателя, в особенности после того, как прочтет решение суда, только что вынесенное в вашу пользу. Он обозлился, он хитер, у него такой советчик, как аббат Бросет, а этот кюре может потягаться с вами и Гобертеном... Священники влиятельны. Епископ очень любит этого Бросета. Графиня собирается к своему родственнику префекту графу де Катеран по поводу Никола. Мишо начинает разбираться в нашей игре...

— Ты трусишь,— тихонько промолвил ростовщик, бросая на Сибиле взгляд уже не такой тусклый, как обычно, ибо его оживляло подозрение, и взгляд этот был страшен.— Ты прикидываешь, не выгоднее ли переметнуться на сторону его сиятельства графа де Монкорне?

— Мне не совсем ясно, где я возьму, после того как вы поделите Эги, те четыре тысячи франков, которые я ежегодно честно откладываю вот уже пять лет,— без обиняков ответил Сибиле.— Господин Гобертен мне в свое время наобещал всякой всячины, но дело идет к развязке, без боя не обойтись. Обещать-то легко, а вот сдержит ли он свое слово после победы...

— Я с ним поговорю,— спокойно ответил Ригу.— А пока что вот какой бы я тебе дал совет, если бы дело касалось меня. Уже пять лет, как ты ежегодно приносишь господину Ригу по четыре тысячи франков, и этот добрый человек платит тебе семь с половиной процентов, что на сегодняшний день вместе с процентами составляет сумму в двадцать семь тысяч франков. Но ведь и у тебя и у Ригу имеется по экземпляру договора за вашими подписями, и, когда аббат Бросет преподнесет этот документ Обойщику, эгский управляющий в тот же день потеряет место, в особенности, если перед этим анонимное письмо разъяснит Обойщику двойственную роль господина Сибиле. Так уж лучше тебе охотиться вместе с нами, не требуя себе заранее куска добычи, тем более что по закону господин Ригу вовсе не обязан платить тебе семь с половиной процентов, да еще проценты на проценты, а поэтому он может выплатить тебе только нарицательную сумму — двадцать тысяч франков, да и те

ты получишь на руки после всяких судебных проволочек, когда твой иск будет рассмотрен виль-о-фэйским судом. А будешь вести себя умно, господин Ригу, получив твой эгский флигель, пожалуй, поверит тебе в долг еще тридцать тысяч франков вдобавок к твоим тридцати тысячам, и ты сможешь пустить эти деньги в оборот, как сам господин Ригу, и даже очень выгодно, потому что крестьяне, словно воронье на падаль, налетят на Эгское поместье, разбитое на участки. Вот что мог бы тебе сказать господин Гобертен, мне же говорить с тобой не о чем: меня это не касается... И Гобертен и я имеем основание быть недовольными Монкорне — этот сын народа бьет родного отца, и мы ведем свою линию. Может быть, ты на что-нибудь и нужен моему приятелю Гобертену, а мне никто не нужен, потому что здесь все мне преданы. Ну, а насчет министра юстиции, так ведь их довольно часто сменяют, мы же всегда останемся здесь.

— Одним словом, вы предупреждены,— сказал Сибиле, чувствуя, что остался в дураках.

— Предупрежден? Насчет чего? — коварно спросил Ригу.

— Насчет намерений Обойщика,— смиренно ответил управляющий.— Он помчался в префектуру, не помня себя от гнева.

— Пусть себе мчится. Если бы всякие Монкорне не ломали колес, что стали бы делать каретники?

— Я принесу вам сегодня тысячу экю к одиннадцати часам вечера...— сказал Сибиле.— Но вам, право, следовало бы немного продвинуть мои дела... Уступите мне несколько просроченных закладных... так, чтобы я имел возможность получить два-три хороших участка земли...

— У меня есть закладная Курткюиса, но я не хотел его трогать, потому что он лучший стрелок в департаменте. А вот если я передам закладную тебе, подумают, что ты прижимаешь этого бедняка в интересах Обойщика, и таким образом мы убьем двух зайцев зараз: Курткюис пойдет на все, когда опустится ниже нищего Фуршона. Ведь Курткюис последние силы ухлопал на Башельри; он на совесть удобрил землю, обсадил всю ограду сада шпалерами. Его усадебка стоит четыре тысячи франков; граф охотно даст такие деньги за эти три арпана земли,— они примыкают к его охотничьим угодьям. Не

будь Курткюис рохлей, он мог бы выплачивать проценты выручкой с одной только графской дичи.

— Ну что ж, перепишите на меня его закладную, я на этом деле заработаю: дом и сад достанутся мне совсем даром. Граф купит эти три арпана земли.

— А что придется на мою долю?

— Господи! Вы, кажется, способны получить молоко и от козла! — воскликнул Сибиле.— А я-то только что вытянул у Обойщика распоряжение, чтобы сбор колосьев производился на законном основании...

— Ты этого добился, сынок?— сказал Ригу; несколько дней тому назад он сам подал мысль об этих притеснениях, рекомендовав Сибиле посоветовать их генералу.— Кончено! Теперь он у нас в руках! Но этого мало, мы накинем ему петлю на шею! Отодвинь засов, сынок; скажи жене, чтобы подала мне кофе и ликер, а Жану вели запрягать. Я поеду в Суланж. До вечера! Здравствуй, Водуайе,— сказал бывший мэр, увидев у порога стражника.— Ну, что там случилось?

Водуайе рассказал обо всем, что происходило в трактире, и спросил, как полагает Ригу: законны ли распоряжения, отданные генералом?

— Право у него на это есть,— прямо заявил Ригу.— Барин у нас строгий; а вот аббат Бросет хитрющий человек: ведь это кюре научает генерала, и все за то, что вы не ходите в церковь, ишь, ведь какие безбожники! А я вот хожу! Бог-то ведь есть!.. Вы стерпите все, что угодно, Обойщик всегда возьмет верх!

— Ладно! А собирать колосья мы все-таки будем,— сказал Водуайе с решительностью, отличающей бургундцев.

— Без свидетельств о бедности? — спросил ростовщик.— Говорят, он поехал в префектуру за войском... Приведут вас в повиновение...

— Мы как собирали прежде колосья, так и будем собирать,— повторил Водуайе.

— Собирайте!.. Господин Саркюс рассудит, правильно ли вы поступаете,— сказал ростовщик с таким выражением, как будто обещал сборщикам колосьев покровительство мирового суда.

— Мы все будем собирать колосья, а нас — сила! Или Бургундия уж больше не Бургундия! — воскликнул

Водуайе.— У жандармов сабли, а у нас — косы, посмотрим, кто кого.

В половине пятого широкие зеленые ворота бывшего церковного дома растворились, и караковая лошадка, которую вел под уздцы Жан, завернула на площадь. Г-жа Ригу и Анета вышли за калитку проводить хозяина, восседавшего на мягких подушках в покрашенной в зеленый цвет плетеной тележке с кожаным верхом.

— Не запаздывайте же, хозяин,— сказала Анета, чуть-чуть надув губки.

Все жители деревни уже знали о грозных приказах, подготовляемых мэром, и, завидев тележку Ригу, выходили на порог или поджидали его на улице, полагая, что он едет в Суланж и там заступится за них.

— Ну вот, мадам Курткюис, бывший наш мэр поехал. Он не даст нас в обиду,— заметила старая пряха, которую живо интересовали лесные порубки, так как ее муж продавал в Суланже наворованные дрова.

— Господи боже мой! Сердце у него обливается кровью, когда он видит, что здесь творится; ему ведь это так же тяжело, как и нам,— ответила бедная женщина, дрожавшая при одном имени своего кредитора и страха ради восхвалявшая его.

— Да, что и говорить, нехорошо с ним поступили! Здравствуйте, господин Ригу! — с низким поклоном сказала старуха.

Когда ростовщик переправился через Туну, которую переезжали вброд в любое время года, Тонсар, выйдя из своего кабака, остановил его на кантональном тракте.

— Ну как, дядя Ригу, Обойщик, видно, считает нас за собак?

— Это мы еще посмотрим! — ответил ростовщик и стегнул лошадь.

— Он за нас заступится,—сказал Тонсар, обращаясь к кучке женщин и детей, столпившихся вокруг него.

— Он так же думает о вас, как трактирщик о пескарях, когда чистит сковороду, чтобы их зажарить,— выпалил дядя Фуршон.

— Держи язык за зубами, коли ты пьян...— прикрикнул на деда Муш, дернув старика за блузу, и толкнул его под откос, где тот и растянулся у подножия тополя.— Если бы этот кобель монах услышал, что ты говоришь,

тебе бы уж не содрать с него прежней цены за твои рассказни...

И в самом деле, поездка в Суланж была вызвана известием, доставленным эгским управляющим, и, как полагал Ригу, угрожавшим тайной коалиции авонской буржуазии.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО СУЛАНЖА

Примерно в шести километрах от Бланжи, как официально считается, и на таком же расстоянии от Виль-о-Фэ, на холме, являющемся отрогом длинного хребта, параллельного другому хребту, у подножия которого протекает Авона, расположен амфитеатром городок Суланж, получивший эпитет «красивый», быть может, более заслуженно, нежели Мант.

У подножия этого холма течет по глинистому грунту запруженная речка Туна, образуя плес около тридцати гектаров, в конце которого суланжские мельницы, приютившиеся на множестве маленьких островков, создают очаровательный архитектурный ансамбль, достойный фантазии декоратора по разбивке садов. Красавица Туна орошает Суланжский парк, питает его чудесные ручьи и искусственные озера, а затем впадает в Авону.

Замок Суланж, один из красивейших замков Бургундии, перестроенный при Людовике XIV по рисункам Мансара, обращен фасадом к городу. Таким образом, и замок и город, представляющие столь же изящное, сколь и великолепное зрелище, как бы любуются друг другом. Кантональный тракт пролегает между городом и прудом, несколько пышно величаемым местными жителями «озером».

Маленький городок отличается замечательной естественной планировкой, что так редко во Франции, где подобного рода живописность совершенно отсутствует. Здесь вы в самом деле можете любоваться красотами Швейцарии, как говорил в своем письме Блонде, живописностью окрестностей Невшателя. Веселые виноградники, опоясывающие Суланж, завершают это сходство,

конечно, если не говорить о Юре и Альпах; дома на улицах, расположенных одна над другой по склону холма, стоят не тесно, так как при каждом доме есть сад, и утопают в зелени, которой так бедны столицы. Синие и красные крыши в сочетании с деревьями, цветами и увитыми зеленью террасами представляют яркое и гармоничное зрелище.

Старинная каменная церковь, памятник средневековья, построена стараниями владельцев Суланжа, за которыми сохранилась, во-первых, часовня возле клироса, а затем подвальная часовня — фамильная усыпальница. Портал церкви, как и у храма в Лонжюмо, представляет громадную аркаду, покрытую резьбой в виде цветочных венков, украшенную статуями и заканчивающуюся двумя островерхими столбами с нишами. Такой портал, довольно обычный для маленьких средневековых церквей, случайно уцелевших от разгрома, учиненного кальвинистами, завершается триглифом, над которым стоит скульптурное изображение богородицы с младенцем Иисусом на руках. Боковые приделы снаружи разделены нервюрами на пять глухих стрельчатых арок с витражами. Абсида опирается на контрфорсы, которые оказали бы честь любому собору. Колокольня, расположенная в одном из концов крестовидного здания, представляет собой четырехугольную башню со звонницей наверху. Церковь видна издалека, ибо стоит в верхней части города, на площади, ниже которой пролегает дорога.

Довольно широкую городскую площадь окаймляет ряд своеобразных строений, относящихся к различным эпохам. Среди них много наполовину деревянных, наполовину кирпичных средневековых зданий, крытых шифером. Другие — каменные, с балконами и коньком на кровле, столь любезным сердцу наших прадедов, относятся к XII веку. Иные дома привлекают внимание своими старыми, выступающими, как навес, матицами с резными причудливыми фигурами, так что невольно вспоминаются те времена, когда буржуазия занималась только торговлей. Среди всех домов выделяется здание судебного присутствия, с лепным фасадом, стоящее на одной линии с церковью и прекрасно ее дополняющее. Проданный как национальное имущество, дом этот был куплен городской общиной и отведен под мэрию и мировой суд, в котором

с момента учреждения должности мировых судей заседал г-н Саркюс.

Этот беглый набросок дает нам некоторое представление о суланжской площади, где на самой середине стоит прелестный фонтан, вывезенный в 1520 году из Италии маршалом де Суланжем и вполне достойный любой большой столицы. Четыре амура белого мрамора, увенчанные корзиной винограда, держат в руках раковины, из которых непрерывно струится вода, проведенная из родника с вершины холма.

Просвещенные путешественники, которым случится побывать в этих местах, если, конечно, сюда заедет еще какой-нибудь начитанный человек, кроме Блонде, признают в этой площади типичную площадь, которую обессмертили Мольер и испанский театр, так долго царившие на французской сцене; вот вам и доказательство, что родина комедии — жаркие страны, где жизнь протекает на городских площадях. Суланжская площадь тем более напоминает эту классическую площадь, совершенно тождественную на всех театральных сценах, что две главные улицы, выходящие на нее как раз против фонтана, образуют тут кулисы, столь необходимые господам и слугам и для встреч и для убегания друг от друга. На углу одной из этих улиц, называемой Фонтанной, красуется вывеска с должностным значком нотариуса Люпена. Дома Саркюса, сборщика податей Гербе, г-на Брюне, секретаря суда Гурдона и брата его, врача, дом главного лесничего старика Жандрена-Ватбле — все эти дома содержатся в большой чистоте владельцами, принимающими всерьез прозвище своего городка, и расположены вблизи площади, в аристократическом квартале Суланжа.

Дом мадам Судри,— ибо бывшая горничная певицы Лагер оказалась весьма властной личностью и совершенно заслонила главу города,— дом этот, вполне современный по стилю, был построен богатым виноторговцем, уроженцем Суланжа, нажившим себе состояние в Париже и вернувшимся в 1793 году, чтобы заняться скупкой хлеба для своего родного города. Здесь он был сочтен за хлебного барышника и убит чернью, натравленной на него дядей Годэна, человеком дрянным, по профессии каменщиком, с которым хлеботорговец поссорился из-за своей честолюбивой строительной затеи.

Ликвидация наследства виноторговца, из-за которого спорили дальние родственники, до того затянулась, что Судри, вернувшемуся в 1798 году в Суланж, удалось купить за тысячу экю наличными особняк виноторговца, который он сначала отдал внаймы департаменту под помещение для жандармерии. В 1811 году мадемуазель Коше, всегдашняя советчица Судри во всех его делах, горячо восстала против возобновления договора о найме, считая, что от «сожительства» с казармой, как она выражалась, дом стал непригоден для жилья. Город выстроил тогда при содействии департамента на одной из боковых улиц недалеко от мэрии специальный дом для размещения жандармов. Судри как следует вычистил свой особняк и восстановил во всем его первоначальном блеске, утраченном от соседства конюшен и расквартирования жандармов.

Этот одноэтажный особняк с мансардой смотрит на три стороны: на площадь, на озеро и в сад. Четвертой своей стороной он выходит во двор, отделяющий дом супругов Судри от соседнего дома, принадлежащего бакалейщику Ватбле, одному из представителей «второразрядного» суланжского общества, отцу красавицы мадам Плиссу, о которой будет рассказано ниже.

В каждом провинциальном городке имеется своя красавица, свой Сокар и своя «Кофейня мира».

Нетрудно догадаться, что со стороны дома, выходящей на озеро, параллельно кантональному тракту устроена невысокая терраса-цветник, обнесенная каменной балюстрадой. С террасы спускается лестница в сад, на ступеньках которой поставлены в кадках апельсинные, гранатовые, миртовые или иные декоративные деревца, а это значит, что где-нибудь в конце сада есть небольшая оранжерея, упорно называемая мадам Судри «ланжереей». Как водится в маленьких городках, на площадь выходит крыльцо в несколько ступеней; ворота открываются не часто: для разных домашних надобностей, когда подают экипаж хозяевам, и по случаю приезда редких гостей. Все обычные посетители являются пешком и проходят через крыльцо.

Стиль особняка Судри очень строг; кладка его каменных стен не сплошная, а, как говорят, желобчатая; окна обрамлены чередующимся крупным и мелким лепным

орнаментом в духе украшений на особняках Габриэля и Перроне на площади Людовика XV. В таком маленьком городке подобного рода отделка придает дому монументальный вид, которым и славится этот особняк.

Против дома, на другом углу площади, находится знаменитая «Кофейня мира», но ее особенности, а в частности ее чудесное «Тиволи», потребуют от нас в дальнейшем значительно более подробного описания, чем описание особняка Судри.

Ригу очень редко приезжал в Суланж, обычно все ездили к нему — и нотариус Люпен, и Гобертен, и Судри, и Жандрен: такой он внушал всем страх. Однако здесь уместно будет обрисовать в нескольких чертах представителей так называемого «высшего суланжского общества», и тогда мы убедимся, что всякий искушенный человек проявил бы такую же сдержанность, как бывший бенедиктинец.

Самой оригинальной из всех этих особ, как вы сами догадываетесь, была мадам Судри, для изображения которой нужна очень искусная кисть.

Мадам Судри позволяла себе по примеру мадемуазель Лагер чуточку подрумяниваться; но в силу привычки эта легкая подрисовка постепенно превратилась в целые лепешки краски, так образно названные нашими предками «штукатуркой». Ввиду того, что морщины на ее лице становились все глубже и многочисленней, супруга мэра надумала замазать их краской. На лоб, который неуклонно желтел, и на виски, которые начали сильно лоснить-ся, она накладывала белила и наносила голубые разводы, долженствовавшие изображать нежные жилки молодости. Такая роспись придавала совершенно исключительную живость глазам мадам Судри, и без того плутоватым, и лицо ее, несомненно, произвело бы более чем странное впечатление на человека постороннего; но местное общество, привыкшее к этому искусственному блеску, считало супругу мэра очень красивой женщиной.

Сия дама носила открытые платья, оголяя спину и грудь, набеленные и напудренные не хуже лица. К счастью, под тем предлогом, что жалко держать в сундуках великолепнейшие кружева, она слегка прикрывала ими свои химические товары. Она носила лиф на китовом усе, с очень низко спущенным мысом, причем лиф этот

был весь в бантиках, один сидел даже на самом кончике мыса! Шелковая юбка, вся в оборках, издавала какой-то хруст.

В этот вечер наряд ее, оправдывающий слово «роб-рон», которое скоро перестанет быть кому-нибудь понятным, был сшит из дорогой камки, ибо у мадам Судри было не меньше сотни платьев, одно богаче другого, унаследованных от мадемуазель Лагер и перешитых по последней моде 1808 года. Чепчик с атласными бантами такого же вишневого цвета, как и ленты, украшавшие платье, гордо сидел на завитом и напудренном белокуром парике.

Если вы вздумаете представить себе этот сверхкокетливый чепчик, а под ним безобразное обезьянье лицо, курносое, как череп, с мясистой и усатой верхней губой, рот с вставной челюстью, издающий трубные звуки, как охотничий рог,— вам будет трудно понять, почему высшее суланжское общество, да и весь Суланж, считали красивой эту провинциальную королеву; разве только вам придет на память небольшой трактат, недавно написанный ex professo [1] одной из умнейших женщин нашего времени, трактат об искусстве красоты, доступном парижанкам, имеющим под рукой все нужные средства.

И в самом деле, во-первых, мадам Судри окружали великолепные вещи, подаренные покойной хозяйкой и ходившие у бывшего бенедиктинца под названием fructus belli [2]. Затем она умело пользовалась своим безобразием, всячески преувеличивая его и щеголяя осанкой и манерами, которые приобретаются только в Париже и секрет которых известен всем парижанкам, даже самым простым, ибо все парижанки в большей или меньшей степени обезьяны. Она затягивалась в корсет, подкладывала огромный турнюр, носила в ушах бриллиантовые серьги, а пальцы унизывала кольцами. Наконец, у выреза лифа меж двумя глыбами, покрытыми толстым слоем белил, сверкал майский жук, сделанный из двух топазов, с алмазной головкой,— подарок «дорогой покойницы» и предмет разговора для всего департамента. Как и ее по-

---

[1] Со знанием дела *(лат.)*.
[2] Трофеи войны *(лат.)*.

койная хозяйка, мадам Судри всегда носила платья с короткими рукавами и обмахивалась веером, разрисованным Буше, с пластинками слоновой кости и двумя розочками вместо застежек.

Выходя из дома, мадам Судри держала над головой подлинную «омбрельку» XVIII века, то есть длиннейшую тросточку, увенчанную зеленым зонтиком с шелковой зеленой бахромой. Когда она прогуливалась по террасе, прохожий мог бы принять ее издали за фигуру с картины Ватто.

В ее гостиной, обитой узорчатым красным штофом, на окнах висели занавески из того же штофа на белой шелковой подкладке, на камине с полным каминным прибором и бордюром, изображающим ветки лилий, которые поднимают вверх амуры, красовались разные китайские безделушки эпохи Людовика XV, вдоль стен стояла золоченая мебель на козьих ножках; и нечего удивляться, что суланжские жители называли хозяйку такой гостиной — «красавица мадам Судри»! Дом стал национальной гордостью кантонального центра.

Если высшее общество этого крошечного городка верило в свою королеву, то и сама королева тоже была преисполнена веры в себя. Нередко тщеславный автор входит в роль героя своего литературного произведения, а тщеславная мать в роль своей дочери-невесты, точно так же и девица Коше за эти семь лет так вошла в роль «супруги господина мэра», что не только позабыла о своем прошлом положении, но вполне искренне стала считать себя «дамой». Она хорошо усвоила манеру держать голову, нежный голосок, движения и повадки своей хозяйки, а приобретя соответствующее благосостояние, приобрела и наглость. Она «как свои пять пальцев знала XVIII век», анекдоты из жизни вельмож и их родословную. Такая лакейская наторенность давала ей темы для разговоров, отзывавшихся дворцовой передней. В Суланже ее ум субретки сходил за ум высшей пробы. В духовном отношении «супруга мэра» была, так сказать, поддельным бриллиантом, но разве поддельный бриллиант в глазах дикаря не сойдет за настоящий?

Ей, как некогда ее хозяйке, курили фимиам, ей льстили окружающие, которых она каждую неделю кормила обедами и угощала кофе и ликерами, когда им случалось

застать ее за десертом, —*случайность*, повторявшаяся довольно часто. Какая женщина устоит против такого непрерывного восхваления, радующего сердце! Зимой тепло натопленную и освещенную свечами гостиную заполняли первые богачи города, которые платили комплиментами за тонкие ликеры и изысканные вина, поступившие из погребов «дорогой покойницы». Постоянные гости и их жены, пользуясь чужой роскошью, экономили на отоплении и освещении своих собственных домов. А посему, знаете ли вы, какие разговоры велись на пять лье в окружности и даже в Виль-о-Фэ? Когда речь заходила о департаментской знати, говорили: «Мадам Судри — прекрасная хозяйка, дом ее всегда открыт для гостей; она умеет принять, умеет блеснуть своим богатством! А какая она веселая, находчивая! А какая у нее сервировка! Таких домов нигде не найти, кроме Парижа!»

Серебряная посуда, подаренная певице Лагер откупщиком Буре, великолепная посуда работы знаменитого Жермена, была в полном смысле этого слова украдена бывшей горничной. Как только скончалась мадемуазель Лагер, она попросту перетащила весь сервиз к себе в комнату, а наследники его не потребовали, ибо не знали о его существовании.

С некоторых пор двенадцать или пятнадцать суланжских обывателей, составлявших местное высшее общество, говорили о мадам Судри, как о близкой подруге мадемуазель Лагер, приходили в негодование при слове «горничная» и утверждали, что, став «подругой» великой актрисы, супруга мэра принесла себя в жертву певице.

Странное, однако бесспорное явление! Все эти иллюзии, преображавшие действительность, распространились и на сердечную область: мадам Судри деспотически властвовала над своим мужем.

Господин Судри, которому выпало на долю любить женщину на десять лет старше себя, полновластную хозяйку своего капитала, поддерживал в супруге высокое представление о ее красоте, в которой в конце концов она и сама уверилась. И все же, когда завидовали его счастью, он иногда желал, чтобы завистники побывали в его шкуре,— ведь чтобы скрыть свои грешки, ему приходилось прибегать к таким же уловкам, к каким при-

бегают при молодой и обожаемой жене; и лишь совсем недавно ему удалось взять в дом хорошенькую служанку.

Портрет суланжской королевы несколько карикатурен, но в провинции тех времен такие типы встречались и в среде более или менее дворянской и в кругах денежной буржуазии — взять хотя бы вдову генерального откупщика в Турени, прикладывавшую к щекам ломтики парной телятины; портрет этот, написанный с натуры, был бы незаконченным без обрамляющих его бриллиантов, то есть без главных придворных: краткое описание их совершенно необходимо хотя бы для того, чтобы показать, насколько опасны подобные пигмеи и как создается общественное мнение в провинциальной глуши. Только надо правильно представить себе обстановку: есть селения вроде Суланжа, которые нельзя назвать ни местечком, ни деревней, ни городком, а все-таки они обладают свойствами и местечка, и деревни, и городка. Физиономии их обывателей совершенно иные, чем в каком-нибудь большом, благоустроенном и злом провинциальном городе; тут деревенский обиход отражается на нравах, и такое смешение красок порождает иногда воистину оригинальные фигуры.

Самым важным лицом после мадам Судри был нотариус Люпен, поверенный в делах семейства Суланжей, а говорить о главном лесничем, девяностолетнем Жандрене-Ватбле не стоит — старик уже был на краю могилы и не выходил из дому с момента восшествия на престол мадам Судри; однако в качестве человека, занимавшего свою должность со времен Людовика XV, он когда-то царил в Суланже и еще теперь в минуты просветления иногда вспоминал суд Мраморного стола.

Несмотря на свои сорок пять лет, Люпен благодаря несколько избыточной полноте, свойственной людям, ведущим сидячий образ жизни, был еще свеж и румян и любил петь романсы. Поэтому он по-прежнему заботился о своем костюме, как это приличествует салонному певцу. В провинции он мог сойти за парижанина — такие он носил светло-желтые жилеты, облегающие сюртуки, пышные шелковые галстуки, модные панталоны и начищенные до глянца сапоги. Он завивался у суланжского парикмахера, местного сплетника, и слыл баловнем жен-

щин благодаря связи с мадам Саркюс, женой Саркюса-богатого, сыгравшей в его жизни ту же роль, что итальянские походы в жизни Наполеона. Только он один часто бывал в Париже, где был принят в семье Суланжей. Зато достаточно было его послушать, чтобы сразу догадаться, каким он пользовался авторитетом в качестве фата и законодателя мод. Свое безапелляционное мнение о любом предмете он выражал словечком *«мазня»*, позаимствованным из жаргона художников и применявшимся г-ном Люпеном в трех вариантах.

Человек, мебель, женщина — все могло быть *«мазней»*; следующая степень порицания — это *«так себе мазня»* и, наконец, самая высшая — *«архимазня»*. «Архимазня» — это то же, что у художников слово «бездарность», то есть верх презрения. Просто «мазня» еще поддается исправлению, «так себе мазня» уже безнадежна, но «архимазня», о! лучше уж вовсе ей не появляться на свет!.. Похвала его сводилась к слову *«прелестно!»*, повторенному надлежащее число раз. *«Прелестно!»* определяло положительную степень его удовлетворения. *«Прелестно! Прелестно!»* — вы могли еще не волноваться. Но *«Прелестно! Прелестно! Прелестно!»* — идти дальше уже некуда, ибо верх совершенства достигнут.

Сей *протоколист* — ибо он сам называл себя протоколистом, чернильной душой и бумажным скрепщиком, несколько свысока иронизируя над занимаемым им положением,— итак, сей протоколист не шел дальше галантных комплиментов в своих отношениях с супругой мэра, питавшей к нему некоторую слабость, хотя он был блондином и носил очки. А бывшей горничной нравились усачи-брюнеты, с волосатыми руками, словом, Алкиды. Но для Люпена она делала исключение, очень уж он был шикарен; кроме того, она полагала, что для полного ее триумфа в Суланже ей необходим обожатель. Однако, к великому огорчению г-на Судри, поклонники королевы при всем своем обожании не решались склонить ее к супружеской неверности.

Господин Люпен пел альтом; иногда он брал несколько нот где-нибудь в уголке гостиной или на террасе — так обычно напоминают любители о своем таланте; этой слабости не удается избежать ни одному любителю, увы, даже самому талантливому.

Люпен женился на богатой наследнице, но совсем простой девушке, единственной дочери торговца солью, разбогатевшего во время революции; благодаря общему противодействию пошлине на соль продавцы контрабандной соли тогда наживали огромные барыши. Люпен благоразумно держал свою жену, именуемую им «Крошкой», дома, против чего она не возражала, ибо питала платоническую страсть к красавцу писцу по фамилии Бонак, жившему на мизерное жалованье, но игравшему во второразрядном суланжском обществе ту же роль, что его патрон — в высшем.

Мадам Люпен, женщина совсем необразованная, появлялась лишь в самых торжественных случаях, похожая на огромную разодетую в бархат бургундскую бочку, завершавшуюся маленькой головкой, словно вдавленной в рыхлые плечи какого-то сомнительного оттенка. Пояс ее никак не желал сидеть на положенном ему месте. Крошка наивно заявляла, что боится за свою жизнь и поэтому не носит корсета. Словом, при самом пылком воображении поэта, больше того, даже при фантазии изобретателя, невозможно было заметить на спине Крошки и признака бороздки, образуемой изгибом позвоночника и пленяющей нас у всякой женщины, достойной быть причисленной к «прекрасному полу».

Круглая, как черепаха, Крошка принадлежала к разряду беспозвоночных. Ее непомерная тучность, надо полагать, обеспечивала Люпену полное спокойствие, и его не тревожило сердечное увлечение толстухи, которую он, ничтоже сумняшеся, называл Крошкой, что ни у кого не вызывало смеха.

— Что такое, собственно, ваша жена? — как-то спросил его Саркюс-богатый, обиженный словом «архимазня», которым Люпен окрестил столик, купленный Саркюсом по случаю.

— Моя жена не похожа на вашу, она еще не определилась,— ответил Люпен.

Под внешней простотой Люпен скрывал тонкий ум, он благоразумно умалчивал о своем состоянии, по меньшей мере не уступавшем состоянию Ригу.

Отпрыск г-на Люпена приводил в отчаяние своего родителя. Амори, один из местных донжуанов, не же-

лал следовать по стопам отца: злоупотребляя выгодным положением единственного сына, он не раз потрошил отцовскую кассу, однако папаша был снисходителен и при каждой новой проказе сыночка говорил: «Я ведь тоже был таким!» Амори никогда не появлялся у г-жи Судри, она его «бесила» (sic!), ибо, по старой привычке бывшей горничной, вздумала заняться «воспитанием» молодого человека, которого больше всего привлекала бильярдная «Кофейни мира». Там он водил компанию с низами суланжского общества и даже с такими субъектами, как Бонебо. Он никак не мог «перечумиться» (словечко мадам Судри) и на все увещания отца твердил одно: «Отправьте меня в Париж, мне здесь скучно!»

Люпен кончил тем же, чем — увы! — кончают все красавцы мужчины,— почти супружеской связью. Его общеизвестной привязанностью была жена второго судебного пристава при мировом суде Эфеми Плиссу, от которой у него не было тайн. Прекрасная мадам Плиссу, дочь бакалейного торговца Ватбле, царила во вторых рядах суланжского общества, как мадам Судри в первых его рядах. Супруг ее, г-н Плиссу, неудачливый соперник г-на Брюне, принадлежал к второразрядному суланжскому обществу, так как в высшем его презирали за то, что он, по слухам, открыто потакал поведению жены.

Точно так же как Люпен был признанным музыкальным талантом этого высшего общества, местный врач г-н Гурдон был его признанным ученым... О нем говорили: «У нас здесь есть первоклассный ученый». Мадам Судри (великий знаток по части музыки, ибо по утрам она впускала Пиччини и Глюка к своей хозяйке, а вечером одевала мадемуазель Лагер для театра) убеждала всех окружающих и даже самого Люпена, что он мог бы нажить себе состояние голосом, и она же выражала сожаление, что г-н Гурдон не спешит обнародовать свои «открытия».

Господин Гурдон попросту повторял мысли Бюффона и Кювье о земном шаре, но вряд ли это могло создать ему репутацию ученого в глазах обывателей Суланжа; нет, он собирал коллекцию раковин, составлял гербарий и умел набивать чучела. А главное, он задался замеча-

тельной мыслью завещать свой естественноисторический кабинет городу Суланжу и с тех пор прослыл во всем департаменте великим натуралистом и преемником Бюффона.

Суланжский ученый походил на женевского банкира, правда, он не обладал капиталами и расчетливым умом швейцарских финансистов, зато отличался таким же педантизмом, холодностью и пуританской чистотой; с великой обязательностью показывал он свое знаменитое собрание редкостей: медведя и сурка, почивших при следовании через Суланж, всех грызунов департамента: полевых и домашних мышей, землероек, крыс и т. д., всех редкостных птиц, убитых на территории Бургундии, среди которых красовался альпийский орел, добытый на Юре. У г-на Гурдона была также коллекция чешуекрылых — слово, вызывавшее представление о фантастических чудовищах, но при виде экспонатов посетители разочарованно восклицали: «Да ведь это бабочки!» Кроме того, у него имелось прекрасное собрание окаменелых раковин из коллекций, завещанных ему несколькими умершими друзьями, и, наконец, минералы Бургундии и Юры.

Все эти богатства, хранившиеся в застекленных шкафах, в выдвижных ящиках которых помещались коллекции насекомых, занимали весь второй этаж дома Гурдона и производили впечатление ярлыками с причудливыми названиями, пестротой красок и своим количеством, хотя мы совершенно не замечаем их в жизни и восхищаемся ими, только когда они положены под стекло. Для осмотра собрания редкостей г-на Гурдона назначались особые дни.

— У меня,— говорил он посетителям,— пятьсот орнитологических экспонатов, двести млекопитающих, пять тысяч насекомых, три тысячи раковин и семьсот минералогических образцов.

— Какое надо было иметь терпение! — восклицали дамы.

— Надо же что-нибудь делать для своего родного края,— отвечал он.

Он извлекал огромную выгоду из этих животных останков, неизменно говоря: «Я все отказал городу». И посетители приходили в восторг от его филантропии.

Поговаривали, что после смерти врача надо отвести весь третий этаж мэрии под «Музей имени Гурдона».

— Я рассчитываю на признательность моих сограждан и полагаю, что музею будет присвоено мое имя,— отвечал он на такого рода предложения.— Конечно, я не смею надеяться, что в нем будет установлен мой мраморный бюст...

— Ну, что вы! Да это самое меньшее, что может сделать для вас город! — протестовали сограждане.— Ведь вы же слава Суланжа!

И в конце концов он сам стал считать себя бургундской знаменитостью. Самые верные проценты нам приносит не капитал, вложенный в государственные бумаги, а капитал, вложенный в дела самолюбия. Итак, прибегнув к грамматической системе Люпена, можно сказать, что суланжский ученый муж был счастлив, счастлив, счастлив!

Секретарь мирового суда Гурдон, тщедушный человечек, у которого все черты лица как бы сходились к носу, так что нос казался исходной точкой для лба, щек и губ, точно так же, как лощины, сбегающие с горы, тянутся от ее верхушки,— секретарь мирового суда считался одним из видных поэтов Бургундии, своего рода Пироном. Памятуя о двойной славе обоих братьев, в департаментском центре говорили: «У нас в Суланже есть братья Гурдоны, оба выдающиеся люди, они не посрамили бы и Парижа».

Господин Гурдон-младший был первоклассным игроком в бильбоке, а страсть к бильбоке породила в нем другую страсть — желание воспеть в стихах эту игру, по которой сходили с ума в XVIII веке. Страсти частенько одолевают «медиократов» попарно. Гурдон-младший родил свою поэму в царствование Наполеона. А это значит, что он принадлежал к здоровой и благоразумной школе. Он почитал Люса де Лансиваля, Парни, Сен-Ламбера, Руше, Виже, Андрие, Бершу. Делиль был его кумиром до той минуты, пока высшее суланжское общество не возбудило вопроса, не следует ли считать Гурдона выше Делиля, и с тех пор секретарь суда с преувеличенной вежливостью стал называть его «господином аббатом Делилем».

Поэмы, созданные между 1780—1814 годами, были

скроены по одному шаблону, и одной поэмы, посвященной бильбоке, совершенно достаточно, чтоб составить себе представление об остальных. Все они в некотором роде фокус. «Налой» надо считать Сатурном этого недоношенного поколения шутливых поэм, почти всегда состоящих из четырех песен, потому что доводить объем поэмы до шести песен значило бы перегрузить тему.

Поэма Гурдона, озаглавленная «Бильбокеида», была строго подчинена совершенно тождественным и раз навсегда установленным правилам поэтики, которым подчиняются все подобные департаментские творения: в первой песне обычно дается описание воспеваемого предмета, и начинается она, как у Гурдона, торжественным обращением, примером коего могут служить следующие строфы:

Пою прелестную игру для всех сословий:
Для тех, кто стар и мал, кто глуп, кто потолковей;
Когда берет рука заостренный самшит
И шар о двух дырах подбросить вверх спешит.
О дивная игра, над скукою победа.
Одна из выдумок достойных Паламеда!
Ты, Муза дивная, благоволи с вершин
Под кровлю снизойти, где я, Фемиды сын,
На гербовых листах сии слагаю строки.
Приди и очаруй...

Объяснив, в чем состоит игра, и дав описание наиболее красивых из всех известных бильбоке, показав, какое значение имело бильбоке для развития токарного промысла и, в частности, для процветания мастерской под фирмой «Зеленая обезьяна», разъяснив отношение этой игры к статистике, Гурдон заканчивал свою первую песню следующими строками, которые напоминают заключительные строки первой песни всех подобных поэм:

Так сочетаются Искусство и Наука
К взаимной выгоде, чтоб осветить предмет,
Что развлечение и радость нам дает.

Вторая песня, как всегда посвященная описанию различных способов пользования «предметом» и преимуществ, кои он дает в обхождении с женским полом и в свете, будет целиком ясна любителям этой премудрой

литературы по одной нижеприводимой цитате, рисующей игрока, который проделывает свои упражнения на глазах у «любимого предмета»:

Вот вам один игрок,— взгляд на него лишь бросьте!
Как зорко он глядит на шар слоновой кости;
Дыханье затаив, он смотрит, он следит.
Как линию свою шар в воздухе чертит:
Диск трижды описать параболу стремится,
Как будто бы кадя пред милой чаровницей.
А если проскочил и перст зашиб чуть-чуть,
С лобзанием игрок спешит к персту прильнуть.
Чудак! Тебе ль рыдать над сделанной ошибкой!
Ведь ты вознагражден божественной улыбкой

Именно это описание, достойное пера Вергилия, поставило под вопрос превосходство Делиля над Гурдоном. Слово «диск», против которого восставал здравомыслящий Брюне, дало пищу спорам, продолжавшимся без малого год, но на одном из вечеров, когда обе стороны уже дошли до белого каления, Гурдон-ученый уничтожил партию «антидискистов» следующим замечанием: «Луна, называемая поэтами диском, на самом деле шар».

— Почем вы знаете? — ответил Брюне.— Ведь мы видим только одну ее сторону?

Третья песня содержала совершенно обязательную повествовательную часть и заполнена была пресловутым анекдотом о бильбоке. Все знают наизусть этот анекдот, связанный с одним видным министром Людовика XVI; но, согласно формуле, освященной газетой «Деба» в годы с 1810 по 1814, для восхваления бильбоке, этого своеобразного вида общественной повинности, *«анекдот позаимствовал новые прелести у поэзии и у красот, рассыпанных автором по его строкам»*.

Четвертая песня, подводившая итог всему произведению, заканчивалась смелыми стихами, не подлежавшими опубликованию в 1810—1814 годах, но увидевшими свет в 1824 году, после кончины Наполеона:

В то время как я пел, грома войны гремели!
Когда б цари других орудий не имели,
Когда бы наш народ среди густых дубрав,
Довольный, не искал себе иных забав,
То вся Бургундия, что днесь живет столь бурно,
Вновь обрела бы дни и Реи и Сатурна.

Эти прекрасные стихи были напечатаны в первом и единственном издании, вышедшем из-под печатного станка виль-о-фэйского типографа Бурнье.

Сто подписчиков, пожертвовав на это дело по три франка каждый, обеспечили поэме бессмертие, пример которого весьма опасен; и жест этот был тем более красив, что все сто доброжелателей слышали поэму и целиком и по кусочкам не менее ста раз.

Мадам Судри упразднила в конце концов бильбоке, красовавшееся на отдельном столике в ее гостиной и в течение семи лет подававшее повод к чтению выдержек из вышеупомянутой поэмы; она поняла, что бильбоке составляет ей конкуренцию.

Для характеристики автора, похвалявшегося тем, что портфель его богат и другими стихами, достаточно привести его подлинные слова, в которых он объявил высшему суланжскому обществу о существовании у него соперника.

— Знаете ли вы странную новость? — сказал он года за два до описываемых нами событий.— В Бургундии есть еще один поэт... Да,— продолжал он, заметив удивление, отразившееся на всех лицах,— он из Макона. Но вам никогда не вообразить, *чем он занимается!* Он воспевает облака в стихах...

— А между тем облака не плохи и в небесах,— заметил остряк дядя Гербе.

— Прямо какая-то дьявольская тарабарщина! Тут и озера, и звезды, и волны... Ни одного осмысленного образа, никакой назидательности, он совершенный профан в поэзии. Небо он называет попросту небом, луну — луной, а не ночным светилом. Вот до чего может довести жажда оригинальности! — с болью в голосе воскликнул Гурдон.— Бедный молодой человек! Быть бургундцем и воспевать воду,— просто жалость берет! Если бы он обратился ко мне за советом, я указал бы ему прекраснейший в мире сюжет,— поэма о вине, Вакхеида,— сюжет, для которого я уже чувствую себя слишком старым.

Великий поэт так и не узнал никогда о величайшем из своих триумфов (которому он, впрочем, был обязан своим бургундским происхождением): он занял внимание города Суланжа, ничего не знавшего о плеяде современных поэтов, не слышавшего даже их имен!

Целая сотня Гурдонов бряцала на лире в эпоху Империи, ну, как же можно обвинять это время в пренебрежении к литературе!.. Загляните в «Вестник книжной торговли», и вы в нем найдете поэмы, посвященные токарному станку, шашкам, триктраку, географии, типографскому делу, комедии и т. д., не говоря уже о прославленных творениях Делиля, трактующих о Сострадании, Воображении, Беседе, или творениях Бершу о Гастрономии, Танцомании и т. д. Быть может, лет через пятьдесят будут смеяться над бесчисленными поэмами, подражающими «Размышлениям», «Восточным мотивам» и прочим. Кто может предвидеть изменения вкуса, причуды моды и превращения человеческого духа? Новые поколения сметают на своем пути идолов и отливают себе новые кумиры, которые будут, в свою очередь, низвергнуты.

Благообразный пегенький старичок Саркюс одновременно служил и Фемиде и Флоре, то есть закону и своей теплице. Он уже двенадцать лет обдумывал сочинение под заглавием «История института мировых судей», «политическая и судебная роль коих,— говорил он,— с течением времени видоизменялась несколько раз, ибо по брюмеровскому кодексу IV года они были всесильны, а в данный момент этот весьма ценный для государства институт утратил всякое значение вследствие несоответствия жалованья со столь ответственной должностью, которую следовало бы сделать несменяемой».

Саркюс, слывший человеком большого ума, считался великим политиком в гостиной мадам Судри; нетрудно догадаться, что он попросту был самым скучным из всех ее посетителей. Про него рассказывали, что он говорит, как по писаному; Гобертен сулил ему крест Почетного легиона, но приурочивал это награждение к тому времени, когда сам в качестве преемника Леклерка займет депутатское место на скамьях левого центра.

Податной инспектор Гербе, присяжный остроумец, грузный толстяк с лоснящимся лицом, в накладке из фальшивых волос на темени и в золотых серьгах, вечно воевавших с воротником его рубашки, питал склонность к помологии [1]. Он был горд своим фруктовым садом, луч-

[1] Наука о разведении культурных плодовых деревьев.

шим в округе,— он снимал первые плоды месяцем позже, чем они появлялись в Париже; в своих тепличках он разводил самые «тропические» растения, как-то: ананасы, персики и зеленый горошек. Он с гордостью подносил мадам Судри букетик земляники, когда в Париже она продавалась по десяти су за корзину.

Наконец, в лице аптекаря, г-на Вермю, Суланж имел своего химика, бывшего несколько более химиком, нежели Саркюс государственным деятелем, Люпен — певцом, Гурдон-старший — ученым, а брат его — поэтом. Тем не менее высшее городское общество мало ценило г-на Вермю, а для второразрядного он и вовсе не существовал. Возможно, что одни инстинктивно чувствовали действительное превосходство этого всегда молчаливого и задумчивого человека, насмешливо улыбавшегося в ответ на высказываемые глупости, и потому к учености его относились весьма подозрительно и втихомолку ставили ее под большой вопрос; а другие не утруждали себя суждениями о нем.

Вермю был козлом отпущения в гостиной мадам Судри. Никакое общество не может считаться полным, если в нем нет своей жертвы, кого-нибудь, вызывающего насмешки, презрение или покровительственно-снисходительную жалость. Вермю, вечно занятый научными вопросами, являлся в плохо повязанном галстуке, в незастегнутом жилете, в зелененьком затрапезном сюртучке. Он подавал повод к шуткам и своим лицом, до того круглым и гладким, что дядя Гербе уверял, будто оно в конце концов стало похожим на ту часть тела, которую он пользовал.

Дело в том, что в провинции, в медвежьих углах вроде Суланжа, аптекари еще практикуют на манер аптекарей из комедии «Пурсоньяк». Сии почтенные мужи делают это тем охотнее, что берут особое вознаграждение за вызовы на дом.

Этот маленький человечек, наделенный терпением истого химика, «не одолел» своей жены (так говорят в провинции, желая выразить царящее в доме безначалие), очаровательной веселой женщины и к тому же прекрасного карточного партнера (она, не поморщившись, проигрывала по сорок су в вечер), которая всячески поносила мужа, преследовала его насмешками и

выставляла дураком, способным выцеживать из своих воронок одну только скуку. Г-жа Вермю принадлежала к тем женщинам, которые в провинциальных городах играют роль «души общества»; она вносила в этот ограниченный мирок много соли, правда, только кухонной, но зато какой соли! Она позволяла себе иногда несколько смелые шутки, но они ей прощались; она могла сказать седовласому семидесятилетнему старику, кюре Топену:

— Молчать, мальчишка!

У суланжского мельника, имевшего пятьдесят тысяч франков ежегодного дохода, была единственная дочь, которую Люпен прочил в жены своему сыну Амори, с тех пор как потерял надежду женить его на мадемуазель Гобертен, а председатель суда Жандрен прочил эту девицу своему сыну, регистратору в управлении по закладу недвижимых имуществ; это порождало известную вражду.

Мельник, некий Саркюс-Стопен, был местным Нусингеном; он слыл за архимиллионера, но наотрез отказывался принимать участие в каких бы то ни было коммерческих операциях, был занят размолом зерна, стремясь захватить все местные мельницы в свои руки, и отличался полным отсутствием учтивости и хороших манер.

Дядя Гербе, брат содержателя почтовой станции в Куше, имел примерно десять тысяч франков годового дохода, не считая дохода от сбора податей. Гурдоны были богаты: врач был женат на единственной дочери главного лесничего старика Жандрена-Ватбле, смерти которого ждали со дня на день, а секретарь суда — на племяннице и единственной наследнице суланжского кюре аббата Топена, толстого попа, засевшего в своем приходе, как крыса в кладовой.

Ловкий суланжский церковнослужитель был всецело предан высшему кругу, приветлив и обходителен со средним и пастырски строг с бедняками, в городе он пользовался общей любовью; он приходился родственником мельнику и Саркюсам, был местным уроженцем и принадлежал к авонской «медиократии». Ради экономии он обедал в гостях, ездил по свадьбам, но удалялся до начала бала; разговоров на политические темы

избегал и, отправляя требы, говорил: «Это мое ремесло!» И его не трогали и говорили: «У нас хороший кюре!» Епископ, прекрасно знавший суланжских обывателей, не переоценивал аббата Топена, но посчитал себя счастливым, что назначил в такой город священника, не отпугивающего население от религии, умеющего привлечь в церковь молящихся и произносящего проповеди перед мирно дремлющими старухами.

Обе *дамы* Гурдон — ибо в Суланже так же, как в Дрездене и в ряде других немецких столиц, люди высшего общества, встречаясь друг с другом, говорят: «Как здоровье вашей дамы?», или: «С ним не было его дамы», или: «Я видел его даму и его барышню» и т. д.; парижанин бы оскандалился, был бы обвинен в невоспитанности, если бы сказал: «женщины», «эта женщина» и т. п.; в Суланже так же, как в Женеве, Дрездене и Брюсселе, существуют только супруги; там, правда, не принято, как в Брюсселе, писать на вывесках: «Супруга такого-то», но говорить «ваша супруга» совершенно обязательно; итак, обе *дамы* Гурдон могли быть сопоставлены лишь с теми жалкими фигурантками второразрядных театров, которые хорошо знакомы парижанам, не раз смеявшимся над этого сорта *артистками*. Для полной характеристики обеих *дам* достаточно сказать, что они принадлежали к разряду *славных бабенок*, тогда любой, даже самый необразованный обыватель легко найдет среди окружающих образцы этого основного женского типа.

Нечего и говорить, что дядюшка Гербе считался знатоком в финансовых вопросах, а Судри, по общему мнению, мог бы занять пост военного министра. Словом, каждый из этих почтенных буржуа отличался какой-нибудь особой причудой, столь необходимой в провинциальном быту и, не зная соперников, рьяно возделывал свой собственный участок на полях тщеславия.

Если бы Кювье, не раскрывая своего инкогнито, проездом побывал здесь, суланжское высшее общество убедило бы его, что по сравнению с познаниями Гурдона-врача его познания ничтожны. Нури с его «приятным жиденьким голосочком», как говорил с покровительственной снисходительностью нотариус, едва ли оказался бы достойным вторить «суланжскому соло-

вью». А что касается автора «Бильбокеиды», печатавшейся в это время у Бурнье, то никому не верилось, чтобы в Париже нашелся равный ему по силе поэт, ибо Делиля уже не было в живых.

Итак, эта самоупоенная провинциальная буржуазия считала, что может первенствовать над любой общественной величиной. Только люди, которые более или менее долго жили в захолустных городках, способны представить себе выражение глубокого самодовольства, разлитое на лицах суланжских обывателей, возомнивших себя солнечным сплетением Франции; эти люди, наделенные поразительным талантом на всякие пакости, со свойственной им мудростью решили, что один из героев Эслинга — трус, что г-жа де Монкорне — «интриганка, у которой хвост замаран», что аббат Бросет — мелкий честолюбец; уже через две недели после продажи с торгов Эгов им стало известно простонародное происхождение генерала, и они прозвали его Обойщиком.

Если бы Ригу, Судри и Гобертен жили в Виль-о-Фэ, они непременно перессорились бы, их интересы неизбежно столкнулись бы. Но волею судеб бланжийский Лукулл испытывал потребность в одиночестве, дабы в свое удовольствие спокойно вести свои ростовщические махинации и предаваться сладострастию; мадам Судри оказалась достаточно сообразительной и поняла, что может царить только в Суланже, а Гобертен сосредоточил свою деятельность в Виль-о-Фэ. Те, кто изучает природу социальных явлений, должны согласиться, что несчастный рок преследовал генерала де Монкорне, ибо его враги жили не в непосредственном соседстве и осуществляли свои честолюбивые замыслы на известном расстоянии друг от друга, что предохраняло эти светила от столкновения и удесятеряло их способность вредить.

Суланжские достойные буржуа, гордые своим благополучием, считали свое общество в отношении приятности много выше общества Виль-о-Фэ и с комической важностью повторяли вошедшую у них в поговорку фразу: «Суланж — город удовольствий и хорошего общества»; однако было бы весьма неосмотрительно предположить, что авонская столица мирилась с таким гла-

венством. В салоне Гобертенов под сурдинку посмеивались над салоном супругов Судри. Уже по одному тому, как Гобертен говорил: «У нас город коммерческий, город деловой, мы по глупости своей и скуки ради наживаем деньгу!» — не трудно было почувствовать легонький антагонизм между землей и луной. Луна полагала, что она полезна земле, а земля командовала луной. Впрочем, луна и земля жили в полном согласии. На масленице все высшее суланжское общество скопом выезжало на четыре бала, дававшиеся Гобертеном, Жандреном, сборщиком податей Леклерком и прокурором — Судри-сыном. Каждое воскресенье прокурор с женой и супруги Гобертен с дочерью Элизой обедали у суланжских Судри. Когда бывал приглашен супрефект и приезжал угоститься «чем бог послал» г-н Гербе, содержатель почтовой станции в Куше, обыватели города Суланж могли любоваться четырьмя департаментскими экипажами у подъезда дома мадам Судри.

II

ЗАГОВОРЩИКИ У КОРОЛЕВЫ

Подъезжая к Суланжу в половине шестого, Ригу знал, что застанет всех завсегдатаев салона Судри на своем посту. У мэра, как и во всем городе, обедали по обычаю прошлого столетия в три часа. От пяти до девяти суланжская знать собиралась, чтобы поделиться новостями, произнести свои политические «спичи», посудачить о частной жизни обитателей всей Авонской долины и поговорить об Эгах, ежедневно дававших пищу для разговора по меньшей мере в течение целого часа. Каждый спешил поделиться своими сведениями о том, что делается в замке, зная, какое удовольствие доставит он этими сообщениями хозяевам дома.

Вслед за этим обязательным обзором событий садились за бостон — единственную игру, которую знала королева. Дородный дядюшка Гербе потешал общество, передразнивая мадам Изору, жену Гобертена, высмеивая ее жеманные позы, тоненький голосок, губки бантиком и девичьи повадки; аббат Топен рассказывал

очередной анекдот из своего репертуара, Люпен сообщал о каком-нибудь происшествии из виль-о-фэйской жизни, и все хором осыпали мадам Судри до тошноты приторными комплиментами; а затем говорилось: «Мы удивительно приятно поиграли в бостон».

Ригу был слишком эгоистичен и не поехал бы за двенадцать километров только ради того, чтобы послушать глупости, которые изрекали постоянные гости мадам Судри, и посмотреть на обезьяну, наряженную старухой; и по уму и по образованию он был головой выше всей этой мелкой буржуазии и показывался в суланжском обществе только в тех случаях, когда ему надо было повидать нотариуса. Он не водил компании с соседями, ссылаясь на дела, на свои привычки и на здоровье, не позволявшее ему, по его словам, возвращаться ночью по дороге, окутанной туманами Туны.

Впрочем, высокий и сухой ростовщик весьма импонировал обществу, собиравшемуся у мадам Судри: в нем чуяли жестокость и стальные когти тигра, лукавство дикаря, мудрость, зародившуюся в монастыре и созревшую под лучами золота,— те самые свойства, из-за которых Гобертен не решался с ним связываться.

Как только плетеная тележка миновала «Кофейню мира», Урбен, слуга супругов Судри, беседовавший с трактирщиком, сидя на скамейке под окнами столовой, приложил ладонь козырьком к глазам и стал всматриваться в подъезжавший экипаж

— Это дядя Ригу! Пойти отворить ему ворота. Подержите-ка его лошадь, Сокар,— сказал он трактирщику без всяких церемоний.

И Урбен, бывший кавалерист, не устроившийся в жандармы и поступивший после отставки в услужение к Судри, пошел отворять ворота.

Сокар, пользовавшийся громкой славой в Авонской долине, держал себя, как видит читатель, очень просто; но ведь многие знаменитые люди столь милы, что ходят, чихают, спят и едят совершенно так же, как и простые смертные.

Будучи геркулесом от рождения, Сокар поднимал огромные тяжести, гнул подковы, останавливал за задок проезжающую телегу. Слава об этом Милоне Кротонском гремела по всему департаменту, и о нем, как и о

всех знаменитостях, ходили легенды. Так, в Морване рассказывали, будто он притащил однажды на рынок на собственной спине какую-то бедную женщину вместе с ее ослом и поклажей, что он за один день съел целого быка и выпил четверть бочки вина и еще многое в том же роде. Сокар, кроткий, как девушка-невеста, коренастый крепыш с невозмутимо спокойным лицом, широченными плечами и широченной грудью, с могучими, как кузнечные мехи, легкими, говорил звонким тоненьким голоском, поражавшим тех, кто слышал его впервые.

Как Тонсар, избавленный благодаря утвердившейся за ним славе от необходимости доказывать на деле свою жестокость, как все люди, о которых сложилось определенное мнение, Сокар никогда не хвастался своей всесокрушающей физической силой, разве только если его об этом просили друзья. Итак, когда тесть прокурора повернул к подъезду, Сокар взял лошадь под уздцы.

— Все ли у вас дома благополучно, господин Ригу? — спросил знаменитый трактирщик.

— Помаленьку, приятель,— ответил Ригу.— Ну, а Плиссу и Бонебо с Виоле и Амори по-прежнему поддерживают твою коммерцию?

Вопрос этот, заданный как будто с благодушным любопытством, не был праздным вопросом, мимоходом брошенным человеком, выше стоящим, другому, низшего звания. В свободные минуты Ригу всегда обдумывал разные разности, а на приятельские отношения, завязавшиеся между Бонебо, Плиссу и жандармом Виоле, дядя Фуршон уже указывал ему, как на весьма нежелательные. Проиграв несколько экю, Бонебо мог выдать жандарму все крестьянские тайны, а выпив две-три лишние кружки пуншa, пуститься с ним в откровенности, не придавая значения своей болтовне. Впрочем, оговоры охотника на выдр могли быть подсказаны желанием выпить, и Ригу не обратил бы на них внимания, если бы не Плиссу, который по самому своему положению должен был оказывать некоторое противодействие замыслам, направленным против Монкорне, хотя бы для того, чтобы получить «подмазку» с той или другой стороны.

Судебный пристав Плиссу состоял корреспондентом одного из страховых обществ, понемногу начинавших появляться во Франции, был, кроме того, агентом «Компании по страхованию лиц, подлежащих воинской повинности»,— словом, набрал несколько плохо оплачиваемых должностей, весьма слабо способствовавших благополучному разрешению его денежных дел, тем более что он был одержим пристрастием к бильярду и «горячительному». Так же, как и Фуршон, он усердно предавался искусству ничегонеделания, надеясь разбогатеть по воле довольно проблематичного случая. Он от всей души ненавидел местное высшее общество, но понимал его силу. Один Плиссу проник во все тонкости организованной Гобертеном буржуазной тирании; он допекал насмешками суланжских и виль-о-фэйских богатеев, воплощая в своем лице всю оппозицию. Не имея средств, не пользуясь доверием, он никого не страшил, и естественно, что Брюне был в восторге от такого ничего не стоящего конкурента и всячески покровительствовал ему из опасения, как бы он не продал свою контору какому-нибудь ретивому молодому человеку, вроде Бонака, с которым ему пришлось бы поделить клиентуру в кантоне.

— По милости этой братии живем понемножку,— ответил Сокар,— вот только мое «горячительное» что-то стали подделывать.

— Надо тянуть в суд за такие дела,— наставительно заметил Ригу.

— Да суд-то уж очень затяжное дело! — ответил трактирщик, бессознательно играя словами.

— Ну, а между собой твои посетители живут дружно?

— Без размолвок дело, конечно, не обходится, да игроки такой народ,— что угодно простят друг другу.

Все гости Судри столпились у окон, выходивших на площадь. Узнав отца своей снохи, Судри вышел его встречать на крыльцо.

— Уж не заболела ли Анета, что вам вздумалось уделить нам сегодняшний вечерок, дорогой сват? — спросил бывший жандарм, называя Ригу таким уже выходящим из моды словом. По старой жандармской

привычке мэр всегда без околичностей задавал вопросы прямо в лоб.

— Нет, тут одно дело заварилось,— ответил Ригу, дотрагиваясь указательным пальцем до руки, протянутой бывшим жандармом.— Сейчас мы с вами потолкуем, так как это касается и наших детей...

Судри, видный мужчина, одетый, как будто он еще служил в жандармерии, в синий костюм с черным воротником и в высокие сапоги со шпорами, взял Ригу под руку и подвел его к своей импозантной половине. Двери на террасу были открыты, и гости прогуливались по ней, наслаждаясь летним вечером, придававшим еще больше прелести очаровательному пейзажу,— по уже сделанному нами наброску его легко себе представят читатели, обладающие некоторой долей воображения.

— Давно мы с вами не виделись, дорогой Ригу,— промолвила мадам Судри, беря под руку бывшего бенедиктинца и выходя с ним на террасу.

— Желудок мой что-то плохо варит,— ответил старый ростовщик.— Взгляните, у меня лицо почти такое же красное, как и у вас...

Появление Ригу на террасе вызвало, как и следовало ожидать, взрыв веселых приветствий.

— Псст... Ригу! Вот вам еще один каламбур! — воскликнул податной инспектор г-н Гербе, пожимая руку Ригу, который протянул ему указательный палец.

— Не плохо! Не плохо! — одобрил кругленький мировой судья Саркюс.— Наш бланжийский барин в самом деле не прочь постричь овечек.

— Барин? — с горечью отозвался Ригу.— Меня уж давно разжаловали из петухов бланжийского курятника.

— А курочки, старый греховодник, говорят совсем другое! — воскликнула мадам Судри, игриво ударяя Ригу веером.

— Ну, как мы поживаем, дорогой доверитель? — вопрошал нотариус, здороваясь со своим главным клиентом.

— Понемножку,— ответил Ригу, протягивая нотариусу только указательный палец.

Жест, которым Ригу сводил рукопожатие к самому

«КРЕСТЬЯНЕ».

«КРЕСТЬЯНЕ»

бездушному приветствию; сразу обрисовал бы этого человека даже вовсе не знающим его людям.

— Пойдемте куда-нибудь, где бы можно было спокойно поговорить,— сказал бывший монах, взглянув на Люпена и мадам Судри.

— Вернемся в гостиную,— ответила королева.— Наши гости,— добавила она, указывая на Гурдона-врача и Гербе,— спорят о *процедуре*.

Мадам Судри осведомилась о предмете спора. «Это целая процедура»,— ответил ей Гербе, всегда готовый сострить. Королева решила, что это научный термин. Услыхав эти сказанные с претенциозным видом слова, Ригу улыбнулся.

— Что там еще натворил Обойщик? — спросил Судри, усаживаясь рядом с женой и обнимая ее за талию.

Как и все старухи, мадам Судри прощала многое за нежность, проявленную к ней при посторонних.

— На этот раз,— ответил Ригу, понижая голос и тем самым подавая пример осторожности,— он поехал в префектуру добиваться, чтобы приговоры были приведены в исполнение, и просить о поддержке военной силой.

— Тут-то ему и крышка! — воскликнул Люпен.— Быть драке!

— Драке? — переспросил Судри.— Ну, это еще вопрос. Префект и дивизионный генерал ему друзья, и если они пришлют эскадрон кавалерии, крестьяне ни на какую драку не пойдут... Можно еще кое-как справиться с суланжскими жандармами, но попробуйте устоять против кавалерийской атаки.

— Сибиле слышал, как Монкорне говорил еще кое-что, гораздо более опасное для нас. Поэтому-то я и приехал,— продолжал Ригу.

— О бедная моя Софи! — сентиментально воскликнула бывшая горничная.— В какие руки попали Эги! Вот что дала нам революция: хвастунишек в генеральских эполетах! Не трудно, кажется, было догадаться, что раз перевернешь бутылку, испортишь подонками все вино!..

— Он решил поехать в Париж и добиться у министра юстиции полной смены теперешнего состава суда.

— А-а,— протянул Люпен,— он понял, откуда ему грозит опасность.

— Если зятя моего переведут отсюда, назначив товарищем прокурора, тут ничего не возразишь. А на его место Монкорне посадит какого-нибудь преданного ему парижанина,— продолжал Ригу.— Если он добьется места в департаментском суде для господина Жандрена и назначения нашего судебного следователя Гербе председателем Оссэрского суда, он спутает нам все карты!.. Жандармерия уже за него, а если за него будет и местный суд да, кроме того, если при нем останутся такие советчики, как аббат Бросет и Мишо, нам придется не сладко: он может натворить таких дел!..

— И как это вы за пять лет не избавились от аббата Бросета? — спросил Люпен.

— Вы его не знаете. Он осторожен, как кошка,— ответил Ригу.— Этот священник не мужчина, он не обращает внимания на женщин, я не знаю ни одного его увлечения, к нему ни с какого боку не подступишься. Вот генерал, тот из-за своей раздражительности постоянно попадает впросак. Человек, у которого есть такой порок, всегда будет игрушкой своих врагов, если они сумеют использовать его слабую струнку. Силен только тот, кто управляет своими пороками, а не тот, кто идет у них на поводу. С крестьянами все налажено, мы их против аббата настрополили, но пока никак под него не подкопаешься. Вот и с Мишо так же. Они оба чересчур хороши, господу богу следовало бы их прибрать к себе...

— Надо бы им подсунуть подходящих служанок,— сказала мадам Судри, и Ригу даже привскочил на месте, как это бывает с очень хитрыми людьми, когда им подадут какую-нибудь хитрую мысль.

— У Обойщика есть еще одно слабое место: он любит свою жену, вот с этой стороны и надо на него подействовать...

— Да, но прежде всего надо узнать, даст ли он ход своим намерениям...

— А как узнать? Вот в чем загвоздка! — воскликнул Люпен.

— Вы, Люпен,— безапелляционно сказал Ригу,— отправитесь в префектуру навестить прелестную мадам

Саркюс, и не позже как сегодня же вечером! Ваше дело — добиться, чтобы она выведала от мужа все, что говорил и делал в префектуре Обойщик.

— Придется там переночевать,— ответил Люпен.

— Тем лучше для Саркюса-богатого, он от этого только выиграет,— заметил Ригу.— А ваша мадам Саркюс еще не совсем «мазня»...

— О господин Ригу! — жеманно воскликнула супруга мэра.— Разве женщину можно называть «мазней»?

— Насчет этой бабенки вы правы: она перед зеркалом не подмазывается,— ответил Ригу, которого всегда злили выставленные для общего обозрения древние прелести бывшей девицы Коше.

Мадам Судри, полагавшая, что она лишь «чуточку» подрумянивается, не поняла его колкого намека и спросила:

— Неужели женщины могут мазаться?

— А затем, Люпен,— продолжал Ригу, оставив без ответа сей наивный вопрос,— возвращайтесь завтра утром, наведайтесь к папаше Гобертену; предупредите его, что мы со сватом,— сказал он, хлопнув Судри по ляжке,— приедем к нему перекусить, пусть ждет нас к завтраку часам к двенадцати. Расскажите ему наши дела, а на досуге мы все обмозгуем, как нам дальше поступать, ведь надо же, наконец, покончить с проклятым Обойщиком. Едучи к вам, я подумал, что не худо бы поссорить Обойщика с судом, да так крепко, чтобы министр юстиции рассмеялся ему в лицо, когда он явится просить об изменениях в составе виль-о-фэйского суда...

— Да здравствует духовенство! — воскликнул Люпен, хлопая Ригу по плечу.

Мадам Судри тотчас же осенила мысль, которая могла прийти в голову только бывшей горничной оперной дивы.

— Если бы нам удалось,— сказала она,— заманить Обойщика на суланжскую ярмарку и напустить на него какую-нибудь красотку, да такую, чтоб он голову потерял, и если бы он с ней поладил, мы поссорили бы его с женой, доведя до ее сведения, что сын столяра никуда от своих прежних вкусов не уйдет...

— Ах ты, моя умница! — воскликнул Судри.— Да

ты всю полицейскую префектуру Парижа за пояс заткнешь!

— Такая блестящая мысль доказывает, что вы наша королева столько же по уму, как и по красоте,— промолвил Люпен.

Люпен был вознагражден гримасой, безоговорочно принимавшейся высшим суланжским обществом за улыбку.

— Было бы еще лучше,— промолвил Ригу, долго сидевший в задумчивости,— довести дело до скандала...

— Протокол, жалоба и дело в суде исправительной полиции,— воскликнул Люпен,— о, вот это здорово!

— Какая была бы радость,— наивно воскликнул Судри,— если бы графа де Монкорне, офицера большого креста Почетного легиона, командора ордена святого Людовика, генерал-лейтенанта, обвинили, скажем, в посягательстве на честь девушки в общественном месте!

— Он слишком любит свою жену,— рассудительно заметил Люпен,— до таких вещей его никогда не довести.

— Это — не препятствие, да только во всем округе не найти такой девки, чтоб могла ввести в грех святого. Я давно уже тщетно ищу искусительницу для нашего аббата! — воскликнул Ригу.

— Ну, а что вы скажете о Гатьене Жибуляр из Оссэра, о красотке, по которой сходит с ума сын Саркюса? — спросил Люпен.

— Да, эта, пожалуй, подошла бы,— ответил Ригу,— да только она для наших целей не годится. Она полагает, что стоит ей показаться, и все придут в восторг. Много воображает о себе и не очень-то она приветлива, а тут нужна тонкая штучка, бесенок... Все равно, пусть приходит.

— Да,— заявил Люпен,— чем больше девушек он увидит, тем больше шансов на успех.

— Ох, не легко будет заманить Обойщика на ярмарку! А если он и приедет на праздник, то еще вопрос, пойдет ли он на бал в наш кабак «Тиволи»,— сказал бывший жандарм.

— Причины, которая помешала бы ему поехать в

этом году на ярмарку, уже не существует, мой дружок,— заметила мадам Судри.

— Какая же это причина, дорогая? — спросил супруг.

— Обойщик сватался к мадемуазель де Суланж,— сказал нотариус,— ему ответили, что она еще слишком молода, а он обиделся. Вот почему такие старые друзья, как господин де Суланж и генерал Монкорне, сослуживцы по императорской гвардии, до того охладели друг к другу, что даже перестали видеться. Обойщик боялся встретиться с Суланжами на ярмарке, но в этом году их там не будет.

Семейство Суланжей обычно проводило в имении июль, август, сентябрь и октябрь месяцы, но в данное время генерал командовал артиллерией в Испании, в армии герцога Ангулемского, и графиня последовала за мужем. При осаде Кадикса граф де Суланж, как известно, получил маршальский жезл, что случилось в 1826 году. Таким образом, у врагов Монкорне было основание предполагать, что обитатели Эгов соблаговолят на этот раз присутствовать на празднике в день успенья богородицы и что их нетрудно будет завлечь в «Тиволи».

— Верно! — воскликнул Люпен.— А теперь, папаша,— сказал он, обращаясь к Ригу,— ваше дело — действовать, устройте, чтобы он приехал на ярмарку, а мы уж сумеем как следует его обработать...

Суланжская ярмарка, одна из местных достопримечательностей, открывается 15 августа; это самая богатая из всех ярмарок на тридцать лье в окружности, не исключая и ярмарки в главном городе департамента. В Виль-о-Фэ ярмарка вовсе не устраивается, так как там приходский праздник, день св. Сильвестра, бывает зимой.

С 12 по 15 августа отовсюду съезжаются в Суланж торговцы, и обычно пустынная площадь оживает, на ней вырастают два ряда дощатых балаганов под серой парусиновой крышей. Две недели длятся ярмарка и праздник,— дни их можно сравнить со временем жатвы для маленького городка Суланжа. Праздник этот освящен обычаем, обаянием традиции. Крестьяне, как говорил дядя Фуршон, редко расстаются со своей дерев-

ней, где их держит работа. По всей Франции в наскоро сколоченных на ярмарочных площадях лавках выставляются всякие товары; чего-чего только тут нет — и предметы, необходимые в сельском обиходе, и предметы щегольства; все здесь прельщает крестьян, лишенных иных зрелищ, и поражает воображение женщин и детей. Начиная с 12 августа по распоряжению суланжской мэрии по всему Виль-о-Фэйскому округу расклеивались афиши за подписью Судри, сулившие покровительство властей всем торговцам, бродячим акробатам и всякого рода «чудодеям», объявлявшие о продолжительности ярмарки и о наиболее завлекательных зрелищах.

На этих афишах, одну из которых, как помнит читатель, выпрашивала у Вермишеля Тонсарша, всегда имелась заключительная строка:

«Тиволи» будет иллюминован разноцветными фонарями».

Действительно, город избрал в качестве залы для общественных балов «Тиволи», устроенный Сокаром в саду, таком же каменистом, как и весь холм, на котором стоит город Суланж, где почти все сады разбиты на привозной земле.

Этим свойством почвы объясняется особый вкус местного вина—белого, сухого и вместе с тем сладковатого; суланжское вино напоминает схожие между собой мадеру, вувре и иоганнисберг и целиком потребляется в самом департаменте.

Все жители Авонской долины гордились своим «Тиволи», так поразили их воображение балы в заведении Сокара. Некоторые из обывателей города, побывавшие в Париже, говорили, что столичный «Тиволи» только размерами превосходит суланжский. А Гобертен смело заявлял, что отдает предпочтение балам в трактире Сокара перед балами в парижском «Тиволи».

— Всем нам надо над этим подумать,— сказал Ригу.— Парижанину, который пишет в газетах, скоро прискучит его приятное времяпрепровождение, и, действуя через прислугу, можно будет всех их привлечь на ярмарку. Я об этом подумаю. Сибиле — хотя доверие к нему сильно пошатнулось — должен все-таки внушить

своему хозяину, что таким способом тот может приобрести популярность.

— Постарайтесь разузнать, жестока ли со своим мужем красавица графиня; от этого зависит удача той шутки, которую надо с ним разыграть в «Тиволи»,— сказал Люпен старому ростовщику.

— Эта дамочка,— воскликнула мадам Судри,— настоящая парижанка, она сумеет и волков накормить и овец уберечь!

— Фуршон пристроил свою внучку Катрин Тонсар к Шарлю, младшему лакею Обойщика: у нас скоро будут свои уши в замке,— ответил Ригу.— Уверены ли вы в аббате Топене?..— спросил он, увидя входившего кюре.

— И аббата Мушона и Топена мы держим в руках, как я держу своего Судри,— сказала супруга мэра, поглаживая мужа по подбородку и приговаривая:— Котик мой, ведь тебе хорошо?

— Если мне удастся осрамить этого ханжу аббата Бросета, я рассчитываю на них!..— тихо проговорил Ригу, вставая с места.— Но я не знаю, что в них окажется сильнее: чувства бургундца или священника. Вы себе не представляете, что это такое. Я сам, хоть и не дурак, а не отвечаю за себя, если серьезно заболею. Я, наверно, снова примирюсь с церковью.

— Разрешите нам на это надеяться,— промолвил кюре, увидя которого Ригу намеренно повысил голос.

— Увы! Я допустил ошибку, вступив в брак, и это препятствует моему примирению с церковью,— ответил Ригу.— Не могу же я убить жену!

— А пока что подумаем об Эгах,— сказала мадам Судри.

— Да,— ответил бывший бенедиктинец.— Я, знаете ли, считаю нашего куманька из Виль-о-Фэ куда умнее нас всех. Мне сдается, что Гобертен хочет заполучить Эги для себя одного, а всех нас оставить в дураках,— добавил Ригу. Едучи в Суланж, деревенский ростовщик из предусмотрительности мысленно пообстукал палочкой своего благоразумия темные местечки в поведении Гобертена, и некоторые из них звучали как-то глухо.

— Но Эги не достанутся никому из нас троих, замок надо сровнять с землей! — воскликнул Судри.

— Тем более что меня не удивит, если там припрятано золото,— тонко заметил Ригу.

— Ну!

— Да, в прежние времена, когда постоянно бывали войны, осады и внезапные нападения, владельцы замков зарывали деньги, чтобы в будущем достать их снова, а вам известно, что маркиз де Суланж-Отмэр, с которым прекратилась младшая ветвь рода, был одной из жертв заговора Бирона. Графиня де Морэ получила поместье по конфискации...

— Вот что значит изучать историю Франции! — воскликнул жандарм.— Но вы правы, пора договориться с Гобертеном о наших делах.

— А если он будет вилять, мы его прижмем,— сказал Ригу.

— Он теперь достаточно богат, чтобы быть честным,— заметил Люпен.

— Я ручаюсь за него, как за себя,— сказала мадам Судри,— это самый честный человек во всем королевстве.

— Мы верим в его честность,— продолжал Ригу,— но и с друзьями надо быть начеку... Кстати, я подозреваю, что в Суланже есть один человечек, который не прочь подставить нам ножку...

— Кто такой? — спросил Судри.

— Плиссу,— ответил Ригу.

— Плиссу? — возмущенно воскликнул Судри.— Эта жалкая кляча? Брюне крепко держит его за повод, а жена приманивает кормушкой,— спросите Люпена.

— Что он может сделать? — поинтересовался Люпен.

— Он хочет открыть глаза Монкорне,— пояснил Ригу,— заручиться его протекцией и получить местечко...

— Это никогда ему столько не даст, сколько зарабатывает его жена в Суланже,— съязвила мадам Судри.

— Когда он пьян, он все выбалтывает жене,— заметил Люпен,— мы вовремя узнаем...

— У очаровательной госпожи Плиссу нет от вас секретов,— сказал Ригу.— Тем лучше, мы можем быть спокойны.

— К тому же она так же красива, как и глупа,—

сказала мадам Судри.— Право, я бы с ней ни за что не поменялась, и будь я мужчиной, я бы предпочла некрасивую, но умную женщину красавице, которая не умеет сосчитать до двух.

— Ах,— заметил нотариус, покусывая губы,— зато она всякого заставит сосчитать до трех.

— Хвастун! — воскликнул Ригу, направляясь к выходной двери.

— Ну, значит, до завтрашнего утра,— сказал Судри, провожая свата.

— Я за вами заеду... Так вот что, Люпен,— сказал он нотариусу, вышедшему вместе с ним, чтобы велеть оседлать свою лошадь,— постарайтесь, чтобы мадам Саркюс узнала все, что Обойщик предпримет против нас в префектуре...

— Если она не узнает, кому же тогда и узнать? — ответил Люпен.

— Простите,— сказал Ригу, глядя с лукавой улыбкой на Люпена,— я вижу вокруг себя одних дураков и позабыл, что среди них имеется умник.

— Я и сам не знаю, как я среди них не отупел,— наивно ответил Люпен.

— Правда, что Судри завел себя горничную?

— Ну да! — ответил Люпен.— Вот уж неделя, как господин мэр, пожелав лучше оценить достоинства своей супруги, сравнивает ее с юной бургундочкой, и мы еще не можем понять, как он устраивается с мадам Судри, потому что у него хватает наглости весьма рано укладываться спать...

— Завтра узнаю,— ответил деревенский Сарданапал, пытаясь улыбнуться.

Прощаясь, оба глубоких политика пожали друг другу руки.

Ригу, невзирая на недавно приобретенную популярность, был по-прежнему человеком осторожным и хотел добраться домой засветло, поэтому он крикнул коню: «Вперед, гражданин!» — сын 1793 года всегда отпускал эту шутку, глумясь над революцией. У народных революций нет более ожесточенных врагов, чем люди, преуспевшие благодаря им.

— Что и говорить, не долги визиты нашего дяди Ригу,— сказал супруге мэра секретарь суда Гурдон.

— Не долги, да приятны,— ответила она.

— Он и жизнь себе приятную устроил,— заметил врач.— Этот человек злоупотребляет всеми удовольствиями.

— Тем лучше,— сказал Судри,— значит, мой сын скорее получит наследство.

— Рассказал он вам что-нибудь новое об Эгах? — спросил кюре.

— Да, дорогой господин аббат,— ответила мадам Судри.— Монкорне положительно бич нашей местности. Удивляюсь, как это графиня, такая все-таки порядочная женщина, не понимает своих интересов.

— А между тем у них есть с кого брать пример,— заметил кюре.

— С кого же? — спросила жеманно мадам Судри.

— Да ведь Суланжи...

— Ах, да...— промолвила королева после некоторой паузы.

— Здравствуйте, вот и я! — крикнула, входя в гостиную, мадам Вермю.— И без моего реактива, потому что Вермю со мной так неактивен, что его никаким активом не назовешь...

— За каким чертом вылезает из тележки старый пройдоха Ригу? — обратился бывший жандарм к Гербе, увидя, что тележка ростовщика остановилась у ворот «Тиволи».— Этот тигр с кошачьими повадками шагу без расчета не ступит.

— Воистину пройдоха,— отозвался кругленький податной инспектор.

— Входит в «Кофейню мира»,— сказал Гурдон-врач.

— Тише,— подхватил Гурдон-секретарь,— там идет благословение кулаками. Слышите, какой оттуда доносится визг?

— Эта кофейня,— заметил кюре,— истинный храм Януса. Во время Империи она называлась «Кофейня войны», а жизнь протекала в ней мирнее мирного; почтенные граждане собирались там для дружеской беседы...

— По-вашему, это беседа! — воскликнул судья.— Хороши, ей-богу, беседы, после которых появляются на свет маленькие Бурнье!..

— Но с тех пор как ее переименовали в честь Бур-

бонов «Кофейней мира», там что ни день потасовки,— сказал аббат Топен, заканчивая фразу, бесцеремонно прерванную мировым судьей.

Глубокомысленное рассуждение кюре разделяло судьбу цитат из «Бильбокеиды»: оно частенько повторялось.

— Это значит,— ответил дядюшка Гербе,— что Бургундия всегда будет страной кулачной расправы.

— То, что вы сказали, не так далеко от истины,— заметил кюре.— В этом почти вся история нашей страны.

— Я не знаю истории Франции,— воскликнул Судри,— но прежде чем с ней познакомиться, я очень хотел бы узнать, чего ради мой сват вошел вместе с Сокаром в кофейню?

— О,— промолвил кюре,— можете быть уверены, что не дела благотворительности привели его туда и сейчас там задерживают.

— Я как увижу господина Ригу, у меня мороз пробегает по коже,— сказала мадам Вермю.

— Это такой опасный человек,— сказал врач,— что если бы у него был против меня зуб, я не успокоился бы и после его смерти: он способен восстать из гроба, чтобы учинить какую-нибудь пакость.

— Уж если кому и удастся доставить к нам сюда Обойщика пятнадцатого августа и подстроить ему ловушку, так это дяде Ригу,— прошептал мэр на ухо жене.

— Особенно,— громко ответила она,— если Гобертен и ты, душа моя, приметесь за это дело...

— Ишь ты, что я говорил! — воскликнул г-н Гербе, подталкивая локтем г-на Саркюса.— Он приглядел у Сокара какую-то девицу и усаживает ее в свою тележку...

— Пока усаживает в тележку, а там...— добавил секретарь.

— Вот поистине бесхитростное замечание,— воскликнул г-н Гербе, прерывая певца «Бильбокеиды».

— Вы ошибаетесь, господа,— сказала королева,— господин Ригу заботится о наших интересах. Если зрение меня не обманывает, эта девушка — одна из дочерей Тонсара.

— Он вроде аптекаря, тот тоже запасается гадюками! — воскликнул дядюшка Гербе.

— Вы так это сказали, что можно подумать, будто вы увидели нашего аптекаря, господина Вермю,— усмехнулся врач Гурдон.

И он указал на низенького суланжского аптекаря, который как раз переходил через площадь.

— Бедняга! — воскликнул секретарь, о котором рассказывали, будто он с г-жой Вермю слишком часто злословит на чужой счет.— Ну и вид! И его считают ученым!

— Без него,— сказал мировой судья,— мы были бы в большом затруднении при вскрытиях; он так искусно обнаружил присутствие яда в кишечнике бедного Пижрона, что парижские химики заявили на суде присяжных в Оссэре, что им самим не добиться бы лучших результатов....

— Он ровно ничего не нашел,— возразил Судри,— но, как говорит председатель суда Жандрен, людям полезно внушить, что яд всегда обнаружится...

— Жена Пижрона хорошо сделала, что уехала из Оссэра! — сказала мадам Вермю.— У этой злодейки мало ума,— добавила она.— Неужели надо прибегать к каким-то снадобьям, чтобы избавиться от мужа? Разве нет у нас верных, но совершенно безобидных средств, чтобы отделаться от этой обузы? Пусть кто-нибудь поставит мне в укор мое поведение! Муж меня ни в чем не стесняет, и здоровье его от этого не хуже. А госпожа де Монкорне... Посмотрите, как она воркует в своих садовых хижинах и шале с журналистом, которого выписала на свой счет из Парижа, и как она с ним нежна, да еще на глазах у генерала?

— На свой счет? Это верно? — воскликнула мадам Судри.— Если бы у нас было доказательство, что это так, мы бы состряпали неплохое анонимное письмецо генералу!

— Генералу?..— переспросила мадам Вермю.— Но вы этим ничуть его не потревожите,— Обойщик занят своим ремеслом.

— Каким ремеслом, моя милая? — спросила мадам Судри.

— Ну, как же! Набивает тюфяк для их постели...

— Если бы бедняга Пижрон, вместо того чтобы донимать жену, поступал так же мудро, он до сих пор был бы жив,— сказал секретарь.

Мадам Судри склонилась к своему соседу Гербе — кушскому содержателю почтовой станции, награждая его одной из обезьяньих гримас, как она думала, унаследованных ею от прежней хозяйки по праву захвата вместе с серебряной посудой, и, удвоив дозу своих ужимок, указала ему на г-жу Вермю, кокетничавшую с автором «Бильбокеиды».

— Какой дурной тон у этой особы! Что за разговоры, что за манеры! Уж, право, не знаю, могу ли я продолжать принимать ее в нашем обществе, в особенности когда здесь бывает господин Гурдон-поэт.

— Вот вам и социальная мораль! — сказал безмолвно за всем наблюдавший кюре.

После этой насмешки, или, вернее, сатиры над обществом, такой сжатой и правильной, что она могла относиться к каждому, было предложено приступить к бостону.

Разве не такова жизнь на всех ступенях того, что принято называть светом?! Измените только манеру выражаться, и буквально те же разговоры вы услышите в самых раззолоченных парижских салонах — ни больше ни меньше.

III

«КОФЕЙНЯ МИРА»

Было около семи часов, когда Ригу проезжал мимо «Кофейни мира». Заходящее солнце озаряло косыми лучами хорошенький городок, окрашивая его в ярко-алые тона, а ясное зеркало озера служило контрастом резкому сверканию пламенеющих стекол, переливавшихся самыми странными, самыми невероятными красками.

Весь отдавшись замышляемым козням, хитрый политик медленно ехал, погруженный в свои думы, мимо «Кофейни мира», и вдруг до его слуха донеслось, имя «Ригу», которое кто-то крикнул в пылу спора, ибо, как

и говорил аббат Топен, между названием этого заведения и буйными нравами, царившими в нем, существовало вопиющее противоречие.

Для понимания последующей сцены необходимо познакомить читателя с топографией этого благодатного уголка, расположенного между площадью, куда выходила кофейня, и кантональным трактом, до которого спускался знаменитый сад «Тиволи», предназначенный, по замыслу зачинщиков, давно строивших козни против генерала де Монкорне, служить местом действия задуманной ими сцены.

Кофейня помещается в угловом доме того же типа, что и дом Ригу; три окна нижнего этажа выходят на дорогу, а два со стеклянной входной дверью между ними — на площадь. Кроме этой двери, в «Кофейне мира» имеется еще одна небольшая дверка, которая ведет во внутренний дворик через узкий проход, отделяющий кофейню от соседнего дома суланжского лавочника Вале.

Дом Сокара окрашен в золотисто-желтый цвет, за исключением зеленых ставен, он — один из немногих в городке — трехэтажный с мансардой.

До удивительного расцвета Виль-о-Фэ второй этаж этого дома, с четырьмя комнатами, снабженными кроватями и кое-какой плохонькой обстановкой, необходимой для оправдания названия «меблированные комнаты», сдавался приезжим, вызванным в Суланж в прежний окружной суд, или гостям помещиков, почему-либо не оставшимся ночевать в замке; но вот уже двадцать пять лет в меблированных комнатах останавливались только бродячие акробаты, ярмарочные торговцы, продавцы целебных снадобий и коммивояжеры. Во время суланжской ярмарки комнаты шли по четыре франка в сутки. Эти четыре комнаты приносили Сокару около сотни экю, не считая экстраординарных доходов от кушаний, потреблявшихся за это время постояльцами в его кофейне.

Фасад дома со стороны площади украшала весьма своеобразная живопись. В двух простенках между входной дверью и окнами были изображены бильярдные кии, любовно перевязанные лентами, а над бантами возвышались греческие вазы со стоявшими в них чаша-

ми дымящегося пунша. Слова «Кофейня мира» ярко выделялись своими желтыми буквами на зеленом поле вывески, в обоих концах которой красовались пирамиды из трехцветных бильярдных шаров. В зеленые оконные рамы с частым переплетом были вставлены дешевые стекла.

Справа и слева от входа стояло штук десять деревянных кадок с туями: деревья эти следовало бы называть «кофейными», ибо они всегда украшают такие заведения своей болезненной и претенциозной хвоей. Парусиновые «маркизы», которые в Париже и в некоторых богатых городах предохраняют магазины от солнечных лучей, были тогда роскошью, еще неизвестной в Суланже. Колбообразные бутыли, расставленные на полках за окном, тем более напоминали эту химическую посуду, что благословенная влага подвергалась в них периодическому нагреванию. Лучи солнца, концентрируясь в выпуклостях пузырчатых оконных стекол, вызывали брожение в выставленных бутылях мадеры, сиропов и ликеров, в банках с пьяной вишней и сливой, а жара действительно была такая, что выгоняла Аглаю, ее отца и слугу на скамеечки, стоявшие по обе стороны двери под жалкой зеленью туй, которые мадемуазель Сокар время от времени поливала почти горячей водой. Иногда все трое — отец, дочка и официант,— словно домашние животные, спали у входа.

В 1804 году, в эпоху наибольшей славы «Павла и Виргинии», комнаты были оклеены обоями с изображением главнейших сцен из этого романа. Посетители могли тогда любоваться неграми за сбором кофе,— значит, кофе все-таки водился в этой кофейне, хотя за целый месяц в ней вряд ли выпивалось больше двадцати чашек сего напитка. Колониальные товары были не в ходу в Суланже, и приезжий, спросив чашку шоколада, поставил бы дядю Сокара в великое затруднение; тем не менее его угостили бы противной бурой жидкостью, которая получается из плиток, куда входит больше муки, тертого миндаля и сахара-сырца, нежели рафинада и какао; такие «шоколадные» плитки продаются по два су в деревенских бакалейных лавочках и фабрикуются с целью подорвать распространение испанского колониального товара.

А кофе дядя Сокар попросту кипятил в посудине, известной в каждом хозяйстве под названием большого глиняного горшка; он бросал на дно молотый кофе, щедро смешанный с цикорием, а затем с хладнокровием, достойным парижского официанта, подавал эту бурду в толстой фарфоровой чашке, которая не треснула бы, даже если бы ее бросили на пол.

В Суланже в те времена еще сохранилось благоговейное отношение к сахару, которое господствовало в годы Империи, и Аглая Сокар, не смущаясь, подавала четыре кусочка сахара величиной с орешек к чашке кофе, заказанной каким-нибудь ярмарочным торговцем, вздумавшим побаловаться этим «литераторским» напитком.

Внутреннее убранство кофейни, украшенной зеркалами в золоченых рамках и крючками с розетками для вешанья шляп, не изменилось с той самой поры, когда весь Суланж сходился любоваться на чудесные обои и на стойку, выкрашенную под красное дерево, с доской из серого мрамора, на которой сверкали вазы из накладного серебра и лампы «двойной тяги», как говорят, подаренные Гобертеном красавице г-же Сокар. Теперь все это потускнело, покрылось толстым слоем чего-то липкого, похожего на налет, которым покрываются старые картины, позабытые на чердаках.

Столы «под мрамор», табуретки, обитые красным плюшем, и кенкетная лампа с двумя горелками и круглым резервуаром, доверху наполненным маслом, свешивавшаяся на цепочках с потолка и украшенная хрустальными подвесками, положили начало славе «Кофейни войны».

Сюда с 1802 года и по 1814 год приходили все суланжские буржуа сыграть партию в домино или брелан, выпить стаканчик ликера или «горячительного», отведать печенья или «пьяных вишен», так как кофе, шоколад и сахар были изгнаны из-за дороговизны колониальных товаров. Пунш, а равно и баваруаз считались наивысшим лакомством. Они приготовлялись на каком-то сиропе, похожем на патоку, название которого позабыто, но в свое время этот сироп обогатил своего изобретателя.

Наше краткое описание вызовет в памяти путеше-

ственников аналогичные образы, а тем, кто не выезжал из Парижа, даст возможность получить некоторое представление о «Кофейне мира» с ее почерневшим от дыма потолком и зеркалами, усеянными миллиардами темных точек, что доказывает, как привольно жилось тут двукрылым насекомым.

Здесь некогда царила разряженная по последней моде красавица г-жа Сокар, превзошедшая своими любовными похождениями Тонсаршу из «Большого-Упоения»; она питала пристрастие к турецким тюрбанам. «Султанка» в эпоху Империи была в такой же моде, как «ангел» в наши дни.

Вся Авонская долина ходила сюда перенимать фасоны тюрбанов, шапочек с козырьком, меховых токов и китайских причесок прекрасной *кофейницы*, роскошные наряды которой оплачивали все суланжские именитые граждане. Повязав пояс под самой грудью, как носили его наши матери, гордые своими царственными прелестями, Юния (ее звали Юнией!) пеклась о благоденствии дома Сокаров; муж был обязан ей виноградником, домом, в котором они жили, и садом «Тиволи». Отец г-на Люпена, по рассказам, готов был на любые безумства ради прекрасной Юнии; а появлением на свет маленького Бурнье она, несомненно, была обязана Гобертену, отбившему ее у Люпена.

Эти подробности и тайные познания Сокара в искусстве приготовления «горячительного» могли бы служить достаточным объяснением, почему и он и его «Кофейня мира» пользовались такой популярностью; но славе его способствовали еще и другие обстоятельства. У Тонсара и во всех прочих кабачках ничего нельзя было получить, кроме вина; таким образом, на протяжении шести лье, от Куша до Виль-о-Фэ, кофейня Сокара была единственным заведением, где можно было сыграть на бильярде и выпить стакан пунша, в приготовлении которого здешний хозяин был большим искусником. Только тут водились иностранные вина, тонкие ликеры и «пьяная вишня».

Поэтому у всех на языке был Сокар, имя которого напоминало о тончайших наслаждениях, любезных тем, у кого желудок более чувствителен, нежели сердце. Кроме всего прочего, кофейня пользовалась еще одной

привилегией: без нее в Суланже не обходилось ни одно торжество. Наконец, «Кофейня мира» — заведение на разряд выше «Большого-У-поения» — была в городе тем же, чем трактир Тонсара в деревне, то есть местом сборов, где изливалась всяческая злоба, передаточным пунктом для сплетен, циркулирующих между Виль-о-Фэ и Авонской долиной. «Большое-У-поение» поставляло молоко и сливки в «Кофейню мира», и обе дочери Тонсара поддерживали с ней ежедневную связь.

Городскую площадь Сокар считал просто придатком к своей кофейне. Он переходил от крыльца к крыльцу, судача то с тем, то с другим, в летнюю пору одетый только в штаны и жилет, почти всегда расстегнутый, как у всех трактирщиков в небольших городах. Очередной собеседник предупреждал его, если кто-нибудь входил в «Кофейню мира», и силач-хозяин, грузно ступая, как бы нехотя направлялся в свое заведение.

Эти подробности должны убедить парижан, никогда не покидавших свой квартал, в трудности,— скажем больше,—в невозможности сохранить в тайне самую последнюю мелочь, приключившуюся в Авонской долине от Куша и до Виль-о-Фэ. Деревня — это одно неразрывное целое; всюду на некотором расстоянии друг от друга разбросаны «Большие-У-поения» и «Кофейни мира», выполняющие функции эха: самые безразличные события, совершившиеся в полной тайне, каким-то чудом отражаются там. Обывательская болтовня выполняет роль телеграфного провода; так-то и разносятся на громадные расстояния с поистине непостижимой быстротой известия о разных несчастных случаях.

Остановив лошадь, Ригу вылез из тележки и привязал повод к одному из столбов у ворот «Тиволи». Затем он прибег к самому естественному способу, не вызывая подозрений, подслушать происходящий разговор — стал между двумя окнами, откуда, немного вытянув шею, он мог видеть говоривших, следить за их жестикуляцией и слушать переругивание, ясно доносившееся, несмотря на закрытые окна, так как на улице было очень тихо.

— А если я скажу дяде Ригу, что твой брат Никола заригся на Пешину,— резким голосом кричала какая-то

женщина,— скажу, что он не дает ей проходу, что в конце концов он выхватит ее из-под самого носа у старика! За это Ригу порастрясет вам, голодранцам, кишки, всем, сколько вас ни на есть в «Большом-У-поении»!

— Посмей только! — взвизгнула в ответ Мари Тонсар.— Я с тобой такое сделаю, что на том свете вспоминать будешь! Нечего тебе, Аглая, в дела Никола свой нос совать, да и в мои с Бонебо тоже!

Как видит читатель, Мари, подзадоренная бабушкой, побежала за Бонебо и подглядела в окно, у которого теперь стоял дядя Ригу, как Бонебо увивался за девицей Сокар, расточая ей, по-видимому, весьма приятные комплименты, ибо Аглая сочла нужным наградить его ответной улыбкой. Эта улыбка решила все, ибо вызвала сцену, во время которой и произошло ценное для Ригу разоблачение.

— Вы что же, дядя Ригу, позорите мою кофейню? — промолвил Сокар, хлопая по плечу ростовщика.

Возвращаясь из стоявшего в глубине сада сарая, откуда как раз выносили для установки на положенных местах в «Тиволи» оборудование для всяких увеселений — карусельные лошадки, приборы для взвешивания, качели-колеса и прочее,— трактирщик подошел к Ригу, неслышно ступая, так как на нем были шлепанцы из мягкой кожи, которые благодаря своей дешевизне во множестве расходятся в провинции.

— Если бы у вас были свежие лимоны, я бы заказал лимонаду,— сказал Ригу.— Вечер жаркий.

— Да кто же это так визжит? — удивился Сокар и, заглянув в окно, увидел, что дочь его ругается с Мари.

— Не могут поделить Бонебо,— язвительно заметил Ригу.

Интересы коммерческие взяли верх в душе Сокара над гневом отца. Трактирщик счел более благоразумным последовать примеру Ригу и подслушать, стоя снаружи, хотя, как отцу, ему очень хотелось войти и заявить дочери, что Бонебо, при всех своих достоинствах с точки зрения трактирщика, никак не отвечает требованиям, предъявляемым к зятю одним из именитейших граждан Суланжа. А между тем к дочери дяди Сокара не очень-то сватались. В двадцать два года дородством,

солидностью и весом она могла поспорить с г-жой Вермишель, проворство которой казалось положительно чудом. От постоянного пребывания за стойкой склонность к полноте, унаследованная Аглаей от отца, еще усилилась.

— И какой черт сидит в этих девках? — воскликнул дядя Сокар, обращаясь к Ригу.

— Эх,— ответил бывший бенедиктинец,— да тот самый черт, который чаще всего попадается в церковные лапы

Вместо всякого ответа Сокар предался созерцанию нарисованных в простенке между окнами бильярдных киев, расположение коих было трудно понять, так как штукатурка, выщербленная рукою времени, местами осыпалась.

В этот момент из бильярдной вышел Бонебо с кием в руках и, стукнув как следует Мари, крикнул:

— Из-за тебя я скиксовал, но по тебе-то я не скиксую. Заткни глотку, не то весь кий о тебя обломаю!

Сокар и Ригу сочли своевременным вмешаться и вошли в кофейню со стороны площади, вспугнув целую тучу мух, так что в комнате сразу стало темно. Поднявшееся жужжание походило на далекую дробь целой команды обучающихся барабанщиков. Придя в себя после первого испуга, толстые мухи с синеватыми брюшками, маленькие мухи-кусачки и несколько слепней снова заняли свои места на окнах, где на трех полочках, до того засиженных мухами, что не представлялось возможным определить их цвет, выстроились, точно солдаты, липкие бутылки.

Мари плакала. Быть побитой любимым человеком на глазах у соперницы — такого унижения не простит ни одна женщина, на какой бы ступени общественной лестницы она ни стояла, и чем ниже эта ступень, тем яростнее выражается ненависть оскорбленной; поэтому Тонсарова дочка не заметила ни Ригу, ни Сокара; в мрачном и злобном молчании рухнула она на табуретку под зорким взглядом бывшего монаха.

— Выбери свежий лимон, Аглая,— сказал дядя Сокар,— и вымой сама бокал.

— Вы умно сделали, что выслали дочь,— шепнул Ригу,— девка могла ее до смерти изувечить.

И взглядом он указал на Мари, сжимавшую ножку табурета, который она уже нацелилась запустить Аглае в голову.

— Полно, Мари,— сказал дядя Сокар, становясь перед девушкой.— Не за тем сюда ходят, чтобы табуретками драться... Вот разобьешь зеркала, чем тогда будешь рассчитываться — не молоком же от своих коров...

— Дядя Сокар, у вас не дочь, а гадина. Ничем я не хуже ее, слышите? Если вы не хотите взять себе в зятья Бонебо, так скажите ему, пусть отправляется играть на бильярде в другое место!.. Пусть там и проигрывает свои деньги...

Сокар сейчас же прервал поток слов, которые выкрикивала Мари,— схватил ее в охапку и, невзирая на вопли и сопротивление, вытолкал за дверь, и как раз вовремя: на пороге бильярдной снова появился Бонебо, злобно сверкая взглядом.

— Я тебе еще покажу! — крикнула Мари Тонсар.

— Проваливай отсюда! — зарычал Бонебо, за которого уцепился Виоле, боясь, как бы приятель не натворил беды.— Убирайся к черту, а не то я никогда не скажу с тобой ни слова, не взгляну на тебя.

— Ты не взглянешь? — крикнула разъяренная Мари, испепеляя его взглядом.— Сначала верни мои деньги, а тогда убирайся к своей Аглае, если она достаточно богата, чтобы тебя содержать...

И Мари Тонсар в ужасе убежала на дорогу, так как видела, что геркулес Сокар едва удерживает ринувшегося на нее, подобно тигру, Бонебо.

Ригу усадил Мари в свою тележку, чтобы укрыть от ярости Бонебо, крики которого слышны были даже в доме у Судри; упрятав Мари, он вернулся, чтоб выпить заказанный лимонад, а заодно понаблюдать за Плиссу, Амори Люпеном, Виоле и официантом, пытавшимися успокоить Бонебо.

— Пошли, гусар, вам играть! — звал Амори, хилый белокурый юноша с мутными глазами.

— Да и она уж удрала,— убеждал Виоле.

Вряд ли кому-либо случалось испытать такое удивление, какое почувствовал Плиссу, заметив, что сидевший за одним из столиков бланжийский ростовщик

больше заинтересован его особой, нежели ссорой двух девиц. Судебному приставу не удалось скрыть гримасы изумления, обычной при встрече с человеком, против которого имеешь зуб или злой умысел, и он тут же вернулся в бильярдную.

— Прощайте, дядя Сокар,— сказал ростовщик.

— Обождите немного, я приведу вашу лошадь,— сказал трактирщик.

«Как бы мне разузнать, о чем они за игрой говорят?» — раздумывал Ригу, глядя на официанта, который виден был ему в зеркале.

Официант этот был человеком на все руки: он обрабатывал виноградник Сокара, подметал кофейню и бильярдную, поддерживал в порядке сад и поливал «Тиволи», и все это за двадцать экю в год. Он надевал куртку только в особо торжественных случаях, обычно же носил синие холщовые штаны, грубые башмаки и полосатый плисовый жилет, а когда прислуживал в бильярдной или кофейне, повязывал еще холщовый фартук. Фартук с нагрудником был отличительным признаком его должности. Парень этот был нанят трактирщиком на последней ярмарке, ибо в Авонской долине, как и во всей Бургундии, прислугу нанимают на ярмарочной площади сроком на год, совершенно так же, как покупают на ней лошадей.

— Как тебя зовут? — спросил Ригу.

— С вашего позволения Мишелем,— ответил официант.

— Тебе иной раз случается видеть здесь дядю Фуршона?

— Раза два или три в неделю он сюда захаживает вместе с господином Вермишелем, и тот каждый раз дает мне по нескольку су, чтобы я предупредил, если нагрянет его жена.

— Дядя Фуршон хороший человек, образованный и толковый,— сказал Ригу и, расплатившись за лимонад, вышел из вонючей кофейни, ибо заметил, что дядя Сокар подвел лошадь к крыльцу.

Садясь в тележку, Ригу увидел аптекаря и окликнул его: «Эй, господин Вермю!» Узнав богача, Вермю поспешил к нему. Ригу сказал вполголоса:

— Как вы думаете, существуют реактивы, которые

могут разъесть кожу, да так, чтобы вызвать настоящую болезнь, вроде как ногтееды на пальце?

— Если господин Гурдон пожелает в это дело впутаться, да, существуют,— ответил тщедушный ученый.

— Никому ни слова, Вермю, или мы поссоримся. Но поговорите на этот счет с господином Гурдоном и скажите, чтобы он ко мне заехал послезавтра; я доставлю ему случай сделать довольно тонкую операцию — отрезать указательный палец.

Затем бывший мэр, оставив тщедушного аптекаря в полном недоумении, уселся в свою тележку рядом с Мари Тонсар.

— Ну, гадючка,— сказал он, когда лошадь побежала хорошей рысью, и взял девушку под руку, сначала привязав вожжи к кольцу кожаного фартука, закрывавшего тележку.— Ты, стало быть, воображаешь, что удержишь Бонебо такими безобразными выходками?.. Кабы ты была умна, ты сама бы постаралась женить его на этой толстой дурехе, а потом можно и подумать, как ей отомстить.

Мари не могла удержаться от улыбки:

— У, какой вы гадкий! Вы нас всему научаете.

— Слушай, Мари, я люблю крестьян, но никому из вас не советую вырывать у меня кусок изо рта. Аглая сказала, что твой брат Никола не дает проходу Пешине. Это нехорошо, я этой девочке покровительствую; после моей смерти она получит тридцать тысяч франков, и я хочу найти ей хорошего мужа. До меня дошло, что Никола вместе с Катрин чуть не убили бедняжку сегодня утром; ты увидишь брата и сестру, так вот скажи им: «Оставьте в покое Пешину, и дядя Ригу избавит Никола от солдатчины...»

— Вы черт, да и только! — воскликнула Мари.— Говорят, будто вы заключили договор с нечистым... Неужто это верно?

— Да,— серьезно ответил Ригу.

— Так на посиделках говорили, да я не верила.

— Он поклялся, что меня не убьют, не обворуют, что я проживу сто лет без всякой хвори, что мне во всем будет удача и что до самой смерти я буду молодым, как двухлетний петух...

— Это и видно,— сказала Мари.— Вам, значит, чертовски легко спасти моего брата от солдатчины...

— Если он захочет, потому что ему придется расстаться с одним пальцем на руке, вот и все,— ответил Ригу.— Я расскажу ему, как это сделать.

— Слушайте, вы сворачиваете на верхнюю дорогу? — воскликнула Мари.

— Ночью я здесь уже не езжу,— ответил бывший монах.

— Из-за креста? — простодушно спросила Мари.

— Вот именно. И хитра же ты! — ответил этот дьявол в образе человека.

Они подъехали к месту, где кантональный тракт прорезал небольшую возвышенность и шел между двумя довольно крутыми откосами, как это часто бывает на французских дорогах.

В конце узкого проезда, длиною с сотню шагов, дороги в Ронкероль и Сернэ образуют перекресток, на котором поставлен крест. И с одного и с другого откоса очень легко прицелиться в проезжего и выстрелить в него почти в упор, тем более что возвышенность эта засажена виноградником, а злоумышленник прекрасно может укрыться в кустах пышно разросшейся здесь ежевики. Не трудно догадаться, почему предусмотрительный ростовщик никогда не ездил тут по ночам. Туна огибает этот бугор, носящий название «Крестового». Нельзя найти более подходящего места для нападения или убийства, потому что ронкерольская дорога уходит к мосту, перекинутому через Авону перед охотничьим домиком, а дорога в Сернэ ведет к почтовому тракту. Таким образом, убийца может скрыться по одной из четырех дорог — на Эги, Виль-о-Фэ, Ронкероль или Сернэ — и поставить в затруднение своих преследователей.

— Я ссажу тебя при въезде в деревню,— сказал Ригу, завидев первые дома Бланжи.

— Анеты боишься, старый греховодник! — воскликнула Мари.— Да скоро ли вы ее от себя прогоните? Вот уж три года, как она у вас!.. Смешно мне, что ваша старуха еще здоровехонька. Видно, бог тоже мстит за себя...

IV

ВИЛЬ-О-ФЭЙСКИЙ ТРИУМВИРАТ

Предусмотрительный ростовщик завел такой порядок, чтобы жена и Жан ложились и вставали вместе с солнцем, убедив их, что никто не залезет в дом, если сам он будет бодрствовать до двенадцати, а вставать поздно. Таким образом, он не только обеспечил себе полную безопасность с семи часов вечера и до пяти утра, но, кроме того, приучил и жену и Жана оберегать его сон и сон его Агари, комната которой находилась за его спальней.

Итак, на следующий день утром, в половине седьмого, г-жа Ригу, ведавшая совместно с Жаном птичьим двором, робко постучалась в спальню к мужу.

— Ригу,— сказала она,— ты велел тебя разбудить.

И тон ее голоса, и поза, и то, как она робко стучалась в дверь, выполняя приказание Ригу и в то же время боясь получить нагоняй за свою исполнительность,— все говорило о том, что бедняжка забывала себя ради мужа и питала глубокую привязанность к этому хитрому домашнему тирану.

— Ладно! — крикнул Ригу.

— А Анету будить? — спросила она.

— Нет, пусть спит! Она не ложилась всю ночь! — ответил он совершенно серьезно.

Ригу всегда сохранял серьезность, даже когда разрешал себе пошутить. Анета в самом деле потихоньку открывала дверь Сибиле, Фуршону и Катрин Тонсар, заходившим в разное время между одиннадцатью и часом ночи.

Через десять минут Ригу, одетый более тщательно, чем обычно, спустился вниз и бросил жене короткое: «Здравствуй, старуха!», что обрадовало ее куда сильнее, чем если бы она увидела самого генерала Монкорне у своих ног.

— Жан,— сказал Ригу бывшему послушнику,— никуда не отлучайся, смотри за домом, чтоб меня не обворовали,— ты на этом потеряешь больше, чем я!

Именно так, соединяя ласку с грубым окриком и надежду с отповедью, этот хитрый эгоист обратил трех своих рабов в верных и преданных собак.

Снова избрав ту же верхнюю дорогу, чтобы не ехать мимо Крестового бугра, Ригу прибыл в восьмом часу утра на суланжскую площадь.

В то время как он наматывал вожжи на столбик у крыльца с тремя ступеньками, открылись ставни и в окне показалось тронутое оспой лицо Судри, которому юркие черные глазки придавали лукавое выражение.

— Начнем с того, что перекусим чем бог послал, потому что раньше часа мы завтрака в Виль-о-Фэ не получим.

Он тихонько кликнул служанку, такую же молоденькую и хорошенькую, как и в доме Ригу; она бесшумно сошла вниз, и хозяин приказал ей подать ветчины и хлеба, а затем самолично отправился в погреб за вином.

Ригу принялся в тысячный раз рассматривать столовую с дубовым паркетом и лепным потолком, уставленную красивыми темными шкафами, обшитую панелью до высоты локтя, с прекрасной изразцовой печкой и с великолепными стенными часами из обстановки мадемуазель Лагер, так же как и лакированные стулья со спинками в виде лиры и сиденьями из зеленого сафьяна, прибитого золочеными гвоздиками. Стол цельного красного дерева накрыт был зеленой клеенкой с темным узором и зеленой каймой. Паркет венгерского рисунка, старательно натертый Урбеном, доказывал, как взыскательны к своей прислуге бывшие горничные.

«Э, все это слишком дорого,— подумал Ригу.— В моей столовой можно так же вкусно поесть, как и здесь, а деньги, которые пошли бы на эту ненужную роскошь, приносят мне хороший процент».

— Где же супруга? — спросил он суланжского мэра, появившегося с бутылкой почтенного вида в руках.

— Спит.

— И вы уже больше не нарушаете ее покоя,— заметил Ригу.

Бывший жандарм игриво подмигнул ему, указывая на ветчину, которую в эту минуту подавала хорошенькая служанка Жанета.

— Вот такие кусочки возбуждают аппетит,— сказал он.— Приготовлено дома и почато только вчера...

— Этой штучки, сват, я у вас еще не видел. Где вы

ее выудили? — шепнул на ухо хозяину бывший бенедиктинец.

— Не хуже домашней ветчины,— снова подмигнул жандарм.— Она у меня с неделю...

Жанета, в ночном чепчике, в коротенькой юбочке, в туфлях на босу ногу, в корсаже с бретелями, какой носят крестьянки, и в накинутой на плечи фуляровой косынке, не вполне скрывавшей ее свежие девичьи прелести, была так же аппетитна на вид, как и окорок, который расхваливал Судри. Цветущая здоровьем, пухленькая, как пышечка, стояла она, опустив голые красные руки, с большими кистями в ямочках и с короткими, но красиво очерченными на концах пальчиками. Типичная бургундская крестьяночка — сама краснощекая, а лоб, шейка и уши — белоснежные; густые каштановые волосы, чуть-чуть раскосые глаза, раздувающиеся ноздри, чувственный рот и подернутые легким пушком щеки; и при всем том живчик, несмотря на обманчиво скромную манеру держаться,— словом, образец плутоватой служанки.

— Честное слово, ваша Жанета похожа на аппетитный окорок,— сказал Ригу.— Не будь у меня своей Анеты, я не отказался бы от такой Жанеты.

— Одна стоит другой,— подтвердил бывший жандарм.— Ваша Анета такая белокурая, нежная, пригоженькая... А как поживает ваша супруга? Спит?..— вдруг спросил он, давая понять Ригу, что и он понимает шутку.

— Она просыпается с петухами,— ответил Ригу,— зато ложится с курами. Я же засиживаюсь допоздна за газетой. Ни вечером, ни утром жена не мешает мне спать; она ни за что на свете не войдет ко мне...

— Здесь как раз наоборот,— сказала Жанета.— Барыня засиживается за картами с гостями, а их бывает иногда человек пятнадцать; барин ложится в восемь часов, а встаем мы со светом...

— Вам это кажется разницей,— сказал Ригу,— а в сущности, это одно и то же. Так вот, красавица, приходите ко мне, а сюда я пришлю Анету; это будет одно и то же, а все-таки по-разному.

— Старый греховодник,— сказал Судри,— ты ее сконфузил...

— Как, жандарм! Ты довольствуешься в своей конюшне только одной лошадкой?.. Впрочем, каждый ловит свое счастье там, где его находит.

По приказанию хозяина Жанета пошла приготовить ему выездное платье.

— Ты, конечно, обещал на ней жениться после смерти жены? — спросил Ригу.

— В наши годы,— ответил жандарм,— у нас других средств не имеется!

— Подвернись нам честолюбивые девицы, мы живо бы овдовели,— заметил Ригу,— в особенности если госпожа Судри расскажет при Жанете, как надо намыливать лестницы.

От этих слов оба супруга впали в задумчивость. Когда Жанета пришла и доложила, что все готово, Судри сказал ей: «Пойдем, поможешь мне одеться!» Бывший бенедиктинец улыбнулся.

— Вот и еще одна разница,— сказал он,— я бы не побоялся оставить тебя наедине с Анетой, сват.

Четверть часа спустя Судри в полном параде уселся в плетеную тележку, и оба друга, обогнув Суланжское озеро, отправились в Виль-о-Фэ.

— А замок-то, а? — промолвил Ригу, когда они доехали до того места, откуда открывался вид на один из боковых фасадов замка.

В словах бывшего революционера звучала ненависть разбогатевшего простолюдина к крупным поместьям и большим земельным владениям.

— Я надеюсь, что, пока я жив, он будет стоять на месте,— ответил отставной жандарм.— Граф де Суланж был моим генералом; он оказал мне услугу, устроил хорошую пенсию; а потом он поручил управлять имением Люпену, отец которого нажил себе на этом состояние. После Люпена возьмут в управляющие другого, и пока там будут Суланжи, имения не тронут... Это славные люди, дают жить другим, и потому им самим хорошо живется...

— Все это так, но у генерала трое детей, и после его смерти они могут не поладить; в один прекрасный день зять и сыновья захотят разделиться, и, хотя имение богатейшее, лучшим выходом будет для них продать его скупщикам, а уж с теми мы справимся.

Теперь замок Суланжей предстал перед ними всем боковым фасадом, словно бросая вызов монаху-расстриге.

— Да, в старые времена хорошо умели строить!..— воскликнул Судри.— Но теперь граф экономит деньги; Суланж должен стать майоратом, ведь без этого ему не получить пэрства.

— Сват,— отозвался Ригу,— майораты провалятся.

Исчерпав деловую тему, почтенные буржуа начали обсуждать достоинства обеих служанок на столь «бургундском» наречии, что мы не решаемся печатно передать их разговор. Эта неиссякаемая тема завела их так далеко, что они и не заметили, как подъехали к главному городу округа, где царил Гобертен,— городу, настолько любопытному, что, пожалуй, даже самые нетерпеливые люди не возразят против маленького отступления.

Название Виль-о-Фэ, хотя оно и звучит довольно странно, легко объясняется искажением простонародного латинского Villa in fago, то есть «усадьба в лесу». Из самого названия ясно, что лес некогда покрывал дельту Авоны при ее слиянии с рекой, в свою очередь, впадающей в Иону пятью милями ниже. Очевидно, какой-нибудь франк построил крепость на возвышенности, которая в этом месте отходит в сторону и, постепенно снижаясь, спускается отлогими склонами в ту продолговатую долину, где Леклерк-депутат купил себе землю. Перерезав дельту глубоким и длинным рвом, завоеватель создал здесь грозную позицию, настоящее феодальное владение; сидя здесь, сеньору удобно было взимать мостовую и дорожную пошлины и следить за поступлением помольного сбора, налагавшегося на мельницы.

Такова история возникновения Виль-о-Фэ. Всюду, где появлялось феодальное или церковное господство, оно вызывало в жизни новые интересы, поселения, а затем и города, если местность способствовала привлечению, развитию и созданию тех или других промыслов. Способ сплава, придуманный Жаном Руве и требовавший подходящих условий для перехватывания плотов, собственно говоря, и создал Виль-о-Фэ, а до этого он был просто деревней по сравнению с Суланжем.

Виль-о-Фэ стал складочным пунктом лесных материалов, которые поставляли леса, тянувшиеся на протяжении двенадцати лье по берегам обеих рек. Вылавливание бревен, розыск тех, что отбились, перегонка плотов по Ионе в Сену вызвали большой наплыв рабочих. Прирост населения увеличил потребление и способствовал развитию торговли. Таким образом, в Виль-о-Фэ, где в конце XVI столетия насчитывалось не более шестисот жителей, в 1790 году было две тысячи населения, а Гобертен поднял эту цифру до четырех тысяч. И вот каким образом.

Когда Законодательное собрание издало указ о новом распределении по округам, Виль-о-Фэ, географически расположенный в пункте, где требовалась супрефектура, был избран, предпочтительно перед Суланжем, главным городом округа. Учреждение супрефектуры повлекло за собой образование суда первой инстанции и назначение чиновничьего штата, потребного для окружного центра. Вместе с приростом парижского населения возросли и цена и спрос на дрова, а следовательно, возросло и значение виль-о-фэйской торговли. Гобертен, предвидевший это обстоятельство, сильно разбогател, ибо угадал, как отразится заключение мира на численности населения Парижа, которое с 1815 по 1825 год действительно возросло более чем на треть.

Расположение Виль-о-Фэ предопределено очертанием местности. По обоим краям высокого мыса находятся пристани. Запонь для задержки сплавляемого леса устроена у подножия возвышенности, поросшей Суланжским лесом. Между запонью и городом лежит предместье. Нижний город, расположенный в самом широком месте дельты, доходит до Авонского озера.

Над нижним городом на раскорчеванной триста лет тому назад возвышенности пятьсот домов, окруженных садами, обступают с трех сторон мыс, любуются на многоцветные отражения в сверкающей поверхности Авонского озера, берега которого загромождены строящимися плотами и штабелями дров. Покрытая плотами река и живописные водопады Авоны, которые, низвергаясь с значительной высоты, бегут к мельничным запрудам и фабричным шлюзам, очень оживляют картину, а темно-зеленая рамка лесов и вытянутая в длину

Эгская долина, на фоне коей резко выделяется город Виль-о-Фэ, придают ей особую прелесть.

Перед этой обширной панорамой почтовый тракт, перекинувшись по мосту через реку в четверти лье от Виль-о-Фэ, упирается в самое начало аллеи из тополей, где вокруг конной почтовой станции образовался целый поселок, примыкающий к большой ферме. Кантональная дорога также сворачивает к мосту, за которым соединяется с большаком.

Гобертен построил себе дом на одном из участков дельты, рассчитывая, что площадь вокруг него скоро застроится и красотой своей затмит верхний город. Особняк Гобертена, выстроенный в современном стиле, был одноэтажный, с мезонином, каменный, под аспидной крышей, с литым чугунным балконом, с решетчатыми ставнями и красиво окрашенными оконными рамами, с простым греческим орнаментом по карнизу, с прекрасным двором и омываемым Авоной английским садом позади дома. Изящество этого здания побудило супрефектуру, временно ютившуюся в какой-то лачуге, перейти в особняк на другой стороне площади, который департамент построил по настоянию депутатов Леклерка и Ронкероля. Здесь же город выстроил мэрию. Для суда, также снимавшего помещение, тоже построили новое здание, и таким образом Виль-о-Фэ благодаря ретивости своего мэра обзавелся целым рядом весьма внушительных домов в современном стиле. Жандармерия строила казармы, которые должны были замкнуть четырехугольник площади.

Всеми этими переменами, которыми местные жители очень гордились, они были обязаны влиянию Гобертена, незадолго до того получившего крест Почетного легиона по случаю тезоименитства короля. В таком городе, возникшем совсем недавно, не было ни аристократии, ни дворянства. Поэтому гордые своей независимостью виль-о-фэйские граждане приняли близко к сердцу нелады, возникшие между крестьянами и наполеоновским графом, перешедшим на сторону Реставрации. С их точки зрения, притеснители оказывались притесняемыми. Правительство хорошо знало о настроениях в этом торговом городе и посадило в него супрефектом человека, склонного к примирительной политике, выучени-

ка своего дяди — знаменитого де Люпо, человека пронырливого, умевшего приспособиться к требованиям любого правительства, одного из тех людей, которых политики-пуритане, сами поступающие много хуже, называют продажными душами.

Внутреннее убранство дома Гобертена отличалось безвкусными выдумками современной роскоши. Тут были и богатые обои с золотым бордюром, и бронзовые люстры, и мебель красного дерева, и висячие лампы, и круглые столики с мраморными досками, и белая фарфоровая чайная посуда с золотой каемкой, и стулья с красным сафьяновым сиденьем, и гравюры на меди в столовой, а в гостиной гарнитур, обитый голубым кашемиром,— все в достаточной мере казенное, чрезвычайно безвкусное, но в Виль-о-Фэ казавшееся верхом сарданапаловой роскоши. Г-жа Гобертен играла роль местной львицы; она кривлялась и жеманничала, невзирая на свои сорок пять лет, уверенная, что супруге мэра, имеющей собственный «двор», все дозволено.

Не правда ли, людям, знающим Францию, дома Ригу, Судри и Гобертена дают полное представление об интересующих нас деревне, городке и окружном городе?

Гобертен, в сущности, не был ни умен, ни талантлив, но он казался таким окружающим. Его наметанный глаз и сметливость объяснялись исключительно острой жаждой наживы. Богатства он добивался не для жены, не для двух своих дочерей, не для сына, не для самого себя, не из семейного духа и не ради уважения, доставляемого деньгами: помимо чувства мести, которым он жил, он любил звон золота, подобно г-ну Нусингену, который, как говорят, всегда позвякивает золотом в карманах. Вся жизнь Гобертена ушла в дела; и хотя живот у него был набит плотно, он проявлял такую же прыть, как человек, у которого в животе пусто. Интриги, проделки, ловкие махинации, надувательство, коммерческие хитрости, всякие отчеты, которые он и составлял и проверял, бурные сцены, столкновение всевозможных интересов — все это его веселило, словно плутоватого слугу старинной комедии, усиливало кровообращение и равномерно разливало желчь

«КРЕСТЬЯНЕ».

«КРЕСТЬЯНЕ»

по телу. Он носился туда и сюда, и верхом и в экипаже, и по воде и по суше, не пропускал торгов, ездил в Париж, успевал обо всем подумать, держал в своих руках тысячи нитей и никогда не перепутывал их.

Он напоминал охотничью собаку: живой, решительный в движениях и в замыслах, небольшого роста, приземистый, подобранный, с тонким нюхом, настороженным взглядом и всегда начеку. Круглое, темное от загара лицо с оттопыренными и обожженными солнцем ушами — потому что он носил фуражку — вполне соответствовало его характеру. Нос у него был несколько вздернут, а сжатые губы, наверно, никогда не раскрывались для доброжелательного слова. Щеки от самых скул, на которых играл багровый румянец, заросли черными, блестящими бакенбардами, терявшимися в высоком галстуке. Его облик дополняли курчавые волосы с сильной проседью, от природы завивавшиеся буклями, словно он был в парике, как старый судья; казалось, они были скручены силой того огня, что пылал румянцем на его загорелом лице, искрился в его серых глазах, вокруг которых лучиками расходились морщины,— очевидно, из-за его всегдашней привычки щуриться, глядя вдаль при ярком солнечном свете. Он был сухощав, худ и жилист, с волосатыми, цепкими и узловатыми пальцами, как у людей, которые в работе «не щадят живота своего». Повадки его приходились по вкусу людям, имевшим с ним дело, так как он надевал личину веселости; он умел много говорить, ничего не сказав о том, что ему хотелось утаить; он мало писал, чтобы иметь возможность отрицать то, что было ему невыгодно или случайно срывалось с языка. Книги его вел кассир, человек честный, из тех простаков, каких субъекты, вроде Гобертена, всегда умеют откопать и околпачить ради своей выгоды.

Когда плетеная тележка Ригу показалась часов около восьми на аллее, которая тянется вдоль реки от самой почтовой станции, Гобертен в фуражке, куртке и высоких сапогах уже возвращался с пристаней. Он ускорил шаг, сразу догадавшись, что Ригу мог тронуться в путь только ради «главного дела».

— Здорово, дядя Хват! Здорово, утробушка, исполненная желчи и мудрости! — приветствовал он

обоих гостей, слегка похлопав и того и другого по животу.— Поговорить приехали, ну что ж, поговорим за стаканчиком вина, черт побери! Вот как надо делать дела!

— При таком правиле вам следовало бы быть пожирней,— ответил Ригу.

— Уж очень я себя не жалею; я не то, что вы, не сижу сиднем дома, не нежусь, как молодящийся старикашка... Честное слово, вы здорово устроились! Знай себе посиживаете в кресле спиной к огню, брюхом к столу... а дела сами к вам в руки плывут. Да входите же, черт вас побери, милости просим погостить подольше.

Слуга в синей ливрее с красным кантом взял лошадь под уздцы и отвел ее во двор, где помещались службы и конюшни.

Гобертен оставил своих гостей в саду и, отдав необходимые приказания, распорядившись насчет завтрака, вскоре вернулся к ним.

— Ну-с, дорогие мои волчата,— сказал он, потирая руки,— имеются сведения, что суланжские жандармы двинулись сегодня на рассвете по направлению к Кушу: должно быть, собираются арестовать приговоренных за лесные порубки... Черт меня побери! Каша заваривается не на шутку! Сейчас,— продолжал он, взглянув на часы,— ребятки, наверно, уже сидят за крепкой решеткой.

— Наверное,— подтвердил Ригу.

— Ну, а что говорят в деревне? На чем они порешили?

— А что ж тут решать? — спросил Ригу.— Мы к этому делу не причастны,— прибавил он, бросив взгляд на Судри.

— Как не причастны? А если в результате наших стараний Эги будут проданы, кто наживет на этом пятьсот — шестьсот тысчонок франков? Я один, что ли? Я недостаточно крепок, чтобы сразу отвалить два миллиончика,— у меня трое детей еще не пристроены, у меня жена, не желающая считаться с расходами, мне нужны компаньоны. Разве у дяди Хвата не приготовлено денег? Все до одной закладные у него срочные, взай-

мы он теперь дает только под краткосрочные обязательства, за которые я отвечаю. Словом, я вкладываю восемьсот тысяч франков, сын мой, судья,— двести тысяч, от дяди Хвата мы ждем двухсот тысяч, а вы сколько думаете положить, отче?

— Остальное,— холодно ответил Ригу.

— Ей-богу, хотел бы я иметь руку там, где у вас сердце! — воскликнул Гобертен.— А дальше что вы будете делать?

— Да то же, что и вы. Выкладывайте ваш план.

— Мой план такой: взять двойную цену за ту половину, что мы уступим желающим — из Куша, Сернэ и Бланжи. У дяди Судри будет своя клиентура в Суланже, а у вас — здесь. Все это очень просто, а вот как мы договоримся друг с другом? Как мы поделим между собой главные выигрыши?

— Господи! Что может быть проще,— ответил Ригу.— Каждый возьмет себе то, что ему приглянется. Я никому не собираюсь мешать, я с зятем и дядей Судри возьму себе леса; они настолько вырублены, что вас не соблазнят, а на вашу долю пойдет все остальное. Вы не напрасно заплатите денежки, честное слово!

— Подпишете вы нам такое условие? — спросил Судри.

— Писаному договору цена грош,— ответил Гобертен.— Ведь вы же видите, что я играю в открытую; я целиком доверяюсь Ригу, он будет покупателем.

— Мне этого достаточно,— сказал Ригу.

— Я ставлю только одно условие: я получаю охотничий домик со всеми службами и пятьдесят арпанов прилегающей земли; за землю я вам заплачу. Домик пойдет мне под дачу, он как раз по соседству с моими лесами. Госпожа Гобертен,— мадам Изора, как ей угодно себя называть,— говорит, что это будет ее вилла.

— Хорошо,— сказал Ригу.

— Ну, а говоря между нами,— шепотом продолжал Гобертен, осмотревшись кругом и убедившись, что никто его не услышит,— как вы считаете, может ли кто из них пойти на недоброе дело?

— Вроде чего именно? — спросил Ригу, не желавший ничего понимать с полуслова.

— Ну, скажем, вдруг самый отчаянный из их шайки, и, конечно, хороший стрелок, пустит пулю... Не в графа, а мимо... просто, чтобы его припугнуть?

— Граф такой человек, что может погнаться и схватить стрелка.

— Ну, а Мишо?

— Мишо не станет болтать, он поведет тонкую политику, примется выслеживать и в конце концов разнюхает, кто виновник, кто на это дело подбил.

— Вы правы,— сказал Гобертен.— Надо бы, чтобы человек тридцать подняли бунт; кое-кого отправят на каторгу... словом, захватят ту сволочь, от которой нам все равно придется отделаться, после того как мы ее используем... У вас там есть два-три головореза вроде Тонсара и Бонебо.

— Тонсар способен на любое преступление,— сказал Судри,— я его знаю... А мы еще подогреем его через Водуайе и Курткюиса.

— Курткюис у меня в руках,— сказал Ригу.

— А я держу Водуайе.

— Будьте осторожны! Самое главное — будьте осторожны! — промолвил Ригу.

— Слушайте-ка, отче, уж не считаете ли вы ненароком, что нам и поговорить о том, что творится, нельзя?.. Ведь не мы же составляем протоколы, задерживаем людей, совершаем порубки и подбираем колосья?.. Если его сиятельство умело возьмется за дело, если он договорится с кем-нибудь о сдаче Эгов в аренду, тогда поздно будет, напрасно мы трудились, и вы потеряете, может быть, больше, чем я... Все, что здесь говорится, говорится между нами и только для нас, потому что я, разумеется, не скажу Водуайе ни одного слова, которого я не мог бы повторить перед богом и перед людьми... Но никому не запрещено предвидеть события и воспользоваться ими, когда они наступят... У крестьян нашего кантона горячие головы; требовательность генерала, его строгость, преследования Мишо и его помощников выводят их из себя; сегодня дело еще ухудшилось, и я готов поспорить, что без стычки с жандармами у них там не обошлось... Ну, а теперь идемте завтракать.

Госпожа Гобертен вышла в сад к гостям. Это была женщина с довольно белым лицом и с длинными буклями на английский манер, спадавшими вдоль щек; она разыгрывала из себя существо страстное, но добродетельное, уверяла, что никогда не знала любви, заводила со всеми чиновниками разговоры о платонических чувствах и в качестве верного слушателя держала при себе местного прокурора, которого называла своим patito [1]. Она питала пристрастие к чепчикам с помпонами, но любила также и прически, злоупотребляла голубым и нежно-розовым цветом, в сорок пять лет сохранила манеры и ужимочки молоденькой девушки, охотно танцевала, но ноги и руки у нее были громадные. Она требовала, чтобы ее звали Изорой, ибо при всех своих смешных причудах имела достаточно вкуса, чтобы находить фамилию Гобертен неблагозвучной; у нее были белесые глаза и волосы неопределенного цвета, вроде мочалы. Словом, она служила образцом для многих молодых девиц, вперявших взоры в небо и воображавших себя ангелами.

— Ну вот, господа,— сказала она, здороваясь с гостями,— могу вам сообщить весьма странную новость: жандармы вернулись обратно.

— Арестовали кого-нибудь?

— Никого. Генерал заранее выхлопотал всем прощение... Да, им даровано прощение в честь радостной годовщины возвращения к нам короля.

Трое сообщников переглянулись.

— Никак я не думал, что этот толстый кирасир—такой тонкий политик,— промолвил Гобертен.— Идемте к столу, надо чем-нибудь утешиться; в конце концов партия не проиграна, а только отложена. Теперь, Ригу, дело за вами.

Судри и Ригу возвратились домой, обманутые в своих ожиданиях, и, не придумав, как привести события к желаемой развязке, они положились, по совету Гобертена, на случай. Подобно тому как в первые дни революции некоторые якобинцы, озлобленные и сбитые с толку добротой Людовика XVI, провоцировали меры строгости со стороны двора, дабы вызвать этим анар-

[1] Обожателем *(итал.)*.

хию, сулившую им власть и богатство, так и страшные противники графа де Монкорне возложили все свои надежды на строгость, с которой Мишо и лесники будут преследовать новых порубщиков; Гобертен обещал им содействие, не называя, однако, своих сообщников, так как желал держать в тайне свои сношения с Сибиле. По скрытности никто не мог равняться с человеком гобертеновской закалки, разве только бывший жандарм и монах-расстрига. Заговор мог быть приведен к хорошим, или, вернее, дурным, результатам только этой троицей, обуреваемой ненавистью и жаждою наживы.

V

ПОБЕДА БЕЗ БИТВЫ

Опасения г-жи Мишо были результатом внутреннего зрения, даруемого истинной страстью. Душа, всецело поглощенная одним существом, в конце концов начинает с какой-то особой зоркостью проникать в окружающий ее мир, ясно в нем разбираться. Любящая женщина носит в себе те предчувствия, которые будут ее волновать позднее, в дни материнства.

В то время как бедная женщина вслушивалась в смутные голоса, доносившиеся из неведомых миров, в трактире «Большое-У-поение» действительно разыгрывалась сцена, грозившая смертью ее мужу.

Часов около пяти утра крестьяне, поднявшиеся спозаранку, увидели суланжских жандармов, направляющихся к Кушу. Новость очень быстро распространилась, и те, кто был в этом заинтересован, с удивлением узнали от жителей верхней части долины, что отряд жандармов под командой виль-о-фэйского поручика прошел через Эгский лес. Дело происходило в понедельник, а значит, у многих было достаточно оснований пойти в кабак опохмелиться; но, кроме того, был канун годовщины возвращения Бурбонов, и, хотя завсегдатаи притона Тонсара вовсе не нуждались в такой «августейшей» (как говорилось тогда) причине для оправдания своего пристрастия к «Большому-У-поению», они не упускали случая во всеуслышание заявлять об этом,

как только им мерещилась хотя бы тень должностного лица.

В кабаке сидели Водуайе, Тонсар с семейством, Годэн, также считавшийся в некотором роде членом семьи, и старый виноградарь по имени Ларош. Он кое-как перебивался со дня на день и был одним из «правонарушителей», доставленных деревней Бланжи по тому своеобразному набору, который был придуман, чтобы отвадить генерала от его страсти к протоколам. Кроме него, Бланжи выставило еще трех мужчин, двенадцать женщин, восемь девушек и пять мальчишек, за которых должны были отвечать их мужья и отцы, в полном смысле слова нищие. Ими и ограничивалось число вовсе неимущих людей. В 1823 году виноградари разбогатели, а 1826 год благодаря исключительному сбору винограда также сулил хороший доход. Кроме того, три соседние с Эгами общины кое-что подработали у генерала. Словом, в Бланжи, Куше и Сернэ с великим трудом было набрано сто двадцать бедняков; для этого пришлось привлечь старух, которые были матерями или бабушками тех, кто чем-то владел, но сами, вроде матери Тонсара, не имели ровно ничего. Старый порубщик Ларош был вовсе нестоящим человеком; в его жилах текла горячая и порочная кровь, как у Тонсара, его снедала глухая холодная ненависть, работал он молча, угрюмо, работы не выносил, а существовать, не трудясь, не мог; выражение лица его было жесткое, отталкивающее. Несмотря на свои шестьдесят лет, он был еще довольно силен, только спина ослабла и он сгорбился; будущее не сулило ему ничего, земли у него не было ни клочка, и на тех, кто владел землею, он смотрел с завистью; поэтому в Эгском лесу Ларош вел себя самым бесцеремонным образом, с удовольствием производя в нем бессмысленные опустошения.

— Как же это? Пусть, значит, забирают, а мы молчать будем? — говорил Ларош.— После Куша, глядишь, заявятся и в Бланжи. Меня уже судили за такие дела, теперь трех месяцев острога не миновать.

— Ну, а что же ты, старый пьянчуга, поделаешь с жандармами? — возразил Водуайе.

— Как что, да ведь косами можно их лошадям ноги перерезать! Жандармы живо очутятся на земле, ру-

жья у них не заряжены, а как увидят, что нас вдесятеро больше, волей-неволей уберутся восвояси. Если бы сразу поднялись все три деревни да убили бы двух-трех жандармов, пришлось бы им уступить,— всех ведь на гильотину не потащишь,— был уж такой случай где-то в Бургундии, куда по такому же делу пригнали целый полк. Ну и что? Полк убрался обратно, а мужики по-прежнему ходят в лес, как ходили туда много лет, вот так же, как и у нас.

— Раз уж убивать,— сказал Водуайе,— лучше убить одного; да так, чтобы все шито-крыто, и раз навсегда отохотить арминаков от наших мест.

— Которого же из них, разбойников? — спросил Ларош.

— Мишо,— ответил Курткюис.— Водуайе правильно говорит, даже очень правильно. Вот увидите, укокошим одного сторожа темной ночью, отобьем и у других охоту сторожить даже белым днем. Весь день в лесу сидят, да и ночью не очень-то уходят. Прямо черти какие-то!

— Куда ни сунься,— сказала семидесятивосьмилетняя бабка Тонсар, на сухом, как пергамент, щербатом лице которой, обрамленном грязными прядями седых волос, выбивавшихся из-под красного платка, светились злым огоньком зеленые глазки,— куда ни сунься, они тут как тут и непременно уж задержат и осмотрят вязанку, а окажется там хоть одна срезанная ветка, хоть прутик, самый дрянной прутик орешника, отберут у тебя вязанку и обязательно напишут протокол. Напишут! Ух, мерзавцы! Их ничем не проведешь, а уж если они тебе не поверят, так заставят распустить всю вязанку... Три пса проклятых, и цена всем троим — грош. Убить бы их — Франции от этого беды не будет, право!

— Мозгляк Ватель лучше других! — заметила Тонсарша.

— Лучше? — воскликнул Ларош.— Такой же, как и остальные. Посмеяться он действительно с тобой может, только другом он тебе от этого не станет. Он самый вредный из всех троих, такой же, как и Мишо, бесчувственный к бедноте.

— А жена у Мишо, что ни говори, хорошенькая,— заметил Никола Тонсар.

— Она брюхата,— сказала старуха.— Только, если дело и дальше так пойдет, ее кутенку справят веселые крестины, когда она ощенится.

— С этими парижскими арминаками и побаловаться-то нельзя,— сказала Мари Тонсар,— а если и побалуешься, они все равно пропишут тебя в протоколе, словно и не гуляли с тобой...

— Ты, стало быть, пробовала их закрутить? — спросил Курткюис.

— Еще бы не пробовала!

— А все-таки,— решительно сказал Тонсар,— они такие же люди, как и все остальные; значит, можно и до них добраться.

— Да нет же,— продолжала Мари развивать свою мысль,— их ничем не раззадоришь. Не знаю, какое им зелье пить дают, потому как молодчик из охотничьего домика, тот хоть женат, а Ватель, Гайяр и Штейнгель холостые; у них нет никого, да ни одна здешняя женщина на них и не позарится...

— Посмотрим, как пойдут дела во время жатвы и сбора винограда,— заметил Тонсар.

— Колосья все равно собирать будем,— сказала старуха.

— Не знаю,— отозвалась невестка.— Груазон сказывал так: господин мэр напечатает объявление, а там будет прописано, что допрежь надо получить свидетельство о бедности, а потом уж собирать колосья. А кто будет выдавать свидетельства? Он же сам! Он много не выдаст. А потом напечатает приказ не ходить на поле, пока последний сноп не вывезут...

— Вот как! Да он хуже всякого града, помещик этот! — крикнул Тонсар, выходя из себя.

— Я про это вчера только узнала,— сказала Тонсарша,— когда поднесла Груазону стаканчик вина, чтобы развязать ему язык.

— Вот тоже счастливчик! — воскликнул Водуайе.— Построили ему дом, дали хорошую девку в жены, есть у него доходец, живет, как король... А я двадцать лет прослужил в стражниках, а ничего, кроме ревматизма, не нажил.

— Да, он счастливец,— промолвил Годэн,— у него есть своя земля...

— Сидим мы здесь дураки дураками! — воскликнул Водуайе.— Пойдем в Куш, посмотрим хоть, что там делается: там ведь люди тоже не из терпеливых.

— Идем,— откликнулся Ларош, не вполне твердо стоявший на ногах.— Будь я не я, если не прикончу там одного или двух.

— Ты-то? — фыркнул Тонсар.— Ты и пальцем не пошевелишь, пусть хоть всю общину забирают. Ну, а я, если кто мою старуху тронет,— вот оно, мое ружье, оно промаха не дает.

— Ладно,— сказал Ларош, обращаясь к Водуайе,— пусть только заберут кого-нибудь из кушских, тогда хоть одному жандарму, а быть убитому.

— Сказано, дядя Ларош, сказано! — воскликнул Курткюис.

— Сказано-то сказано,— ответил Водуайе,— да не сделано и не будет сделано... И что толку?.. Сам же будешь в ответе!.. Уж если убивать, так лучше убить Мишо.

Во время всей этой сцены Катрин Тонсар караулила у дверей кабака, чтобы вовремя прекратить разговор, если кто пойдет мимо. Теперь они всей ватагой, невзирая на то, что вино бросилось им в ноги, скорей вылетели, нежели вышли из трактира, и, охваченные воинственным пылом, направились к Кушу по дороге, пролегающей на протяжении четверти лье вдоль ограды Эгского парка.

Куш — самая настоящая бургундская деревня в одну улицу, выстроившаяся около большой дороги. Одни дома кирпичные, другие глинобитные, но все одинаково убогие. К департаментскому тракту, шедшему из Виль-о-Фэ, деревня повернулась садами и огородами, и оттуда вид у нее был довольно живописный. Между большой дорогой и Ронкерольскими лесами, которые составляли продолжение Эгских лесов и покрывали все высоты, протекала речушка, и несколько домиков, довольно красиво сгруппированных на берегу ее, оживляли пейзаж. Церковь и дом священника составляли отдельную группу, откуда открывался вид на решетку Эгского парка, доходившую до этого места. Перед церковью находилась обсаженная деревьями площадь, на ней заговорщики из «Большого-У-поения» увидели

жандармов и побежали быстрей. В этот момент из Кушских ворот выехали трое всадников; крестьяне узнали в них генерала, его слугу и начальника охраны Мишо, помчавшихся галопом к площади; Тонсар и его компания подоспели туда несколькими минутами позже. «Правонарушители», как мужчины, так и женщины, не оказали никакого сопротивления; они стояли, окруженные пятью суланжскими жандармами и пятнадцатью другими, прибывшими из Виль-о-Фэ. Вся деревня собралась на площади. Дети, отцы и матери арестованных сновали взад и вперед, приносили им все необходимое на время заключения. Ожесточенная, но более или менее безмолвная, как будто на что-то решившаяся деревенская толпа представляла довольно любопытное зрелище. Говорили только женщины — старухи и молодые. Дети и девочки-подростки взобрались на сложенные дрова и кучи камней, чтобы лучше видеть происходившее.

— Гильотинщики хорошо выбрали времечко, в самый праздник подгадали...

— Что ж, так вы и будете смотреть, как уводят у вас мужа? А сами как эти три месяца проживете, лучшие месяцы в году, когда за поденщину хорошо платят?..

— Вот где настоящие грабители! — воскликнула женщина, угрожающе глядя на жандармов.

— Вы это что, бабушка, на нас киваете? — сказал вахмистр.— С вами живо управятся, если вы будете нас ругать.

— Да разве я что говорю...— жалобным тоном поспешила ответить женщина, униженно кланяясь.

— Я отлично слышал ваши слова. Смотрите, как бы вам не раскаяться...

— Ну, ну, ребятки, не волнуйтесь! — сказал кушский мэр, бывший вместе с тем и содержателем почтовой станции.— Какого черта! Жандармам отдан приказ, они должны привести его в исполнение.

— Правильно! Все это он, эгский помещик... Ну, погоди ж ты!..

В это мгновение генерал выехал на площадь, вызвав своим появлением ропот, на который он не обратил никакого внимания. Он направился прямо к жандарм-

скому офицеру из Виль-о-Фэ и после того, как обменялся с ним несколькими словами, передал ему какую-то бумагу. Офицер повернулся к своей команде и сказал:

— Отпустите арестованных, генерал испросил для них помилование у короля.

Генерал Монкорне в это время вполголоса разговаривал с кушским мэром; разговор их длился недолго, а затем мэр обратился к арестованным, которые уже приготовились провести эту ночь в тюрьме и теперь никак не могли понять, что они свободны.

— Друзья мои, поблагодарите графа. Отменой приговоров вы обязаны ему: он просил о вашем помиловании в Париже, и по его просьбе вас простили в честь годовщины возвращения короля... Я надеюсь, что впредь вы будете лучше вести себя по отношению к человеку, который сам так хорошо к вам относится, и перестанете наносить ущерб его владениям. Да здравствует король!

И тут крестьяне, вовсе не стремившиеся кричать «Да здравствует граф де Монкорне!», с воодушевлением прокричали: «Да здравствует король!»

Эта сцена была искусно придумана генералом вместе с префектом и департаментским прокурором, так как было признано желательным, выказав твердость для поддержания авторитета местных властей и для воздействия на крестьян, проявить в то же время и мягкость ввиду чрезвычайно сложных обстоятельств. И в самом деле, если бы крестьяне оказали сопротивление, власти попали бы в весьма затруднительное положение. Нельзя было послать на эшафот целую общину, как это и говорил Ларош.

Генерал пригласил к завтраку кушского мэра, поручика и вахмистра. Бланжийские заговорщики остались в кушском трактире, где освобожденные «правонарушители» пропивали деньги, взятые для прожития в тюрьме, и, разумеется, бланжийская компания присоединилась к общему «гулянью», как называют в деревне любого рода веселье. Пить, ссориться, драться, наедаться и возвращаться домой пьяными и больными — все это называется «гулять».

Выехав из имения через Кушские ворота, граф вер-

нулся со своими тремя гостями через лес, желая показать им следы порубок и дать понять всю значительность этого дела.

В то время, когда Ригу, примерно около полудня, возвращался в Бланжи, граф, графиня, Эмиль Блонде, жандармский поручик, вахмистр и кушский мэр кончали завтрак в великолепной столовой, пышно отделанной Буре и описанной Блонде в его письме к Натану.

— Было бы действительно жалко расстаться с таким имением,— промолвил жандармский офицер, раньше не бывавший в Эгах и теперь впервые увидевший их во всем блеске. Глядя сквозь бокал искристого шампанского, офицер не проглядел и изумительных поз обнаженных нимф, поддерживавших потолок.

— Потому-то мы и будем здесь отбиваться до последнего издыхания,— сказал Блонде.

— А я потому это сказал,— продолжал офицер, бросая на своего вахмистра взгляд и как будто призывая его к молчанию,— я сказал это потому, что у генерала есть враги не только в деревне...

Поручик размяк от великолепного завтрака, блестящей сервировки и царственной роскоши, явившейся на смену роскоши оперной дивы, а вспышки остроумия Блонде не меньше, чем вино, выпитое при провозглашении галантных тостов, еще подогрели его.

— Откуда у меня могут быть враги? — удивленно спросил генерал.

— При его-то доброте! — добавила графиня.

— Вы, граф, нехорошо расстались с нашим мэром, господином Гобертеном, и ради своего спокойствия вам следовало бы с ним помириться.

— Помириться с ним!..— воскликнул граф.— Вы, очевидно, не знаете, что он был у меня управляющим, что это форменный мошенник!

— Он уже больше не мошенник,— сказал поручик,— он виль-о-фэйский мэр.

— Поручик весьма остроумен,— промолвил Блонде.— Ясно, что мэр — всегда честный человек.

Поняв из слов графа полную невозможность раскрыть ему глаза на происходящее, поручик больше не возобновлял разговора на эту тему.

VI

ЛЕС И ЖАТВА

Сцена в Куше оказала благоприятное действие, а верные графские сторожа, со своей стороны, зорко следили за тем, чтобы из Эгского леса выносился только валежник; но за двадцать лет окрестные крестьяне так основательно пообчистили лес, что теперь там остались только здоровые деревья; а чтоб они засохли, местные жители занялись их порчей, прибегнув для этого к простым приемам, которые были обнаружены лишь значительно позже. Тонсар посылал в лес мать; лесник видел, как она туда входит; он знал, откуда она выйдет, и поджидал ее, намереваясь осмотреть вязанку; однако у старухи действительно был только сухой хворост, упавшие ветки, поломанные и негодные сучья; она охала и жаловалась, что ей в ее годы приходится забираться в такую даль, чтобы набрать какую-то жалкую вязанку. Но старуха не говорила, что, зайдя в самую чащу, она очистила от мха и упавших листьев ствол молодого дерева и содрала кольцо коры у самого корня, а потом снова уложила на место и мох и листья, все как было; если бы этот кольцеобразный надрез был сделан кривым садовым ножом, обнаружить его было бы нетрудно, но кора была повреждена так, словно ее проели те вредоносные и прожорливые насекомые, которых, глядя по местности, называют то «хрущами», то белыми червями — личинки майского жука. Личинка очень любит древесную кору; она забирается между корой и заболонью и точит дерево, обходя ствол вокруг. Если дерево настолько толсто, что личинка, не пройдя всего пути, превращается в куколку,— стадия, в которой она остается без движения, пока снова не оживет,— дерево спасено: если для соков еще остается пространство, покрытое корой, дерево будет расти. Чтобы понять, до какой степени энтомология связана с сельским хозяйством, садоводством и всем, что производится землей, достаточно сказать, что такие бидные натуралисты, как Латрейль, граф Дежан, берлинский Клуг, туринский Женэ и другие, пришли к выводу, что большинство известных нам насекомых существует за счет растительности, что жесткокрылых, список которых опубликован г-ном Дежаном, насчитывается два-

дцать семь тысяч видов и что, невзирая на самые старательные изыскания энтомологов всех стран, имеется еще громадное количество видов, чьи тройные превращения, свойственные вообще всем насекомым, до сих пор неизвестны; и наконец, что не только каждое растение, но и все, что производит земля, каким бы изменениям оно ни подвергалось благодаря искусству человека, имеет свое особое насекомое. Так, конопля и лен, сослужив свою службу человеку, одев или повесив его, поистрепавшись на плечах целой армии, превращаются в писчую бумагу, и те, кому приходится много писать или читать, близко знакомы с привычками некоего насекомого, называемого бумажная тля, с его чудесными повадками и строением; насекомое это проходит через свои никому не известные превращения, живя в тщательно хранимой стопе белой бумаги, и вы можете видеть, как оно бегает и попрыгивает в своем сверкающем, словно тальк или шпат, великолепном одеянии: настоящая летающая плотица.

Личинка майского жука — бич сельского хозяйства; она живет под землей, и правительственные циркуляры против нее бессильны, ибо учинить над ней расправу можно лишь после того, как она превратится в жука; когда бы население знало, какие бедствия угрожают ему, если оно не возьмется за уничтожение жуков и их личинок, оно отнеслось бы более внимательно к приказам префектуры.

Голландия едва не погибла,— ее плотины были подточены шашенем, и науке по сию пору неизвестно, в какое насекомое превращается шашень, так же как неизвестны предыдущие видоизменения червеца. Ржаная спорынья является, вероятнее всего, целым скопищем насекомых, в котором наука до сих пор обнаружила лишь чуть заметные признаки движения. Итак, в ожидании жатвы и сбора колосьев около полсотни старух принялись за порчу леса, подтачивая у самых корней, подобно личинкам майского жука, пятьсот — шестьсот деревьев, которые неминуемо должны были к весне засохнуть и уже никогда больше не покрыться листвой; старухи с расчетом выбирали деревья, росшие в самых недоступных местах, так, чтобы и ветви и сучья достались им. Но кто подал эту мысль? Никто. Курткюис как-то пожаловался в трактире Тонсара, что заметил у себя в саду

пропадающий вяз; вяз начал хиреть, и Курткюис заподозрил, что тут не без личинок майского жука; ведь он, Курткюис, знает этих белых червей,— заведется такой червяк у корня дерева, и дереву конец!.. И Курткюис наглядно изобразил, как работает личинка. Орудуя тайно и искусно, словно колдуньи, принялись старухи за свою разрушительную работу, а приводившие всех в уныние строгости, введенные бланжийским мэром и предложенные к исполнению мэрам соседних общин, подлили масла в огонь. Стражники с барабанным боем оглашали распоряжения, в которых говорилось, что никто не будет допущен до сбора колосьев и оставшегося после хозяев винограда без удостоверения о бедности, выданного мэром общины, согласно образцу, посланному префектом — супрефекту, а последним — всем мэрам. Крупные землевладельцы департамента были в восторге от поведения генерала де Монкорне, и префект говорил в домах, где бывал, что если бы люди, стоящие на верхних ступенях общественной лестницы, вместо того чтобы проживать в Париже, поселились у себя в имениях и держались бы одной политики, то это в конце концов привело бы к хорошим результатам; повсюду следовало бы принимать подобные меры, добавлял префект, действовать согласованно и смягчать строгости благотворительностью, просвещенной филантропией, как это делает генерал де Монкорне.

Генерал и его жена при содействии аббата Бросета в самом деле попробовали заняться благотворительностью, введя ее в разумные рамки. Им хотелось неопровержимыми результатами доказать грабившим их людям, что те заработают больше, занимаясь честным трудом. Крестьянам раздавали в пряжу пеньку и платили за ее обработку; графиня пускала эту пряжу для выработки холста, шедшего на тряпки, фартуки, кухонные полотенца и на рубашки для бедноты. Граф занялся всякими усовершенствованиями в имении, для чего требовалось много рабочих, которых он брал исключительно из окрестных деревень. Организация этого дела была поручена Сибиле, тогда как аббат Бросет указывал графине на людей, действительно нуждавшихся, и нередко сам приводил их к ней. Г-жа де Монкорне принимала по благотворительным делам в большой передней, выходившей

на главное крыльцо. Это была прекрасная приемная, выстланная белыми и красными мраморными плитками, с красивой изразцовой печкой; по стенам стояли длинные скамьи, обитые красным бархатом.

Именно сюда однажды утром, еще до начала жатвы, старуха Тонсар привела свою внучку Катрин, желавшую, по ее словам, сделать признание, позорившее бедную, но честную семью. Пока старуха говорила, Катрин стояла в позе кающейся грешницы; затем она, в свою очередь, рассказала о своем затруднительном положении, о котором знала только бабушка; мать выгнала бы ее из дома, а отец, дороживший честью семьи, убил бы. Будь у нее хоть тысяча франков, на ней женился бы Годэн, бедный батрак, который все знает и любит ее, как сестру; он купил бы клочок земли и построил бы там лачугу. Графиня умилилась. Она обещала новобрачным сумму, нужную на первое обзаведение. Счастливые супружества Мишо и Груазона поощрили ее. Эта свадьба, этот брак могли послужить хорошим примером для местного населения и побудить деревенскую молодежь вести себя пристойнее. Таким образом, замужество Катрин Тонсар с Годэном было слажено с помощью тысячи франков обещанных графиней.

В другой раз явилась ужасного вида старуха, мать Бонебо, жившая в лачуге между Кушскими воротами и деревней, и притащила целую кучу мотков грубых ниток.

— Графиня творит чудеса,— говорил аббат, окрыленный надеждой на нравственное исправление местных дикарей.— Эта самая женщина причинила немало вреда вашим лесам, а теперь зачем и как она туда пойдет? С утра и до вечера сидит она за своей пряжей, и время ее занято, и заработок у нее есть.

Край как будто успокоился; от Груазона поступали более или менее удовлетворительные донесения: порубки и потравы, казалось, шли на убыль; и возможно, что положение в крае и настроение жителей в самом деле изменилось бы коренным образом к лучшему; но всему мешала злопамятность алчного Гобертена, мелочные происки высшего суланжского общества и интриги Ригу, которые, словно кузнечные мехи, раздували ненависть и преступные замыслы в сердцах крестьян Эгской долины.

Сторожа жаловались, что в лесной чаще они все еще

находят много ветвей, срезанных ножом, с явной целью заготовить топливо на зиму; они подкарауливали виновников, но поймать никого не удавалось. Граф с помощью Груазона выдал свидетельства о бедности лишь тридцати — сорока действительно бедным людям своей общины, но мэры соседних общин оказались сговорчивее. Граф проявил много мягкости в кушской истории, тем более хотел он быть строгим при сборе колосьев, обратившемся попросту в воровство. Он мало интересовался тремя своими фермами, сданными в аренду; его больше заботили довольно многочисленные хутора, арендовавшиеся исполу: таких хуторов было шесть, по двести арпанов в каждом. Граф выпустил объявление, запрещавшее под страхом протокола и штрафа, налагаемого мировым судом, являться на поле раньше, чем оттуда будут вывезены снопы; это распоряжение, собственно говоря, касалось только графских полей. Ригу хорошо знал местные условия; свои пахотные земли он сдал небольшими участками, и по этим мелким договорам съемщики, справившись с уборкой урожая, платили ему зерном. Сбор колосьев его ни в какой мере не трогал. Остальные землевладельцы были крестьяне и друг друга не обижали. Граф приказал Сибиле договориться с хуторянами-испольщиками и убирать хлеб на фермах по очереди, так, чтобы все жнецы сразу переходили к следующему фермеру, а не рассеивались по разным полям, что крайне затруднило бы наблюдение. Он сам вместе с Мишо поехал посмотреть, как пойдет дело. Груазон, придумавший эту меру, должен был присутствовать при нашествиях бедноты на поле богатого землевладельца. Горожане и представить себе не могут, что такое сбор колосьев для деревенских жителей; это какая-то необъяснимая страсть, ведь многие женщины бросают хорошо оплачиваемую работу и идут собирать колосья. Хлеб, добытый таким путем, кажется им вкуснее; этот способ запасаться пищей, да еще самой существенной для крестьянина, имеет для них совершенно особую притягательность. Матери берут с собой маленьких детей, дочерей и сыновей-подростков; дряхлые старики тащатся туда же, а те, у кого есть кое-какое имущество, уж конечно, прикидываются бедняками. На сбор колосьев одеваются в жалкие лохмотья. Граф и Мишо, оба верхами, присутствова-

ли при первом выходе этой толпы оборванцев на первое поле первого хутора. Было десять часов утра, август стоял жаркий, небо без единого облачка, голубое, как барвинок; от земли шел жар, рожь пламенела; лучи солнца, отражаясь от затвердевшей и звонкой земли, жгли лица жнецов, работавших молча, в мокрых от пота рубашках, отрываясь только, чтобы глотнуть воды из глиняных бутылей, круглых, как каравай хлеба, с двумя ручками и грубо сделанным горлышком, заткнутым деревянной втулкой.

У края сжатого поля, где стояли телеги, нагруженные снопами, толпилось около сотни людей, несомненно, далеко оставивших за собою фигуры фантаста Калло, поэта бедняков, и отвратительнейшие образы, когда-либо вышедшие из-под кисти Мурильо и Генирса — двух самых смелых изобразителей этого жанра; бронзовые ноги, лысые головы, тряпье, разорванное и совершенно потерявшее цвет, засаленные лохмотья, прорехи, заплаты, пятна, полинявшая, потертая, дырявая одежда — словом, эти художники и не мечтали о таком ярком материальном образе нищеты; точно так же как алчное, беспокойное, тупое, бессмысленное и угрюмое выражение на лицах имело то вечное преимущество над бессмертными произведениями этих властителей красок, какое природа всегда имеет над искусством. Были тут старухи с индюшачьими шеями, с красными веками без ресниц, они вытягивали голову, как легавая собака, стоящая над куропаткой; были тут дети, безмолвные, как солдат на часах; были тут девочки, топтавшиеся на месте, как скотина в ожидании корма; характерные черты детского возраста и старости заслоняло общее для всех выражение звериной алчности — алчности на чужое добро, которое они незаконно присваивали. Глаза у всех горели, жесты были угрожающие, но в присутствии графа, стражника и начальника охраны толпа молчала. Помещик, фермер, работник и бедняк — все имело здесь своих представителей. Социальный вопрос вставал во всей своей грозной обнаженности, ибо голод согнал сюда всех этих людей с вызывающими лицами... На ярком солнце особенно резко выступали жесткие черты, впалые щеки; босые, запыленные ноги горели; тут были полуголые дети, в старой, разорванной кофте; в их русые кудрявые волосен-

ки набилась солома, сено, травинки; женщины держали за руку малышей, только что начинавших ходить,— матери пойдут собирать колосья, а они будут ползать где-нибудь в борозде.

Сердце старого солдата разрывалось при виде этой мрачной картины; генерал, человек по натуре добрый, сказал Мишо:

— Больно на них смотреть. Только понимая всю важность принятых нами мер, можно настаивать на их выполнении.

— Если бы все помещики следовали вашему примеру, жили в имении и делали столько добра, сколько делаете его вы, ваше превосходительство, то не осталось бы не скажу бедняков, потому что они всегда будут, а людей, которые не могли бы прожить своим трудом.

— Мэры Куша, Сернэ и Суланжа прислали сюда своих неимущих,— сказал Груазон, проверив свидетельства о бедности,— это неправильно...

— Конечно, неправильно,— сказал граф,— но зато наши бедняки пойдут в их общины. Если они не будут таскать снопов, для первого раза и то хорошо. Ко всему надо приучать постепенно,— добавил он, уезжая с поля.

— Слышали, что он сказал? — спросила старуха Тонсар у старухи Бонебо, которая стояла рядом с нею на дороге, идущей вдоль поля,— последние слова граф произнес несколько громче, и они уловили их.

— Да, это еще не все! Сегодня выдернули зуб, завтра оторвут ухо; будь у них повкуснее приправа, чтобы съесть наши потроха заместо телячьих, они покушали бы и человечинки! — ответила старуха Бонебо; проезжавший граф увидел ее злобное лицо, но она тут же угодливо заулыбалась, бросила на него медовый взгляд и поспешила низко поклониться.

— Вы тоже пришли подбирать колосья, а ведь моя жена дает вам как будто неплохой заработок?

— Эх, милый барин, пошли вам господь доброго здоровьица. Что поделаешь, когда парень мой меня объедает? Вот и припрятываешь горстку-другую колосьев, запасаешься хлебцем на зиму. Понаберу крохотку... оно и будет полегче!

Сбор колосьев оказался для сборщиков мало добычливым. Чувствуя поддержку, испольщики и фермеры

требовали чистой уборки, зорко следили, как вяжут и увозят снопы, так что такого нахального воровства, как прежде, теперь не было.

Привыкнув за прошлые годы набирать порядочно колосьев и напрасно стараясь набрать столько же и сейчас, настоящие и поддельные бедняки позабыли о недавнем помиловании в Куше; в них нарастало глухое недовольство, которое всячески разжигали Тонсары, Курткюис, Бонебо, Ларош, Водуайе, Годэн и соратники их по кабаку. После сбора винограда дело пошло еще хуже, потому что «добор» начался только после того, как грозди были сняты, а виноградники самым тщательным образом осмотрены управляющим Сибиле. Такие меры вызвали большое брожение в умах. Но когда между классом, в котором нарастают волнение и ярость, и классом, против которого обращена эта ярость, лежит такая пропасть,— слова замирают в ней; только по действиям можно заметить, что внутри что-то бродит, ибо недовольные, как кроты, ведут свою работу под землей.

Суланжская ярмарка прошла довольно спокойно, если не считать нескольких перепалок между перворазрядным и второразрядным городским обществом, вызванных деспотизмом королевы, не желавшей примириться с прочно утвердившейся властью прекрасной Эфеми Плиссу над светским львом Люпеном, чье ветреное и пылкое сердце г-жа Плиссу, по-видимому, закрепила за собой навеки.

Граф и графиня не появились ни на суланжской ярмарке, ни на балу в «Тиволи», что было вменено им в преступление господами Судри, Гобертеном и их приспешниками. «Они задаются, они нас презирают»,— говорили в салоне г-жи Судри. Тем временем графиня, стараясь заполнить пустоту, образовавшуюся с отъездом Эмиля, отдавалась делам милосердия с увлечением, которое так свойственно возвышенным душам, и творила добро, действительное или мнимое, а граф, со своей стороны, не менее ретиво занялся практическими хозяйственными улучшениями, которые, по его расчетам, должны были благоприятно отразиться на материальном положении местных жителей, а следовательно, и на их нравах. Прислушиваясь к советам аббата Бросета и пользуясь его опытом, г-жа де Монкорне понемногу приобре-

тала правильное представление о числе бедных семейств, проживавших в общине, об их взаимоотношениях, нуждах, средствах к существованию и о тех разумных мерах, к которым следовало прибегнуть, дабы облегчить их труд, не поощряя, однако, лени и праздности.

Графиня поместила Женевьеву Низрон — «Пешину»,— в оссэрский монастырь с той якобы целью, чтобы девочка обучилась там шитью и впоследствии поступила к ней в услужение, а на самом деле, чтобы уберечь ее от гнусных посягательств Никола Тонсара, которого г-ну Ригу удалось избавить от воинской повинности. Графиня полагала также, что религиозное воспитание и жизнь в монастыре под присмотром монашек с течением времени укротят пылкие страсти этой преждевременно развившейся девочки, так как иной раз ей представлялось, что грозное пламя, горящее в крови черногорки, способно даже издали испепелить семейное счастье ее верной Олимпии Мишо.

Итак, обитатели Эгского замка чувствовали себя спокойно. Граф, усыпленный доводами Сибиле и успокоенный увериениями Мишо, не мог нахвалиться проявленной твердостью и благодарил жену за то, что своей благотворительностью она немало посодействовала успешно достигнутому успокоению. Вопрос о продаже лесных материалов он откладывал до поездки в Париж, предполагая договориться с тамошними лесопромышленниками. Граф ничего не понимал в торговых делах и даже не подозревал о влиянии Гобертена на лесоторговлю по всему течению Ионы, в значительной мере снабжавшую лесом Париж.

VII

БОРЗАЯ

Около половины сентября Эмиль Блонде, ездивший в Париж для издания своей книги, вернулся в Эги, чтобы отдохнуть и обдумать намеченную на зиму работу. Здесь, на лоне природы, снова оживал в этом потрепанном жизнью журналисте прежний любящий и чистосердечный юноша, только что вышедший из отроческого возраста.

— Какой прекрасной души человек! — восклицали и граф и графиня.

Люди, привыкшие погружаться на дно общественной жизни, все понимать, не обуздывать своих страстей, создают себе опору в собственном сердце; порой они забывают о своей испорченности и об испорченности окружающих; в узком и замкнутом кругу они становятся ангелами; у них появляется женская тонкость чувств, на миг они отдаются заветной мечте и проявляют, вовсе не разыгрывая при этом комедии, небесные чувства к женщине, обожающей их; они, так сказать, обновляются душой, испытывают потребность очиститься от забрызгавшей их грязи, залечить свои язвы, перевязать раны. В Эгах Эмиль Блонде утрачивал всю свою ядовитость и почти не блистал остроумием; он не отпускал ни одного язвительного словечка, был кроток, как агнец, и полон платонической нежности.

— Какой прекрасный молодой человек! Право, мне его не хватает, когда он не с нами,— говорил генерал.— Очень бы мне хотелось, чтобы он разбогател и бросил свою парижскую жизнь...

Никогда еще прекрасные эгские пейзажи и парк не были так сладостно хороши, как сейчас. В дни ранней осени, когда земля, утомленная родами, освободившаяся от бремени плодов, изливает пряные запахи увядающей листвы, леса особенно восхитительны; листва их окрашивается в бронзово-зеленые и теплые красноватые тона, они облачаются в пышный убор, как будто посылая вызов приближающейся зиме.

Природа, веселая и нарядная весной, словно брюнетка, исполненная радужных надежд, в это время года становится меланхоличной и кроткой, как отдавшаяся воспоминаниям блондинка; луга золотятся, осенние цветы подымают свои бледные венчики, белые кружочки маргариток реже пестрят на зелени лужаек, и всюду видны одни лиловатые чашечки. Преобладают желтые тона, краски сгустились, листва стала прозрачней, косые лучи солнца кладут на нее беглые оранжевые блики, пронизывают длинными светлыми полосами, быстро исчезающими, как шлейф уходящих женщин.

Ранним утром, на второй день после приезда, Эмиль Блонде глядел из окна своей комнаты, выходившего на

большой балкон в современном вкусе. Балкон этот, с которого открывался прекрасный вид, шел вдоль половины графини, по фасаду, обращенному к лесам и пейзажам Бланжи. Отсюда был виден длинный канал и кусочек пруда, несомненно, получившего бы наименование озера, находись Эги ближе к Парижу; речушка, берущая начало у охотничьего домика, пересекала лужайку, извиваясь муаровой лентой, испещренной желтыми пятнами отмелей.

За парком, между оградой и деревней, виднелись бланжийские поля, луга с пасущимися коровами, усадьбы, окруженные живыми изгородями, фруктовые деревья, орешник и яблони; а дальше ландшафт обрамляла гряда холмов, по которым раскинулись уступами прекрасные леса. Графиня в ночных туфельках вышла на балкон взглянуть на цветы, изливавшие свежий утренний аромат. Сквозь батистовый пеньюар розовели ее прекрасные плечи; из-под хорошенького кокетливого чепчика, задорно сидевшего на ее головке, выбивались шаловливые прядки волос; крошечные ножки в прозрачных чулках сверкали наготой, широкий свободный пеньюар развевался, приоткрывая вышитую батистовую юбку, небрежно повязанную поверх корсета, который тоже виднелся, когда ветер играл ее воздушной одеждой.

— А, вы здесь! — сказала она.

— Да...

— На что вы смотрите?

— Что за вопрос! Вы отвлекли меня от созерцания природы... Скажите, графиня, не угодно ли вам сегодня утром, до завтрака, пройтись по лесу?

— Вот фантазия! Вы же знаете, что я терпеть не могу ходить пешком.

— Нам почти не придется ходить, я повезу вас в тильбюри. Мы возьмем с собой Жозефа и оставим на него экипаж... Вы никогда не бываете у себя в лесу, а я заметил там странное явление: кое-где верхушки деревьев отливают флорентийской бронзой, листья засохли...

— Хорошо, я сейчас оденусь...

— О, тогда нам не выехать и через два часа!.. Накиньте шаль, наденьте шляпу, ботинки... больше ничего не надо... Я скажу, чтобы запрягали...

— Вечно приходится делать по-вашему... Сейчас выйду.

— Генерал, мы едем кататься... а вы? — крикнул Блонде, будя графа, который проворчал что-то в ответ, как человек, еще находящийся во власти утреннего сна.

Четверть часа спустя коляска медленно катилась по аллеям парка, а за ней на некотором расстоянии ехал верхом рослый слуга в ливрее.

Утро было осеннее, настоящее сентябрьское. Ярко-синее небо кое-где проглядывало сквозь кучевые облака, казавшиеся основным фоном картины, а синева — явлением случайным; на горизонте тянулись длинные ультрамариновые полосы, чередуясь с сероватыми тучками; тон неба все время менялся, принимая над лесами зеленоватый оттенок. Под облачным покрывалом земля дышала теплом, как только что проснувшаяся женщина; от нее исходили сладкие, душные благоухания; запахи сжатого поля смешивались с запахами леса. В Бланжи звонили к обедне, и звуки колокола, сливаясь с причудливой мелодией лесов, придавали особую гармоничность окружающей тишине. Кое-где курился белый, прозрачный туман. Утро было так прекрасно, что Олимпии захотелось проводить мужа, который шел к одному из живших поблизости сторожей, чтобы отдать ему кое-какие распоряжения; суланжский врач рекомендовал ей неутомительные прогулки пешком; днем она боялась жары, а гулять вечером не хотела. Мишо взял с собой жену, за ними увязалась его любимая собака, красивая борзая мышиного цвета, с белыми пятнами, лакомка, как все борзые, и избалованная, как всякое животное, чувствующее, что его любят

Когда коляска подъехала к решетке охотничьего домика и графиня спросила о здоровье г-жи Мишо, ей сказали, что Олимпия в лесу вместе с мужем.

— Такая погода всех вдохновляет,— заметил Блонде, пуская лошадь наудачу по одной из шести лесных аллей.— Послушай, Жозеф, ты хорошо знаешь лес?

— Да, сударь!

И коляска покатилась! Аллея была одной из самых красивых в лесу; вскоре она свернула в сторону и, сужаясь, перешла в извилистую дорожку, куда солнце проникало через прорези в естественной кровле, прикрывав-

шей ее, точно пологом, под который ветерок заносил сладкие запахи богородичной травки, лаванды, дикой мяты, вянущих ветвей и осыпающихся с тихим шелестом листьев; от движения легкого экипажа падали капли росы, блестевшие на травинках и листьях; глазам путников постепенно открывались таинственные фантазии леса: прохладная глушь, с влажной, темной зеленью, отливающей бархатом и поглощающей свет; полянки с изящными березками, над которыми высится вековой лесной исполин; великолепные купы деревьев с узловатыми, замшелыми и седыми стволами, изрезанными прихотливым рисунком глубоких борозд; нежная каемка из травок и хрупких цветочков по краям колеи. Ручейки пели свои песни. Неизъяснимо, конечно, наслаждение — везти в коляске женщину, которая при подъемах и спусках на скользкой дороге, поросшей мхом, притворяется, будто боится, а может быть, и в самом деле боится и прижимается к вам, и вы чувствуете невольное или вольное прикосновение ее обнаженной свежей руки, тяжесть ее полного белого плеча, видите ее улыбку в ответ на ваши слова, что она мешает вам править. Лошадь как будто посвящена в тайну этих задержек и поглядывает то вправо, то влево.

Эти новые для графини картины, эта мощная в своих проявлениях природа, так мало изученная и такая величественная, погрузили ее в состояние томной мечтательности. Она откинулась на спинку тильбюри и отдалась радостному ощущению близости Эмиля; глаза ее были зачарованы созерцанием лесных картин, сердце в ней говорило, откликаясь на внутренний голос созвучной ей души. Эмиль смотрел на нее украдкой, наслаждаясь мечтательной задумчивостью спутницы, не замечавшей, что ленты ее шляпки развязались и шелковистые кудри белокурых волос с упоительной небрежностью развеваются по воле утреннего ветра. Они ехали наудачу и в конце концов уперлись в запертые ворота, от которых у них не было ключа. Спросили Жозефа — и у него также ключа не оказалось.

— Ну что ж, пройдемся пешком. Жозеф присмотрит за экипажем, найти его будет не трудно...

Эмиль и графиня углубились в лес и напали на замкнутый живописный уголок, какие нередко встречаются

в чащах. Двадцать лет тому назад здесь жгли уголь, и все кругом было выжжено на довольно большом пространстве,— осталась пустая поляна. Но за двадцать лет природе удалось создать себе здесь свой собственный сад и цветник, как иной раз художник пишет картину для собственного удовольствия. Эту прелестную клумбу осеняли величавые деревья, кроны которых, ниспадая над нею пышной бахромой, раскинулись словно гигантский шатер над ложем, достойным отдыха богини. Тропинка, по которой угольщики ходили за водой, вела к большой глубокой впадине, полной чистой воды. Тропинка сохранилась до сих пор и манит сойти по капризно извивающемуся спуску, но вдруг ее пересекает обрыв, из отвесного среза висят корни, переплетенные, как нити в канве. Это никому не ведомое озерко окаймлено низкой и густой травой, у берега несколько ив и тополей бросают прозрачную тень на дерновую скамью, сооруженную каким-нибудь ленивым или мечтательным угольщиком. По берегу прыгают лягушки, чирки плещутся в воде, водяные птицы то садятся, то улетают, заяц убегает,—вы остаетесь хозяином этой восхитительной кущи пальм, которую обступили прекрасные, словно живые, камыши. Над вами — причудливо изогнутые деревья: вот извиваются, как боа, склонившиеся к земле длинные стволы, вот, подобно греческим колоннам, уходят ввысь стройные буки. Слизни и улитки мирно прогуливаются по стеблям растений. Белка поглядывает на вас, а из воды высунул голову линь. Когда Эмиль и графиня, утомившись, присели на берегу, какая-то птичка затянула песню, прощальную осеннюю песню, которой мы внимаем с радостью и любовью, воспринимаем всем существом, и, слушая ее, умолкают все птицы.

— Какая тишина! — прошептала растроганная графиня, как будто боясь нарушить царивший вокруг покой.

Они разглядывали зеленые пятна на поверхности озерка — целый мир зарождающейся органической жизни; следили за маленькой юркой ящерицей, игравшей на солнце и скрывшейся при их приближении.

— Недаром эту ящерицу прозвали «другом человека»—ее повадки доказывают, как она хорошо его знает,— сказал Эмиль.

Их забавляли лягушки: те были менее боязливы, вылезали на поверхность воды и, усевшись на широкие листья кувшинок, поглядывали блестящими бусинками глаз. Простая и сладостная поэзия природы проникала в души обоих парижан, пресыщенные искусственностью света, и погружала их в мечты... Вдруг Блонде вздрогнул и, наклонившись к уху графини, прошептал:

— Вы слышите?

— Что?

— Какой-то странный звук...

— Ах вы, писатели... кабинетные люди... Никакого вы представления не имеете о деревне: это зеленый дятел долбит дерево... Готова держать пари, что вы даже не знаете самой любопытной особенности этой птицы: как только она ударит клювом,— а ей надо ударить десятки тысяч раз, чтобы продолбить толстый дуб, в два обхвата,— она перескакивает на ту сторону дерева поглядеть, не пробила ли она его насквозь, и проделывает она это поминутно.

— Это не тот звук, дорогая учительница естествознания, тут не животное, тут чувствуется обдуманность, свойственная человеку.

Графиню вдруг охватил панический страх; она бросилась обратно на цветущую поляну, стараясь как можно скорее выбраться из леса.

— Что с вами? — с беспокойством крикнул Блонде, поспешая за ней.

— Мне показалось, что я видела чьи-то глаза...—сказала графиня, когда они достигли тропинки, приведшей их на поляну, где когда-то жгли уголь. В это мгновение до слуха их донесся приглушенный хрип, как будто внезапно зарезали живое существо, и графиня, вне себя от ужаса, помчалась с такой быстротой, что Блонде едва поспевал за нею. Она неслась, словно блуждающий огонек, и не слышала, как Эмиль кричал: «Вам почудилось!» Она не останавливалась. Наконец Эмиль догнал ее, и они продолжали бежать вперед, вперед без оглядки, пока им не преградили путь шедшие под руку супруги Мишо. Эмиль и графиня, едва переводя дух, с трудом объяснили им, в чем дело. Мишо, так же как и Блонде, посмеялся над страхом графини и вывел заблудившую-

ся пару на дорожку к дожидавшемуся ее тильбюри. Когда все четверо подошли к ограде, г-жа Мишо позвала собаку:

— Принц!

— Принц! Принц! — закричал начальник охраны.

Он свистнул раз, свистнул другой,— борзая не появлялась.

Эмиль рассказал о странных звуках, положивших начало их приключению.

— Жена тоже слышала эти звуки,— сказал Мишо,— и я поднял ее на смех.

— Принца убили! — воскликнула графиня.— Теперь я в этом уверена. Ему перерезали горло: звук, который я слышала, был последним стоном издыхающего животного.

— Ах, черт! — воскликнул Мишо.— Это необходимо выяснить.

Эмиль и начальник охраны оставили обеих дам с Жозефом при лошадях и вернулись в тот природный цветник, где когда-то обжигался уголь. Они спустились к водоему, обшарили берега и ничего не нашли. Блонде, первым поднявшись наверх, заметил среди купы деревьев, росших по верхнему уступу, одно из тех деревьев с засохшей листвой, о которых говорил графине; он указал на него Мишо и решил посмотреть его вблизи. Оба отправились напрямик через чащу, пробираясь между деревьями, минуя непролазные заросли терновника и ежевики, и наконец подошли к дереву.

— Какой прекрасный вяз! — сказал Мишо.— Но его гложет червь,— всю кору объел у самого основания.

Говоря это, он нагнулся и поднял кусок коры.

— Смотрите, какая работа!

— В вашем лесу много червей,— сказал Блонде.

В это мгновение Мишо заметил в нескольких шагах красное пятно, а немного дальше голову своей борзой. Из его груди вырвался вздох: «Негодяи! Графиня была права...»

Блонде и Мишо подошли к трупу и увидели, что все произошло именно так, как предполагала графиня: Принцу перерезали горло, а чтобы он не залаял, его приманили кусочком солонины, который и сейчас был зажат у него между зубами.

— Бедное животное, оно пало жертвой своих пороков!

— Как и подобает принцу,— вставил Блонде.

— Здесь был кто-то, кто боялся попасться нам на глаза, и улизнул,— сказал Мишо,— очевидно, он делал что-то противозаконное. Но нигде не видно срубленных ветвей или деревьев.

Блонде и начальник охраны принялись со всей осторожностью обыскивать местность, всматриваясь в каждую пядь земли, прежде чем ступить на нее. Сделав несколько шагов, Блонде указал на дерево, перед которым в притоптанной, измятой траве ясно обозначались два углубления.

— Кто-то стоял здесь на коленях, несомненно, женщина, потому что мужчина не помял бы ногами столько травы, как женщина в широких юбках.

Осмотрев основание дерева, начальник охраны разыскал начало червоточины, но не мог найти его обычного виновника — личинки с твердой, лоснящейся, кольчатой, покрытой бурыми пятнышками оболочкой и с передней оконечностью, уже похожей на оконечность майского жука,— та же головка, сяжки и пара крепких челюстей для перегрызания корней.

— Дорогой мой, теперь я понимаю, откуда берется такое количество засохших деревьев, замеченных мною сегодня утром с террасы замка; из-за них-то я и поехал в лес, чтобы выяснить причину этого странного явления. Черви в самом деле здесь копошатся, но они выходят из леса в образе ваших крестьян...

Начальник охраны крепко выругался и вместе с Эмилем вернулся к тому месту, где осталась графиня, и попросил ее увезти с собой Олимпию. Сам он вскочил на лошадь Жозефа, отправил того в замок пешком, и в мгновение ока скрылся из виду; он помчался наперерез женщине, только что убившей его собаку, чтоб захватить ее с поличным: с окровавленным ножом и с тем инструментом, которым она надрезала стволы. Блонде уселся между графиней и г-жой Мишо и рассказал им, что случилось с Принцем и какое печальное открытие вызвано было этим событием.

— Боже мой! Обязательно надо сказать об этом мужу

до завтрака,— воскликнула графиня,— а то с ним случится удар.

— Я его подготовлю,— предложил Блонде.

— Они убили собаку,—промолвила Олимпия, утирая слезы.

— Вы, верно, очень любили эту бедную борзую, дружок, если так по ней плачете? — спросила графиня.

— Смерть Принца для меня мрачное предзнаменование, я боюсь, как бы не случилось несчастья с мужем!

— Как они испортили нам это прекрасное утро! — сказала графиня, очаровательно надув губки.

— Как они портят весь край! — грустно отозвалась молодая женщина.

Генерал встретился им у ворот.

— Откуда вы? — спросил он.

— Сейчас узнаете,—таинственно ответил Блонде, помогая выйти из тильбюри г-же Мишо, поразившей генерала своим печальным видом.

Минуту спустя генерал и Блонде уже ходили по террасе.

— Вы выслушаете меня хладнокровно, не поддадитесь ярости, не правда ли?

— Да, да,— ответил генерал,— но договаривайте же скорей. Право, я могу подумать, что вы меня поддразниваете...

— Видите вон те деревья с засохшими листьями?

— Да.

— А те, с пожелтевшими кронами?

— Да.

— Так вот, все засохшие деревья загублены теми самыми крестьянами, которых, как вам кажется, вы обезоружили своими благодеяниями.

И Блонде рассказал про утренние приключения.

Генерал так побледнел, что Блонде испугался.

— Ну что же вы? Бранитесь, проклинайте, выходите из себя! Сдержанность может еще больше вам повредить, чем гнев.

— Я пойду покурю,— сказал граф, направляясь в свою беседочку.

Во время завтрака приехал Мишо. Он никого не поймал. Явился и Сибиле, вызванный графом.

— Господин Сибиле и вы, господин Мишо, осторожно пустите слух, что я заплачу тысячу франков тому, кто поможет мне захватить с поличным людей, которые губят деревья. Надо узнать, чем они для этого пользуются, где достают инструмент, и тогда... у меня есть свой план.

— Нет, крестьяне за деньги не выдадут, раз преступление им выгодно и совершено преднамеренно,— ответил Сибиле.— Ведь ясно же, что в этой дьявольской затее все заранее обдумано и рассчитано...

— Да, но тысяча франков — это для них один или два арпана земли.

— Попробуем,— сказал Сибиле.— За полторы тысячи я, пожалуй, берусь найти доносчика, в особенности если все останется в тайне.

— Только сделаем вид, будто бы мы ничего не знаем, особенно я. Лучше пусть думают, что вы это раскрыли помимо меня, а то нас опять обманут; их, разбойников, надо остерегаться куда больше, чем врага на войне.

— Но это же и есть враг! — воскликнул Блонде.

Сибиле поглядел на него исподлобья, очевидно, поняв, куда метят эти слова, и вышел из комнаты.

— Не люблю я вашего Сибиле,— сказал Блонде, когда услышал звук захлопнувшейся двери,— фальшивый человек!

— Пока о нем нельзя сказать ничего плохого,— ответил генерал.

Блонде ушел к себе, чтобы написать несколько писем. Беспечная веселость с первых дней покинула его; он был встревожен и озабочен. У него это было не предчувствие, как у г-жи Мишо, а скорее ожидание предвиденного и неминуемого несчастья. Он думал: «Это кончится плохо. Если генерал не придет к определенному решению и не отступит с поля битвы, где враг возьмет верх своей численностью, жертвы неизбежны... Кто знает, удастся ли еще им с женой выбраться отсюда целыми и невредимыми? Боже мой! Подвергать стольким опасностям такое прелестное, такое преданное и совершенное создание!.. И он думает, что любит ее! Ну что ж, я разделю их участь, и если мне не удастся их спасти, погибну вместе с ними!»

VIII

СЕЛЬСКИЕ ДОБРОДЕТЕЛИ

Было уже темно, когда Мари Тонсар, сидя на краю мостика по дороге в Суланж, поджидала Бонебо, который, как обычно, провел весь день в кофейне. Она еще издали услышала его шаги и по походке определила, что он пьян и проигрался, потому что он обычно пел, когда бывал в выигрыше.

— Это ты, Бонебо?

— Я самый, ягодка...

— Что с тобой?

— Задолжал двадцать пять франков, и сколько меня ни жми, ничего из меня не выжмешь.

— Ну, так вот, мы можем получить пятьсот,— шепнула она ему на ухо.

— Ого! Значит, надо кого-нибудь прикончить; а я хочу еще немножко пожить...

— Молчи! Деньги предлагает Водуайе, если ты поможешь поймать твою мать возле дерева.

— Я лучше убью человека, чем продам свою мать. У тебя есть старуха бабка, почему ты ее не выдашь?

— Я бы не прочь, да отец осерчает, и, стало быть, ничего не выйдет.

— Это верно... Только все равно моя мать в тюрьму не пойдет... Бедная старуха! Она мне и хлеб печет и одежду не знаю откуда добывает... И чтобы отправить ее в тюрьму... да еще своими руками! Что же это, выходит, у меня ни души, ни сердца? Нет, нет! А чтоб ее другой кто не продал, скажу ей сегодня же вечером, чтоб бросила портить деревья...

— Ну что ж, пусть отец решает. Скажу ему, что есть случай заработать пятьсот франков, пусть спросит бабку,— может, она и согласится. Семидесятилетнюю старуху в тюрьму не посадят. А потом ей там будет лучше, чем на чердаке.

— Пятьсот франков!.. Я поговорю с матерью,— сказал Бонебо.— И правда, коли она не прочь отдать их мне, я бы ей сколько-нибудь тоже дал на прожиток в тюрьме; будет себе прясть, время и пройдет, харч хороший, квартира теплая, забот куда меньше, чем в Куше. До завтра, ягодка... Некогда мне с тобой болтать.

На следующее утро, в пять часов, еще чуть светало, а Бонебо с матерью уже стучались в двери «Большого-У-поения», где была на ногах только старая бабка.

— Мари,— крикнул Бонебо,— дело слажено!

— Какое такое дело, не вчерашнее ли насчет деревьев? — спросила старуха Тонсар.— Уже договорились, я взялась.

— Вот еще новости! Господин Ригу обещал моему парню арпан земли за эту цену...

Старухи заспорили, которой быть проданной собственными детьми. Громкая ссора подняла весь дом. Тонсар и Бонебо взяли каждый сторону своей матери.

— Тяните соломинку,— предложила жена Тонсара.

Счастливая соломинка досталась кабаку. Три дня спустя, на рассвете, жандармы привели из лесу в Виль-о-Фэ старуху Тонсар, застигнутую на месте преступления начальником охраны, лесниками и стражниками; при ней оказались заржавленный гвоздь, которым она прорывала кору, и напильник, которым она заглаживала кольцевую дорожку, чтоб она походила на след, оставляемый червяком. Протоколом было установлено, что такому вероломному повреждению подверглось шестьдесят деревьев на пространстве радиусом в пятьсот шагов. Старуху переправили в Оссэр, так как дело подлежало рассмотрению суда присяжных.

Когда Мишо увидел старую бабку у подножия дерева, он не удержался и сказал:

— Ну, что за люди!.. А граф и графиня осыпают их своими милостями!.. Честное слово, если бы графиня меня послушалась, она не дала бы приданого дочке Тонсара, та еще почище бабки будет.

Старуха подняла на Мишо свои серые глаза и злобно на него посмотрела. Когда граф узнал, кто был виновником преступления, он действительно запретил жене давать приданое Катрин Тонсар.

— Ваше сиятельство тем более правы,— сказал Сибиле,— что земля, купленная Годэном, приобретена им, как я теперь узнал, на три дня раньше, чем Катрин Тонсар приходила со своей просьбой к графине. Значит, бабушка с внучкой разыграли эту сцену, рассчитывая разжалобить графиню. От Катрин всего можно ждать, она способна нарочно попасть в то положение, в каком она

оказалась, только бы заполучить деньги, и Годэн тут ни при чем...

— Что за люди! — воскликнул Блонде.— Парижские негодяи в сравнении с ними святые...

— Ах, сударь,— прервал его Сибиле,— корысть всюду толкает людей на гадости! Знаете, кто выдал старуху Тонсар?

— Нет!

— Ее внучка Мари. Она завидовала замужеству сестры и, чтобы устроиться...

— Это ужасно! — воскликнул граф.—Значит, они и убить могут?

— О,— ответил Сибиле,— из-за малейшего пустяка! Они так мало дорожат жизнью, им надоело все время работать. Ах, ваше сиятельство, в глуши деревень творятся дела похуже, чем в Париже. Вы просто не поверите.

— Вот и будь после этого доброй, благодетельствуй людям! — воскликнула графиня.

Вечером, в день ареста, Бонебо появился в «Большом-У-поении», где вся семья Тонсаров предавалась великому ликованию.

— Радуйтесь, радуйтесь! Я сейчас узнал от Водуайе, что в наказание вам графиня не даст Катрин обещанной тысячи франков,— генерал не позволяет.

— Это негодяй Мишо присоветовал ей,— сказал Тонсар.— Матушка сама слышала, она мне рассказала в Виль-о-Фэ, когда я относил ей деньги и вещи. Ну и пусть не дает! Катрин отдаст за участок наши пятьсот франков, а мы с Годэном подумаем, как рассчитаться за этот подвох... Так! Мишо вмешивается в наши делишки? Ладно же, ему тоже не поздоровится! Ему-то что за дело? Разве лес его? А заварил всю кашу он... Он же и пронюхал, чем тут пахнет,— в тот день, когда матушка перерезала глотку собаке. Ну, а если бы я вздумал совать нос в ихние дела? Если бы я рассказал генералу, что его жена разгуливает утром с молодым человеком по лесам, не боясь холодной росы? Видно, им вдвоем-то тепленько.

— Генерал что! — воскликнул Курткюис.— С генералом можно поладить, это все Мишо его подзадоривает... он коновод, а в деле своем ничего не смыслит... при мне все шло по-другому!

— Эх,—сказал Тонсар,— вот золотое времечко было... Верно, Водуайе?

— Скажу одно,— ответил Водуайе,— не будь здесь Мишо, мы опять зажили бы спокойно.

— Довольно болтать,— сказал Тонсар,— поговорим об этом в другой раз, в чистом поле, при луне.

В конце октября графиня уехала, оставив генерала в Эгах; он должен был вернуться в Париж значительно позже. Ей не хотелось пропустить премьеру в Итальянской опере; к тому же она в последнее время чувствовала себя одинокой и скучала, так как лишилась общества Эмиля, помогавшего ей коротать те часы, когда генерал охотился в своих владениях или был занят хозяйством.

Ноябрь выдался совсем зимний, темный, хмурый, с морозами и оттепелями, со снегом и дождем. По делу старухи Тонсар суд вызывал свидетелей, и Мишо ездил давать показания. Г-н Ригу принял участие в старухе, нанял для нее адвоката, который построил защиту на том, что имелись только показания свидетелей обвинения и не было свидетелей защиты; но показания Мишо и лесников, поддержанные показаниями стражника и двух жандармов, оказались решающими: мать Тонсара была приговорена к пяти годам тюрьмы, и адвокат сказал Тонсару-сыну:

— Вы обязаны этим показанию Мишо.

IX

КАТАСТРОФА

Однажды в субботний вечер Курткюис, Бонебо, Годэн, Тонсар, его дочери, жена, дядя Фуршон, Водуайе и несколько поденщиков сидели за ужином в трактире. Ночь была лунная; первый выпавший снег стаял, легкий мороз подсушил землю, и шаги человека не оставляли следов, по которым нередко открываются крупные преступления. Компания ела рагу из зайцев, пойманных в силки; было весело и пьяно: вчера только отпраздновали свадьбу Катрин, которую предстояло отвести в дом мужа, стоявший недалеко от усадьбы Курткюиса. Когда Ригу продавал участок земли, участок этот находился на отлете и примыкал к лесу. Курткюис и Водуайе были с ружьями, так как собирались провожать молодую. Вся

деревня уже спала, не светилось ни одного огонька. Гуляли только на свадьбе и шумели вовсю. В трактир вошла старуха Бонебо; все взоры устремились на нее.

— Женка его, видно, собралась родить,— шепнула она на ухо Тонсару и своему сыну.— Он едет за доктором Гурдоном в Суланж, приказал седлать лошадь.

— Присаживайся-ка, мать,— сказал Тонсар и, уступив ей свое место за столом, прилег на скамью.

В этот момент послышался топот лошади, галопом проскакавшей по дороге. Тонсар, Курткюис и Водуайе стремглав выбежали на улицу и увидели Мишо, мчавшегося по деревне.

— Ловко он понимает свое дело! — сказал Курткюис.— Он проехал мимо крыльца вниз и взял на Бланжи по большаку — так всего безопасней...

— Да,— сказал Тонсар,— но обратно он повезет господина Гурдона...

— Он может его не застать,— заметил Курткюис.— Доктора поджидали в Куше к почтмейстерше,— она не стесняется беспокоить людей в любой час дня и ночи.

— Ну, тогда он поедет по суланжской дороге на Куш, это прямее всего.

— И надежнее всего для нас,— сказал Курткюис.— Сейчас луна, на большаке сторожей нет, не то что в лесу, и слышно издалека; от сторожек — из-за изгороди, там, где она подходит к лесочку,— по человеку можно стрелять в угонку, как по кролику, хоть на пятьсот шагов...

— Там он проедет в половине двенадцатого,— сказал Тонсар.— Полчаса у него уйдет на дорогу в Суланж и столько же на обратный путь... А ну, как господин Гурдон встретится ему на дороге, ребятки?..

— Не беспокойся,— сказал Курткюис.— Я буду в десяти минутах от тебя, на той дороге, что правее Бланжи, по пути к Суланжу; Водуайе тоже будет в десяти минутах — на дороге в Куш, и если кто-нибудь поедет — почтовая ли карета, дилижанс, жандармы, ну, кто бы там ни был,— мы дадим выстрел в землю.

— А если я промахнусь?

— Он прав,— заметил Курткюис.— Я лучше стреляю, чем ты, Водуайе, я пойду с тобой. Бонебо встанет вместо меня и крикнет; оно будет понятнее, да и не так подозрительно.

Все трое вернулись в трактир, гулянье продолжалось. В одиннадцать часов Водуайе, Курткюис, Тонсар и Бонебо вышли, взявши ружья, но женщины не обратили на это внимания. Да и вернулись они уже через три четверти часа и продолжали пьянствовать до часу ночи. Обе дочери Тонсара, их мать и старуха Бонебо до того напоили мельника, поденщиков, двух крестьян и тестя Тонсара — Фуршона, что те свалились с ног и храпели, когда четверо приятелей вышли из трактира. По их возвращении спящих растолкали,— все они лежали на прежних местах.

Пока в трактире шел кутеж, чета Мишо переживала смертельную тревогу. У Олимпии начались ложные схватки, и муж ее, думая, что это уже роды, не теряя ни минуты, помчался за доктором. Но не успел он уехать, как боли прекратились, потому что все мысли бедной женщины сосредоточились на опасности, грозившей ее мужу в такой поздний час здесь, где все были настроены против него, где было столько отпетых негодяев, и эта душевная боль была так сильна, что сразу притупила и заглушила ее физические страдания. Напрасно служанка твердила ей, что все эти тревоги — плод воображения; она как будто не понимала слов и сидела в спальне у камина, чутко прислушиваясь ко всякому звуку, доносившемуся снаружи; страх ее возрастал с каждой минутой; Олимпия даже велела разбудить работника, хотела ему что-то приказать, но так ничего и не приказала. Бедняжка в лихорадочном волнении ходила взад и вперед по комнате, заглядывала то в одно, то в другое окно, открывала их, хотя было уже холодно; потом спускалась вниз, отворяла входную дверь, всматривалась в даль и прислушивалась...

— Нет... все еще нет! — повторяла она. И в отчаянии снова шла в спальню.

Около четверти первого она крикнула: «Едет, я слышу стук копыт его лошади!» И сошла вниз в сопровождении работника, который отправился открывать ворота. «Странно,— подумала она,— он возвращается через Кушский лес». И тут же застыла, не в силах пошевельнуться, онемев от ужаса. Ужас охватил и слугу; в стуке копыт мчавшейся во весь опор лошади, в звяканье пустых стремян, в выразительном ржании.— так ржет лошадь,

потерявшая седока,— было что-то тревожное. Скоро — слишком скоро для несчастной женщины — лошадь, тяжело дыша и вся в мыле, подскакала к воротам, но без всадника. Она порвала поводья, в которых, вероятно, запуталась. Олимпия в полной растерянности смотрела, как слуга отворяет ворота. Увидев лошадь, она без единого слова, как безумная, бросилась к замку; добежав туда, упала под окнами генерала и громко крикнула:

— Они его убили!..

Крик этот был так ужасен, что разбудил графа; он позвонил, поднял на ноги весь дом. Услышав стоны г-жи Мишо, разрешившейся мертвым младенцем, генерал и слуги подбежали к ней. Несчастную женщину подняли, она была при смерти. Олимпия скончалась, сказав генералу:

— Они его убили!

— Жозеф! — крикнул граф своему лакею,— бегите за доктором! Может быть, есть еще какая-нибудь надежда... Нет, лучше позовите кюре. Бедняжка умерла, и ребенок тоже... Господи! Господи! Какое счастье, что здесь нет жены!.. А вы,— сказал он садовнику,— сходите туда, узнайте, что случилось.

— Случилось то,— сказал работник г-на Мишо,— что лошадь хозяина только что примчалась одна, с оборванными поводьями, забрызганная кровью... На седле расплылось кровавое пятно.

— Как же быть? Сейчас ночь! — воскликнул граф.— Ступайте разбудите Груазона, вызовите лесников; велите седлать лошадей — мы обследуем местность.

На рассвете восемь человек — граф, Груазон, трое лесников и два жандарма, прибывшие из Суланжа вместе с вахмистром,— обыскали всю местность. Около полудня тело начальника охраны было наконец найдено в лесной чаще, между большой и виль-о-фэйской дорогами, в конце парка, в пятистах шагах от Кушских ворот. Два жандарма тотчас же отправились: один в Виль-о-Фэ за прокурором, другой в Суланж за мировым судьей. Тем временем генерал при содействии вахмистра составил протокол. На дороге, напротив второй сторожки, был замечен отпечаток задних копыт лошади, плясавшей на месте и, очевидно, взвившейся на дыбы, а затем, до первой лесной тропинки, ниже изгороди, шли резкие отпечатки подков мчавшейся карьером испуганной лошади. Ос-

тавшись без седока, она понеслась по этой тропинке; там же была найдена шляпа Мишо. Лошадь выбрала кратчайший путь к конюшне. Пуля засела в спине у Мишо, позвоночник был перебит.

Груазон и вахмистр самым тщательным образом исследовали землю вокруг того места, где вздыбилась лошадь,— по-видимому, «места преступления», как говорится на официальном судебном языке,— но не могли обнаружить никаких улик. На промерзшей земле не сохранились следы убийцы; нашли только бумажную гильзу. Когда местный прокурор, судебный следователь и доктор Гурдон прибыли, чтобы забрать тело и произвести вскрытие, было установлено, что пуля, совпадавшая по размерам с остатками гильзы, выпущена из солдатского ружья, а во всей бланжийской общине не было ни одного солдатского ружья. Судебный следователь и прокурор, г-н Судри, прибывшие вечером в замок, полагали, что надо собрать все материалы следствия и выждать. Такого же мнения придерживались вахмистр и жандармский офицер из Виль-о-Фэ.

— Не подлежит никакому сомнению, что стрелял кто-то из местных жителей,— сказал вахмистр,— но у нас две общины — кушская и бланжийская, и в каждой из них есть пять-шесть человек, способных на такое дело. Больше всех я подозреваю Тонсара, но он всю эту ночь пьянствовал; ваш помощник, мельник Ланглюме, гулял вместе с ними, ваше превосходительство. Все участники кутежа были так пьяны, что едва держались на ногах; молодую они отвели в половине второго, а если судить по времени, когда вернулась лошадь, то Мишо был убит между одиннадцатью и двенадцатью ночи. В четверть одиннадцатого Груазон видел всю свадьбу за столом, и в это же время господин Мишо проехал по дороге в Суланж, куда он прибыл в одиннадцать часов. Его лошадь взвилась на дыбы между первой и второй сторожкой, но он мог быть ранен, не доезжая Бланжи, и продержаться некоторое время в седле. Надо привлечь к суду человек двадцать, не меньше, арестовать всех подозрительных; но присутствующие здесь знают крестьян так же хорошо, как и я: вы можете продержать их в тюрьме целый год и ничего от них не добьетесь, они будут отпираться. Что делать с теми, кто был у Тонсара?

Вызвали мельника Ланглюме, помощника генерала де Монкорне; он рассказал, как провел вечер: все они сидели в трактире, выходили только на несколько минут во двор... Около одиннадцати он тоже выходил вместе с Тонсаром, говорили о луне, о погоде; ничего особенного они не слышали. Ланглюме перечислил всех присутствовавших, никто из них из трактира не отлучался. Около двух часов они все вместе проводили молодых домой.

Генерал договорился с вахмистром, жандармским офицером и прокурором, что пришлет из Парижа опытного сыщика, который назовется рабочим и поступит в замок, а затем будет уволен за дурное поведение, начнет пьянствовать, сделается завсегдатаем «Большого-У-поения», обоснуется где-нибудь поблизости и станет всем ругать генерала. Нельзя было придумать ничего лучше, чтобы подслушать неосторожное слово и подхватить его на лету.

— Пусть я израсходую на это двадцать тысяч франков, а убийцу моего бедного Мишо я все-таки найду!— твердил генерал Монкорне.

С этой мыслью он уехал в Париж и вернулся в январе вместе с одним из искуснейших выучеников начальника парижской сыскной полиции. Субъект этот водворился в замке якобы для того, чтобы руководить внутренними переделками, и занялся браконьерством. На него составили несколько протоколов; генерал его выгнал и в феврале уехал в Париж.

X

ТРИУМФ ПОБЕЖДЕННЫХ

Однажды вечером, в мае месяце, когда наступила хорошая погода и в Эги съехались парижане, за вистом и шахматами собрались привезенный дочерью г-н де Труавиль, Блонде, аббат Бросет, генерал и приехавший в гости виль-о-фэйский супрефект; было половина двенадцатого. Жозеф доложил, что уволенный графом негодный рабочий хочет с ним поговорить; он уверяет, что хозяин остался ему должен. По словам лакея, он был вдребезги пьян.

— Хорошо, сейчас выйду.

И генерал вышел на лужайку, находившуюся в некотором расстоянии от замка.

— Ваше сиятельство,— сказал сыщик,— из этих людей ничего не выжмешь. Я знаю только одно: если вы останетесь в Эгах и будете отучать местных жителей от привычек, которые они приобрели в бытность здесь мадемуазель Лагер, вы дождетесь, что и вас подстрелят... Делать мне тут, во всяком случае, больше нечего; они меня остерегаются больше, чем ваших сторожей.

Граф расплатился с сыщиком, и тот уехал, подтвердив своим отъездом подозрения, возникшие у виновников смерти Мишо. Когда генерал вернулся к гостям, на лице его было написано такое сильное и глубокое волнение, что жена встревожилась и спросила, что нового он узнал.

— Мне не хотелось бы тебя пугать, дружок, но все же тебе следует знать, что смерть Мишо — косвенное предостережение нам, чтобы мы уезжали отсюда...

— Я бы ни за что не уехал,— сказал г-н де Труавиль.— У меня были такого же рода неприятности в Нормандии, хотя в другой форме, и я не уступил; теперь все обошлось.

— Господин маркиз, Нормандия и Бургундия—совершенно различные местности,— заметил супрефект.— Виноградный сок сильнее горячит кровь, нежели яблочный. Мы не так хорошо знакомы с законами и судопроизводством и окружены лесами, промышленность у нас еще не развита, мы дикари... Если бы спросили моего совета, то я бы посоветовал продать имение и поместить деньги в ренту; доходы графа удвоятся, и никаких хлопот. Если граф любитель деревни, он легко приобретет в окрестностях Парижа замок и парк, обнесенный оградой, не менее прекрасный, чем Эгский парк, но туда никто посторонний не войдет, а фермы при замке будут сдаваться в аренду, и только таким людям, которые приезжают в собственных кабриолетах, платят кредитными билетами; уверяю вас, за весь год не придется составить ни одного протокола... Дорога в поместье и обратно в Париж займет три-четыре часа, не больше, и господин Блонде и маркиз будут у вас, графиня, не столь редкими гостями.

— Чтобы я отступил перед крестьянами, когда я не отступил даже на Дунае!

— Да, но где ваши кирасиры? — спросил Блонде.

— Такое прекрасное имение!..

— Вам за него сейчас дадут больше двух миллионов!

— Один замок, наверное, стоил не меньше,—заметил г-н де Труавиль.

— Самое прекрасное поместье на двадцать миль в окружности,— сказал супрефект.— Но вы найдете еще лучше в окрестностях Парижа.

— Сколько дохода дают два миллиона? — спросила графиня.

— Сейчас около восьмидесяти тысяч франков,— ответил Блонде.

— Эги приносят не больше тридцати тысяч франков чистого дохода,— сказала графиня,— и, кроме того, за эти годы вы произвели громадные затраты, окопавши весь лес канавами...

— Сейчас можно за четыреста тысяч франков получить под Парижем королевский замок — купить чужое безумство,— сказал Блонде.

— А разве вы не дорожите Эгами? — спросил граф жену.

— Неужели вы не понимаете, что я в тысячу раз больше дорожу вашей жизнью! — ответила она.— К тому же со дня смерти бедняжки Олимпии и убийства Мишо этот край мне опротивел; мне чудится, что у всех, кого ни встретишь, лица какие-то зловещие, угрожающие.

На другой день вечером в салоне г-на Гобертена в Виль-о-Фэ мэр встретил супрефекта следующей фразой:

— Итак, господин де Люпо, вы изволили побывать в Эгах?

— Да,— ответил супрефект со скромно торжествующим видом, бросая нежный взгляд на мадемуазель Элизу.— Я очень опасаюсь, что мы лишимся общества генерала: он хочет продать имение...

— Господин Гобертен, позаботьтесь о загородном доме... Я больше не в силах переносить пыль и шум Виль-о-Фэ. Как пташка в клетке, я рвусь в чистое поле, в лес...— томно проговорила мадам Изора, полузакрыв глаза, склонив голову на левое плечо и небрежно перебирая свои длинные белокурые локоны.

— Да будьте же вы, наконец, благоразумны, сударыня,— прошептал Гобертен.— При вашей болтливости приобрести загородный дом не так-то легко...

Затем, обратившись к супрефекту, он спросил:

— Что же, так до сих пор и не удалось разыскать убийцу начальника охраны?

— По-видимому, нет,— ответил супрефект.

— Это сильно повредит продаже Эгов,— во всеуслышание заметил Гобертен.— Про себя скажу, что ни за что не купил бы этого поместья... Очень уж зловредное здесь население; даже во времена мадемуазель Лагер мне приходилось с ними воевать, а одному богу известно, как она им мирволила!

Май уже подходил к концу, но ничто не говорило о намерении генерала продать Эги, он все еще колебался. Однажды вечером, часов около десяти, генерал возвращался из лесу домой по одной из шести аллей, шедших от площадки охотничьего домика; генерал отпустил сторожа, так как замок был уже недалеко. На повороте аллеи из-за куста вышел человек с ружьем.

— Генерал,— сказал он,— вот уже третий раз я беру вас на мушку и третий раз дарю вам жизнь.

— А почему ты хочешь меня убить, Бонебо? — спросил генерал, не выказывая ни малейшего волнения.

— Да что ж, если не я, так другой кто убьет. Только я, видите ли, чувствую слабость к людям, служившим императору, не подымается у меня рука подстрелить вас, как куропатку... Лучше не спрашивайте, все равно ничего не скажу. Но у вас есть враги посильнее и похитрее, чем вы, и они с вами справятся. Если я вас убью, то получу тысячу экю и женюсь на Мари Тонсар. Дайте мне несколько несчастных арпанов земли и какую ни на есть хибарку, и я буду говорить то же, что говорил до сих пор: не представилось, мол, удобного случая. Вы еще успеете продать поместье и уехать, но торопитесь. Хоть я и негодяй, а все-таки совесть у меня есть; другой, пожалуй, вас не пожалеет...

— Ну, а если я тебе дам то, что ты просишь, скажешь, кто тебе пообещал тысячу экю? — спросил генерал.

— Мне это неизвестно; а человека, который меня на это дело подговаривает, я слишком люблю и не назову... Да если бы вы даже и знали, что это Мари Тонсар, это

все равно ни к чему бы не привело. Мари Тонсар будет молчать, как могила, а я отопрусь от своих слов.

— Зайди ко мне завтра,— сказал генерал.

— Слушаюсь,— сказал Бонебо.— А если решат, что я недостаточно ловок, я вас предупрежу.

Неделю спустя после этого оригинального разговора весь округ, весь департамент и Париж были залеплены огромными объявлениями о продаже Эгов по участкам через контору суланжского нотариуса г-на Корбино. Все участки на общую сумму в два миллиона сто пятьдесят тысяч франков остались за Ригу. На следующий день Ригу велел изменить имена владельцев: г-н Гобертен получил лес, а Ригу и чета Судри — виноградники и прочие угодья. Замок и парк были перепроданы черной банде, за исключением охотничьего домика и принадлежащих к нему служб: г-н Гобертен подарил их своей чувствительной и поэтичной подруге.

Много лет спустя после этих событий, зимой 1837 года, один из самых крупных политических писателей того времени, Эмиль Блонде, дошел до последней степени нищеты, которую ему прежде удавалось скрывать, ведя блестящую светскую жизнь. Он уж подумывал решиться на отчаянный шаг, ибо убедился, что, несмотря на свой ум, знания и практический опыт, он только машина, работающая на других, увидел, что все места заняты, что он уже на пороге зрелого возраста, а не имеет ни общественного положения, ни денег, что глупые и бестолковые мещане сменили придворных и бездарных людей Реставрации и что государство снова становится таким, каким оно было до 1830 года. Однажды вечером, когда он был близок к не раз осмеянному им самоубийству и мысленно окидывал последним взглядом свою жалкую жизнь, в сущности трудовую, а не праздную, хотя его и попрекали кутежами, перед его глазами встал прекрасный и благородный образ женщины, словно статуя, уцелевшая во всей своей неприкосновенности и чистоте среди печальных развалин,— в эту минуту швейцар подал ему письмо с черной сургучной печатью. Г-жа де Монкорне извещала о смерти мужа, снова поступившего на службу и командовавшего дивизией. Графиня унаследовала все его состояние: детей у нее не было.

Полное достоинства письмо ставило в известность Блонде, что сорокалетняя женщина, любимая им во дни ее молодости, дружески протягивает ему руку и предлагает значительное состояние. Спустя некоторое время состоялась свадьба графини де Монкорне и Эмиля Блонде, получившего назначение на должность префекта. Отправляясь в свою префектуру, он избрал дорогу, когда-то ведшую в Эги, и приказал остановиться на том самом месте, где прежде стояли две сторожки, ибо хотел посетить бланжийскую общину: там все вызывало столько нежных воспоминаний в сердцах обоих путешественников. Край был неузнаваем. Вместо таинственного леса и парка с его аллеями тянулись распаханные поля; окрестности напоминали лист картона с наклеенными образчиками материй. Крестьянин — победитель и завоеватель — завладел имением. Оно было раздроблено на тысячи участков, а население между Кушем и Бланжи увеличилось втрое. Некогда столь оберегаемый пленительный парк был распахан, и охотничий домик, именовавшийся ныне виллой «il Buen Retiro» [1] и принадлежавший Изоре Гобертен, обнажился. Это было единственное уцелевшее строение, высившееся среди полей, или, вернее, среди полосок распаханной земли, сменивших прежний пейзаж. Здание походило на замок, до того жалки были разбросанные кругом домишки, типичные крестьянские постройки.

— Вот он, прогресс! — воскликнул Эмиль.— Вот страничка из «Общественного договора» Жан-Жака! И меня впрягли в социальную машину, которая производит подобную работу!.. Боже мой, что станется в недалеком будущем с королями! Да что говорить о королях, что станется через полвека при таком положении вещей с народами?

—Ты меня любишь, ты тут, рядом; настоящее мне кажется прекрасным, и меня мало заботит столь отдаленное будущее,— ответила жена.

— Возле тебя — да здравствует настоящее,— весело воскликнул влюбленный Блонде,— и к черту будущее!

Он велел кучеру трогать, и когда лошади пустились вскачь, новобрачные снова отдались обаянию медового месяца.

1845 г.

---

[1] «Благодатный уголок» *(исп.)*.

Философские этюды

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Господину Савари, члену Академии наук.

Стерн, «Тристрам Шенди», гл. CCCXXII.

I. ТАЛИСМАН

В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Руаяль, как раз к тому времени, когда открываются игорные дома, согласно закону, охраняющему права страсти, подлежащей обложению по самой своей сущности. Не колеблясь, он поднялся по лестнице притона, на котором значился номер «36».

— Не угодно ли вам отдать шляпу? — сурово крикнул ему мертвенно бледный старикашка, который примостился где-то в тени за барьером, а тут вдруг поднялся и выставил напоказ мерзкую свою физиономию.

Когда вы входите в игорный дом, то закон прежде всего отнимает у вас шляпу. Быть может, это своего рода евангельская притча, предупреждение, ниспосланное небом, или, скорее, особый вид адского договора, требующего от нас некоего залога? Быть может, хотят заставить вас относиться с почтением к тем, кто вас обыграет? Быть может, полиция, проникающая во все общественные клоаки, желает узнать фамилию вашего

шляпника или же вашу собственную, если вы написали ее на подкладке шляпы? А может быть, наконец, намереваются снять мерку с вашего черепа, чтобы потом составить поучительные статистические таблицы умственных способностей игроков? На этот счет администрация хранит полное молчание. Но имейте в виду, что, как только вы делаете первый шаг по направлению к зеленому полю, шляпа вам уже не принадлежит, точно так же, как и сами вы себе не принадлежите: вы во власти игры — и вы сами, и ваше богатство, и ваша шляпа, и трость, и плащ. А при выходе *игра* возвращает вам то, что вы сдали на хранение,— то есть убийственной, овеществленной эпиграммой докажет вам, что кое-что она вам все-таки оставляет. Впрочем, если у вас новый головной убор, тогда урок, смысл которого в том, что игроку следует завести особый костюм, станет вам в копеечку.

Недоумение, изобразившееся на лице молодого человека при получении номерка в обмен на шляпу, поля которой, по счастью, были слегка потерты, указывало на его неопытность; старикашка, вероятно с юных лет погрязший в кипучих наслаждениях азарта, окинул его тусклым, безучастным взглядом, в котором философ различил бы убожество больницы, скитания банкротов, вереницу утопленников, бессрочную каторгу, ссылку на Гуасакоалько. Испитое и бескровное его лицо, свидетельствовавшее о том, что питается он теперь исключительно желатинными супами Дарсе, являло собой бледный образ страсти, упрощенной до предела. Глубокие морщины говорили о постоянных мучениях; должно быть, весь свой скудный заработок он проигрывал в день получки. Подобно тем клячам, на которых уже не действуют удары бича, он не вздрогнул бы ни при каких обстоятельствах, он оставался бесчувственным к глухим стонам проигравшихся, к их немым проклятиям, к их отупелым взглядам. То было воплощение *игры*. Если бы молодой человек пригляделся к этому унылому церберу, быть может, он подумал бы: «Ничего, кроме колоды карт, нет в его сердце!» Но он не послушался этого олицетворенного совета, поставленного здесь, разумеется, самим провидением, подобно тому как оно же сообщает нечто отвратительное прихожей любого притона. Он решительными шагами вошел в залу, где звон золота околдовывал и ослеплял

душу, объятую алчностью. Вероятно, молодого человека толкала сюда самая логичная из всех красноречивых фраз Жан-Жака Руссо, печальный смысл которой, думается, таков: «Да, я допускаю, что человек может пойти играть, но лишь тогда, когда между собою и смертью он видит лишь свое последнее экю».

По вечерам поэзия игорных домов пошловата, но ей обеспечен успех, так же как и кровавой драме. Залы полнятся зрителями и игроками, неимущими старичками, что приплелись сюда погреться, лицами, взволнованными оргией, которая началась с вина и вот-вот закончится в Сене. Страсть здесь представлена в изобилии, но все же чрезмерное количество актеров мешает вам смотреть демону игры прямо в лицо. По вечерам это настоящий концерт, причем орет вся труппа и каждый инструмент оркестра выводит свою фразу. Вы увидите здесь множество почтенных людей, которые пришли сюда за развлечениями и оплачивают их так же, как одни платят за интересный спектакль или за лакомство, а другие, купив по дешевке где-нибудь в мансарде продажные ласки, расплачиваются за них потом целых три месяца жгучими сожалениями. Но поймете ли вы, до какой степени одержим азартом человек, нетерпеливо ожидающий открытия притона? Между игроком вечерним и утренним такая же разница, как между беспечным супругом и любовником, томящимся под окном своей красавицы. Только утром вы встретите в игорном доме трепетную страсть и нужду во всей ее страшной наготе. Вот когда вы можете полюбоваться на настоящего игрока, на игрока, который не ел, не спал, не жил, не думал,— так жестоко истерзан он бичом неудач, уносивших постоянно удваиваемые его ставки, так он исстрадался, измученный зудом нетерпения: когда же, наконец, выпадет «трант э карант»? В этот проклятый час вы заметите глаза, спокойствие которых пугает, заметите лица, которые вас ужасают, взгляды, которые как будто приподнимают карты и пожирают их.

Итак, игорные дома прекрасны только при начале игры. В Испании есть бой быков. В Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим Пале-Руаялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и

не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Постарайтесь бросить беглый взгляд на эту арену, войдите!.. Что за убожество! На стенах, оклеенных обоями, засаленными в рост человека, нет ничего, что могло бы освежить душу. Нет даже гвоздя, который облегчил бы самоубийство. Паркет обшаркан, запачкан. Середину зала занимает овальный стол. Он покрыт сукном, истертым золотыми монетами, а вокруг тесно стоят стулья — самые простые стулья с плетеными соломенными сиденьями, и это ясно изобличает странное безразличие к роскоши у людей, которые приходят сюда на свою погибель, ради богатства и роскоши. Подобные противоречия обнаруживаются в человеке всякий раз, когда в душе с силой борются страсти. Влюбленный хочет нарядить свою возлюбленную в шелка, облечь ее в мягкие ткани Востока, а чаще всего обладает ею на убогой постели. Честолюбец, мечтая о высшей власти, пресмыкается в грязи раболепства. Торговец дышит сырым, нездоровым воздухом в своей лавчонке, чтобы воздвигнуть обширный особняк, откуда его сын, наследник скороспелого богатства, будет изгнан, проиграв тяжбу против родного брата. Да, наконец, существует ли чтонибудь менее приятное, чем дом наслаждений? Страшное дело! Вечно борясь с самим собой, теряя надежды перед лицом нагрянувших бед и спасаясь от бед надеждами на будущее, человек во всех своих поступках проявляет свойственные ему непоследовательность и слабость. Здесь, на земле, ничто не осуществляется полностью, кроме несчастья.

Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. Три плешивых старика, развалясь, сидели вокруг зеленого поля; их лица, похожие на гипсовые маски, бесстрастные, как у дипломатов, изобличали души пресыщенные, сердца, давно уже разучившиеся трепетать даже в том случае, если ставится на карту неприкосновенное имение жены. Молодой черноволосый итальянец, с оливковым цветом лица, спокойно облокотился на край стола и, казалось, прислушивался к тем тайным предчувствиям, которые кричат игроку роковые слова: «Да! — Нет!» От этого южного лица веяло золотом и огнем. Семь или восемь зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления,

которое им сулила прихоть судьбы, лица актеров, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Высокий худой господин в потертом фраке держал в одной руке записную книжку, а в другой — булавку, намереваясь отмечать, сколько раз выпадет красное и черное. То был один из современных Танталов, живущих в стороне от наслаждений своего века, один из скупцов, играющих на воображаемую ставку, нечто вроде рассудительного сумасшедшего, который в дни бедствий тешит себя несбыточной мечтою, который обращается с пороком и опасностью так же, как молодые священники — с причастием, когда служат раннюю обедню. Напротив игрока поместились пройдохи, изучившие все шансы игры, похожие на бывалых каторжников, которых не испугаешь галерами, явившиеся сюда, чтобы рискнуть тремя ставками и в случае выигрыша, составлявшего единственную статью их дохода, сейчас же уйти. Два старых лакея равнодушно ходили взад и вперед, скрестив руки, и по временам поглядывали из окон в сад, точно для того, чтобы вместо вывески показать прохожим плоские свои лица. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый, убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли: «Ставьте!», когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже, головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Неслыханное дело! При появлении незнакомца отупевшие старики, окаменелые лакеи, зрители, даже фанатик-итальянец — решительно все испытали какое-то ужасное чувство. Надо быть очень несчастным, чтобы возбудить жалость, очень слабым, чтобы вызвать симпатию, очень мрачным с виду, чтобы дрогнули сердца в этой зале, где скорбь всегда молчалива, где горе весело и отчаяние благопристойно. Так вот именно все эти свойства и породили то новое ощущение, которое расшевелило оледеневшие души, когда вошел молодой человек. Но разве палачи не роняли порою слез на белокурые девичьи головы, которые они должны были отсечь по сигналу, данному Революцией?

С первого же взгляда игроки прочли на лице новичка какую-то страшную тайну; в его тонких чертах скво-

зила грустная мысль, выражение юного лица свидетельствовало о тщетных усилиях, о тысяче обманутых надежд! Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью, в углах рта легкими складками обрисовалась горькая улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Некая скрытая гениальность сверкала в глубине этих глаз, затуманенных, быть может, усталостью от наслаждений. Не разгул ли отметил нечистым своим клеймом это благородное лицо, прежде чистое и сияющее, а теперь уже помятое? Доктора, вероятно, приписали бы этот лихорадочный румянец и темные круги под глазами пороку сердца или грудной болезни, тогда как поэты пожелали бы увидеть в этих знаках приметы самозабвенного служения науке, следы бессонных ночей, проведенных при свете рабочей лампы. Но страсть более смертоносная, чем болезнь, и болезнь более безжалостная, чем умственный труд и гениальность, искажали черты этого молодого лица, сокращали эти подвижные мускулы, утомляли сердце, которого едва лишь коснулись оргии, труд и болезнь. Когда на каторге появляется знаменитый преступник, заключенные встречают его почтительно,—так и в этом притоне демоны в образе человеческом, испытанные в страданиях, приветствовали неслыханную скорбь, глубокую рану которой измерял их взор; по величию молчаливой иронии незнакомца, по нищенской изысканности его одежды они признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки, изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты,— ведь он уже два дня ходил без перчаток. Если банкомет и даже лакеи вздрогнули, так это оттого, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет двадцать пять, а порочность его казалась случайной. Свежесть юности еще сопротивлялась опустошениям неутоленного сладострастия. Во всем его существе боролись мрак и свет, небытие и жизнь, и, может быть, именно поэтому он производил впечатление чего-то обаятельного и вместе с тем ужасного. Молодой человек появился здесь, словно ангел, лишенный сияния,

сбившийся с пути. И все эти заслуженные наставники в порочных и позорных страстях почувствовали к нему сострадание — подобно беззубой старухе, проникшейся жалостью к красавице девушке, которая вступила на путь разврата,— и готовы были крикнуть новичку: «Уйдите отсюда!» А он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь, бросил на сукно золотую монету, и она покатилась на *черное;* потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно. Ход этот возбудил такой интерес, что старики ставки не сделали; однако итальянец с фанатизмом страсти ухватился за увлекавшую его мысль и поставил все свое золото против ставки незнакомца. Кассир забыл произнести обычные фразы, которые с течением времени превратились у него в хриплый и невнятный крик: «Ставьте!» — «Ставка принята!» — «Больше не принимаю!» Банкомет снял карты, и, казалось, даже он, автомат, безучастный к проигрышу и выигрышу, устроитель этих мрачных увеселений, желал новичку успеха. Зрители все как один готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты, последнюю сцену благородной жизни; их глаза, прикованные к роковым листкам картона, горели, но, несмотря на все внимание, с которым они следили то за молодым человеком, то за картами, они не могли заметить и признака волнения на его холодном и покорном лице.

— Красная; черная, пасс,— официальным тоном объявил банкомет.

Что-то вроде глухого хрипа вырвалось из груди итальянца, когда он увидел, как один за другим падают на сукно сложенные банковые билеты, которые ему бросал кассир. А молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость тихо стукнулась о монету, и золотой с быстротою стрелы докатился до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова; точно кораллы заалели его губы, он стал похож на англичанина, для которого в жизни не существует тайн, и исчез, не пожелав вымаливать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто

бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Сколько событий произошло на протяжении одной секунды, и как иногда много значит один удар игральных костей!

— Это был, конечно, последний его заряд,— сказал, улыбнувшись, крупье после минутного молчания и, держа золотую монету двумя пальцами, показал ее присутствующим.

— Шальная голова! Он, чего доброго, бросится в реку,— отозвался один из завсегдатаев, оглядев игроков, которые все были знакомы между собой.

— Да уж! — воскликнул лакей, беря щепотку табаку.

— Вот нам бы последовать примеру этого господина! — сказал старик своим товарищам, показывая на итальянца.

Все оглянулись на счастливого игрока, который дрожащими руками пересчитывал банковые билеты.

— Какой-то голос,— сказал он,— шептал мне на ухо: «Расчетливая игра одержит верх над отчаянием молодого человека».

— Разве это игрок? — вставил кассир.— Игрок разделил бы свои деньги на три ставки, чтобы увеличить шансы

Проигравшийся незнакомец, уходя, позабыл о шляпе, но старый сторожевой пес, заметивший жалкое ее состояние, молча подал ему это отрепье; молодой человек машинально возвратил номерок и спустился по лестнице, насвистывая «Di tanti palpiti» [1] так тихо, что сам едва мог расслышать эту чудесную мелодию.

Вскоре он очутился под аркадами Пале-Руаяля, прошел до улицы Сент-Оноре и, свернув в сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне; его толкали встречные, но он их не видел; сквозь уличный шум он слышал один только голос — голос смерти; он оцепенел, погрузившись в раздумье, похожее на то, в какое впадают преступники, когда их везут от Дворца правосудия на Гревскую площадь, к эшафоту, красному от крови, что лилась на него с 1793 года.

Есть что-то великое и ужасное в самоубийстве. Для

---

[1] «Что за трепет» *(итал.)* — слова арии из оперы Россини «Танкред».

большинства людей падение не страшно, как для детей, которые падают с такой малой высоты, что не ушибаются, но когда разбился великий человек, то это значит, что он упал с большой высоты, что он поднялся до небес и узрел некий недоступный рай. Беспощадными должны быть те ураганы, что заставляют просить душевного покоя у пистолетного дула. Сколько молодых талантов, загнанных в мансарду, затерянных среди миллиона живых существ, чахнет и гибнет перед лицом скучающей, уставшей от золота толпы, потому что нет у них друга, нет близ них женщины-утешительницы! Стоит только над этим призадуматься — и самоубийство предстанет перед нами во всем своем гигантском значении. Один бог знает, сколько замыслов, сколько недописанных поэтических произведений, сколько отчаяния и сдавленных криков, бесплодных попыток и недоношенных шедевров теснится между самовольною смертью и животворной надеждой, когда-то призвавшей молодого человека в Париж! Всякое самоубийство — это возвышенная поэма меланхолии. Всплывет ли в океане литературы книга, которая по своей волнующей силе могла бы соперничать с такою газетной заметкой:

«Вчера, в четыре часа дня, молодая женщина бросилась в Сену с моста Искусств»?

Перед этим парижским лаконизмом все бледнеет — драмы, романы, даже старинное заглавие: «Плач славного короля Карнаванского, заточенного в темницу своими детьми»,—единственный фрагмент затерянной книги, над которым плакал Стерн, сам бросивший жену и детей...

Незнакомца осаждали тысячи подобных мыслей, обрывками проносясь в его голове, подобно тому как разорванные знамена развеваются во время битвы. На краткий миг он сбрасывал с себя бремя дум и воспоминаний, останавливаясь перед цветами, головки которых слабо колыхал среди зелени ветер; затем, ощутив в себе трепет жизни, все еще боровшейся с тягостною мыслью о самоубийстве, он поднимал глаза к небу, но нависшие серые тучи, тоскливые завывания ветра и промозглая осенняя сырость внушали ему желание умереть. Он подошел к Королевскому мосту, думая о последних прихотях своих предшественников. Он улыбнулся, вспомнив, что

лорд Каслриф, прежде чем перерезать себе горло, удовлетворил низменнейшую из наших потребностей и что академик Оже, идя на смерть, стал искать табакерку, чтобы взять понюшку. Он пытался разобраться в этих странностях, вопрошал сам себя, как вдруг, прижавшись к парапету моста, чтобы дать дорогу рыночному носильщику, который все же запачкал рукав его фрака чем-то белым, он сам себя поймал на том, что тщательно стряхивает пыль. Дойдя до середины моста, он мрачно посмотрел на воду.

— Не такая погода, чтобы топиться,— с усмешкой сказала ему одетая в лохмотья старуха.— Сена грязная, холодная!..

Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали, на Тюильрийской пристани, барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано: СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ. Перед мысленным его взором вдруг предстал г-н Деше во всеоружии своей филантропии, приводя в движение добродетельные весла, коими разбивают головы утопленникам, если они, на свою беду, покажутся из воды; он видел, как г-н Деше собирал вокруг себя зевак; выискивал доктора, готовил окуриванье; он читал соболезнования, составленные журналистами в промежутках между веселой пирушкой и встречей с улыбчивой танцовщицей; он слышал, как звенят экю, отсчитываемые префектом полиции лодочникам в награду за его труп. Мертвый, он стоит пятьдесят франков, но живой — он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя,— настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной, он решил умереть ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие его души, неопознанный труп. И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, он пошел дальше по направлению к набережной Вольтера. Когда он спустился по ступенькам, которыми оканчивается мост, на углу набережной его внимание привлекли старые книги, разложенные на парапете, и он чуть было не прицепился к ним. Но тут же посмеялся над со-

бой, философически засунул руки в жилетные карманы и снова двинулся беззаботной своей походкой, в которой чувствовалось холодное презрение, как вдруг с изумлением услышал поистине фантастическое звяканье монет у себя в кармане. Улыбка надежды озарила его лицо, скользнув по губам, она облетела все его черты, его лоб, зажгла радостью глаза и потемневшие щеки. Этот проблеск счастья был похож на огоньки, которые пробегают по остаткам сгоревшей бумаги; но его лицо постигла судьба черного пепла — оно опять стало печальным, как только он, быстро вытащив руку из кармана, увидел три монеты по два су.

— Добрый господин, la carità! La carità! Catarina! [1] Хоть одно су на хлеб!

Мальчишка-трубочист с черным одутловатым лицом, весь в саже, одетый в лохмотья, протянул руку к этому человеку, чтобы выпросить у него последний грош.

Стоявший в двух шагах от маленького савойяра старый нищий, робкий, болезненный, исстрадавшийся, в жалком тряпье, сказал грубым и глухим голосом:

— Сударь, подайте сколько можете, буду за вас бога молить...

Но когда молодой человек взглянул на старика, тот замолчал и больше уже не просил,—быть может, на мертвенном этом лице он заметил признаки нужды более острой, чем его собственная.

— La caritá! La caritá!

Незнакомец бросил мелочь мальчишке и старику и сошел с тротуара набережной, чтобы продолжать путь вдоль домов: он больше не мог выносить душераздирающий вид Сены.

— Дай вам бог здоровья,— сказали оба нищих.

Подходя к магазину эстампов, этот полумертвец увидел, как из роскошного экипажа выходит молодая женщина. Он залюбовался очаровательной особой, беленькое личико которой красиво окаймлял атлас нарядной шляпы. Его пленил стройный ее стан, грациозные движения. Спускаясь с подножки, она слегка приподняла платье, и видна была ее нога, тонкие контуры которой отлично обрисовывал белый, туго натянутый чулок. Моло-

[1] Подайте милостыню! Ради святой Екатерины! *(итал.)*

дая женщина вошла в магазин и занялась покупкой альбомов, коллекций литографий; она заплатила несколько золотых, они блеснули и звякнули на конторке. Молодой человек, прикинувшись, что рассматривает выставленные у входа гравюры, устремил на прекрасную незнакомку самый пронизывающий взгляд, какой только способен бросить мужчина, и ответом ему был тот безразличный взор, которым случайно окидывают прохожих. С его стороны то было прощание с любовью, с женщиной! Но этот последний, страстный призыв не был понят, не взволновал сердца легкомысленной женщины, не заставил ее ни покраснеть, ни опустить глаза. Что он для нее значил? Еще один восхищенный взгляд, еще одно возбужденное ею желание, и вечером она самодовольно скажет: «Сегодня я была премиленькой». Молодой человек отошел к другому окну и не обернулся, когда незнакомка садилась в экипаж. Лошади тронули, и этот последний образ роскоши и изящества померк, как должна была померкнуть и его жизнь. Он пошел вялой походкой вдоль магазинов, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Когда кончились лавки, он стал разглядывать Лувр, Академию, башни Собора богоматери, башни Дворца правосудия, мост Искусств. Все эти сооружения, казалось, принимали унылый вид, отражая серые тона неба, бледные просветы между туч, которые придавали какой-то гневный облик Парижу, подверженному, подобно хорошенькой женщине, необъяснимо капризным сменам уродства и красоты. Сама природа как будто задумала привести умирающего в состояние скорбного экстаза. Весь во власти тлетворной силы, чье расслабляющее действие находит себе посредника во флюидах, пробегающих по нашим нервам, он чувствовал, что его организм неприметно становится как бы текучим. Муки этой агонии сообщили всему волнообразное движение: людей, здания он видел сквозь туман, где все колыхалось. Ему хотелось избавиться от раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древностей, чтобы дать пищу своим чувствам или хотя бы дождаться там ночи, приобщаясь к произведениям искусства. Так, идя на эшафот, преступник старается собраться с духом и, не доверяя своим силам, спрашивает чего-нибудь подкрепляющего; однако созна-

ние близкой смерти на мгновение вернуло молодому человеку самоуверенность герцогини, имеющей двух любовников, и он вошел в лавку редкостей с видом независимым, с той застывшей улыбкой на устах, какая бывает у пьяниц. Да и не был ли он пьян от жизни или, быть может, от близкой смерти? Вскоре у него опять началось головокружение, и все вдруг показалось ему окрашенным в странные цвета и одушевленным легким движением. Несомненно, это объяснялось неправильным обращением крови, то бурлившей в его жилах, как водопад, то струившейся спокойно и вяло, как тепловатая вода. Он заявил, что желает осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на его вкус. Молодой рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками, в картузе из выдры поручил присмотреть за лавкой старухе крестьянке, своего рода Калибану женского пола, занятой чисткой изразцовой печи, настоящего чуда искусства, порожденного гением Бернара Палисси; затем он сказал незнакомцу небрежным тоном:

— Взгляните, сударь, взгляните! Внизу у нас только вещи заурядные, но потрудитесь подняться наверх, и я покажу вам прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево — подлинный Ренессанс, все только что получено, высшего качества.

Незнакомец находился в таком ужасном состоянии, что болтовня его чичероне, эти глупо-торгашеские фразы были ему противны, как мелочные приставания, которыми умы ограниченные убивают человека гениального; однако, решив нести свой крест до конца, он делал вид, что слушает проводника, и отвечал ему жестами или односложными словами; но постепенно он отвоевал себе право идти молча и безбоязненно отдался последним своим размышлениям, которые были ужасны. Он был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу: ему предстояло еще при жизни увидеть прах двадцати миров.

На первый взгляд залы магазина являли собой беспорядочную картину, в которой теснились все творения, божеские и человеческие. Чучела крокодилов, боа, обезьян улыбались церковным витражам, как бы порывались укусить мраморные бюсты, погнаться за лакированными вещицами, вскарабкаться на люстры. Севрская ваза, на которой г-жа Жакото изобразила Наполеона, находи-

лась рядом со сфинксом, посвященным Сезострису. Начало мира и вчерашние события сочетались здесь причудливо благодушно. Кухонный вертел лежал на ковчежце для мощей, республиканская сабля — на средневековой пищали. Г-жа Дюбарри с пастели Латура, со звездой на голове, нагая и окруженная облаками, казалось, с жадным любопытством рассматривала индийский чубук и старалась угадать назначение его спиралей, змеившихся по направлению к ней. Орудия смерти — кинжалы, дикобинные пистолеты, оружие с секретным затвором — чередовались с предметами житейского обихода: фарфоровыми мисками, саксонскими тарелками, прозрачными китайскими чашками, античными солонками, средневековыми коробочками для сластей. Корабль из слоновой кости на всех парусах плыл по спине неподвижной черепахи. Пневматическая машина лезла в самый глаз императору Августу, сохранявшему царственное бесстрастие. Несколько портретов французских купеческих старшин и голландских бургомистров, столь же бесчувственных теперь, как и при жизни, возвышались над этим хаосом древности, бросая на него тусклые и холодные взгляды. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка — ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой с золотом туфельке из сераля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Здесь было все, вплоть до солдатского кисета, вплоть до церковной дароносицы, вплоть до плюмажа, некогда украшавшего балдахин какого-то трона. А благодаря множеству причудливых бликов, возникавших из смешения оттенков, из резкого контраста света и тени, эту чудовищную картину оживляли тысячи разнообразнейших световых явлений. Ухо, казалось, слышало прерванные крики, ум улавливал неоконченные драмы, глаз различал не вполне угасшие огни. Вдобавок на все эти предметы набросила свой легкий покров неистребимая пыль, что придавало их углам и разнообразным изгибам необычайно живописный вид.

Эти три залы, где теснились обломки цивилизации и культов, божества, шедевры искусства, памятники былых царств, разгула, здравомыслия и безумия, незнакомец сравнил сперва с многогранным зеркалом, каждая

грань которого отображает целый мир. Получив это общее, туманное впечатление, он захотел сосредоточиться на чем-нибудь приятном, но, рассматривая все вокруг, размышляя, мечтая, подпал под власть лихорадки, которую вызвал, быть может, голод, терзавший ему внутренности. Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей, засвидетельствованной пережившими их трудами человеческих рук, погрузили молодого человека в дремотное оцепенение; желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось: он нашел выход из реальной жизни, поднялся по ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках, как некогда перед очами апостола Иоанна на Патмосе пронеслось, пылая, грядущее.

Множество образов, страдальческих, грациозных и страшных, темных и сияющих, отдаленных и близких, встало перед ним толпами, мириадами, поколениями. Окостеневший, таинственный Египет поднялся из песков в виде мумии, обвитой черными пеленами, за ней последовали фараоны, погребавшие целые народы, чтобы построить себе гробницу, и Моисей, и евреи, и пустыня,— он прозревал мир древний и торжественный. Свежая и пленительная мраморная статуя на витой колонне, блистая белизной, говорила ему о сладострастных мифах Греции и Ионии. Ах, кто бы на его месте не улыбнулся, увидев на красном фоне глиняной, тонкой лепки этрусской вазы юную смуглую девушку, пляшущую перед богом Приапом, которого она радостно приветствовала? А рядом латинская царица нежно ласкала химеру! Всеми причудами императорского Рима веяло здесь, вызывая в воображении ванну, ложе, туалет беспечной, мечтательной Юлии, ожидающей своего Тибулла. Голова Цицерона, обладавшая силой арабских талисманов, приводила на память свободный Рим и раскрывала перед молодым пришельцем страницы Тита Ливия. Он созерцал: «Senatus populusque romanus» [1]; консул, ликторы, тоги, окаймленные пурпуром, борьба на форуме, разгневанный народ — все мелькало перед ним, как туманные видения сна. Наконец, Рим христианский одержал верх над этими образами. Живопись отверзла небеса, и он узрел

[1] Римский сенат и народ *(лат.)*.

деву Марию, парящую в золотом облаке среди ангелов, затмевающую свет солнца; она, эта возрожденная Ева, выслушивала жалобы несчастных и кротко им улыбалась. Когда он коснулся мозаики, сложенной из кусочков лавы Везувия и Этны, его душа перенеслась в жаркую и золотистую Италию; он присутствовал на оргиях Борджа, скитался по Абруццским горам, жаждал любви итальянок, проникался страстью к бледным лицам с удлиненными черными глазами. При виде средневекового кинжала с узорной рукоятью, которая была изящна, как кружево, и покрыта ржавчиной, похожей на следы крови, он с трепетом угадывал развязку ночного приключения, прерванного холодным клинком мужа. Индия с ее религиями оживала в буддийском идоле, одетом в золото и шелк, с остроконечным головным убором, состоявшим из ромбов и украшенным колокольчиками. Возле этого божка была разостлана циновка, все еще пахнувшая сандалом, красивая, как та баядерка, что некогда возлежала на ней. Китайское чудовище с раскосыми глазами, искривленным ртом и неестественно изогнутым телом волновало душу зрителя фантастическими вымыслами народа, который, устав от красоты, всегда единой, находит несказанное удовольствие в многообразии безобразного. При виде солонки, вышедшей из мастерской Бенвенуто Челлини, он перенесся в прославленные века Ренессанса, когда процветали искусства и распущенность, когда государи развлекались пытками, когда указы, предписывавшие целомудрие простым священникам, исходили от князей церкви, покоившихся в объятиях куртизанок. Камея привела ему на память победы Александра, аркебуза с фитилем — бойни Писарро, а навершие шлема — религиозные войны, неистовые, кипучие, жестокие. Потом радостные образы рыцарских времен ключом забили из миланских доспехов с превосходной насечкой и полировкой, а сквозь забрало все еще блестели глаза паладина.

Вокруг был целый океан вещей, измышлений, мод, творений искусства, руин, слагавший для него бесконечную поэму. Формы, краски, мысли — все оживало здесь, но ничего законченного душе не открывалось. Поэт должен был завершить набросок великого живописца, который приготовил огромную палитру и со щедрой небрежностью смешал на ней неисчислимые случайности че-

ловеческой жизни. Овладев целым миром, закончив обозрение стран, веков, царств, молодой человек вернулся к индивидуумам. Он стал перевоплощаться в них, овладевал частностями, обособляясь от жизни наций, которая подавляет нас своей огромностью.

Вон там дремал восковой ребенок, уцелевший от музея Руйша, и это прелестное создание напомнило ему о радостях юных лет. Когда он смотрел на волшебный девичий передник какой-то гаитянки, пылкое его воображение рисовало ему картины простой, естественной жизни, чистую наготу истинного целомудрия, наслаждения лени, столь свойственной человеку, безмятежное существование на берегу прохладного задумчивого ручья, под банановым деревом, которое даром кормит человека сладкой своей манной. Но внезапно, вдохновленный перламутровыми отливами бесчисленного множества раковин, воодушевленный видом звездчатых кораллов, еще пахнувших морской травой, водорослями и атлантическими бурями, он становился корсаром и облекался в грозную поэзию, запечатленную образом Лары. Затем, восхищаясь изящными миниатюрами, лазоревыми золотыми арабесками, которыми был разукрашен драгоценный рукописный требник, он забывал про морские бури. Ласково убаюкиваемый мирными размышлениями, он стремился вернуться к умственному труду, к науке, мечтал о сытой монашеской жизни, беспечальной и безрадостной, ложился спать в келье и глядел в стрельчатое ее окно на монастырские луга, леса и виноградники Перед полотном Тенирса он накидывал на себя солдатский кафтан или же лохмотья рабочего; ему хотелось надеть на голову засаленный и прокуренный колпак фламандцев, он хмелел от выпитого пива, играл с ними в карты и улыбался румяной, соблазнительно дебелой крестьянке. Он дрожал от стужи, видя, как падает снег на картине Мьериса, сражался, смотря на битву Сальватора Розы. Он любовался иллинойсским томагавком и чувствовал, как ирокезский нож сдирает с него скальп. Увидев чудесную лютню, он вручал ее владелице замка, упивался сладкозвучным романсом, объяснялся прекрасной даме в любви у готического камина, и вечерние сумерки скрывали ее ответный взгляд. Он ловил все радости, постигал все

скорби, овладевал всеми формулами бытия и столь щедро расточал свою жизнь и чувства перед этими призраками природы, перед этими пустыми образами, что стук собственных шагов отдавался в его душе, точно отзвук другого, далекого мира, подобно тому как шум Парижа доносится на башни Собора богоматери.

Подымаясь по внутренней лестнице, которая вела в залы второго этажа, он заметил, что на каждой ступеньке стоят или висят на стене вотивные щиты, доспехи, оружие, дарохранительницы, украшенные скульптурой, деревянные статуи. Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований грезы. Усомнившись наконец в собственном своем существовании, он сам уподобился этим диковинным предметам, как будто став не вполне умершим и не вполне живым. Когда он вошел в новые залы, начинало смеркаться, но казалось, что свет и не нужен для сверкающих золотом и серебром сокровищ, сваленных там грудами. Самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах, были представлены на этом обширном торжище человеческих безумств. Чернильница, которая обошлась в сто тысяч франков, а потом была продана за сто су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля из плена. Род человеческий являлся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. Стол черного дерева, достойный поклонения художника, резанный по рисункам Жана Гужона, стоивший когда-то нескольких лет работы, был, возможно, приобретен по цене осиновых дров. Драгоценные шкатулки, мебель, сделанная руками фей,— все набито было сюда как попало.

— Да у вас тут миллионы! — воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавшей длинную анфиладу зал, которые художники минувшего века разукрасили золотом и скульптурами.

— Вернее, миллиарды,— заметил таинственный приказчик.— Но это еще что, поднимитесь на четвертый этаж, вот там вы увидите!

Незнакомец последовал за своим проводником, до-

стиг четвертой галереи, и там перед его усталыми глазами поочередно прошли картины Пуссена, изумительная статуя Микеланджело, прелестные пейзажи Клода Лоррена, картина Герарда Доу, подобная странице Стерна, полотна Рембрандта, Мурильо, Веласкеса, мрачные и яркие, как поэма Байрона; далее — античные барельефы, агатовые чаши, великолепные ониксы... Словом, то были работы, способные внушить отвращение к труду, нагромождение шедевров, могущее возбудить ненависть к искусствам и убить энтузиазм. Он дошел до «Девы» Рафаэля, но Рафаэль ему надоел, и голова кисти Корреджо, просившая внимания, так и не добилась его. Бесценная античная ваза из порфира, рельефы которой изображали самую причудливую в своей вольности римскую приапею, отрада какой-нибудь Коринны, не вызвала у него ничего, кроме беглой улыбки. Он задыхался под обломками пятидесяти исчезнувших веков, чувствовал себя больным от всех этих человеческих мыслей; он был истерзан роскошью и искусствами, подавлен этими воскресающими формами, которые, как некие чудовища, возникающие у него под ногами по воле злого гения, вызывали его на нескончаемый поединок.

Похожая своими прихотями на современную химию, которая сводит все существующее к газу, не вырабатывает ли человеческая душа ужасные яды, мгновенно сосредоточивая в себе все свои радости, идеи и силы? И не оттого ли гибнет множество людей, что их убивают своего рода духовные кислоты, внезапно отравляющие все их существо?

— Что в этом ящике? — спросил молодой человек, войдя в просторный кабинет — последнее скопище боевой славы, человеческих усилий, причуд, богатств,— и указал рукой на большой четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на серебряной цепи.

— О, ключ от него у хозяина! — с таинственным видом сказал толстый приказчик.— Если вам угодно видеть эту картину, я осмелюсь побеспокоить хозяина.

— Осмелитесь?! — удивился молодой человек.— Разве ваш хозяин какой-нибудь князь?

— Да я, право, не знаю,— отвечал приказчик.

Минуту смотрели они друг на друга, оба удивленные

в равной мере. Затем, сочтя молчание незнакомца за пожелание, приказчик оставил его одного в кабинете.

Пускались ли вы когда-нибудь в бесконечность пространства и времени, читая геологические сочинения Кювье? Уносимые его гением, парили ли вы над бездонной пропастью минувшего, точно поддерживаемые рукой волшебника? Когда в различных разрезах и различных слоях, в монмартрских каменоломнях и в уральском сланце обнаруживаются ископаемые, чьи останки относятся ко временам допотопным, душа испытывает страх, ибо перед ней приоткрываются миллиарды лет, миллионы народов, не только исчезнувших из слабой памяти человечества, но забытых даже нерушимым божественным преданием, и лишь прах минувшего, скопившийся на поверхности земного шара, образует почву в два фута глубиною, дающую нам цветы и хлеб. Разве Кювье не величайший поэт нашего века? Лорд Байрон словами воспроизвел волнения души, но бессмертный наш естествоиспытатель воссоздал миры при помощи выбеленных временем костей; подобно Кадму, он отстроил города при помощи зубов, он вновь населил тысячи лесов всеми чудищами зоологии благодаря нескольким кускам каменного угля; восстановил поколения гигантов по одной лишь ноге мамонта. Образы встают, растут и в соответствии с исполинским своим ростом меняют вид целых областей. В своих цифрах он поэт; он великолепен, когда к семи приставляет нуль. Не произнося искусственных магических слов, он воскрешает небытие; он откапывает частицу гипса, замечает на ней отпечаток и восклицает: «Смотрите!» Мрамор становится вдруг животным, смерть — жизнью, открывается целый мир! После неисчислимых династий гигантских созданий, после рыбьих племен и моллюсковых кланов появляется наконец род человеческий, выродок грандиозного типа, сраженного, быть может, создателем. Воодушевленные мыслью ученого, перед которым воскресает прошлое, эти жалкие люди, рожденные вчера, могут проникнуть в хаос, запеть бесконечный гимн и начертать себе былые судьбы вселенной в виде вспять обращенного Апокалипсиса. Созерцая это жуткое воскрешение, совершаемое голосом одного-единственного человека, мы проникаемся жалостью к той

крохе, которая нам предоставлена в безыменной бесконечности, общей всем сферам, проникаемся жалостью к этой минуте жизни, которую мы именуем *время*. Как бы погребенные под обломками стольких вселенных, мы вопрошаем себя: к чему наша слава, наша ненависть, наша любовь? Если нам суждено стать в будущем неосязаемой точкой, стоит ли принимать на себя бремя бытия? И вот, вырванные из почвы нашего времени, мы перестаем жить, пока не войдет лакей и не скажет: «Графиня приказала передать, что она ждет вас».

При виде чудес, явивших молодому человеку весь ведомый нам мир, душа его изнемогла, как изнемогает душа у философа, когда он занят научным рассмотрением мира неведомого; сильнее, чем когда бы то ни было, хотелось ему теперь умереть, и он упал в курульное кресло, предоставив своим взорам блуждать по фантасмагориям этой панорамы прошлого. Картины озарились, головы дев ему улыбнулись, статуи приняли обманчивую окраску жизни. Втянутые в пляску тою лихорадочною тревогой, которая, точно хмель, бродила в его больном мозгу, эти произведения под покровом тени ожили, зашевелились и вихрем понеслись перед ним; каждый фарфоровый уродец строил ему гримасу, у людей, изображенных на картинах, веки опустились, чтобы дать отдохнуть глазам. Все эти фигуры вздрогнули, вскочили, сошли со своих мест — кто грузно, кто легко, кто грациозно, кто неуклюже, в зависимости от своего нрава, свойства и строения. То был некий таинственный шабаш, достойный тех чудес, что видел доктор Фауст на Брокене. Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли устрашить незнакомца. Ужасы жизни были не властны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Он скорее даже поощрял своим насмешливым сочувствием нелепые странности этого нравственного гальванизма, чудеса которого соединились с последними мыслями, еще поддерживавшими в незнакомце ощущение бытия. Вокруг него царило столь глубокое молчание, что вскоре он осмелился отдаться сладостным мечтам, образы которых постепенно темнели, магически изменяя свои оттенки по мере угасания дня.

Свет, покидая небо, зажег в борьбе с ночью последний красноватый отблеск; молодой человек поднял голову и увидел слабо освещенный скелет, который с сомнением качнул своим черепом справа налево, как бы говоря: «Мертвецы тебя еще не ждут». Проведя рукой по лбу, чтобы отогнать сон, молодой человек отчетливо ощутил прохладное дуновение, что-то пушистое коснулось его щеки, и он вздрогнул. Чуть слышным звоном отозвались стекла, и он подумал, что эта холодная, пахну́вшая могильными тайнами ласка исходила от летучей мыши. Еще одно мгновение при расплывающихся отблесках заката он неясно различал окружавшие его призраки; затем весь этот натюрморт был поглощен сплошным мраком. Ночь — час, назначенный им для смерти,—наступила внезапно. После этого в течение некоторого времени он совершенно не воспринимал ничего земного — потому ли, что погрузился в глубокое раздумье, потому ли, что на него напала сонливость, вызванная утомлением и роем мыслей, раздиравших ему сердце. Вдруг ему почудилось, что некий грозный голос окликнул его, и он вздрогнул, как если бы среди горячечного кошмара его бросили в пропасть. Он закрыл глаза: лучи яркого света ослепляли его; он видел, как где-то во мраке загорелся красноватый круг, в центре которого находился какой-то старичок, стоявший с лампою в руке и направлявший на него свет. Не слышно было, как он вошел; он молчал и не двигался. В его появлении было нечто магическое. Даже самый бесстрашный человек, и тот, наверное, вздрогнул бы со сна при виде этого старичка, вышедшего, казалось, из соседнего саркофага. Необычайный молодой блеск, оживлявший неподвижные глаза у этого по́добия призрака, исключал мысль о каком-нибудь сверхъестественном явлении; все же в тот краткий промежуток, что отделил сомнамбулическую жизнь от жизни реальной, наш незнакомец оставался в состоянии философского сомнения, предписываемого Декартом, и помимо воли подпал под власть неизъяснимых галлюцинаций, тайны которых либо отвергает наша гордыня, либо тщетно изучает беспомощная наша наука.

Представьте себе сухонького, худенького старичка, облаченного в черный бархатный халат, перехваченный

толстым шелковым шнуром. На голове у него была бархатная ермолка, тоже черная, из-под которой с обеих сторон выбивались длинные седые пряди; она облегала череп, резкой линией окаймляя лоб. Халат окутывал тело наподобие просторного савана — видно было только лицо, узкое и бледное. Если бы не костлявая, похожая на палку, обернутую в материю, рука, которую старик вытянул, направляя на молодого человека весь свет лампы, можно было бы подумать, что это лицо повисло в воздухе. Борода с проседью, подстриженная клинышком, скрывала подбородок этого странного существа, придавая ему сходство с теми еврейскими головами, которыми как натурой пользуются художники, когда хотят изобразить Моисея. Губы были столь бесцветны, столь тонки, что лишь при особом внимании можно было различить линию рта на его белом лице. Высокий морщинистый лоб, щеки, поблекшие и впалые, неумолимая строгость маленьких зеленых глаз, лишенных бровей и ресниц,— все это могло внушить незнакомцу мысль, что вышел из рамы Взвешиватель золота, созданный Герардом Доу. Коварство инквизитора, изобличаемое морщинами, которые бороздили его щеки и лучами расходились у глаз, свидетельствовало о глубоком знании жизни. Казалось, человек этот обладает даром угадывать мысли самых скрытных людей и обмануть его невозможно. Знакомство с нравами всех народов земного шара и вся их мудрость сосредоточивались в его холодной душе, подобно тому, как произведениями целого мира были завалены пыльные залы его лавки. Вы прочли бы на его лице ясное спокойствие всевидящего бога или же горделивую мощь все видевшего человека. Живописец, придав ему соответствующее выражение двумя взмахами кисти, мог бы обратить это лицо в прекрасный образ предвечного отца или же в глумливую маску Мефистофеля, ибо на его лбу запечатлелась возвышенная мощь, а на устах — зловещая насмешка. Обратив в прах при помощи своей огромной власти все муки человеческие, он, по-видимому, убил и земные радости. Умирающий вздрогнул, почувствовав, что этот старый гений обитает в сферах, чуждых миру, и живет там один, не радуясь, ибо у него нет больше иллюзий, не скорбя, ибо он уже не ведает

наслаждений. Старик стоял неподвижный, непоколебимый, как звезда, окруженная светлою мглой. Его зеленые глаза, исполненные какого-то спокойного лукавства, казалось, освещали мир душевный, так же как его лампа светила в этом таинственном кабинете.

Таково было странное зрелище, захватившее врасплох молодого человека — убаюканного было мыслями о смерти и причудливыми образами — в тот момент, когда он открыл глаза. Если он был ошеломлен, если он поверил в этот призрак не рассуждая, как ребенок нянькиным сказкам, то это заблуждение следует приписать тому покрову, который простерли над его жизнью и рассудком мрачные мысли, раздражение взбудораженных нервов, жестокая драма, сцены которой только что доставили ему мучительное наслаждение, сходное с тем, какое заключено в опиуме. Это видение было ему в Париже, на набережной Вольтера, в XIX веке — в таком месте и в такое время, когда магия невозможна. Находясь по соседству с тем домом, где скончался бог французского неверия, будучи учеником Гей-Люссака и Араго, презирая все фокусы, проделываемые людьми, стоящими у власти, незнакомец, очевидно, поддался обаянию поэзии, которому все мы часто поддаемся как бы для того, чтобы избежать горьких истин, приводящих в отчаяние, и бросить вызов всемогуществу божию. Итак, волнуемый необъяснимыми предчувствиями какой-то необычайной власти, он вздрогнул при виде этого света, при виде этого старика; волнение его было похоже на то, какое мы все испытывали перед Наполеоном, какое мы вообще испытываем в присутствии великого человека, блистающего гением и облеченного славою.

— Вам угодно видеть изображение Иисуса Христа кисти Рафаэля? — учтиво спросил его старик; в звучности его внятного, отчетливого голоса было нечто металлическое.

Он поставил лампу на обломок колонны так, что темный ящик был освещен со всех сторон.

Стоило купцу произнести священные имена Иисуса Христа и Рафаэля, как молодой человек всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик, без сомнения, и ожидал, потому что он тотчас же надавил

пружину. Вслед за тем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенному взору незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком, признал в старике земное существо, вполне живое, нисколько не фантастическое, вновь стал жить в мире реальном. Благостная нежность, тихая ясность божественного лика тотчас же подействовали на него. Некое благоухание пролилось с небес, рассеивая те адские муки, которые жгли его до мозга костей. Голова спасителя, казалось, выступала из мрака, переданного черным фоном; ореол лучей сиял вокруг его волос, от которых как будто и исходил этот свет; его чело, каждая черточка его лица исполнены были красноречивой убедительности, изливавшейся потоками. Алые губы как будто только что произнесли слово жизни, и зритель искал его отзвука в воздухе, допытываясь его священного смысла, вслушивался в тишину, вопрошал о нем грядущее, обретал его в уроках минувшего. Евангелие передавалось спокойной простотой божественных очей, в которых искали себе прибежища смятенные души. Словом, всю католическую религию можно было прочесть в кроткой и прекрасной улыбке, выражавшей, казалось, то изречение, к которому она, эта религия, сводится: «Любите друг друга!» Картина вдохновляла на молитву, учила прощению, заглушала себялюбие, пробуждала все уснувшие добродетели. Обладая преимуществами, свойственными очарованию музыки, это произведение Рафаэля подчиняло вас властным чарам воспоминаний, и торжество было полным — о художнике вы забывали. Впечатление этого чуда еще усиливалось очарованием света: мгновениями казалось, что голова движется вдали, среди облака.

— Я дал за это полотно столько золотых монет, сколько на нем уместилось,— холодно сказал торговец.

— Ну что ж, значит — смерть! — воскликнул молодой человек, пробуждаясь от мечтаний. Слова старика вернули его к роковому жребию, и путем неуловимых выводов он спустился с высот последней надежды, за которую было ухватился.

— Ага! Недаром ты мне показался подозритель-

ным,— проговорил старик, схватив обе руки молодого человека и, как в тисках, сжимая ему запястья одной рукой.

Незнакомец печально улыбнулся этому недоразумению и сказал кротким голосом:

— Не бойтесь, речь идет о моей смерти, а не о вашей... Почему бы мне не сознаться в невинном обмане? — продолжал он, взглянув на обеспокоенного старика.— До наступления ночи, когда я могу утопиться, не привлекая внимания толпы, я пришел взглянуть на ваши богатства. Кто не простил бы этого последнего наслаждения ученому и поэту?

Недоверчиво слушая мнимого покупателя, торговец окинул пронзительным взглядом его угрюмое лицо. Успокоенный искренним тоном его печальных речей или, быть может, прочитав в его поблекших чертах зловещие знаки его участи, при виде которых незадолго перед тем вздрогнули игроки, он отпустил его руки; однако подозрительность, свидетельствовавшая о житейском опыте, по меньшей мере столетнем, не совсем его оставила: небрежно протянув руку к поставцу, как будто только для того чтобы на него опереться, он вынул оттуда стилет и сказал:

— Вы, вероятно, года три служите сверх штата в казначействе и все еще не на жалованье?

Незнакомец не мог удержаться от улыбки и отрицательно покачал головой.

— Ваш отец чересчур грубо попрекал вас тем, что вы появились на свет? А может быть, вы потеряли честь?

— Если бы я согласен был потерять честь, я бы не расставался с жизнью.

— Вас освистали в театре Фюнамбюль? Вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похороны вашей любовницы? А может быть, вас томит неутоленная страсть к золоту? Или вы желаете победить скуку? Словом, какое заблуждение толкает вас на смерть?

— Не ищите объяснений среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать словами, скажу лишь, что я впал в глубочайшую, гнусней-

шую, унизительную нищету. Я не собираюсь вымаливать ни помощи, ни утешений,— добавил он с дикой гордостью, противоречившей его предшествующим словам.

— Хэ-хэ! — Эти два слога, произнесенные стариком вместо ответа, напоминали звук трещотки. Затем он продолжал: — Не принуждая вас взывать ко мне, не заставляя вас краснеть, не подавая вам ни французского сантима, ни левантского парата, ни сицилийского тарена, ни немецкого геллера, ни русской копейки, ни шотландского фартинга, ни единого сестерция и обола мира древнего, ни единого пиастра нового мира, не предлагая вам ничего ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, ни билетами, я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного монарха.

Молодой человек подумал, что перед ним старик, впавший в детство; ошеломленный, он не знал, что ответить.

— Оглянитесь,— сказал торговец и, схватив вдруг лампу, направил ее свет на стену, противоположную той, на которой висела картина.— Посмотрите на эту шагреневую кожу,— добавил он.

Молодой человек вскочил с места и с некоторым удивлением обнаружил над своим креслом висевший на стене лоскут шагрени, не больше лисьей шкурки; по необъяснимой на первый взгляд причине кожа эта среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что можно было принять ее за маленькую комету. Юноша с недоверием приблизился к тому, что выдавалось за талисман, способный предохранить его от несчастий, и рассмеялся в душе. Однако, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу со всех сторон, и открыл естественную причину ее странного блеска. Черная зернистая поверхность шагрени была так тщательно отполирована и отшлифована, прихотливые прожилки на ней были столь чисты и отчетливы, что, подобно фасеткам граната, каждая выпуклость этой восточной кожи бросала пучок ярких отраженных лучей. Математически точно определив причину этого явления, он изложил ее старику, но тот вместо ответа хит-

ро улыбнулся. Эта улыбка превосходства навела молодого ученого на мысль, что он является жертвой шарлатанства. Он не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку и, как ребенок, который спешит разгадать секрет своей новой игрушки, быстро перевернул кожу.

— Ага! — воскликнул он.— Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой.

— Вам она известна? — спросил торговец, два-три раза выпустив из ноздрей воздух и передав этим больше мыслей, чем мог бы высказать самыми выразительными словами.

— Какой простак поверит этой химере? — воскликнул молодой человек, задетый немым и полным ехидного издевательства смехом старика.— Разве вы не знаете, что лишь суеверия Востока приписывают нечто священное мистической форме и лживым знакам этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом? Укорять меня в данном случае в наивности у вас не больше оснований, чем если бы речь шла о сфинксах и грифах, существование которых в мифологическом смысле до некоторой степени допускается.

— Раз вы востоковед,— продолжал старик,— то, может быть, прочтете это изречение?

Он поднес лампу к самому талисману, который изнанкою кверху держал молодой человек, и обратил его внимание на знаки, оттиснутые на клеточной ткани этой чудесной кожи так, точно они своим существованием были обязаны тому животному, которое некогда облекала кожа.

— Должен сознаться,— заметил незнакомец,— я не могу объяснить, каким образом ухитрились так глубоко оттиснуть эти буквы на коже онагра.

И он живо обернулся к столам, заваленным редкостями, как бы ища что-то глазами.

— Что вам нужно? — спросил старик.

— Какой-нибудь инструмент, чтобы надрезать шагрень и выяснить, оттиснуты эти буквы или же вделаны.

Старик подал незнакомцу стилет,— тот взял его и попытался надрезать кожу в том месте, где были начертаны буквы; но когда он снял тонкий слой кожи, буквы вновь появились, столь отчетливые и до того по-

хожие на те, которые были оттиснуты на поверхности, что на мгновение ему показалось, будто кожа и не срезана.

— Левантские мастера владеют секретами, известными только им одним,— сказал он, с каким-то беспокойством взглянув на восточное изречение.

— Да,— отозвался старик,— лучше все валить на людей, чем на бога.

Таинственные слова были расположены в таком порядке:

لرملكتنى ملكت آلكل
ولكن عمرك ملكى
واراد الله هكذا
اطلب وستنال مطالبك
ولكن قسن مطالبك على عمرك
وهى هاهنا
فبكل مرامك استنزل ايامك
أتريد ق
الله مجيبك
آمين

Что означало:

Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне. Так угодно богу. Желай — и желания твои будут исполнены. Но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она — здесь. При каждом желании я буду убывать, как твои дни. Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит. Да будет так!

— А вы бегло читаете по-санскритски! — сказал старик.— Верно, побывали в Персии или же в Бенгалии?

— Нет,— отвечал молодой человек, с любопытством ощупывая эту символическую и очень странную кожу, совершенно негибкую, даже несколько напоминавшую металлическую пластинку.

Старый антиквар опять поставил лампу на колонну и бросил на молодого человека взгляд, полный холодной иронии и как бы говоривший: «Вот он уже и не думает умирать!»

— Это шутка? Или тайна? — спросил молодой незнакомец.

Старик покачал головой и серьезным тоном сказал:

— Не знаю, что вам ответить. Грозную силу, даруемую этим талисманом, я предлагал людям более энергичным, нежели вы, но, посмеявшись над загадочным влиянием, какое она должна была бы оказать на их судьбу, никто, однако ж, не захотел рискнуть заключить договор, столь роковым образом предлагаемый неведомой мне властью. Я с ними согласен,— я усомнился, воздержался и...

— И даже не пробовали? — прервал его молодой человек.

— Пробовать! — воскликнул старик.— Если бы вы стояли на Вандомской колонне, попробовали бы вы броситься вниз? Можно ли остановить течение жизни? Делил ли кто-нибудь смерть на доли? Прежде чем войти в этот кабинет, вы приняли решение покончить с собой, но вдруг вас начинает занимать эта тайна и отвлекает от мысли о смерти. Дитя! Разве любой ваш день не предложит вам загадки, более занимательной, чем эта? Послушайте, что я вам скажу. Я видел распутный двор регента. Как вы, я был тогда в нищете, я просил милостыню; тем не менее я дожил до ста двух лет и стал миллионером; несчастье одарило меня богатством, невежество научило меня. Сейчас я вам в кратких словах открою великую тайну человеческой жизни. Человек истощает себя безотчетными поступками,— из-за них-то и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам *желать* и *мочь*. Между этими двумя пределами человеческой деятель-

ности находится иная формула, коей обладают мудрецы, и ей обязан я счастьем моим и долголетием. *Желать* сжигает нас, а *мочь* — разрушает, но *знать* дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии. Итак, желание, или хотение, во мне мертво, убито мыслью; действие или могущество свелось к удовлетворению требований моего организма. Коротко говоря, я сосредоточил свою жизнь не в сердце, которое может быть разбито, не в ощущениях, которые притупляются, но в мозгу, который не изнашивается и переживает все. Излишества не коснулись ни моей души, ни тела. Меж тем я обозрел весь мир. Нога моя ступала по высочайшим горам Азии и Америки, я изучил все человеческие языки, я жил при всяких правительствах. Я ссужал деньги китайцу, взяв в залог труп его отца, я спал в палатке араба, доверившись его слову, я подписывал контракты во всех европейских столицах и без боязни оставлял свое золото в вигваме дикарей; словом, я добился всего, ибо умел всем пренебречь. Моим единственным честолюбием было — видеть. Видеть — не значит ли это знать?.. А знать, молодой человек,— не значит ли это наслаждаться интуитивно? Не значит ли это открывать самую сущность жизни и глубоко проникать в нее? Что остается от материального обладания? Только идея. Судите же, как прекрасна должна быть жизнь человека, который, будучи способен запечатлеть в своей мысли все реальности, переносит источники счастья в свою душу и извлекает из них множество идеальных наслаждений, очистив их от всей земной скверны. Мысль — это ключ ко всем сокровищницам, она одаряет вас всеми радостями скупца, но без его забот. И вот я парил над миром, наслаждения мои всегда были радостями духовными. Мои пиршества заключались в созерцании морей, народов, лесов, гор. Я все созерцал, но спокойно, не зная усталости; я никогда ничего не желал, я только ожидал. Я прогуливался по вселенной, как по собственному саду. То, что люди зовут печалью, любовью, честолюбием, превратностями, огорчениями,— все это для меня лишь мысли, превращаемые мною в мечтания; вместо того чтобы их ощущать, я их выражаю, я их истолковываю; вместо того чтобы позволить им пожирать мою жизнь,

я драматизирую их, я их развиваю; я забавляюсь ими, как будто это романы, которые я читаю внутренним своим зрением. Я никогда не утомляю своего организма и потому все еще отличаюсь крепким здоровьем. Так как моя душа унаследовала все не растраченные мною силы, то моя голова богаче моих складов. Вот где,— сказал он, ударяя себя по лбу,— вот где настоящие миллионы! Я провожу свои дни восхитительно: мои глаза умеют видеть былое; я воскрешаю целые страны, картины разных местностей, виды океана, прекрасные образы истории. У меня есть воображаемый сераль, где я обладаю всеми женщинами, которые мне не принадлежали. Часто я снова вижу ваши войны, ваши революции и размышляю о них. О, как же предпочесть лихорадочное, мимолетное восхищение каким-нибудь телом, более или менее цветущим, формами, более или менее округлыми. как же предпочесть крушение всех ваших обманчивых надежд — высокой способности создавать вселенную в своей душе; беспредельному наслаждению двигаться без опутывающих уз времени, без помех пространства; наслаждению — все объять, все видеть, наклониться над краем мира, чтобы вопрошать другие сферы, чтобы внимать богу? Здесь,— громовым голосом воскликнул он, указывая на шагреневую кожу,— *мочь* и *желать* соединены! Вот они, ваши социальные идеи, ваши чрезмерные желания, ваша невоздержность, ваши радости, которые убивают, ваши скорби, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью,— ведь боль, может быть, есть не что иное, как предельное наслаждение. Кто мог бы определить границу, где сладострастие становится болью и где боль остается еще сладострастием? Разве живейшие лучи мира идеального не ласкают взора, меж тем как самый мягкий сумрак мира физического ранит его беспрестанно? Не от знания ли рождается мудрость? И что есть безумие, как не безмерность желания или же могущества?

— Вот я и хочу жить, не зная меры! — сказал незнакомец, хватая шагреневую кожу.

— Берегитесь, молодой человек! — с невероятной живостью воскликнул старик.

— Я посвятил свою жизнь науке и мысли, но они

не способны были даже прокормить меня,— отвечал незнакомец.— Я не хочу быть обманутым ни проповедью, достойной Сведенборга, ни вашим восточным амулетом, ни милосердным вашим старанием удержать меня в этом мире, где существование для меня более невозможно. Так вот,— добавил он, судорожно сжимая талисман в руке и глядя на старика,— я хочу царственного, роскошного пира, вакханалии, достойной века, в котором все, говорят, усовершенствовано! Пусть мои собутыльники будут юны, остроумны и свободны от предрассудков, веселы до сумасшествия! Пусть сменяются вина, одно другого крепче, искрометнее, такие, от которых мы будем пьяны три дня! Пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами! Хочу, чтоб исступленный разгул увлек нас на колеснице, запряженной четверкой коней, за пределы мира и сбросил нас на неведомых берегах! Пусть души восходят на небеса или же тонут в грязи,— не знаю, возносятся ли они тогда или падают, мне это все равно. Итак, я приказываю мрачной этой силе слить для меня все радости воедино. Да, мне нужно заключить все наслаждения земли и неба в одно последнее объятие, а затем умереть. Я желаю античных приапей после пьянства, песен, способных пробудить мертвецов, долгих, бесконечно долгих поцелуев, чтобы звук их пронесся над Парижем, как гул пожара, разбудил бы супругов и внушил бы им жгучий пыл, возвращая молодость всем, даже семидесятилетним!

Тут в ушах молодого безумца, подобно адскому грохоту, раздался смех старика и прервал его столь властно, что он умолк.

— Вы думаете,— сказал торговец,— у меня сейчас расступятся половицы, пропуская роскошно убранные столы и гостей с того света? Нет, нет, безрассудный молодой человек. Вы заключили договор, этим все сказано. Теперь все ваши желания будут исполняться в точности, но за счет вашей жизни. Круг ваших дней, очерченный этой кожей, будет сжиматься соответственно силе и числу ваших желаний, от самого незначительного до самого огромного. Брамин, которому я обязан этим талисманом, объяснил мне некогда, что между судьбою и желанием его владельца установится таинственная

связь. Ваше первое желание — желание пошлое, я мог бы его удовлетворить, но позаботиться об этом я предоставляю событиям вашего нового бытия. Ведь в конце концов вы хотели умереть? Ну что ж, ваше самоубийство только отсрочено.

Удивленный, почти раздраженный тем, что этот странный старик с его полуфилантропическими намерениями, ясно сказавшимися в этой последней насмешке, продолжал глумиться над ним, незнакомец воскликнул:

— Посмотрим, изменится ли моя судьба, пока я буду переходить набережную! Но если вы не смеетесь над несчастным, то в отместку за столь роковую услугу я желаю, чтобы вы влюбились в танцовщицу! Тогда вы поймете радость разгула и, быть может, расточите все блага, которые вы столь философически сберегали.

Он вышел, так и не услыхав тяжкого вздоха старика, миновал все залы и спустился по лестнице в сопровождении толстощекого приказчика, который тщетно пытался посветить ему: незнакомец бежал стремительно, словно вор, застигнутый на месте преступления. Ослепленный каким-то бредом, он даже не заметил невероятной податливости шагреневой кожи, которая стала мягкой, как перчатка, свернулась в его яростно сжимавшихся пальцах и легко поместилась в кармане фрака, куда он сунул ее почти машинально. Выбежав на улицу, он столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли рука об руку.

— Скотина!

— Дурак!

Таковы были изысканные приветствия, коими они обменялись.

— О! Да это Рафаэль!

— Здорово! А мы тебя искали.

— Как, это вы?

Три эти дружественные фразы последовали за бранью, как только свет фонаря, раскачиваемого ветром, упал на изумленные лица молодых людей.

— Милый друг,— сказал Рафаэлю молодой человек, которого он едва не сбил с ног,— ты пойдешь с нами.

— Куда и зачем?

— Ладно, иди, доро́гой я тебе расскажу.

Как ни отбивался Рафаэль, друзья его окружили, подхватили под руки и, втиснув его в веселую свою шеренгу, повлекли к мосту Искусств.

— Дорогой мой,— продолжал его приятель,— мы целую неделю тебя разыскиваем. В твоей почтенной гостинице «Сен-Кантен», на которой, кстати сказать, красуется все та же неизменная вывеска, выведенная красными и черными буквами, что и во времена Жан-Жака Руссо, твоя Леонарда сказала нам, что ты уехал за город. Между тем, право же, мы не были похожи на людей, пришедших по денежным делам,— судебных приставов, заимодавцев, понятых и тому подобное. Ну, так вот! Растиньяк видел тебя вчера вечером в Итальянской опере, мы приободрились и из самолюбия решили непременно установить, не провел ли ты ночь где-нибудь на дереве в Елисейских полях, или не отправился ли в ночлежку, где нищие, заплатив два су, спят, прислонившись к натянутым веревкам, или, может быть, тебе повезло, и ты расположился на биваке в каком-нибудь будуаре. Мы тебя нигде не встретили — ни в списках заключенных в тюрьме Сент-Пелажи, ни среди арестантов Ла-Форс! Подвергнув научному исследованию министерства, Оперу, дома призрения, кофейни, библиотеки, префектуру, бюро журналистов, рестораны, театральные фойе — словом, все имеющиеся в Париже места, хорошие и дурные, мы оплакивали потерю человека, достаточно одаренного, чтобы с равным основанием оказаться при дворе или в тюрьме. Мы уже поговаривали, не канонизировать ли тебя в качестве героя Июльской революции! И, честное слово, мы сожалели о тебе.

Не слушая своих друзей, Рафаэль шел по мосту Искусств и смотрел на Сену, в бурлящих волнах которой отражались огни Парижа. Над этой рекой, куда еще так недавно хотел он броситься, исполнялись предсказания старика — час его смерти по воле рока был отсрочен.

— И мы действительно сожалели о тебе,— продолжал говорить приятель Рафаэля.— Речь идет об одной комбинации, в которую мы включили тебя как человека выдающегося, то есть такого, который умеет не

считаться ни с чем. Фокус, состоящий в том, что конституционный орех исчезает из-под королевского кубка, проделывается нынче, милый друг, с большей торжественностью, чем когда бы то ни было. Позорная монархия, свергнутая народным героизмом, была особой дурного поведения, с которой можно было посмеяться и попировать, но супруга, именующая себя Родиной, сварлива и добродетельна: хочешь, не хочешь, принимай размеренные ее ласки. Ведь ты знаешь, власть перешла из Тюильри к журналистам, а бюджет переехал в другой квартал — из Сен-Жерменского предместья на Шоссе д'Антен. Но вот чего ты, может быть, не знаешь: правительство, то есть банкирская и адвокатская аристократия, сделавшая родину своей специальностью, как некогда священники — монархию, почувствовало необходимость дурачить добрый французский народ новыми словами и старыми идеями, по образцу философов всех школ и ловкачей всех времен. Словом, речь идет о том, чтобы внедрять взгляды королевски-национальные, доказывать, что люди становятся гораздо счастливее, когда платят миллиард двести миллионов и тридцать три сантима родине, имеющей своими представителями господ таких-то и таких-то, чем тогда, когда платят они миллиард сто миллионов и девять сантимов королю, который вместо *мы* говорит *я*. Словом, основывается газета, имеющая в своем распоряжении добрых двести—триста тысяч франков, в целях создания оппозиции, способной удовлетворить неудовлетворенных без особого вреда для национального правительства короля-гражданина. И вот, раз мы смеемся и над свободой и над деспотизмом, смеемся над религией и над неверием и раз отечество для нас — это столица, где идеи обмениваются и продаются по столько-то за строку, где каждый день приносит вкусные обеды и многочисленные зрелища, где кишат продажные распутницы, где ужины заканчиваются утром, где любовь, как извозчичьи кареты, отдается напрокат; раз Париж всегда будет самым пленительным из всех отечеств — отечеством радости, свободы, ума, хорошеньких женщин, прохвостов, доброго вина, где жезл правления никогда не будет особенно сильно чувствоваться, потому что мы стоим возле тех, у кого он в ру-

ках... мы, истинные приверженцы бога Мефистофеля, подрядились перекрашивать общественное мнение, переодевать актеров, прибивать новые доски к правительственному балагану, подносить лекарство доктринерам, повергать старых республиканцев, подновлять бонапартистов, снабжать провиантом центр, но все это при том условии, чтобы нам было позволено смеяться втихомолку над королями и народами, менять по вечерам утреннее свое мнение, вести веселую жизнь на манер Панурга или возлежать more orientali [1] на мягких подушках. Мы решили вручить тебе бразды правления этого макаронического и шутовского царства, а посему ведем тебя прямо на званый обед, к основателю упомянутой газеты, банкиру, почившему от дел, который, не зная, куда ему девать золото, хочет разменять его на остроумие. Ты будешь принят там как брат, мы провозгласим тебя королем вольнодумцев, которые ничего не боятся и прозорливо угадывают намерения Австрии, Англии или России прежде, чем Россия, Англия или Австрия возымеют какие бы то ни было намерения! Да, мы назначаем тебя верховным повелителем тех умственных сил, которые поставляют миру всяких Мирабо, Талейранов, Питтов, Меттернихов—словом, всех ловких Криспинов, играющих друг с другом на судьбы государств, как простые смертные играют в домино на рюмку киршвассера. Мы изобразили тебя самым бесстрашным борцом из всех, кому когда-либо случалось схватиться врукопашную с разгулом, с этим изумительным чудовищем, которое жаждут вызвать на поединок все смелые умы; мы утверждали даже, что ему до сих пор еще не удалось тебя победить. Надеюсь, ты нас не подведешь. Тайфер, наш амфитрион, обещал затмить жалкие сатурналии наших крохотных современных Лукуллов. Он достаточно богат, чтобы придать величие пустякам, изящество и очарование — пороку... Слышишь, Рафаэль? — прерывая свою речь, спросил оратор.

— Да,— отвечал молодой человек, дивившийся не столько исполнению своих желаний, сколько тому, как естественно сплетались события.

---

[1] На восточный лад (*лат.*).

Поверить в магическое влияние он не мог, но его изумляли случайности человеческой судьбы.

— Однако ты произносишь «да» весьма уныло, точно думаешь о смерти своего дедушки,— обратился к нему другой его спутник.

— Ах! — вздохнул Рафаэль так простодушно, что эти писатели, надежда молодой Франции, рассмеялись.— Я думал вот о чем, друзья мои: мы на пути к тому, чтобы стать плутами большой руки! До сих пор мы творили беззакония, мы бесчинствовали между двумя выпивками, судили о жизни в пьяном виде, оценивали людей и события, переваривая обед. Невинные на деле, мы были дерзки на слова, но теперь, заклейменные раскаленным железом политики, мы отправляемся на великую каторгу и утратим там наши иллюзии. Ведь и тому, кто верит уже только в дьявола, разрешается оплакивать юношеский рай, время невинности, когда мы набожно открывали рот, дабы добрый священник дал нам вкусить святое тело христово. Ах, дорогие мои друзья, если нам такое удовольствие доставляли первые наши грехи, так это потому, что у нас еще были угрызения совести, которые украшали их, придавали им остроту и смак,— а теперь...

— О, теперь,— вставил первый собеседник,— нам остается...

— Что? — спросил другой.

— Преступление...

— Вот слово, высокое, как виселица, и глубокое, как Сена,— заметил Рафаэль.

— О, ты меня не понял!.. Я говорю о преступлениях политических. Нынче, с самого утра, я стал завидовать только заговорщикам. Не знаю, доживет ли эта моя фантазия до завтра, но мне просто душу воротит от этой бесцветной жизни в условиях нашей цивилизации — жизни однообразной, как рельсы железной дороги,— меня влекут к себе такие несчастья, как те, что испытали французы, отступавшие от Москвы, тревоги «Красного корсара», жизнь контрабандистов. Раз во Франции нет больше монахов-картезианцев, я жажду по крайней мере Ботани-бэй, этого своеобразного лазарета для маленьких лордов Байронов, которые, скомкав жизнь, как салфетку после обеда, обнаруживают, что делать им боль-

ше нечего,— разве только разжечь пожар в своей стране, пустить себе пулю в лоб, вступить в республиканский заговор или требовать войны...

— Эмиль,— с жаром начал другой спутник Рафаэля,— честное слово, не будь Июльской революции, я сделался бы священником, жил бы животной жизнью где-нибудь в деревенской глуши и...

— И каждый день читал бы требник?

— Да.

— Хвастун!

— Читаем же мы газеты!

— Недурно для журналиста! Но молчи, ведь толпа вокруг нас — это наши подписчики. Журнализм, видишь ли, стал религией современного общества, и тут достигнут прогресс.

— Каким образом?

— Первосвященники нисколько не обязаны верить, да и народ тоже...

Продолжая беседовать, как добрые малые, которые давно уже изучили «De viris illustribus», они подошли к особняку на улице Жубер.

Эмиль был журналист, бездельем стяжавший себе больше славы, нежели другие — удачами. Смелый критик, остроумный и колкий, он обладал всеми достоинствами, какие могли ужиться с его недостатками. Насмешливый и откровенный, он произносил тысячу эпиграмм в глаза другу, а за глаза защищал его бесстрашно и честно. Он смеялся над всем, даже над своим будущим. Вечно сидя без денег, он, как все люди, не лишенные способностей, мог погрязнуть в неописуемой лени и вдруг бросал одно-единственное слово, стоившее целой книги, на зависть тем господам, у которых в целой книге не было ни одного живого слова. Щедрый на обещания, которых никогда не исполнял, он сделал себе из своей удачи и славы подушку и преспокойно почивал на лаврах, рискуя таким образом на старости лет проснуться в богадельне. При всем том за друзей он пошел бы на плаху, похвалялся своим цинизмом, а был простодушен, как дитя, работал же только по вдохновению или из-за куска хлеба.

— Тут и нам перепадет, по выражению мэтра Алькофрибаса, малая толика с пиршественного стола,— ска-

зал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые украшали лестницу своей зеленью и разливали благоуханье.

— Люблю, когда прихожая хорошо натоплена и убрана богатыми коврами,— заметил Рафаэль.— Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь возрождаюсь.

— А там, наверху, мы выпьем и посмеемся, бедный мой Рафаэль. И еще как! — продолжал Эмиль.— Надеюсь, мы выйдем победителями над всеми этими головами!

И он насмешливым жестом указал на гостей, входя в залу, блиставшую огнями и позолотой; точас же их окружили молодые люди, пользовавшиеся в Париже наибольшей известностью. Об одном из них говорили как о новом таланте — первая его картина поставила его в один ряд с лучшими живописцами времен Империи. Другой только что отважился выпустить очень яркую книгу, проникнутую своего рода литературным презрением и открывавшую перед современной школой новые пути. Скульптор, суровое лицо которого соответствовало его мужественному гению, беседовал с одним из тех холодных насмешников, которые, смотря по обстоятельствам, или ни в ком не хотят видеть превосходства, или признают его всюду. Остроумнейший из наших карикатуристов, со взглядом лукавым и языком язвительным, ловил эпиграммы, чтобы передать их штрихами карандаша. Молодой и смелый писатель, лучше, чем кто-нибудь другой, схватывающий суть политических идей и шутя, в двух-трех словах, умеющий выразить сущность какого-нибудь плодовитого автора, разговаривал с поэтом, который затмил бы всех своих современников, если бы обладал талантом, равным по силе его ненависти к соперникам. Оба, стараясь избегать и правды и лжи, обращались друг к другу со сладкими, льстивыми словами. Знаменитый музыкант, взяв си бемоль, насмешливо утешал молодого политического деятеля, который недавно низвергся с трибуны, но не причинил себе никакого вреда. Молодые писатели без стиля стояли рядом с молодыми писателями без идей, прозаики, жадные до поэтических красот,— рядом с прозаичными поэтами. Бедный сен-симонист, достаточ-

но наивный для того, чтобы верить в свою доктрину, из чувства милосердия примирял эти несовершенные существа, очевидно желая сделать из них монахов своего ордена. Здесь были, наконец, два-три ученых, созданных для того, чтобы разбавлять атмосферу беседы азотом, и несколько водевилистов, готовых в любую минуту сверкнуть эфемерными блестками, которые, подобно искрам алмаза, не светят и не греют. Несколько парадоксалистов, исподтишка посмеиваясь над теми, кто разделял их презрительное или же восторженное отношение к людям и обстоятельствам, уже повели обоюдоострую политику, при помощи которой они вступают в заговор против всех систем, не становясь ни на чью сторону. *Знаток*, один из тех, кто ничему не удивляется, кто сморкается во время каватины в Итальянской опере, первым кричит «браво!», возражает всякому высказавшему свое суждение прежде него, был уже здесь и повторял чужие остроты, выдавая их за свои собственные. У пятерых из собравшихся гостей была будущность, десятку суждено было добиться кое-какой прижизненной славы, а что до остальных, то они могли, как любая посредственность, повторить знаменитую ложь Людовика XVIII: *единение и забвение*. Амфитрион находился в состоянии озабоченной веселости, естественной для человека, потратившего на пиршество две тысячи экю. Он часто обращал нетерпеливый взор к дверям залы — как бы с призывом к запоздавшим гостям. Вскоре появился толстый человечек, встреченный лестным гулом приветствий,— это был нотариус, который как раз в это утро завершил сделку по изданию новой газеты. Лакей, одетый в черное, отворил двери просторной столовой, и все двинулись туда без церемоний, чтобы занять предназначенные им места за огромным столом. Перед тем как уйти из гостиной, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание в самом деле исполнилось в точности. Всюду, куда ни посмотришь, золото и шелк. При свете дорогих канделябров с бесчисленным множеством свечей сверкали мельчайшие детали золоченых фризов, тонкая чеканка бронзы и роскошные краски мебели. Редкостные цветы в художественных жардиньерках, сооруженных из бамбука, изливали сладостное благоухание. Все, вплоть до драпи-

ровок, дышало не бьющим в глаза изяществом, во всем было нечто очаровательно-поэтичное, нечто такое, что должно сильно действовать на воображение бедняка.

— Сто тысяч ливров дохода — премилый комментарий к катехизису, они чудесно помогают нам претворять правила морали в жизнь! — со вздохом сказал Рафаэль.— О да, моя добродетель больше не согласна ходить пешком! Для меня теперь порок — это мансарда, потертое платье, серая шляпа зимой и долги швейцару... Ах, пожить бы в такой роскоши год, даже полгода, а потом — умереть! По крайней мере я изведаю, выпью до дна, поглощу тысячу жизней!

— Э, ты принимаешь за счастье карету биржевого маклера! — возразил слушавший его Эмиль.— Богатство скоро наскучит тебе, поверь: ты заметишь, что оно лишает тебя возможности стать выдающимся человеком. Колебался ли когда-нибудь художник между бедностью богатых и богатством бедняков! Разве таким людям, как мы, не нужна вечная борьба! Итак, приготовь свой желудок, взгляни,— сказал он, жестом указывая на столовую преуспевающего банкира, имевшую величественный, райский, успокоительный вид.— Честное слово, наш амфитрион только ради нас и утруждал себя накоплением денег. Не разновидность ли это губки, пропущенной натуралистами в ряду полипов? Сию губку надлежит потихоньку выжимать, прежде чем ее высосут наследники! Взгляни, как хорошо выдержан стиль барельефов, украшающих стены! А люстры и картины,— что за роскошь, какой вкус! Если верить завистникам и тем, кто претендует на знание пружин жизни, Тайфер убил во время революции одного немца и еще двух человек, как говорят — своего лучшего друга и мать этого лучшего друга. А ну-ка, попробуй обнаружить преступника в убеленном сединами почтенном Тайфере! На вид он добряк. Посмотри, как искрится серебро... неужели каждый блестящий его луч — это нож в сердце для хозяина дома?.. Оставь, пожалуйста! С таким же успехом можно поверить в Магомета. Если публика права, значит, тридцать человек с душой и талантом собрались здесь для того, чтобы пожирать внутренности и пить кровь целой семьи... а мы оба, чистые, восторженные молодые люди, станем соучастниками преступления! Мне

хочется спросить у нашего банкира, честный ли он человек...

— Не сейчас! — воскликнул Рафаэль.— Подождем, когда он будет мертвецки пьян. Сначала пообедаем.

Два друга со смехом уселись. Сперва каждый гость взглядом, опередившим слово, заплатил дань восхищения роскошной сервировке длинного стола; скатерть сияла белизной, как только что выпавший снег, симметрически возвышались накрахмаленные салфетки, увенчанные золотистыми хлебцами, хрусталь сверкал, как звезды, переливаясь всеми цветами радуги, огни свечей бесконечно скрещивались, блюда под серебряными крышками возбуждали аппетит и любопытство. Слов почти не произносили. Соседи переглядывались. Лакеи разливали мадеру. Затем во всей славе своей появилась первая перемена; она оказала бы честь блаженной памяти Камбасересу, его прославил бы Брийа-Саварен. Вина, бордоские и бургундские, белые и красные, подавались с королевской щедростью. Эту первую часть пиршества во всех отношениях можно было сравнить с экспозицией классической трагедии. Второе действие оказалось немножко многословным. Все гости основательно выпили, меняя вина по своему вкусу, и когда уносили остатки великолепных блюд, уже начались бурные споры; кое у кого бледные лбы покраснели, у иных носы уже принимали багровый цвет, щеки пылали, глаза блестели. На этой заре опьянения разговор не вышел еще из границ приличия, однако со всех уст мало-помалу стали срываться шутки и остроты; затем злословие тихонько подняло змеиную свою головку и заговорило медоточивым голосом; скрытные натуры внимательно прислушивались в надежде не потерять рассудка. Ко второй перемене умы уже разгорячились. Все ели и говорили, говорили и ели, пили, не остерегаясь обилия возлияний,— до того вина были приятны на вкус и душисты и так заразителен был пример. Чтобы подзадорить гостей, Тайфер велел подать ронские вина жестокой крепости, горячащее токайское, старый ударяющий в голову руссильон. Сорвавшись, точно кони почтовой кареты, поскакавшие от станции, молодые люди, подстегиваемые искорками шампанского, нетерпеливо ожидавшегося, зато щедро налитого, пустили свой ум га-

лопировать в пустоте тех рассуждении, которым никто не внемлет, принялись рассказывать истории, не находившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и остававшиеся без ответа. Одна только оргия говорила во весь свой оглушительный голос, состоявший из множества невнятных криков, нараставших, как *крещендо* у Россини. Затем начались лукавые тосты, бахвальство, дерзости. Все стремились щегольнуть не умственными своими дарованиями, но способностью состязаться с винными бочонками, бочками, чанами. Казалось, у всех было по два голоса. Настал момент, когда господа заговорили все разом, а слуги заулыбались. Когда парадоксы, облеченные сомнительным блеском, и вырядившиеся в шутовской наряд истины стали сталкиваться друг с другом, пробивая себе дорогу сквозь крики, сквозь частные определения суда и окончательные приговоры, сквозь всякий вздор, как в сражении скрещиваются ядра, пули и картечь; этот словесный сумбур, вне всякого сомнения, заинтересовал бы философа странностью высказываемых мыслей, захватил бы политического деятеля причудливостью излагаемых систем общественного устройства. То была картина и книга одновременно. Философские теории, религии, моральные понятия, различные под разными широтами, правительства — словом, все великие достижения разума человеческого пали под косою, столь же длинною, как коса Времени, и, пожалуй, нельзя было решить, находится ли она в руках опьяневшей мудрости или же опьянения. Подхваченные своего рода бурей, эти умы, точно волны, бьющиеся об утесы, готовы были, казалось, поколебать все законы, между которыми плавают цивилизации,— и таким образом, сами того не зная, выполняли волю бога, оставившего в природе место добру и злу и хранящего в тайне смысл их непрестанной борьбы. Яростный и шутовской этот спор был настоящим шабашем рассуждений. Между грустными шутками, которые отпускали сейчас дети Революции при рождении газеты, и суждениями, которые высказывали веселые пьяницы при рождении Гаргантюа, была целая пропасть, отделяющая девятнадцатый век от шестнадцатого: тот, смеясь, подготовлял разрушение, наш — смеялся среди развалин.

— Как фамилия вон того молодого человека? — спросил нотариус, указывая на Рафаэля.— Мне послышалось, его называют Валантеном.

— По-вашему, он просто Валантен? — со смехом воскликнул Эмиль.— Нет, извините, он — Рафаэль де Валантен! Наш герб — *на черном поле золотой орел в серебряной короне, с красными когтями и клювом,* и превосходный девиз: «Non cecidit animus!» [1]. Мы — не какой-нибудь подкидыш, мы — потомок императора Валента, родоначальника всех Валантинуа, основателя Валансы французской и Валенсии испанской, мы — законный наследник Восточной империи. Если мы позволяем Махмуду царить в Константинополе, так это по нашей доброй воле, а также за недостатком денег и солдат.

Эмиль вилкою изобразил в воздухе корону над головой Рафаэля. Нотариус задумался на минуту, а затем снова начал пить, сделав выразительный жест, которым он, казалось, признавал, что не в его власти причислить к своей клиентуре Валенсию, Валансу, Константинополь, Махмуда, императора Валента и род Валантинуа.

— В разрушении муравейников, именуемых Вавилоном, Тиром, Карфагеном или Венецией, раздавленных ногою прохожего великана, не следует ли видеть предостережение, сделанное человечеству некоей насмешливой силой? — сказал Клод Виньон, этот раб, купленный для того, чтобы изображать собою Боссюэ, по десять су за строчку.

— Моисей, Сулла, Людовик Четырнадцатый, Ришелье, Робеспьер и Наполеон, быть может, все они — один и тот же человек, вновь и вновь появляющийся среди различных цивилизаций, как комета на небе,— отозвался некий балланшист.

— К чему испытывать провидение? — заметил поставщик баллад Каналис.

— Ну уж, провидение! — прервав его, воскликнул *знаток.*— Нет ничего на свете более растяжимого.

— Но Людовик Четырнадцатый погубил больше народу при рытье водопроводов для госпожи де Ментенон,

---

[1] «Дух не ослабел!» *(лат.).*

чем Конвент ради справедливого распределения податей, ради установления единства законов, ради национализации и равного дележа наследства,— разглагольствовал Массоль, молодой человек, ставший республиканцем только потому, что перед его фамилией недоставало односложной частицы.

— Кровь для вас дешевле вина,— возразил ему Моро, крупный помещик с берегов Уазы.— Ну, а на этот-то раз вы оставите людям головы на плечах?

— Зачем? Разве основы социального порядка не стоят нескольких жертв?

— Бисиу! Ты слышишь? Сей господин республиканец полагает, что голова вот того помещика сойдет за жертву! — сказал молодой человек своему соседу.

— Люди и события — ничто,— невзирая на икоту, продолжал развивать свою теорию республиканец,— только в политике и в философии есть идеи и принципы.

— Какой ужас! И вам не жалко будет убивать ваших друзей ради одного какого-то «де»?..

— Э, человек, способный на угрызения совести, и есть настоящий преступник, ибо у него есть некоторое представление о добродетели, тогда как Петр Великий или герцог Альба — это системы, а корсар Монбар — это организация.

— А не может ли общество обойтись без ваших «систем» и ваших «организаций»? — спросил Каналис.

— О, разумеется! — воскликнул республиканец.

— Меня тошнит от вашей дурацкой Республики! Нельзя спокойно разрезать каплуна, чтобы не найти в нем аграрного закона.

— Убеждения у тебя превосходные, милый мой Брут, набитый трюфелями! Но ты напоминаешь моего лакея: этот дурак так жестоко одержим манией опрятности, что, позволь я ему чистить мое платье на свой лад, мне пришлось бы ходить голышом.

— Все вы скоты! Вам угодно чистить нацию зубочисткой,— заметил преданный Республике господин.— По-вашему, правосудие опаснее воров.

— Хе, хе! — отозвался адвокат Дерош.

— Как они скучны со своей политикой! — сказал нотариус Кардо.— Закройте дверь. Нет того знания и та-

кой добродетели, которые стоили бы хоть одной капли крови. Попробуй мы всерьез подсчитать ресурсы истины — и она, пожалуй, окажется банкротом.

— Конечно, худой мир лучше доброй ссоры и обходится куда дешевле. Поэтому все речи, произнесенные с трибуны за сорок лет, я отдал бы за одну форель, за сказку Перро или за набросок Шарле.

— Вы совершенно правы!.. Передайте-ка мне спаржу... Ибо в конце концов свобода рождает анархию, анархия приводит к деспотизму, а деспотизм возвращает к свободе. Миллионы существ погибли, так и не добившись торжества ни одной из этих систем. Разве это не порочный круг, в котором вечно будет вращаться нравственный мир? Когда человек думает, что он что-либо усовершенствовал, на самом деле он сделал только перестановку.

— Ого! — вскричал водевилист Кюрси.— В таком случае, господа, я поднимаю бокал за Карла Десятого, отца свободы!

— А разве неверно? — сказал Эмиль.— Когда в законах — деспотизм, в нравах — свобода, и наоборот.

— Итак, выпьем за глупость власти, которая дает нам столько власти над глупцами! — предложил банкир.

— Э, милый мой, Наполеон по крайней мере оставил нам славу! — вскричал морской офицер, никогда не плававший дальше Бреста.

— Ах, слава — товар невыгодный. Стоит дорого, сохраняется плохо. Не проявляется ли в ней эгоизм великих людей, так же как в счастье — эгоизм глупцов?

— Должно быть, вы очень счастливы...

— Кто первый огородил свои владения, тот, вероятно, был слабым человеком, ибо от общества прибыль только людям хилым. Дикарь и мыслитель, находящиеся на разных концах духовного мира, равно страшатся собственности.

— Мило! — вскричал Кардо.— Не будь собственности, как могли бы мы составлять нотариальные акты!

— Вот горошек, божественно вкусный!

— А на следующий день священника нашли мертвым...

— Кто говорит о смерти?.. Не шутите с нею! У меня дядюшка...

— И конечно, вы примирились с неизбежностью его кончины

— Разумеется...

— Слушайте, господа!.. способ убить своего дядюшку. тсс! *(Слушайте, слушайте!)* Возьмите сначала дядюшку, толстого и жирного, по крайней мере семидесятилетнего,— это лучший сорт дядюшек. *(Всеобщее оживление.)* Накормите его под каким-нибудь предлогом паштетом из гусиной печенки...

— Ну, у меня дядя длинный, сухопарый, скупой и воздержный.

— О, такие дядюшки — чудовища, злоупотребляющие долголетием!

— И вот,— продолжал господин, выступивший с речью о дядюшке,— в то время как он будет предаваться пищеварению, объявите ему о несостоятельности его банкира.

— А если выдержит?

— Дайте ему хорошенькую девочку!

— А если он?..— сказал другой, делая отрицательный знак.

— Тогда это не дядюшка... Дядюшка — это по существу своему живчик.

— В голосе Малибран пропали две ноты.

— Нет!

— Да!

— Ага! Ага! Да и нет — не к этому ли сводятся все рассуждения на религиозные, политические и литературные темы? Человек — шут, танцующий над пропастью!

— Послушать вас, я — дурак?

— Напротив, это потому, что вы меня не слушаете.

— Образование — вздор! Господин Гейнфеттермах насчитывает свыше миллиарда отпечатанных томов, а за всю жизнь нельзя прочесть больше ста пятидесяти тысяч. Так вот, объясните мне, что значит слово «образование». Для одних образование состоит в том, чтобы знать, как звали лошадь Александра Македонского или что дога господина Дезаккор звали Беросилло, и не иметь понятия о тех, кто впервые придумал сплавлять

лес или же изобрел фарфор. Для других быть образованным — значит выкрасть завещание и прослыть честным, всеми любимым и уважаемым человеком, но отнюдь не в том, чтобы стянуть часы (да еще вторично и при пяти отягчающих вину обстоятельствах), а затем, возбуждая всеобщую ненависть и презрение, отправиться умирать на Гревскую площадь.

— Натан останется?

— Э, его сотрудники — народ неглупый!

— А Каналис?

— Это великий человек, не будем говорить о нем.

— Вы пьяны!

— Немедленное следствие конституции — опошление умов. Искусства, науки, памятники — все изъедено эгоизмом, этой современной проказой. Триста ваших буржуа, сидя на скамьях Палаты, будут думать только о посадке тополей. Деспотизм, действуя беззаконно, совершает великие деяния, но свобода, соблюдая законность, не дает себе труда совершить хотя бы самые малые деяния.

— Ваше взаимное обучение фабрикует двуногие монеты по сто су,— вмешался сторонник абсолютизма.— В народе, нивелированном образованием, личности исчезают.

— Однако не в том ли состоит цель общества, чтобы обеспечить благосостояние каждому? — спросил сен-симонист.

— Будь у вас пятьдесят тысяч ливров дохода, вы и думать не стали бы о народе. Вы охвачены благородным стремлением помочь человечеству? Отправляйтесь на Мадагаскар: там вы найдете маленький свеженький народец, сенсимонизируйте его, классифицируйте, посадите его в банку, а у нас всякий свободно входит в свою ячейку, как колышек в ямку. Швейцары здесь — швейцары, глупцы — глупцы, и для производства в это звание нет необходимости в коллегиях святых отцов.

— Вы карлист!

— А почему бы и нет? Я люблю деспотизм, он подразумевает известного рода презрение к людям. Я не питаю ненависти к королям. Они так забавны! Царствовать в Палате, в тридцати миллионах миль от солнца,— это что-нибудь да значит!

— Резюмируем в общих чертах ход цивилизации,— говорил ученый, пытаясь вразумить невнимательного скульптора, и пустился в рассуждения о первоначальном развитии человеческого общества и о первобытных народах: — При возникновении народностей господство было в известном смысле господством материальным, единым, грубым, впоследствии, с образованием крупных объединений, стали утверждаться правительства, прибегая к более или менее ловкому разложению первичной власти. Так, в глубокой древности сила была сосредоточена в руках теократии: жрец действовал и мечом и кадильницей. Потом стало два высших духовных лица: первосвященник и царь. В настоящее время наше общество, последнее слово цивилизации, распределило власть соответственно числу всех элементов, входящих в сочетание, и мы имеем дело с силами, именуемыми промышленностью, мыслью, деньгами, словесностью. И вот власть, лишившись единства, ведет к распаду общества, чему единственным препятствием служит выгода. Таким образом, мы опираемся не на религию, не на материальную силу, а на разум. Но равноценна ли книга мечу, а рассуждение — действию? Вот в чем вопрос.

— Разум все убил! — вскричал карлист.— Абсолютная свобода ведет нации к самоубийству; одержав победу, они начинают скучать, словно какой-нибудь англичанин-миллионер.

— Что вы нам скажете нового? Нынче вы высмеяли все виды власти, но это так же пошло, как отрицать бога! Вы больше ни во что не верите. Оттого-то наш век похож на старого султана, погубившего себя распутством! Ваш лорд Байрон, дойдя до последней степени поэтического отчаяния, в конце концов стал воспевать преступления.

— Знаете, что я вам скажу! — заговорил совершенно пьяный Бьяншон.— Бо́льшая или меньшая доза фосфора делает человека гением или же злодеем, умницей или же идиотом, добродетельным или же преступным.

— Можно ли так рассуждать о добродетели! — воскликнул де Кюрси.— О добродетели, теме всех театральных пьес, развязке всех драм, основе всех судебных учреждений!

— Молчи, нахал! Твоя добродетель — Ахиллес без пяты,— сказал Бисиу.

— Выпьем!

— Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом?

— Хорош дух! — вскрикнул Бисиу.

— Они перепились, как ломовые,— сказал молодой человек, с серьезным видом поивший свой жилет.

— Да, в наше время искусство правления заключается в том, чтобы предоставить власть общественному мнению.

— Общественному мнению? Да ведь это самая развратная из всех проституток! Послушать вас, господа моралисты и политики, вашим законам мы должны во всем отдавать предпочтение перед природой, а общественному мнению — перед совестью. Да бросьте вы! Все истинно — и все ложно! Если общество дало нам пух для подушек, то это благодеяние уравновешивается подагрой, точно так же как правосудие уравновешивается судебной процедурой, а кашемировые шали порождают насморк.

— Чудовище! — прерывая мизантропа, сказал Эмиль Блонде.— Как можешь ты порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхитительные вина и блюда, а ты сам того и гляди свалишься под стол? Запусти зубы в эту косулю с золочеными копытцами и рогами, но не кусай своей матери...

— Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов, если Республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если границы королевской власти находятся где-то между убийством Генриха Четвертого и казнью Людовика Шестнадцатого, если либерализм становится Лафайетом?

— А вы не обнимались с ним в июле?

— Нет.

— В таком случае молчите, скептик.

— Скептики — люди самые совестливые.

— У них нет совести.

— Что вы говорите! У них по меньшей мере две совести.

— Учесть векселя самого неба —вот идея поистине

коммерческая! Древние религии представляли собою не что иное, как удачное развитие наслаждения физического; мы, нынешние, мы развили душу и надежду — в том и прогресс.

— Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой? — сказал Натан.— Каков был конец «Истории короля богемского и семи его замков» — такой чудесной повести!

— Что? — через весь стол крикнул *знаток*.— Да ведь это набор фраз, высосанных из пальца, сочинение для сумасшедшего дома.

— Дурак!

— Болван!

— Ого!

— Ага!

— Они будут драться.

— Нет.

— До завтра, милостивый государь!

— Хоть сейчас,— сказал Натан.

— Ну, ну! Вы оба — храбрецы.

— Да вы-то не из храбрых! — сказал зачинщик.

— Вот только они на ногах не держатся.

— Ах, может быть, мне и на самом деле не устоять! — сказал воинственный Натан, поднимаясь нерешительно, как бумажный змей.

Он тупо поглядел на стол, а затем, точно обессиленный своей попыткой встать, рухнул на стул, опустил голову и умолк.

— Вот было бы весело драться из-за произведения, которое я никогда не читал и даже не видал! — обратился *знаток* к своему соседу.

— Эмиль, береги фрак, твой сосед побледнел,— сказал Бисиу.

— Кант? Еще один шар, надутый воздухом и пущенный на забаву глупцам! Материализм и спиритуализм — это две отличные ракетки, которыми шарлатаны в мантиях отбивают один и тот же волан. Бог ли во всем, по Спинозе, или же все исходит от бога, по святому Павлу... Дурачье! Отворить или же затворить дверь — разве это не одно и то же движение! Яйцо от курицы, или курица от яйца? (Передайте мне утку!) Вот и вся наука.

— Простофиля! — крикнул ему ученый.— Твой вопрос разрешен фактом.

— Каким?

— Разве профессорские кафедры были придуманы для философии, а не философия для кафедр? Надень очки и ознакомься с бюджетом.

— Воры!

— Дураки!

— Плуты!

— Тупицы!

— Где, кроме Парижа, найдете вы столь живой, столь быстрый обмен мнениями? — воскликнул Бисиу, вдруг перейдя на баритон.

— А ну-ка, Бисиу, изобрази нам какой-нибудь классический фарс! Какой-нибудь шарж, просим!

— Изобразить вам девятнадцатый век?

— Слушайте!

— Тише!

— Заткните глотки!

— Ты замолчишь, чучело?

— Дайте ему вина, и пусть молчит, мальчишка!

— Ну, Бисиу, начинай!

Художник застегнул свой черный фрак, надел желтые перчатки и, прищурив один глаз, состроил гримасу, изображая Ревю де Де Монд, но шум покрывал его голос, так что из его шутовской речи нельзя было уловить ни слова. Если не девятнадцатый век, так по крайней мере журнал ему удалось изобразить: и тот и другой не слышали собственных слов.

Десерт был сервирован точно по волшебству. Весь стол занял большой прибор золоченой бронзы, вышедший из мастерской Томира. Высокие фигуры, которым знаменитый художник придал формы, почитаемые в Европе идеально красивыми, держали и несли на плечах целые горы клубники, ананасов, свежих фиников, янтарного винограда, золотистых персиков, апельсинов, прибывших на пароходе из Сетубаля, гранатов, плодов из Китая — словом, всяческие сюрпризы роскоши, чудеса кондитерского искусства, деликатесы самые лакомые, лакомства самые соблазнительные. Колорит гастрономических этих картин стал ярче от блеска фарфора, от искрящихся золотом каемок, от изгибов ваз.

Мох, нежный, как пенная бахрома океанской волны, зеленый и легкий, увенчивал фарфоровые копии пейзажей Пуссена. Целого немецкого княжества не хватило бы, чтобы оплатить эту наглую роскошь. Серебро, перламутр, золото, хрусталь в разных видах появлялись еще и еще, но затуманенные взоры гостей, на которых напала пьяная лихорадочная болтливость, почти не замечали этого волшебства, достойного восточной сказки. Десертные вина внесли сюда свои благоухания и огоньки, свой остро волнующий сок и колдовские пары, порождая нечто вроде умственного миража, могучими путами сковывая ноги, отяжеляя руки. Пирамиды плодов были расхищены, голоса грубели, шум возрастал. Слова звучали невнятно, бокалы разбивались вдребезги, дикий хохот взлетал как ракета. Кюрси схватил рог и протрубил сбор. То был как бы сигнал, поданный самим дьяволом. Обезумевшее сборище завыло, засвистало, запело, закричало, заревело, зарычало. Нельзя было не улыбнуться при виде веселых от природы людей, которые вдруг становились мрачны, как развязки в пьесах Кребильона, или же задумчивы, как моряки, путешествующие в карете. Хитрецы выбалтывали свои тайны любопытным, но даже те их не слушали. Меланхолики улыбались, как танцовщицы после пируэта. Клод Виньон стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, точно медведь в клетке. Близкие друзья готовы были драться. Сходство со зверями, физиологами начертанное на человеческих лицах и столь любопытно объясняемое, начинало проглядывать и в движениях и в позах. Какой-нибудь Биша, очутись он здесь, спокойный и трезвый, нашел бы для себя готовую книгу. Хозяин дома, чувствуя, что он опьянел, не решался встать, стараясь сохранить вид приличный и радушный, он только одобрял выходки гостей застывшей на лице гримасой. Его широкое лицо побагровело, стало почти лиловым и страшным, голова принимала участие в общем движении, клонясь, как бриг при боковой качке.

— Вы их убили? — спросил его Эмиль.

— Говорят, смертная казнь будет отменена в честь Июльской революции,— отвечал Тайфер, подняв брови с видом одновременно хитрым и глупым.

— А не снится ли он вам? — допытывался Рафаэль.

— Срок давности уже истек! — сказал утопающий в золоте убийца.

— И на его гробнице,— язвительно вскричал Эмиль,— мраморщик вырежет: «Прохожий, в память о нем пролей слезу». О! — продолжал он.— Сто су заплатил бы я математику, который при помощи алгебраического уравнения доказал бы мне существование ада.

Подбросив монету, он крикнул:

— Орел — за бога!

— Не глядите! — сказал Рафаэль, подхватывая монету.— Как знать! Случай — такой забавник!

— Увы! — продолжал Эмиль шутовским печальным тоном.— Куда ни ступишь, всюду геометрия безбожника или «Отче наш» его святейшества папы. Впрочем, выпьем! Чокайся! — таков, думается мне, смысл прорицания божественной бутылки в конце «Пантагрюэля».

— Чему же, как не «Отче наш»,— возразил Рафаэль,— обязаны мы нашими искусствами, памятниками, может быть, науками, и — еще большее благодеяние! — нашими современными правительствами, где пятьсот умов чудесным образом представляют обширное и плодоносное общество, причем противоположные силы одна другую нейтрализуют, а вся власть предоставлена цивилизации, гигантской королеве, заменившей короля, эту древнюю и ужасную фигуру, своего рода лжесудьбу, которую человек сделал посредником между небом и самим собою? Перед лицом стольких достижений атеизм кажется скелетом, который ничего решительно не порождает. Что ты на это скажешь?

— Я думаю о потоках крови, пролитых католицизмом,— холодно ответил Эмиль.— Он проник в наши жилы, в наши сердца,— прямо всемирный потоп. Но что делать! Всякий мыслящий человек должен идти под стягом Христа. Только Христос освятил торжество духа над материей, он один открыл нам поэзию мира, служащего посредником между нами и богом.

— Ты думаешь? — спросил Рафаэль, улыбаясь пьяной и какой-то неопределенной улыбкой.— Ладно, чтобы нам себя не компрометировать, провозгласим знаменитый тост: Diis ignotis [1].

---

[1] Неведомым богам *(лат.)*.

И они осушили чаши — чаши науки, углекислого газа, благовоний, поэзии и неверия.

— Пожалуйте в гостиную, кофе подан,— объявил дворецкий.

В этот момент почти все гости блуждали в том сладостном преддверии рая, где свет разума гаснет, где тело, освободившись от своего тирана, предается на свободе бешеным радостям. Одни, достигнув апогея опьянения, хмурились, усиленно пытаясь ухватиться за мысль, которая удостоверила бы им собственное их существование; другие, осовевшие оттого, что пища у них переваривалась с трудом, отвергали всякое движение. Отважные ораторы еще произносили неясные слова, смысл которых ускользал от них самих. Кое-какие припевы еще звучали, точно постукивала машина, по необходимости завершающая свое движение — это бездушное подобие жизни. Суматоха причудливо сочеталась с молчанием. Тем не менее, услыхав голос слуги, который вместо хозяина возвещал новые радости, гости направились в залу, увлекая и поддерживая друг друга, а кое-кого даже неся на руках. На мгновение толпа остановилась в дверях, неподвижная и очарованная. Все наслаждения пира побледнели перед тем возбуждающим зрелищем, которое предлагал амфитрион в утеху самых сладострастных из человеческих чувств. При свете горящих в золотой люстре свечей, вокруг стола, уставленного золоченым серебром, группа женщин внезапно предстала перед остолбеневшими гостями, у которых глаза заискрились, как бриллианты. Богаты были уборы, но еще богаче — ослепительная женская красота, перед которой меркли все чудеса этого дворца. Страстные взоры дев, пленительных, как феи, сверкали ярче потоков света, зажигавшего отблески на штофных обоях, на белизне мрамора и красивых выпуклостях бронзы. Сердца пламенели при виде развевающихся локонов и по-разному привлекательных, поразному характерных поз. Глаза окидывали изумленным взглядом пеструю гирлянду цветов, вперемежку с сапфирами, рубинами и кораллами, цепь черных ожерелий на белоснежных шеях, легкие шарфы, колыхающиеся, как пламя маяка, горделивые тюрбаны, соблазнительно скромные туники... Этот сераль обольщал

любые взоры, услаждал любые прихоти. Танцовщица, застывшая в очаровательной позе под волнистыми складками кашемира, казалась обнаженной. Там — прозрачный газ, здесь — переливающийся шелк скрывал или обнаруживал таинственные совершенства. Узенькие ножки говорили о любви, уста безмолвствовали, свежие и алые. Юные девицы были такой тонкой подделкой под невинных, робких дев, что, казалось, даже прелестные их волосы дышат богомольной чистотою, а сами они — светлые видения, которые вот-вот развеются от одного дуновения. А там красавицы аристократки с надменным выражением лица, но в сущности вялые, в сущности хилые, тонкие, изящные, склоняли головы с таким видом, как будто еще не все королевские милости были ими распроданы. Англичанка — белый и целомудренный воздушный образ, сошедший с облаков Оссиана, походила на ангела печали, на голос совести, бегущей от преступления. Парижанка, вся красота которой в ее неописуемой грации, гордая своим туалетом и умом, во всеоружии всемогущей своей слабости, гибкая и сильная, сирена бессердечная и бесстрастная, но умеющая искусственно создавать все богатство страсти и подделывать все оттенки нежности,— и она была на этом опасном собрании, где блистали также итальянки, с виду беспечные, дышащие счастьем, но никогда не теряющие рассудка, и пышные нормандки с великолепными формами, и черноволосые южанки с прекрасным разрезом глаз. Можно было подумать, что созванные Лебелем версальские красавицы, уже с утра приведя в готовность все свои приманки, явились сюда, словно толпа восточных рабынь, пробужденных голосом купца и готовых на заре исчезнуть. Застыдившись, они смущенно теснились вокруг стола, как пчелы, гудящие в улье. Боязливое их смятение, в котором был и укор и кокетство,— все вместе представляло собой не то расчетливый соблазн, не то невольное проявление стыдливости. Быть может, чувство, никогда целиком не обнаруживаемое женщиной, повелевало им кутаться в плащ добродетели, чтобы придать больше очарования и остроты разгулу порока. И вот заговор Тайфера, казалось, был осужден на неудачу. Необузданные мужчины вначале сразу покорились царственно-

му могуществу, которым облечена женщина. Шепот восхищения пронесся, как нежнейшая музыка. В эту ночь любовь еще не сопутствовала их опьянению; вместо того чтобы предаться урагану страстей, гости, захваченные врасплох в минуту слабости, отдались утехам сладостного экстаза. Художники, послушные голосу поэзии, господствующей над ними всегда, принялись с наслаждением изучать изысканную красоту этих женщин во всех ее тончайших оттенках. Философ, пробужденный мыслью, которую, вероятно, породила выделяемая шампанским углекислота, вздрогнул, подумав о несчастьях, которые привели сюда этих женщин, некогда достойных, быть может, самого чистого поклонения. Каждая из них, вероятно, могла бы поведать кровавую драму. Почти все они носили в себе адские муки, влачили за собой воспоминание о мужской неверности, о нарушенных обетах, о радостях, отнятых нуждой. Гости учтиво приблизились к ним, завязались разговоры, столь же разнообразные, как и характеры собеседников. Образовались группы. Можно было подумать, что это гостиная в порядочном доме, где молодые девушки и дамы обычно предлагают гостям после обеда кофе, сахар и ликеры, облегчающие чревоугодникам тяжкий труд переваривания пищи. Но вот кое-где послышался смех, гул разговоров усиливался, голоса стали громче. Оргия, недавно было укрощенная, грозила вновь пробудиться. Смены тишины и шума чем-то напоминали симфонию Бетховена.

Как только два друга сели на мягкий диван, к ним тотчас подошла высокая девушка, хорошо сложенная, с горделивой осанкой, с чертами лица довольно неправильными, но волнующими, полными страсти, действующими на воображение резкими своими контрастами. Черные пышные волосы, казалось, уже побывавшие в любовных боях, рассыпались легкими сладострастными кольцами по округлым плечам, невольно привлекавшим взгляд. Длинные темные локоны наполовину закрывали величественную шею, по которой временами скользил свет, обрисовывая тонкие, изумительно красивые контуры. Матовую белизну лица оттеняли яркие, живые тона румянца. Глаза с длинными ресницами метали смелое пламя, искры любви. Алый рот, влажный

и полуоткрытый, призывал к поцелую. Стан у этой девушки был полный, но гибкий, как бы созданный для любви, грудь и плечи пышно развитые, как у красавиц Карраччи, тем не менее она производила впечатление проворной и легкой, ее сильное тело заставляло предполагать в ней подвижность пантеры, мужественное изящество форм сулило жгучие радости сладострастия. Хотя эта девушка умела, вероятно, смеяться и дурачиться, ее глаза и улыбка пугали воображение. Она напоминала пророчицу, одержимую демоном, она скорее изумляла, нежели нравилась. То одно, то другое выражение на секунду молнией озаряло подвижное ее лицо. Пресыщенных людей она, быть может, обворожила бы, но юноша устрашился бы ее. То была колоссальная статуя, упавшая с фронтона греческого храма, великолепная издали, но грубоватая при ближайшем рассмотрении. Тем не менее разительной своею красотой она, должно быть, возбуждала бессильных, голосом своим чаровала глухих, своим взглядом оживляла старые кости; вот почему Эмиль находил в ней какое-то сходство то ли с трагедией Шекспира, чудным арабеском, где радость поднимает вой, где в любви есть что-то дикое, где очарование изящества и пламя счастья сменяют кровавое бесчинство гнева; то ли с чудовищем, умеющим и кусать и ласкать, хохотать, как демон, плакать, как ангел, в едином объятии внезапно слить все женские соблазны, за исключением вздохов меланхолии и чарующей девичьей скромности, потом спустя мгновение взреветь, истерзать себя, сломить свою страсть, своего любовника, наконец, погубить самое себя, подобно возмущенному народу. Одетая в платье из красного бархата, она небрежно ступала по цветам, уже оброненным с головы ее подругами, и надменным движением протягивала двум друзьям серебряный поднос. Гордая своей красотой, гордая, быть может, своими пороками, она выставляла напоказ белую руку, ярко обрисовавшуюся на алом бархате. Она была как бы королевой наслаждений, как бы воплощением человеческой радости, той радости, что расточает сокровища, собранные тремя поколениями, смеется над трупами, издевается над предками, растворяет жемчуг и расплавляет троны, превращает юношей в старцев, а не-

редко и старцев в юношей,— той радости, которая дозволена только гигантам, уставшим от власти, утомленным мыслью или привыкшим смотреть на войну, как на забаву.

— Как тебя зовут? — спросил Рафаэль.

— Акилина.

— А! Ты из «Спасенной Венеции»! — воскликнул Эмиль.

— Да,— отвечала она.— Как папа римский, возвысившись над всеми мужчинами, берет себе новое имя, так и я, превзойдя всех женщин, взяла себе новое имя.

— И как ту женщину, чье имя ты носишь, тебя любит благородный и грозный заговорщик, готовый умереть за тебя? — с живостью спросил Эмиль, возбужденный этой видимостью поэзии.

— Меня любил такой человек,— отвечала она.— Но гильотина стала моей соперницей. Поэтому я всегда отделываю свой наряд чем-нибудь красным, чтобы не слишком предаваться радости.

— О, только разрешите ей рассказать историю четырех ларошельских смельчаков — и она никогда не кончит! Молчи, Акилина. У каждой женщины найдется любовник, о котором можно поплакать, только не все имели счастье, как ты, потерять его на эшафоте. Ах, гораздо лучше знать, что мой любовник лежит в могиле на Кламарском кладбище, чем в постели соперницы.

Слова эти произнесла нежным и мелодичным голосом другая женщина, самое очаровательное, прелестное создание, которое когда-либо палочка феи могла извлечь из волшебного яйца. Она подошла неслышными шагами, и друзья увидели изящное личико, тонкую талию, голубые глаза, смотревшие пленительно-скромным взглядом, свежий и чистый лоб. Стыдливая наяда, вышедшая из ручья, не так робка, бела и наивна, как эта молоденькая, на вид шестнадцатилетняя, девушка, которой, казалось, неведома любовь, неведомо зло, которая еще не познала жизненных бурь, которая только что пришла из церкви, где она, вероятно, молила ангелов ходатайствовать перед творцом, чтобы он до срока призвал ее на небеса. Только в Париже встречаются эти создания с невинным взором, но скрывающие глу-

бочайшую развращенность, утонченную порочность под чистым и нежным, как цветок маргаритки, челом. Обманутые вначале обещаниями небесной отрады, таящимися в тихой прелести этой молодой девушки, Эмиль и Рафаэль принялись ее расспрашивать, взяв кофе, налитый ею в чашки, которые принесла Акилина. Кончилось тем, что в глазах обоих поэтов она стала мрачной аллегорией, отразившей еще один лик человеческой жизни,— она противопоставила суровой и страстной выразительности облика горделивой своей подруги образ холодного, сладострастно жестокого порока, который достаточно легкомыслен, чтобы совершить преступление, и достаточно силен, чтобы посмеяться над ним,— своего рода бессердечного демона, который мстит богатым и нежным душам за то, что они испытывают чувства, недоступные для него, и который всегда готов продать свои любовные ужимки, пролить слезы на похоронах своей жертвы и порадоваться, читая вечерком ее завещание. Поэт мог бы залюбоваться прекрасной Акилиной, решительно все должны были бы бежать от трогательной Евфрасии: одна была душою порока, другая — пороком без души.

— Желал бы я знать, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем? — сказал Эмиль прелестному этому созданию.

— О будущем? — повторила она, смеясь.— Что вы называете будущим? К чему мне думать о том, что еще не существует? Я не заглядываю ни вперед, ни назад. Не достаточно ли большой труд — думать о нынешнем дне? А впрочем, мы наше будущее знаем: больница.

— Как можешь ты предвидеть больницу и не стараться ее избежать? — воскликнул Рафаэль.

— А что же такого страшного в больнице? — спросила грозная Акилина.— Ведь мы не матери, не жены; старость подарит нам черные чулки на ноги и морщины на лоб; все, что есть в нас женского, увянет, радость во взоре наших друзей угаснет,— что же нам тогда будет нужно? От всех наших прелестей останется только застарелая грязь, и будет она ходить на двух лапах. холодная, сухая, гниющая, и шелестеть, как опавшие листья. Самые красивые наши тряпки станут отрепьем; от амбры, благоухавшей в нашем будуаре, повеет

смертью, трупным духом; к тому же, если в этой грязи окажется сердце, то вы все над ним надругаетесь,— ведь вы не позволяете нам даже хранить воспоминания. Таким, какими мы станем в ту пору, не все ли равно возиться со своими собачонками в богатом доме или разбирать тряпье в больнице? Будем ли мы прятать свои седые волосы под платком в красную и синюю клетку или под кружевами, подметать улицы березовым веником или тюильрийские ступеньки своим атласным шлейфом, будем ли сидеть у золоченого камина или греться у глиняного горшка с горячей золой, смотреть спектакль на Гревской площади или слушать в театре оперу,— велика, подумаешь, разница!

— Aquilina mia [1], более чем когда-либо разделяю я твой мрачный взгляд на вещи,— подхватила Евфрасия.— Да, кашемир и веленевая бумага, духи, золото, шелк, роскошь — все, что блестит, все, что нравится, пристало только молодости. Одно лишь время справится с нашими безумствами, но счастье послужит нам оправданием. Вы смеетесь надо мною,— воскликнула она, ядовито улыбаясь обоим друзьям, — а разве я не права? Лучше умереть от наслаждения, чем от болезни. Я не испытываю ни жажды вечности, ни особого уважения к человеческому роду,— стоит только посмотреть, что из него сделал бог! Дайте мне миллионы, я их растранжирю, ни сантима не отложу на будущий год. Жить, чтобы нравиться и царить,— вот решение, подсказываемое мне каждым биением моего сердца. Общество меня одобряет,— разве оно не поставляет все в угоду моему мотовству? Зачем господь бог каждое утро дает мне доход с того, что я расходую вечером? Зачем вы строите для нас больницы? Не для того ведь бог поставил нас между добром и злом, чтобы выбирать то, что причиняет нам боль или наводит тоску,— значит, глупо было бы с моей стороны не позабавиться.

— А другие? — спросил Эмиль.

— Другие? Ну, это их дело! По-моему, лучше смеяться над их горестями, чем плакать над своими собственными. Пусть попробует мужчина причинить мне малейшую муку!

---

[1] Моя Акилина *(итал.)*.

— Верно, ты много выстрадала, если у тебя такие мысли! — воскликнул Рафаэль.

— Меня покинули из-за наследства, вот что! — сказала Евфрасия, приняв позу, подчеркивающую всю соблазнительность ее тела.— А между тем я день и ночь работала, чтобы прокормить моего любовника! Не обманут меня больше ни улыбкой, ни обещаниями, я хочу, чтоб жизнь моя была сплошным праздником.

— Но разве счастье не в нас самих? — вскричал Рафаэль.

— А что же, по-вашему,— подхватила Акилина,— видеть, как тобой восхищаются, как тебе льстят, торжествовать над всеми женщинами, даже самыми добродетельными, затмевая их своей красотою, богатством,— это все пустяки? К тому же за один день мы переживаем больше, нежели честная мещанка за десять лет. В этом все дело.

— Разве не отвратительна женщина, лишенная добродетели? — обратился Эмиль к Рафаэлю.

Евфрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемой иронией:

— Добродетель! Предоставим ее уродам и горбуньям. Что им, бедняжкам, без нее делать?

— Замолчи! — вскричал Эмиль.— Не говори о том, чего ты не знаешь!

— Что? Это я-то не знаю? — возразила Евфрасия.— Отдаваться всю жизнь ненавистному существу, воспитывать детей, которые вас бросят, говорить им «спасибо», когда они ранят вас в сердце,— вот добродетели, которые вы предписываете женщине; и вдобавок, чтобы вознаградить ее за самоотречение, вы налагаете на нее бремя страданий, стараясь ее обольстить; если она устоит, вы ее скомпрометируете. Веселая жизнь! Лучше уж не терять своей свободы, любить тех, кто нравится, и умереть молодой.

— А ты не боишься когда-нибудь за все это поплатиться?

— Что ж,— отвечала она,— вместо того чтобы мешать наслаждения с печалями, я поделю мою жизнь на две части: первая — молодость, несомненно веселая, и вторая— старость, думаю, что печальная,— тогда настрадаюсь вволю...

— Она не любила,— грудным своим голосом сказала Акилина.— Ей не случалось пройти сто миль только для того, чтобы вне себя от восторга получить в награду единый взор, а затем отказ; никогда жизнь ее не висела на волоске, никогда не была она готова заколоть несколько человек, чтобы спасти своего повелителя, своего господина, своего бога... Любовь для нее — красавец полковник.

— А, опять Ларошель! — возразила Евфрасия.— Любовь — как ветер: мы не знаем, откуда он дует. Да, наконец, если тебя любил скот, ты станешь опасаться и умных людей.

— Уголовный кодекс запрещает нам любить скотов,— насмешливо проговорила величественная Акилина.

— Я думала, ты снисходительнее к военным! — со смехом воскликнула Евфрасия.

— Ужели вы счастливы тем, что можете отречься от разума! — вскричал Рафаэль.

— Счастливы? — переспросила Акилина, улыбаясь беспомощной, растерянной улыбкой и устремляя на обоих друзей отчаянный взгляд.— Ах, вы не знаете, что значит заставлять себя наслаждаться со смертью в душе...

Взглянуть в этот миг на гостиную — значило заранее увидеть нечто подобное Пандемониуму Мильтона. Голубоватое пламя пунша окрасило лица тех, кто еще мог пить, в адские тона. Бешеные танцы, в которых находила себе выход первобытная сила, вызывали хохот и крики, раздававшиеся, как треск ракет. Будуар и малая гостиная походили на поле битвы, усеянное мертвыми и умирающими. Атмосфера была накалена вином, наслаждениями и речами. Опьянение, любовь, бред, самозабвение были в сердцах и на лицах, были начертаны на коврах, чувствовались в воцарившемся беспорядке, и на все взоры набросили они легкую пелену, сквозь которую воздух казался насыщенным опьяняющими парами. Вокруг, как блестящая пыль, трепещущая в солнечном луче, дрожала светлая мгла, и в ней шла игра самых затейливых форм, происходили самые причудливые столкновения. Там и сям группы сплетенных в объятии тел сливались с белыми мраморными статуями, с благородными шедеврами скульптуры, украшавшими комнаты. Оба друга еще сохраняли в мыслях своих и чувствах некую обман-

чивую ясность, последний трепет, несовершенное подобие жизни, но уже не могли различить, было ли что-нибудь реальное в тех странных фантазиях, что-нибудь правдоподобное в тех сверхъестественных картинах, которые беспрерывно проходили перед утомленными их глазами. Душное небо наших мечтаний, жгучая нежность, облекающая дымкой образы наших сновидений и чем-то скованная подвижность — словом, самые необычайные явления сна с такою живостью охватили их, что забавы кутежа они приняли за причуды кошмара, где движения бесшумны, а крики не доходят до слуха. В это время лакею, пользовавшемуся особым доверием Тайфера, удалось, не без труда, вызвать его в прихожую, а там он сказал хозяину на ухо:

— Сударь, все соседи смотрят в окна и жалуются на шум.

— Если они боятся шума, пусть положат соломы перед дверями! — воскликнул Тайфер.

Рафаэль между тем так неожиданно и неуместно расхохотался, что друг спросил его о причине этого дикого восторга.

— Тебе трудно будет понять меня,— отвечал тот.— Прежде всего следовало бы признаться, что вы остановили меня на набережной Вольтера в тот момент, когда я собирался броситься в Сену,— и ты, конечно, захочешь узнать, что именно толкало меня на самоубийство. Но много ли ты поймешь, если я добавлю, что незадолго до того почти сказочной игрою случая самые поэтические руины материального мира сосредоточились перед моим взором в символических картинах человеческой мудрости, меж тем как сейчас остатки всех духовных ценностей, разграбленных нами за столом, сводятся к этим двум женщинам, живым и оригинальным образам безумия, а наша полная беспечность относительно людей и вещей послужила переходом к чрезвычайно ярким аллегориям двух систем бытия, диаметрально противоположных? Если бы ты не был пьян, может быть, ты признал бы, что это целый философский трактат.

— Если б ты не положил обе ноги на обворожительную Акилину, храп которой имеет что-то общее с раскатами надвигающегося грома, ты покраснел бы и за свой хмель и за свою болтовню,— заметил Эмиль, ко-

торый забавлялся тем, что завивал и развивал волосы Евфрасии, отдавая себе не слишком ясный отчет в этом невинном занятии.— Твои две системы могут уместиться в одной фразе и сводятся к одной мысли. Жизнь простая и механическая, притупляя наш разум трудом, приводит к некоей бездумной мудрости, тогда как жизнь, проходящая в пустоте абстракций или же в безднах мира нравственного, доводит до мудрости безумной. Словом, убить в себе чувства и дожить до старости или же умереть юным, приняв муку страстей,— вот наша участь. Должен, однако, заметить, что этот приговор вступает в борьбу с темпераментами, коими наделил нас жестокий шутник, заготовивший модели всех созданий.

— Глупец! — прервал его Рафаэль.— Попробуй и дальше так себя сокращать — и ты создашь целые тома! Если бы я намеревался точно формулировать эти две идеи, я сказал бы, что человек развращается, упражняя свой разум, и очищается невежеством. Это значит бросить обвинение обществу! Но живи мы с мудрецами, погибай мы с безумцами,— не один ли, рано или поздно, будет результат? Потому-то великий извлекатель квинтэссенции и выразил некогда эти две системы в двух словах — «Каримари, Каримара!»

— Ты заставляешь меня усомниться во всемогуществе бога, ибо твоя глупость превышает его могущество,— возразил Эмиль.— Наш дорогой Рабле выразил эту философию изречением, более кратким, чем «Каримари, Каримара»,— словами: «Быть может», откуда Монтэнь взял свое «Почем я знаю?» Эти последние слова науки нравственной не сводятся ли к восклицанию Пиррона, который остановился между добром и злом, как Буриданов осел между двумя мерами овса? Оставим этот вечный спор, который и теперь кончается словами: «И да и нет». Что за опыт хотел ты проделать, намереваясь броситься в Сену? Уж не позавидовал ли ты гидравлической машине у моста Нотр-Дам?

— Ах, если бы ты знал мою жизнь!

— Ах! — воскликнул Эмиль.— Я не думал, что ты так вульгарен. Ведь это избитая фраза. Разве ты не знаешь, что каждый притязает на то, что он страдал больше других?

— Ах! — вздохнул Рафаэль.

— Твое «ах» просто шутовство! Ну, скажи мне: душевная или телесная болезнь принуждает тебя каждое утро напрягать свои мускулы и, как некогда Дамьен, сдерживать коней, которые вечером раздерут тебя на четыре части? Или ты у себя в мансарде ел, да еще без соли, сырое собачье мясо? Или дети твои кричали: «Есть хотим»? Может быть, ты продал волосы своей любовницы и побежал в игорный дом? Или ты ходил по ложному адресу уплатить по фальшивому векселю, трассированному мнимым дядюшкой, и притом боялся опоздать?.. Ну, говори же! Если ты хотел броситься в воду из-за женщины, из-за опротестованного векселя или от скуки, я отрекаюсь от тебя. Говори начистоту, не лги; исторических мемуаров я от тебя не требую. Главное, будь краток, насколько позволит тебе хмель; я требователен, как читатель, и меня одолевает сон, как женщину вечером за молитвенником

—Дурачок! — сказал Рафаэль.— С каких это пор страдания не порождаются самой нашей чувствительностью? Когда мы достигнем такой ступени научного знания, что сможем написать естественную историю сердец, установить их номенклатуру, классифицировать их по родам, видам и семействам, разделить их на ракообразных, ископаемых, ящеричных, простейших... еще там каких-нибудь,— тогда, милый друг, будет доказано, что существуют сердца нежные, хрупкие, как цветы, и что они ломаются от легкого прикосновения, которого даже не почувствуют иные сердца-минералы...

— О, ради бога, избавь меня от предисловий! — взяв Рафаэля за руку, шутливым и вместе жалобным тоном сказал Эмиль.

II. ЖЕНЩИНА БЕЗ СЕРДЦА

Рафаэль немного помолчал, затем, беззаботно махнув рукою, начал:

— Не знаю, право, приписать ли парàм вина и пунша то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь, словно единую картину с верно переданными фигурами, красками, тенями, светом и полутенью. Эта поэтическая игра моего воображения не удивляла бы меня, если бы она не сопровождалась своего рода презре-

нием к моим былым страданиям и радостям. Я как будто гляжу на свою жизнь издали, и, под действием какого-то духовного феномена, она предстает передо мною в сокращенном виде. Та долгая и медленная мука, что длилась десять лет, теперь может быть передана несколькими фразами, в которых сама скорбь станет только мыслью, а наслаждение — философской рефлексией. Я высказываю суждения, вместо того чтобы чувствовать...

— Ты говоришь так скучно, точно предлагаешь пространную поправку к закону! — воскликнул Эмиль.

— Возможно,— безропотно согласился Рафаэль.— Потому-то, чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых семнадцати годах моей жизни. До тех пор я жил — как и ты и как тысячи других — школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. Право, по тем овощам, которые нам тогда подавали каждую пятницу, мы, пресыщенные гастрономы, тоскуем так, словно с тех пор и не пробовали никаких овощей. Прекрасная жизнь,— на ее трудности мы смотрим теперь свысока, а между тем они-то и приучили нас к труду...

— Идиллия!.. Переходи к драме,— комически-жалобным тоном сказал Эмиль.

— Когда я окончил коллеж,— продолжал Рафаэль, жестом требуя не прерывать его,— мой отец подчинил меня суровой дисциплине. Он поместил меня в комнате рядом со своим кабинетом; по его требованию я ложился в девять вечера, вставал в пять утра; он хотел, чтобы я добросовестно занимался правом; я ходил на лекции и к адвокату; однако законы времени и пространства столь сурово регулировали мои прогулки и занятия, а мой отец за обедом требовал от меня отчета столь строго, что...

— Какое мне до этого дело? — прервал его Эмиль.

— А, черт тебя возьми! — воскликнул Рафаэль.— Разве ты поймешь мои чувства, если я не расскажу тебе о тех будничных явлениях, которые повлияли на мою душу, сделали меня робким, так что я долго потом не мог отрешиться от юношеской наивности? Итак, до двадцати одного года я жил под гнетом деспотизма столь же холодного, как монастырский устав. Чтобы тебе стало яс-

но, до чего невесела была моя жизнь, достаточно будет, пожалуй, описать моего отца. Высокий, худой, иссохший, бледный, с лицом узким, как лезвие ножа, он говорил отрывисто, был сварлив, как старая дева, придирчив, как столоначальник. Над моими шаловливыми и веселыми мыслями всегда тяготела отцовская воля, покрывала их как бы свинцовым куполом; если я хотел выказать ему мягкое и нежное чувство, он обращался со мной, как с ребенком, который сейчас скажет глупость; я боялся его гораздо больше, чем, бывало, боялись мы наших учителей; я чувствовал себя в его присутствии восьмилетним мальчиком. Как сейчас вижу его перед собой. В сюртуке каштанового цвета, прямой, как пасхальная свеча, он был похож на копченую селедку, которую завернули в красноватую обложку от какого-нибудь памфлета. И все-таки я любил отца; в сущности, он был справедлив. Строгость, когда она оправдана сильным характером воспитателя, его безупречным поведением и когда она искусно сочетается с добротой, вряд ли способна вызвать в нас злобу. Отец никогда не выпускал меня из виду, до двадцатилетнего возраста он не предоставил в мое распоряжение и десяти франков, десяти канальских, бесценного сокровища, о котором я мечтал безнадежно, как об источнике несказанных утех,— и все же отец старался доставить мне кое-какие развлечения. Несколько месяцев подряд он кормил меня обещаниями, а затем водил в Итальянский театр, в концерт, на бал, где я надеялся встретить возлюбленную. Возлюбленная! Это было для меня то же, что самостоятельность. Но, застенчивый и робкий, не зная салонного языка, не имея знакомств, я всякий раз возвращался домой с сердцем, все еще не тронутым и все так же обуреваемым желаниями. А на следующий день, взнузданный отцом, как кавалерийский конь, я возвращался к своему адвокату, к изучению права, в суд. Пожелать сойти с однообразной дороги, предначертанной отцом, значило навлечь на себя его гнев; он грозил при первом же проступке отправить меня юнгой на Антильские острова. И как же я трепетал, иной раз осмеливаясь отлучиться на часок-другой ради какого-нибудь увеселения! Представь себе воображение самое причудливое, сердце влюбчивое, душу нежнейшую и ум самый

поэтический беспрерывно под надзором человека, твердокаменного, самого желчного и холодного человека в мире,— словом, молодую девушку обвенчай со скелетом— и ты постигнешь эту жизнь, любопытные моменты которой я могу только перечислить; планы бегства, исчезавшие при виде отца, отчаяние, успокаиваемое сном, подавленные желания, мрачная меланхолия, рассеиваемая музыкой. Я изливал свое горе в мелодиях. Моими верными наперсниками часто бывали Бетховен и Моцарт. Теперь я улыбаюсь, вспоминая о предрассудках, которые смущали мою совесть в ту невинную и добродетельную пору. Переступи я порог ресторана, я почел бы себя расточителем; мое воображение превращало для меня кофейни в притон развратников, в вертеп, где люди губят свою честь и закладывают все свое состояние; а что касается азартной игры, то для этого нужны были деньги. О, быть может, я нагоню на тебя сон, но я должен рассказать тебе об одной из ужаснейших радостей моей жизни, о хищной радости, впивающейся в наше сердце, как раскаленное железо в плечо преступника! Я был на балу у герцога де Наваррена, родственника моего отца. Но чтобы ты мог ясно представить себе мое положение, я должен сказать, что на мне был потертый фрак, скверно сшитые туфли, кучерской галстук и поношенные перчатки. Я забился в угол, чтобы вволю полакомиться мороженым и насмотреться на хорошеньких женщин. Отец заметил меня. По причине, которой я так и не угадал — до того поразил меня этот акт доверия,— он отдал мне на хранение свой кошелек и ключи. В десяти шагах от меня шла игра в карты. Я слышал, как позвякивало золото. Мне было двадцать лет, мне хотелось хоть на один день предаться прегрешениям, свойственным моему возрасту. То было умственное распутство, подобия которому не найдешь ни в прихотях куртизанок, ни в сновидениях девушек. Уже около года я мечтал, что вот я, хорошо одетый, сижу в экипаже рядом с красивой женщиной, разыгрываю роль знатного господина, обедаю у Вэри, а вечером еду в театр и возвращаюсь домой только на следующий день, придумав для отца историю более запутанную, чем интрига «Женитьбы Фигаро»,— и он так ничего и не поймет в моих объяснениях. Все это счастье я оценивал в пятьдесят экю. Не находился ли я все

еще под наивным обаянием пропущенных уроков в школе? И вот я вошел в будуар, где никого не было, глаза у меня горели, дрожащими пальцами я украдкой пересчитал деньги моего отца: сто экю! Все преступные соблазны, воскрешенные этой суммой, заплясали предо мною, как макбетовские ведьмы вокруг котла, но только обольстительные, трепетные, чудные! Я решился на мошенничество. Не слушая, как зазвенело у меня в ушах, как бешено заколотилось сердце, я взял две двадцатифранковые монеты,— я вижу их как сейчас! На них кривилось изображение Бонапарта, а год уже стерся. Положив кошелек в карман, я подошел к игорному столу и, зажав в потной руке две золотые монеты, стал кружить около игроков, как ястреб над курятником. Чувствуя себя во власти невыразимой тоски, я окинул всех пронзительным и быстрым взглядом. Убедившись, что никто из знакомых меня не видит, я присоединил свои деньги к ставке низенького веселого толстяка и произнес над его головой столько молитв и обетов, что их хватило бы на три морских бури. Затем, движимый инстинктом преступности или же макиавеллизма, удивительным в мои годы, я стал у двери, устремив невидящий взгляд сквозь анфиладу зал. Моя душа и мой взор витали вокруг рокового зеленого сукна. В тот вечер я проделал первый опыт в области физиологических наблюдений, которым я обязан чем-то вроде ясновидения, позволившего мне постигнуть некоторые тайны двойственной нашей натуры. Я повернулся спиной к столу, где решалось мое будущее счастье — счастье тем более, может быть, полное, что оно было преступным; от двух понтирующих игроков меня отделяла людская стена— четыре или пять рядов зрителей; гул голосов мешал мне различить звон золота, сливавшийся со звуками музыки; но, несмотря на все эти препятствия, пользуясь той привилегией страстей, которая наделяет их способностью преодолевать пространство и время, я ясно слышал слова обоих игроков, знал, сколько у каждого очков, понимал расчет того игрока, который открыл короля, и как будто видел его карты; словом, в десяти шагах от карточного стола я бледнел от случайностей игры. Вдруг мимо меня прошел отец, и тут я понял слова писания: «Дух господень прошел пред лицом его». Я выиграл.

Сквозь толпу, наседавшую на игроков, я протиснулся к столу с ловкостью угря, выскальзывающего из сети через прорванную петлю. Мучительное чувство сменилось восторгом. Я был похож на осужденного, который, уже идя на казнь, получил помилование. Случилось, однако же, что какой-то господин с орденом потребовал недостающие сорок франков. Все взоры подозрительно уставились на меня,— я побледнел, капли пота выступили у меня на лбу. Мне казалось, я получил возмездие за кражу отцовских денег. Но тут добрый толстяк сказал голосом поистине ангельским: «Все поставили» — и заплатил сорок франков. Я поднял голову и бросил на игроков торжествующий взгляд. Положив в кошелек отца взятую оттуда сумму, я предоставил свой выигрыш этому порядочному и честному человеку, и тот продолжал выигрывать. Как только я стал обладателем ста шестидесяти франков, я завернул их в носовой платок, так, чтобы они не звякнули дорогой, и больше уже не играл.

— Что ты делал у игорного стола? — спросил отец, садясь в фиакр.

— Смотрел,— с дрожью отвечал я.

— А между тем,— продолжал отец,— не было бы ничего удивительного, если бы самолюбие толкнуло тебя сколько-нибудь поставить. В глазах людей светских ты в таком возрасте, что вправе уже делать глупости. Да, Рафаэль, я извинил бы тебя, если бы ты воспользовался моим кошельком...

Я промолчал. Дома я подал отцу ключи и деньги. Пройдя к себе, он высыпал содержимое кошелька на камин, пересчитал золото, обернулся ко мне с видом довольно благосклонным и заговорил, делая после каждой фразы более или менее долгую и многозначительную паузу:

— Сын мой, тебе скоро двадцать лет. Я тобой доволен. Тебе нужно назначить содержание, хотя бы для того, чтобы ты научился быть бережливым и разбираться в житейских делах. Я буду тебе выдавать сто франков в месяц. Располагай ими по своему усмотрению. Вот тебе за первые три месяца,— добавил он, поглаживая столбик золота, как бы для того, чтобы проверить сумму.

Признаюсь, я готов был броситься к его ногам, объявить ему, что я разбойник, негодяй и, еще того хуже,— лжец! Меня удержал стыд. Я хотел обнять отца, он мягко отстранил меня.

— Теперь ты мужчина, *дитя мое*,—сказал он.— Решение мое просто и справедливо, и тебе не за что благодарить меня. Если я имею право на твою признательность, Рафаэль,— продолжал он тоном мягким, но исполненным достоинства,— так это за то, что я уберег твою молодость от несчастий, которые губят молодых людей в Париже. Отныне мы будем друзьями. Через год ты станешь доктором прав. Ценою некоторых лишений, не без внутренней борьбы ты приобрел основательные познания и любовь к труду, столь необходимые людям, призванным вести дела. Постарайся, Рафаэль, понять меня. Я хочу сделать из тебя не адвоката, не нотариуса, но государственного мужа, который составил бы гордость бедного нашего рода... До завтра! — добавил он, отпуская меня движением, полным таинственности.

С этого дня отец стал откровенно делиться со мной своими планами. Я был его единственным сыном, мать моя умерла за десять лет до того. Не слишком дорожа своим правом — со шпагой на боку обрабатывать землю,— мой отец, глава исторического рода, почти уже забытого в Оверни, некогда прибыл в Париж попытать счастья. Одаренный тонким умом, благодаря которому уроженцы юга Франции становятся людьми выдающимися, если только ум соединяется у них с энергией, он, без особой поддержки, занял довольно важный пост. Революция вскоре расстроила его состояние, но он успел жениться на девушке с богатым приданым и во времена Империи достиг того, что род наш приобрел свой прежний блеск. Реставрация вернула моей матери значительную долю ее имущества, но разорила моего отца. Скупив в свое время земли, находившиеся за границей, которые император подарил своим генералам, он уже десять лет боролся с ликвидаторами и дипломатами, с судами прусскими и баварскими, добиваясь признания своих прав на эти злополучные владения. Отец бросил меня в безвыходный лабиринт этого затянувшегося процесса, от которого зависело наше будущее. Суд мог взыскать с нас сумму полученных нами доходов, мог при-

судить нас и к уплате за порубки, произведенные с 1814 по 1817 год,— в этом случае имений моей матери едва хватило бы на то, чтобы спасти честь нашего имени. Итак, в тот день, когда отец, казалось, даровал мне в некотором смысле свободу, я очутился под самым нестерпимым ярмом. Я должен был сражаться, как на поле битвы, работать день и ночь, посещать государственных деятелей, стараться усыпить их совесть, пытаться заинтересовать их материально в нашем деле, прельщать их самих, их жен, их слуг, их псов и, занимаясь этим отвратительным ремеслом, облекать все в изящную форму, сопровождать милыми шутками. Я постиг все горести, от которых поблекло лицо моего отца. Около года я вел по видимости светский образ жизни, но старания завязать связи с преуспевающими родственниками или с людьми, которые могли быть нам полезны, рассеянная жизнь — все это стоило мне нескончаемых хлопот. Мои развлечения в сущности были все теми же тяжбами, а беседы — докладными записками. До тех пор я был добродетелен в силу невозможности предаться страстям молодости, но с этого времени, боясь какою-нибудь оплошностью разорить отца или же самого себя, я стал собственным своим деспотом, я не позволял себе никаких удовольствий, никаких лишних расходов. Пока мы молоды, пока, соприкасаясь с нами, люди и обстоятельства еще не похитили у нас нежный цветок чувства, свежесть мысли, благородную чистоту совести, не позволяющую нам вступать в сделки со злом, мы отчетливо сознаем наш долг, честь говорит в нас громко и заставляет себя слушать, мы откровенны и не прибегаем к уловкам,— таким я и был тогда. Я решил оправдать доверие отца; когда-то я с восторгом похитил у него ничтожную сумму, но теперь, неся вместе с ним бремя его дел, его имени, его рода, я тайком отдал бы ему мое имущество, мои надежды, как жертвовал для него своими наслаждениями,— и был бы даже счастлив, принося эти жертвы! И вот, когда господин де Виллель, будто нарочно для нас, откопал императорский декрет о потере прав и разорил нас, я подписал акт о продаже моих земель, оставив себе только не имеющий ценности остров на Луаре, где находилась могила моей матери. Сейчас, быть может, у меня не оказалось бы недостатка в аргументах и уловках,

в рассуждениях философических, филантропических и политических, которые удержали бы меня от того, что мой поверенный называл глупостью; но в двадцать один год, повторяю, мы — воплощенное великодушие, воплощенная пылкость, воплощенная любовь. Слезы, которые я увидел на глазах у отца, были для меня тогда прекраснейшим из богатств, и воспоминание об этих слезах часто служило мне утешением в нищете. Через десять месяцев после расплаты с кредиторами мой отец умер от горя: он обожал меня — и разорил! Мысль об этом убила его. В 1826 году, в конце осени, я, двадцати двух лет от роду, совершенно один провожал гроб моего первого друга—моего отца. Не много найдется молодых людей, которые так бы шли за похоронными дрогами — оставшись одинокими со своими мыслями, затерянные в Париже, без средств, без будущего. У сирот, подобранных общественною благотворительностью, есть по крайней мере такое будущее, как поле битвы, такой отец, как правительство или же королевский прокурор, такое убежище, как приют. У меня не было ничего! Через три месяца оценщик вручил мне тысячу сто двенадцать франков — все, что осталось от ликвидации отцовского наследства. Кредиторы принудили меня продать нашу обстановку. Привыкнув с юности высоко ценить окружавшие меня предметы роскоши, я не мог не выразить удивления при виде столь скудного остатка.

— Да уж очень все это было *рококо!*—сказал оценщик.

Ужасные слова, от которых поблекли все верования моего детства и рассеялись первые, самые дорогие из моих иллюзий. Мое состояние заключалось в описи проданного имущества, мое будущее лежало в полотняном мешочке, содержавшем в себе тысячу сто двенадцать франков; единственным представителем общества являлся для меня оценщик, который разговаривал со мной, не снимая шляпы... Обожавший меня слуга Ионафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в четыреста франков, сказал мне, покидая дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в карете:

— Будьте как можно бережливее, сударь.

Он плакал, славный старик!

Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сломали мою судьбу, на иной лад настроили мою душу и поставили меня. еще юношу, в крайне ложное социальное положение,— немного помолчав, заговорил Рафаэль.— Узами родства, впрочем слабыми, я был связан с несколькими богатыми домами, куда меня не пустила бы моя гордость, если бы еще раньше людское презрение и равнодушие не захлопнули перед моим носом дверей. Хотя родственники мои были особы весьма влиятельные и охотно покровительствовали чужим, я остался без родных и без покровителей. Беспрестанно наталкиваясь на преграды в своем стремлении излиться, душа моя, наконец, замкнулась в себе. Откровенный и непосредственный, я поневоле стал холодным и скрытным; деспотизм отца лишил меня всякой веры в себя; я был робок и неловок, мне казалось, что во мне нет ни малейшей привлекательности, я был сам себе противен, считал себя уродом, стыдился своего взгляда. Вопреки тому внутреннему голосу, который, вероятно, поддерживает даровитых людей в их борениях и который кричал мне: «Смелей! Вперед!»; вопреки внезапному ощущению силы, которую я иногда испытывал в одиночестве, вопреки надежде, окрылявшей меня, когда я сравнивал сочинения новых авторов, восторженно встреченных публикой, с теми, что рисовались в моем воображении,— я, как ребенок, был не уверен в себе. Я был жертвою чрезмерного честолюбия, я полагал, что рожден для великих дел,— и прозябал в ничтожестве. Я ощущал потребность в людях — и не имел друзей. Я должен был пробить себе дорогу в свете — и томился в одиночестве, скорее из чувства стыда, нежели страха. В тот год, когда отец бросил меня в вихрь большого света, я принес туда нетронутое сердце, свежую душу. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви. Среди моих сверстников я встретил кружок фанфаронов, которые ходили задрав нос, болтали о пустяках, безбоязненно подсаживались к тем женщинам, что казались мне особенно недоступными, всем говорили дерзости, покусывая набалдашник трости, кривлялись, поносили самых хорошеньких женщин, уверяли, правдиво или лживо, что им доступна любая постель, напускали на себя такой вид, как будто они пресыщены наслаждениями и сами от них от-

казываются, смотрели на женщин самых добродетельных и стыдливых как на легкую добычу, готовую отдаться с первого же слова, при мало-мальски смелом натиске, в ответ на первый бесстыдный взгляд! Говорю тебе по чистой совести и положа руку на сердце, что завоевать власть или крупное литературное имя представлялось мне победой менее трудной, чем иметь успех у женщины из высшего света, молодой, умной и изящной. Словом, сердечная моя тревога, мои чувства, мои идеалы не согласовывались с правилами светского общества. Я был смел, но в душе, а не в обхождении. Позже я узнал, что женщины не любят, когда у них вымаливают взаимность; многих обожал я издали, ради них я пошел бы на любое испытание, отдал бы свою душу на любую муку, отдал бы все свои силы, не боясь ни жертв, ни страданий, а они избирали любовниками дураков, которых я не взял бы в швейцары. Сколько раз, немой и неподвижный, любовался я женщиной моих мечтаний, появлявшейся на балу; мысленно посвящая свою жизнь вечным ласкам, я в едином взоре выражал все свои надежды, предлагал ей в экстазе юношескую свою любовь, стремившуюся навстречу обманам. В иные минуты я жизнь свою отдал бы за одну ночь. И что же? Не находя ушей, готовых выслушать страстные мои признания, взоров, в которые я мог бы погрузить свои взоры, сердца, бьющегося в ответ моему сердцу, я, то ли по недостатку смелости, то ли потому, что не представлялось случая, то ли по своей неопытности, испытывал все муки бессильной энергии, пожиравшей самое себя. Быть может, я потерял надежду, что меня поймут, или боялся, что меня слишком хорошо поймут. А между тем в душе у меня поднималась буря при первом же любезном взгляде, обращенном на меня. Несмотря на свою готовность сразу же истолковать этот взгляд или слова, по видимости благосклонные, как зов нежности, я то не осмеливался заговорить, то не умел вовремя умолкнуть. От избытка глубокого чувства я говорил ничего не значащие слова и даже молчание мое становилось глупым. Разумеется, я был слишком наивен для того искусственного общества, где люди живут напоказ, выражают свои мысли условными фразами или же словами, продиктованными модой. К тому же я совсем неспособен был

к ничего не говорящему красноречию и красноречивому молчанию. Словом, хотя во мне кипели страсти, хотя я и обладал именно такой душой, встретить которую обычно мечтают женщины, хотя я находился в экзальтации, которой они так жаждут, и полон был той энергии, которой хвалятся глупцы,— все женщины были со мной предательски жестоки. Вот почему я наивно восхищался всеми, кто в дружеской беседе трубил о своих победах, и не подозревал их во лжи. Конечно, я был не прав, ожидая столкнуться в этом кругу с искренним чувством, желая найти сильную и глубокую страсть в сердце женщины легкомысленной и пустой, жадной до роскоши и опьяненной светской суетой — найти ту безбрежную страсть, тот океан, волны которого бушевали в моем сердце. О, чувствовать, что ты рожден для любви, что можешь составить счастье женщины, и никого не найти, даже смелой и благородной Марселины, даже какой-нибудь старой маркизы! Нести в котомке сокровища и не встретить ребенка, любопытной девушки, которая полюбовалась бы ими! В отчаянии я не раз хотел покончить с собой.

— Ну и трагичный выдался вечер! — заметил Эмиль.

— Ах, не мешай мне вершить суд над моей жизнью! — воскликнул Рафаэль.— Если ты не в силах из дружбы ко мне слушать мои элегии, если ты не можешь ради меня поскучать полчаса, тогда спи! Но в таком случае не спрашивай меня о моем самоубийстве, а оно ропщет, витает передо мною, зовет меня, и я приветствую его. Чтобы судить о человеке, надо по крайней мере проникнуть в тайники его мыслей, страданий, волнений. Проявлять интерес только к внешним событиям его жизни — это все равно, что составлять хронологические таблицы, писать историю на потребу и во вкусе глупцов.

Горечь, звучавшая в тоне Рафаэля, поразила Эмиля, и, уставив на него изумленный взгляд, он весь превратился в слух.

— Но теперь,— продолжал рассказчик,— все эти события выступают в ином свете. Пожалуй, тот порядок вещей, прежде казавшийся мне несчастьем, и развил во мне прекрасные способности, которыми впоследствии я гордился. Разве не философской любознательности и чрезвычайной трудоспособности, любви к чтению — все-

му, что с семилетнего возраста вплоть до первого выезда в свет наполняло мою жизнь,— обязан я тем, что так легко, если верить вам, умею выражать свои идеи и идти вперед по обширному полю человеческого знания? Не одиночество ли, на которое я был обречен, не привычка ли подавлять свои чувства и жить внутреннею жизнью наделили меня умением сравнивать и размышлять? Моя чувствительность, затерявшись в волнениях света, которые принижают даже прекраснейшую душу и делают из нее какую-то тряпку, ушла в себя настолько, что стала совершенным органом воли, более возвышенной, чем жажда страсти? Не признанный женщинами, я, помню, наблюдал их с проницательностью отвергнутой любви. Теперь-то я понимаю, что моя бесхитростность не могла их привлекать! Вероятно, женщинам даже нравится в нас некоторое притворство. В течение одного часа я могу быть мужчиной и ребенком, ничтожеством и мыслителем, могу быть свободным от предрассудков и полным суеверий, часто я бываю не менее женственным, чем сами женщины,— а коли так, то не было ли у них оснований принимать мою наивность за цинизм и самую чистоту моих мыслей за развращенность? Мои знания в их глазах были скукой, женственная томность — слабостью. Чрезвычайная живость моего воображения, это несчастье поэтов, давала, должно быть, повод считать меня неспособным на глубокое чувство, неустойчивым, вялым. Когда я молчал, то молчал по-дурацки, когда же старался понравиться, то, вероятно, только пугал женщин — и они меня отвергли. Приговор, вынесенный светом, стоил мне горьких слез. Но это испытание принесло свои плоды. Я решил отомстить обществу, я решил овладеть душою всех женщин; властвуя над умами, добиться того, чтобы все взгляды обращались на меня, когда мое имя произнесет лакей в дверях гостиной. Еще в детстве я решил стать великим человеком, и, ударяя себя по лбу, я говорил, как Андре Шенье: «Здесь кое-что есть!» Я как будто чувствовал, что во мне зреет мысль, которую стоит выразить, система, достойная быть обоснованной, знания, достойные быть изложенными. О милый мой Эмиль, теперь, когда мне только что минуло двадцать шесть лет, когда я уверен, что умру безвестным, не сделавшись любов-

ником женщины, о которой я мечтал, позволь мне рассказать о моих безумствах! Кто из нас, в большей или меньшей степени, не принимал желаемое за действительное? О, я бы не хотел иметь другом юношу, который в мечтах не украшал себя венком, не воздвигал себе пьедестала, не наслаждался в обществе сговорчивых любовниц! Я часто бывал генералом, императором; я бывал Байроном, потом — ничем. Поиграв на вершине человеческой славы, я замечал, что все горы, все трудности еще впереди. Меня спасло беспредельное самолюбие, кипевшее во мне, прекрасная вера в свое предназначение, способная стать гениальностью, если только человек не допустит, чтобы душу его трепали мелочи жизни, подобно тому как колючки кустарника вырывают у проходящей мимо овцы клоки шерсти. Я решил достигнуть славы, решил трудиться в тишине ради своей будущей возлюбленной. Все женщины заключались для меня в одной, и этой женщиной мне казалась первая же встречная; я в каждой видел царицу и считал, что, как царицы, вынужденные первыми делать шаг к сближению со своими возлюбленными, они должны были идти навстречу мне, робкому, несчастному бедняку. О, для той, которая пожалела бы меня, в моем сердце, помимо любви, нашлось бы столько благодарного чувства, что я боготворил бы ее всю жизнь! Впоследствии наблюдения открыли мне жестокую истину. И я рисковал, дорогой Эмиль, навеки остаться одиноким. Женщины, в силу какого-то особого склада своего ума, обычно видят в человеке талантливом только его недостатки, а в дураке — только его достоинства; к достоинствам дурака они питают большую симпатию, ибо те льстят их собственным недостаткам, тогда как счастье, которое им может дать человек одаренный, стоящий выше их, не возмещает им его несовершенств. Талант — это перемежающаяся лихорадка, и у женщин нет охоты делить только его тяготы,— все они смотрят на своих любовников как на средство для удовлетворения своего тщеславия. Самих себя — вот кого они любят в нас! А разве в человеке бедном, в гордом художнике, наделенном способностью творить, нет оскорбительного эгоизма? Вокруг него какой-то вихрь мыслей, в который вовлекается все, даже его любовница. Может ли женщина, избалованная по-

клонением, поверить в любовь такого человека? Такому любовнику некогда предаваться на диванах нежному кривлянию, на которое так падки женщины и в котором преуспевают мужчины лживые и бесчувственные. Ему не хватает времени на работу,— так станет ли он его тратить на сюсюканье и прихорашивание? Я был готов отдать свою жизнь целиком, но не способен был разменивать ее на мелочи. Словом, угодничество биржевого маклера, исполняющего поручения какой-нибудь томной жеманницы, ненавистно художнику. Человеку бедному и великому недостаточно половинчатой любви,— он требует полного самопожертвования. У мелких созданий, которые всю жизнь проводят в том, что примеряют кашемировые шали и становятся вешалками для модных товаров, не встретить готовности к самопожертвованию, они требуют его от других,— в любви они жаждут властвовать, а не покорствовать. Истинная супруга, супруга по призванию, покорно следует за тем, в ком полагает она свою жизнь, силу, славу, счастье. Людям одаренным нужна восточная женщина, единственная цель которой — предупреждать желания мужа, ибо все несчастье одаренных людей состоит в разрыве между их стремлениями и возможностью их осуществлять. Я же, считая себя гениальным человеком, любил именно щеголих. Вынашивая идеи, столь противоположные общепринятым; собираясь без лестницы взять приступом небо; обладая сокровищами, не имевшими хождения; вооруженный знаниями, которые, отягощая мою память, еще не успели прийти в систему, еще не были мною глубоко усвоены; без родных, без друзей, один среди ужаснейшей из пустынь — пустыни мощеной, пустыни одушевленной, мыслящей, живой, где вам все враждебно или, больше того, где все безучастно,—я принял естественное, хотя и безумное решение; в нем заключалось нечто невозможное, но это и придавало мне бодрости. Я точно сам с собой держал пари, в котором сам же я был и игроком и закладом. Вот мой план. Тысячи ста франков должно было мне хватить на три года жизни, и этот именно срок я назначил себе для выпуска в свет сочинения, которое привлекло бы ко мне внимание публики, дало бы мне возможность разбогатеть или составить себе имя. Меня радовала мысль, что я, точно фиваидский

отшельник, буду питаться хлебом и молоком, средь шумного Парижа погружусь в уединенный мир книг и идей, в сферу труда и молчания, где, как куколка бабочки, я построю себе гробницу, чтобы возродиться в блеске и славе. Чтобы жить, я готов был рискнуть самой жизнью. Решив ограничить себя лишь самым насущным, лишь строго необходимым, я нашел, что трехсот шестидесяти пяти франков в год мне будет достаточно для существования. И в самом деле, этой скудной суммы мне хватало на жизнь, покуда я придерживался своего поистине монастырского устава.

— Это невозможно! — вскричал Эмиль.

— Я прожил так почти три года,— с некоторой гордостью ответил Рафаэль.— Давай сочтем! На три су — хлеба, на два — молока, на три — колбасы; с голоду не умрешь, а дух находится в состоянии особой ясности. Можешь мне поверить, я на себе испытал чудесное действие, какое пост производит на воображение. Комната стоила мне три су в день, за ночь я сжигал на три су масла, уборку делал сам, рубашки носил фланелевые, чтобы на прачку тратить не больше двух су в день. Комнату отапливал я каменным углем, стоимость которого, если разделить ее на число дней в году, никогда не превышала двух су. Платья, белья, обуви мне должно было хватить на три года,— я решил прилично одеваться, только если надо было идти на публичные лекции или же в библиотеку. Все это в общей сложности составляло восемнадцать су,— два су мне оставалось на непредвиденные расходы. Я не припомню, чтобы за этот долгий период работы я хоть раз прошел по мосту Искусств или же купил у водовоза воды: я ходил за ней по утрам к фонтану на площади Сен-Мишель, на углу улицы де-Грэ. О, я гордо переносил свою бедность! Кто предугадывает свое прекрасное будущее, тот ведет нищенскую жизнь так же, как невинно осужденный идет на казнь,— ему не стыдно. Возможность болезни я предусматривать не хотел. Подобно Акилине, я думал о больнице спокойно. Ни минуты не сомневался я в своем здоровье. Впрочем, бедняк имеет право слечь только тогда, когда он умирает. Я коротко стриг себе волосы до тех пор, пока ангел любви или доброты... Но не стану раньше времени говорить о событиях, до которых мы ско-

ро дойдем. Заметь только, милый мой друг, что, не имея возлюбленной, я жил великой мыслью, мечтою, ложью, в которую все мы вначале более или менее верим. Теперь я смеюсь над самим собою, над тем моим «я», быть может, святым и прекрасным, которое не существует более. Общество, свет, наши нравы и обычаи, наблюдаемые вблизи, показали мне всю опасность моих невинных верований, всю бесплодность ревностных моих трудов. Такая запасливость не нужна честолюбцу. Кто отправляется в погоню за счастьем, не должен обременять себя багажом! Ошибка людей одаренных состоит в том, что они растрачивают свои юные годы, желая стать достойными милости судьбы. Покуда бедняки копят силы и знания, чтобы в будущем легко было нести бремя могущества, ускользающего от них, интриганы, богатые словами и лишенные мыслей, шныряют повсюду, поддевая на удочку дураков, влезают в доверие у простофиль; одни изучают, другие продвигаются; те скромны — эти решительны; человек гениальный таит свою гордость, интриган выставляет ее напоказ, он непременно преуспеет. У власть имущих так сильна потребность верить заслугам, бьющим в глаза, таланту наглому, что со стороны истинного ученого было бы ребячеством надеяться на человеческую благодарность. Разумеется, я не собираюсь повторять общие места о добродетели, ту песнь песней, что вечно поют непризнанные гении; я лишь хочу логическим путем вывести причину успеха, которого так часто добиваются люди посредственные. Увы, наука так матерински добра, что, пожалуй, было бы преступлением требовать от нее иных наград, помимо тех чистых и тихих радостей, которыми питает она своих сынов. Помню, как весело, бывало, я завтракал хлебом с молоком, вдыхая воздух у открытого окна, откуда открывался вид на крыши, бурые, сероватые или красные, аспидные и черепичные, поросшие желтым или зеленым мохом. Вначале этот пейзаж казался мне скучным, но вскоре я обнаружил в нем своеобразную прелесть. По вечерам полосы света, пробивавшегося из-за неплотно прикрытых ставней, оттеняли и оживляли темную бездну этого своеобразного мира. Порой сквозь туман бледные лучи фонарей бросали снизу свой желтоватый свет и слабо означали вдоль улиц

извилистую линию скученных крыш, океан неподвижных волн. Иногда в этой мрачной пустыне появлялись редкие фигуры: между цветами какого-нибудь воздушного садика я различал угловатый, загнутый крючком профиль старухи, которая поливала настурции; или же у чердачного окна с полусгнившею рамой молодая девушка, не подозревая, что на нее смотрят, занималась своим туалетом, и я видел только прекрасный ее лоб и длинные волосы, приподнятые красивой белою рукой. Я любовался хилой растительностью в водосточных желобах, бедными травинками, которые скоро уносил ливень. Я изучал, как мох то становился ярким после дождя, то, высыхая на солнце, превращался в сухой бурый бархат с причудливыми отливами. Словом, поэтические и мимолетные эффекты дневного света, печаль туманов, внезапно появляющиеся солнечные пятна, волшебная тишина ночи, рождение утренней зари, султаны дыма над трубами — все явления этой необычайной природы стали для меня привычны и развлекали меня. Я любил свою тюрьму,— ведь я находился в ней по доброй воле. Эта парижская пустынная степь, образуемая крышами, похожая на голую равнину, но таящая под собою населенные бездны, подходила к моей душе и гармонировала с моими мыслями. Утомительно бывает, спустившись с божественных высот, куда нас увлекают науки, вдруг очутиться лицом к лицу с житейской суетою,— оттого-то я в совершенстве постиг тогда наготу монастырских обителей. Твердо решив следовать новому плану жизни, я стал искать себе комнату в самых пустынных кварталах Парижа. Как-то вечером, возвращаясь домой с Эстрапады, я проходил по улице Кордье. На углу улицы Клюни я увидел девочку лет четырнадцати,— она играла с подругой в волан, забавляя жителей соседних домов своими шалостями и смехом. Стояла прекрасная погода, вечер выдался теплый,— был еще только конец сентября. У дверей сидели женщины и болтали, как где-нибудь в провинциальном городке в праздничный день. Сперва я обратил внимание только на девочку, на ее чудесное в своей выразительности лицо и фигурку, созданную для художника. Это была очаровательная сцена. Затем я попытался уяснить себе, откуда в Париже такая простота нравов,

и заметил, что улица эта — тупик и прохожие здесь, очевидно, редки. Вспомнив, что в этих местах живал Жан-Жак Руссо, я нашел гостиницу «Сен-Кантен»; запущенный ее вид подал мне надежду найти недорогую комнату, и я решил туда заглянуть. Войдя в помещение с низким потолком, я увидел классические медные подсвечники с сальными свечами, выстроившиеся на полочке, каждый над своим ключом от комнаты, и я был поражен чистотой, царившей в этой зале,— обычно подобные комнаты не отличаются особой опрятностью, а здесь все было вылизано, точно на жанровой картине; в голубой кровати, утвари, мебели было что-то кокетливое, свойственное условной живописи. Хозяйка гостиницы— женщина лет сорока, судя по ее лицу испытавшая в жизни горе и пролившая немало слез, от которых и потускнели ее глаза,— встала и подошла ко мне; я смиренно сообщил, сколько могу платить за квартиру; не выразив никакого удивления, она выбрала ключ, отвела меня в мансарду и показала комнату с видом на крыши и на дворы соседних домов, где из окон были протянуты длинные жерди с развешанным на них бельем. Как ужасна была эта мансарда с желтыми грязными стенами! От нее так и пахнуло на меня нищетой уединенного приюта, подходящего для бедняка ученого. Кровля на ней шла покато, в щели между черепицами сквозило небо. Здесь могли поместиться кровать, стол, несколько стульев, а под острым углом крыши нашлось бы место для моего фортепьяно. Не располагая средствами, чтобы обставить эту клетку, не уступающую венецианским «свинцовым камерам», бедная женщина никому не могла ее сдать. Из недавней распродажи имущества я изъял вещи, до некоторой степени являвшиеся моею личною собственностью, а потому быстро сговорился с хозяйкой и на другой же день поселился у нее. Я прожил в этой воздушной гробнице три года, работал день и ночь не покладая рук с таким наслаждением, что занятия казались мне прекраснейшим делом человеческой жизни, самым удачным решением ее задачи. В необходимых ученому спокойствии и тишине есть нечто нежное, упоительное, как любовь. Работа мысли, поиски идей, мирная созерцательность науки дарит нам неизъяснимые наслаждения, не поддающиеся описанию, как все то, что свя-

зано с деятельностью разума, неприметной для наших внешних чувств. Поэтому мы всегда вынуждены объяснять тайны духа сравнениями материальными. Наслаждение, какое испытываешь, плывя один по прозрачному озеру среди скал, лесов и цветов, ощущая ласку теплого ветерка, даст людям, чуждым науке, лишь слабое понятие о том счастье, какое испытывал я, когда душа моя купалась в лучах какого-то света, когда я слушал грозный и невнятный голос вдохновения, когда из неведомого источника струились образы в мой трепещущий мозг. Созерцать, как, словно солнечный свет поутру, брезжит идея за полем человеческих абстракций и поднимается, как солнце, или, скорее, растет, как ребенок, достигает зрелости, постепенно мужает,— эта радость выше всех земных радостей, вернее сказать, это — наслаждение божественное. Научные занятия сообщают нечто волшебное всему, что нас окружает. Жалкое бюро, на котором я писал, покрывавший его коричневый сафьян, фортепьяно, кровать, кресло, причудливо выцветшие от времени обои, мебель — все они стали одушевленными смиренными моими друзьями, молчаливыми соучастниками моего будущего: сколько раз изливал я им душу, глядя на них! Часто, водя глазами по покоробившейся резьбе, я нападал на новые пути, на какое-нибудь поразительное доказательство моей системы или же на правильные слова, которые, как мне казалось, удачно выражали почти непередаваемые мысли. Созерцая окружающие предметы, я стал различать у каждого его физиономию, его характер, они часто разговаривали со мной; когда беглый луч заката проникал ко мне через узкое оконце, они окрашивались, бледнели, сверкали, становились унылыми или же веселыми, поражая меня все новыми эффектами. Такие малые события уединенной жизни, ускользающие от суетного света, и составляют утешение заключенных. Ведь я был пленником идеи, узником системы,— правда, неунывающим узником, ибо впереди у меня была жизнь, полная славы! Преодолев какую-нибудь трудность, я всякий раз целовал нежные руки женщины с чудными глазами, нарядной и богатой, которой предназначено было в один прекрасный день гладить мои волосы, ласково приговаривая: «Ты много страдал, бедный мой ангел!» Я начал два больших

произведения. Моя комедия должна была в короткий срок составить мне имя и состояние, открыть доступ в свет, где я желал появиться вновь, пользуясь царственными правами гения. В этом шедевре вы все увидели первую ошибку юноши, только что окончившего коллеж, настоящий ребяческий вздор. Ваши насмешки подрезали крылья плодотворным иллюзиям, с тех пор более не пробуждавшимся. Ты один, милый мой Эмиль, уврачевал глубокую рану, которую другие нанесли моему сердцу! Ты один пришел в восторг от моей «Теории воли», обширного произведения, для которого я изучил восточные языки, анатомию, физиологию, которому я посвятил столько времени. Думаю, что оно дополнит работы Месмера, Лафатера, Галля, Биша и откроет новый путь науке о человеке. На этом кончается моя прекрасная жизнь, каждодневное жертвоприношение, невидимая миру работа шелковичного червя, в себе самой заключающая, быть может, и единственную награду. С начала моего сознательного существования вплоть до того дня, когда я окончил мою «Теорию», я наблюдал, изучал, писал, читал без конца, и жизнь моя была сплошным выполнением повинности. Женственный любовник восточной лени, чувственный, влюбленный в свои мечты, я не знал отдыха и не разрешал себе отведать наслаждений парижской жизни. Лакомка — я принудил себя к умеренности; любитель бродить пешком и плавать в лодке по морю, мечтавший побывать в разных странах, до сих пор с удовольствием, как ребенок, бросавший камешки в воду,—теперь я, не разгибая спины, сидел за письменным столом; словоохотливый — я молча слушал публичные лекции в библиотеке и музее; я спал на одиноком и жалком ложе, точно монах-бенедиктинец, а между тем женщина была моей мечтою — мечтою заветной и вечно ускользавшей от меня! Одним словом, жизнь моя была жестоким противоречием, беспрерывной ложью. Вот и судите после этого о людях! По временам природные мои склонности разгорались, как долго тлевший пожар. Меня, не знавшего женщин, которых я так жаждал, нищего обитателя студенческой мансарды, точно марево, точно образы горячечного бреда, окружали обольстительные любовницы! Я носился по улицам Парижа на мягких подушках

роскошного экипажа! Меня снедали пороки, я погружался в разгул, я всего желал и всего добивался; я был пьян без вина, как святой Антоний в часы искушений. По счастью сон в конце концов гасил испепеляющие эти видения; а утром наука, улыбаясь, снова призывала меня, и я был ей верен. Думаю, что женщины, слывущие добродетельными, часто бывают во власти таких безумных вихрей желаний и страстей, поднимающихся в нас помимо нашей воли. Подобные мечты не лишены некоторой прелести,— не напоминают ли они беседу зимним вечером, когда, сидя у очага, совершаешь путешествие в Китай? Но во что превращается добродетель во время этих очаровательных путешествий, когда мысленно преодолеваешь все препятствия! Первые десять месяцев моего заключения я влачил ту убогую и одинокую жизнь, какую я тебе описал; по утрам, стараясь остаться незамеченным, я выходил купить себе что-нибудь из еды, сам убирал комнату, был в одном лице и господином и слугою, диогенствовал с невероятной гордостью. Но затем, после того как хозяйка и ее дочь изучили мой нрав и мои привычки, понаблюдали за мною, они поняли, как я беден, и, быть может, благодаря тому, что и сами они были очень несчастны, мы неизбежно должны были познакомиться ближе. Полина, очаровательное создание, чья наивная и еще не раскрывшаяся прелесть отчасти и привлекла меня туда, оказывала мне услуги, отвергнуть которые я не мог. Все бедные доли — сестры, у них одинаковый язык, одинаковое великодушие — великодушие тех, кто, ничего не имея, щедр на чувство и жертвует своим временем и собою самим. Незаметно Полина стала у меня хозяйкой, она пожелала прислуживать мне, и ее мать нисколько тому не противилась. Я видел, как сама мать чинила мое белье, и, сострадательная душа, она краснела, когда я заставал ее за этим добрым делом. Помимо моей воли, они взяли меня под свое покровительство, и я принимал их услуги. Чтобы понять эту особую привязанность, надо знать, какое увлечение работой, какую тиранию идей и какое инстинктивное отвращение к мелочам повседневной жизни испытывает человек, живущий мыслью. Мог ли я противиться деликатному вниманию Полины, когда, заметив, что я уже часов восемь ничего не ел, она вхо-

дила неслышными шагами и приносила мне скромный обед? По-женски грациозно и по-детски простодушно она, улыбаясь, делала мне знак, чтобы я не обращал на нее внимания. То был Ариэль, как сильф, скользнувший под мою кровлю и предупреждавший мои желания. Однажды вечером Полина с трогательной наивностью рассказала мне свою историю. Ее отец командовал эскадроном конных гренадеров императорской гвардии. При переправе через Березину он был взят в плен казаками; впоследствии, когда Наполеон предложил обменять его, русские власти тщетно разыскивали его в Сибири; по словам других пленных, он бежал, намереваясь добраться до Индии. С тех пор госпоже Годэн, моей хозяйке, не удалось получить никаких известий о муже. Начались бедствия тысяча восемьсот четырнадцатого — тысяча восемьсот пятнадцатого годов; оставшись одна, без средств и опоры, она решила держать меблированные комнаты, чтобы прокормить дочь. Госпожа Годэн все еще надеялась увидеть своего мужа. Тяжелее всего было для нее сознавать, что Полина не получит образования, ее Полина, крестница княгини Боргезе, Полина, которая непременно должна была оправдать предсказание высокой своей покровительницы, сулившее ей блестящую будущность. Когда госпожа Годэн поведала мне свою кручину и душераздирающим тоном сказала: «Я охотно бы отдала клочок бумаги, возводящий Годэна в бароны, отдала и наши права на доходы с Вичнау, только бы знать, что Полина воспитывается в Сен-Дени!», я вздрогнул и в благодарность за заботу обо мне, на которую так щедры были мои хозяйки, решил предложить себя в воспитатели Полины. Чистосердечие, с которым они приняли мое предложение, равнялось наивности, которой оно было подсказано. Так появились у меня часы отдыха. У девочки были большие способности, она все так легко схватывала, что вскоре стала лучше меня играть на фортепьяно. Привыкнув думать при мне вслух, она обнаруживала прелестные качества души, раскрывающейся для жизни, как чашечка цветка постепенно раскрывается на солнце; она слушала меня внимательно и охотно, глядя на меня своими черными бархатными глазами, которые как будто улыбались; она повторяла за мной уроки своим нежным голосом

и по-детски радовалась, когда я бывал доволен ею. Еще недавно ее мать была озабочена мыслью, как уберечь от опасностей свою дочь, оправдывавшую с возрастом все надежды, которые она подавала еще будучи очаровательным ребенком, а теперь госпожа Годэн была спокойна, видя, что Полина занимается целыми днями. Так как к ее услугам было только мое фортепьяно, ей приходилось пользоваться для упражнений моими отлучками. Возвращаясь, я заставал у себя в комнате Полину, одетую самым скромным образом, но при малейшем движении гибкая талия и вся ее прелестная фигура вырисовывались под грубой тканью. Как у героини сказки про Ослиную кожу, крошечные ее ножки были обуты в грубые башмаки. Но все эти милые сокровища, все это богатство, вся прелесть девичьей красоты как бы не существовали для меня. Я заставлял себя видеть в Полине только сестру, мне было страшно обмануть доверие ее матери; я любовался обворожительной девушкой, как картиной, как портретом умершей возлюбленной; словом, она была моим ребенком, моей статуей. Новый Пигмалион, я хотел обратить в мрамор живую деву, с горячей кровью в жилах, чувствующую и говорящую; я бывал с нею очень суров, но чем больше я проявлял свой учительский деспотизм, тем мягче и покорнее становилась она. Сдержанностью и скромностью я был обязан благородству моих чувств, но тут не было недостатка и в рассуждениях, достойных прокурора. Я не представляю себе честности и в денежных делах без честности в мыслях. Обмануть женщину или разорить кого-либо для меня всегда было равносильно. Полюбить молодую девушку или поощрять ее любовь — это все равно, что подписать настоящий брачный контракт, условия которого следует определить заранее. Мы вправе бросить продажную женщину, но нельзя покинуть молодую девушку, которая отдалась нам, ибо она не понимает всех последствий своей жертвы. Конечно, я мог бы жениться на Полине, но это было бы безумием. Не значило ли это подвергать нежную и девственную душу ужасающим мукам? Моя бедность говорила на эгоистическом языке и постоянно протягивала железную свою лапу между мною и этим добрым созданием. Притом, сознаюсь к стыду своему, я не понимаю любви в

нищете. Пусть это от моей испорченности, которою я обязан болезни человечества, именуемой цивилизацией, но женщина — будь она привлекательна, как прекрасная Елена, эта Галатея Гомера,— не может покорить мое сердце, если она хоть чуть-чуть замарашка. Ах, да здравствует любовь в шелках и кашемире, окруженная чудесами роскоши, которые потому так чудесно украшают ее, что и сама она, может быть, роскошь! Мне нравится комкать в порыве страсти изысканные туалеты, мять цветы, заносить дерзновенную руку над красивым сооружением благоуханной прически. Горящие глаза, которые пронизывают скрывающую их кружевную вуаль, подобно тому как пламя прорывается сквозь пушечный дым, фантастически привлекательны для меня. Моей любви нужны шелковые лестницы, по которым возлюбленный безмолвно взбирается зимней ночью. Какое это наслаждение — весь в снегу, ты входишь в комнату, слабо озаренную курильницами, обтянутую разрисованным шелком, и видишь женщину, тоже стряхивающую с себя снег, ибо как иначе назвать покровы из сладострастного муслина, сквозь которые она чуть заметно обрисовывается, как ангел сквозь облако, и из которых она сейчас высвободится? А еще мне необходимы и боязливое счастье и дерзкая уверенность. Наконец я хочу увидеть эту же таинственную женщину, но в полном блеске, в светском кругу, добродетельную, вызывающую всеобщее поклонение, одетую в кружева и блистающую бриллиантами, повелевающую целым городом, занимающую положение столь высокое, внушающую к себе такое уважение, что никто не осмелится поведать ей свои чувства. Окруженная своей свитой, она украдкой бросает на меня взгляд — взгляд, ниспровергающий все эти условности, взгляд, говорящий о том, что ради меня она готова пожертвовать и светом и людьми! Разумеется, я столько раз сам смеялся над своим пристрастием к блондам, бархату, тонкому батисту, к фокусам парикмахера, к свечам, карете, титулу, геральдическим коронам на хрустале, на золотых и серебряных вещах — словом, над пристрастием ко всему деланному и наименее женственному в женщине; я глумился над собой, разубеждая себя,— все было напрасно! Меня пленяет женщина-аристократка, ее тонкая улыбка, изысканные манеры и чувство собственного до-

стоинства; воздвигая преграду между собою и людьми, она пробуждает все мое тщеславие, а это и есть наполовину любовь. Становясь предметом всеобщей зависти, мое блаженство приобретает для меня особую сладость. Если моя любовница в своем быту отличается от других женщин, если она не ходит пешком, если живет она иначе, чем они, если на ней манто, какого у них быть не может, если от нее исходит благоухание, свойственное ей одной,— она мне нравится гораздо больше; и чем дальше она от земли даже в том, что есть в любви земного, тем прекраснее становится она в моих глазах. На мое счастье, во Франции уже двадцать лет нет королевы, иначе я влюбился бы в королеву! А чтобы иметь замашки принцессы, женщине нужно быть богатой. При таких романтических фантазиях чем могла быть для меня Полина? Могла ли она подарить мне ночи, которые стоят целой жизни, любовь, которая убивает и ставит на карту все человеческие способности? Ради бедных девушек, отдающихся нам, мы не умираем. Такие чувства, такие поэтические мечтания я не могу в себе уничтожить. Я был рожден для несбыточной любви, а случаю угодно было услужить мне тем, чего я вовсе не желал. Как часто я обувал в атлас крохотные ножки Полины, облекал ее стройную, как молодой тополь, фигуру в газовое платье, набрасывал ей на плечи легкий шарф, провожал ее, ступая по коврам ее особняка, и подсаживал в элегантный экипаж! Будь она такой, я бы ее обожал. Я наделял ее гордостью, которой у нее не было, отнимал у нее все ее достоинства, наивную прелесть, врожденное обаяние, простодушную улыбку, чтобы погрузить ее в Стикс наших пороков и наделить ее неуязвимым сердцем, чтобы приукрасить ее нашими преступлениями и сделать из нее взбалмошную салонную куклу, хрупкое создание, которое ложится спать утром и оживает вечером, когда загорается искусственный свет свечей. Полина была воплощенное чувство, воплощенная свежесть, а я хотел, чтобы она была суха и холодна. В последние дни моего безумия память воскресила мне образ Полины, как она рисует нам сцены нашего детства. Не раз я был растроган, вспоминая очаровательные минуты: то я снова видел, как эта девушка сидит у моего стола за шитьем, кроткая, молчаливая, сосредоточенная, а на ее прекрасные черные волосы ло-

жится легким серебристым узором слабый дневной свет, проникающий в мое чердачнсе окно; то я слышал юный ее смех, слышал, как своим звонким голосом она распевает милые песенки, которые ей ничего не стоило придумать самой. Часто моя Полина воодушевлялась за музыкой, и тогда она была поразительно похожа на ту благородную головку, в которой Карло Дольчи хотел олицетворить Италию. Жестокая память вызывала чистый образ Полины среди безрассудств моего существования как некий укор, как образ добродетели! Но предоставим бедную девочку собственной ее участи! Как бы она потом ни была несчастлива, я по крайней мере спас ее от страшной бури — я не увлек ее в мой ад.

До прошлой зимы я вел спокойную и трудовую жизнь, слабое представление о которой я попытался тебе дать. В первых числах декабря тысяча восемьсот двадцать девятого года я встретил Растиньяка, и, несмотря на жалкое состояние моего костюма, он взял меня под руку и осведомился о моем положении с участием поистине братским. Тронутый этим, я рассказал ему вкратце о своей жизни, о своих надеждах; он расхохотался и сказал, что я и гений и дурак; его гасконская веселость, знание света, богатство, которым он был обязан своей опытности,— все это произвело на меня впечатление неотразимое. Растиньяк утверждал, что я умру в больнице непризнанным простофилей, он уже провожал мой гроб и хоронил меня в могиле для нищих. Он заговорил о шарлатанстве. С присущим ему остроумием, которое придает ему такое обаяние, он доказывал, что все гениальные люди — шарлатаны. Он объявил, что я могу ослепнуть или оглохнуть, а то и умереть, если по-прежнему буду жить в одиночестве на улице Кордье. Он полагал, что мне надобно бывать в свете, приучать людей произносить мое имя, избавиться от той унизительной скромности, которая великому человеку отнюдь не подобает.

— Глупцы именуют подобное поведение интриганством,— воскликнул он,— моралисты осуждают его и называют рассеянным образом жизни. Не слушая людей, спросим самих себя, каковы результаты. Ты трудишься? Ну, так ты никогда ничего не добьешься. Я мастер на все руки, но ни на что не годен, лентяй из лен-

тяев, а все-таки добьюсь всего! Я пролезаю, толкаюсь— мне уступают дорогу; я хвастаю — мне верят; я делаю долги — их платят! Рассеянная жизнь, милый мой,— это целая политическая система. Жизнь человека, занятого тем, как бы прокутить свое состояние, становится часто спекуляцией: он помещает свои капиталы в друзей, в наслаждения, в покровителей, в знакомых. Допустим, негоциант рискует на миллион. Двадцать лет он не спал, не пил, не знал развлечений; он высиживал свой миллион, он пускал его в оборот по всей Европе; ему было скучно, он отдавался во власть всех демонов, каких только выдумал человек; потом ликвидация, и он остается — я сам это не раз наблюдал — без гроша, без имени, без друзей. Другое дело — расточитель: он живет в свое удовольствие, он видит наслаждение в скачке с препятствиями. Если случится ему потерять свои капиталы, то остается надежда на должность управляющего окладными сборами, на выгодную партию, на местечко при министре или посланнике. У него остались друзья, репутация, и он всегда при деньгах. Он знаток светских пружин и нажимает их, как ему выгодно. Ну что, логична моя система, или я спятил? Разве не в этом мораль комедии, которую свет играет день за днем?.. Ты кончил свое сочинение,— помолчав, продолжал он,— у тебя огромный талант. Значит, пора тебе начать с моей исходной точки. Тебе надобно самому обеспечить себе успех,— так вернее. Ты заключишь союз с разными кружками, завоюешь пустословов. Так как мне хочется быть соучастником в твоей славе, то я возьму на себя роль ювелира, который вставит алмазы в твою корону... Для начала приходи сюда завтра вечером. Я введу тебя в дом, где бывает весь Париж, наш Париж, Париж светских львов, Париж миллионеров, знаменитостей, наконец, прославленных ораторов, сущих златоустов; если эти господа одобряют какую-нибудь книгу, она становится модной; она может быть действительно хороша, но они-то этого не знают, выдавая ей патент на гениальность. Если ты не лишен ума, дитя мое, то фортуна твоей «Теории» в твоих руках, нужно только хорошенько понять теорию фортуны. Завтра вечером ты увидишь прекрасную графиню Феодору — модную женщину.

— Никогда о ней не слыхал...

— Вот так кафр! — со смехом отозвался Растиньяк.— Не знать Феодоры! Да на ней можно жениться, у нее около восьмидесяти тысяч ливров дохода, она никого не любит, а может быть, ее никто не любит! Своего рода женщина-загадка, полурусская парижанка, полупарижская россиянка! Женщина, у которой выходят в свет все романтические произведения, не появляющиеся в печати, самая красивая женщина в Париже, самая обольстительная! Нет, ты даже не кафр, ты нечто среднее между кафром и животным... Прощай, до завтра!..

Он сделал пируэт и исчез, не дожидаясь ответа, не допуская даже мысли о том, что человек разумный может не захотеть быть представленным Феодоре. Как объяснить волшебную власть имени? *Феодора* преследовала меня, как преступная мысль, с которой намереваешься заключить полюбовное соглашение. Какой-то голос говорил мне: «Ты пойдешь к Феодоре». Я мог как угодно бороться с этим голосом, кричать ему, что он лжет,— он сокрушал все мои доказательства одним этим именем — *Феодора.*

Но не было ли это имя, не была ли эта женщина символом всех моих желаний, целью моей жизни? От этого имени в моем воображении воскресла искусственная поэтичность света, загорелись праздничные огни высшего парижского общества, заблестела мишура суеты. Эта женщина предстала передо мной со всеми проблемами страсти, на которых я был помешан. Нет, быть может, не женщина, не имя, а все мои пороки поднялись в душе, чтобы вновь искушать меня. Графиня Феодора, богатая, не имеющая любовника, не поддающаяся парижским соблазнам,— разве это не воплощение моих надежд, моих видений? Я создал образ этой женщины, мысленно рисовал ее себе, грезил о ней. Ночью я не спал, я стал ее возлюбленным, за несколько часов я пережил целую жизнь, полную любви, снова и снова вкушал жгучие наслаждения. Наутро, не в силах вынести пытку долгого ожидания вечера, я взял в библиотеке роман и весь день читал его, чтобы отвлечься от своих мыслей, как-нибудь убить время. Имя Феодоры звучало во мне, подобно далекому отголоску, который не тревожит вас, но все же заставляет прислушиваться. К счастью, у меня сохранился вполне приличный черный фрак и белый жилет; затем

от всего моего состояния осталось около тридцати франков, которые я рассовал по ящикам стола и в комоде среди белья, для того чтобы воздвигнуть между моими фантазиями и монетой в сто су колючую изгородь поисков, чтобы находить монету лишь случайно, во время кругосветного путешествия по комнате. Одеваясь, я гонялся за моими сокровищами по целому океану бумаг. Монеты попадались очень редко, и ты можешь из этого заключить, как много похитили у меня перчатки и фиакр,— они съели мой хлеб за целый месяц. Увы, на прихоти у нас всегда найдутся деньги, мы скупимся только на затраты полезные и необходимые. Танцовщицам мы бросаем золото без счета — и торгуемся с рабочим, которого ждет голодная семья. Сколько людей в стофранковых фраках, с алмазами на набалдашниках трости обедает за двадцать пять су! Для утоления тщеславия нам, по-видимому, ничего не жалко.

Растиньяк, верный своему слову, улыбнулся при виде меня и посмеялся над моим превращением; но дорогой он по своей доброте учил меня, как надобно держать себя с графиней; по его словам, это была женщина скупая, тщеславная и недоверчивая; скупая и вместе с тем не пренебрегающая пышностью, тщеславная и не лишенная простосердечия, недоверчивая и не чуждая добродушия.

— Тебе известны мои обязательства,— сказал он,— ты знаешь, как много я потерял бы, если бы связал себя любовными узами с другой женщиной. Итак, я наблюдал за Феодорой беспристрастно, хладнокровно, и мои замечания должны быть справедливы. Я задумал представить тебя ей единственно потому, что желаю тебе всяческого благополучия. Так вот, следи за каждым своим словом,— у нее жестокая память; ловкостью она превзойдет любого дипломата,— она способна угадать, когда он говорит правду. Между нами, мне кажется, что император не признал ее брака,— по крайней мере русский посланник рассмеялся, когда я заговорил о ней. Он ее не принимает и еле кланяется ей при встрече в Булонском лесу. Тем не менее она близка с госпожой де Серизи, бывает у госпожи де Нусинген и госпожи де Ресто. Во Франции ее репутация не запятнана. Герцогиня де Карильяно, супруга маршала, самая чопорная дама во всем

бонапартистском кружке, часто проводит лето в ее имении. Много молодых фатов и даже сын одного из пэров Франции предлагали ей свое имя в обмен на состояние; она всем вежливо отказала. Может быть, пробудить ее чувства способен лишь титул не ниже графского? А ты ведь маркиз! Если она тебе понравится — смелей вперед! Это я называю давать инструкцию.

Шутки Растиньяка внушали мне мысль, что он насмехается надо мной и нарочно дразнит мое любопытство,— импровизированная моя страсть дошла до настоящего пароксизма, когда мы, наконец, остановились перед украшенным цветами перистилем. Поднимаясь по устланной ковром широкой лестнице, где уже бросалась в глаза вся изысканность английского комфорта, я чувствовал, как у меня забилось сердце; я краснел, я забыл о своем происхождении, о всех своих чувствах, о своей гордости, я был до глупости мещанином. Увы, я сошел с мансарды после трех лет нищеты, еще не научившись ставить выше житейских мелочей те приобретаемые нами сокровища, те умственные капиталы, которые обогащают нас, лишь только нам в руки попадает власть,— неспособная ведь сокрушить нас, ибо наука заранее подготовила нас к политической борьбе.

Я увидел женщину лет двадцати двух, среднего роста, одетую в белое, с веером из перьев в руке, окруженную мужчинами. Заметив Растиньяка, она встала, пошла к нам навстречу и с приветливой улыбкой, приятным голосом сказала мне любезность, без сомнения заранее приготовленную; наш общий друг рассказывал ей о моих талантах, и его ловкость, его гасконская самоуверенность обеспечили мне лестный прием. Я стал предметом исключительного внимания, и оно смутило меня, но, к счастью, со слов Растиньяка, все здесь уже знали о моей скромности. Я встретил в этом салоне ученых, литераторов, министров в отставке, пэров Франции. Вскоре после моего прихода разговор возобновился; чувствуя, что мне надо поддержать свою репутацию, я взял себя в руки, и, когда мне представилась возможность заговорить, я, не злоупотребляя вниманием общества, постарался резюмировать спор в выражениях более или менее веских, глубокомысленных и остроумных. Я произвел некоторое впечатление. Тысячный раз в своей жизни

Растиньяк оказался пророком. Когда собралось много народу и все стали чувствовать себя свободнее, мой покровитель взял меня под руку, и мы прошлись по комнатам.

— Виду не показывай, что ты в восторге от графини,— сказал он,— не то она догадается о целях твоего визита.

Гостиные были убраны с изысканным вкусом. Я увидел превосходные картины. Каждая комната, как это принято у очень состоятельных англичан, была в особом стиле: шелковые обои, отделка, мебель, все мелочи обстановки соответствовали основному замыслу. В готическом будуаре, на дверях которого висели ковровые драпри, все было готическое — мебель, часы, рисунок ковра; темные резные балки, расположенные в виде кессонов, радовали взор своим изяществом и оригинальностью, панели были художественной работы; ничто не нарушало цельности этой красивой декорации, вплоть до окон с драгоценными цветными стеклами. Особенно меня поразила небольшая гостиная в современном стиле, для которой художник исчерпал приемы нынешнего декоративного искусства, легкого, свежего, приятного, без блеска, умеренного в позолоте. Все здесь было туманно и проникнуто атмосферой влюбленности, как немецкая баллада,— это было подлинное убежище для страсти тысяча восемьсот двадцать седьмого года, с благоухающими в жардиньерках редкостными цветами. В анфиладе комнат за этой гостиной я увидел будуар с позолотой и роскошной мебелью, где воскресали вкусы времен Людовика Четырнадцатого, представлявшие собою причудливый, но приятный контраст с живописью нашего времени.

— У тебя будут недурные апартаменты,— сказал Растиньяк с улыбкой, в которой сквозила легкая ирония.— Разве это не соблазнительно? — добавил он садясь.

Вдруг он вскочил, взял меня за руку, провел в спальню и показал слабо освещенное сладострастное ложе, под пологом из белого муслина и муара, настоящее ложе юной феи, обручившейся с гением.

— Разве это не бесстыдство,— воскликнул он, понизив голос,— разве это не дерзость, не кокетство сверх

всякой меры, что нам разрешают созерцать этот трон любви? Никому не отдаваться и каждому позволять оставить здесь свою визитную карточку! Будь я свободен, я бы добивался, чтобы эта женщина, вся в слезах, покорно стояла под моей дверью...

— А ты так уверен в ее добродетели?

— Самые предприимчивые из наших волокит, даже самые ловкие из них, сознаются, что у них ничего не вышло; они все еще влюблены в нее, они ее верные друзья. Ну, не загадка ли эта женщина?

Что-то вроде опьянения возбудили во мне эти слова, так как моя ревность стала тревожиться и за прошлое Феодоры. Дрожа от радости, я поспешил в гостиную, где оставил графиню; я встретил ее в готическом будуаре. Она улыбкой остановила меня, усадила рядом с собой, стала расспрашивать о моих работах и, казалось, проявляла к ним живой интерес, особенно когда, избегая поучительного тона и докторального изложения моей системы, я перевел ее на язык шутки. Кажется, Феодоре очень понравилось, что воля человеческая есть сила материальная, вроде пара; что в мире духовном ничто не устояло бы перед этой силой, если бы человек научился сосредоточивать ее, владеть всею ее совокупностью и беспрестанно направлять на души поток этой текучей массы; что такой человек мог бы, в соответствии с задачами человечества, как угодно видоизменять все, даже законы природы. Возражения Феодоры свидетельствовали об известной тонкости ума; чтобы польстить ей, я снисходительно признал на некоторое время ее правоту, а потом уничтожил эти женские рассуждения единым словом, обратив ее внимание на повседневное явление нашей жизни, на явление сна, по видимости обычное, по существу же полное неразрешимых для ученого проблем, и тем возбудил ее любопытство. Графиня даже умолкла на мгновение, когда я сказал ей, что наши идеи — организованные, цельные существа, обитающие в мире невидимом и влияющие на наши судьбы, а в доказательство привел мысли Декарта, Дидро, Наполеона, мысли которых властвовали и все еще властвуют над нашим веком. Я имел честь позабавить графиню: она рассталась со мной, попросив бывать у нее,— выражаясь придворным языком, я был приближен к ее особе. То ли, по

свойственной мне похвальной привычке, я принял формулу вежливости за искренние речи, то ли Феодора увидела во мне будущую знаменитость и вознамерилась пополнить свой зверинец еще одним ученым, но мне показалось, что я произвел на нее впечатление. Я призвал себе на помощь все свои познания в физиологии, все свои прежние наблюдения над женщинами и целый вечер тщательно изучал эту оригинальную особу и ее повадки; спрятавшись в амбразуре окна, я старался угадать ее мысли, открыть их в ее манере держаться и приглядывался к тому, как в качестве хозяйки дома она ходит по комнатам, садится и заводит разговор, подзывает к себе кого-нибудь из гостей, расспрашивает его и, прислонившись к косяку двери, слушает; переходя с места на место, она так очаровательно изгибала стан, так грациозно колыхалось у нее при этом платье, столь властно возбуждала она желания, что я подверг большому сомнению ее добродетель. Если теперь Феодора презирала любовь, то прежде она, наверное, была очень страстной; опытная сладострастница сказывалась даже в ее манере стоять перед собеседником: она кокетливо опиралась на выступ панели, как могла бы опираться женщина, готовая пасть, но готовая также убежать, лишь только ее испугает слишком пылкий взгляд; мягко скрестив руки, она, казалось, вдыхала в себя слова собеседника, благосклонно слушая их даже взглядом, а сама излучала чувство. Ее свежие, румяные губы резко выделялись на живой белизне лица. Каштановые волосы оттеняли светло-карий цвет ее глаз, с прожилками, как на флорентийском камне; выражение этих глаз, казалось, придавало особенный, тонкий смысл ее словам. Наконец, стан ее пленял соблазнительной прелестью. Соперница, быть может, назвала бы суровыми ее густые, почти сросшиеся брови и нашла бы, что ее портит чуть заметный пушок на щеках. Мне же казалось, что в ней страсть наложила на все свой отпечаток. Любовью дышали итальянские ресницы этой женщины, ее прекрасные плечи, достойные Венеры Милосской, черты ее лица, нижняя губа, слишком пухлая и темноватая. Нет, то была не женщина, то был роман. Женственные ее сокровища, гармоническое сочетание линий, так много обещавшая пышность форм не вязались с постоянной сдержанностью и необычайной скромностью, которые

противоречили общему ее облику. Нужна была такая зоркая наблюдательность, как у меня, чтобы открыть в ее натуре приметы сладострастного ее предназначения. Чтобы сделать свою мысль более понятной, скажу, что в Феодоре жили две женщины: тело у нее всегда оставалось бесстрастным, только голова, казалось, дышала любовью; прежде чем остановиться на ком-нибудь из мужчин, ее взгляд подготовлялся к этому, точно в ней совершалось нечто таинственное, и в сверкающих ее глазах пробегал как бы судорожный трепет. Словом, или познания мои были несовершенны и мне еще много тайн предстояло открыть во внутреннем мире человека, или у графини была прекрасная душа, чувства и проявления которой сообщали ее лицу покоряющую, чарующую прелесть, силу глубоко духовную и тем более могучую, что она сочеталась с огнем желания. Я ушел очарованный, обольщенный этой женщиной, упоенный ее роскошью, я чувствовал, что она всколыхнула в моем сердце все, что было в нем благородного и порочного, доброго и злого. Взволнованный, оживленный, возбужденный, я начинал понимать, что́ привлекало сюда художников, дипломатов, представителей власти, биржевиков, окованных железом, как их сундуки: разумеется, они приезжали к ней за тем же безумным волнением, от которого дрожало все мое существо, бурлила кровь в каждой жилке, напрягались тончайшие нервы и все трепетало в мозгу. Она никому не отдавалась, чтобы сохранить всех своих поклонников. Покуда женщина не полюбила, она кокетничает.

— Может быть, ее отдали в жены или продали какому-нибудь старику,— сказал я Растиньяку,— и память о первом браке отвращает ее от любви.

Из предместья Сент-Оноре, где живет Феодора, я возвращался пешком. До улицы Кордье надо было пройти чуть ли не весь Париж; путь казался мне близким, а между тем было холодно. Предпринимать покорение Феодоры зимой, суровой зимой, когда у меня не было и тридцати франков, а отделявшее нас расстояние было так велико! Только бедный молодой человек знает, сколько страсть требует расходов на кареты, перчатки, платье, белье и так далее. Когда любовь слишком долго остается платонической, она становится разорительна. Среди

студентов-юристов бывают Лозены, которым, право, лучше и не подступаться к страсти, обитающей в бельэтаже. Мне ли, слабому, тщедушному, скромно одетому, бедному, изнуренному, как бывает изнурен художник, выздоравливающий после своего нового творения,— мне ли было бороться с молодыми красавчиками, завитыми, щеголеватыми, в таких галстуках, при виде которых может лопнуть от зависти вся Кроатия, богатыми, облеченными в броню наглости и разъезжающими в тильбюри.

— Нет, нет, Феодора или смерть! — воскликнул я, спускаясь по ступенькам моста.— Феодора — это сама фортуна!

Прекрасный готический будуар и гостиная в стиле Людовика Четырнадцатого вставали у меня перед глазами; я снова видел графиню в белом платье с прелестными широкими рукавами, и пленительную ее походку, и обольстительный стан. Когда я очутился у себя, в холодной мансарде, неопрятной, как парик естествоиспытателя, я был еще окружен образами роскоши. Подобный контраст — плохой советчик: так, вероятно, зарождаются преступления. Я проклял тогда, дрожа от ярости, мою честную, добропорядочную бедность, мою мансарду, где явилось на свет столько плодотворных мыслей. В моей судьбе, в моем несчастье я требовал отчета у бога, у дьявола, у социального строя, у своего отца, у всей вселенной; я лег спать голодный, бормоча смешные проклятия, но твердо решившись соблазнить Феодору. Это женское сердце было последним лотерейным билетом, от которого зависела моя участь. Я избавлю тебя от описания первых моих посещений Феодоры и сразу перейду к драме. Стараясь воздействовать на ее душу, я вместе с тем стремился завладеть и ее умом, воздействовать на ее самолюбие: чтобы заставить ее полюбить меня, я дал ей тысячу оснований еще больше полюбить самое себя; никогда я не оставлял ее в состоянии безразличия; женщины ради сильных ощущений готовы жертвовать всем, и я расточал их ей: я готов был скорее прогневить ее, чем видеть равнодушной. Первоначально, воодушевленный твердою волей и желанием внушить ей любовь ко мне, я достиг некоторого преимущества над нею, но вскоре страсть моя возросла, я уже не мог владеть собой, стал

искренним и, влюбившись без памяти, погубил себя. Я толком не знаю, что мы в поэзии и в беседах называем любовью, но изображения чувства, вдруг развившегося в двойственной моей натуре, я не находил нигде — ни в риторических, тщательно отделанных фразах Жан-Жака Руссо, жилище которого я, может быть, занимал, ни в холодных понятиях литературы двух столетий, ни в итальянской живописи. Разве только вид на Бриеннское озеро, иные мотивы Россини, Мадонна Мурильо, принадлежащая маршалу Сульту, письма Лекомба, некоторые выражения, встречающиеся в сборниках новелл, но особенно молитвы экстатиков и отдельные эпизоды из наших фаблью — вот что способно было перенести меня в божественные страны первой моей любви. Ничто в человеческом языке, никакое выражение мысли в красках, мраморе, словах и звуках не передали бы напряжения, искренности, полноты, внезапности моего чувства! Да, искусство — это ложь. Любовь проходит через бесконечное число превращений, прежде чем навсегда слиться с нашей жизнью и навеки окрасить ее в свой пламенный цвет. Тайна этого неуловимого влияния ускользает от взгляда художника. Истинная страсть выражается в воплях, во вздохах, несносных для ушей человека холодного. Нужно искренне любить, чтобы, читая «Клариссу Гарлоу», сочувствовать рычаниям Ловласа. Любовь — наивный ручей, что струится по камешкам, меж трав и цветов, но вот ручей становится речкой, рекой, меняет свою природу и вид от каждого нового притока, затем впадает в неизмеримый океан, который умам несовершенным кажется лишь однообразием, а великие души погружает в бесконечное созерцание. Как воссоздать эти переливы чувства, эти столь дорогие мелочи, слова, в самом звуке которых заключена целая сокровищница речи, взгляды, более выразительные, нежели самые лучшие стихи? При тех роковых встречах, когда мы незаметно для себя пленяемся женщиной, разверзается пропасть, могущая поглотить всю поэзию человеческую. В каких глоссах истолкуешь живые и таинственные волнения души, когда нам не хватает слов, чтобы обрисовать даже видимые тайны красоты? Что за колдовство! Сколько времени проводил я, погруженный в несказанный экстаз, наслаждаясь тем, что *вижу ее!* Я был счастлив. Чем? Не знаю. В эти

мгновения, если ее лицо было залито светом, с ним что-то происходило, и оно начинало сиять; чуть заметный пушок, золотивший ее тонкую и нежную кожу, мягко намечал контуры ее лица, и в этом было то самое очарование, которое пленяет нас в далеких линиях горизонта, теряющихся в солнечном свете. Казалось, что сияние дня, сливаясь с нею, ласкает ее и что от ее лучезарных черт исходит свет более яркий, чем свет настоящий; потом тень, проходя по милому лицу, как будто бы окрашивала его, разнообразя выражения, меняя оттенки. Нередко на мраморном ее челе, казалось, явственно обозначалась мысль; ее глаза загорались, веки вздрагивали, по лицу пробегала улыбка; живой коралл ее губ приходил в движение, то сжимаясь, то разжимаясь; какой-то особенный отлив ее волос отбрасывал темные блики на свежую белизну висков. В этом лице говорила каждая черточка. Каждый оттенок его красоты был новым пиршеством для моих глаз, открывал моему сердцу еще одну неведомую прелесть. Возможность надеяться хотелось мне прочесть в каждом изменении этого лица. Немые наши разговоры шли от души к душе, как звук переходит в эхо, и они щедро дарили мне мимолетные радости, оставлявшие во мне глубокое впечатление. Голос ее порождал во мне какое-то неистовство, которое мне трудно было подавить. Подобно лотарингскому князю — забыл, как его зовут,— я, вероятно, не почувствовал бы раскаленного угля у себя на ладони, если бы она провела щекочущими своими пальцами по моим волосам. То было уже не восхищение или желание, то было колдовство, рок. Часто, вернувшись к себе, под крышу, я неясно различал Феодору в ее особняке, принимал смутное участие в ее жизни; когда она болела — болел и я, и на другой день я говорил ей: «Вы были больны!»

Сколько раз она являлась мне в ночной тишине, вызванная силою моего экстаза! То она возникала предо мной внезапно, как брызнувшие лучи света, ломала мое перо, обращала в бегство науку и прилежание, принуждала меня восхищаться ею — принимала ту соблазнительную позу, в которой я видел ее когда-то. То я сам шел к ней навстречу в мир призраков; я приветствовал ее, как надежду, просил дать мне услышать ее серебристый голос; потом я просыпался в слезах. Однажды, обе-

щав поехать со мною в театр, она вдруг ни с того ни с сего отказалась и попросила оставить ее одну. В отчаянии от этого каприза, стоившего мне целого дня работы и — признаться ли? — моего последнего экю, я все же отправился в театр один, мне хотелось посмотреть пьесу, которую желала смотреть она. Едва усевшись, я почувствовал электрический толчок в сердце. Какой-то голос сказал мне: «Она здесь». Оборачиваюсь и вижу графиню в глубине ложи бенуара, в тени. Мой взгляд устремился туда, мои глаза нашли ее сразу, со сказочной зоркостью, моя душа полетела к источнику своей жизни, как насекомое к цветку. Что подало весть моим чувствам? Бывает тайный трепет, который изумляет людей поверхностных, но эти проявления внутренней нашей природы так же просты, как и обычные феномены внешнего нашего зрения,— вот почему я не был удивлен, я только рассердился. Мои исследования душевной силы человека, столь мало изученной, помогли мне по крайней мере найти в своей страсти явные доказательства моей системы. Было что-то странное в таком союзе ученого и влюбленного, самого настоящего идолопоклонства и научных исследований любви. Исследователь часто бывал доволен тем, что приводило в отчаяние любовника, а как только любовник начинал верить в свой триумф, он с блаженным чувством гнал исследование прочь. Феодора увидела меня и нахмурилась, я стеснял ее. В первом же антракте я пошел к ней в ложу; она была одна, я остался. Хотя мы никогда не говорили о любви, на сей раз я предчувствовал объяснение. Я еще не открывал ей своей тайны, и все же между нами существовало нечто вроде соглашения; она делилась со мной планами развлечений, с каким-то дружеским беспокойством спрашивала накануне, приду ли я завтра; сказав какое-нибудь острое словечко, она бросала на меня вопросительный взгляд, словно желала нравиться только мне; если я дулся, она становилась ласковой; если она гневалась, я имел некоторое право расспрашивать ее; если я совершил какую-нибудь провинность, она, прежде чем простить меня, заставляла долго себя упрашивать. Эти ссоры, которые нам очень нравились, были полны любви: тогда она бывала так кокетлива и мила, а я так счастлив! На этот раз в нашей близости появилась трещина, мы весь

вечер оставались чужими друг другу. Графиня была убийственно холодна, я предчувствовал недоброе.

— Проводите меня,— сказала она по окончании спектакля.

Погода успела испортиться. Когда мы вышли, шел снег вперемежку с дождем. Карета Феодоры не могла подъехать к самому театру. Видя, что хорошо одетой даме приходится переходить бульвар, какой-то посыльный раскрыл над нами зонтик, и, когда мы сели в экипаж, попросил на чай. У меня не было ни гроша; за два су я отдал бы тогда десять лет жизни. Моя мужская гордость в многообразных ее проявлениях была раздавлена адской душевной болью. «Нет мелочи, любезный!» — произнес я жестким тоном из-за того, что страсть моя была уязвлена, произнес я, брат этого человека, я, так хорошо знавший, что такое бедность, я, когда-то с такою легкостью отдавший семьсот тысяч франков! Лакей оттолкнул посыльного, и лошади рванулись. Дорогой Феодора была рассеянна или делала вид, что чем-то озабочена, односложно и презрительно отвечала на мои вопросы. Я хранил молчание. То были ужасные минуты. Приехав к ней, мы сели у камина. Слуга зажег огонь и вышел, и тогда графиня обратилась ко мне со странным выражением на лице и как-то торжественно заговорила:

— Когда я приехала во Францию, мое состояние стало предметом соблазна для многих молодых людей; я выслушивала объяснения в любви, которые могли бы польстить моему самолюбию; я встречала и таких людей, привязанность которых была искрення и глубока, они женились бы на мне, будь я даже совсем бедной девушкой, какою была когда-то. Так знайте же, господин де Валантен, что я могла бы приобрести новые богатства и новые титулы; но да будет вам также известно, что я переставала встречаться с людьми, которые были столь несообразительны, что заговаривали со мною о любви. Будь мое отношение к вам легкомысленно, я не стала бы делать вам предостережений, их подсказывают мне скорее дружеские чувства, нежели гордость. Женщина рискует получить отповедь, когда она, предполагая, что ее любят, заранее отвергает чувство, всегда для нее лестное. Сцены с Арсиноей и Араминтой мне известны, и я знаю, как мне могут ответить при таких обстоятельствах, но я на-

деюсь, что на этот раз передо мной человек, стоящий выше своей среды, и что вы не поймете меня дурно только потому, что я говорю с вами начистоту.

Она изъяснялась хладнокровно, как адвокат или нотариус, когда они растолковывают своим клиентам процедуру судебного иска или же статью какого-нибудь контракта. Чистый, пленительный звук ее голоса не выдавал ни малейшего волнения; только в лице и в позе, как всегда благородных и скромных, появилась холодность и сухость, словно у дипломата. Разумеется, она подготовила свою речь, заранее составила программу этой сцены. О мой дорогой друг, когда женщины находят наслаждение в том, чтобы терзать наше сердце, когда они вознамерились вонзить нам в сердце кинжал и повернуть его в ране, разве они не очаровательны, разве они не любят и не желают быть любимыми? Когда-нибудь они нас вознаградят за наши муки, как бог воздает, говорят, за добрые дела; сторицею воздадут они наслаждением за зло, жестокость которого они прекрасно сознают; их злость не полна ли страсти? Но терпеть мучение от женщины, которая вас убивает равнодушно,— разве это не ужасная пытка? В то мгновение Феодора, сама того не сознавая, попирала все мои надежды, коверкала мою жизнь и разрушала мое будущее с холодной беспечностью, с невинной жестокостью ребенка, который из любопытства обрывает у бабочки крылья.

— Впоследствии,— добавила Феодора,— вы, надеюсь, увидите, как прочна дружба, которую я предлагаю. Вы убедитесь, что с друзьями я всегда добра, я всегда им предана. Я отдала бы за них жизнь, но если бы я, не разделяя чьего-нибудь чувства, приняла его, вы первый стали бы меня презирать. Довольно, вы единственный человек, которому я сделала это признание.

Сперва у меня не хватило слов, я едва укротил подымавшийся во мне ураган, но вскоре я затаил свое волнение в глубине души и улыбнулся.

— Если я вам скажу, что я вас люблю,— заговорил я,— вы изгоните меня; если я стану обвинять себя в безразличии, вы накажете меня за это. Священники, судьи и женщины никогда не выворачивают своих одежд наизнанку. Молчание ничего не предвосхищает — позвольте же мне промолчать. Раз вы обратились ко мне со столь

братским предостережением, значит, вы боитесь меня потерять, и эта мысль могла бы польстить моему самолюбию. Но оставим в стороне все личное. Вы, может быть, единственная женщина, с которой я могу философски обсуждать решение, столь противное законам природы. По сравнению с другими особами женского пола вы феномен. Давайте вместе добросовестно искать причину этой психологической аномалии. Может быть, как у большинства женщин, гордых собою, влюбленных в свои совершенства, в вас говорило чувство утонченного эгоизма, и вы с ужасом думаете о том, что будете принадлежать мужчине, что вам придется отречься от своей воли, подчиниться оскорбительному для вас условному превосходству. Если это так, вы показались бы мне тогда в тысячу раз прекраснее. Или, быть может, первая любовь принесла вам унижение? Быть может, вы дорожите стройностью своей талии, своего изумительного стана и опасаетесь, как бы их не испортило материнство? Не самый ли это веский тайный довод, который побуждает вас отвергать слишком сильную любовь? Или, быть может, у вас есть недостатки, заставляющие вас быть добродетельной поневоле?.. Не гневайтесь,— я только рассуждаю, изучаю, я за тысячу миль от страсти. Природа, творящая слепорожденных, вполне может создать женщин, слепых и глухонемых в любви. Вы поистине драгоценный объект для медицинских наблюдений. Вы себе цены не знаете. У вас, может быть, вполне законное отвращение к мужчинам; я понимаю вас, все они и мне самому кажутся уродливыми, противными. Ну, разумеется, вы правы,— добавил я, чувствуя, что сердце вот-вот выпрыгнет у меня из груди,— вы должны нас презирать: нет такого мужчины, который был бы достоин вас!

Не стану повторять тебе всех сарказмов, которыми я со смехом осыпал ее. И что же? Самые колкие слова и самая едкая ирония не вызывали у нее ни одного движения, ни одного жеста досады. Она спокойно слушала меня, а на губах и в глазах ее играла обычная ее улыбка, та улыбка, которою она пользовалась, как маской, всегда одна и та же улыбка — для друзей, для знакомых, для посторонних.

— И вы еще будете говорить, что я недобрая, после того как я позволила вам разбирать меня по косточкам!—

сказала она, уловив минуту, когда я молча смотрел на нее.— Видите,— со смехом продолжала она,— у меня нет глупой щепетильности в дружбе. Немало женщин в наказание за ваши дерзости указали бы вам на дверь.

— Вы вольны прогнать меня без всяких объяснений.

Говоря это, я чувствовал, что способен убить ее, если она откажет мне от дома.

— Сумасшедший! —с улыбкой воскликнула она.

— Вы когда-нибудь думали о проявлениях сильной любви? — снова заговорил я.— В отчаянии мужчина нередко убивает свою возлюбленную.

— Лучше умереть, чем быть несчастной,— холодно отвечала она.— Человек, такой страстный по натуре, как вы, когда-нибудь непременно промотает состояние жены и уйдет, а ее оставит ни при чем.

Подобная арифметика ошеломила меня. Я отчетливо увидел пропасть между этой женщиной и собою. Мы бы никогда не могли понять друг друга.

— Прощайте,— сказал я холодно.

— Прощайте,— отвечала она, дружески кивнув мне.— До завтра.

Я на мгновение задержался и бросил на нее взгляд, полный любви, от которой я уже отрекся. Она стояла и улыбалась, и заученная эта улыбка, ненавистная улыбка мраморной статуи, казалось, выражала любовь, но только холодную. Понимаешь ли ты, милый мой, какая тоска охватила меня, когда я, под дождем и снегом, возвращался домой, когда я, все потеряв, целую милю шагал по обледенелой набережной? О, каково было знать, что ей и в голову не могло прийти бедственное мое положение,— она думала, что я богат, как она, и разъезжаю в каретах! Сколько разбитых надежд, сколько разочарований! Дело было не только в деньгах, но во всех богатствах моей души. Я шел наугад, сам с собой обсуждая странный этот разговор, и так запутался в своих комментариях, что в конце концов стал сомневаться в прямом значении слов и понятий. И все же я ее любил, любил эту холодную женщину, которая стремилась к тому, чтобы снова и снова завоевывали ее сердце, которая вечно отрекалась от своих вчерашних обещаний и всякий день меняла свой облик. Проходя мимо Института,

я вдруг почувствовал лихорадочную дрожь. Тут я вспомнил, что ничего не ел. У меня не было ни гроша. В довершение всех бед от дождя села моя шляпа. Как теперь подойти к элегантной даме, как появиться в гостиной со шляпой, которую остается только выбросить! Сколь ни проклинал я глупую, дурацкую моду, из-за которой мы обречены выставлять напоказ наши головные уборы, постоянно держать их в руке, все же благодаря исключительным моим заботам шляпа до сих пор находилась у меня в сносном состоянии. Не будучи ни особенно новой, ни чересчур старой, ни облезлой, ни лоснящейся, она могла сойти за шляпу человека аккуратного; но искусственно поддерживаемое ее существование достигло последнего своего предела: шляпа моя покоробилась, была испорчена вконец, никуда не годилась, стала настоящей ветошью, достойной своего хозяина. За неимением тридцати су на извозчика пропали все мои усилия сохранить свою элегантность. Ах, каких только неведомых жертв не принес я Феодоре за эти три месяца! Ради того, чтобы на секунду увидеться с нею, я часто жертвовал деньгами, на которые мог бы купить себе хлеба на целую неделю. Забросить работу и голодать — это еще пустяки! Но пройти через весь Париж и не быть забрызганным грязью, бегом спасаться от дождя и являться к ней столь же прилично одетым, как и окружавшие ее фаты,— ах, для влюбленного и рассеянного поэта подобная задача представляла трудности неисчислимые! Мое блаженство, моя любовь зависели от темной точечки на моем единственном белом жилете! Отказываться от встречи с нею, если я запачкался, если я промок! Не иметь и пяти су для чистильщика, который стер бы с сапог едва приметные брызги грязи! Моя страсть возрастала от этих мелких, никому не ведомых мучений, безмерных для человека раздражительного. Бедняки обречены на жертвы, о которых им возбраняется говорить женщинам, живущим в сфере роскоши и элегантности, смотрящим на мир сквозь призму, которая позлащает людей и вещи. Оптимистки из эгоизма, жестокие из-за хорошего тона, они ради удовольствий избавляют себя от размышлений и оправдывают свое равнодушие к чужим несчастьям любовью к наслаждениям. Для них грош никогда не стоит миллиона, но миллион представляется им грошом. Мало то-

го что любви приходится отстаивать свои интересы при помощи великих жертв, она еще должна скромно набрасывать на них покров, погребать их в молчании; но люди богатые, растрачивая свое состояние и жизнь, жертвуя собою, извлекают пользу из светских предрассудков, которые всегда придают известный блеск их любовным безумствам; у них молчание красноречиво и наброшенный покров прелестен, тогда как меня жестокая нужда обрекла на ужасающие страдания,— ведь мне даже не позволено было сказать: «Люблю!» или «Умираю!». Но в конечном счете было ли это самопожертвованием? Не щедро ли я был вознагражден блаженством, которое ощущал, все предавая на заклание ради нее? Благодаря графине пошлейшие случаи в моей жизни приобретали особую ценность, с ними были связаны необычайные наслаждения. Прежде равнодушный к своему туалету, теперь я чтил свой фрак, как свое второе «я». Быть раненым самому или разорвать фрак? Я не колебался бы в выборе! Представь себя на моем месте, и ты поймешь те бешеные мысли, ту возрастающую ярость, какие овладевали мной, пока я шел, и, верно, от ходьбы еще усиливались! Какую адскую радость испытывал я, чувствуя, что нахожусь на краю отчаяния! В этом последнем кризисе я хотел видеть предзнаменование счастья; но сокровищницы зол бездонны.

В гостинице дверь была приотворена. Сквозь отверстия в ставнях, прорезанные в виде сердечка, на улицу падал свет. Полина с матерью, поджидая меня, разговаривали. Я услыхал свое имя и прислушался.

— Рафаэль гораздо красивее студента из седьмого номера! — говорила Полина.— У него такие прекрасные белокурые волосы! Тебе не кажется, что в его голосе есть что-то хватающее за душу? И потом, хотя вид у него несколько гордый, он такой добрый, а какие у него хорошие манеры! Он мне очень, очень нравится! Я уверена, что все женщины от него без ума.

— Ты говоришь о нем так, словно влюблена в него,— заметила госпожа Годэн.

— О, я люблю его как брата! — смеясь, возразила Полина.— И с моей стороны было бы верхом неблагодарности, если б у меня не возникло к нему дружеских чувств. Не он ли обучал меня музыке, рисованию, грам-

матике — словом, всему, что я теперь знаю? Ты не обращаешь внимания на мои успехи, мама, а я становлюсь такой образованной, что скоро могу давать уроки, и тогда мы возьмем служанку.

Я неслышно отошел; потом нарочно зашумел и вошел в залу за лампой. Полина сама захотела ее зажечь. Бедное дитя пролило целительный бальзам на мои язвы. Наивные эти похвалы придали мне немного бодрости. Я почувствовал необходимость веры в себя и беспристрастной оценки моих действительных достоинств. То ли вспыхнувшие во мне надежды бросили отсвет на все, что меня окружало, то ли я до сих пор не всматривался как следует в ту сценку, которая так часто открывалась моим глазам в зале, где сидели эти две женщины,— но на этот раз я залюбовался прелестнейшей картиной во всей ее реальности, той скромной натурой, которую с такой наивностью воспроизвели фламандские живописцы. Мать, сидя у почти погасшего очага, вязала чулок, и губы ее были сложены в добрую улыбку. Полина раскрашивала веера, разложенные на маленьком столике, кисти ее и краски невольно задерживали на себе взгляд; когда же она встала и начала зажигать лампу, весь свет упал на белую ее фигуру; только человек, порабощенный ужасной страстью, мог не любоваться ее прозрачными розовыми руками, идеальной формой головы и всем девственным ее видом! Ночная тишина придавала особое очарование этой поздней работе, этой мирной домашней сцене. Вечно в труде и всегда веселые, эти женщины проявляли христианское смирение, исполненное самых возвышенных чувств. Непередаваемая гармония существовала здесь между вещами и людьми. Роскошь Феодоры была бездушна, наводила меня на дурные мысли, тогда как эта смиренная бедность, эта простота и естественность освежали мне душу. Быть может, среди роскоши я чувствовал себя униженным, а возле этих двух женщин, в темной зале, где упрощенная жизнь, казалось, находила себе приют в движении сердца, я, быть может, примирялся с самим собою: здесь мне было кому оказать покровительство, а мужчине всегда хочется, чтобы его считали покровителем. Когда я подошел к Полине, она бросила на меня взгляд почти материнский, руки у нее задрожали, и, быстро поставив лампу, она воскликнула:

«ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»

«ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА».

— Боже, как вы бледны! Ах, да он весь вымок! Мама высушит ваше платье... Вы любите молоко,— продолжала она,— сегодня у нас есть сливки, хотите попробовать?

Как кошечка, бросилась она к большой фарфоровой чашке с молоком и подала мне ее с такой живостью, поставила ее прямо передо мной так мило, что я стал колебаться.

— Неужели вы мне откажете? — сказала она изменившимся голосом.

Мы, оба гордецы, понимали друг друга: Полина, казалось, страдала от своей бедности и упрекала меня в высокомерии. Я был тронут. Эти сливки, вероятно, были ее утренним завтраком. Однако я не отказался. Бедная девушка пыталась скрыть радость, но она искрилась в ее глазах.

— Да, я проголодался,— сказал я садясь. (Тень озабоченности пробежала по ее лбу.)—Помните, Полина, то место у Боссюэ, где он говорит, что бог за стакан воды воздаст обильнее, чем за победу.

— Да,— отвечала она.

И грудь у нее затрепетала, как у птенца малиновки в руках ребенка.

— Вот что,— добавил я не вполне твердым голосом,— мы скоро расстанемся,— позвольте же выразить вам благодарность за все заботы, ваши и вашей матушки.

— О, не будем считаться! — сказала она смеясь.

Смех ее скрывал волнение, от которого мне стало больно.

— Мое фортепьяно,— продолжал я, притворяясь, что не слышал ее слов,— один из лучших инструментов Эрара. Возьмите его себе. Возьмите его себе без всяких разговоров,— я собираюсь путешествовать и, право же, не могу захватить его с собой.

Быть может, грустный тон, каким я произнес эти слова, навел обеих женщин на размышления, только они, казалось, поняли, что творилось в моей душе, и внимательно посмотрели на меня; во взгляде их было и любопытство и ужас. Привязанность, которой я искал в холодных сферах большого света, была здесь передо мной, безыскусственная, но зато умилительная и, быть может, прочная.

— Напрасно вы это затеяли,— сказала мать.— Оставайтесь здесь. Мой муж теперь уже в пути,— продолжала она.— Сегодня вечером я читала евангелие от Иоанна, а Полина в это время привязала к библии ключ и держала его на весу. И вот ключ повернулся. Это верная примета, что Годэн здоров и благополучен. Полина погадала еще для вас и для молодого человека из седьмого номера, но ключ повернулся только для вас. Мы все разбогатеем. Годэн вернется миллионером: я видела его во сне на корабле, полном змей; к счастью, вода была мутной, что означает золото и заморские драгоценные камни.

Эти дружеские пустые слова, похожие на те невнятные песни, какими мать убаюкивает больного ребенка, до некоторой степени успокоили меня. Голос и взгляд доброй женщины были исполнены той теплоты и сердечности, которые не уничтожают скорби, но умеряют ее, убаюкивают и успокаивают. Полина, более прозорливая, чем мать, смотрела на меня испытующе и тревожно, ее умные глаза, казалось, угадывали мою жизнь, мое будущее. В знак благодарности я поклонился матери и дочери, затем, боясь расчувствоваться, поспешил уйти. Оставшись один на один с самим собою, я углубился в свое горе. Роковое мое воображение рисовало мне множество беспочвенных проектов и диктовало неосуществимые решения. Когда человек влачит жизнь среди обломков прежнего своего благополучия, он находит хоть какую-нибудь опору, но у меня не было решительно ничего. Ах, милый мой, мы слишком легко во всем обвиняем бедность! Будем снисходительны к результатам активнейшего из всех социальных растворителей. Где царит бедность, там не существует больше ни стыда, ни преступлений, ни добродетелей, ни ума. Без мыслей, без сил, я был в таком же состоянии, как та девушка, что упала на колени перед тигром. Человек без страстей и без денег еще располагает собою, но влюбленный бедняк уже не принадлежит себе и убить себя не может. Любовь внушает нам благоговейное чувство к самим себе, мы чтим в нас другую жизнь; любовь становится ужаснейшим из несчастий — несчастьем, не лишенным надежды, и надежда эта заставляет нас терпеть пытку. Я заснул с мыслью пойти на следующий день к Растиньяку и рассказать ему о странном решении Феодоры.

— Ага! Ага!—вскричал Растиньяк, когда я в девять часов утра входил к нему.— Знаю, отчего ты пришел: верно, Феодора дала тебе отставку. Добрые души, завидовавшие твоему влиянию на графиню, уже объявили о вашей свадьбе. Бог знает, какие безумные поступки приписывали тебе твои соперники и как они тебя чернили!

— Все ясно! — воскликнул я.

Я вспомнил все свои дерзости и нашел, что графиня держала себя превосходно. Сам себе я казался подлецом, который еще недостаточно поплатился, а в ее снисходительности я усматривал лишь терпеливое милосердие любви.

— Не будем спешить с выводами,— сказал здравомыслящий гасконец.— У Феодоры дар проницательности, свойственный женщинам глубоко эгоистичным; она, может быть, составила о тебе суждение еще тогда, когда ты видел в ней только ее богатство и роскошь; как ты ни был изворотлив, она все прочла у тебя в душе. Она сама такая скрытница, но беспощадна к малейшей скрытности в других. Пожалуй,— добавил он,— я толкнул тебя на дурной путь. При всей тонкости своего ума и обхождения она мне представляется существом властным, как все женщины, которые знают только рассудочные наслаждения. Для нее все блаженство состоит в житейском благополучии, в светских развлечениях; чувство для нее — только одна из ее ролей; она сделала бы тебя несчастным и превратила в своего главного лакея...

Растиньяк говорил глухому. Я прервал его и с наигранной веселостью обрисовал свое материальное положение.

— Вчера вечером злая судьба похитила у меня все деньги, которыми я мог располагать,— сказал Растиньяк.— Не будь этой пошлой неудачи, я охотно предложил бы тебе свой кошелек. Поедем-ка завтракать в кабачок,— может быть, за устрицами что-нибудь и придумаем.

Он оделся, приказал заложить тильбюри; затем, как два миллионера, с наглостью тех нахальных спекулянтов, которые живут воображаемыми капиталами, мы прибыли в «Парижскую кофейню». Этот чертов гасконец подавлял меня своей развязностью и непоколебимой само-

уверенностью. За кофе, после весьма изысканного и обдуманного завтрака, раскланявшись уже с целой толпой молодых людей, обращавших на себя внимание приятной своей наружностью и элегантностью костюма, Растиньяк при виде одного из таких денди сказал:

— Ну, твои дела идут на лад.

Этому джентльмену с отличным галстуком, выбиравшему для себя столик, он сделал знак, что хочет с ним поговорить.

— Сей молодчик получил орден за то, что выпустил в свет сочинения, в которых он ничего не смыслит,— шепнул мне Растиньяк.— Он химик, историк, романист, публицист; он получает четверть, треть и даже половину гонорара за множество пьес, и при всем том он круглый невежда. Это не человек, а имя, примелькавшаяся публике этикетка. Поэтому он остерегается входить в те конторские комнаты, на дверях которых висит надпись: «Здесь можно писать самому». Он так хитер, что одурачит целый конгресс. Короче говоря, это нравственный метис: он не вполне честен и не совершенный негодяй. Но тсс! Он уже дрался на дуэли, а свету больше ничего не нужно, и о нем говорят: «Это человек почтенный...»

— Ну-с, мой дорогой, мой почтенный друг, как изволите себя чувствовать, ваше высокомыслие? — спросил Растиньяк, как только незнакомец сел за соседний столик.

— Так себе, ни хорошо, ни плохо... Завален работой. У меня в руках все материалы, необходимые для составления весьма любопытных исторических мемуаров, а я не знаю, под каким соусом их подать. Это меня мучит. Нужно спешить,— мемуары того и гляди выйдут из моды.

— Мемуары современные или старинные? О придворной жизни или еще о чем-нибудь?

— О деле с ожерельем.

— Ну, не чудо ли это? — со смехом сказал Растиньяк спекулянту, указывая на меня.— Господин де Валентен — мой друг, рекомендую вам его как будущую литературную знаменитость. Когда-то его тетка, маркиза, была в большой силе при дворе, а он сам вот уже два года работает над историей революции в роялистском духе.— И, наклонясь к уху этого своеобразного негоцианта, он прибавил: — Человек талантливый, но простак; он мо-

жет написать вам эти мемуары от имени своей тетки по сто экю за том.

— Идет,— сказал тот, поправляя галстук.— Человек, где же мои устрицы?!

— Да, но вы заплатите мне двадцать пять луидоров комиссионных, а ему — за том вперед,— продолжал Растиньяк.

— Нет, нет. Авансу не больше пятидесяти экю — так я буду спокоен, что скоро получу рукопись.

Растиньяк шепотом передал мне содержание этого торгашеского разговора. Затем, не дожидаясь моего ответа, объявил:

— Мы согласны. Когда вас можно повидать, чтобы с этим покончить?

— Что же, приходите сюда обедать завтра в семь часов вечера.

Мы встали, Растиньяк бросил лакею мелочь, а счет сунул в карман, и мы вышли. Та легкость и беспечность, с какою он продал мою почтенную тетушку, маркизу де Монборон, потрясла меня.

— Я предпочту уехать в Бразилию и обучать там индейцев алгебре, в которой я ничего не смыслю, нежели запятнать честь моего рода!

Растиньяк расхохотался.

— Ну, не дурак ли ты! Бери сперва пятьдесят экю и пиши мемуары. Когда они будут закончены, ты откажешься напечатать их под именем тетки, болван! Госпожа де Монборон, умершая на эшафоте, ее фижмы, ее имя, красота, притирания, туфли, разумеется, стоят бо́льше шестисот франков. Если издатель не даст тебе тогда за тетку настоящей цены, он найдет какого-нибудь старого проходимца шевалье или захудалую графиню, чтобы подписать мемуары.

— О, зачем я покинул свою добродетельную мансарду! — вскричал я.— Свет с изнанки так грязен, так подл!

— Ну, это поэзия,— возразил Растиньяк,— а мы говорим о деле. Ты младенец. Слушай: что касается мемуаров, то их оценит публика, что же касается этого литературного сводника, то разве у него не ушло на это восемь лет жизни, разве он не заплатил за свои издательские связи жестоким опытом? Труд над книгой будет у вас

разделен неравномерно, но ведь ты получишь бóльшую часть, не правда ли? Двадцать пять луидоров для тебя дороже, чем тысячи франков для него. Ну почему тебе не написать исторические мемуары, как-никак это произведение искусства, а ведь Дидро за сто экю составил шесть проповедей!

— В конце концов,— проговорил я в волнении,— это для меня единственный выход. Итак, мой друг, позволь поблагодарить тебя. Пятьдесят экю сделают меня богатым...

— Богаче, чем ты думаешь,— прервал он меня со смехом.—Фино платит мне за комиссию.—Разве ты не догадался, что и это пойдет тебе? Поедем в Булонский лес,— сказал он.— Увидим там твою графиню. Да, кстати, я покажу тебе хорошенькую вдовушку, на которой собираюсь жениться; очаровательная особа, эльзаска, правда, толстовата. Читает Канта, Шиллера, Жан-Поля и уйму книг по гидравлике. У нее мания постоянно спрашивать мое мнение, приходится делать вид, что знаешь толк в немецких сантиментах, я уже проглотил целую кучу баллад, все эти снотворные снадобья, которые мне запрещает доктор. Мне пока еще не удалось отучить ее от литературных восторгов: она плачет навзрыд, читая Гете, и мне тоже приходится немножко поплакать за компанию, ибо, мой милый, как-никак — пятьдесят тысяч ливров дохода и самая хорошенькая ножка, самая хорошенькая ручка в мире... Ах, не произноси она *пашественный* вместо *божественный*, она была бы совершенством!

Мы видели графиню, блистательную в блистательном своем экипаже. Кокетка кивнула нам весьма приветливо и подарила меня улыбкой, которая показалась мне тогда небесной и полной любви. Ах, я был очень счастлив, мне казалось, что меня любят, у меня были деньги и сокровища страсти, я уже не чувствовал себя обездоленным! У меня было легко на сердце, я был весел, всем доволен и оттого нашел, что возлюбленная моего друга очаровательна. Деревья, воздух, небо — вся природа, казалось, повторяла мне улыбку Феодоры. На возвратном пути мы заехали к шляпнику и портному Растиньяка. Дело с ожерельем дало мне возможность перейти с жалкого мирного положения на грозное военное. Отныне я смело мог состязаться в изяществе и элегантности с моло-

дыми людьми, которые увивались вокруг Феодоры. Я вернулся домой и заперся; я сохранял наружное спокойствие, а меж тем, глядя на свое чердачное окно, я навеки прощался с крышами. Я уже весь был в будущем, видел свою грядущую жизнь как бы на сцене, заранее наслаждался любовью и ее радостями. О, каким бурным может стать существование в четырех стенах мансарды! Душа человеческая — точно фея; соломинку обращает она в алмазы; по мановению ее волшебной палочки вырастают сказочные дворцы, как полевые цветы под теплым дыханием солнца. На другой день, около полудня, Полина тихо постучала в дверь и подала мне — угадай, что? — письмо от Феодоры. Графиня предлагала встретиться с нею в Люксембургском саду, чтобы вместе отправиться в музей и в Зоологический сад.

— Посыльный ждет ответа,— помолчав, сказала Полина.

Быстро нацарапал я слова благодарности, и Полина унесла ответ. Я стал одеваться. И вот, когда, довольный собой, я уже кончал свой туалет, ледяная дрожь охватила меня при мысли: «Приедет туда Феодора в карете или придет пешком? Будет дождь или солнце?.. Все равно, пешком ли, в карете ли,— думал я,— разве можно положиться на капризный нрав женщины? У нее может с собой не оказаться денег, а она захочет подать милостыню мальчишке-савойяру за то, что у него живописные лохмотья».

У меня не было и медной монетки, деньги я должен был получить только вечером. О, как дорого во время этих юношеских кризисов платит поэт за ту умственную силу, которой его облекают строгий образ жизни и труд! В одно мгновение целый рой стремительных мыслей больно ужалил меня тысячью жал. Я взглянул на небо в свое чердачное окно: погода была очень ненадежная. Правда, в крайнем случае я мог бы взять карету на целый день, но разве тогда я, наслаждаясь счастьем, не трепетал бы каждую минуту при мысли, что не встречусь вечером с Фино? Я не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы в часы радости терпеть такие страхи. Хотя я был уверен в безуспешности поисков, я все же предпринял полный осмотр своей комнаты: искал воображаемые экю даже в тюфяке, перерыл все, вытряс даже старые сапоги.

Дрожа, как в лихорадке, я оглядывал опрокинутую мебель блуждающим взглядом. Представляешь себе, как я обезумел от радости, когда, в седьмой раз открыв ящик письменного стола, который я перерывал с небрежностью отчаяния, я заметил, что у боковой доски прижалась, притаилась монета в сто су, чистенькая, блестящая, сияющая, как восходящая звезда, прекрасная и благородная? Не упрекая ее за молчание и за жестокость, с какой она от меня пряталась, я поцеловал ее, как друга, верного в несчастье, я приветствовал ее криком, которому отвечало какое-то эхо. Быстро обернувшись, я увидел Полину,— она была бледна.

— Я думала, не ушиблись ли вы! — проговорила она в волнении.— Посыльный... (Она недоговорила, ей точно не хватало воздуху.) Но мама заплатила ему,— прибавила она.

Потом она убежала, веселая, по-детски игривая, как воплощенный каприз. Милая девочка! Я пожелал ей найти свое счастье, как нашел его я. У меня было тогда такое чувство, словно душа моя вмещает всю земную радость, и мне хотелось вернуть обездоленным ту часть, которую, как мне казалось, я у них украл.

Дурные предчувствия нас почти никогда не обманывают: графиня отпустила свой экипаж. Из прихоти, как это бывает с хорошенькими женщинами — по причинам, неведомым порою даже им самим,— она пожелала идти в Зоологический сад пешком бульварами.

— Будет дождь,— сказал я.

Ей нравилось мне противоречить. Как нарочно, пока мы шли по Люксембургскому саду, солнце светило ярко. Но не успели мы выйти оттуда, как из тучи, давно уже внушавшей мне опасение, упало несколько капель; мы сели в фиакр. Когда мы доехали до бульваров, дождь перестал, небо снова прояснилось. Подъехав к музею, я хотел отпустить карету, но Феодора попросила не отпускать. Сколько мучений! Болтать с ней, подавляя тайный восторг, который, наверное, сказывался в глупой улыбке, застывшей у меня на лице; бродить по саду, ходить по тенистым аллеям, чувствовать, как ее рука опирается на мою,— во всем этом было нечто фантастическое: то был сон наяву. А между тем шла она или останавливалась, в ее движениях, несмотря на кажущееся их сладострастие,

не было ничего нежного, ничего любовного. Когда я старался хоть сколько-нибудь примениться к ее движениям, я чувствовал в ней внутреннюю затаенную напряженность, что-то порывистое и неуравновешенное. Жестам бездушных женщин не свойственна мягкость. Вот отчего сердца наши бились не в лад и шли мы не в ногу. Не найдены еще слова для того, чтобы передать подобную телесную дисгармонию между двумя существами, ибо мы еще не привыкли улавливать в движении мысль. Это явление нашей природы угадывается инстинктивно и выражению не поддается.

— Во время жестоких пароксизмов страсти,— после некоторого молчания продолжал Рафаэль, как бы возражая самому себе,— я не анатомировал своих чувствований, не анализировал своих наслаждений, не подсчитывал биений сердца, подобно тому как скупец исследует и взвешивает свои золотые монеты. О нет, только теперь опыт проливает свой печальный свет на минувшие события и память приносит мне эти образы, как в ясную погоду волны моря один за другим выбрасывают на берег обломки разбитого корабля.

— Вы можете оказать мне важную услугу,— заговорила графиня, в смущении глядя на меня.— После того как я призналась вам в своем недоброжелательном отношении к любви, мне легче просить вас о любезности во имя дружбы. Не больше ли будет теперь ваша заслуга,— продолжала она со смехом,— если вы сделаете мне одолжение?

Я смотрел на нее с тоской. Ничего не ощущая в моем присутствии, она лукавила, а не любила; казалось, она играет роль, как опытная актриса; потом вдруг ее взгляд, оттенок голоса, какое-нибудь слово вновь подавали мне надежду; но если глаза мои загорались любовью, лучи их не согревали ее взгляда, глаза ее сохраняли невозмутимую ясность, сквозь них, как у тигра, казалось, просвечивала металлическая пластинка. В такие минуты я ненавидел Феодору.

— Мне было бы очень важно,— продолжала она вкрадчивым голосом,— если бы герцог де Наваррен замолвил за меня словечко одной всемогущей особе в России, посредничество которой мне необходимо, чтобы восстановить свои законные права, от чего зависит и мое

состояние и мое положение в свете,— мне надо добиться, чтобы император признал мой брак. Ведь герцог — ваш родственник, не правда ли? Его письма было бы достаточно.

— Я к вашим услугам,— сказал я.— Приказывайте.

— Вы очень любезны,— заметила она, пожав мне руку.— Поедемте ко мне обедать, я расскажу вам все, как на духу.

Итак, эта женщина, столь недоверчивая, столь замкнутая, от которой никто не слыхал ни слова о ее делах, собиралась со мной советоваться.

— О, как я рад теперь, что вы приказали мне молчать! — воскликнул я.— Но мне бы хотелось еще более сурового испытания.

В этот миг она не осталась равнодушной к упоению, сквозившему в моих глазах, и не отвергла моего восторга — значит, она любила меня! Мы приехали к ней. К моему великому счастью, содержимого моего кошелька хватило, чтобы расплатиться с извозчиком. Я чудесно провел время наедине с нею у нее в доме; впервые мы виделись с ней таким образом. До этого дня свет, его стеснительная учтивость, его холодные условности вечно разлучали нас даже во время ее роскошных обедов; на этот раз я чувствовал себя с нею так, будто мы жили под одной кровлей,— она как бы принадлежала мне. Пламенное мое воображение разбивало оковы, по своей воле распоряжалось событиями, погружало меня в блаженство счастливой любви. Я представлял себя ее мужем и приходил в восторг, когда ее занимали разные мелочи; видеть, как она снимает шаль и шляпу, было для меня уже счастьем. На минуту она оставила меня одного и, поправив прическу, вернулась — она была обворожительна. И такою она хотела быть для меня! За обедом она была ко мне чрезвычайно внимательна, бесконечное ее обаяние проступало во всяких пустяках, которые как будто не имеют цены, но составляют половину жизни. Когда мы вдвоем уселись в креслах, обитых шелком, у потрескивающего камина, среди лучших измышлений восточной роскоши, когда я увидел так близко от себя женщину, прославленная красота которой заставляла биться столько сердец, когда эта недоступная женщина разговаривала со мной, обращая на меня всю

свою кокетливость,— мое блаженство стало почти мучительным. Но я вспомнил, что мне ведь, к несчастью, нужно было уйти по важному делу, и решил пойти на свидание, назначенное мне накануне.

— Как! Уже? — сказала она, видя, что я берусь за шляпу.

Она меня любила! По крайней мере я это подумал, заметив, как ласково произнесла она эти два слова. Чтобы продлить свой восторг, я отдал бы по два года своей жизни за каждый час, который ей угодно было уделить мне. А мысль о потере денег только увеличила мое счастье. Лишь в полночь она отпустила меня. Однако наутро мой героизм доставил мне немало горьких сожалений; я боялся, что упустил заказ на мемуары, дело для меня столь существенное; я бросился к Растиньяку, и мы застали еще в постели того, кто должен был поставить свое имя на будущих моих трудах. Фино прочел мне коротенький контракт, где и речи не было о моей тетушке, мы подписали его, и Фино отсчитал мне пятьдесят экю. Мы позавтракали втроем. Я купил новую шляпу, абонировался на шестьдесят обедов по тридцать су, расплатился с долгами, и у меня осталось только тридцать франков; но на несколько дней все трудности жизни были устранены. Послушать Растиньяка, так у меня были бы сокровища — стоило лишь принять *английскую систему*. Он во что бы то ни стало хотел устроить мне кредит и заставить меня войти в долги,— он уверял, что долги укрепляют кредит. Будущее, по его словам,— это самый крупный, самый солидный из всех капиталов. Под залог будущих моих достижений он поручил своему портному обшивать меня, ибо тот понимал, что такое *молодой человек*, и готов был не беспокоить меня до самой моей женитьбы. С этого дня я порвал с монашеской жизнью ученого, которую вел три года. Я стал завсегдатаем у Феодоры и старался перещеголять посещавших ее наглецов и любимцев общества. Полагая, что нищета мне уже не грозит, я чувствовал себя теперь в светском кругу непринужденно, сокрушал соперников и слыл за обаятельного, неотразимого сердцееда. Однако опытные интриганы говорили про меня: «У такого остряка страсти — в голове!» Они милостиво превозносили мой ум — за счет чувствительности. «Счастлив он,

что не любит! — восклицали они.— Если б он любил, разве был бы у него такой подъем, такая веселость?» А между тем, как истый влюбленный, я был донельзя глуп в присутствии Феодоры! Наедине с ней я не знал, что сказать, а если говорил, то лишь злословил о любви; я бывал жалок в своей веселости, как придворный, который хочет скрыть жестокую досаду. Словом, я старался стать необходимым для ее жизни, для ее счастья, для ее тщеславия; вечно подле нее, я был ее рабом, игрушкой, всегда готов был к ее услугам. Растратив таким образом свой день, я возвращался домой и, проработав всю ночь, засыпал лишь под утро на два, на три часа. Однако опыта в *английской системе* Растиньяка у меня не было, и вскоре я оказался без гроша. Тогда, милый мой друг, для меня, для фата без любовных побед, франта без денег, влюбленного, затаившего свою страсть, снова началась жизнь, полная случайностей; я снова впал в нужду, ту холодную и глубокую нужду, которую тщательно скрывают под обманчивой видимостью роскоши. Я вновь переживал свои первоначальные муки,— правда, с меньшею остротою: должно быть, я уже привык к их жестоким приступам. Сладкие пирожки и чай, столь скупо предлагаемые в гостиных, часто бывали единственной моей пищей. Случалось, что роскошные обеды графини служили мне пропитанием на два дня. Все свое время, все свои старания, всю наблюдательность я употреблял на то, чтобы глубже постигнуть непостижимый характер Феодоры. До сих пор на мои суждения влияла надежда или отчаяние: я видел в ней то женщину, страстно любящую, то самую бесчувственную представительницу своего пола; но эти смены радости и печали становились невыносимыми: я жаждал исхода ужасной этой борьбы, мне хотелось убить свою любовь. Мрачный свет горел порою у меня в душе, и тогда я видел между нами пропасть. Графиня оправдывала все мои опасения; ни разу не удалось мне подметить хотя бы слезинку у нее на глазах; в театре, во время самой трогательной сцены, она оставалась холодной и насмешливой. Всю тонкость своего ума она хранила для себя и никогда не догадывалась ни о чужой радости, ни о чужом горе. Словом, она играла мной. Радуясь, что я могу принести ей жертву, я почти унизился ради нее,

отправившись к своему родственнику, герцогу де Наваррену, человеку эгоистическому, который стыдился моей бедности и, так как был очень виноват передо мною, ненавидел меня. Он принял меня с той холодной учтивостью, от которой и в словах и в движениях появляется нечто оскорбительное. Его беспокойный взгляд возбудил во мне чувство жалости: мне стало стыдно, что он так мелок в своем величии, что он так ничтожен среди своей роскоши. Он завел речь об убытках, понесенных им на трехпроцентном займе; тогда я заговорил о цели моего визита. Перемена в его обращении, которое из ледяного мало-помалу превратилось в сердечное, была мне отвратительна. И что же, мой друг? Он пошел к графине и уничтожил меня. Феодора нашла для него неведомые чары и обольщения; она пленила его и без моего участия устроила таинственное свое дело, о котором я так ничего и не узнал. Я послужил для нее только средством!.. Когда мой родственник бывал у нее, она, казалось, не замечала меня и принимала, пожалуй, еще с меньшим удовольствием, чем в тот день, когда я был ей представлен. Раз вечером она унизила меня перед герцогом одним из тех жестов, одним из тех взглядов, которые никакие слова не могли бы описать. Я вышел в слезах, я строил планы мщения, обдумывая самые ужасные виды насилия... Я часто ездил с ней в Итальянский театр; там, возле нее, весь отдавшись любви, я созерцал ее, предаваясь очарованию музыки, истощая душу двойным наслаждением — любить и обретать в музыкальных фразах искусную передачу движений своего сердца. Моя страсть была в самом воздухе, вокруг нас, на сцене; она царила всюду, только не в сердце моего кумира. Я брал Феодору за руку и, всматриваясь в ее черты, в ее глаза, домогался того слияния чувств, той внезапной гармонии, которую пробуждает порою музыка, заставляя души вибрировать в унисон; но рука ее ничего не отвечала, и глаза не говорили ничего. Когда пламя сердца, исходящее от каждой моей черты, слишком сильно било ей в глаза, она дарила мне деланную улыбку, ту условную улыбку, которую воспроизводят все салонные портреты. Музыки она не слушала. Божественные страницы Россини, Чимарозы, Цингарелли не вызывали в ней никакого чувства, не будили никаких

поэтических воспоминаний: душа ее была бесплодна. Феодора сама являлась зрелищем в зрелище. Ее лорнет все время странствовал по ложам; вечно испытывая беспокойство, хотя и спокойная с виду, она была жертвою моды: ее ложа, шляпа, карета, собственная ее особа были для нее всем. Часто можно встретить людей, по внешности колоссов, в бронзовом теле которых бьется сердце доброе и нежное; она же под хрупкой и изящной оболочкой таила бронзовое сердце. Немало покровов было сорвано с нее роковой моей наукой. Если хороший тон состоит в том, чтобы забывать о себе ради других, чтобы постоянно сохранять мягкость в голосе и движениях, чтобы нравиться собеседнику, пробуждая в нем уверенность в самом себе,— то, несмотря на всю свою хитрость, Феодора не могла стереть с себя следы плебейского происхождения: самозабвение было у нее фальшью; ее манера держаться была не врожденной, но старательно выработанной; наконец, ее любезность отзывалась чем-то рабьим! И что же! Ее любимцы принимали сладкие ее слова за проявление доброты, претенциозные преувеличения — за благородный энтузиазм. Один лишь я изучил ее гримасы, снял с ее внутреннего существа ту тонкую оболочку, которою довольствуется свет; меня уже не могли обмануть ее кривлянья: я знал все тайники ее кошачьей души. Когда какой-нибудь дурак говорил ей комплименты и превозносил ее, мне было за нее стыдно. И все-таки я любил ее! Я надеялся, что любовь поэта теплым веяньем своих крыл растопит этот лед. Если бы мне хоть однажды удалось раскрыть ее сердце для женской нежности, если бы я приобщил ее к возвышенной жертвенности любви, она стала бы для меня совершенством, ангелом. Я любил ее, любил как мужчина, как возлюбленный, как художник,— меж тем, чтобы овладеть ею, нужно было не любить ее; надутый фат, холодный и расчетливый, быть может, покорил бы ее. Тщеславная, неискренняя, она, пожалуй, могла бы внимать голосу тщеславия, попасться в сети интригана; она подчинилась бы человеку холодному и сухому. Острою болью сжималось мое сердце, когда она наивно выказывала свой эгоизм. Я предвидел, что когда-нибудь она очутится в жизни одна со своею скорбью, не будет знать, к кому протянуть руку, не встретит дружеского

взгляда, который утешил бы ее. Как-то вечером я осмелился нарисовать ей в ярких красках ее старость, одинокую, холодную и печальную. Картина возмездия, которым грозила ей сама природа за измену ее законам, вызвала у нее бессердечные слова.

— Я всегда буду богатой,— сказала она.— Ну, а с золотом всегда найдешь вокруг себя чувства, необходимые для благополучия.

Я ушел, как громом пораженный логикой этой роскоши, этой женщины, этого света, порицая себя за свое дурацкое идолопоклонство. Я не любил Полину из-за ее бедности, ну, а разве богатая Феодора не имела права отвергнуть Рафаэля? Наша совесть — непогрешимый судья, пока мы еще не убили ее.

«Феодора никого не любит и никого не отвергает,— кричал во мне голос софиста,— она свободна, а когда-то отдалась за золото. Русский граф, не то любовник, не то муж, обладал ею. Будут у нее еще искушения в жизни! Подожди». Ни праведница, ни грешница, она жила вдали от человечества, в своей сфере, то ли в аду, то ли в раю. Женская тайна, облаченная в атлас и кружева, играла в моем сердце всеми человеческими чувствами: гордостью, честолюбием, любовью, любопытством... По прихоти моды или из желания казаться оригинальным, которое преследует всех нас, многие тогда были охвачены манией хвалить один маленький театр на бульваре. Графиня выразила желание посмотреть на обсыпанного мукой актера, доставлявшего удовольствие иным неглупым людям, и я удостоился чести сопровождать ее на первое представление какого-то скверного фарса. Ложа стоила всего только пять франков, но у меня гроша — и того, проклятого, не было. Мне оставалось еще написать полтома мемуаров, и я не смел молить о гонораре Фино, а Растиньяк, мой благодетель, был в отъезде. Денежные затруднения вечно отравляли мне жизнь. Как-то раз, когда мы под проливным дождем выходили из Итальянского театра, Феодора велела мне ехать домой в карете, и я никак не мог уклониться от ее показной заботливости; она ничего не желала слушать — ни о моей любви к дождю, ни о том, что я собираюсь в игорный дом. Она не догадывалась о моем безденежье ни по моему замешательству, ни по моим вымученным шуткам. Глаза мои

наливались кровью, но разве ей был понятен хоть один мой взгляд? Жизнь молодых людей подвержена поразительным случайностям. Пока я ехал, каждый оборот колеса рождал во мне новые мысли, они жгли мне сердце; я попробовал проломить доску в задней стенке кареты, чтобы выскользнуть на мостовую, но это оказалось невозможным, и на меня напал нервный хохот, сменившийся затем мрачным и тупым спокойствием человека, выставленного у позорного столба. Когда я добрался домой, при первых же словах, которые я пролепетал, Полина прервала меня:

— Если у вас нет мелочи...

Ах, музыка Россини ничто в сравнении с этими словами! Но вернемся к театру Фюнамбюль. Чтобы иметь возможность сопровождать графиню, я решил заложить золотой ободок от портрета моей матери. Хотя ссудная касса неизменно рисовалась моему воображению в виде ворот, ведущих на каторгу, все же лучше было самому снести туда все, что имеешь, чем просить милостыню. Взгляд человека, у которого вы просите денег, причиняет такую боль! Взять у иного взаймы стоит нам чести, так же как иной отказ, исходящий из дружеских уст, лишает нас последних иллюзий. Полина работала, ее мать уже легла. Бросив беглый взгляд на кровать, полог которой был слегка приподнят, я решил, что госпожа Годэн крепко спит: в тени, на подушке, был отчетливо виден ее спокойный желтый профиль.

— Вы расстроены? — спросила Полина, кладя кисть прямо на раскрашиваемый веер.

— Дитя мое, вы можете оказать мне большую услугу,— отвечал я.

На ее лице появилось выражение такого счастья, что я вздрогнул.

«Уж не любит ли она меня?» — мелькнуло у меня в голове.

— Полина!..— снова заговорил я.

Я сел подле нее, чтобы лучше за ней наблюдать. Она поняла меня,— таким испытующим был тон моего голоса; она опустила глаза; и я всматривался в нее, полагая, что могу читать в ее сердце, как в своем собственном,— такие наивные и чистые были у нее глаза.

— Вы любите меня? — спросил я.

— Любит — не любит...— засмеялась она.

Нет, она меня не любила. В ее шутливом тоне и очаровательном жесте сказывалась лишь признательность шаловливой молоденькой девушки. Я рассказал ей о своем безденежье, о затруднительных обстоятельствах и просил помочь мне.

— Как? — сказала она.— Сами вы не хотите идти в ссудную кассу, а посылаете меня!

Я покраснел, смущенный логикой ребенка. Она взяла меня за руку, точно желая смягчить вырвавшийся у нее невольный упрек.

— Я бы, конечно, туда сходила, но в этом нет нужды,— сказала она.— Сегодня утром я нашла у вас две монеты по пяти франков, они закатились за фортепьяно, а вы и не заметили. Я положила их вам на стол.

— Вы скоро должны получить деньги, господин Рафаэль,— сказала добрая ее матушка, высовывая голову из-за занавески.— Пока что я могу ссудить вам несколько экю.

— Полина,— вскричал я, сжимая ей руку,— как я хочу быть богатым!

— А зачем? — спросила она задорно.

Ее рука дрожала в моей, отвечая каждому биению моего сердца; она быстро отдернула руку и взглянула на мою ладонь.

— Вы женитесь на богатой, но она доставит вам много огорчений... Ах, боже мой, она погубит вас! Я убеждена.

В ее голосе слышалась вера в нелепые гадания ее матери.

— Вы очень легковерны, Полина!

— Ну, конечно, женщина, которую вы полюбите, погубит вас,— сказала она, глядя на меня с ужасом.

В сильном волнении она снова взялась за кисть, обмакнула ее в краску и больше уже не смотрела на меня. В эту минуту мне очень хотелось поверить в химерические приметы. Человек не бывает вполне несчастным, раз он суеверен. Суеверие часто не что иное, как надежда. Войдя к себе, я действительно увидел два благородных экю, появление которых показалось мне непостижимым. Борясь с дремотой, я все старался проверить свои расходы, чтобы найти объяснение этой неожиданной на-

ходке, но в конце концов уснул, запутавшись в бесплодных подсчетах. На другой день Полина зашла ко мне в ту минуту, когда я уже собирался идти брать ложу.

— Вам, может быть, мало десяти франков,— краснея, сказала добрая, милая девушка,— мама велела предложить вам эти деньги... Берите, берите!

Она положила на стол три экю и хотела убежать, но я удержал ее. Восхищение высушило слезы, навернувшиеся у меня на глаза.

— Полина,— сказал я,— вы ангел! Не так эти деньги трогают меня, как чистота чувства, с которым вы предложили их мне. Я мечтал о жене богатой, элегантной, титулованной. Увы, теперь я так хотел бы обладать миллионами и встретить молодую девушку, бедную, как вы, и, как вы, богатую душевно; я отказался бы от роковой страсти, которая убьет меня. Быть может, ваше предсказание сбудется.

— Довольно! — сказала она.

Она убежала, и на лестнице раздались звонкие трели соловьиного ее голоса.

«Счастлива она, что еще не любила!» — решил я, думая о мучениях, которые сам я испытывал уже несколько месяцев.

Пятнадцать франков Полины оказались для меня драгоценными. Феодора, сообразив, что в зале, где нам предстоит провести несколько часов, будет попахивать простонародьем, пожалела, что у нее нет букета; я сходил за цветами и поднес ей, а вместе с ними свою жизнь и все свое состояние. Я одновременно и радовался и испытывал угрызения совести, подавая ей букет, цена которого показала мне, до какой степени разорительны условные любезности, принятые в обществе. Скоро она пожаловалась на слишком сильный запах мексиканского жасмина, ей тошно стало смотреть на зрительный зал, сидеть на жесткой скамье; она упрекнула меня за то, что я привел ее сюда. Она сидела рядом со мной, и все же ей захотелось уехать; она уехала. Обречь себя на бессонные ночи, расточить два месяца жизни — и не угодить ей! Никогда еще этот демон не был таким прелестным и таким бесчувственным. По дороге, сидя с ней в тесной карете, я чувствовал ее дыхание, касался ее надушенной перчатки, видел рядом с собой сокровище ее кра-

соты, ощущал благоухание сладкое, как благоухание ириса — всю женщину и вместе с тем нисколько не женщину. И вдруг на одно мгновение глубины этой таинственной жизни озарились для меня. Я вспомнил о недавно вышедшей книге поэта, где замысел истинного художника был осуществлен с искусством Поликлета. Мне казалось, что я вижу это чудовище, которое, в облике офицера, способно было укротить бешеную лошадь, а в облике молодой девушки садилось за туалет; то доводило до отчаяния своих любовников; то, в образе любовника, доводило до отчаяния деву нежную и скромную. Не будучи в силах каким-либо иным способом разгадать Феодору, я рассказал ей эту фантастическую историю, но она ничем не обнаружила, что в этой поэме о невероятном видит сходство со своей жизнью, и лишь позабавилась ею от чистого сердца, как ребенок сказкой из «Тысячи и одной ночи».

«Верно, какое-нибудь тайное обстоятельство дает Феодоре силу противиться любви молодого, как я, человека, противиться заразительному пылу прекрасного душевного недуга,— рассуждал я по дороге домой.— Быть может, подобно леди Делакур, ее снедает рак? Конечно, в ее жизни есть что-то искусственное».

Дрожь охватила меня при этой мысли. И тут же у меня возник план, самый безрассудный и самый в то же время разумный, какой только может придумать влюбленный. Чтобы изучить эту женщину в ее телесной природе, как я изучил ее духовную сущность, чтобы, наконец, знать ее всю, я решил без ее ведома провести ночь у нее в спальне. Вот как я осуществил это намерение, пожиравшее мне душу, как жажда мщения грызет сердце корсиканского монаха. В приемные дни у Феодоры собиралось общество настолько многолюдное, что швейцар не мог уследить, сколько человек пришло и сколько ушло. Уверенный в том, что мне удастся незаметно остаться в доме, я с нетерпением ждал ближайшего вечера у графини. Одеваясь, я за неимением кинжала сунул в жилетный карман английский перочинный нож. Если бы у меня нашли это оружие литератора, оно не внушило бы никаких подозрений, а не зная, куда заведет меня мой романический замысел, я хотел быть вооруженным.

Когда гостиные начали наполняться, я прошел в спальню, чтобы все там исследовать, и увидел, что жалюзи и ставни закрыты,— начало было удачным; так как могла войти горничная, чтобы задернуть занавеси на окнах, то я сам их развязал: я подвергал себя большому риску, отважившись опередить служанку в ее работе по дому, однако, спокойно взвесив опасность своего намерения, я примирился с нею. Около полуночи я спрятался в амбразуре окна. Чтобы не было видно ног, я попробовал, прислонясь к стене и уцепившись за оконную задвижку, взобраться на плинтус панели. Изучив условия равновесия в этом положении и точку опоры, вымерив отделявшее меня от занавесок расстояние, я, наконец, освоился с трудностями настолько, что мог оставаться там, не рискуя быть обнаруженным, если только меня не выдадут судороги, кашель или чихание. Чтобы не утомлять себя без пользы, я стоял на полу, ожидая критического момента, когда мне придется повиснуть, как пауку на паутине. Занавески из белого муара и муслина образовывали передо мною толстые складки наподобие труб органа; я прорезал перочинным ножом дырки и, как из бойниц, мог видеть все. Из гостиных смутно доносились говор, смех и возгласы гостей. Этот глухой шум и неясная суета постепенно стихали. Несколько мужчин пришли взять шляпы с комода графини, стоявшего возле меня. Когда они касались занавесок, я дрожал при мысли о рассеянности, о случайных движениях, возможных у людей, которые второпях шарят повсюду. Счастливо избежав таких неприятностей, я уже предсказывал успех своему замыслу. Последнюю шляпу унес влюбленный в Феодору старик; думая, что он один, он взглянул на кровать и испустил тяжелый вздох, сопроводив его каким-то восклицанием, довольно энергичным. У графини в будуаре, рядом с ее спальней, еще оставалось человек шесть друзей, она предложила им чаю. И тут злословие — единственное, чему современное общество еще способно верить,— примешалось к эпиграммам, к остроумным суждениям, к позвякиванию чашек и ложечек. Едкие остроты Растиньяка, не щадившего моих соперников, вызывали бешеный хохот.

— Господин де Растиньяк — человек, с которым не следует ссориться,— смеясь, сказала графиня.

— Пожалуй,— простодушно отвечал он.— Я всегда оказывался прав в своей ненависти... И в дружбе также,— прибавил он.— Враги полезны мне, быть может, не меньше друзей. Я специально изучал наш современный язык и те естественные ухищрения, которыми пользуются, чтобы на все нападать или все защищать. Министерское красноречие является достижением общества. Ваш приятель не умен,— вы говорите о его честности, его чистосердечии. Другой приятель выпустил в свет тяжеловесную работу,— вы отдаете должное ее добросовестности; если книга плохо написана, вы хвалите ее за выраженные в ней идеи. Третий ни во что не верит, ежеминутно меняет свои взгляды, на него нельзя положиться,— что ж, зато он так мил, обаятелен, он очаровывает. Если речь идет о ваших врагах — валите на них как на мертвых. Тут уж можете говорить совсем по-другому: сколь искусно оттеняли вы достоинства своих друзей, столь же ловко обнаруживайте недостатки врагов. Умело применять увеличительные или уменьшительные стекла при рассмотрении вопросов морали — значит владеть секретом светской беседы и искусством придворного. Обходиться без этого — значит сражаться безоружным с людьми, закованными в латы, как рыцари. А я употребляю эти стекла! Иной раз даже злоупотребляю ими. Оттого-то меня и уважают — меня и моих друзей,— ибо, замечу кстати, и шпага моя стоит моего языка.

Один из наиболее пылких поклонников Феодоры, молодой человек, известный своей наглостью, которая служила ему средством выбиться в люди, поднял перчатку, столь презрительно брошенную Растиньяком. Заговорив обо мне, он стал преувеличенно хвалить мои таланты и меня самого. Этот вид злословия Растиньяк упустил из виду. Язвительно-похвальное слово ввело в заблуждение графиню, и она безжалостно принялась уничтожать меня; чтобы позабавить собеседников, она не пощадила моих тайн, моих притязаний, моих надежд.

— Это человек с будущим,— заметил Растиньяк — Быть может, когда-нибудь он жестоко отомстит за все; его таланты по меньшей мере равняются его мужеству; поэтому я назвал бы смельчаком того, кто на него нападает,— ведь он не лишен памяти...

—...настолько, что пишет «воспоминания»,— сказала

графиня, раздосадованная глубоким молчанием, воцарившимся после слов Растиньяка.

— ...Воспоминания лжеграфини, мадам! — отозвался Растиньяк.— Чтобы их писать, нужен особый вид мужества.

— Я не сомневаюсь, что у него много мужества,— заметила Феодора.— Он верен мне.

У меня был большой соблазн внезапно явиться перед насмешниками, как дух Банко в «Макбете». Я терял возлюбленную, зато у меня был друг! Однако любовь внушила мне один из тех трусливых и хитроумных парадоксов, которыми она усыпляет все наши горести.

«Если Феодора любит меня,— подумал я,— разве она не должна прикрывать свое чувство злой шуткой? Уж сколько раз сердце изобличало уста во лжи!»

Вскоре, наконец, и дерзкий мой соперник, который один оставался еще с графиней, собрался уходить.

— Как! Уже? — сказала она ласковым тоном, от которого я весь затрепетал.— И вы не подарите мне еще одно мгновение? Значит, вам нечего больше сказать мне? Вы не пожертвуете ради меня каким-нибудь из ваших удовольствий?

Он ушел.

— Ах! — воскликнула она, зевая.— Какие они все скучные!

Она с силой дернула за шнур сонетки, и в комнатах раздался звонок. Графиня вошла к себе, вполголоса напевая «Pria che spunti» [1]. Никто никогда не слыхал, чтобы она пела, и подобное безгласие порождало странные толки. Говорили, что первому своему возлюбленному, очарованному ее талантом и ревновавшему ее даже при мысли о времени, когда он будет лежать в могиле, она обещала никому не дарить того блаженства, которое он желал вкушать один. Все силы своей души я напряг, чтобы впивать эти звуки. Феодора пела все громче и громче; она точно воодушевлялась, голосовые ее богатства развертывались, и в мелодии появилось нечто божественное. У графини был хороший слух, сильный и чистый голос, и какие-то необыкновенные сладостные его пере-

---

[1] «Пока заря не настанет» *(итал.)* — слова арии из оперы итальянского композитора Чимарозы «Тайный брак».

ливы хватали за сердце. Музыкантши почти всегда влюблены. Женщина, которая так пела, должна была уметь и любить. От красоты этого голоса одною тайною больше становилось в женщине, и без того таинственной. Я видел ее, как вижу сейчас тебя; казалось, она прислушивается к звукам собственного голоса с каким-то особенным сладострастным чувством: она как бы ощущала радость любви. Заканчивая главную тему этого рондо, она подошла к камину, но, когда она умолкла, в лице ее произошла перемена, черты исказились, и весь ее облик выражал теперь утомление. Она сняла маску актрисы — она сыграла свою роль. Однако своеобразная прелесть была даже в этом подобии увядания, отпечатлевшемся на ее красоте — то ли от усталости актрисы, то ли от утомительного напряжения за весь этот вечер.

«Сейчас она настоящая!» — подумал я.

Точно желая согреться, она поставила ногу на бронзовую каминную решетку, сняла перчатки, отстегнула браслеты и через голову сняла золотую цепочку, на которой был подвешен флакончик для духов, украшенный драгоценными камнями. Неизъяснимое наслаждение испытывал я, следя за ее движениями, очаровательными, как у кошек, когда они умываются на солнце. Она посмотрела на себя в зеркало и сказала вслух недовольным тоном:

— Сегодня я была нехороша... Цвет лица у меня блекнет с ужасающей быстротой... Пожалуй, нужно раньше ложиться, отказаться от рассеянного образа жизни... Но что же это Жюстина? Смеется она надо мной?

Она позвонила еще раз; вбежала горничная. Где она помещалась — не знаю. Она спустилась по потайной лестнице. Я с любопытством смотрел на нее. Мое поэтическое воображение во многом подозревало эту высокую и статную смуглую служанку, обычно не показывавшуюся при гостях.

— Изволили звонить?

— Два раза! — отвечала Феодора.— Ты что, плохо слышать стала?

— Я приготовляла для вас миндальное молоко.

Жюстина опустилась на колени, расшнуровала своей госпоже высокие и открытые, как котурны, башмачки, сняла их, а в это время графиня, раскинувшись в мягком кресле у камина, зевала, запустив руки в свои волосы. Все

ее движения были вполне естественны, ничто не выдавало предполагаемых мною тайных страданий и страстей.

— Жорж влюблен,— сказала она,— я его рассчитаю. Он опять задернул сегодня занавески. О чем он думает?

При этом замечании вся кровь во мне остановилась, но разговор о занавесках прекратился.

— Жизнь так пуста!— продолжала графиня.— Ах, да осторожнее, не оцарапай меня, как вчера! Вот посмотри,— сказала она, показывая свое атласное колено,— еще остался след от твоих когтей.

Она сунула голые ноги в бархатные туфли на лебяжьем пуху и стала расстегивать платье, а Жюстина взяла гребень, чтобы причесать ее.

— Вам нужно, сударыня, выйти замуж, и деток бы...

— Дети! Только этого не хватало! — воскликнула она.— Муж! Где тот мужчина, за кого я могла бы... Что, хорошо я была сегодня причесана?

— Не очень.

— Дура!

— Взбитая прическа вам совсем не к лицу,— продолжала Жюстина,— вам больше идут гладкие крупные локоны.

— Правда?

— Ну, конечно, сударыня, взбитая прическа к лицу только блондинкам.

— Выйти замуж? Нет, нет. Брак — это не для меня.

Что за ужасная сцена для влюбленного! Одинокая женщина, без родных, без друзей, атеистка в любви, не верящая ни в какое чувство,— как ни слаба в ней свойственная всякому человеческому существу потребность в сердечном излиянии — вынуждена отводить душу в болтовне с горничной, произносить общие фразы или же говорить о пустяках!.. Мне стало жаль ее. Жюстина расшнуровала госпожу. Я с любопытством оглядел ее, когда с нее спал последний покров. Девственная ее грудь ослепила меня; сквозь сорочку бело-розовое ее тело сверкало при свечах, как серебряная статуя под газовым чехлом. Нет, в ней не было недостатков, из-за которых она могла бы страшиться нескромных взоров любовника. Увы, прекрасное тело всегда восторжествует над самыми воинственными намерениями. Госпожа села у огня, молчаливая, задумчивая, а служанка в это время зажигала

свечу в алебастровом светильнике, подвешенном над кроватью. Жюстина сходила за грелкой, приготовила постель, помогла госпоже лечь; потребовалось еще довольно много времени на мелкие услуги, свидетельствовавшие о глубоком почтении Феодоры к своей особе, затем служанка ушла. Графиня переворачивалась с боку на бок; она была взволнована, она вздыхала: с губ у нее срывался неясный, но доступный для слуха звук, изобличавший нетерпение; она протянула руку к столику, взяла склянку, накапала в молоко какой-то темной жидкости и выпила; наконец, несколько раз тяжело вздохнув, она воскликнула:

— Боже мой!

Эти слова, а главное, то выражение, какое Феодора придала им, разбили мое сердце. Понемногу она перестала шевелиться. Вдруг мне стало страшно; но вскоре до меня донеслось ровное и сильное дыхание спящего человека; я слегка раздвинул шуршащий шелк занавесей, вышел из своей засады, приблизился к кровати и с каким-то неописуемым чувством стал смотреть на графиню. В эту минуту она была обворожительна. Она закинула руку за голову, как дитя; ее спокойное красивое лицо в рамке кружев было столь обольстительно, что я воспламенился. Я не рассчитал своих сил, я не подумал, какая ждет меня казнь: быть так близко и так далеко от нее! Я вынужден был претерпевать все пытки, которые я сам себе уготовил! *Боже мой!* — этот единственный обрывок неведомой мысли, за который я только и мог ухватиться в своих догадках, сразу изменил мое представление о Феодоре. Ее восклицание, то ли ничего не значащее, то ли глубокое, то ли случайное, то ли знаменательное, могло выражать и счастье, и горе, и телесную боль, и озабоченность. Было то проклятие или молитва, дума о прошлом или о будущем, скорбь или опасение? Целая жизнь была в этих словах, жизнь в нищете или же в роскоши; в них могло таиться даже преступление! Вновь вставала загадка, скрытая в этом прекрасном подобии женщины: Феодору можно было объяснить столькими способами, что она становилась необъяснимой. Изменчивость вылетавшего из ее уст дыхания, то слабого, то явственно различимого, то тяжелого, то легкого, была своего рода речью, которой я

придавал мысли и чувства. Я приобщался к ее сонным грезам, я надеялся, что, проникнув в ее сны, буду посвящен в ее тайны, я колебался между множеством разнообразных решений, между множеством выводов. Созерцая это прекрасное лицо, спокойное и чистое, я не мог допустить, чтобы у этой женщины не было сердца. Я решил сделать еще одну попытку. Рассказать ей о своей жизни, о своей любви, своих жертвах — и мне, быть может, удастся пробудить в ней жалость, вызвать слезы,— у нее, никогда прежде не плакавшей! Все свои надежды я возлагал на этот последний опыт, как вдруг уличный шум возвестил мне о наступлении дня. На одну секунду я представил себе, что Феодора просыпается в моих объятиях. Я мог тихонько подкрасться, лечь рядом и прижать ее к себе. Эта мысль стала жестоко терзать меня, и, чтобы от нее отделаться, я выбежал в гостиную, не принимая никаких мер предосторожности; по счастью, я увидел потайную дверь, которая вела на узкую лестницу. Как я предполагал, ключ оказался в замочной скважине; я рванул дверь, смело спустился во двор и, не обращая внимания, видит ли кто-нибудь меня, в три прыжка очутился на улице.

Через два дня один автор должен был читать у графини свою комедию; я пошел туда с намерением пересидеть всех и обратиться к ней с довольно оригинальной просьбой — уделить мне следующий вечер, посвятить мне его целиком, закрыв двери для всех. Когда же я остался с нею вдвоем, у меня не хватило мужества. Каждый стук маятника пугал меня. Было без четверти двенадцать.

«Если я с нею не заговорю,— подумал я,— мне остается только разбить себе череп об угол камина».

Я дал себе сроку три минуты; три минуты прошли, черепа о мрамор я себе не разбил, мое сердце отяжелело, как губка в воде.

— Вы нынче чрезвычайно любезны,— сказала она.

— Ах, если бы вы могли понять меня! — воскликнул я.

— Что с вами? — продолжала она.— Вы бледнеете.

— Я боюсь просить вас об одной милости.

Она жестом ободрила меня, и я попросил ее о свидании.

— Охотно,— сказала она.— Но почему бы вам не высказаться сейчас?

— Чтобы не вводить вас в заблуждение, я считаю своим долгом пояснить, какую великую любезность вы мне оказываете: я желаю провести этот вечер подле вас, как если бы мы были братом и сестрой. Не бойтесь, ваши антипатии мне известны; вы хорошо меня знаете и можете быть уверены, что ничего для вас неприятного я добиваться не буду; к тому же люди дерзкие к подобным способам не прибегают. Вы мне доказали свою дружбу, вы добры, снисходительны. Так знайте же, что завтра я с вами прощусь... Не берите назад своего слова!— вскричал я, видя, что она собирается заговорить, и поспешно покинул ее.

В мае этого года, около восьми часов вечера, я сидел вдвоем с Феодорой в ее готическом будуаре. Я ничего не боялся, я верил, что буду счастлив. Моя возлюбленная будет принадлежать мне, иначе я найду себе приют в объятиях смерти. Я проклял трусливую свою любовь. Осознав свою слабость, человек черпает в этом силу. Графиня в голубом кашемировом платье полулежала на диване; опущенные ноги ее покоились на подушке. Восточный тюрбан, этот головной убор, которым художники наделяют древних евреев, сообщал ей особую привлекательность необычности. Лицо ее дышало тем переменчивым очарованием, которое доказывало, что в каждое мгновение нашей жизни мы — новые существа, неповторимые, без всякого сходства с нашим «я» в будущем и с нашим «я» в прошлом. Никогда еще не была Феодора столь блистательна.

— Знаете,— сказала она со смехом,— вы возбудили мое любопытство.

— И я его не обману! — холодно отвечал я. Сев подле нее, я взял ее за руку, она не противилась.— Вы прекрасно поете!

— Но вы никогда меня не слыхали! — воскликнула она с изумлением.

— Если понадобится, я докажу вам обратное. Итак, ваше дивное пение тоже должно оставаться в тайне? Не беспокойтесь, я не намерен в нее проникнуть.

Около часа провели мы в непринужденной болтовне. Я усвоил тон, манеры и жесты человека, которому

Феодора ни в чем не откажет, но и почтительность влюбленного я сохранял в полной мере. Так я, шутя, получил милостивое разрешение поцеловать ей руку; грациозным движением она сняла перчатку, и я сладострастно погрузился в иллюзию, в которую пытался поверить; душа моя смягчилась и расцвела в этом поцелуе. С невероятной податливостью Феодора позволяла ласкать себя и нежить. Но не обвиняй меня в глупой робости; вздумай я перейти предел этой братской нежности — в меня вонзились бы кошачьи когти. Минут десять мы хранили полное молчание. Я любовался ею, приписывая ей мнимые очарования. В этот миг она была моей, только моей... Я обладал прелестным этим созданием, насколько можно обладать мысленно; я облекал ее своею страстью, держал ее и сжимал в объятиях, мое воображение сливалось с нею. Я победил тогда графиню мощью магнетических чар. И вот я всегда потом жалел, что не овладел этой женщиной окончательно; но в тот момент я не хотел ее тела, я желал душевной близости, жизни, блаженства идеального и совершенного, прекрасной мечты, в которую мы верим недолго.

— Выслушайте меня,— сказал я, наконец, чувствуя, что настал последний час моего упоения.— Я люблю вас, вы это знаете, я говорил вам об этом тысячу раз, да вы и сами должны были об этом догадаться. Я не желал быть обязанным вашей любовью ни фатовству, ни лести или же назойливости глупца — и не был понят Каких только бедствий не терпел я ради вас! Однако вы в них неповинны! Но несколько мгновений спустя вы вынесете мне приговор. Знаете, есть две бедности. Одна бесстрашно ходит по улицам в лохмотьях и повторяет, сама того не зная, историю Диогена, скудно питаясь и ограничиваясь в жизни лишь самым необходимым; быть может, она счастливее, чем богатство, или по крайней мере хоть не знает забот и обретает целый мир там, где люди могущественные не в силах обрести ничего. И есть бедность, прикрытая роскошью, бедность испанская, которая таит нищету под титулом; гордая, в перьях, в белом жилете, в желтых перчатках, эта бедность разъезжает в карете и теряет целое состояние за неимением одного сантима. Первая —

это бедность простого народа, вторая — бедность мошенников, королей и людей даровитых. Я не простолюдин, не король, не мошенник; может быть, и не даровит; я исключение. Мое имя велит мне лучше умереть, нежели нищенствовать... Не беспокойтесь, теперь я богат, у меня есть все, что мне только нужно,— сказал я, заметив на ее лице то холодное выражение, какое принимают наши черты, когда нас застанет врасплох просительница из порядочного общества.— Помните тот день, когда вы решили пойти в Жимназ без меня, думая, что не встретитесь там со мною?

Она утвердительно кивнула головой.

— Я отдал последнее экю, чтобы увидеться с вами... Вам памятна наша прогулка в Зоологический сад? Все свои деньги я истратил на карету для вас.

Я рассказал ей о своих жертвах, описал ей свою жизнь — не так, как описываю ее сегодня тебе, не в пьяном виде, а в благородном опьянении сердца. Моя страсть изливалась в пламенных словах, в сердечных движениях, с тех пор позабытых мною, которых не могли бы воспроизвести ни искусство, ни память. То не было лишенное жара повествование об отвергнутой любви: моя любовь во всей своей силе и во всей красоте своего упования подсказала мне слова, которые отражают целую жизнь, повторяя вопли истерзанной души. Умирающий на поле сражения произносит так последние свои молитвы. Она заплакала. Я умолк. Боже правый! Ее слезы были плодом искусственного волнения, которое можно пережить в театре, заплатив за билет пять франков; я имел успех хорошего актера.

— Если бы я знала...— сказала она.

— Не договаривайте! — воскликнул я.— Пока я еще люблю достаточно сильно, чтобы убить вас...

Она схватилась было за шнур сонетки. Я рассмеялся.

— Звать не к чему,— продолжал я.— Я не помешаю вам мирно кончить дни свои. Убивать вас — значило бы плохо понимать голос ненависти! Не бойтесь насилия: я провел у вашей постели всю ночь и не...

— Как!..— воскликнула она покраснев. Но после первого движения, которым она была обязана стыдливости, свойственной каждой женщине, даже самой бес-

чувственной, она смерила меня презрительным взглядом и сказала: — Вам, вероятно, было очень холодно!

— Вы думаете, для меня так драгоценна ваша красота? — сказал я, угадывая волновавшие ее мысли.— Ваше лицо для меня — обетование души, еще более прекрасной, чем ваше тело. Ведь мужчины, которые видят в женщине только женщину, каждый вечер могут покупать одалисок, достойных сераля, и за недорогую цену наслаждаться их ласками... Но я был честолюбив, сердце к сердцу хотел я жить с вами, а сердца-то у вас и нет! Теперь я это знаю. Я убил бы мужчину, которому вы отдались бы. Но нет, ведь его вы любили бы, смерть его, может быть, причинила бы вам горе... Как я страдаю! — вскричал я.

— Если подобное обещание способно вас утешить,— сказала она весело,— могу вас уверить, что я не буду принадлежать никому...

— Вы оскорбляете самого бога и будете за это наказаны! — прервал я.— Придет день, когда вам станут невыносимы и шум и луч света; лежа на диване, осужденная жить как бы в могиле, вы почувствуете неслыханную боль. Будете искать причину этой медленной беспощадной пытки,— вспомните тогда о горестях, которые вы столь щедро разбрасывали на своем пути! Посеяв всюду проклятия, взамен вы обретете ненависть. Мы собственные свои судьи, палачи на службе у справедливости, которая царит на земле и которая выше суда людского и ниже суда божьего.

— Ах, какая же я, наверно, злодейка,— со смехом сказала она,— что не полюбила вас! Но моя ли то вина? Да, я не люблю вас. Вы мужчина, этим все сказано. Я нахожу счастье в своем одиночестве,— к чему же менять свою свободу, если хотите, эгоистическую, на жизнь рабыни? Брак — таинство, в котором мы приобщаемся только к огорчениям. Да и дети — это скука. Разве я честно не предупреждала вас, каков мой характер? Зачем вы не удовольствовались моей дружбой? Я бы хотела иметь возможность исцелить те раны, которые я нанесла вам, не догадавшись подсчитать ваши экю. Я ценю величие ваших жертв, но ведь не чем иным, кроме любви, нельзя отплатить за ваше самопожертвование, за вашу деликатность, а я люблю

вас так мало, что вся эта сцена мне неприятна — и только.

— Простите, я чувствую, как я смешон,— мягко сказал я, не в силах удержать слезы.— Я так люблю вас,— продолжал я,— что с наслаждением слушаю жестокие ваши слова. О, всей кровью своей готов я засвидетельствовать свою любовь!

— Все мужчины более или менее искусно произносят эти классические фразы,— возразила она, по-прежнему со смехом.— Но, по-видимому, очень трудно умереть у наших ног, ибо я всюду встречаю этих здравствующих покойников... Уже полночь, позвольте мне лечь спать.

— А через два часа вы воскликнете: «Боже мой!» — сказал я.

— Третьего дня... Да...— сказала она.— Я тогда подумала о своем маклере: я забыла ему сказать, чтобы пятипроцентную ренту он обменял на трехпроцентную, а ведь днем трехпроцентная упала.

В моих глазах сверкнула ярость. О, преступление иной раз может стать поэмой, я это понял! Пылкие объяснения были для нее привычны, и она, разумеется, уже забыла мои слова и слезы

— А вы бы вышли замуж за пэра Франции? — спросил я холодно.

— Пожалуй, если б он был герцогом.

Я взял шляпу и поклонился.

— Позвольте проводить вас до дверей,— сказала она с убийственной иронией в тоне, в жесте, в наклоне головы.

— Сударыня...

— Да, сударь?..

— Больше я не увижу вас.

— Надеюсь,— сказала она, высокомерно кивнув головой.

— Вы хотите быть герцогиней? — продолжал я, вдохновляемый каким-то бешенством, вспыхнувшим у меня в сердце от этого ее движения.— Вы без ума от титулов и почестей? Что ж, только позвольте мне любить вас, велите моему перу выводить строки, а голосу моему звучать для вас одной, будьте тайной основой моей жизни, моей звездою! Согласитесь быть моей

супругой только при условии, если я стану министром, пэром Франции, герцогом... Я сделаюсь всем, чем только вы хотите.

— Недаром вы обучались у хорошего адвоката,— сказала она с улыбкой,— в ваших речах есть жар.

— За тобой настоящее,— воскликнул я,— за мной будущее! Я теряю только женщину, ты же теряешь имя и семью. Время чревато местью за меня: тебе оно принесет безобразие и одинокую смерть, мне — славу.

— Благодарю за красноречивое заключение,— сказала она, едва удерживая зевок и всем своим существом выказывая желание больше меня не видеть.

Эти слова заставили меня умолкнуть. Я выразил во взгляде свою ненависть к ней и убежал. Мне нужно было забыть Феодору, образумиться, вернуться к трудовому уединению — или умереть. И вот я поставил перед собой огромную задачу: я решил закончить свои произведения. Две недели не сходил я с мансарды и ночи напролет проводил за работой. Несмотря на все свое мужество, вдохновляемое отчаянием, работал я с трудом, порывами. Муза покидала меня. Я не мог отогнать от себя блестящий и насмешливый призрак Феодоры. Каждая моя мысль сопровождалась другой, болезненной мыслью, неким желанием, мучительным, как упреки совести. Я подражал отшельникам из Фиваиды. Правда, я не молился, как они, но, как они, жил в пустыне; вместо того чтобы рыть пещеры, я рылся у себя в душе. Я готов был опоясать себе чресла поясом с шипами, чтобы физической болью укротить душевную боль.

Однажды вечером ко мне вошла Полина.

— Вы губите себя,— умоляющим голосом сказала она.— Вам нужно гулять, встречаться с друзьями.

— Ах, Полина, ваше пророчество сбывается! Феодора убивает меня, я хочу умереть. Жизнь для меня невыносима.

— Разве одна только женщина на свете?—улыбаясь, спросила она.— Зачем вы вечно себя мучаете? Ведь жизнь и так коротка.

Я устремил на Полину невидящий взгляд. Она оставила меня одного. Я не заметил, как она ушла, я слышал ее голос, но не улавливал смысла ее слов. Вскоре

«ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА».

«ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА»

после этого я собрался отнести рукопись к моему литературному подрядчику. Поглощенный страстью, я не думал о том, каким образом я живу без денег, я знал только, что четырехсот пятидесяти франков, которые я должен был получить, хватит на расплату с долгами; итак, я отправился за гонораром и встретил Растиньяка,— он нашел, что я изменился, похудел.

— Из какой ты вышел больницы? — спросил он.

— Эта женщина убивает меня,— отвечал я.— Ни презирать ее, ни забыть я не могу.

— Лучше уж убей ее, тогда ты, может быть, перестанешь о ней мечтать! — смеясь, воскликнул он.

— Я об этом думал,— признался я.— Иной раз я тешил душу мыслью о преступлении, насилии или убийстве, или о том и о другом зараз, но я убедился, что не способен на это. Графиня — очаровательное чудовище, она будет умолять о помиловании, а ведь не всякий из нас Отелло.

— Она такая же, как все женщины, которые нам недоступны,— прервал меня Растиньяк.

— Я схожу с ума! — вскричал я.— По временам я слышу, как безумие воет у меня в мозгу. Мысли мои — словно призраки: они танцуют предо мной, и я не могу их схватить. Я предпочту умереть, чем влачить такую жизнь. Поэтому я добросовестно ищу наилучшего средства прекратить эту борьбу. Дело уже не в Феодоре живой, в Феодоре из предместья Сент-Оноре, а в моей Феодоре, которая вот здесь! — сказал я, ударяя себя по лбу.— Какого ты мнения об опиуме?

— Что ты! Страшные мучения,— отвечал Растиньяк.

— А угарный газ?

— Гадость!

— А Сена?

— И сети и морг очень уж грязны.

— Выстрел из пистолета?

— Промахнешься и останешься уродом. Послушай,— сказал он,— как все молодые люди, я тоже когда-то думал о самоубийстве. Кто из нас к тридцати годам не убивал себя два-три раза? Однако я ничего лучше не нашел, как изнурить себя в наслаждениях. Погрузившись в глубочайший разгул, ты убьешь свою

страсть... или самого себя. Невоздержанность, милый мой,— царица всех смертей. Разве не от нее исходит апоплексический удар? Апоплексия — это пистолетный выстрел без промаха. Оргии дарują нам все физические наслаждения: разве это не тот же опиум, только в мелкой монете? Принуждая нас пить сверх меры, кутеж вызывает нас на смертный бой. Разве бочка мальвазии герцога Кларенса не вкуснее, чем ил на дне Сены? И всякий раз, когда мы честно валимся под стол, не легкий ли это обморок от угара? А если нас подбирает патруль и мы вытягиваемся на холодных нарах в кордегардии, то разве тут не все удовольствия морга, минус вспученный, вздутый, синий, зеленый живот, плюс сознание кризиса? Ах,— продолжал он,— это длительное самоубийство не то, что смерть обанкротившегося бакалейщика! Лавочники опозорили реку,— они бросаются в воду, чтобы растрогать своих кредиторов. На твоем месте я постарался бы умереть изящно. Если хочешь создать новый вид смерти, сражайся на поединке с жизнью так, как я тебе говорил,— я буду твоим секундантом. Мне скучно, я разочарован. У эльзаски, которую мне предложили в жены, шесть пальцев на левой ноге,— я не могу жить с шестипалой женой! Про это узнают, я стану посмешищем. У нее только восемнадцать тысяч франков дохода,— состояние ее уменьшается, а число пальцев увеличивается. К черту!.. Будем вести безумную жизнь — может быть, случайно и найдем счастье!

Растиньяк увлек меня. От этого проекта повеяло слишком сильными соблазнами, он зажигал слишком много надежд — словом, краски его были слишком поэтичны, чтобы не пленить поэта.

— А деньги? — спросил я.

— У тебя же есть четыреста пятьдесят франков?

— Да, но я должен портному, хозяйке...

— Ты платишь портному? Из тебя никогда ничего не выйдет, даже министра.

— Но что можно сделать с двадцатью луидорами?

— Играть на них.

Я вздрогнул.

— Эх ты! — сказал он, заметив, что во мне заго-

ворила щепетильность.— Готов без оглядки принять *систему рассеяния*, как я это называю, а боишься зеленого сукна!

— Послушай,— заговорил я,— я обещал отцу: в игорный дом ни ногой. И дело не только в том, что для меня это обещание свято, но на меня нападает неодолимое отвращение, когда я лишь прохожу мимо таких мест. Возьми у меня сто экю и иди туда один. Пока ты будешь ставить на карту наше состояние, я устрою свои дела и приду к тебе домой.

Вот так, милый мой, я и погубил себя. Стоит молодому человеку встретить женщину, которая его не любит, или женщину, которая его слишком любит, и вся жизнь у него исковеркана. Счастье поглощает наши силы, несчастье уничтожает добродетель. Вернувшись в гостиницу «Сен-Кантен», я долгим взглядом окинул мансарду, где вел непорочную жизнь ученого, которого, быть может, ожидали почет и долголетие, жизнь, которую не следовало покидать ради страстей, увлекавших меня в пучину. Полина застала меня в грустном размышлении.

— Что с вами? — спросила она.

Я холодно встал и отсчитал деньги, которые был должен ее матери, прибавив к ним полугодовую плату за комнату. Она посмотрела на меня почти с ужасом.

— Я покидаю вас, милая Полина.

— Я так и думала! — воскликнула она.

— Послушайте, дитя мое, от мысли вернуться сюда я не отказываюсь. Оставьте за мной мою келью на полгода. Если я не вернусь к пятнадцатому ноября, вы станете моей наследницей. В этом запечатанном конверте,— сказал я, показывая на пакет с бумагами,— рукопись моего большого сочинения «Теория воли»; вы сдадите ее в Королевскую библиотеку. А всем остальным, что тут останется, распоряжайтесь как угодно.

Взгляд Полины угнетал мне сердце. Передо мной была как бы воплощенная совесть.

— Больше у меня уроков не будет? — спросила она, указывая на фортепиано.

Я промолчал.

— Вы мне напишете?

— Прощайте, Полина.

Я мягко привлек ее к себе и запечатлел братский, стариковский поцелуй на ее милом лбу, девственном, как снег, еще не коснувшийся земли. Она убежала. Мне не хотелось видеть госпожу Годэн. Я повесил ключ на обычное место и вышел. Сворачивая с улицы Клюни, я услышал за собой легкие женские шаги.

— Я вышила вам кошелек, неужели вы откажетесь взять его? — сказала Полина.

При свете фонаря мне почудилось, что на глазах Полины блеснули слезы, и я вздохнул. Побуждаемые, вероятно, одною и тою же мыслью, мы расстались так поспешно, как будто убегали от чумы. Рассеянная жизнь, в которую я вступал, нашла себе причудливое выражение в убранстве комнаты Растиньяка, где я с благородной беспечностью дожидался его. Камин украшали часы с Венерой, сидящей на черепахе, а в объятиях своих Венера держала недокуренную сигару. Как попало была расставлена элегантная мебель — дары любящего сердца. Старые носки валялись на созданном для неги диване. Удобное мягкое кресло, в которое я опустился, было все в шрамах, как старый солдат; оно выставляло напоказ свои израненные руки и въевшиеся в его спину пятна помады и «античного масла» — следы, оставленные головами приятелей Растиньяка. В кровати, на стенах—всюду проступало наивное сочетание богатства и нищеты. Можно было подумать, что это неаполитанское палаццо, в котором поселились лаццарони. То была комната игрока, прощелыги, который создал свое особое понятие о роскоши, живет ощущениями и ничуть не обеспокоен резкими несоответствиями. Впрочем, эта картина была не лишена поэзии. Жизнь представала здесь со всеми своими блестками и лохмотьями, неожиданная, несовершенная, какова она и есть в действительности, но живая, причудливая, как на бивуаке, куда мародер тащит все, что попало. Разрозненными страницами Байрона затопил свой камин этот молодой человек, ставивший на карту тысячу франков, хотя подчас у него не было и полена дров, ездивший в тильбюри и не имевший крепкой сорочки. Завтра какая-нибудь графиня, актриса или карты наградят его королевским бельем. Вот свеча, вставленная в зеленую жестянку от фосфорного огнива, там валяется

женский портрет, лишенный своей золотой чеканной рамки. Ну, как может жаждущий волнений молодой человек отказаться от прелестей жизни, до такой степени богатой противоречиями, дарящей ему в мирное время все наслаждения военного быта? Я было задремал, как вдруг Растиньяк толкнул ногой дверь и крикнул:

— Победа! Теперь можно умирать по своему вкусу...

Он показал мне шляпу, полную золота, поставил ее на стол, и мы затанцевали вокруг нее, как два каннибала вокруг своей добычи; мы топотали ногами, подпрыгивали, рычали, тузили друг друга так, что могли бы, кажется, свалить носорога, мы пели при виде всех радостей мира, которые содержались для нас в этой шляпе.

— Двадцать семь тысяч франков,—твердил Растиньяк, присоединяя к куче золота несколько банковых билетов.— Другим таких денег хватило бы на всю жизнь, а нам хватит ли на смерть? О да! Мы испустим дух в золотой ванне... Ура!

И мы запрыгали снова. Мы, как наследники, поделили все, монету за монетой; начав с двойных наполеондоров, от крупных монет переходя к мелким, по капле цедили мы нашу радость, долго еще приговаривая: «Тебе!.. Мне!..»

— Спать мы не будем! — воскликнул Растиньяк.— Жозеф, пуншу!

Он бросил золото верному своему слуге.

— Вот твоя часть,— сказал он,— бери на помин души.

На следующий день я купил мебель у Лесажа, снял на улице Тэбу квартиру, где ты и познакомился со мной, и позвал лучшего обойщика. Я завел лошадей. Я кинулся в вихрь наслаждений, пустых и в то же время реальных. Я играл, то выигрывая, то теряя огромные суммы, но только на вечерах у друзей, а отнюдь не в игорных домах, которые по-прежнему внушали мне священный, первобытный ужас. Неприметно появились у меня друзья. Их привязанности я был обязан раздорам или же той доверчивой легкости, с какой мы выдаем друг другу свои тайны, роняя себя ради компании,— но, быть может, ничто так не связывает нас, как наши пороки? Я осмелился выступить на поприще изящной

словесности, и мои произведения были одобрены. Великие люди ходовой литературы, видя, что я вовсе не опасный соперник, хвалили меня, разумеется, не столько за мои личные достоинства, сколько для того, чтобы досадить своим товарищам. Пользуясь живописным выражением, вошедшим в язык ваших кутежей, я стал прожигателем жизни. Мое самолюбие было направлено на то, чтобы день ото дня губить себя, сокрушая самых веселых собутыльников своей выносливостью и своим пылом. Я был всегда свеж, всегда элегантен. Я слыл остряком. Ничто не изобличало во мне того ужасного существования, которое превращает человека в воронку, в аппарат для извлечения виноградного сока или же в выездную лошадь. Вскоре разгул явился передо мной во всем ужасном своем величии, которое я постиг до конца! Разумеется, люди благоразумные и степенные, которые наклеивают этикетки на бутылки, предназначенные для наследников, не в силах понять ни теории такой широкой жизни, ни ее нормального течения; где уж тут заразить провинциалов ее поэзией, если для них такие источники наслаждения, как опий и чай,— все еще только лекарства? И даже в Париже, столице мысли, разве мы не встречаем половинчатых сибаритов? Неспособные к наслаждениям чрезмерным, не утомляются ли они после первой же оргии, как добрые буржуа, которые, прослушав новую оперу Россини, проклинают музыку? Не так ли отрекаются они от этой жизни, как человек воздержанный отказывается от паштетов из гусиной печенки с трюфелями, потому что первый же такой паштет наградил его несварением желудка? Разгул — это, конечно, искусство, такое же, как поэзия, и для него нужны сильные души. Чтобы проникнуть в его тайны, чтобы насладиться его красотами, человек должен, так сказать, кропотливо изучить его. Как все науки, вначале он от себя отталкивает, он ранит своими терниями. Огромные препятствия преграждают человеку путь к сильным наслаждениям — не к мелким удовольствиям, а к тем *системам*, которые возводят в привычку редчайшие чувствования, сливают их воедино, оплодотворяют их, создавая особую, полную драматизма жизнь и побуждая человека к чрезмерному, стремительному расточению сил. Война,

власть искусства — это тоже соблазн, настолько же превышающий обыкновенные силы человеческие, настолько же влекущий, как и разгул, и все это трудно достижимо. Но раз человек взял приступом эти великие тайны, не шествует ли он в каком-то особом мире? Полководцев, министров, художников — всех их в той или иной мере влечет к распутству потребность противопоставить своей жизни, столь далекой от обычного существования, сильно действующие развлечения. И в конце концов война — это кровавый разгул, политика — разгул сталкивающихся интересов. Все излишества — братья. Эти социальные уродства обладают, как пропасти, притягательной силой; они влекут нас к себе, как остров святой Елены манил Наполеона; они вызывают головокружение, они завораживают, и, сами не зная зачем, мы стремимся заглянуть в бездну. Быть может, в ней есть идея бесконечности; быть может, в ней таится нечто чрезвычайно лестное для человеческой гордости — не привлекает ли тогда наша судьба всеобщего внимания? Ради контраста с блаженными часами занятий, с радостями творчества утомленный художник требует себе, то ли, как бог,— воскресного отдохновения, то ли, как дьявол,— сладострастия ада, чтобы деятельность чувств противопоставить деятельности умственных своих способностей. Для лорда Байрона не могла быть отдыхом болтовня за бостоном, которая пленяет рантье; ему, поэту, нужна была Греция, как ставка в игре с Махмудом. Разве человек не становится на войне ангелом смерти, своего рода палачом, только гигантских размеров? Чтобы мы могли принять те жестокие мучения, враждебные хрупкой нашей оболочке, которыми, точно колючей оградой, окружены страсти, разве не нужны совершенно особые чары? От неумеренного употребления табака курильщик корчится в судорогах и переживает своего рода агонию, зато в каких только странах, на каких только великолепных праздниках не побывал он! Разве Европа, не успев вытереть ноги, в крови по щиколотку, не затевала войны вновь и вновь? Быть может, людские массы тоже испытывают опьянение, как у природы бывают свои приступы любви? Для отдельного человека, для какого-нибудь Мирабо мирного времени,

прозябающего и мечтающего о бурях, в разгуле заключено все; кутеж — это непрестанная схватка, или, лучше сказать, поединок всей жизни с какой-то неведомой силой, с чудовищем; поначалу чудовище пугает, нужно схватить его за рога; это неимоверно трудно. Допустим, природа наделила вас слишком маленьким или слишком ленивым желудком; вы подчиняете его своей воле, расширяете его, учитесь усваивать вино, вы приручаете пьянство, проводите бессонные ночи — и вырабатываете у себя, наконец, телосложение гусарского полковника, вторично создаете себя, точно наперекор господу богу! Когда человек преобразился, подобно тому как ветеран приучил свою душу к артиллерийской пальбе, а ноги — к походам, когда новопосвященный еще не принадлежит чудовищу и между ними пока еще не установлено, кто из них господин,— они бросаются друг на друга, и то один, то другой одолевает противника, а происходит это в такой сфере, где все — чудо, где дремлют сердечные муки и оживают только призраки идей. Ожесточенная эта борьба становится уже необходимой. Воскрешая в себе баснословных героев, которые, согласно легендам, продали душу дьяволу, дабы стать могущественными в злодеяниях, расточитель платит своей смертью за все радости жизни, но зато как изобильны, как плодоносны эти радости! Вместо того чтобы вяло струиться вдоль однообразных берегов Прилавка или Конторы, жизнь его кипит и бежит, как поток. Наконец, для тела разгул — это, вероятно, то же самое, что мистические радости для души. Пьянство погружает нас в грезы, полные таких же любопытных фантасмагорий, как и экстатические видения. Тогда у нас бывают часы, очаровательные, как причуды молодой девушки, бывают приятные беседы с друзьями, слова, воссоздающие всю жизнь, радости бескорыстные и непосредственные, путешествия без утомления, целые поэмы в нескольких фразах. После того как мы потешили в себе зверя, в котором науке долго пришлось бы отыскивать душу, наступает волшебное оцепенение, по которому вздыхают те, кому опостылел рассудок. Не ощущают ли они необходимости полного покоя, не есть ли разгул подобие налога, который гений платит злу? Взгляни на всех великих людей: либо они сладо-

страстники, либо природа создает их хилыми. Некая насмешливая или ревнивая власть портит им душу или тело, чтобы уравновесить действие их дарований. В пьяные часы люди и вещи предстают перед тобой в образах, созданных твоей фантазией. Венец творения, ты видоизменяешь мир как тебе заблагорассудится. Во время этой беспрерывной горячки игра, по твоей доброй воле, вливает тебе в жилы расплавленный свинец. И вот в один прекрасный день ты весь во власти чудовища; тогда у тебя настает, как это было со мною, грозное пробуждение: у твоего изголовья сидит бессилие. Ты старый вояка — тебя снедает чахотка, ты дипломат — у тебя аневризм сердца, и жизнь твоя висит на волоске; может быть, и мне грудная болезнь скажет: «Пора!», как когда-то сказала она Рафаэлю из Урбино, которого погубили излишества в любви. Вот как я жил! Я появился на свет слишком рано или слишком поздно; конечно, моя сила стала бы здесь опасна, если б я не притупил ее таким образом,— ведь геркулесова чаша на исходе оргии избавила вселенную от Александра. В конце концов тем, у кого жизнь не удалась, необходим рай или ад, разгул или богадельня. Сейчас у меня не хватило мужества читать мораль этим двум существам,— сказал он, указывая на Евфрасию и Акилину.— Разве они не олицетворение моей истории, не воплощение моей жизни? Я не мог обвинять их,— они сами явились передо мной как судьи.

На середине этой живой поэмы, в объятиях этой усыпляющей болезни все же был два раза у меня приступ, причинивший мне жгучую боль. Первый приступ случился несколько дней спустя после того как я, подобно Сарданапалу, бросился в костер; в вестибюле Итальянского театра я встретил Феодору. Мы ждали экипажей. «А, вы еще живы!» — так можно было понять ее улыбку и те коварные невнятные слова, с которыми она обратилась к своему чичисбею, разумеется, поведав ему мою историю и определив мою любовь как любовь пошлую. Она радовалась мнимой своей прозорливости. О, умирать из-за нее, все еще обожать ее, видеть ее перед собой, даже предаваясь излишествам в миг опьянения на ложе куртизанок,— и сознавать себя мишенью для ее насмешек! Быть не в силах разорвать

себе грудь, вырвать оттуда любовь и бросить к ее ногам!

Я скоро растратил свое богатство, однако три года правильной жизни наделили меня крепчайшим здоровьем, и в тот день, когда я очутился без денег, я чувствовал себя превосходно. Чтобы продолжить свое самоубийство, я выдал несколько краткосрочных векселей, и день платежа настал. Жестокие волнения! А как бодрят они юные души! Я не рожден для того, чтобы рано состариться; моя душа все еще была юной, пылкой, бодрой. Мой первый вексель пробудил было все прежние мои добродетели; они пришли медленным шагом и, опечаленные, предстали передо мной. Мне удалось уговорить их, как старых тетушек, которые сначала ворчат, но в конце концов расплачутся и дадут денег. Мое воображение было более сурово, оно рисовало мне, как мое имя странствует по Европе, из города в город. *Наше имя — это мы сами!* — сказал Евсевий Сальверт. Как двойник одного немца, я после скитаний возвращался в свое жилище, откуда в действительности и не думал выходить, и внезапно просыпался. Когда-то, встречаясь на улицах Парижа с банковскими посыльными, этими укорами коммерческой совести, одетыми в серое, носящими ливрею с гербом своего хозяина — с серебряной бляхой, я смотрел на них равнодушно; теперь я заранее их ненавидел. Разве не явится ко мне кто-нибудь из них однажды утром и не потребует ответа относительно одиннадцати выданных мной векселей? Моя подпись стоила три тысячи франков — столько, сколько не стоил я сам! Судебные пристава, бесчувственные ко всякому горю, даже к смерти, вставали передо мною, как палачи, говорящие приговоренному: «Половина четвертого пробило!» Их писцы имели право схватить меня, нацарапать мое имя в своих бумажонках, пачкать его, насмехаться над ним. Я был должником! Кто задолжал, тот разве может принадлежать себе? Разве другие люди не вправе требовать с меня отчета, как я жил? Зачем я поедал пудинги а-ля́ чиполлата? Зачем я пил шампанское? Зачем я спал, ходил, думал, развлекался, не платя им? В минуту, когда я упиваюсь стихами, или углублен в какую-нибудь мысль, или же, сидя за завтраком, окружен друзьями, радостя-

ми, милыми шутками,— передо мной может предстать господин в коричневом фраке, с потертой шляпой в руке. И обнаружится, что господин этот — мой *Вексель*, мой *Долг*, призрак, от которого угаснет моя радость; он заставит меня выйти из-за стола и разговаривать с ним; он похитит у меня мою веселость, мою возлюбленную — все, вплоть до постели. Да, укоры совести более снисходительны, они не выбрасывают нас на улицу и не сажают в Сент-Пелажи, не толкают в гнусный вертеп порока; они никуда не тащат нас, кроме эшафота, где палач нас облагораживает: во время самой казни все верят в нашу невинность, меж тем как у разорившегося кутилы общество не признает ни единой добродетели. Притом эти двуногие долги, одетые в зеленое сукно, в синих очках, с выгоревшими зонтиками, эти воплощенные долги, с которыми мы сталкиваемся лицом к лицу на перекрестке в то самое мгновение, когда на лице у нас улыбка, пользуются особым, ужасным правом — правом сказать: «Господин де Валантен мне должен и не платит. Он в моих руках. О, посмей он только подать вид, что ему неприятно со мной встречаться!» Кредиторам необходимо кланяться, и кланяться приветливо. «Когда вы мне заплатите?» — говорят они. И ты обязан лгать, выпрашивать деньги у кого-нибудь другого, кланяться дураку, восседающему на своем сундуке, встречать его холодный взгляд, взгляд лихоимца, более оскорбительный, чем пощечина, терпеть его Баремову мораль и грубое его невежество. Долги — это спутники сильного воображения, чего не понимают кредиторы. Порывы души увлекают и часто порабощают того, кто берет взаймы, тогда как ничто великое не порабощает, ничто возвышенное не руководит теми, кто живет ради денег и ничего, кроме денег, не знает. Мне деньги внушали ужас. Наконец, вексель может преобразиться в старика, обремененного семейством и наделенного всяческими добродетелями. Я мог бы стать должником какой-нибудь одушевленной картины Грёза, паралитика, окруженного детьми, вдовы солдата, и все они стали бы протягивать ко мне руки с мольбой. Ужасны те кредиторы, с которыми надо плакать; когда мы им заплатим, мы должны еще оказывать им помощь. Накануне срока платежа я лег спать с тем

мнимым спокойствием, с каким спят люди перед казнью, перед дуэлью, позволяя обманчивой надежде убаюкивать их. Но когда я проснулся и пришел в себя, когда я почувствовал, что душа моя запрятана в бумажнике банкира, покоится в описях, записана красными чернилами, то отовсюду, точно кузнечики, стали выскакивать мои долги: они были в часах, на креслах; ими была инкрустирована моя любимая мебель. Мои вещи станут добычею судейских гарпий, и милых моих неодушевленных рабов судебные пристава уволокут и как попало свалят на площади. Ах, мой скарб был еще частью меня самого! Звонок моей квартиры отзывался у меня в сердце, поражая меня в голову, куда и полагается разить королей. То было мученичество — без рая в качестве награды. Да, для человека благородного долг — это ад, но только ад с судебными приставами, с поверенными в делах. Неоплаченный долг — это низость, это мошенничество в зародыше, хуже того — ложь. Он замышляет преступления, он собирает доски для эшафота. Мои векселя были опротестованы. Три дня спустя я заплатил по ним. Вот каким образом: ко мне явился перекупщик с предложением продать ему принадлежавший мне остров на Луаре, где находится могила моей матери; я согласился. Подписывая контракт с покупщиком у его нотариуса, я почувствовал, как в этой темной конторе на меня пахнуло погребом. Я вздрогнул, вспомнив, что такая же сырость и холод охватили меня на краю могилы, куда опустили моего отца. Мне это показалось дурною приметою. Мне почудился голос матери, ее тень; не знаю, каким чудом сквозь колокольный звон мое собственное имя чуть слышно раздалось у меня в ушах! От денег, полученных за остров, у меня, по уплате всех долгов, осталось две тысячи франков. Конечно, я мог бы снова повести мирную жизнь ученого, вернуться после всех экспериментов на свою мансарду — вернуться с огромным запасом наблюдений и пользуясь уже некоторой известностью. Но Феодора не выпустила своей добычи. Я часто сталкивался с нею. Я заставил ее поклонников протрубить ей уши моим именем — так все были поражены моим умом, моими лошадьми, успехами, экипажами. Она оставалась холодной и бесчувственной ко всему, даже к ужас-

ным словам: «Он губит себя из-за вас», которые произнес Растиньяк. Всему свету поручал я мстить за себя, но счастлив я не был. Я раскопал всю грязь жизни, и мне все больше не хватало радостей разделенной любви, я гонялся за призраком среди случайностей моего разгульного существования, среди оргий. К несчастью, я был обманут в лучших своих чувствах, за благодеяния наказан неблагодарностью, а за провинности вознагражден тысячью наслаждений. Философия мрачная, но для кутилы правильная! К тому же Феодора заразила меня проказой тщеславия. Заглядывая к себе в душу, я видел. что она поражена гангреной, что она гниет. Демон оставил у меня на лбу отпечаток своей петушиной шпоры. Отныне я уже не мог обойтись без трепета жизни, в любой момент подвергающейся риску, и без проклятых утонченностей богатства. Будь я миллионером, я бы все время играл, пировал, суетился. Мне больше никогда не хотелось побыть одному. Мне нужны были куртизанки, мнимые друзья, изысканные блюда, вино, чтобы забыться. Нити, связывающие человека с семьей, порвались во мне навсегда. Я был приговорен к каторге наслаждений, я должен был до конца осуществить то, что подсказывал мой роковой жребий — жребий самоубийцы. Расточая последние остатки своего богатства, я предавался излишествам невероятным, но каждое утро смерть отбрасывала меня к жизни. Подобно некоему владельцу пожизненной ренты, я мог бы спокойно войти в горящее здание. В конце концов у меня осталась единственная двадцатифранковая монета, и тогда мне пришла на память былая удача Растиньяка...

— Эге! — вспомнив вдруг про талисман, вскричал Рафаэль и вытащил его из кармана.

То ли борьба за долгий этот день утомила его, и он не в силах был править рулем своего разума в волнах вина и пунша, то ли воспоминания возбуждали его и незаметно опьянил его поток собственных слов — словом, Рафаэль воодушевился, впал в восторженное состояние и как будто обезумел.

— К черту смерть! — воскликнул он, размахивая шагреневой кожей.— Теперь я хочу жить! Я богат — значит, обладаю всеми достоинствами! Ничто не устоит

передо мною. Кто не стал бы добродетельным, раз ему доступно все? Хе-хе! Ого! Я хотел двухсот тысяч дохода, и они у меня будут. Кланяйтесь мне, свиньи, развалившиеся на коврах, точно на навозе! Вы принадлежите мне, вот так славное имущество! Я богат, я всех вас могу купить, даже вон того депутата, который так громко храпит. Ну что ж, благословляйте меня, великосветская сволочь! Я папа римский!

Восклицания Рафаэля, до сих пор заглушавшиеся густым непрерывным храпом, неожиданно были расслышаны. Большинство спавших проснулось с криком; но, заметив, что человек, прервавший их сон, плохо держится на ногах и шумит во хмелю, они выразили свое возмущение целым концертом брани.

— Молчать! — крикнул Рафаэль.— На место, собаки! Эмиль, я сказочно богат, я подарю тебе гаванских сигар.

— Я внимательно слушаю,— отозвался поэт.— *Феодора или смерть!* Продолжай свой рассказ. Эта кривляка Феодора надула тебя. Все женщины — дщери Евы. В твоей истории нет ничего драматического.

— А, ты спал, притворщик?

— Нет... *Феодора или смерть!*.. Продолжай...

— Проснись! — вскричал Рафаэль, хлопая Эмиля шагреневой кожей, точно желая извлечь из нее электрический ток.

— Черт побери! — сказал Эмиль, вскакивая и обхватывая Рафаэля руками.— Друг мой, помни, что ты здесь среди женщин дурного поведения.

— Я миллионер!

— Миллионер ты или нет, но уж во всяком случае пьян.

— Пьян властью. Я могу тебя убить!.. Молчать! Я Нерон! Я Навуходоносор!

— Рафаэль, мы ведь в дурном обществе, ты бы хоть из чувства собственного достоинства помолчал.

— Я слишком долго молчал в жизни. Теперь я отомщу за себя всему миру! Мне больше не доставит удовольствия швырять направо и налево презренный металл,— в малом виде я буду повторять свою эпоху, буду пожирать человеческие жизни, умы, души. Вот она,

роскошь настоящая, а не какая-то жалкая роскошь. Разгул во время чумы. Не боюсь ни желтой лихорадки, ни голубой, ни зеленой, не боюсь ни армий, ни эшафотов. Могу завладеть Феодорой... Нет, не хочу Феодоры, это моя болезнь, я умираю от Феодоры! Хочу забыть Феодору!

— Если ты будешь так кричать, я утащу тебя в столовую.

— Ты видишь эту кожу? Это завещание Соломона. Он мне принадлежит, Соломон, царь-педант! И Аравия моя, и Петрея в придачу. Вся вселенная — моя! И ты — мой, если захочу. Да, если захочу — берегись! Могу купить всю твою лавочку, журналист, и будешь ты моим лакеем. Будешь мне сочинять куплеты, линовать бумагу. Лакей! Это значит ему все нипочем — он не думает ни о чем.

При этих словах Эмиль утащил Рафаэля в столовую.

— Ну, хорошо, друг мой, я твой лакей,— сказал он.— А ты будешь главным редактором газеты. Молчи! Из уважения ко мне веди себя прилично! Ты меня любишь?

— Люблю ли? У тебя будут гаванские сигары, раз я владею этой кожей. А все — кожа, друг мой, всемогущая кожа! Превосходное средство, выводит даже мозоли. У тебя есть мозоли? Я выведу их...

— До такой глупости ты еще никогда не доходил!

— Глупости? Нет, мой друг! Эта кожа съеживается, когда у меня является хоть какое-нибудь желание... Это точно вопрос и ответ. Брамин... Тут замешан брамин!.. Так вот этот брамин — шутник, потому что, видишь ли, желания должны растягивать...

— Ну, да.

— Я хочу сказать...

— Да, да, совершенно верно, я тоже так думаю. Желание растягивает...

— Я хочу сказать — кожу!

— Да, да.

— Ты мне не веришь? Я тебя знаю, друг мой: ты лжив, как новый король.

— Сам посуди, можно ли принимать всерьез твою пьяную болтовню?

— Ручаюсь, что докажу тебе. Снимем мерку...

— Ну, теперь он не заснет! — воскликнул Эмиль, видя, что Рафаэль начал шарить по столовой.

Благодаря тем странным проблескам сознания, которые чередуются у пьяных с сонными грезами хмеля, Рафаэль с обезьяньим проворством отыскал чернильницу и салфетку; при этом он все повторял:

— Снимем мерку! Снимем мерку!

— Ну что ж,— сказал Эмиль,— снимем мерку.

Два друга расстелили салфетку и положили на нее шагреневую кожу. В то время как Эмиль, у которого рука была, казалось, увереннее, чем у Рафаэля, обводил чернилами контуры талисмана, его друг говорил ему:

— Я пожелал себе двести тысяч франков дохода, не правда ли? Так вот, когда они у меня будут, ты увидишь, что шагрень уменьшится.

— Ну, конечно, уменьшится. А теперь спи. Хочешь, я устрою тебя на этом диванчике? Вот так, удобно тебе?

— Да, питомец Печати. Ты будешь забавлять меня, отгонять мух. Тот, кто был другом в несчастье, имеет право быть другом в могуществе. Значит, я подарю тебе га-ван-ских си...

— Ладно, проспи свое золото, миллионер.

— Проспи свои статьи. Покойной ночи. Пожелай же покойной ночи Навуходоносору!.. Любовь! Пить! Франция.... Слава и богатство... богатство...

Вскоре оба друга присоединили свой храп к той музыке, что раздавалась в гостиных. Дикий концерт! Одна за другой гасли свечи, трескались хрустальные розетки. Ночь окутала своим покрывалом долгую оргию, среди которой рассказ Рафаэля был как бы оргией речей, лишенных мысли, и мыслей, для которых не хватало слов.

На другой день, около двенадцати, прекрасная Акилина встала, зевая, не выспавшись; на щеке ее мраморными жилками отпечатался узор бархатной обивки табурета, на котором лежала ее голова. Евфрасия, разбуженная движениями подруги, вскочила с хриплым криком; ее миловидное личико, такое беленькое, такое свежее накануне, теперь было желто и бледно, как у девушки, которая идет в больницу. Гости один за другим с тяжкими стонами начинали шевелиться; руки и ноги у них затекли, каждый чувствовал при

пробуждении страшную слабость во всем теле. Лакей открыл в гостиных жалюзи и окна. Теплые лучи солнца заиграли на лицах спящих, и все сборище поднялось на ноги. Женщины, ворочаясь во сне, разрушили изящное сооружение своих причесок, измяли свои туалеты — и теперь, при дневном свете, представляли собой отвратительное зрелище: волосы висели космами, черты приобрели совсем другое выражение, глаза, прежде такие блестящие, потускнели от усталости. Смуглые лица, такие яркие при свечах, теперь были ужасны, лица лимфатические, такие белые, такие нежные, когда они не изнурены усталостью, позеленели; губы, еще недавно такие прелестные, алые, а теперь сухие и бледные, носили на себе постыдные стигматы пьянства. Мужчины, видя, как увяли, как помертвели их ночные возлюбленные — точно цветы, затоптанные процессией молящихся,— отреклись от них. Но сами эти надменные мужчины были еще ужаснее. Каждый невольно вздрогнул бы при взгляде на эти человеческие лица с кругами у впалых глаз, которые остекленели от пьянства, отупели от беспокойного сна, скорее расслабляющего, чем восстанавливающего силы, и, казалось, ничего не видели; что-то дикое, холодно-зверское было в этих осунувшихся лицах, на которых физическое вожделение проступало в обнаженном виде, без той поэзии, какою приукрашает их наша душа. Такое пробуждение порока, представшего без покровов и румянца, как скелет зла, ободранный, холодный, пустой, лишенный софизмов ума и очарований роскоши, ужаснуло неустрашимых этих атлетов, как ни привыкли они вступать в схватку с разгулом. Художники и куртизанки хранили молчание, блуждающим взором окидывая беспорядок в зале, где все было опустошено и разрушено огнем страстей. Вдруг поднялся сатанинский хохот — это Тайфер, услыхав хриплые голоса своих гостей, попытался приветствовать их гримасой; глядя на его потное, налившееся кровью лицо, казалось, что над этой адской сценой встает образ преступления, не знающего укоров совести. (См. «Красную гостиницу».) Картина получилась завершенная. То была грязь на фоне роскоши, чудовищная смесь великолепия и человеческого убожества, образ пробудившегося разгу-

ла после того, как он алчными своими руками выжал все плоды жизни, расшвыряв вокруг себя лишь мерзкие объедки — обманы, в которые он уже не верит. Казалось, что Смерть улыбается среди зачумленной семьи: ни благовоний, ни ослепительного света, ни веселья, ни желаний, только отвращение с его тошнотворными запахами и убийственной философией. Но солнце, сияющее, как правда, но воздух, чистый, как добродетель, составляли контраст с духотой, насыщенной миазмами — миазмами оргии! Несмотря на привычку к пороку, не одна из этих молодых девушек вспомнила, как она пробуждалась в былые дни и как она, невинная, чистая, глядела в окно деревенского домика, обвитое жимолостью и розами, любовалась утреннею природой, завороженною веселыми трелями жаворонка, освещенною пробившимися сквозь туман лучами зари и прихотливо разубранною алмазами росы. Другие рисовали себе семейный завтрак, стол, вокруг которого невинно смеялись дети и отец, где все дышало невыразимым обаянием, где кушанья были просты, как и сердца. Художник думал о мирной своей мастерской, о целомудренной статуе, о прелестной натурщице, ожидавшей его. Молодой адвокат, вспомнив о процессе, от которого зависела судьба целой семьи, думал о важной сделке, требовавшей его присутствия. Ученый тосковал по своему кабинету, где его ожидал благородный труд. Почти все были недовольны собой. В это время, смеясь, появился Эмиль, свежий и розовый, как самый красивый приказчик модного магазина.

— Вы безобразнее судебных приставов! — воскликнул он.— Сегодня вы ни на что не годны, день потерян, мой ссвет — завтракать.

При этих словах Тайфер вышел распорядиться. Женщины расслабленной походкой двинулись к зеркалам, чтобы привести себя в порядок. Все очнулись. Самые порочные поучали благоразумнейших. Куртизанки посмеивались над теми, кто, по-видимому, не находил в себе сил продолжать это изнурительное пиршество. В одну минуту призраки оживились, стали собираться кучками, обратились друг к другу с вопросами, заулыбались. Ловкие и проворные лакеи быстро расставили в комнатах все по местам. Был подан роскошный зав-

трак. Гости ринулись в столовую. Здесь все носило неизгладимый отпечаток вчерашней оргии, но сохранялся хоть проблеск жизни и мысли, как в последних судорогах умирающего. Точно во время карнавала, разгульная масленица была похоронена масками, которые устали плясать, упились пьянством, но, несмотря ни на что, упорно желали продолжать наслаждение, только чтобы не признаться в собственном бессилии. Когда бесстрашные гости уселись вокруг стола банкира, Кардо, накануне предусмотрительно исчезнувший после обеда, чтобы закончить оргию в супружеской постели, вдруг появился опять, угодливо и сладко улыбаясь. Казалось, он пронюхал о каком-то наследстве и готовился его посмаковать, составляя опись, перебеляя ее и подвергая имущество разделу,— о наследстве, обильном всякого рода нотариальными актами, чреватом гонорарами, столь же лакомом, как сочное филе, в которое амфитрион втыкал сейчас нож.

— Итак, мы будем завтракать в нотариальном порядке! — воскликнул де Кюрси.

— Вы являетесь кстати, чтобы произвести учет всей этой движимости,— сказал банкир, обращаясь к Кардо и указывая на пиршественный стол.

— Завещаний составлять не придется, а вот разве брачные контракты,— сказал ученый, который год тому назад в высшей степени удачно женился первым браком.

— Ого!

— Ага!

— Одну минутку,— сказал Кардо, оглушенный хором плоских шуток,— я пришел по важному делу. Я принес одному из вас шесть миллионов.— (*Глубокое молчание.*)— Милостивый государь,— сказал он, обращаясь к Рафаэлю, который в это время бесцеремонно протирал глаза уголком салфетки,— ваша матушка — урожденная О'Флаэрти?

— Да,— машинально отвечал Рафаэль.— Варвара-Мария.

— Имеются ли у вас акты о рождении вашем и госпожи де Валантен? — продолжал Кардо.

— Конечно.

— Ну, так вот, милостивый государь, вы единствен-

ный и полноправный наследник майора О'Флаэрти, скончавшегося в августе тысяча восемьсот двадцать восьмого года в Калькутте.

— Калькуттского богатства не прокалькулируешь! — вскричал *знаток*.

— Майор в своем завещании отказал значительные суммы некоторым общественным учреждениям, и французское правительство вытребовало наследство у Ост-Индской компании,— продолжал нотариус.— В настоящий момент оно учтено и свободно от долгов. Я две недели тщетно разыскивал лиц, заинтересованных в наследстве госпожи Варвары-Марии О'Флаэрти, как вдруг вчера за столом...

Но тут Рафаэль вскочил и сделал такое резкое движение, как будто его ранили. Присутствующие словно вскрикнули беззвучно; первым чувством гостей была глухая зависть; все обратили к Рафаэлю горящие взоры. Затем поднялся шум, какой бывает в раздраженном партере, волнение все усиливалось, каждому хотелось что-нибудь сказать в виде приветствия огромному состоянию, принесенному нотариусом. Сразу отрезвев от внезапной услужливости судьбы, Рафаэль быстро разостлал на столе салфетку, на которой он недавно отметил размеры шагреневой кожи. Не слушая, что говорят, он положил на нее талисман и невольно вздрогнул, заметив небольшое расстояние между краями кожи и чертежом на салфетке.

— Что с ним? — воскликнул Тайфер.— Богатство досталось ему дешево.

— *На помощь, Шатильон!*— сказал Бисиу Эмилю.— Он сейчас умрет от радости.

Ужасная бледность обозначила каждый мускул на помертвевшем лице наследника, черты исказились, выпуклости побелели, впадины потемнели, лицо стало свинцовым, взгляд застыл неподвижно. Он увидел перед собой *смерть*. Великолепный банкир, окруженный увядшими куртизанками, пресыщенными собутыльниками,— вся эта агония радости была олицетворением его жизни. Рафаэль трижды взглянул на талисман, свободно укладывавшийся среди неумолимых линий, начертанных на салфетке; он пытался усомниться, но некое ясное предчувствие преодолевало его недоверчи-

вость. Мир принадлежал ему, он все мог — и не хотел уже ничего. Как у странника в пустыне, у него осталось совсем немного воды, чтобы утолить жажду, и жизнь его измерялась числом глотков. Он видел, скольких дней будет ему стоить каждое желание. Он начинал верить в шагреневую кожу, прислушиваться к своему дыханию, он уже чувствовал себя больным и думал: «Не чахотка ли у меня? Не от грудной ли болезни умерла моя мать?»

— Ах, Рафаэль, то-то вы теперь повеселитесь! Что вы мне подарите? — спрашивала Акилина.

— Выпьем за кончину его дядюшки, майора О'Флаэрти! Вот это, я понимаю, человек!

— Рафаэль будет пэром Франции.

— Э, что такое пэр Франции после июльских событий! — заметил *знаток*.

— Будет у тебя ложа в Итальянском театре?

— Надеюсь, вы всех нас угостите? — осведомился Бисиу.

— У такого человека все будет на широкую ногу,— сказал Эмиль.

Приветствия насмешливого этого сборища раздавались в ушах Валантена, но он не мог разобрать ни единого слова; в голове у него мелькала неясная мысль о механическом и бесцельном существовании многодетного бретонского крестьянина, который обрабатывает свое поле, питается гречневой кашей, пьет сидр из одного и того же кувшина, почитает божью матерь и короля, причащается на пасху, по воскресеньям пляшет на зеленой лужайке и не понимает проповедей своего духовника. От зрелища, которое являли его взорам золоченые панели, куртизанки, яства, роскошь, у него спирало дыхание и першило в горле.

— Хотите спаржи? — крикнул ему банкир.

— *Я ничего не хочу!* — громовым голосом крикнул Рафаэль.

— Браво! — воскликнул Тайфер.— Вы знаете толк в богатстве,— это право на дерзости. Вы наш! Господа, выпьем за могущество золота. Став шестикратным миллионером, господин де Валантен достигает власти. Он король, он все может, он выше всего, как все богачи. Слова: *Французы равны перед законом* — отныне для

него ложь, с которой начинается хартия. Не он будет подчиняться законам, а законы — ему. Для миллионеров нет ни эшафота, ни палачей!

— Да,— отозвался Рафаэль,— они сами себе палачи!

— Вот еще один предрассудок! — вскричал банкир.

— Выпьем! — сказал Рафаэль, кладя в карман шагреневую кожу.

— Что ты там прячешь? — воскликнул Эмиль, хватая его за руку.— Господа,— продолжал он, обращаясь к собранию, которому поведение Рафаэля представлялось несколько загадочным,— да будет вам известно, что наш друг де Валантен... но что я говорю? — господин маркиз де Валантен обладает тайной обогащения. Стоит только ему задумать какое-нибудь желание, и оно мгновенно исполняется. Чтобы не сойти за лакея или же за человека бессердечного, он всех нас должен сейчас обогатить.

— Ах, миленький Рафаэль, я хочу жемчужный убор! — вскричала Евфрасия.

— Если он человек благородный, он подарит мне две кареты и отличных, быстрых лошадей,— сказала Акилина.

— Пожелайте мне сто тысяч ливров дохода!

— Кашемировую шаль!

— Заплатите мои долги!

— Нашлите апоплексию на моего дядюшку, отчаянного скрягу!

— Рафаэль, десять тысяч ливров дохода — и мы с тобой в расчете.

— Сколько же здесь дарственных! — вскричал нотариус.

— Он во что бы то ни стало должен вылечить меня от подагры!

— Сделайте так, чтобы упала рента! — крикнул банкир.

Как искры из огненного фонтана, завершающего фейерверк, посыпались эти фразы. И все эти яростные желания выражались скорее всерьез, чем в шутку.

— Милый мой друг,— с важным видом заговорил Эмиль,— я удовольствуюсь двумястами тысячами ливров дохода,— будь добр, сделай мне такую милость.

— Эмиль,— сказал Рафаэль,— ведь ты же знаешь, какой ценой это дается!

— Вот так оправдание! — вскричал поэт.— Разве мы не должны жертвовать собою ради друзей?

— Я готов всем вам пожелать смерти! — отвечал Валантен, окинув гостей взором мрачным и глубоким.

— Умирающие зверски жестоки,— со смехом сказал Эмиль.— Вот ты богат,— добавил он уже серьезно,— и не пройдет двух месяцев, как ты станешь гнусным эгоистом. Ты уже поглупел, не понимаешь шуток. Не хватает еще, чтобы ты поверил в свою шагреневую кожу...

Рафаэль, боясь насмешек, хранил молчание в этом сборище, пил сверх меры и напился допьяна, чтобы хоть на мгновение забыть о губительном своем могуществе.

III. АГОНИЯ

В первых числах декабря по улице Варен шел под проливным дождем семидесятилетний старик; поднимая голову у каждого особняка, он с наивностью ребенка и самоуглубленным видом философа разыскивал, где живет маркиз Рафаэль де Валантен. Борьба властного характера с тяжкой скорбью оставила явственный след на его лице, обрамленном длинными седыми волосами, высохшем, как старый пергамент, который коробится на огне. Если бы какой-нибудь художник встретил эту странную фигуру в черном, худую и костлявую, то, придя к себе в мастерскую, он, конечно, занес бы ее в свой альбом и подписал под портретом: «*Поэт-классик в поисках рифмы*». Найдя нужный ему номер, этот воскресший Ролен тихо постучал в дверь великолепного особняка.

— Господин Рафаэль дома? — спросил старик у швейцара в ливрее.

— Маркиз никого не принимает,— отвечал швейцар, запихивая в рот огромный кусок хлеба, предварительно обмакнув его в большую чашку кофе.

— Его карета здесь,— возразил старик, показывая на блестящий экипаж, который стоял у подъезда, под резным деревянным навесом, изображавшим шатер.— Он сейчас выезжает, я его подожду.

— Ну, дедушка, этак вы можете прождать до утра,

карета всегда стоит наготове для маркиза,— заметил швейцар.— Пожалуйста, уходите,— ведь я потеряю шестьсот франков пожизненной пенсии, если хоть раз самовольно пущу в дом постороннего человека.

В это время высокий старик, которого по одежде можно было принять за министерского курьера, вышел из передней и быстро пробежал вниз, смерив взглядом оторопевшего просителя.

— Впрочем, вот господин Ионафан,— сказал швейцар,— поговорите с ним.

Два старика, подчиняясь, вероятно, чувству взаимной симпатии, а быть может, любопытства, сошлись среди просторного двора на круглой площадке, где между каменных плит пробивалась трава. В доме стояла пугающая тишина. При взгляде на Ионафана невольно хотелось проникнуть в тайну, которою дышало его лицо, тайну, о которой говорила всякая мелочь в этом мрачном доме. Первой заботой Рафаэля, после того как он получил огромное наследство дяди, было отыскать своего старого, преданного слугу, ибо на него он мог положиться. Ионафан заплакал от счастья, увидев Рафаэля, ведь он думал, что простился со своим молодым господином навеки; и как же он обрадовался, когда маркиз возложил на него высокие обязанности управителя! Старый Ионафан был облечен властью посредника между Рафаэлем и всем остальным миром. Верховный распорядитель состояния своего хозяина, слепой исполнитель его неведомого замысла, он был как бы шестым чувством, при помощи которого житейские волнения доходили до Рафаэля.

— Мне нужно поговорить с господином Рафаэлем,— сказал старик Ионафану, поднимаясь на крыльцо, чтобы укрыться от дождя.

— Поговорить с господином маркизом? — воскликнул управитель.— Он и со мной почти не разговаривает, со мной, своим молочным отцом!

— Но ведь и я его молочный отец! — вскричал старик.— Если ваша жена некогда кормила его грудью, то я вскормил его млеком муз. Он мой воспитанник, мое дитя, carus alumnus[1]. Я образовал его ум, я взрастил

---

[1] Дорогой питомец *(лат.)*.

его мышление, развил его таланты — смею сказать, к чести и славе своей! Разве это не один из самых замечательных людей нашего времени? Под моим руководством он учился в шестом классе, в третьем и в классе риторики. Я его учитель.

— Ах, так вы — господин Поррике?

— Он самый. Но...

— Тс! Тс!—цыкнул Ионафан на двух поварят, голоса которых нарушали монастырскую тишину, царившую в доме.

— Но послушайте,— продолжал учитель,— уж не болен ли маркиз?

— Ах, дорогой господин Поррике, один бог ведает, что приключилось с маркизом,— отвечал Ионафан.— Право, в Париже и двух таких домов не найдется, как наш. Понимаете? Двух домов. Честное слово, не найдется. Маркиз велел купить этот дом, прежде принадлежавший герцогу, пэру. Истратил триста тысяч франков на обстановку. А ведь триста тысяч франков — большие деньги! Зато уж что ни вещь в нашем доме — то чудо. «Хорошо! — подумал я, когда увидел все это великолепие.— Это как у их покойного дедушки! Молодой маркиз будет у себя принимать весь город и двор!» Не тут-то было. Он никого не пожелал видеть. Чудну́ю он ведет жизнь,— понимаете ли, господин Поррике? Порядок соблюдает *каллиграфически*. Встает каждый день в одно и то же время. Кроме меня, никто, видите ли, не смеет войти к нему в комнату. Я открываю дверь в семь часов, что летом, что зимой. Такой уж странный заведен у нас обычай. Вхожу и говорю: «Господин маркиз, пора вставать и одеваться». Маркиз встает и одевается. Я должен подать халат, который всегда шьется одного и того же покроя из одной и той же материи. Я обязан сам заказать ему другой, когда старый износится, только чтобы маркиз не трудился спрашивать себе новый халат. Выдумает же! Что ж, милое мое дитятко смело может тратить тысячу франков в день, вот он и делает, что хочет. Да ведь я так его люблю, что, ежели он меня ударит по правой щеке, я подставлю левую! Прикажет сделать самое что ни на есть трудное,— все, понимаете ли, сделаю. Ну, да на мне лежит столько всяких забот, что и так времени не вижу. Чи-

тает он газеты, конечно. Приказ — класть их всегда на то же самое место, на тот же самый стол. В один и тот же час самолично брею его, и руки при этом не дрожат. Повар потеряет тысячу экю пожизненной пенсии, которая ожидает его после кончины маркиза, ежели завтрак не будет — это уж *каллиграфически* требуется — стоять перед маркизом ровно в десять утра, а обед — ровно в пять. Меню на каждый день составлено на год вперед. Маркизу нечего желать. Когда появляется клубника, ему подают клубнику, первая же макрель, которую привозят в Париж,— у него на столе. Карточка отпечатана, еще утром он знает наизусть, что у него на обед. Одевается, стало быть, в один и тот же час, платье и белье всегда одно и то же, и кладу я платье и белье всегда, понимаете ли, на то же самое кресло. Я должен еще следить за тем, чтоб и сукно было одинаковое; в случае надобности, если сюртук, положим, износится, я должен заменить его новым, а маркизу ни слова про это не говорить. Если погода хорошая, я вхожу и говорю: «Не нужно ли вам проехаться?» Он отвечает: «да» или «нет». Придет в голову прокатиться — лошадей ждать не надо: они всегда запряжены; кучеру *каллиграфически* приказано сидеть с бичом в руке,— вот, сами видите. После обеда маркиз едет нынче в Оперу, завтра в Италь... ах, нет, в Итальянском театре он еще не был, я достал ложу только вчера. Потом, ровно в одиннадцать, возвращается и ложится. Когда он ничем не занят, то все читает, читает, и вот что, видите ли, пришло ему на ум. Мне приказано первому читать «Вестник книготорговли» и покупать новые книги — как только они поступят в продажу, маркиз в тот же день находит их у себя на камине. Я получил распоряжение входить к нему каждый час — присматривать за огнем, за всем прочим, следить, чтобы у него ни в чем не было недостатка. Дал он мне выучить наизусть книжечку, а там записаны все мои обязанности,— ну, прямо катехизис! Летом у меня уходят целые груды льда, так как воздух в комнатах должен быть всегда одинаково прохладный, а свежие цветы должны у нас повсюду стоять круглый год. Он богат! Он может тратить тысячу франков в день, может исполнять все свои прихоти. Бедняжка так долго нуж-

дался! Никого он не обижает, мягок, как воск, никогда слова не скажет,— но зато уж, правда, и сам требует полной тишины в саду и в доме. Так вот, никаких желаний у моего господина не бывает, все само идет к нему в руки и попадает на глаза, и баста! И он прав: если прислугу не держать в руках, все пойдет вразброд. Я ему говорю, что́ он должен делать, и он слушается. Вы не поверите, до чего это у него доходит. Покои его идут анф... ан... как это? Да, анфиладой! Вот отворяет он, положим, дверь из спальни или из кабинета—трах!— все двери отворяются сами: такой механизм. Значит, он может обойти дом из конца в конец и при этом не найдет ни одной запертой двери. Это ему удобно и приятно, и нам хорошо. А уж стоило это нам!.. Словом, дошло до того, господин Поррике, что он мне сказал: «Ионафан, ты должен заботиться обо мне, как о грудном младенце». О грудном младенце! Да, сударь, так и сказал: о грудном младенце. «Ты за меня будешь думать, что мне нужно...» Я, выходит, как бы господин, понимаете? А он — как бы слуга. И к чему это? А, да что там толковать: этого никто на свете не знает, только он сам да господь бог. *Каллиграфически!*

— Он пишет поэму! — вскричал старый учитель.

— Вы думаете, пишет поэму? Стало быть, это каторжный труд — писать-то! Только что-то не похоже. Он часто говорит, что хочет жить *простительной* жизнью. Не далее как вчера, господин Поррике, он, когда одевался, посмотрел на тюльпан и сказал: «Вот моя жизнь... Я живу *простительной жизнью*, бедный мой Ионафан!» А другие полагают, что у него мания. *Каллиграфически* ничего не поймешь!

— Все мне доказывает, Ионафан,— сказал учитель с наставительной важностью, внушавшей старому камердинеру глубокое уважение к нему,— что ваш господин работает над большим сочинением. Он погружен в глубокие размышления и не желает, чтобы его отвлекали заботы повседневной жизни. За умственным трудом гениальный человек обо всем забывает. Однажды знаменитый Ньютон...

— Как? Ньютон?.. Такого я не знаю,— сказал Ионафан.

— Ньютон, великий геометр,— продолжал Поррике,— провел двадцать четыре часа в размышлении, облокотившись на стол; когда же он на другой день вышел из задумчивости, то ему показалось, что это еще вчерашний день, точно он проспал... Я пэйду к нему, к моему дорогому мальчику, я ему пригожусь...

— Стойте! — крикнул Ионафан.— Будь вы французским королем — прежним, разумеется! — и то вы вошли бы не иначе, как выломав двери и перешагнув через мой труп. Но вот что, господин Поррике: я сбегаю сказать, что вы здесь, и спрошу: нужно ли впустить? Он ответит «да» или «нет». Я никогда не говорю: «Не угодно ли вам?», «Не хотите ли?», «Не желаете ли?» Эти слова вычеркнуты из разговора. Как-то раз одно такое слово вырвалось у меня, он разгневался: «Ты, говорит, уморить меня хочешь?»

Ионафан оставил старого учителя в прихожей, сделав знак не ходить за ним, но вскоре вернулся с благоприятным ответом и повел почтенного старца через великолепные покои, все двери которых были отворены настежь. Поррике издали заметил своего ученика — тот сидел у камина. Закутанный в халат с крупным узором, усевшись в глубокое мягкое кресло, Рафаэль читал газету. Крайняя степень меланхолии, которою он, видимо, был охвачен, сказывалась в болезненной позе его расслабленного тела, отпечатлелась на лбу, на всем его лице, бледном, как чахлый цветок. Какое-то женственное изящество, а также странности, свойственные богатым больным, отличали его. Как у хорошенькой женщины, руки его были белы, мягки и нежны. Белокурые поредевшие волосы утонченно-кокетливо вились у висков. Греческая скуфейка из легкого кашемира под тяжестью кисти сползла набок. Он уронил на пол малахитовый с золотом нож для разрезания бумаги. На коленях у него лежал янтарный мундштук великолепной индийской *гука*, эмалевая спираль которой, точно змея, извивалась на полу, и он уже не впивал в себя освежающее ее благоухание. Общей слабости его юного тела не соответствовали, однако, его глаза; казалось, в этих синих глазах сосредоточилась вся его жизнь, в них сверкало необычайное чувство, поражав-

шее с первого взгляда. В такие глаза больно было смотреть. Одни могли прочесть в них отчаяние, другие — угадать внутреннюю борьбу, грозную, как упреки совести. Такой глубокий взор мог быть у бессильного человека, скрывающего свои желания в тайниках души, или же у скупца, мысленно вкушающего все наслаждения, которые могло бы доставить ему богатство и отказывающего себе в них из страха уменьшить свои сокровища; такой взор мог быть у скованного Прометея или же у свергнутого Наполеона, когда в 1815 году, узнав в Елисейском дворце о стратегической ошибке неприятеля, он требовал, чтоб ему на двадцать четыре часа доверили командование, и получил отказ. То был взор завоевателя и обреченного! Вернее сказать — такой же взор, каким за несколько месяцев до того сам Рафаэль смотрел на воды Сены или же на последнюю золотую монету, которую он ставил на карту. Он подчинял свою волю, свой разум грубому здравому смыслу старика крестьянина, чуть только тронутого цивилизацией за время пятидесятилетней его службы у господ. Почти радуясь тому, что становится чем-то вроде автомата, он отказывался от жизни для того, чтобы только жить, и отнимал у души всю поэзию желаний. Чтобы лучше бороться с жестокой силой, чей вызов он принял, он стал целомудренным наподобие Оригена,— он оскопил свое воображение. На другой день после того, как он внезапно получил богатое наследство и обнаружил сокращение шагреневой кожи, он был в доме у своего нотариуса. Там некий довольно известный врач совершенно серьезно рассказывал за десертом, как вылечился один чахоточный швейцарец. В течение десяти лет он не произнес ни слова, приучил себя дышать только шесть раз в минуту густым воздухом хлева и пищу принимал исключительно пресную. «Я буду, как он!» — решил Рафаэль, желая жить во что бы то ни стало. Окруженный роскошью, он превратился в автомат. Когда старик Поррике увидел этот живой труп, он вздрогнул: все показалось ему искусственным в этом хилом, тщедушном теле. Взгляд у маркиза был жадный, лоб нахмурен от постоянного раздумья, и учитель не узнал своего ученика,— он помнил его свежим, розовым, по-юному гибким. Если бы этот простодушный классик,

тонкий критик, блюститель хорошего вкуса читал лорда Байрона, он подумал бы, что увидел Манфреда там, где рассчитывал встретить Чайльд-Гарольда.

— Здравствуйте, дорогой Поррике,— сказал Рафаэль, пожимая ледяную руку старика своей горячей и влажной рукой.— Как поживаете?

— Я-то недурно,— отвечал старик, и его ужаснуло прикосновение этой руки, точно горевшей в лихорадке.— А вы?

— По-моему, я в добром здравии.

— Вы, верно, трудитесь над каким-нибудь прекрасным произведением?

— Нет,— отвечал Рафаэль.— Exegi monumentum...[1]. Я, дорогой Поррике, написал свою страницу и навеки простился с наукой. Хорошо не знаю даже, где и рукопись.

— Вы позаботились о чистоте слога, не правда ли? — спросил учитель.— Надеюсь, вы не усвоили варварского языка новой школы, которая воображает, что сотворила чудо, вытащив на свет Ронсара?

— Моя работа — произведение чисто физиологическое.

— О, этим все сказано! — подхватил учитель.— В научных работах требования грамматики должны применяться к требованиям исследования. Все же, дитя мое, слог ясный, гармонический, язык Массильона, Бюффона, великого Расина — словом, стиль классический ничему не вредит... Но, друг мой,— прервав свои рассуждения, сказал учитель,— я позабыл о цели моего посещения. Я к вам явился по делу.

Слишком поздно вспомнив об изящном многословии и велеречивых перифразах, к которым привык его наставник за долгие годы преподавания, Рафаэль почти раскаивался, что принял его, и уже готов был пожелать, чтобы тот поскорее ушел, но тотчас же подавил тайное свое желание, украдкой взглянув на висевшую перед его глазами шагреневую кожу, прикрепленную к куску белой ткани, на которой зловещие контуры были тщательно обведены красной чертой. Со времени роковой оргии Рафаэль заглушал в себе малей-

---

[1] Памятник я воздвиг *(лат.)*.

шие прихоти и жил так, чтобы даже легкое движение не пробегало по этому грозному талисману. Шагреневая кожа была для него чем-то вроде тигра, с которым приходится жить в близком соседстве под постоянным страхом, как бы не пробудить его свирепость. Поэтому Рафаэль терпеливо слушал разглагольствования старого учителя. Битый час папаша Поррике рассказывал о том, как его преследовали после Июльской революции. Старичок Поррике, сторонник сильного правительства, выступил в печати с патриотическим пожеланием, требуя, чтобы лавочники оставались за своими прилавками, государственные деятели — при исполнении общественных обязанностей, адвокаты — в суде, пэры Франции — в Люксембургском дворце; но один из популярных министров короля-гражданина обвинил его в карлизме и лишил кафедры. Старик очутился без места, без пенсии и без куска хлеба. Он был благодетелем своего бедного племянника, платил за него в семинарию св. Сульпиция, где тот учился, и теперь он пришел не столько ради себя, сколько ради своего приемного сына, просить бывшего своего ученика, чтобы тот похлопотал у нового министра — не о восстановлении его, Поррике, в прежней должности, а хотя бы о месте инспектора в любом провинциальном колледже. Рафаэль находился во власти неодолимой дремоты, когда монотонный голос старика перестал раздаваться у него в ушах. Принужденный из вежливости смотреть в тусклые, почти неподвижные глаза учителя, слушать его медлительную и витиеватую речь, он был усыплен, заворожен какой-то необъяснимой силой инерции.

— Так вот, дорогой Поррике,— сказал он, сам толком не зная, на какой вопрос отвечает,— я ничего не могу тут поделать, решительно ничего. *От души желаю*, чтобы вам удалось...

И мгновенно, не замечая, как отразились на желтом, морщинистом лбу старика банальные эти слова, полные эгоистического равнодушия, Рафаэль вскочил, словно испуганная косуля. Он увидел тоненькую белую полоску между краем черной кожи и красной чертой и испустил крик столь ужасный, что бедняга учитель перепугался.

— Вон, старая скотина! — крикнул Рафаэль.— Вас назначат инспектором! И не могли вы попросить у меня пожизненной пенсии в тысячу экю, вместо того чтобы вынудить это смертоносное пожелание? Ваше посещение не нанесло бы мне тогда никакого ущерба. Во Франции сто тысяч должностей, а у меня только одна жизнь! Жизнь человеческая дороже всех должностей в мире... Ионафан!

Явился Ионафан.

— Вот что ты наделал, дурак набитый! Зачем ты предложил принять его? — сказал он, указывая на окаменевшего старика.— Для того ли вручил я тебе свою душу, чтобы ты растерзал ее? Ты вырвал у меня сейчас десять лет жизни! Еще одна такая ошибка — и тебе придется провожать меня в то жилище, куда я проводил своего отца. Не лучше ли обладать красавицей Феодорой, чем оказывать услугу старой рухляди? А ему можно было бы просто дать денег... Впрочем, умри с голоду все Поррике на свете, что мне до этого?

Рафаэль побледнел от гнева, пена выступила на его дрожащих губах, лицо приняло кровожадное выражение. Оба старика задрожали, точно дети при виде змеи. Молодой человек упал в кресло; какая-то реакция произошла в его душе, из горящих глаз хлынули слезы.

— О моя жизнь! Прекрасная моя жизнь!..— повторял он.— Ни благодетельных мыслей, ни любви! Ничего! — Он обернулся к учителю.— Сделанного не исправишь, мой старый друг,— продолжал он мягко.— Что ж, вы получите щедрую награду за ваши заботы, и мое несчастье по крайней мере послужит ко благу славному, достойному человеку.

Он произнес эти малопонятные слова с таким глубоким чувством, что оба старика расплакались, как плачут, слушая трогательную песню на чужом языке.

— Он эпилептик! — тихо сказал Поррике.

— Узнаю ваше доброе сердце, друг мой,— все так же мягко продолжал Рафаэль,— вы хотите найти мне оправдание. Болезнь — это случайность, а бесчеловечность — порок. А теперь оставьте меня,— добавил он.— Завтра или послезавтра, а может быть, даже сегодня вечером, вы получите новую должность, ибо со-

противление возобладало над *движением*... Прощайте.

Объятый ужасом и сильнейшей тревогой за Валантена, за его душевное здоровье, старик удалился. Для него в этой сцене было что-то сверхъестественное. Он не верил самому себе и допрашивал себя, точно после тяжелого сна.

— Послушай, Ионафан,— обратился молодой человек к старому слуге.— Постарайся наконец понять, какие обязанности я на тебя возложил.

— Слушаюсь, господин маркиз.

— Я нахожусь как бы вне жизни.

— Слушаюсь, господин маркиз.

— Все земные радости играют вокруг моего смертного ложа и пляшут передо мной, будто прекрасные женщины. Если я позову их, я умру. Во всем смерть! Ты должен быть преградой между миром и мною.

— Слушаюсь, господин маркиз,— сказал старый слуга, вытирая капли пота, выступившие на его морщинистом лбу.— Но если вам не угодно видеть красивых женщин, то как же вы нынче вечером поедете в Итальянский театр? Одно английское семейство уезжает в Лондон и уступило мне свой абонемент. Так что у вас отличная, великолепная, можно сказать, ложа в бенуаре.

Рафаэль впал в глубокую задумчивость и перестал его слушать.

Посмотрите на эту роскошную карету, снаружи скромную, темного цвета, на дверцах которой блистает, однако, герб старинного знатного рода. Когда карета проезжает, гризетки любуются ею, жадно разглядывают желтый атлас ее обивки, пушистый ее ковер, нежно-соломенного цвета позумент, мягкие подушки и зеркальные стекла. На запятках этого аристократического экипажа — два ливрейных лакея, а внутри, на шелковой подушке,— бледное лицо с темными кругами у глаз, с лихорадочным румянцем,— лицо Рафаэля, печальное и задумчивое. Фатальный образ богатства! Юноша летит по Парижу, как ракета, подъезжает к театру Фавар; подножка кареты откинута, два лакея поддерживают его, толпа провожает его завистливым взглядом.

— И за что ему выпало такое богатство? — говорит бедный студент-юрист, который за неимением одного экю лишен возможности слушать волшебные звуки Россини.

Рафаэль неспешным шагом ходил вокруг зрительного зала; его уже не привлекали наслаждения, некогда столь желанные. В ожидании второго акта «Семирамиды» он гулял по фойе, бродил по коридорам, позабыв о своей ложе, в которую он даже не заглянул. Чувства собственности больше не существовало в его сердце. Как все больные, он думал только о своей болезни. Опершись о выступ камина, мимо которого, расхаживая по фойе, сновали молодые и старые франты, бывшие и новые министры, пэры непризнанные или же мнимые, порожденные Июльской революцией, множество дельцов и журналистов,— Рафаэль заметил в толпе в нескольких шагах от себя странную, сверхъестественную фигуру. Он пошел навстречу необыкновенному этому существу, бесцеремонно прищурив глаза, чтобы рассмотреть его получше. «Вот так расцветка!» — подумал он. Брови, волосы, бородка в виде запятой, как у Мазарини, которою незнакомец явно гордился, были выкрашены черной краской, но так как седины, вероятно, у него было очень много, то косметика придала его растительности неестественный лиловатый цвет, и оттенки его менялись в зависимости от освещения. Узкое и плоское его лицо, на котором морщины были замазаны густым слоем румян и белил, выражало одновременно и хитрость и беспокойство. Ненакрашенные места, где проступала дряблая кожа землистого цвета, резко выделялись; нельзя было без смеха смотреть на эту физиономию с острым подбородком, с выпуклым лбом, напоминающую те уморительные фигурки, которые в часы досуга вырезают из дерева немецкие пастухи. Если бы какой-нибудь наблюдательный человек всмотрелся сначала в этого старого Адониса, а потом в Рафаэля, он заметил бы, что у маркиза — молодые глаза за старческой маской, а у незнакомца — тусклые стариковские глаза за маской юноши. Рафаэль силился припомнить, где он видел этого сухонького старичка, в отличном галстуке, в высоких сапогах, позвякивающего шпорами и скрестившего руки с таким видом,

точно он сохранил весь пыл молодости. В его походке не было ничего деланного, искусственного. Элегантный фрак, тщательно застегнутый на все пуговицы, создавал впечатление, что обладатель его по-старинному крепко сложен, подчеркивал статность старого фата, который еще следил за модой. Валантен смотрел на эту ожившую куклу как зачарованный, словно перед ним появился призрак. Смотрел на него как на старое, закопченное полотно Рембрандта, недавно реставрированное, покрытое лаком и вставленное в новую раму. Это сравнение навело его на след истины: отдавшись смутным воспоминаниям, он вдруг узнал торговца редкостями, человека, которому он был обязан своим несчастьем. В ту же минуту на холодных губах этого фантастического персонажа, прикрывавших вставные зубы, заиграла немая усмешка. И вот живому воображению Рафаэля открылось разительное сходство этого человека с той идеальной головой, какою живописцы наделяют гетевского Мефистофеля. Множество суеверных мыслей овладело душой скептика Рафаэля, в эту минуту он верил в могущество демона, во все виды колдовства, о которых повествуют средневековые легенды, воспроизводимые поэтами. С ужасом отвергнув путь Фауста, он вдруг пламенно, как это бывает с умирающими, поверил в бога, в деву Марию и воззвал к небесам. В ярком, лучезарном свете увидел он небо Микеланджело и облака Санцо Урбинского, головки с крыльями, седобородого старца, прекрасную женщину, окруженную сиянием. Теперь он постигал эти изумительные создания: фантастические и вместе с тем столь близкие человеку, они разъясняли ему то, что с ним произошло, и еще оставляли надежду. Но когда взор его снова упал на фойе Итальянской оперы, то вместо девы Марии он увидел очаровательную девушку, презренную Евфрасию, танцовщицу с телом гибким и легким, в блестящем платье, осыпанном восточным жемчугом; она неторопливо подошла к нетерпеливому своему старику,— бесстыдная, с гордо поднятой головой, сверкая очами, она показывала себя завистливому и наблюдательному свету, чтобы все видели, как богат купец, чьи несметные сокровища она расточала. Рафаэль вспомнил о насмешливом пожелании, каким он ответил

на роковой подарок старика, и теперь он вкушал всю радость мести при виде глубокого унижения этой высшей мудрости, падение которой еще так недавно представлялось невозможным. Древний старик улыбнулся Евфрасии иссохшими устами, та в ответ сказала ему что-то ласковое; он предложил ей свою высохшую руку и несколько раз обошел с нею фойе, с радостью ловя страстные взоры и комплименты толпы, относящиеся к его возлюбленной, и не замечая презрительных улыбок, не слыша злобных насмешек по своему адресу.

— На каком кладбище девушка-вампир выкопала этот труп? — вскричал самый элегантный из романтиков.

Евфрасия усмехнулась. Остряк был белокурый, стройный усатый молодой человек, с блестящими голубыми глазами, в куцем фраке, в шляпе набекрень; бойкий на язык, он так и сыпал модными словечками из романтического лексикона.

«Как часто старики кончают безрассудством свою честную, трудовую, добродетельную жизнь! — подумал Рафаэль.— У него уже ноги холодеют, а он волочится...»

— Послушайте!—крикнул он, останавливая торговца и подмигивая Евфрасии.— Вы что же, забыли строгие правила вашей философии?..

— Ах, теперь я счастлив, как юноша,— надтреснутым голосом проговорил старик.— Я неверно понимал бытие. Вся жизнь — в едином часе любви.

В это время зрители, заслышав звонок, направились к своим местам. Старик и Рафаэль расстались. Войдя к себе в ложу, маркиз как раз напротив себя, в другом конце зала, увидел Феодору. Очевидно, она только что приехала и теперь отбрасывала назад шарф, открывая грудь и делая при этом множество мелких, неуловимых движений, как подобает кокетке, выставляющей себя напоказ; все взгляды устремились на нее. Ее сопровождал молодой пэр Франции; она попросила у него свой лорнет, который давала ему подержать. По ее жесту, по манере смотреть на нового своего спутника Рафаэль понял, как тиранически поработила она его преемника. Очарованный, по всей вероятности, не менее, чем Рафаэль

в былое время, одураченный, как и он, и, как он, всею силою подлинного чувства боровшийся с холодным расчетом этой женщины, молодой человек должен был испытывать те муки, от которых избавился Валантен. Несказанная радость озарила лицо Феодоры, когда, наведя лорнет на все ложи и быстро осмотрев туалеты, она пришла к заключению, что своим убором и красотой затмила самых хорошеньких, самых элегантных женщин Парижа; она смеялась, чтобы показать свои белые зубы; красуясь, поворачивала головку, убранную цветами, переводила взгляд с ложи на ложу, издевалась над неловко сдвинутым на лоб беретом у одной русской княгини или над неудачной шляпой, безобразившей дочь банкира. Внезапно она встретилась глазами с Рафаэлем и побледнела; отвергнутый любовник сразил ее своим пристальным, нестерпимо презрительным взором. В то время как все отвергнутые ею поклонники не выходили из-под ее власти, Валантен, один в целом свете, освободился от ее чар. Власть, над которой безнаказанно глумятся, близка к гибели. Эта истина глубже запечатлена в сердце женщины, нежели в мозгу королей. И вот Феодора увидела в Рафаэле смерть своему обаянию и кокетству. Остроту, брошенную им накануне в Опере, подхватили уже и парижские салоны. Укол этой ужасной насмешки нанес графине неизлечимую рану. Во Франции мы научились прижигать язвы, но мы еще не умеем успокаивать боль, причиняемую одной-единственной фразой. В ту минуту, когда все женщины смотрели то на маркиза, то на графиню, она готова была посадить его в один из каменных мешков какой-нибудь новой Бастилии, ибо, несмотря на присущий Феодоре дар скрытности, ее соперницы поняли, что она страдает.

Но вот и последнее утешение упорхнуло от нее. В упоительных словах: «Я всех красивее!», в этой неизменной фразе, умерявшей все горести уязвленного тщеславия, уже не было правды. Перед началом второго акта какая-то дама села в соседней с Рафаэлем ложе, которая до тех пор оставалась пустой. По всему партеру пронесся шепот восхищения. По морю лиц человеческих заходили волны, все внимание, все взгляды обратились на незнакомку. Все, и стар и млад, так зашумели, что, когда

поднимался занавес, музыканты из оркестра обернулись, желая водворить тишину,— но и они присоединились к восторгам толпы, так что гул еще усилился. Во всех ложах заговорили. Дамы вооружились лорнетами, старички, сразу помолодев, стали протирать лайковыми перчатками стекла биноклей. Но постепенно шум восторга утих, со сцены раздалось пение, порядок восстановился. Высшее общество, устыдившись того, что поддалось естественному порыву, вновь обрело аристократически чопорный светский тон. Богатые стараются ничему не удивляться; они обязаны с первого же взгляда отыскать в прекрасном произведении недостаток, чтобы избавиться от изумления — чувства весьма вульгарного. Впрочем, некоторые мужчины так и не могли очнуться: не слушая музыки, погрузившись в наивный восторг, они, не отрываясь, смотрели на соседку Рафаэля. Валантен заметил в бенуаре, рядом с Акилиной, омерзительное, налитое кровью лицо Тайфера, одобрительно подмигивавшего ему. Потом увидел Эмиля, который, стоя у оркестра, казалось, говорил ему: «Взгляни же на прекрасное создание, сидящее рядом с тобою!» А вот и Растиньяк, сидя с г-жой де Нусинген и ее дочерью, принялся теребить свои перчатки, всем своим видом выдавая отчаяние оттого, что прикован к месту и не может подойти к божественной незнакомке. Жизнь Рафаэля зависела от договора с самим собой, до тех пор еще не нарушенного: он дал себе зарок не смотреть внимательно ни на одну женщину и, чтобы избежать искушения, завел лорнет с уменьшительными стеклами искусной выделки, которые уничтожали гармонию прекраснейших черт и уродовали их. Рафаэль еще не превозмог страха, охватившего его утром, когда из-за обычного любезного пожелания талисман так быстро сжался, и теперь он твердо решил не оглядываться на соседку. Он повернулся спиной к ее ложе и, развалившись, пренагло заслонил от красавицы половину сцены, якобы пренебрегая соседкой и не желая знать, что рядом находится хорошенькая женщина. Соседка в точности копировала позу Валантена: она облокотилась о край ложи и, вполоборота к сцене, смотрела на певцов так, словно позировала перед художником. Оба напоминали поссорившихся любовников, которые дуются, поворачива-

ются друг к другу спиной, но при первом же ласковом слове обнимутся. Минутами легкие перья марабу в прическе незнакомки или же ее волосы касались головы Рафаэля и вызывали в нем сладостное ощущение, с которым он, однако, храбро боролся; вскоре он почувствовал нежное прикосновение кружева, послышался женственный шелест платья — легкий трепет, исполненный колдовской неги; наконец, вызванное дыханием этой красивой женщины неприметное движение ее груди, спины, одежды, всего ее пленительного существа передалось Рафаэлю, как электрическая искра; тюль и кружева, пощекотав плечо, как будто донесли до него приятную теплоту ее белой обнаженной спины. По прихоти природы эти два существа, разлученные светскими условностями, разделенные безднами смерти, в один и тот же миг вздохнули и, может быть, подумали друг о друге. Вкрадчивый запах алоэ окончательно опьянил Рафаэля. Воображение, подстрекаемое запретом, ставшее поэтому еще более пылким, в один миг огненными штрихами нарисовало ему эту женщину. Он живо обернулся. Испытывая, должно быть, чувство неловкости из-за того, что она прикоснулась к чужому мужчине, незнакомка тоже повернула голову; их взгляды, оживленные одной и той же мыслью, встретились...

— Полина!

— Господин Рафаэль!

С минуту оба, окаменев, молча смотрели друг на друга. Полина была в простом и изящном платье. Сквозь газ, целомудренно прикрывавший грудь, опытный взор мог различить лилейную белизну и представить себе формы, которые привели бы в восхищение даже женщин. И все та же девственная скромность, небесная чистота, все та же прелесть движений. Ткань ее рукава слегка дрожала, выдавая трепет, охвативший тело, так же как он охватил ее сердце.

— О, приезжайте завтра,— сказала она,— приезжайте в гостиницу «Сен-Кантен» за своими бумагами. Я там буду в полдень. Не запаздывайте.

Она сейчас же встала и ушла. Рафаэль хотел было за нею последовать, но побоялся скомпрометировать ее и остался; он взглянул на Феодору и нашел, что та уродлива; он был не в силах постигнуть ни единой музыкаль-

ной фразы, он задыхался в этом зале и наконец с переполненным сердцем уехал домой.

— Ионафан,— сказал он старому слуге, когда лег в постель,— дай мне капельку опия на кусочке сахара и завтра разбуди без двадцати двенадцать.

— Хочу, чтобы Полина любила меня! — вскричал он наутро, с невыразимой тоской глядя на талисман.

Кожа не двинулась,—казалось, она утратила способность сокращаться. Она, конечно, не могла осуществить уже осуществленного желания.

— А! — вскричал Рафаэль, чувствуя, что он точно сбрасывает с себя свинцовый плащ, который он носил с того самого дня, когда ему подарен был талисман.— Ты обманул меня, ты не повинуешься мне,—договор нарушен. Я свободен, я буду жить. Значит, все это было злой шуткой?

Произнося эти слова, он не смел верить своему открытию. Он оделся так же просто, как одевался в былые дни, и решил дойти пешком до своего прежнего жилища, пытаясь мысленно перенестись в те счастливые времена, когда он безбоязненно предавался ярости желаний, когда он еще не изведал всех земных наслаждений. Он шел и видел перед собой не Полину из гостиницы «Сен-Кантен», а вчерашнюю Полину, идеал возлюбленной, столь часто являвшийся ему в мечтах, молодую, умную, любящую девушку с художественной натурой, способную понять поэта и поэзию, притом девушку, которая живет в роскоши; словом — Феодору, но только с прекрасной душой, или Полину, но только ставшую графиней и миллионершей, как Феодора. Когда он очутился у истертого порога, на треснувшей плите у двери того ветхого дома, где столько раз он предавался отчаянию, из залы вышла старуха и спросила его:

— Не вы ли будете господин Рафаэль де Валантен?

— Да, матушка,— отвечал он.

— Вы помните вашу прежнюю квартиру? — продолжала она.— Вас там ожидают.

— Гостиницу все еще содержит госпожа Годэн? — спросил Рафаэль.

— О, нет, сударь! Госпожа Годэн теперь баронесса. Она живет в прекрасном собственном доме, за Сеной. Ее муж возвратился. Сколько он привез с собой де-

нег!.. Говорят, она могла бы купить весь квартал Сен-Жак, если б захотела. Она подарила мне все имущество, какое есть в гостинице, и даром переуступила контракт до конца срока. Добрая она все-таки женщина. И такая же простая, как была.

Рафаэль быстро поднялся к себе в мансарду и, когда взошел на последние ступеньки лестницы, услышал звук фортепьяно. Полина ждала его; на ней было скромное перкалевое платьице, но по его покрою, по шляпе, перчаткам и шали, небрежно брошенным на кровать, было видно, как она богата.

— Ах! Вот и вы наконец! — воскликнула она, повернув голову и вставая ему навстречу в порыве наивной радости.

Рафаэль подошел и сел рядом с Полиной, залившись румянцем, смущенный, счастливый; он молча смотрел на нее.

— Зачем же вы покинули нас? — спросила Полина и, краснея, опустила глаза.— Что с вами сталось?

— Ах, Полина! Я был, да и теперь еще остаюсь, очень несчастным человеком.

— Увы! — растроганная, воскликнула она.— Вчера я поняла все... Вижу, вы хорошо одеты, как будто бы богаты, а на самом деле — ну, извольте-ка признаться, господин Рафаэль, все обстоит, как прежде, не так ли?

На глаза Валантена навернулись непрошеные слезы, он воскликнул:

— Полина! Я...

Он не договорил, в глазах его светилась любовь, взгляд его был полон нежности.

— О, ты любишь меня, ты любишь меня! — воскликнула Полина.

Рафаэль только наклонил голову,— он не в силах был произнести ни слова.

И тогда девушка взяла его руку, сжала ее в своей и заговорила, то смеясь, то плача:

— Богаты, богаты, счастливы, богаты! Твоя Полина богата... А мне... мне бы нужно быть нынче бедной. Сколько раз я говорила себе, что за одно только право сказать: «Он меня любит» — я отдала бы все сокровища мира! О мой Рафаэль! У меня миллионы. Ты любишь роскошь, ты будешь доволен, но ты должен любить и мою

душу, она полна любви к тебе! Знаешь, мой отец вернулся. Я богатая наследница. Родители всецело предоставили мне распоряжаться моей судьбой. Я свободна, понимаешь?

Рафаэль держал руки Полины и, словно в исступлении, так пламенно, так жадно целовал их, что поцелуй его, казалось, был подобен конвульсии. Полина отняла руки, положила их ему на плечи и привлекла его к себе; они обнялись, прижались друг к другу и поцеловались с тем святым и сладким жаром, свободным от всяких дурных помыслов, каким бывает отмечен только один поцелуй, первый поцелуй,— тот, которым две души приобретают власть одна над другою.

— Ах! — воскликнула Полина, опускаясь на стул.— Я не могу жить без тебя... Не знаю, откуда взялось у меня столько смелости! — краснея, прибавила она.

— Смелости, Полина? Нет, тебе бояться нечего, это не смелость, а любовь, настоящая любовь, глубокая, вечная, как моя, не правда ли?

— О, говори, говори, говори! — сказала она.— Твои уста так долго были немы для меня...

— Так, значит, ты любила меня?

— О, боже! Любила ли я? Послушай, сколько раз я плакала, убирая твою комнату, сокрушаясь о том, как мы с тобою бедны. Я готова была продаться демону, лишь бы рассеять твою печаль. Теперь, мой Рафаэль... ведь ты же мой: моя эта прекрасная голова, моим стало твое сердце! О да, особенно сердце, это вечное богатство!.. На чем же я остановилась? — сказала она.— Ах, да! У нас три-четыре миллиона, может быть, пять. Если б я была бедна, мне бы, вероятно, очень хотелось носить твое имя, чтобы меня звали твоей женой, а теперь я отдала бы за тебя весь мир, с радостью была бы всю жизнь твоей служанкой. И вот, Рафаэль, предлагая тебе свое сердце, себя самое и свое состояние, я все же даю тебе сейчас не больше, чем в тот день, когда положила сюда,— она показала на ящик стола,— монету в сто су. О, какую боль причинило мне тогда твое ликование!

— Зачем ты богата?— воскликнул Рафаэль.—Зачем в тебе нет тщеславия? Я ничего не могу сделать для тебя!

Он ломал себе руки от счастья, от отчаяния, от любви.

— Я тебя знаю, небесное создание: когда ты станешь маркизой де Валантен, ни титул мой, ни богатство не будут для тебя стоить...

— ...одного твоего волоска! — договорила она.

— У меня тоже миллионы, но что теперь для нас богатство! Моя жизнь — вот что я могу предложить тебе, возьми ее!

— О, твоя любовь, Рафаэль, твоя любовь для меня дороже целого мира! Как, твои мысли принадлежат мне? Тогда я счастливейшая из счастливых.

— Нас могут услышать,— заметил Рафаэль.

— О, тут никого нет! — сказала она, задорно тряхнув кудрями.

— Иди же ко мне! — вскричал Валантен, протягивая к ней руки.

Она вскочила к нему на колени и обвила руками его шею.

— Обнимите меня за все огорчения, которые вы мне доставили,— сказала она,— за все муки, причиненные мне вашими радостями, за все ночи, которые я провела, раскрашивая веера...

— Веера?

— Раз мы богаты, сокровище мое, я могу сказать тебе все. Ах, дитя! Как легко обманывать умных людей! Разве у тебя могли быть два раза в неделю белые жилеты и чистые сорочки при трех франках в месяц на прачку? А молока ты выпивал вдвое больше, чем можно было купить на твои деньги! Я обманывала тебя на всем: на топливе, на масле, даже на деньгах. О мой Рафаэль, не бери меня в жены,— прибавила она со смехом,— я очень хитрая.

— Как же тебе это удавалось!

— Я работала до двух часов утра и половину того, что зарабатывала на веерах, отдавала матери, а половину тебе.

С минуту они смотрели друг на друга, обезумев от радости и от любви.

— О, когда-нибудь мы, наверно, заплатим за такое счастье каким-нибудь страшным горем! — воскликнул Рафаэль.

— Ты женат? — спросила Полина.— Я никому тебя не уступлю.

— Я свободен, моя дорогая.

— Свободен! — повторила она.— Свободен — и мой!

Она опустилась на колени, сложила руки и с молитвенным жаром взглянула на Рафаэля.

— Я боюсь сойти с ума. Какой ты прелестный! — продолжала она, проводя рукой по белокурым волосам своего возлюбленного.— Как она глупа, эта твоя графиня Феодора! Какое наслаждение испытала я вчера, когда все меня приветствовали! Ее так никогда не встречали! Послушай, милый, когда я коснулась спиной твоего плеча, какой-то голос шепнул мне: «Он здесь!» Я обернулась — и увидела тебя. О, я убежала, чтобы при всех не броситься тебе на шею!

— Счастлива ты, что можешь говорить!—воскликнул Рафаэль.— А у меня сердце сжимается. Хотел бы плакать — и не могу. Не отнимай у меня своей руки. Кажется, так бы вот всю жизнь и смотрел на тебя, счастливый, довольный.

— Повтори мне эти слова, любовь моя!

— Что для нас слова! — отвечал Рафаэль, и горячая слеза его упала на руку Полины.— Когда-нибудь я постараюсь рассказать о моей любви; теперь я могу только чувствовать ее...

— О, чудная душа, чудный гений, сердце, которое я так хорошо знаю,— воскликнула она,— все это мое, и я твоя?

— Навсегда, нежное мое создание,— в волнении проговорил Рафаэль.— Ты будешь моей женой, моим добрым гением. Твое присутствие всегда рассеивало мои горести и дарило мне отраду; сейчас ангельская твоя улыбка как будто очистила меня. Я будто заново родился на свет. Жестокое прошлое, жалкие мои безумства — все это кажется мне дурным сном. Я очищаюсь душою подле тебя. Чувствую дыхание счастья. О, останься здесь навсегда! — добавил он, благоговейно прижимая ее к своему бьющемуся сердцу.

— Пусть смерть приходит, когда ей угодно,— в восторге вскричала Полина,— я жила!

Блажен тот, кто поймет их радость,— значит, она ему знакома!

— Дорогой Рафаэль,— сказала Полина после того, как целые часы протекли у них в молчании,— я бы хотела, чтобы никто никогда не ходил в милую нашу мансарду.

— Нужно замуровать дверь, забрать окно решеткой и купить этот дом,— решил маркиз.

— Да, ты прав! — сказала она. И, помолчав с минуту, добавила:—Мы несколько отвлеклись от поисков твоих рукописей!

Оба засмеялись милым, невинным смехом.

— Я презираю теперь всякую науку! — воскликнул Рафаэль.

— А как же слава, милостивый государь?

— Ты — моя единственная слава.

— У тебя было очень тяжело на душе, когда ты писал эти каракули,— сказала она, перелистывая бумаги.

— Моя Полина...

— Ну да, твоя Полина... Так что же?

— Где ты живешь?

— На улице Сен-Лазар. А ты?

— На улице Варен.

— Как мы будем далеко друг от друга, пока...

Не договорив, она кокетливо и лукаво взглянула на своего возлюбленного.

— Но ведь мы будем разлучены самое большее на две недели,— возразил Рафаэль.

— Правда! Через две недели мы поженимся.— Полина подпрыгнула, как ребенок.— О, я бессердечная дочь! — продолжала она.— Я не думаю ни об отце, ни о матери, ни о чем на свете. Знаешь, дружочек, мой отец очень хворает. Он вернулся из Индии совсем больной. Он чуть не умер в Гавре, куда мы поехали его встречать. Ах, боже! — воскликнула она, взглянув на часы.— Уже три часа! Я должна быть дома,— он просыпается в четыре. Я хозяйка в доме, мать исполняет все мои желания, отец меня обожает, но я не хочу злоупотреблять их добротой, это было бы дурно! Бедный отец, это он послал меня вчера в Итальянский театр... Ты придешь завтра к нему?

— Маркизе де Валантен угодно оказать мне честь и пойти со мной под руку?

— Ключ от комнаты я унесу с собой! — объявила она.— Ведь это дворец, это наша сокровищница!

— Полина, еще один поцелуй!

— Тысячу! Боже мой,— сказала она, взглянув на Рафаэля,— и так будет всегда? Мне все это кажется сном.

Они медленно спустились по лестнице; затем, идя в ногу, вместе вздрагивая под бременем одного и того же счастья, прижимаясь друг к другу, как два голубка, дружная эта пара дошла до площади Сорбонны, где стояла карета Полины.

— Я хочу заехать к тебе,— воскликнула она.— Хочу посмотреть на твою спальню, на твой кабинет, посидеть за столом, за которым ты работаешь. Это будет, как прежде,— покраснев, добавила она.— Жозеф,— обратилась она к лакею,— я заеду на улицу Варен и уж потом домой. Теперь четверть четвертого, а дома я должна быть в четыре. Пусть Жорж погоняет лошадей.

И несколько минут спустя влюбленные подъезжали к особняку Валантена.

— О, как я довольна, что все здесь осмотрела! — воскликнула Полина, теребя шелковый полог у кровати Рафаэля.— Когда я стану засыпать, то мысленно буду здесь. Буду представлять себе твою милую голову на подушке. Скажи, Рафаэль, ты ни с кем не советовался, когда меблировал свой дом?

— Ни с кем.

— Правда? А не женщина ли здесь...

— Полина!

— О, я страшно ревнива! У тебя хороший вкус. Завтра же добуду себе такую кровать.

Вне себя от счастья, Рафаэль обнял Полину.

— Но мой отец! Мой отец! — сказала она.

— Я провожу тебя, хочу как можно дольше не расставаться с тобой! — воскликнул Валантен.

— Как ты мил! Я не смела тебе предложить...

— Разве ты не жизнь моя?

Было бы скучно в точности приводить здесь всю эту болтовню влюбленных, которой лишь тон, взгляд, непередаваемый жест придают настоящую цену. Валантен проводил Полину до дому и вернулся с самым радостным

чувством, какое здесь, на земле, может испытать и вынести человек. Когда же он сел в кресло подле огня, думая о внезапном и полном осуществлении своих мечтаний, мозг его пронзила холодная мысль, как сталь кинжала пронзает грудь; он взглянул на шагреневую кожу,— она слегка сузилась. Он крепко выругался на родном языке, без всяких иезуитских недомолвок андуйлетской аббатисы, откинулся на спинку кресла и устремил неподвижный, невидящий взгляд на розетку, поддерживавшую драпри.

— Боже мой! — воскликнул он.— Как! Все мои желания, все... Бедная Полина!

Он взял циркуль и измерил, сколько жизни стоило ему это утро.

— Мне осталось только два месяца! — сказал он.

Его бросило в холодный пот, но вдруг в неописуемом порыве ярости он схватил шагреневую кожу и крикнул:

— Какой же я дурак!

С этими словами он выбежал из дому и, бросившись через сад к колодцу, швырнул в него талисман.

— Что будет, то будет...— сказал он.— К черту весь этот вздор!

Итак, Рафаэль предался счастью любви и зажил душа в душу с Полиной. Их свадьбу, отложенную по причинам, о которых здесь не интересно рассказывать, собирались отпраздновать в первых числах марта. Они проверили себя и уже не сомневались в своем чувстве, а так как счастье обнаружило перед ними всю силу их привязанности, то и не было на свете двух душ, двух характеров, более сроднившихся, нежели Рафаэль и Полина, когда их соединила любовь. Чем больше они узнавали друг друга, тем больше любили: с обеих сторон — та же чуткость, та же стыдливость, та же страсть, но только чистейшая, ангельская страсть; ни облачка на их горизонте; желания одного — закон для другого. Оба они были богаты, могли удовлетворять любую свою прихоть — следовательно, никаких прихотей у них не было. Супругу Рафаэля отличали тонкий вкус, чувство изящного, истинная поэтичность; ко всяким женским безделушкам она была равнодушна, улыбка любимого человека ей казалась прекраснее ормузского жемчуга, муслин и цветы составляли богатейшее ее украшение. Впрочем, Полина и Ра-

фаэль избегали общества, уединение представлялось им таким чудесным, таким живительным! Зеваки ежевечерне видели эту прекрасную незаконную чету в Итальянском театре или же в Опере. Вначале злоязычники прохаживались на их счет в салонах, но вскоре пронесшийся над Парижем вихрь событий заставил забыть о безобидных влюбленных; к тому же ведь была объявлена их свадьба. Это несколько оправдывало их в глазах блюстителей нравственности; да и слуги у них подобрались, против обыкновения, скромные,—таким образом, за свое счастье они не были наказаны какими-либо слишком неприятными сплетнями.

В конце февраля, когда стояли довольно теплые дни, уже позволявшие мечтать о радостях весны, Полина и Рафаэль завтракали вместе в небольшой оранжерее, представлявшей собой нечто вроде гостиной, полной цветов; дверь ее выходила прямо в сад. Бледное зимнее солнце, лучи которого пробивались сквозь редкий кустарник, уже согревало воздух. Пестрая листва деревьев, купы ярких цветов, причудливая игра светотени — все ласкало взор. В то время как парижане еще грелись возле унылых очагов, эти юные супруги веселились среди камелий, сирени и вереска. Их радостные лица виднелись над нарциссами, ландышами и бенгальскими розами. Эта сладострастная и пышная оранжерея была устлана африканской циновкой, окрашенной под цвет лужайки. На обитых зеленым тиком стенах не было ни пятнышка сырости. Мебель была деревянная, на вид грубоватая, но прекрасно отполированная и сверкавшая чистотой. Полина вымазала в кофе мордочку котенка, присевшего на столе, куда его привлек запах молока; она забавлялась с ним,—то подносила к его носу сливки, то отставляла, чтобы подразнить его и затянуть игру; она хохотала над каждой его ужимкой и пускалась на всякие шутки, чтобы помешать Рафаэлю читать газету, которая и так уже раз десять выпадала у него из рук. Как все естественное и искреннее, эта утренняя сцена дышала невыразимым счастьем. Рафаэль прикидывался углубленным в газету, а сам украдкой посматривал на Полину, резвившуюся с котенком, на свою Полину в длинном пеньюаре, который лишь кое-как ее прикрывал, на ее рассыпавшиеся волосы, на ее белую ножку с голубыми жилками

в черной бархатной туфельке. Она была прелестна в этом домашнем туалете, очаровательна как фантастические образы Вестолла, ее можно было принять и за девушку и за женщину, скорее даже за девушку, чем за женщину; она наслаждалась чистым счастьем и познала только первые радости любви. Едва лишь Рафаэль, окончательно погрузившись в тихую мечтательность, забыл про газету, Полина выхватила ее, смяла, бросила этот бумажный комок в сад, и котенок побежал за политикой, которая, как всегда, вертелась вокруг самой себя. Когда же Рафаэль, внимание которого было поглощено этой детской забавой, возымел охоту читать дальше и нагнулся, чтобы поднять газету, каковой уже не существовало, послышался смех, искренний, радостный, заливчатый, как песня птицы.

— Я ревную тебя к газете,— сказала Полина, вытирая слезы, выступившие у нее на глазах от этого по-детски веселого смеха.— Разве это не вероломство,— продолжала она, внезапно вновь становясь женщиной,— увлечься в моем присутствии русскими воззваниями и предпочесть прозу императора Николая словам и взорам любви?

— Я не читал, мой ангел, я смотрел на тебя.

В эту минуту возле оранжереи раздались тяжелые шаги садовника,— песок скрипел под его сапогами с подковками.

— Прошу прощения, господин маркиз, что помешал вам, и у вас также, сударыня, но я принес диковинку, какой я еще сроду не видывал. Я только что, дозвольте сказать, вместе с ведром воды вытащил из колодца редкостное морское растение. Вот оно! Нужно же так привыкнуть к воде,— ничуть не смокло и не отсырело. Сухое, точно из дерева, и совсем не осклизлое. Конечно, господин маркиз ученее меня, вот я и подумал: нужно им это отнести, им будет любопытно.

И садовник показал Рафаэлю неумолимую шагреневую кожу, размеры которой не превышали теперь шести квадратных дюймов.

— Спасибо, Ваньер,— сказал Рафаэль.— Вещь очень любопытная.

— Что с тобой, мой ангел? Ты побледнел! — воскликнула Полина.

— Ступайте, Ваньер.

— Твой голос меня пугает,— сказала Полина,— он как-то странно вдруг изменился... Что с тобой? Как ты себя чувствуешь? Что у тебя болит? Ты нездоров? Доктора! — крикнула она.— Ионафан, на помощь!

— Не надо, Полина,— сказал Рафаэль, уже овладевая собой.— Пойдем отсюда. Здесь от какого-то цветка идет слишком сильный запах. Может быть, от вербены?

Полина набросилась на ни в чем не повинное растение, вырвала его с корнем и выбросила в сад.

— Ах ты, мой ангел! — воскликнула она, сжимая Рафаэля в объятиях таких же пылких, как их любовь, и с томной кокетливостью подставляя свои алые губы для поцелуя.— Когда ты побледнел, я поняла, что не пережила бы тебя: твоя жизнь — это моя жизнь. Рафаэль, проведи рукой по моей спине. Там у меня все еще холодок, ласка смерти. Губы у тебя горят. А рука?.. Ледяная! — добавила она.

— Пустое! — воскликнул Рафаэль.

— А зачем слеза? Дай я ее выпью.

— Полина, Полина, ты слишком сильно меня любишь!

— С тобой творится что-то неладное, Рафаэль... Говори, все равно я узнаю твою тайну. Дай мне это,— сказала она и взяла шагреневую кожу.

— Ты мой палач! — воскликнул молодой человек, с ужасом глядя на талисман.

— Что ты говоришь! — пролепетала Полина и выронила вещий символ судьбы

— Ты любишь меня? — спросил он.

— Люблю ли? И ты еще спрашиваешь!

— В таком случае оставь меня, уйди!

Бедняжка ушла.

— Как! — оставшись один, вскричал Рафаэль.— В наш просвещенный век, когда мы узнали, что алмазы суть кристаллы углерода, в эпоху, когда всему находят объяснение, когда полиция привлекла бы к суду нового мессию, а сотворенные им чудеса подверглись бы рассмотрению в Академии наук, когда мы верим только в нотариальные надписи, я поверил — я! — в какой-то «Мане-Текел-Фарес». Но, клянусь богом, я не могу поверить,

что высшему существу приятно мучить добропорядочное создание... Надо поговорить с учеными.

Вскоре он очутился между Винным рынком, этим огромным складом бочек, и приютом Сальпетриер, этим огромным рассадником пьянства, около небольшого пруда, где плескались утки самых редкостных пород, сверкая на солнце переливами своих красок, напоминавших тона церковных витражей. Здесь были собраны утки со всего света; крякая, кувыркаясь, барахтаясь, образуя нечто вроде утиной палаты депутатов, созванной помимо их воли, но, по счастью, без хартии и без политических принципов, они жили здесь, не опасаясь охотников, но порою попадая в поле зрения естествоиспытателя.

— Вот господин Лавриль,— сказал сторож Рафаэлю, который разыскивал этого великого жреца зоологии.

Маркиз увидел невысокого роста господина, с глубокомысленным видом рассматривавшего двух уток. Ученый этот был человек средних лет; приятным чертам его лица придавало особую мягкость выражение радушия; во всем его облике чувствовалась беспредельная преданность науке; из-под парика, который он беспрестанно теребил и в конце концов забавно сдвинул на затылок, видны были седые волосы,— такая небрежность изобличала в нем страсть к науке и ее открытиям, а эта страсть— как, впрочем, и всякая другая — столь властно обособляет нас от внешнего мира, что заставляет забывать о самом себе. В Рафаэле заговорил ученый и исследователь, и он пришел в восторг от этого естествоиспытателя, который не спал ночей, расширяя круг человеческих познаний, и самими ошибками своими служил славе Франции; впрочем, щеголиха, наверно, посмеялась бы над тем, что между поясом панталон и полосатым жилетом ученого виднелась щелочка, стыдливо прикрываемая, однако же, сорочкою, которая собралась складками оттого, что г-н Лавриль беспрестанно то наклонялся, то выпрямлялся, как этого требовали его зоогенетические наблюдения.

После первых приветственных слов Рафаэль счел своим долгом обратиться к г-ну Лаврилю с банальными комплиментами по поводу его уток.

— О, утками мы богаты! — ответил естествоиспытатель.— Впрочем, как вы, вероятно, знаете, это самый

распространенный вид в отряде перепончатолапых. Он заключает в себе сто тридцать семь разновидностей, резко отличающихся одна от другой, начиная с лебедя и кончая уткой зинзин; у каждой свое наименование, свой особый нрав, свое отечество, особая внешность и не больше сходства с другой разновидностью, чем у белого с негром. В самом деле, когда мы едим утку, мы часто и не подозреваем, как распространена...

Тут он увидел небольшую красивую птицу, которая поднималась на берег.

— Смотрите, вот галстучный лебедь, бедное дитя Канады, явившееся издалека, чтобы показать нам свое коричневато-серое оперение, свой черный галстучек! Смотрите, чешется... Вот знаменитый пуховый гусь, или иначе утка-гага, под пухом которой спят наши франтихи. Как она красива! Полюбуйтесь на ее брюшко, белое с красноватым отливом, на ее зеленый клюв. Я только что присутствовал при соединении, на которое я не смел и надеяться,— продолжал он.— Бракосочетание совершилось довольно счастливо, с огромным нетерпением буду ждать результатов. Льщу себя надеждой получить сто тридцать восьмую разновидность, которой, возможно, будет присвоено мое имя. Вон они, новобрачные,— сказал он, показывая на двух уток.— Вот это гусь-хохотун (anas albifrons), это большая утка-свистун (anas ruffina, по Бюффону). Я долго колебался между уткой-свистуном, уткой-белобровкой и уткой-широконосом (anas clypeata). Смотрите, вон широконос, толстый коричневато-черный злодей с кокетливой зеленовато-радужной шеей. Но утка-свистун была хохлатая, и, вы понимаете, я более не колебался. Нам не хватает здесь только утки черноермольчатой. Наши господа естествоиспытатели единогласно утверждают, что она ненужное повторение утки-чирка с загнутым клювом; что же касается меня...—(Тут он одной удивительной ужимкой выразил одновременно скромность и гордость ученого — гордость, в которой сквозило упрямство, скромность, в которой сквозило чувство удовлетворения)— ...то я так не думаю,— прибавил он.— Видите, милостивый государь, мы здесь времени не теряем. Я сейчас занят монографией об утке, как особом виде... Впрочем, я к вашим услугам.

Пока они подошли к красивому дому на улице Бюф-

фона, Рафаэль уже успел передать шагреневую кожу на исследование г-ну Лаврилю.

— Это изделие мне знакомо,— сказал наконец ученый, осмотрев талисман в лупу.— Оно служило покрышкой для какого-то ларца. Шагрень очень старинная! Теперь футлярщики предпочитают тигрин. Тигрин, как вы, вероятно, знаете, это кожа raja sephen, рыбы Красного моря.

— Но что же это такое, скажите, пожалуйста?

— Это нечто совсем другое,— отвечал ученый.— Между тигрином и шагренью такая же разница, как между океаном и землей, рыбой и четвероногим. Однако рыбья кожа прочнее кожи наземного животного. А это,—продолжал он, показывая на талисман,—это, как вы, вероятно, знаете, один из любопытнейших продуктов зоологии.

— Что же именно? — воскликнул Рафаэль.

— Это кожа осла,— усаживаясь поглубже в кресло, отвечал ученый.

— Я знаю,— сказал молодой человек.

— В Персии существует чрезвычайно редкая порода осла,—продолжал естествоиспытатель,—древнее название его *онагр*, equus asinus, татары называют его *кулан*. Паллас произвел над ним наблюдения и сделал его достоянием науки. В самом деле, это животное долгое время слыло фантастическим. Оно, как вам известно, упоминается в священном писании; Моисей запретил его случать с ему подобными. Но еще бóльшую известность доставил онагру тот вид разврата, объектом которого он бывал и о котором часто говорят библейские пророки. Паллас, как вы, вероятно, знаете, в Acta Acad Petropolitana, том второй, сообщает, что персы и ногайцы еще и теперь благоговейно чтят эти странные эксцессы, как превосходное средство при болезни почек и воспалении седалищного нерва. Мы, бедные парижане, понятия не имеем об онагре! В нашем музее его нет. Какое замечательное животное! — продолжал ученый.—Это—существо таинственное, его глаза снабжены отражающей оболочкой, которой жители Востока приписывают волшебную силу; шкура у него тоньше и глаже, чем у лучших наших коней, она вся в ярко-рыжих и бледно-рыжих полосах и очень похожа на кожу зебры. Шерсть у него мягкая, волнистая,

шелковистая на ощупь; зрение его по своей остроте не уступает зрению человека; онагр несколько крупнее наших лучших домашних ослов и наделен чрезвычайной храбростью. Если на него нападут, он поразительно успешно отбивается от самых свирепых животных; что же касается быстроты бега, то его можно сравнить лишь с полетом птицы; лучшие арабские и персидские кони не угнались бы за онагром. По определению, данному еще отцом добросовестного ученого Нибура — недавнюю кончину коего мы, как вы, вероятно, знаете, оплакиваем,— средняя скорость бега этих удивительных созданий равна семи географическим милям в час. Наш выродившийся осел и представления не может дать об этом осле, независимом и гордом животном. Онагр проворен, подвижен, взгляд у него умный и хитрый, внешность изящная, движения полны игривости. Это зоологический царь Востока! Суеверия турецкие и персидские приписывают ему таинственное происхождение, и имя Соломона примешивается к повествованиям тибетских и татарских рассказчиков о подвигах этих благородных животных. Надо заметить, что прирученный онагр стоит огромных денег: поймать его в горах почти невозможно, он скачет, как косуля, летает, как птица. Басни о крылатых конях, о нашем Пегасе, без сомнения, родились в тех странах, где пастухи могли часто видеть, как онагр прыгает со скалы на скалу. Верховых ослов, происшедших в Персии от скрещивания ослицы с прирученным онагром, красят в красноватый цвет,— так повелось с незапамятных времен. Быть может, отсюда ведет начало наша пословица: «Зол, как красный осел». В те времена, когда естествознание было во Франции в большом пренебрежении, какой-нибудь путешественник завез к нам, вероятно, это любопытное животное, которое очень плохо переносит жизнь в неволе. Отсюда и пословица. Кожа, которую вы мне показали,— продолжал ученый,— это кожа онагра. Ее название толкуется по-разному. Одни полагают, что *Шагри* — слово турецкое, другие склонны думать, что *Шагри* — город, где эти зоологические останки подвергаются химической обработке, недурно описанной у Палласа, она-то и придает коже своеобразную зернистость, которая нас так поражает. Мартеленс писал мне, что *Шаагри* — это ручей...

— Благодарю вас за разъяснения; если бы бенедиктинцы еще существовали, то какому-нибудь аббату Кальмэ все это послужило бы основой для превосходных примечаний, но я имею честь обратить ваше внимание на то, что этот лоскут кожи первоначально был величиною... вот с эту географическую карту,— сказал Рафаэль, показывая на открытый атлас,— но за три месяца он заметно сузился...

— Да,— отвечал ученый,— понимаю. Останки живых организмов подвержены естественному уничтожению, которое легко обнаруживается и в своем ходе зависит от атмосферических условий. Даже металлы расширяются и сжимаются чувствительным образом, ибо инженеры наблюдали довольно значительные промежутки между большими камнями, которые первоначально были скреплены железными полосами. Наука обширна, а жизнь человеческая очень коротка. Поэтому мы не претендуем на то, чтобы познать все явления природы.

— Заранее прошу прощения за свой вопрос,— несколько смущенно продолжал Рафаэль.— Вполне ли вы уверены в том, что эта кожа подчинена общим законам зоологии, что она может расширяться?

— О, разумеется!.. А, черт! — проворчал г-н Лавриль, пытаясь растянуть талисман.— Впрочем, милостивый государь,— добавил он,— сходите к Планшету, знаменитому профессору механики,— он наверняка найдет способ воздействовать на эту кожу, смягчить ее, растянуть.

— Ах, я вам обязан жизнью!

Рафаэль раскланялся с ученым-естествоиспытателем и, оставив доброго Лавриля в его кабинете, среди банок и гербариев, помчался к Планшету. Теперь, после этого посещения, он, сам того не сознавая, владел всей человеческой наукой — номенклатурой! Добряк Лавриль, как Санчо Панса, когда тот рассказывал Дон-Кихоту историю с козами, забавлялся тем, что перечислял животных и перенумеровывал их. Стоя одной ногой в гробу, ученый знал лишь крохотную частицу того неисчислимого стада, которое бог с неведомою целью рассеял по океану миров.

Рафаэль был доволен.

— Буду держать своего осла в узде! — воскликнул он.

Еще до него Стерн сказал: «Побережем осла, если хотим дожить до старости!» Но скотина норовиста!

Планшет был высок, сухощав — настоящий поэт, погруженный в непрестанное созерцание, вечно заглядывающий в бездонную пропасть, имя которой движение. Обыватели считают безумцами ученых — людей с возвышенным умом, этих непонятных, удивительно равнодушных к роскоши и светскости людей, которые по целым дням сосут потухшую сигару и входят в гостиную, застегнувшись вкривь и вкось. Настает день, когда они, долго перед тем измеряя пустое пространство или же нагромождая иксы под Aa—^{Gg}, проанализируют какой-нибудь естественный закон и разложат какое-нибудь простейшее начало; и вот толпа уже любуется новой машиной или какой-нибудь тележкой, устройство которых поражает и сбивает нас с толку своей простотой. Скромный ученый с улыбкой говорит своим почитателям: «Что же я создал! Ничего. Человек не изобретает силу, он направляет ее, наука заключается в подражании природе».

Когда Рафаэль вошел к механику, тот стоял как вкопанный, и можно было подумать, что это повешенный, который, сорвавшись с виселицы, стал стоймя. Планшет следил за агатовым шариком, катавшимся по циферблату солнечных часов, и ждал, когда он остановится. У бедняги не было ни ордена, ни пенсии, ибо он не умел показать товар лицом. Он был счастлив тем, что стоит на страже открытия, и не думал ни о славе, ни о свете, ни о самом себе, он жил наукой, ради науки.

— Это неизъяснимо! — сказал он.— Ах! — воскликнул он, заметив Рафаэля.— Я к вашим услугам. Как поживает ваша матушка?.. Зайдите к жене.

«Ведь я и сам мог бы жить так»,— подумал Рафаэль. Он показал ученому талисман и, спросив, как на него воздействовать, вывел Планшета из задумчивости.

— Вы, может быть, посмеетесь над моим легковерием,— сказал в заключение маркиз,— но я не скрою от вас ничего. Мне кажется, что эта кожа обладает такой силой сопротивления, которую ничто не может преодолеть.

— Светские люди весьма вольно обращаются с наукой,— начал Планшет,— все они в беседе с нами напоминают некоего франта, который сказал астроному Лаланду, приведя к нему после затмения нескольких дам: «Будьте добры, начните сначала». Какое действие угодно вам произвести? Цель механики — применять законы движения или же нейтрализовать их. Что касается движения самого по себе, то я со всем смирением вынужден объявить вам: мы бессильны его определить. Ограничив себя таким образом, мы наблюдаем некие постоянные явления, которые управляют действием твердых и жидких тел. Воспроизведя первопричины подобных явлений, мы можем перемещать тела, сообщать им движущую силу при определенной скорости, метать их, делить их на части ли на бесконечно малые частицы, смотря по тому, дробим мы их или же распыляем; можем скручивать их, сообщать им вращательное движение, видоизменять их, сжимать, расширять, растягивать. Вся наша наука зиждется на одном только факте. Видите шарик? — продолжал Планшет.—Он вот на этом камне. А теперь он там. Как мы назовем это действие, физически столь естественное, но непостижимое для ума? Движение, передвижение, перемещение? Но ведь ничего же не стоит за этими пустыми словами. Разве наименование есть уже решение задачи? Вот, однако, и вся наука. Наши машины используют или разлагают это действие, этот факт. Этот маловажный феномен, если применить его к веществам, взорвет Париж. Мы можем увеличить скорость за счет силы и силу за счет скорости. Что такое сила и скорость? Наша наука не может на это ответить, как не может создать движение. Движение, каково бы оно ни было, есть огромная энергия, а человек энергии не изобретает. Энергия едина, как и движение, представляющее собой самую сущность энергии. Все есть движение. Мысль есть движение. Природа основана на движении. Смерть есть движение, цели коего нам мало известны. Если бог вечен,— поверьте, и он постоянно в движении. Бог, может быть, и есть само движение. Вот почему движение неизъяснимо, как он, глубоко, как он, безгранично, непостижимо, неосязаемо. Кто когда-либо осязал движение, постиг и измерил его? Мы ощущаем следствия, не видя самого движения. Мы можем даже отрицать его, как

отрицаем бога. Где оно? И где его нет? Откуда оно исходит? Где его начало? Где его конец? Оно объемлет нас, воздействует на нас и ускользает. Оно очевидно, как факт; темно, как абстракция; оно и следствие и причина вместе. Ему, как и нам, нужно пространство, а что такое пространство? Оно открывается нам только в движении; без движения оно только пустое слово. Это проблема неразрешимая; подобно пустоте, подобно сотворению мира, бесконечности,— движение смущает мысль человеческую, и человеку дано постигнуть лишь одно: что он никогда не постигнет движения. Между каждыми двумя точками, последовательно занимаемыми в пространстве этим шариком для разума человеческого находится пропасть, бездна, куда низвергся Паскаль. Чтобы воздействовать на неведомое вещество, которое вы хотите подчинить неведомой силе, мы должны сначала изучить это вещество; в зависимости от природных своих свойств оно или лопнет от применения силы, или же окажет ей сопротивление; если оно распадется на части, а в ваши намерения не входило делить его, мы не достигнем цели. Если вы хотите сжать его — необходимо сообщить равное движение всем частицам вещества, так, чтобы в равной степени уменьшить разделяющие их промежутки. Угодно вам растянуть его — мы должны постараться сообщить каждой молекуле равную центробежную силу, ибо без точного соблюдения этого закона мы произведем разрывы непрерывности. Существуют бесконечные способы, безграничные комбинации движения. Какого результата вы хотите добиться?

— Я хочу добиться такого давления, которое могло бы растянуть эту кожу до бесконечности...— в нетерпении проговорил Рафаэль.

— Вещество — явление конечное, а потому и не может быть растянуто до бесконечности,— возразил математик,— однако сплющивание неизбежно расширит его поверхность за счет толщины: кожу можно расплющивать до тех пор, пока хватит ее вещества.

— Добейтесь такого результата, и вы получите миллионы! — воскликнул Рафаэль.

— Брать за это большие деньги просто нечестно,— с флегматичностью голландца сказал профессор.— В

двух словах я расскажу вам о машине, которая раздавила бы самого бога, как муху. Она способна сплющить человека, так что он будет похож на лист пропускной бумаги,— человека в сапогах со шпорами, в галстуке, шляпе, с золотом, с драгоценностями, со всем...

— Какая ужасная машина!

— Вместо того чтобы бросать детей в воду, китайцы должны были бы утилизировать их так,— продолжал ученый, не думая о том, как возмутительно его отношение к потомству.

Весь отдавшись своей идее, Планшет взял пустой цветочный горшок с дырой в донышке и поставил его на плиту солнечных часов, затем пошел в сад за глиной. Рафаэль был в восторге, как ребенок, которому няня рассказывает волшебную сказку. Положив глину на плиту, Планшет вынул из кармана садовый нож, срезал две ветки бузины и принялся выдалбливать их, насвистывая, точно он был один в комнате.

— Вот составные части машины,— сказал он.

При помощи вылепленного из глины коленца он прикрепил одну из этих деревянных трубочек ко дну цветочного горшка так, чтобы ее отверстие примыкало к отверстию горшка. Сооружение напоминало огромную курительную трубку. Затем он размял на плите слой глины, придал ему форму лопаты с рукояткой, поставил цветочный горшок на широкую ее часть и укрепил трубочку из бузины вдоль той части глиняной лопатки, которая напоминала рукоятку. Потом он прилепил комочек глины у другого конца бузинной трубки и, воткнув здесь такую же трубку совсем вертикально, при помощи еще одного коленца соединил ее с горизонтальной трубкой, так что воздух или какая-либо жидкость могли циркулировать в этой импровизированной машине и бежать из вертикальной трубки через промежуточный канал в пустой цветочный горшок.

— Этот аппарат,— заявил он Рафаэлю с серьезностью академика, произносящего вступительное слово,— одно из самых неоспоримых свидетельств о праве великого Паскаля на наше преклонение.

— Я не понимаю...

Ученый улыбнулся. Он отвязал от фруктового дерева

пузырек, в котором аптекарь прислал ему липучее снадобье от муравьев, отбил дно и, превратив пузырек в воронку, вставил ее в вертикальную бузинную трубку, которая прилажена была к горизонтальной трубке, соединенной с большим резервуаром в виде цветочного горшка; затем налил из лейки столько воды, что она наполнила до одного уровня большой сосуд и вертикальную трубочку...

Рафаэль думал о своей шагреневой коже.

— Вода, милостивый государь, все еще считается телом несжимаемым, не забудьте этого основного положения,— предупредил механик,— правда, она сжимается, но так незначительно, что сжимаемость ее мы должны приравнять к нулю. Видите поверхность воды, заполнившей до краев цветочный горшок?

— Да.

— Так вот, предположите, что эта поверхность в тысячу раз больше перпендикулярного сечения бузинной трубочки, через которую я налил жидкость. Смотрите, я снимаю воронку...

— Так.

— И вот, милостивый государь, если я каким-нибудь образом увеличу объем этой массы, введя еще некоторое количество воды через отверстие трубочки, то жидкость принуждена будет переместиться и станет подниматься в резервуаре, коим является цветочный горшок, пока опять не достигнет одного уровня и там и тут.

— Это ясно! — воскликнул Рафаэль.

— Но,— продолжал ученый,— разница вот в чем: если тонкий столбик воды, добавленный в вертикальную трубочку, представляет собою силу, равную, положим, одному фунту, ее давление неизбежно передается всей массе жидкости, и его испытает в каждой своей точке поверхность воды в цветочном горшке,— так что тысяча столбиков воды, стремясь подняться, как если бы к каждому была приложена сила, равная той, которая заставляет опускаться жидкость в вертикальной бузинной трубочке, неминуемо произведут *здесь*...— Планшет показал на цветочный горшок,— энергию в тысячу раз большую, чем та, которая действует *оттуда*.

И ученый показал пальцем на деревянную трубочку, воткнутую в глину стоймя.

— Все это очень просто,— сказал Рафаэль.

Планшет улыбнулся.

— Другими словами,— продолжал он с той упрямой логичностью, которая свойственна математикам,— чтобы вода не выливалась из большого резервуара, следовало бы применить к каждой частице ее поверхности силу, равную силе, действующей в вертикальной трубке, но если высота нашего водяного столбика будет равна целому футу, то высота тысячи маленьких столбиков в большом сосуде будет весьма незначительна. А теперь,— щелкнув по бузинным палочкам, сказал Планшет,— заменим этот смешной аппаратишко металлическими трубами соответствующей прочности и размера, и вот, если мы покроем поверхность жидкости в большом резервуаре крепкой и подвижной металлической доской и параллельно ей неподвижно укрепим другую, тоже достаточной прочности, а при этом получим возможность беспрестанно прибавлять воду к жидкой массе через вертикальную трубу, то предмет, зажатый между двумя прочными поверхностями, неминуемо должен будет все больше и больше сплющиваться под действием приложенных к нему огромных сил. Непрерывно вводить воду в трубку и передавать энергию жидкой массы доске— это для механики дело пустячное. Достаточно двух поршней и нескольких клапанов. Понятно вам, дорогой мой,— спросил он, взяв Валантена под руку,— что нет такого вещества, которое, будучи помещено между двумя неограниченно увеличивающимися силами давления, не принуждено было бы расплющиваться?

— Как! Это изобрел автор «Писем к провинциалу»?—воскликнул Рафаэль.

— Да, именно он. Механика не знает ничего более простого и более прекрасного. На противоположном принципе — расширяемости воды — основана паровая машина. Но вода расширяется только до известной степени, тогда как ее несжимаемость, будучи в некотором роде силой отрицательной, неизбежно оказывается бесконечно большой.

— Если эта кожа растянется,— сказал Рафаэль,— я обещаю вам воздвигнуть колоссальный памятник Бле-

ву Паскалю, учредить премию в сто тысяч франков за решение важнейших проблем механики, присуждаемую каждые десять лет, дать приданое вашим двоюродным и троюродным сестрам, наконец, построить богадельню для математиков, впавших в безумие или же в нищету.

— Это было бы очень хорошо,— отозвался Планшет.— Завтра пойдем с вами к Шпигхальтеру,— продолжал он со спокойствием человека, живущего в сфере исключительно интеллектуальной.—Шпигхальтер — превосходный механик, и он только что построил по моему проекту усовершенствованную машину, при помощи которой ребенок может уложить в своей шляпе тысячу копен сена.

— До завтра.

— До завтра.

— Вот так механика! — вскричал Рафаэль. — Разве то не прекраснейшая из наук! Лавриль со своими онаграми, классификациями, утками, разновидностями, со всякими уродцами в банках годился бы разве что в маркеры.

На другой день Рафаэль в отличном расположении духа заехал за Планшетом, и они вместе отправились на улицу Здоровья, в каковом названии можно было видеть хорошую примету. Вскоре молодой человек очутился в огромной мастерской Шпигхальтера, среди множества раскаленных и ревущих горнов. То был целый ливень огня, потоп гвоздей, океан поршней, винтов, рычагов, брусьев, напильников, гаек, море чугуна, дерева, клапанов и стальных полос. От железных опилок першило в горле. Железо было в воздухе, железом были покрыты люди, от всего разило железом; у железа была своя жизнь, оно было организовано, плавилось, ходило, думало, принимая все формы, подчиняясь всем прихотям. Под гудение мехов, под все нарастающий грохот молотов, под свист станков, на которых скрежетало железо, Рафаэль прошел в большое помещение, чистое и хорошо проветренное, и там ему была предоставлена возможность осмотреть во всех подробностях огромный пресс, о котором вчера толковал Планшет. Его поразила толщина чугунных досок и железные стойки, соединенные несокрушимой подушкой.

— Если вы быстро повернете семь раз вот эту рукоятку,— сказал Шпигхальтер, показывая на балансир из полированного железа,— то стальная доска разлетится на множество осколков, и они вопьются вам в ноги, как иголки.

— Черт возьми! — вскричал Рафаэль.

Планшет собственноручно сунул шагреневую кожу между двумя досками всемогущего пресса и, проникнутый тою уверенностью, которую придает научное мировоззрение, живо повернул рукоять балансира.

— Ложитесь все, иначе убьет! — неожиданно крикнул Шпигхальтер и сам бросился на пол.

В мастерской послышался пронзительный свист. Вода, находившаяся в машине, проломила чугун, хлынула со страшной силой, но, к счастью, устремилась на старый горн, который она опрокинула, перевернула, скрутила винтом, подобно тому, как смерч обвивается вокруг какого-нибудь дома и уносит его с собой.

— Ого! — хладнокровно заметил Планшет.— Шагрень цела и невредима! Господин Шпигхальтер, вероятно, была трещина в чугуне или же скважина в большой трубе?

— Нет, нет, я знаю свой чугун. Берите, сударь, эту штуку, в ней сидит черт!

Немец схватил кузнечный молот, бросил кожу на наковальню и с той силой, которую придает гнев, нанес талисману самый страшный удар, какой когда-либо раздавался в его мастерских.

— На ней и следа не осталось! — воскликнул Планшет, поглаживая непокорную шагрень.

Сбежались рабочие. Подмастерье взял кожу и бросил ее в каменноугольную топку горна. Выстроившись полукругом возле огня, все с нетерпением ожидали действия огромных мехов. Рафаэль, Шпигхальтер и профессор стояли в центре притихшей черной толпы. Глядя на эти сверкавшие белки глаз, на эти лица, испачканные опилками железа, на черную и лоснящуюся одежду, на волосатые груди, Рафаэль мысленно перенесся в ночной фантастический мир немецких баллад. Помощник мастера, подержав кожу минут десять в печи, вынул ее щипцами.

— Дайте,— сказал Рафаэль.

Помощник мастера шутя протянул ее Рафаэлю. Тот, как ни в чем не бывало, смял кожу голыми руками — она была все такая же холодная и гибкая. Раздался крик ужаса, рабочие разбежались, в опустевшей мастерской остались только Валантен и Планшет.

— Положительно, в ней есть что-то дьявольское! — с отчаянием в голосе вскричал Рафаэль.— Неужели никакая человеческая сила не властна подарить мне ни одного лишнего дня?

— Милостивый государь, это моя вина,— сокрушенно отвечал математик,— нужно было подвергнуть эту необыкновенную кожу действию прокатных вальцов. Как это мне взбрело в голову предложить вам пресс?

— Я сам вас просил об этом,— возразил Рафаэль.

Ученый вздохнул, как обвиняемый, которого двенадцать присяжных признали невиновным. Однако, заинтересовавшись удивительной загадкой, которую задала ему кожа, он подумал с минуту и сказал:

— Нужно воздействовать на это неизвестное вещество реактивами. Сходим к Жафе,— быть может, химия будет удачливее механики.

Валантен в надежде застать знаменитого химика Жафе в его лаборатории пустил лошадь рысью.

— Ну, старый друг,— сказал Планшет, обращаясь к Жафе, который сидел в кресле и рассматривал какой-то осадок,— как поживает химия?

— Она засыпает. Нового ничего. Впрочем, Академия признала существование салицина, но салицин, аспарагин, вокелин, дигиталин — это все не открытия...

— Будучи не в силах изобретать вещи, вы, кажется, дошли до того, что изобретаете наименования,— заметил Рафаэль.

— Совершенно верно, молодой человек!

— Послушай,— сказал профессор Планшет химику,— попробуй разложить вот это вещество. Если ты извлечешь из него какой-нибудь элемент, то я заранее называю его *дьяволин*, ибо, пытаясь его сжать, мы только что сломали гидравлический пресс.

— Посмотрим, посмотрим! — радостно вскричал химик.— Быть может, оно окажется новым простым телом.

— Это просто-напросто кусок ослиной кожи,— сказал Рафаэль.

— Сударь!..— негодующе заметил химик.

— Я не шучу,— возразил маркиз и подал ему шагреневую кожу.

Барон Жафе прикоснулся к коже шершавым своим языком, привыкшим пробовать соли, щелочи, газы, и, несколько раз попробовав, сказал:

— Никакого вкуса! Дадим-ка ему немножко фтористой кислоты.

Кожу подвергли действию этого вещества, столь быстро разлагающего животные ткани, но в ней не произошло никаких изменений.

— Это не шагрень! — воскликнул химик.— Примем таинственного незнакомца за минерал и щелкнем его по носу, то есть положим в огнеупорный тигель, где у меня, как нарочно, красный поташ.

Жафе вышел и сейчас же вернулся.

— Позвольте мне взять кусочек этого необычайного вещества,— сказал он Рафаэлю,— оно так необыкновенно...

— Кусочек? — вскричал Рафаэль.— И с волосок бы не дал. Впрочем, попробуйте,— прибавил он печально и в то же время насмешливо.

Ученый сломал бритву, стремясь надрезать кожу, он попытался рассечь ее сильным электрическим током, подверг ее действию вольтова столба — все молнии науки ничего не могли поделать со страшным талисманом. Было семь часов вечера. Планшет, Жафе и Рафаэль в ожидании результата последнего опыта не замечали, как бежит время. Шагрень вышла победительницей из ужасающего столкновения с немалым количеством хлористого азота.

— Я погиб! — воскликнул Рафаэль.— Это — воля самого бога. Я умру.

Он оставил обоих ученых в полном недоумении. Они долго молчали, не решаясь поделиться друг с другом впечатлениями; наконец, Планшет заговорил:

— Только не будем рассказывать об этом происшествии в Академии, а то коллеги засмеют нас.

Оба ученых были похожи на христиан, которые вышли из гробов своих, а бога в небесах не узрели.

Наука? Бессильна! Кислоты? Чистая вода! Красный поташ? Оскандалился! Вольтов столб и молния? Игрушки!

— Гидравлический пресс разломился, как кусок хлеба,— добавил Планшет.

— Я верю в дьявола,— после минутного молчания заявил барон Жафе.

— А я — в бога,— отозвался Планшет.

Каждый был верен себе. Для механики вселенная — машина, которой должен управлять рабочий, для химии—создание демона, который разлагает все, а мир есть газ, обладающий способностью двигаться.

— Мы не можем отрицать факт,— продолжал химик.

— Э, чтоб нас утешить, господа доктринеры выдумали туманную аксиому: глупо, как факт.

— Но не забывай, что твоя аксиома — ведь тоже факт! — заметил химик.

Они рассмеялись и преспокойно сели обедать: для таких людей чудо — только любопытное явление природы.

Когда Валантен возвратился домой, его охватило холодное бешенство; теперь он ни во что уже не верил, мысли у него путались, кружились, разбегались, как у всякого, кто встретится с чем-то невозможным. Он еще допустил бы предположение о каком-нибудь скрытом изъяне в машине Шпигхальтера,— бессилие механики и огня не удивляло его; но гибкость кожи, которую он ощутил, когда взял ее в руки, а вместе с тем несокрушимость, которую она обнаружила, когда все находившиеся в распоряжении человека разрушительные средства были направлены против нее,— вот что приводило его в ужас. От этого неопровержимого факта кружилась голова.

«Я сошел с ума,— думал он,— с утра я ничего не ел, но мне не хочется ни есть, ни пить, а в груди точно жжет огнем».

Он повесил шагреневую кожу на прежнее место и, снова обведя контуры талисмана красными чернилами, сел в кресло.

— Уже восемь часов! — воскликнул он.— День прошел, как сон.

Он облокотился на ручку кресла и, подперев голову

рукой, долго сидел так, погруженный в то мрачное раздумье, в те гнетущие размышления, тайну которых уносят с собою осужденные на смерть.

— Ах, Полина, бедная девочка! — воскликнул он.— Есть бездны, которых не преодолеет даже любовь, как ни сильны ее крылья.

Но тут он явственно услышал подавленные вздохи и, благодаря одному из самых трогательных свойств, которыми обладают влюбленные, узнал дыхание Полины.

«О, вот и приговор! — подумал Рафаэль.— Если действительно она здесь, я хотел бы умереть в ее объятиях».

Послышался веселый, непринужденный смех. Рафаэль повернулся лицом к кровати и сквозь прозрачный полог увидел лицо Полины; она улыбалась, как ребенок, довольный тем, что удалась его хитрость; прекрасные ее кудри рассыпались по плечам; в это мгновение она была подобна бенгальской розе посреди букета белых роз.

— Я подкупила Ионафана,— сказала она.— Я твоя жена, так разве эта кровать не принадлежит мне? Не сердись на меня, мой дорогой, мне только хотелось уснуть возле тебя, неожиданно появиться перед тобою. Прости мне эту глупость.

Она как кошка прыгнула из постели, вся словно сияя в белом муслине, и села к Рафаэлю на колени.

— О какой бездне ты говорил, любовь моя? — спросила она, и лицо ее приняло озабоченное выражение.

— О смерти.

— Ты меня мучаешь,— сказала она.— Есть такие мысли, к которым нам, бедным женщинам, лучше не обращаться, они нас убивают. От силы ли это любви, от недостатка ли мужества — не знаю. Смерть меня не пугает,— продолжала она со смехом.— Умереть вместе с тобой, хотя бы завтра утром, в последний раз целуя тебя, было бы для меня счастьем. Мне кажется, я прожила бы за это время больше столетия. Что для нас число дней, если в одну ночь, в один час мы исчерпали всю жизнь, полную мира и любви?

— Ты права, твоими милыми устами говорит само небо. Дай я поцелую тебя, и умрем,— сказал Рафаэль.

— Что ж, и умрем! — со смехом отозвалась она.

Было около девяти часов утра, свет проникал сквозь щели жалюзи; его смягчал муслин занавесок, и все же были видны яркие краски ковра и обитая шелком мебель, которой была уставлена спальня, где почивали влюбленные. Кое-где искрилась позолота. Луч солнца скользнул по мягкому пуховому одеялу, которое среди игр любви было сброшено на пол. Платье Полины, висевшее на высоком зеркале, казалось неясным призраком. Крохотные туфельки валялись далеко от постели. Соловей прилетел на подоконник; его щелканье и шелест крыльев, когда он вспорхнул, улетая, разбудили Рафаэля.

— Если мне положено умереть,— сказал он, додумывая то, что ему пришло в голову во сне,— значит, в моем организме — в этой машине из костей и мяса, одушевленной моею волей, что и делает из меня личность,— имеются серьезные повреждения. Врачи должны знать симптомы смертельной опасности и могут мне сказать, здоров я или болен.

Он посмотрел на спящую жену, которая одной рукой обнимала его голову, выражая и во сне нежную заботливость любви. Прелестно раскинувшись, как ребенок, и повернувшись к нему лицом, Полина, казалось, все еще смотрела на него, протягивая ему красивые свои губы, полуоткрытые чистым и ровным дыханием. Мелкие, точно фарфоровые, зубки оттеняли алость свежих уст, на которых порхала улыбка; в этот миг на ее лице играл румянец, и белизна ее кожи была, если можно так выразиться, еще белее, чем в дневные часы, как ни были полны они страсти. Грациозная непринужденность ее позы, милая ее доверчивость придавали очарованию возлюбленной прелесть уснувшего ребенка; даже самые искренние женщины — и те в дневные часы еще подчиняются некоторым светским условностям, сковывающим их наивные сердечные излияния, но сон точно возвращает их к непосредственности чувства, составляющего украшение детского возраста. Одно из тех милых небесных созданий, чьи движения лишены всякой нарочитости, в чьих глазах не сквозит затаенная мысль, Полина ни от чего не краснела. Ее профиль отчетливо вырисовывался на тонком батисте подушек; пышные кружевные оборки

перепутались с растрепанными волосами, придававшими ей задорный вид; но она заснула в минуту наслаждения, длинные ее ресницы были опущены, как бы защищая взор ее от слишком яркого света или помогая сосредоточиться душе, которая стремится продлить миг страсти, всеобъемлющий, но скоротечный; ее розовое ушко, окаймленное прядью волос и обрисовывавшееся на фландрских кружевах, свело бы с ума художника, живописца, старика, а безумному, быть может, вернуло бы разум. Видеть, как ваша возлюбленная спит и улыбается во сне, уютно прижавшись к вам, и продолжает любить вас в сонном забытьи, когда всякое творение как бы перестает существовать, как она все еще протягивает к вам уста, молчаливо говорящие вам о последнем поцелуе; видеть женщину доверчивую, полунагую, но облаченную покровом любви и целомудренную среди беспорядка постели; смотреть на разбросанные ее одежды, на шелковый чулок, который она вчера для вас так торопливо сдернула; на развязанный пояс, свидетельствующий о бесконечном доверии к вам,— разве это не несказанная радость? Разве не целая поэма этот пояс? Женщина, которую он охранял, больше не существует вне вас, она принадлежит вам, она стала частью вас самих. Растроганный Рафаэль обвел глазами комнату, напоенную любовью, полную воспоминаний, где само освещение принимало сладострастные оттенки, и вновь обратил взор на эту женщину, формы которой были чисты и юны, которая и сейчас еще излучала любовь и, что важнее всего, всеми чувствами своими безраздельно принадлежала ему. Он хотел бы жить вечно. Когда его взгляд упал на Полину, она тотчас же открыла глаза, словно в них ударил солнечный луч.

— Доброе утро, милый,— сказала она, улыбаясь.— Как ты красив, злодей!

Эти две головы, дыша прелестью, придаваемой им и любовью и молодостью, полумраком и тишиной, представляли собою божественную картину, очарование которой преходяще и принадлежит лишь первым дням страсти, как наивность и чистота свойственны детству. Увы, этим весенним радостям любви, как и улыбкам юного нашего возраста, суждено исчезнуть и жить лишь в нашей памяти, чтобы по прихоти наших тайных дум доводить

нас до отчаяния или же веять на нас утешительным благоуханием.

— Зачем ты проснулась? — спросил Рафаэль.— Я с таким наслаждением смотрел, как ты спишь, я плакал.

— И я тоже,— сказала она,— и я плакала ночью, глядя, как ты спишь, но плакала не слезами радости. Слушай, Рафаэль, слушай! Во сне ты тяжело дышишь, что-то отдается у тебя в груди, и мне становится страшно. У тебя такой же короткий, сухой кашель, как у моего отца, который умирает от чахотки. Я уловила признаки этой болезни по особому шуму в твоих легких. А затем тебя лихорадило, я в этом уверена,—у тебя была влажная и горячая рука... Дорогой мой... Ты еще молод,— добавила она, вздрогнув,— ты еще можешь выздороветь, если, к несчастью... Но нет,— радостно воскликнула она,— никакого несчастья нет: врачи говорят, что эта болезнь заразительна.— Обеими руками обняла она Рафаэля и поймала его дыхание тем поцелуем, в котором впиваешь душу.— Я не хочу жить до старости,— сказала она. Умрем оба молодыми и перенесемся на небо со снопами цветов в руках.

— Такие желания тешат нас, пока мы вполне здоровы,— заметил Рафаэль, играя волосами Полины.

Но тут он вдруг закашлялся тем глубоким и гулким кашлем, что как будто исходит из гроба, зловещим кашлем, от которого больные бледнеют и их бросает в дрожь и в пот,— до такой степени напрягаются у них все нервы, сотрясается тело, утомляется спинной мозг и наливаются тяжестью кровеносные сосуды. Бледный, измученный, Рафаэль медленно откинулся на подушку,— он ослабел так, как будто у него иссякли последние силы. Полина пристально взглянула на него широко раскрытыми глазами и замерла бледная, онемевшая от ужаса.

— Не надо больше безумствовать, мой ангел,— наконец сказала она, стараясь утаить от Рафаэля свои ужасные предчувствия.

Она закрыла лицо руками,—перед глазами у нее стоял отвратительный скелет смерти. Лицо Рафаэля посинело, глаза ввалились, оно напоминало череп, который извлекли из могилы с научной целью. Полине вспомнилось восклицание, вырвавшееся вчера у Валантена, и она подумала:

«Да, есть бездны, которых даже любовь не преодолеет. Но тогда ей нужно похоронить там себя».

Однажды мартовским утром, спустя несколько дней после этой тяжелой сцены, Рафаэль находился у себя в спальне, окруженный четырьмя врачами, которые посадили его в кресло у окна, поближе к свету, и по очереди с подчеркнутым вниманием щупали пульс, осматривали его и расспрашивали. Больной старался угадать их мысли, следил за каждым их движением, за малейшей складкой, появлявшейся у них на лбу. Этот консилиум был его последней надеждой. Верховный суд должен был вынести ему приговор: жизнь или смерть. Для того чтобы вырвать у человеческой науки ее последнее слово, и созвал Валантен оракулов современной медицины. Благодаря его богатству и знатности сейчас перед ним предстали все три системы, между которыми колеблется человеческая мысль. Трое из этих докторов, олицетворявшие борьбу между спиритуализмом, анализом и некиим насмешливым эклектизмом, принесли с собой всю философию медицины. Четвертый врач был Орас Бьяншон, всесторонне образованный ученый, с большим будущим, пожалуй, крупнейший из новых врачей, умный и скромный представитель трудолюбивой молодежи, которая готовится унаследовать сокровища, за пятьдесят лет собранные Парижским университетом, и, быть может, воздвигнет, наконец, памятник из множества разнообразных материалов, накопленных предшествующими веками. Друг маркиза и Растиньяка, он уже несколько дней лечил Рафаэля, а теперь помогал ему отвечать на вопросы трех профессоров и порой с некоторой настойчивостью обращал их внимание на симптомы, свидетельствовавшие, по его мнению, о чахотке.

— Вы, вероятно, позволяли себе излишества, вели рассеянную жизнь? Или же много занимались умственным трудом? — спросил Рафаэля один из трех знаменитых докторов, у которого высокий лоб, широкое лицо и внушительное телосложение, казалось, говорили о более мощном даровании, чем у его противников.

— Три года занял у меня один обширный труд, которым вы, может быть, когда-нибудь займетесь, а потом я решил истребить себя, прожигая жизнь...

Великий врач в знак удовлетворения кивнул головой, как бы говоря: «Я так и знал!» Это был знаменитый Бриссе, глава органической школы, преемник наших Кабанисов и наших Биша, один из тех позитивных, материалистически мыслящих умов, которые смотрят на всякого человека как на существо, раз навсегда определившееся, подчиненное исключительно законам своей собственной организации, так что для них причины нормального состояния здоровья, а равно и смертельных аномалий, всегда очевидны.

Получив ответ, Бриссе молча посмотрел на человека среднего роста, своим багровым лицом и горящими глазами напоминавшего античных сатиров,— тот, прислонившись к углу амбразуры, молча и внимательно разглядывал Рафаэля. Человек экзальтированный и верующий, доктор Камеристус, глава виталистов, выспренний защитник абстрактных доктрин Ван-Гельмонта, считал жизнь человеческую некиим высшим началом, необъяснимым феноменом, который глумится над хирургическим ножом, обманывает хирургию, ускользает от медикаментов, от алгебраических иксов, от анатомического изучения и издевается над нашими усилиями,— считал своего рода пламенем, неосязаемым и невидимым, которое подчинено некоему божественному закону и нередко продолжает гореть в теле, обреченном, по общему мнению, на скорую смерть, а в то же время угасает в организме самом жизнеспособном.

Сардоническая улыбка играла на устах у третьего — доктора Могреди, чрезвычайно умного, но крайнего скептика и насмешника, который верил только в скальпель, допускал вместе с Бриссе, что человек цветущего здоровья может умереть, и признавал вместе с Камеристусом, что человек может жить и после смерти. В каждой теории он признавал известные достоинства, но ни одну из них не принимал, считая лучшей медицинской системой — не иметь никакой системы и придерживаться только фактов. Панург в медицине, бог наблюдательности, великий исследователь и великий насмешник, готовый на любые, самые отчаянные попытки, он рассматривал сейчас шагреневую кожу.

— Мне очень хотелось бы самому понаблюдать сов-

падение, существующее между вашими желаниями и сжатием кожи,— сказал он маркизу.

— Чего ради? — воскликнул Бриссе.

— Чего ради? — повторил Камеристус.

— А, значит, вы держитесь одного мнения!—заметил Могреди.

— Да ведь сжатие объясняется весьма просто,— сказал Бриссе.

— Оно сверхъестественно,— сказал Камеристус.

— В самом деле,— снова заговорил Могреди, прикидываясь серьезным и возвращая Рафаэлю шагреневую кожу,— затвердение кожи — факт необъяснимый и, однако, естественный; от сотворения мира приводит он в отчаяние медицину и красивых женщин.

Наблюдая за тремя докторами, Валантен ни в ком из них не видел сострадания к его болезни. Все трое спокойно выслушивали его ответы, равнодушно осматривали его и расспрашивали без всякого к нему участия. Сквозь их учтивость проглядывало полное пренебрежение. От уверенности в себе или от задумчивости, но только слова их были столь скупы, столь вялы, что по временам Рафаэлю казалось, будто они думают о другом. На какие бы грозные симптомы ни указывал Бьяншон, один только Бриссе изредка цедил в ответ: «Хорошо! Так!» Камеристус был погружен в глубокое раздумье. Могреди походил на драматурга, который, стараясь ничего не упустить, изучает двух чудаков, чтобы вывести их в комедии. Лицо Ораса выдавало глубокую муку и скорбное сочувствие. Слишком недавно стал он врачом, чтобы оставаться равнодушным к мучениям больных и бесстрастно стоять у смертного ложа; он не научился еще сдерживать слезы сострадания, которые застилают человеку глаза и не дают ему выбирать, как это должен делать полководец, благоприятный для победы момент, не слушая стонов умирающих. Около получаса доктора, если можно так выразиться, снимали мерку с болезни и с больного, как портной снимает мерку для фрака с молодого человека, заказавшего ему свадебный костюм; они отделывались общими фразами, поговорили даже о последних новостях, а затем пожелали пройти в кабинет к Рафаэлю, чтобы обменяться впечатлениями и поставить диагноз.

— Мне можно будет присутствовать на вашем совещании? — спросил Рафаэль.

Бриссе и Могреди решительно восстали против этого и, невзирая на настойчивые просьбы больного, отказались вести обсуждение в его присутствии. Рафаэль покорился обычаю, решив проскользнуть в коридор, откуда можно было хорошо слышать медицинскую дискуссию трех профессоров.

— Милостивые государи, позвольте мне вкратце высказать свое мнение,— сказал Бриссе.— Я не намерен ни навязывать его вам, ни выслушивать опровержения: во-первых, это мнение определенное, окончательно сложившееся, и вытекает оно из полного сходства между одним из моих больных и субъектом, коего мы приглашены исследовать; во-вторых, меня ждут в больнице. Важность дела, которое требует моего присутствия, послужит мне оправданием в том, что я первый взял слово. Занимающий нас субъект в равной мере утомлен и умственным трудом... Над чем это он работал, Орас? — обратился он к молодому врачу.

— Над теорией воли.

— Черт возьми, тема обширная! Повторяю: он утомлен и слишком напряженной работой мысли и нарушением правильного образа жизни, частым употреблением сильных стимулирующих средств, повышенная деятельность тела и мозга подорвала его организм. Ряд признаков, как в общем облике, так и обнаруживаемых при обследовании, явственно указывает, господа, на сильную раздраженность желудка, на воспаление главного симпатического нерва, на чувствительность надчревной области и сжатие подбрюшия. Вы заметили, как у него увеличена печень? Наконец, господин Орас Бьяншон, наблюдавший за пищеварением у больного, сообщил нам, что оно проходит мучительно, с трудом. Собственно говоря, желудка больше не существует; человека нет. Интеллект атрофирован, потому что человек более не переваривает пищи. Прогрессирующее перерождение надчревной области, этого жизненного центра, испортило всю систему. Отсюда постоянная и явная иррадиация; при посредстве нервного сплетения расстройство затронуло мозг, отсюда крайняя раздражительность этого органа. Появилась мономания. У больного навязчивая идея. В его

представлении шагреневая кожа действительно сужи-вается, хотя, может быть, она всегда была такой, как мы ее сейчас видели; но сжимается она или нет, эта шагрень для него все равно что муха, которая сидела на носу у некоего великого визиря. Поставьте поскорее пиявки на надбрюшие, умерьте раздражительность этого органа, в котором заключен весь человек, заставьте больного при-держиваться режима — и мономания пройдет. На этом я заканчиваю. Доктор Бьяншон сам должен установить курс лечения в общем и в частностях. Возможно, болезнь осложнилась, возможно, дыхательные пути также раз-дражены, но я полагаю, что лечение кишечного тракта гораздо важнее, нужнее, неотложнее, чем лечение лег-ких. Упорный труд над отвлеченными материями и некоторые бурные страсти произвели сильнейшее рас-стройство жизненного механизма; однако, чтобы испра-вить пружины, время еще не упущено, особо важных по-вреждений не наблюдается. Итак, вы вполне можете спас-ти вашего друга,— заключил он, обращаясь к Бьяншону.

— Наш ученый коллега принимает следствие за при-чину,— заговорил Камеристус.— Да, изменения, пре-красно им наблюденные, действительно существуют у больного, но не от желудка постепенно возникло в ор-ганизме это раздражение, идущее якобы по направлению к мозгу, как от трещины расходятся по стеклу лучи. Чтобы разбить окно, нужен был удар, а кто же его нанес? Разве мы это знаем? Разве мы достаточно наблю-дали больного? Разве нам известны все случаи из его жизни? Господа, у него поражен жизненный нерв — *архея* Ван-Гельмонта; жизненная сила повреждена в самой своей основе; божественная искра, посредст-вующий разум, который является как бы передаточным механизмом и который порождает волю, эту науку жиз-ни, перестал регулировать повседневную работу организ-ма и функции каждого органа в отдельности,— отсюда и все расстройства, справедливо отмеченные моим ученым собратом. Движение шло не от надчревной области к мозгу, а от мозга к надчревной области. Нет,— воскли-кнул он, бия себя в грудь,— нет, я не желудок, ставший человеком! Нет, это еще не все. Я не беру на себя сме-лость утверждать, что если у меня исправное надбрюшие, значит все остальное несущественно... Мы не можем,—

более мягким тоном продолжал он,— объяснять одною и тою же физическою причиною сильные потрясения, в той или иной мере затрагивающие различных субъектов, и предписывать им одинаковый курс лечения. Люди не похожи друг на друга. У каждого из нас имеются органы, по-разному возбуждаемые, по-разному питаемые, у которых может быть разное назначение и которые по-своему выполняют то, что им задано неведомым нам порядком вещей. Часть великого целого, предназначенная высшей волей к тому, чтобы производить и поддерживать в нас феномен одушевленности, в каждом человеке выражается по-разному и превращает его в существо, по видимости конечное, но в какой-то одной точке сосуществующее с причиною бесконечной. Поэтому мы должны каждого субъекта рассматривать в отдельности, изучить его насквозь, знать, как он живет, в чем его сила. Между мягкостью смоченной губки и твердостью пемзы существует бесчисленное множество переходов. То же относится и к человеку. Не делая разницы между губкообразной организацией лимфатиков и металлической крепостью мускулов у иных людей, созданных для долгой жизни, каких только ошибок не совершит единая неумолимая система, требующая лечить ослаблением, истощением человеческих сил, которые, по-вашему, всегда находятся в раздраженном состоянии! Итак, в данном случае я настаивал бы на лечении исключительно духовной области, на глубоком изучении внутреннего мира. Будем искать причину болезни в душе, а не в теле! Врач—существо вдохновенное, обладающее особым даром, бог наделил его способностью проникать в сущность жизненной силы, как пророкам он дал очи, чтобы прозревать будущее, поэту — способность воссоздавать природу, музыканту — располагать звуки гармоническим строем, прообраз которого, быть может, в мире ином!..

— Вечно он со своей абсолютистской, монархической, религиозной медициной! — пробормотал Бриссе.

— Господа,— прервал Могреди, поспешив заглушить восклицание Бриссе,— возвратимся к нашему больному...

«Итак, вот к каким выводам приходит наука!— печально подумал Рафаэль.— Мое излечение находится где-то между четками и пиявками, между ножом Дю-

пюитрена и молитвой князя Гогенлоэ. На грани между фактом и словом, материей и духом стоит Могреди со своим сомнением. Человеческие *да* и *нет* преследуют меня всюду. Вечно — *Каримари-Каримара* Рабле. У меня болен дух — *каримари!* Болит тело — *каримара!* Останусь ли я жив — это им неизвестно. Планшет по крайней мере был откровеннее, он просто сказал: «Не знаю».

В это время Валантен услыхал голос доктора Могреди.

— Больной — мономан? Хорошо, согласен! — воскликнул он.— Но у него двести тысяч ливров доходу, такие мономаны встречаются весьма редко, и мы во всяком случае должны дать ему совет. А надбрюшие ли подействовало на мозг, или же мозг на надбрюшие, это мы, вероятно, установим, когда он умрет. Итак, резюмируем. Он болен — это факт неоспоримый. Он нуждается в лечении. Оставим в стороне доктрины. Поставим пиявки, чтобы успокоить раздражение кишечника и невроз, наличие коих мы все признаем, а затем пошлем его на воды — мы будем таким образом действовать сразу по двум системам. Если же это легочная болезнь, то мы не можем его вылечить. А потому...

Рафаэль поспешил сесть на свое место. Немного погодя четыре врача вышли из кабинета; слово было предоставлено Орасу, и он сказал Рафаэлю:

— Доктора единогласно признали необходимым немедленно поставить на живот пиявки и сейчас же приступить к лечению как физической, так и духовной области. Во-первых, диета, чтобы успокоить раздражение в вашем организме...— (В этом месте Бриссе одобрительно кивнул головой).— Затем режим гигиенический, который должен повлиять на ваше расположение духа. В связи с этим мы единогласно советуем вам поехать на воды в Экс, в Савойю, или же, если вы предпочитаете, на воды Мон-Дор, в Оверни. Воздух и природа в Савойе приятнее, чем в Кантале, но выбирайте по своему вкусу.—(На сей раз доктор Камеристус дал понять, что он согласен.)— Доктора,— продолжал Бьяншон,— найдя у вас небольшие изменения в дыхательном аппарате, единодушно признали полезным прежние мои предписания. Они полагают, что вы скоро поправитесь и что это будет

зависеть от правильного чередования указанных мною различных средств... Вот...

— «Вот почему ваша дочь онемела!»— улыбаясь, подхватил Рафаэль и увел Ораса к себе в кабинет, чтобы вручить ему гонорар за этот бесполезный консилиум.

— Они последовательны,— сказал ему молодой врач.— Камеристус чувствует, Бриссе изучает, Могреди сомневается. Ведь у человека есть и душа, и тело, и разум, не так ли? Какая-нибудь из этих первопричин действует в нас сильнее. Натура человеческая всегда скажется в человеческой науке. Поверь мне, Рафаэль: мы не лечим, мы только помогаем вылечиться. Между системами Бриссе и Камеристуса находится еще система выжидательная, но, чтобы успешно применять ее, нужно знать больного лет десять. В основе медицины, равно как и всех прочих наук, лежит отрицание. Итак, возьмись за ум, попробуй съездить в Савойю; самое лучшее — и всегда будет самым лучшим — довериться природе.

Месяц спустя, прекрасным летним вечером, кое-кто из съехавшихся на воды в Экс собрался после прогулки в курзале. Рафаэль долго сидел один у окна, спиной к собравшимся; на него напала та мечтательная рассеянность, когда мысли возникают, нанизываются одна на другую, тают, не облекшись ни в какую форму, и проходят, словно прозрачные, бледные облака. Печаль тогда тиха, радость неясна и душа почти спит. Предаваясь этим приятным ощущениям, счастливый тем, что он не чувствует никакой боли, а главное, заставил, наконец, смолкнуть угрозы шагреневой кожи, Валантен купался в теплой атмосфере вечера, впивал в себя чистый и благовонный горный воздух. Когда на вершинах погасли багровые отсветы заката и начало свежеть, он привстал, чтобы захлопнуть окно.

— Будьте добры, не закрывайте окна,— обратилась к нему пожилая дама.— Мы задыхаемся.

Слух Рафаэля резнула эта фраза, произнесенная каким-то особенно злым тоном,— так человек, в чье дружеское расположение нам хотелось верить, неосторожно роняет слово, которое разрушает сладостную иллюзию наших чувств, обнажив бездну людского эгоизма. Рафаэль смерил старуху холодным, как у бесстрастного ди-

пломата, взглядом, позвал лакея и, когда тот подошел, сухо сказал ему:

— Откройте окно!

При этих словах на лицах собравшихся изобразилось полное недоумение. Все зашептались, более или менее красноречиво поглядывая на больного, точно он совершил какой-то в высшей степени дерзкий поступок. Рафаэлю, еще не вполне освободившемуся от юношеской застенчивости, стало стыдно, но он тут же стряхнул с себя оцепенение, овладел собой и попытался дать себе отчет в этом странном происшествии. В голове у него все сразу прояснилось, перед ним отчетливо выступило прошлое, и тогда причины внушаемого им чувства обрисовались, как вены на трупе, малейшие ответвления которых естествоиспытатели умело окрашивают при помощи инъекции; он узнал себя в мимолетной этой картине, он проследил за своей жизнью день за днем, мысль за мыслью; не без удивления обнаружил Рафаэль, что он мрачен и рассеян среди этого беззаботного общества; постоянно думает о своей судьбе, вечно занят своей болезнью; с презрением избегает самых обычных разговоров; пренебрегает той кратковременной близостью, которая так быстро устанавливается между путешественниками,— по всей вероятности потому, что они не рассчитывают встретиться когда-нибудь еще; ко всему решительно равнодушен—словом, похож на некий утес, нечувствительный ни к ласкам, ни к бешенству волн. Необычайное интуитивное прозрение позволило ему сейчас читать в душе у окружающих; заметив освещенный канделябром желтый череп и сардонический профиль старика, он вспомнил, что както раз выиграл у него и не предложил отыграться; немного подальше он увидел хорошенькую женщину, к заигрываниям которой он остался холоден; каждый ставил ему в вину какую-нибудь обиду, на первый взгляд ничтожную, но незабываемую из-за того, что она нанесла незаметный укол самолюбию. Он бессознательно задевал суетные чувства всех, с кем только ни сталкивался. Тех, кого он звал к себе в гости, кому он предлагал своих лошадей, раздражала роскошь, которою он был окружен; уязвленный их неблагодарностью, он избавил их от этого унижения,— тогда они решили, что он презирает их, и обвинили его в аристократизме. Заглядывая к

людям в душу, угадывая самые затаенные мысли, он пришел в ужас от общества, от того, что скрывалось под этой учтивостью, под этим лоском. Ему завидовали, его ненавидели только потому, что он был богат и исключительно умен; своим молчанием он обманывал надежды любопытных; людям мелочным и поверхностным его скромность казалась высокомерием. Он понял, какое тайное и непростительное преступление совершал по отношению к ним: он ускользал от власти посредственности. Непокорный инквизиторскому их деспотизму, он осмеливался обходиться без них; стремясь отомстить ему за гордую независимость, таящуюся под этим, все инстинктивно объединились, чтобы дать ему почувствовать их силу, подвергнуть его своего рода остракизму, показать, что они тоже могут обойтись без него. Этот облик светского общества внушил ему сперва чувство жалости, но затем он невольно содрогнулся, сам испугавшись своей проницательности, которая услужливо снимала перед ним пелену плоти, окутывающую душевный мир, и он закрыл глаза, как бы не желая ничего больше видеть. Эта мрачная фантасмагория истины сразу же задернулась занавесом, но Рафаэль очутился в страшном одиночестве, сопряженном со всякой властью и господством. В ту же минуту он сильно закашлялся. Никто не сказал ему ни единого слова, пусть равнодушного и пошлого, но все же выражающего нечто похожее на учтивое сочувствие. как это в таких случаях принято среди случайно собравшихся людей из хорошего общества,— напротив, до него донеслись враждебные возгласы и негодующий шепот. Общество даже не считало нужным прибегать перед ним к каким-нибудь прикрасам, может быть, понимая, что оно разгадано Рафаэлем до конца.

— Его болезнь заразительна.

— Распорядителю не следовало бы пускать его в зал.

— Честное слово, в порядочном обществе так кашлять не разрешается!

— Раз человек так болен, он не должен ездить на воды...

— Здесь невозможно больше оставаться.

Чтобы скрыться от этого злопыхательства, Рафаэль встал и начал ходить по залу. В надежде найти хоть в ком-нибудь защиту он подошел к одиноко сидевшей мо-

лодой даме и хотел было сказать ей любезность, но при его приближении она повернулась спиной и притворилась, что смотрит на танцующих. Рафаэль боялся, что за этот вечер он уже истратил весь свой талисман; не желая да и не решаясь завязать с кем-нибудь разговор, он бежал из зала в бильярдную. В бильярдной никто с ним не заговорил, никто ему не поклонился, никто не посмотрел на него хоть сколько-нибудь благожелательным взглядом. От природы наделенный способностью к глубоким размышлениям, он интуитивно открыл истинную и всеобщую причину вызываемого им отвращения. Этот мирок—быть может, сам того не зная,—подчинился великому закону, управляющему высшим обществом, вся беспощадная мораль которого прошла перед глазами Рафаэля. Оглянувшись на свое прошлое, он увидел законченный ее образ в Феодоре. Здесь он мог встретить не больше участия к своему недугу, чем в былое время у нее — к сердечным своим страданиям. Светское общество изгоняет из своей среды несчастных, как человек крепкого здоровья удаляет из своего тела смертоносное начало. Свет гнушается скорбями и несчастьями, страшится их, как заразы, и никогда не колеблется в выборе между ними и пороком: порок — та же роскошь. Как бы ни было величественно горе, общество всегда умеет умалить его, осмеять в эпиграмме; оно рисует карикатуры, бросая в лицо свергнутому королю оскорбления, якобы мстя за свои обиды; подобно юным римлянкам в цирке, эта каста беспощадна к поверженным гладиаторам; золото и издевательства — основа ее жизни... *Смерть слабым!* — вот завет высшего сословия, возникавшего у всех народов мира, ибо всюду возвышаются богатые, и это изречение запечатлено в сердцах, рожденных в довольстве и вскормленных аристократизмом. Посмотрите на детей в школе. Вот вам в уменьшенном виде образ общества, особенно правдивый из-за детской наивности и откровенности: здесь вы непременно найдете бедных рабов, детей страдания и скорби, к которым всегда испытывают нечто среднее между презрением и соболезнованием; а евангелие обещает им рай. Спуститесь вниз по лестнице живых существ. Если какая-нибудь птица заболеет в птичнике, другие налетают на нее, щиплют ее, клюют и в конце концов убивают. Верный этой хар-

тии эгоизма, свет щедр на суровость к несчастным, осмелившимся портить ему праздничное настроение и мешать наслаждаться. Кто болеет телом или же духом, кто беден и беспомощен, тот пария. И пусть он пребывает в своей пустыне! За ее пределами всюду, куда он ни глянет, его встречает зимняя стужа — холодные взгляды, холодное обращение, холодные слова, холодные сердца; счастье его, если он еще не пожнет обиды там, где должно бы расцвести для него утешение! Умирающие, оставайтесь забытыми на своем ложе! Старики, сидите в одиночестве у своих остывших очагов! Бесприданницы, мерзните или задыхайтесь от жары на своих чердаках,— вы никому не нужны. Если свет терпимо относится к какому-нибудь несчастью, то не для того ли, чтобы приспособить его для своих целей, извлечь из него пользу, навьючить его, взнуздать, оседлать, сесть на него верхом для собственного удовольствия? Обидчивые компаньонки, состройте веселые лица, покорно сносите дурное расположение духа вашей так называемой благодетельницы; таскайте на руках ее собачонок; соревнуясь с ними, забавляйте ее, угадывайте ее желания и — молчите! А ты, король лакеев без ливреи, бесстыдный приживальщик, оставь свое самолюбие дома; переваривай пищу, когда переваривает ее твой амфитрион, плачь его слезами, смейся его смехом, восхищайся его эпиграммами; если хочешь перемыть ему косточки, дождись его падения. Так высшее общество чтит несчастье; оно убивает его или гонит, унижает или казнит.

Эти мысли забили ключом в сердце Рафаэля с быстротой поэтического вдохновения; он посмотрел вокруг и ощутил тот зловещий холод, который общество источает, чтобы выжить несчастливцев, и который охватывает душу быстрее, чем декабрьский леденящий ветер пронизывает тело. Он скрестил руки и прислонился к стене; он впал в глубокое уныние. Он думал о том, как мало радостей достается свету из-за этого мрачного благочиния. И что это за радости? Развлечения без наслаждения, увеселения без удовольствия, праздники без веселья, исступление без страсти — иными словами, незагоревшиеся дрова в камине или остывший пепел, без искорки пламени. Рафаэль поднял голову и увидел, что он один,— игроки разбежались.

«Если бы я обнаружил перед ними свою силу, они стали бы обожать мой кашель!»— подумал он.

При этой мысли он, точно плащ, набросил на себя презрение и закрылся им от мира.

На другой день его навестил курортный врач и любезно осведомился о его здоровье. Слушая ласковые его слова, Рафаэль испытывал радостное волнение. Он нашел, что в лице доктора много мягкости и доброты, что букли его белокурого парика дышат человеколюбием, что покрой его фрака, складки его панталон, его башмаки, широконосые, как у квакера,—все, вплоть до пудры, которая с косицы парика сыпалась полукругом на его сутуловатую спину, свидетельствовало о характере апостольском, выражало истинно христианское милосердие, самопожертвование, простирающееся до того, чтобы из любви к больным играть с ними в вист и трик-трак — да не как-нибудь, а постоянно обыгрывая их.

— Господин маркиз,— сказал он наконец в заключение беседы,—я могу вас сейчас порадовать. Теперь мне достаточно известны особенности вашего телосложения и я утверждаю, что высокоталантливые парижские врачи ошиблись относительно природы вашего заболевания. Вы, господин маркиз, проживете мафусаилов век, если, конечно, не погибнете от несчастного случая. Ваши легкие — это кузнечные мехи, ваш желудок не уступит желудку страуса; однако, если вы и дальше будете жить в горном климате, то рискуете скорейшим и прямейшим образом очутиться в сырой земле. Вы поймете меня с полуслова, господин маркиз. Химия доказала, что человеческое дыхание есть не что иное, как горение, сила которого зависит от нагнетания или разрежения горючего вещества, скопляющегося в организме, особом у каждого индивидуума. У вас горючее вещество в изобилии: вы, если можно так выразиться, сверхокислорожены, обладая пылкой конституцией человека, рожденного для великих страстей. Вдыхая свежий и чистый воздух, ускоряющий жизненные процессы у людей слабого сложения, вы таким образом еще способствуете сгоранию, и без того слишком быстрому. Следовательно, одно из условий вашего существования — это долины и густая атмосфера хлева. Да, животворный воздух для человека,

изнуренного работой мысли, можно найти на тучных пастбищах Германии, в Баден-Бадене, в Тѐплице, Если Англия вас не пугает, то ее туманный воздух охладит ваш внутренний жар; но наш курорт, расположенный на высоте тысячи футов над уровнем Средиземного моря,— для вас гибель. Таково мое мнение,— заметил он, приняв нарочито скромный вид,— высказываю вам его, хотя это и не в наших интересах, так как, согласившись с ним, вы огорчите нас своим отъездом.

Не произнеси медоточивый лекарь этих последних слов, показное его добродушие подкупило бы Рафаэля, но он был наблюдателен и по интонациям врача, по жестам и взглядам, сопровождавшим эту шутливую фразу, догадался о том, что этот человек исполняет поручение, данное ему сборищем веселых больных. Итак, эти бездельники с цветущими лицами, скучающие старухи, кочующие англичане, щеголихи, улизнувшие с любовниками от мужей, придумали способ изгнать с курорта бедного умирающего человека, слабого, хилого, неспособного, казалось бы, оградить себя от повседневных преследований! Рафаэль принял вызов, увидя в этой интриге возможность позабавиться.

— Чтобы не огорчить вас моим отъездом, я постараюсь воспользоваться вашим советом, продолжая жить здесь,— объявил он доктору.—Завтра же я начну строить дом, и там у меня будет воздух, какой вы находите для меня необходимым.

Правильно поняв горькую усмешку, кривившую губы Рафаэля, врач не нашелся что сказать и счел за благо откланяться.

Озеро Бурже — это большая чаша в горах, чаша с зазубренными краями, в которой на высоте семисот — восьмисот футов над уровнем Средиземного моря сверкает капля воды такой синей, какой нет в целом свете. С высоты Кошачьего Зуба озеро — точно оброненная кем-то бирюза. Эта чудная капля воды имеет девять миль в окружности и в некоторых местах достигает около пятисот футов глубины. Очутиться в лодке среди водной глади, под ясным небом и слышать только скрип весел, видя вдали одни лишь горы, окутанные облаками, любоваться блещущими снегами французской Морьены, плыть то мимо гранитных скал, одетых в бархат папорот-

ника или же низкорослых кустарников, то мимо веселых холмов, видеть с одной стороны роскошную природу, с другой — пустыню (точно бедняк пришел к пирующему богачу)— сколько гармонии и сколько противоречий в этом зрелище, где все велико и все мало! В горах— свои особые условия оптики и перспективы; сосна в сто футов кажется тростинкой, широкие долины представляются узкими, как тропка. Это озеро—единственное место, где сердце может открыться сердцу. Здесь мыслишь и здесь любишь. Нигде больше вы не встретите такого дивного согласия между водою и небом, горами и землей. Здесь найдешь целебный бальзам от любых жизненных невзгод. Это место сохранит тайну страданий, облегчит их, заглушит, придаст любви какую-то особую значительность, сосредоточенность, отчего страсть будет глубже и чище, поцелуй станет возвышеннее. Но прежде всего это — озеро воспоминаний; оно способствует им, окрашивая их в цвет своих волн, а его волны — зеркало, где все отражается. Только среди этой прекрасной природы Рафаэль не чувствовал своего бремени, только здесь он мог быть беспечным, мечтательным, свободным от желаний. После посещения доктора он отправился на прогулку и велел лодочнику причалить у выступа пустынного живописного холма, по другому склону которого расположена деревня Сент-Инносан. С этого высокого мыса взор обнимает и горы Бюже, у подножия которых течет Рона, и дно озера. Но Рафаэль особенно любил смотреть отсюда на противоположный берег, на меланхолическое аббатство От-Комб, эту усыпальницу сардинских королей, покоившихся у обрывов скал точно пилигримы, окончившие свои странствия. Вдруг ровный и мерный скрип весел, однообразный, как пение монахов, нарушил тишину природы. Удивленный тем, что еще кто-то совершает прогулку в этой части озера, обычно безлюдной, Рафаэль, не выходя из своей задумчивости, бросил взгляд на людей, сидевших в лодке, и увидел на корме пожилую даму, которая так резко говорила с ним накануне. Когда лодка поравнялась с Рафаэлем, ему поклонилась только компаньонка этой дамы, бедная девушка из хорошей семьи, которую он как будто видел впервые. Лодка скрылась за мысом, и через несколько минут Рафаэль уже забыл о дамах, как вдруг услышал

возле себя шелест платья и шум легких шагов. Обернувшись, он увидел компаньонку; по ее смущенному лицу он догадался, что ей надо что-то ему сказать, и подошел к ней. Особа лет тридцати шести, высокая и худая, сухая и холодная, она, как все старые девы, смущалась из-за того, что выражение ее глаз не соответствовало ее походке, нерешительной, неловкой, лишенной гибкости. Старая и вместе с тем юная, она держалась с достоинством, давая понять, что она высокого мнения о своих драгоценных качествах и совершенствах. Притом движения у нее были по-монашески осторожные, как у многих женщин, которые перенесли на самих себя всю нерастраченную нежность женского сердца.

— Ваша жизнь в опасности, не ходите больше в курзал! — сказала она Рафаэлю и тотчас отошла назад, точно она уже запятнала свою честь.

— Сударыня, прошу вас, выскажитесь яснее, раз уж вы так добры, что явились сюда,— с улыбкой обратился к ней Валантен.

— Ах, без важной причины я ни за что не решилась бы навлечь на себя недовольство графини, ведь если она когда-нибудь узнает, что я предупредила вас...

— А кто может ей рассказать? — воскликнул Рафаэль.

— Вы правы,— отвечала старая дева, хлопая глазами, как сова на солнце.— Но подумайте о себе,— добавила она,— молодые люди, желающие изгнать вас отсюда, обещали вызвать вас на дуэль и заставить с ними драться.

Вдали послышался голос пожилой дамы.

— Сударыня, благодарю вас...— начал маркиз.

Но его покровительница уже исчезла, заслышав голос своей госпожи, снова пискнувшей где-то в горах.

«Бедная девушка! Несчастливцы всегда поймут и поддержат друг друга»,— подумал Рафаэль и сел под деревом.

Ключом ко всякой науке, бесспорно, является вопросительный знак; вопросу: *Как?* — мы обязаны большею частью великих открытий. Житейская мудрость, быть может, в том и состоит, чтобы при всяком случае спрашивать: *Почему?* Но, с другой стороны, выработанная привычка все предвидеть разрушает наши иллюзии.

Так и Валантен, обратившись без всякой философской преднамеренности блуждающими своими мыслями к доброму поступку старой девы, почувствовал сильную горечь.

«Что в меня влюбилась компаньонка, в этом нет ничего необыкновенного,— решил он,— мне двадцать семь лет, у меня титул и двести тысяч ливров доходу! Но что ее госпожа, которая по части водобоязни не уступит кошкам, прокатила ее в лодке мимо меня,— вот это странно, вот это удивительно. Две дамы приехали в Савойю, чтобы спать как сурки, спрашивают в полдень, взошло ли уже солнце,— а нынче встали в восьмом часу утра и пустились за мной в погоню, чтобы развлечься случайной встречей».

Старая дева со своею сорокалетнею наивностью вскоре стала в глазах Рафаэля еще одной разновидностью коварного и сварливого света, стала воплощением низкой хитрости, неуклюжего коварства, того пристрастия к мелким дрязгам, какое бывает у женщин и попов. Была ли дуэль выдумкой, или, быть может, его хотели запугать? Нахальные и назойливые, как мухи, эти мелкие душонки сумели задеть его самолюбие, пробудили его гордость, затронули его любопытство. Не желая ни остаться в дураках, ни прослыть трусом и, видимо, забавляясь этой маленькой драмой, Рафаэль в тот же вечер отправился в курзал. Опершись на мраморную доску камина, он стоял в главном зале, решив не подавать никакого повода к ссоре, но он внимательно разглядывал лица и уже своей настороженностью в известном смысле бросал обществу вызов. Он спокойно ждал, чтобы враги сами к нему подошли,— так дог, уверенный в своей силе, не лает без толку. В конце вечера он прогуливался по игорному залу, от входной двери до двери в бильярдную, поглядывая время от времени на собравшихся там молодых игроков. Немного погодя кто-то из них произнес его имя. Хотя они разговаривали шепотом, Рафаэль без труда догадался, что стал предметом какого-то спора, и наконец уловил несколько фраз, произнесенных вслух.

— Ты?

— Да, я!

— Не посмеешь!

— Держу пари.

— О, он не откажется!

Когда Валантен, которому не терпелось узнать, о чем идет спор, остановился, прислушиваясь к разговору, из бильярдной вышел молодой человек, высокий и широкоплечий, приятной наружности, но со взглядом пристальным и нахальным, свойственным людям, опирающимся на какую-нибудь материальную силу.

— Милостивый государь,— спокойно обратился он к Рафаэлю,— мне поручили сообщить вам то, о чем вы, кажется, не догадываетесь: ваше лицо и вся ваша особа не нравятся здесь никому, и мне в частности... Вы достаточно воспитаны для того, чтобы пожертвовать собою ради общего блага, поэтому прошу вас не являться больше в курзал.

— Милостивый государь, так шутили во времена Империи во многих гарнизонах, а теперь это стало весьма дурным тоном,— холодно отвечал Рафаэль.

— Я не шучу,— возразил молодой человек.— Повторяю: ваше здоровье может пострадать от пребывания в курзале. Жара, духота, яркое освещение, многолюдное общество вредны при вашей болезни.

— Где вы изучали медицину? — спросил Рафаэль.

— Милостивый государь, степень бакалавра я получил в тире Лепажа, в Париже, а степень доктора — у короля рапиры Серизье.

— Вам остается получить последнюю степень,— отрезал Валантен.— Изучите правила вежливости, и вы будете вполне приличным человеком.

В это время молодые люди, кто молча, кто пересмеиваясь, вышли из бильярдной; другие бросили карты и стали прислушиваться к перебранке, тешившей им душу. Одинокий среди враждебных ему людей, Рафаэль старался сохранить спокойствие и не допустить со своей стороны ни малейшей оплошности, но когда противник нанес ему оскорбление в форме чрезвычайно резкой и остроумной, Рафаэль хладнокровно заметил:

— Милостивый государь, в наше время не принято давать пощечину, но у меня нет слов, чтобы заклеймить ваше низкое поведение.

— Будет! Будет! Завтра объяснитесь,— заговорили молодые люди и стали между противниками.

Оскорбителем был признан Рафаэль; встреча была назначена возле замка Бордо, на поросшем травою склоне, неподалеку от недавно проложенной дороги, по которой победитель мог уехать в Лион. Рафаэлю оставалось только слечь в постель или покинуть Экс. Общество торжествовало. В восемь часов утра противник Рафаэля с двумя секундантами и хирургом прибыл первым на место встречи.

— Здесь очень хорошо. И погода отличная для дуэли! — весело сказал он, окинув взглядом голубой небосвод, озеро и скалы,— в этом взгляде не было заметно ни тайных сомнений, ни печали.— Если я задену ему плечо, то наверняка уложу его в постель на месяц,— продолжал он,— не так ли, доктор?

— По меньшей мере,— отвечал хирург.— Только оставьте в покое это деревце, иначе вы утомите руку и не будете как следует владеть оружием. Вместо того чтобы ранить, вы, чего доброго, убьете противника.

Послышался стук экипажа.

— Это он,— сказали секунданты и вскоре увидели экипаж с четверкой лошадей в упряжке; лошадьми правили два форейтора.

— Что за странный субъект! — воскликнул противник Валантена.— Едет умирать на почтовых...

На дуэли, так же как и при игре, на воображение участников, непосредственно заинтересованных в том или ином исходе, действует каждый пустяк, и оттого молодой человек с некоторым беспокойством ждал, пока карета не подъехала и не остановилась на дороге. Первым тяжело спрыгнул с подножки старый Ионафан и помог выйти Рафаэлю; старик поддерживал его своими слабыми руками и, как любовник о своей возлюбленной, проявлял заботу о нем в каждой мелочи. Оба двинулись по тропинке, которая вела от большой дороги до самого места дуэли, и, скрывшись из виду, появились много спустя: они шли медленно. Четверо свидетелей этой странной сцены почувствовали глубокое волнение при виде Рафаэля, опиравшегося на руку слуги: исхудалый, бледный, он двигался молча, опустив голову и ступая, как подагрик. Можно было поду-

мать, что это два старика, равно разрушенные: один — временем, другой — мыслью; у первого возраст обозначали седые волосы, у молодого возраста уже не было.

— Милостивый государь, я не спал ночь,— сказал Рафаэль своему противнику.

Холодные слова и страшный взгляд Рафаэля заставили вздрогнуть истинного зачинщика дуэли, в глубине души он уже раскаивался, ему было стыдно за себя. В том, как держался Рафаэль, в самом звуке его голоса и движениях было нечто странное. Он умолк, и никто не смел нарушить молчания. Тревога и нетерпение достигли предела.

— Еще не поздно принести мне самые обычные извинения,— снова заговорил Рафаэль,— извинитесь же, милостивый государь, не то вы будете убиты. Вы рассчитываете на свою ловкость, вы не отказываетесь от мысли о поединке, ибо уверены в своем превосходстве. Так вот, милостивый государь, я великодушен, я предупреждаю вас, что перевес на моей стороне. Я обладаю грозным могуществом. Стоит мне только пожелать — от вашей ловкости не останется и следа, ваш взор затуманится, рука у вас дрогнет и забьется сердце; этого мало: вы будете убиты. Я не хочу применять свою силу, она мне слишком дорого обходится. Не для вас одного это будет смертельно. Если, однако, вы откажетесь принести мне извинения, то, хотя убийство — привычное для вас дело, ваша пуля полетит в этот горный поток, а моя, даже без прицела,— попадет прямо вам в сердце.

Глухой ропот прервал Рафаэля. Говоря с противником, он не сводил с него пристального, невыносимо ясного взора; он выпрямился, лицо у него стало бесстрастным, как у опасного безумца.

— Пусть он замолчит,— сказал молодой человек одному из секундантов,— у меня от его голоса все переворачивается внутри!

— Милостивый государь, довольно! Вы зря тратите красноречие! — крикнули Рафаэлю хирург и свидетели.

— Господа, я исполнил свой долг. Не мешало бы молодому человеку объявить свою последнюю волю.

— Довольно! Довольно!

Рафаэль стоял неподвижно, ни на мгновение не теряя из виду своего противника, который, как птичка под взглядом змеи, был скован почти волшебною силою; вынужденный подчиниться убийственному этому взгляду, он отводил глаза, но снова невольно подпадал под его власть.

— Дай мне воды, я хочу пить...— сказал он секунданту.

— Ты боишься?

— Да,— отвечал он.— Глаза у него горят и завораживают меня.

— Хочешь перед ним извиниться?

— Поздно.

Дуэлянтов поставили в пятнадцати шагах друг от друга. У каждого была пара пистолетов, и, согласно условиям этой дуэли, противники должны были выстрелить по два раза, когда им угодно, но только после знака, поданного секундантами.

— Что ты делаешь, Шарль? — крикнул молодой человек, секундант противника Рафаэля.— Ты кладешь пулю, не насыпав пороха!

— Я погиб! — отвечал он шепотом.— Вы поставили меня против солнца...

— Солнце у вас за спиной,— суровым и торжественным тоном сказал Валантен и, не обращая внимания ни на то, что сигнал уже дан, ни на то, как старательно целится в него противник, не спеша зарядил пистолет.

В этой сверхъестественной уверенности было нечто страшное, что почувствовали даже форейторы, которых привело сюда жестокое любопытство. Играя своим могуществом, а может быть, желая испытать его, Рафаэль разговаривал с Ионафаном и смотрел на него под выстрелом своего врага. Пуля Шарля отломила ветку ивы и рикошетом упала в воду. Рафаэль, выстрелив наудачу, попал противнику в сердце и, не обращая внимания на то, что молодой человек упал, быстро вытащил шагреневую кожу, чтобы проверить, сколько стоила ему жизнь человека. Талисман был не больше дубового листочка.

— Что же вы мешкаете, форейторы? Пора ехать! — сказал Рафаэль.

В тот же вечер он прибыл во Францию и по Оверн-ской дороге выехал на воды в Мон-Дор. Дорогой у него возникла внезапная мысль, одна из тех мыслей, которые западают в душу, как солнце сквозь густые облака роняет свой луч в темную долину. Печальные проблески безжалостной мудрости! Они озаряют уже совершившиеся события, вскрывают наши ошибки, и мы сами тогда ничего не можем простить себе. Он вдруг подумал, что обладание могуществом, как бы ни было оно безгранично, не научает пользоваться им. Скипетр — игрушка для ребенка, для Ришелье — секира, а для Наполеона — рычаг, с помощью которого можно повернуть мир. Власть оставляет нас такими же, каковы мы по своей природе, и возвеличивает лишь великих. Рафаэль мог все, но не свершил ничего.

На мондорских водах все то же общество удалялось от него с неизменной поспешностью, как животные бросаются прочь от павшего животного, зачуяв издали смертный дух. Эта ненависть была взаимной. Последнее приключение внушило ему глубокую неприязнь к обществу. Поэтому первой заботой Рафаэля было отыскать в окрестностях уединенное убежище. Он инстинктивно ощущал потребность приобщиться к природе, к неподдельным чувствам, к той растительной жизни, которой мы так охотно предаемся среди полей. На другой день по приезде он не без труда взобрался на вершину Санси, осмотрел горные местности, неведомые озера, сельские хижины Мон-Дора, суровый, дикий вид которых начинает ныне соблазнять кисть наших художников. Порою здесь встречаются красивые уголки, полные очарования и свежести, составляющие резкий контраст с мрачным видом этих угрюмых гор. Почти в полумиле от деревни Рафаэль очутился в такой местности, где игривая и веселая, как ребенок, природа, казалось, нарочно таила лучшие свои сокровища. Здесь, в уединенных этих местах, живописных и милых, он и задумал поселиться. Здесь можно было жить спокойной, растительной жизнью — жизнью плода на дереве.

Представьте себе внутренность опрокинутого гра-

нитного конуса, сильно расширяющуюся кверху,— нечто вроде чаши с причудливо изрезанными краями; здесь — ровная, гладкая, лишенная растительности голубоватая поверхность, по которой, как по зеркалу, скользят солнечные лучи; там — изломы скал, перемежающихся провалами, откуда застывшая лава свисает глыбами, падение которых исподволь подготовляется дождевыми водами, скал, нередко увенчанных низкорослыми деревьями, которые треплет ветер; кое-где темные и прохладные ущелья, где стоят купы высоких, точно кедры, каштанов, где желтоватые склоны изрыты пещерами, открывающими черную и глубокую пасть, поросшую ежевикой, цветами, украшенную полоской зелени. На дне этой чаши, которая когда-то, вероятно, была кратером вулкана, находится небольшое озеро с прозрачной водою, сверкающей, как бриллиант. Вокруг этого глубокого водоема в гранитных берегах, окаймленного ивами, шпажником, ясенями и множеством благоухающих растений, которые в ту пору цвели,— простирался луг, зеленый, как английский газон; трава его, тонкая и красивая, орошалась водой, струившейся из расщелин в скалах, и удобрялась перегноем растений, которые беспрестанно сносила буря с высоких вершин. Образуя зубчатые очертания, точно оборка на платье, озеро занимало пространство примерно в три арпана. Скалы так близко подходили к воде, что луг, вероятно, был шириною не более двух арпанов, в некоторых местах едва прошла бы корова. Повыше растительность исчезала. На небе вырисовывались гранитные скалы самых причудливых форм, принимавшие неясную окраску, которая придает вершинам гор некоторое сходство с облаками. Нагие, пустынные скалы противопоставляли мирной прелести долины дикую картину запустения: глыбы, грозящие обвалом, утесы столь прихотливой формы, что один из них назван Капуцином — так он напоминает монаха. Порою луч солнца освещал эти острые иглы, эти дерзко вздыбившиеся каменные громады, эти высокогорные пещеры, и, послушные течению дневного светила и причудам воздуха, они то принимали золотистый оттенок, то окрашивались в пурпур, то становились ярко-розовыми, то серыми, тусклыми. Выси гор беспрестанно меняли свою окраску, пе-

реливаясь радугой, как голубиное горло. Иногда, на рассвете или на закате, яркий луч солнца, проникнув между двумя застывшими волнами гранита, точно разрубленного топором, доставал до дна этой прелестной корзины и играл на водах озера, как играет он, протянувшись золотистой полоской сквозь щель ставня, в испанском доме, тщательно закрытом на время полуденного отдыха. Когда же солнце стояло высоко над старым кратером, наполнившимся водою еще во времена какого-то допотопного переворота, его каменистые берега нагревались, потухший вулкан как будто загорался, от тепла быстрее пробуждались ростки, оплодотворялась растительность, окрашивались цветы и зрели плоды в этом глухом, безвестном уголке.

Когда Рафаэль забрел сюда, он заметил, что на лугу пасутся коровы; пройдя несколько шагов по направлению к озеру, он увидел в том месте, где полоса земли расширялась, скромный дом, сложенный из гранита, с деревянною крышей. Кровля этой необыкновенной хижины, гармонировавшей с самой местностью, заросла мохом, плющом и цветами, изобличая глубокую древность постройки. Тонкая струя дыма, уже не пугавшая птиц, вилась из полуразрушенной трубы. У двери стояла большая скамья меж двух огромных кустов душистой жимолости, осыпанных розовым цветом. Стен почти не было видно сквозь ветви винограда, сквозь гирлянды роз и жасмина, которые росли на свободе, как придется. Видно, обитатели не обращали внимания на это сельское убранство, совсем за ним не следили и предоставляли природе развиваться в живой и девственной прелести. На солнце сушилось белье, развешанное на смородиновом кусте. Кошка присела на трепалке для конопли, под которой, среди картофельной шелухи, лежал только что вычищенный медный котел. По другую сторону дома Рафаэль заметил изгородь из сухого терновника, поставленную, вероятно, затем, чтобы куры не опустошали сад и огород. Казалось, мир кончается здесь. Жилище было похоже на те искусно сделанные птичьи гнезда, что лепятся к скалам и носят на себе отпечаток изобретательности, а в то же время небрежности. Это была природа наивная и добрая, подлинно дикая, но поэтичная, ибо она расцветала за ты-

сячу миль от прилизанной нашей поэзии и не повторяла никакого чужого замысла, но зарождалась сама собою, как подлинное торжество случайности. Когда Рафаэль подходил, солнечные лучи падали справа почти горизонтально, от них сверкала всеми красками растительность, и при этом волшебном свете отчетливо выделялись пятна тени, серовато-желтые скалы, зелень листьев всевозможных оттенков, купы синих, красных, белых цветов, стебли и колокольчики ползучих растений, бархатные мхи, пурпуровые кисти вереска и, особенно, ясная гладь воды, где, как в зеркале, отчетливо отражались гранитные вершины, деревья, дом, небо. На этой прелестной картине все сияло, начиная с блестящей слюды и кончая пучком белесоватой травы, притаившейся в мягкой полутени. Все радовало глаз своей гармонией: и пестрая, с лоснящейся шерстью, корова, и хрупкие водяные цветы, как бахрома, окаймлявшие котловину, над которыми жужжали лазоревые и изумрудные насекомые, и древесные корни, увенчавшие бесформенную груду голышей наподобие русых волос. От благовонного тепла, которым дышали воды, цветы и пещеры уединенного этого приюта, у Рафаэля появилось какое-то сладостное ощущение.

Торжественную тишину, которая царила в этой рощице, по всей вероятности, не попавшей в списки сборщика податей, внезапно нарушил лай двух собак. Коровы повернули головы ко входу в долину, а затем, показав Рафаэлю свои мокрые морды и, тупо посмотрев на него, продолжали щипать траву. Коза с козленком, точно каким-то волшебством повисшие на скалах, спрыгнули на гранитную площадку неподалеку от Рафаэля и остановились, вопросительно поглядывая на него. На тявканье собак выбежал из дома толстый мальчуган и замер с разинутым ртом, затем появился седой старик среднего роста. Оба эти существа гармонировали с окрестным видом, воздухом, цветами и домом. Здоровье било через край среди этой изобильной природы, старость и детство были здесь прекрасны. Словом, от всех разновидностей живых существ здесь веяло первобытной непосредственностью, привычным счастьем, перед лицом которого обнажалась вся ложь ханжеского нашего философствования и сердце излечивалось от искусст-

венных страстей. Старик, казалось, мог бы служить излюбленной натурой для мужественной кисти Шнетца: загорелое лицо с сетью морщин, вероятно, жестких на ощупь; прямой нос, выдающиеся скулы, все в красных жилках, как старый виноградный лист, резкие черты — все признаки силы, хотя сила уже иссякла; руки, все еще мозолистые, хотя они уже не работали, были покрыты редким седым волосом; старик держался, как человек воистину свободный, так что можно было вообразить, что в Италии он стал бы разбойником из любви к бесценной свободе. У ребенка, настоящего горца, были черные глаза, которыми он мог смотреть на солнце не щурясь, коричневый цвет лица, темные растрепанные волосы. Он был ловок, решителен, естествен в движениях, как птица; одет он был в лохмотья, и сквозь них просвечивала белая, свежая кожа. Оба молча стояли рядом, с одним и тем же выражением на лице, и взгляд их говорил о совершенной тождественности их одинаково праздной жизни. Старик перенял у ребенка его игры, а ребенок у старика — его прихоти, по особому договору между двумя видами слабости — между силой, уже иссякающей, и силой, еще не развившейся. Немного погодя на пороге появилась женщина лет тридцати. Она на ходу сучила нитку. Это была оверянка; у нее были белые зубы, смуглое, веселое и открытое лицо, лицо настоящей оверянки, стан оверянки, платье и прическа оверянки, высокая грудь оверянки и оверянский выговор, трудолюбие, невежество, бережливость, сердечность — словом, все вместе взятое олицетворяло оверянский край.

Она поклонилась Рафаэлю; завязался разговор. Собаки успокоились, старик сел на скамью на солнышке, а ребенок ходил за матерью по пятам, молча прислушивался и во все глаза смотрел на незнакомого человека.

— Вы не боитесь здесь жить, голубушка?

— А чего бояться? Когда загородим вход, кто сюда может войти? Нет, мы ничего не боимся! И то сказать,— добавила она, приглашая маркиза войти в самую большую комнату в доме,— что ворам и взять-то у нас?

Она обвела рукой закопченные стены, единственным украшением которых служили разрисованные го-

лубой, красной и зеленой красками картины: «Смерть Кредита», «Страсти господни» и «Гренадеры императорской гвардии»; да еще была в комнате старая ореховая кровать с колонками, стол на витых ножках, скамьи, квашня, свиное сало, подвешенное к потолку, соль в горшке, печка и на полке очага пожелтевшие раскрашенные гипсовые фигуры. Выйдя из дома, Рафаэль заметил среди скал мужчину с мотыгой в руках, который, нагнувшись, с любопытством посматривал на дом.

— Хозяин,— сказала оверпка, и у нее появилась обычная для крестьянки улыбка.— Он там работает.

— А старик — ваш отец?

— Нет, изволите ли видеть, это дед моего хозяина. От роду ему сто два года. А все же на днях он сводил нашего мальчишку пешком в Клермон! Крепкий был человек, ну а теперь только спит, пьет да ест. С мальчишкой забавляется, иной раз малыш тащит его в горы, и он ничего, идет.

Валантен сразу же решил поселиться со стариком и ребенком, дышать тем же воздухом, есть тот же хлеб, спать тем же сном, наполнить свои жилы такою же кровью. Причуды умирающего! Стать улиткой, прилепившейся к этим скалам, на несколько лишних дней сберечь свою раковину, заглушить в себе работу смерти стало для него основой поведения, единственной целью бытия, прекрасным идеалом жизни, единственно правильной жизнью, настоящей жизнью. Глубоко эгоистическая мысль вошла в самое его существо и поглотила для него вселенную. Ему представлялось, что вселенной больше нет,— вселенная сосредоточилась в нем. Для больного мир начинается у изголовья постели и кончается у его ног. Эта долина сделалась постелью Рафаэля.

Кто не следил хоть раз за хлопотливым муравьем, кто не просовывал соломинок в единственное отверстие, через которое дышит белесая улитка? Кто не наблюдал за причудливым полетом хрупкой стрекозы, не любовался множеством жилок, ярко, точно витражи готического собора, выделяющихся на красноватом фоне дубовых листьев? Кто не наслаждался, подолгу любуясь игрою дождя и солнца на темной черепице крыши, не

созерцал капель росы, лепестков или разнообразного строения цветочных чашечек? Кто не погружался в такие грезы, как бы слитые с самой природой, беспечные и сосредоточенные, бесцельные и тем не менее приводящие к какой-нибудь мысли? Кто, иными словами, не вел порою жизни ребенка, жизни ленивой, жизни дикаря, если изъять из нее труд? Так прожил Рафаэль много дней, без забот, без желаний,— он поправил свое здоровье и чувствовал себя необычайно хорошо, и вот усмирились его тревоги, затихли его страдания. Он взбирался на скалы и усаживался где-нибудь на вершине, откуда было видно далеко-далеко. Там он оставался по целым дням, как растение на солнце, как заяц в норе. Или, породнясь с явлениями растительной жизни, с переменами, происходившими в небе, он следил за развитием всех творений на земле, на воде, в воздухе. Он и сам пытался приобщиться к внутренней жизни природы, как можно полнее проникнуться ее пассивной покорностью, чтобы подпасть под владычество охранительного закона, управляющего инстинктивным бытием. Он хотел освободиться от себя самого. В древние времена преступники, преследуемые правосудием, спасались под сенью храма,— точно так же Рафаэль пытался укрыться в святилище бытия. Он достиг того, что стал составной частью этого необъятного и могучего цветения; он свыкся с переменами погоды, побывал во всех расщелинах скал, изучил нравы и обычаи всех растений, узнал, как зарождаются и как текут воды, свел знакомство с животными; словом, он так полно слился с этой одушевленной землею, что до некоторой степени постиг ее душу и проник в ее тайны. Бесконечные формы всех царств природы были для него развитием одной и той же сущности, различными сочетаниями одного и того же движения, огромным дыханием одного беспредельного существа, которое действовало, мыслило, двигалось, росло и вместе с которым он сам хотел расти, двигаться, мыслить и действовать. Он, как улитка, слил свою жизнь с жизнью скалы, он сросся с ней. Благодаря таинственной этой просветленности, мнимому выздоровлению, похожему на то благодетельное забытье, которое природа дарует, как отдых от боли,— Валантен в начале своего пребывания среди этой смею-

щейся природы наслаждался радостями нового детства. Он мог целый день бродить в поисках какого-нибудь пустяка, начинал тысячу дел и не кончал ни одного, забывая назавтра вчерашние свои планы; не зная забот, он был счастлив и думал, что он спасен.

Однажды он пролежал в постели до полудня,— он был погружен в дремоту, сотканную из яви и сна, которая придает действительности фантастический вид, а грезам — отчетливость действительной жизни; и вдруг, еще даже не сознавая, что проснулся, он впервые услышал отчет о своем здоровье, который хозяйка давала Ионафану, ежедневно приходившему справляться о нем. Оверика, конечно, была уверена, что Валантен еще спит, и говорила во весь свой голос — голос жительницы гор.

— Ни лучше, ни хуже,— сообщила она.— Опять всю ночь кашлял,— того и гляди, думала, богу душу отдаст. Кашляет, харкает добрый наш господин так, что жалость берет. Мы с хозяином диву даемся, откуда только у него силы берутся так кашлять? Прямо сердце разрывается. И что это за проклятая у него болезнь? Нет, плохо его дело! Всякий раз у меня душа не на месте, как бы не найти его утром в постели мертвым. Бледный он, все равно как восковой Иисус! Я вижу его, когда он встает, до чего же худ, бедняжка,— как палка! Да уж и дух от него идет тяжелый. А он ничего не замечает. Ему все едино,— тратит силы на беготню, точно у него здоровья на двоих хватит. Очень он бодрится, виду не показывает! А ведь и то сказать: в земле ему лучше было бы, чем на лугу,— мучается он, как господь на кресте! Только мы-то этого не желаем,— какой нам интерес? Даже если б он и не дарил нам столько, мы бы любили его не меньше, мы его не из-за интереса держим. Ах, боже ты мой,— продолжала она,— только у парижан и бывают такие гадкие болезни! Где они их только схватывают? Бедный молодой человек! Уж тут добром не кончится! И как же она его, эта лихорадка, точит, как же она его сушит, как же она его изводит! А он ни о чем не думает, ничего-то не чует. Ничего он не замечает... Только плакать об этом не надо, господин Ионафан! Надо сказать: слава богу! — когда он отмучается. Вам бы девятину в церкви заказать за его здо-

ровье. Я своими глазами видела, как больные выздоравливают от девятины. Я сама бы свечку поставила, только бы спасти такого милого человека, такого доброго, ягненочка пасхального...

Голос у Рафаэля стал настолько слаб, что он не мог крикнуть и был принужден слушать эту ужасную болтовню. И все же он так был раздражен, что поднялся с постели и появился на пороге.

— Старый негодяй! — крикнул он на Ионафана.— Ты что же, хочешь быть моим палачом?

Крестьянка подумала, что это привидение, и убежала.

— Не смей больше никогда справляться о моем здоровье,— продолжал Рафаэль.

— Слушаюсь, господин маркиз,— отвечал старый слуга, отирая слезы.

— И впредь ты прекрасно сделаешь, если не будешь сюда являться без моего приказа.

Ионафан пошел было к дверям, но, прежде чем уйти, бросил на маркиза взгляд, исполненный преданности и сострадания, в котором Рафаэль прочел себе смертный приговор. Теперь он ясно видел истинное положение вещей, и присутствие духа покинуло его; он сел на пороге, скрестил руки на груди и опустил голову. Перепуганный Ионафан приблизился к своему господину:

— Сударь...

— Прочь! Прочь! — крикнул больной.

На следующее утро Рафаэль, взобравшись на скалу, уселся в поросшей мохом расщелине, откуда была видна тропинка, ведущая от курортного поселка к его жилищу. Внизу он заметил Ионафана, снова беседовавшего с оверкой. Его проницательность, достигшая необычайной силы, коварно подсказала ему, что́ означало покачивание головой, жесты безнадежности, весь простодушно-зловещий вид этой женщины, и в тишине ветер донес до него роковые слова. Охваченный ужасом, он укрылся на самых высоких вершинах и пробыл там до вечера, не в силах отогнать мрачные думы, к несчастью для него навеянные ему тем жестоким состраданием, предметом которого он был. Вдруг оверка сама выросла перед ним, как тень в вечернем мраке; поэтиче-

ская игра воображения превратила для него ее черное платье с белыми полосками в нечто похожее на иссохшие ребра призрака.

— Уже роса выпала, сударь вы мой,— сказала она.— Коли останетесь,— беды наживете. Пора домой. Вредно дышать сыростью, да и не ели вы ничего с самого утра.

— Проклятье! — крикнул он.— Оставьте меня в покое, старая колдунья, иначе я отсюда уеду! Довольно того, что вы каждое утро роете мне могилу,— хоть бы уж по вечерам-то не копали...

— Могилу, сударь? Рыть вам могилу!.. Где же это она, ваша могила? Да я вам от души желаю, чтобы вы прожили столько, сколько наш дедушка, а вовсе не могилы! Могила! В могилу-то нам никогда не поздно...

— Довольно! — сказал Рафаэль.

— Опирайтесь на мою руку, сударь!

— Нет!

Жалость — чувство, которое всего труднее выносить от других людей, особенно если действительно подаешь повод к жалости. Их ненависть — укрепляющее средство, она придает смысл твоей жизни, она вдохновляет на месть, но сострадание к нам убивает нас, оно еще увеличивает нашу слабость. Это — вкрадчивое зло, это — презрение под видом нежности или же оскорбительная нежность. Рафаэль видел к себе у столетнего старика сострадание торжествующее, у ребенка — любопытствующее, у женщины — назойливое, у ее мужа— корыстное, но в какой бы форме ни обнаруживалось это чувство, оно всегда возвещало смерть. Поэт из всего создает поэтическое произведение, мрачное или же веселое, в зависимости от того, какой образ поразил его, восторженная его душа отбрасывает полутона и всегда избирает яркие, резко выделяющиеся краски. Сострадание окружающих создало в сердце Рафаэля ужасную поэму скорби и печали. Пожелав приблизиться к природе, он, вероятно, и не подумал о том, сколь откровенны естественные чувства. Когда он сидел где-нибудь под деревом, как ему казалось — в полном одиночестве, и его бил неотвязный кашель, после которого он всегда чувствовал себя разбитым, он вдруг замечал

блестящие, живые глаза мальчика, по-дикарски прятавшегося в траве и следившего за ним с тем детским любопытством, в котором сочетается и удовольствие, и насмешка, и какой-то особый интерес, острый, а вместе с тем бесчувственный. Грозные слова монахов-траппистов «Брат, нужно умереть», казалось, были написаны в глазах крестьян, с которыми жил Рафаэль; он не знал, чего больше боялся — наивных ли слов их, или молчания; все в них стесняло его. Однажды утром он увидел, что какие-то двое в черном бродят вокруг него, выслеживают, поглядывают на него украдкой; затем, прикидываясь, что пришли сюда прогуляться, они обратились к нему с банальными вопросами, и он кратко на них ответил. Он понял, что это врач и священник с курорта, которых подослал, по всей вероятности, Ионафан или позвали хозяева, а может быть, просто привлек запах близкой смерти. Он уже представил себе собственные свои похороны, слышал пение священников, мог сосчитать свечи,— и тогда красоты роскошной природы, на лоне которой, как ему казалось, он вновь обрел жизнь, виделись ему только сквозь траурный флер. Все, некогда сулившее ему долгую жизнь, теперь пророчило скорый конец. На другой день, вдоволь наслушавшись скорбных и сочувственно-жалостливых пожеланий, какими его провожали хозяева, он уехал в Париж.

Проспав в пути всю ночь, он проснулся, когда проезжали по одной из самых веселых долин Бурбонне и мимо него, точно смутные образы сна, стремительно проносились поселки и живописные виды. Природа с жестокой игривостью выставляла себя перед ним напоказ. То речка Алье развертывала в прекрасной дали блестящую текучую свою ленту; то деревушки, робко притаившиеся в ущельях средь бурых скал, показывали шпили своих колоколен; то, после однообразных виноградников, в ложбине внезапно вырастали мельницы, мелькали там и сям красивые замки, лепившаяся по горному склону деревня, дорога, обсаженная величественными тополями; наконец, необозримая, искрящаяся алмазами водная гладь Луары засверкала среди золотистых песков. Соблазнов — без конца! Природа, возбужденная, живая, как ребенок, еле сдерживая страсть

и соки июня, роковым образом привлекала к себе угасающие взоры больного. Он закрыл окна кареты и опять заснул. К вечеру, когда Кон остался уже позади, его разбудила веселая музыка, и перед ним развернулась картина деревенского праздника. Почтовая станция находилась возле самой площади. Пока перепрягали лошадей, он смотрел на веселые сельские танцы, на девушек, убранных цветами, хорошеньких и задорных, на оживленных юношей, на раскрасневшихся, подгулявших стариков. Ребятишки резвились, старухи, посмеиваясь, вели между собой беседу. Вокруг стоял веселый шум, радость словно приукрасила и платья и расставленные столы. У площади и церкви был праздничный вид; казалось, что крыши, окна, двери тоже принарядились. Как всем умирающим, Рафаэлю был ненавистен малейший шум, он не мог подавить в себе мрачное чувство, ему захотелось, чтобы скрипки умолкли, захотелось остановить движение, заглушить крики, разогнать этот наглый праздник. С сокрушенным сердцем он сел в экипаж. Когда же он снова взглянул на площадь, то увидел, что веселье словно кто-то спугнул, что крестьянки разбегаются, скамьи опустели. На подмостках для оркестра один только слепой музыкант продолжал играть на кларнете визгливую плясовую. В этой музыке без танцоров, в этом стоящем под липой одиноком старике с уродливым профилем, со всклокоченными волосами, одетом в рубище, было как бы фантастически олицетворено пожелание Рафаэля. Лил потоками дождь, настоящий июньский дождь, который внезапно низвергается на землю из насыщенных электричеством туч и так же неожиданно перестает. Это было настолько естественно, что Рафаэль, поглядев, как вихрь несет по небу белесоватые тучи, и не подумал взглянуть на шагреневую кожу. Он пересел в угол кареты, и вскоре она снова покатила по дороге.

На другой день он был уже у себя дома, в своей комнате, возле камина. Он велел натопить пожарче, его знобило. Ионафан принес письма. Все они были от Полины. Он не спеша вскрыл и развернул первое, точно это была обыкновенная повестка сборщика налогов. Он прочитал начало:

«Уехал! Но ведь это бегство, Рафаэль. Как же так?

Никто не может мне сказать, где ты. И если я не знаю, то кто же тогда знает?»

Не пожелав читать дальше, он холодно взял письма и, бросив их в камин, тусклым, безжизненным взглядом стал смотреть, как огонь пробегает по надушенной бумаге, как он скручивает ее, как она отвердевает, изгибается и рассыпается на куски.

На пепле свернулись полуобгоревшие клочки, и на них еще можно было разобрать то начало фразы, то отдельные слова, то какую-нибудь мысль, конец которой был уничтожен огнем, и Рафаэль машинально увлекся этим чтением.

«Рафаэль... сидела у твоей двери... ждала... Каприз... подчиняюсь... Соперницы... я — нет!.. твоя Полина любит... Полины, значит, больше нет?.. Если бы ты хотел меня бросить, ты бы не исчез так... Вечная любовь... Умереть...»

От этих слов в нем заговорила совесть — он схватил щипцы и спас от огня последний обрывок письма.

«...Я роптала,— писала Полина,— но я не жаловалась, Рафаэль! Разлучаясь со мной, ты, без сомнения, хотел уберечь меня от какого-то горя. Когда-нибудь ты, может быть, убьешь меня, но ты слишком добр, чтобы меня мучить. Больше никогда так не уезжай. Помни: я не боюсь никаких мучений, но только возле тебя. Горе, которое я терпела бы из-за тебя, уже не было бы горем,— в сердце у меня гораздо больше любви, чем это я тебе показывала. Я могу все вынести, только бы не плакать вдали от тебя, только бы знать, что ты...»

Рафаэль положил на камин полуобгоревшие обрывки письма, но затем снова кинул их в огонь. Этот листок был слишком живым образом его любви и роковой его участи.

— Сходи за господином Бьяншоном,— сказал он Ионафану.

Орас застал Рафаэля в постели.

— Друг мой, можешь ли ты составить для меня питье с небольшой дозой опия, чтобы я все время находился в сонном состоянии и чтобы можно было постоянно употреблять это снадобье, не причиняя себе вреда?

— Ничего не может быть легче,— отвечал молодой доктор,— но только все-таки придется вставать на несколько часов в день, чтобы есть.

— На несколько часов? — прервал его Рафаэль.— Нет, нет! Я не хочу вставать больше, чем на час.

— Какая же у тебя цель? — спросил Бьяншон.

— Спать — это все-таки жить! — отвечал больной.— Вели никого не принимать, даже госпожу Полину де Вичнау,— сказал он Ионафану, пока врач писал рецепт.

— Что же, господин Орас, есть какая-нибудь надежда? — спросил старик слуга у молодого доктора, провожая его до подъезда.

— Может протянуть еще долго, а может умереть и нынче вечером. Шансы жизни и смерти у него равны. Ничего не могу понять,— отвечал врач и с сомнением покачал головой.— Нужно бы ему развлечься.

— Развлечься! Вы его не знаете, сударь. Он как-то убил человека — и даже не охнул!.. Ничто его не развлечет.

В течение нескольких дней Рафаэль погружен был в искусственный сон. Благодаря материальной силе опия, воздействующей на нашу нематериальную душу, человек с таким сильным и живым воображением опустился до уровня иных ленивых животных, которые напоминают своею неподвижностью увядшие растения и не сдвинутся с места ради какой-нибудь легкой добычи. Он не впускал к себе даже дневной свет, солнечные лучи больше не проникали к нему. Он вставал около восьми вечера, в полусознательном состоянии утолял свой голод и снова ложился. Холодные, хмурые часы жизни приносили с собой лишь беспорядочные образы, лишь видимости, светотень на черном фоне. Он погрузился в глубокое молчание, жизнь его представляла собою полное отрицание движения и мысли. Однажды вечером он проснулся гораздо позже обыкновенного, и обед не был подан. Он позвонил Ионафану.

— Можешь убираться из моего дома,— сказал он.— Я тебя обогатил, тебе обеспечена счастливая старость, но я не могу позволить тебе играть моей жизнью... Я же голоден, негодяй! Где обед? Говори!

По лицу Ионафана пробежала довольная улыбка; он взял свечу, которая мерцала в глубоком мраке огромных покоев, повел своего господина, опять ставшего ко всему безучастным, по широкой галерее и внезапно отворил дверь. В глаза больному ударил свет; Рафаэль был поражен, ослеплен неслыханным зрелищем. Перед ним были люстры, полные свечей; красиво расставленные редчайшие цветы его теплицы; стол, сверкавший серебром, золотом, перламутром, фарфором; царский обед, от которого, возбуждая аппетит, шел ароматный пар. За столом сидели его друзья и вместе с ними женщины, разодетые, обворожительные, с обнаженной грудью, с открытыми плечами, с цветами в волосах, с блестящими глазами, все по-разному красивые, все соблазнительные в своих роскошных маскарадных нарядах; одна обрисовала свои формы ирландской жакеткой, другая надела дразнящую андалузскую юбку; эта, полунагая, была в костюме Дианы-Охотницы, а та, скромная, дышащая любовью,— в костюме де Лавальер, и все были одинаково пьяны. В каждом взгляде сверкали радость, любовь, наслаждение. Лишь только мертвенно бледное лицо Рафаэля появилось в дверях, раздался дружный хор приветствий, торжествующих, как огни этого импровизированного празднества. Эти голоса, благоухания, свет, женщины волнующей красоты возбудили его, воскресили в нем чувство жизни. В довершение странной грезы звуки чудной музыки гармоническим потоком хлынули из соседней гостиной, приглушая это упоительное бесчинство. Рафаэль почувствовал, что его руку нежно пожимает женщина, готовая обвить его своими белыми, свежими руками,— то была Акилина. И, внезапно осознав, что все это уже не смутные и фантастические образы его мимолетных туманных снов, он дико вскрикнул, захлопнул дверь и ударил своего старого почтенного слугу по лицу.

— Чудовище! Ты поклялся убить меня! — воскликнул он.

Затем, весь дрожа при мысли об опасности, которой только что подвергся, он нашел в себе силы дойти до спальни, принял сильную дозу снотворного и лег.

«Что за чертовщина! — придя в себя, подумал Иона-

фан.— Ведь господин Бьяншон непременно велел мне развлечь его».

Было около полуночи. В этот час лицо спящего Рафаэля сияло красотой — один из капризов физиологии; белизну кожи оттенял яркий румянец, приводящий в недоумение и отчаяние медицинскую мысль. От девически нежного лба веяло гениальностью. Жизнь цвела на его лице, спокойном, безмятежном, как у ребенка, уснувшего под крылышком матери. Он спал здоровым, крепким сном, из алых губ вылетало ровное, чистое дыхание, он улыбался,— верно, ему грезилась какая-то прекрасная жизнь. Быть может, он видел себя столетним старцем, видел своих внуков, желавших ему долгих лет жизни; быть может, снилось ему, что, сидя на простой скамье, под сенью ветвей, освещенный солнцем, он, как пророк с высоты гор, различал в блаженной дали обетованную землю!..

— Наконец-то!

Это слово, произнесенное чьим-то серебристым голосом, рассеяло туманные образы его снов. При свете лампы он увидел, что на постели сидит его Полина, но Полина, ставшая еще красивей за время разлуки и горя. Рафаэля поразила белизна ее лица, светлого, как лепестки водяной лилии, и оттененного длинными черными локонами. Слезы проложили у нее на щеках две блестящих дорожки и остановились, готовые упасть при малейшем движении. Вся в белом, с опущенной головою, такая легкая, что она почти не примяла постели, Полина была точно ангел, сошедший с небес, точно призрак, готовый исчезнуть при первом мгновении.

— Ах, я все забыла! — воскликнула она, когда Рафаэль открыл глаза.— Я могу сказать тебе только одно: я твоя! Да, сердце мое полно любви. Ах, никогда, ангел жизни моей, ты не был так прекрасен! Глаза твои сверкают... Но я все поняла, все! Ты искал без меня здоровья, ты меня боялся... Ну что ж...

— Беги, беги! Оставь меня!—глухо проговорил, наконец, Рафаэль.— Иди же! Если ты останешься, я умру. Ты хочешь, чтобы я умер?

— Умер? — переспросила она.— Разве ты можешь умереть без меня? Умереть? Но ведь ты так молод! Умереть? Но ведь я люблю тебя! Умереть! — еще раз по-

вторила она глубоким, грудным голосом и вне себя схватила его руки.— Холодные! — сказала она.— Или мне только кажется?

Рафаэль вытащил из-под подушки жалкий лоскуток шагреневой кожи, маленький, как лист барвинка, и, показывая его, воскликнул:

— Полина, прекрасный образ прекрасной моей жизни, скажем друг другу: прости!

— Прости?! — повторила она с изумлением.

— Да. Вот талисман, который исполняет мои желания и показывает, как сокращается моя жизнь. Смотри, сколько мне остается. Взглянешь еще на меня, и я умру.

Полина подумала, что Валантен сошел с ума; она взяла талисман и поднесла поближе лампу. При мерцающем свете, падавшем на Рафаэля и на талисман, она с напряженным вниманием рассматривала и лицо своего возлюбленного и остаток волшебной кожи. Видя, как прекрасна сейчас Полина, охваченная страстной любовью и ужасом, Рафаэль не мог совладать с собою: воспоминания о ласках, о буйных радостях страсти воспрянули в его дремотной душе и разгорелись, как разгорается огонь, тлевший под пеплом в погашенном очаге.

— Полина, иди сюда!.. Полина!

Страшный крик вырвался из груди молодой женщины, глаза ее расширились, страдальчески сдвинутые брови поднялись от ужаса: в глазах Рафаэля она читала яростное желание, которым она гордилась некогда,— но, по мере того как оно возрастало, лоскуток шагреневой кожи, щекоча ей руку, все сжимался и сжимался! Опрометью бросилась Полина в соседнюю гостиную и заперла за собою дверь.

— Полина! Полина! — кричал умирающий, бросаясь за нею.— Я люблю тебя, обожаю тебя, хочу тебя!.. Прокляну, если не откроешь! Я хочу умереть в твоих объятьях!

С необыкновенной силой — последней вспышкой жизни — он выломал дверь и увидел, что его возлюбленная, полунагая, скорчилась на диване. После тщетной попытки растерзать себе грудь Полина решила удавить себя шалью, только бы скорее умереть.

— Если я умру, он будет жив! — говорила она, силясь затянуть наброшенную на шею петлю.

Волосы у нее растрепались, плечи обнажились, платье расстегнулось, и в этой схватке со смертью, плачущая, с пылающими щеками, извиваясь в мучительном отчаянии, тысячью новых соблазнов она привела в исступление Рафаэля, опьяневшего от страсти; стремительно, как хищная птица, бросился он к ней, разорвал шаль и хотел сдавить ее в объятиях.

Умирающий искал слов, чтобы выразить желание, поглощавшее все его силы, но только сдавленный хрип вырвался у него из груди, в которой дыхание, казалось, уходило все глубже и глубже. Наконец, не в силах больше проронить ни единого звука, он укусил Полину в грудь. Напуганный долетевшими до него воплями, явился Ионафан и попытался оторвать молодую женщину от трупа, над которым она склонилась в углу.

— Что вам нужно? — сказала она.— Он мой, я его погубила, разве я этого не предсказывала!

ЭПИЛОГ

— А что же сталось с Полиной?

— Ах, с Полиной? Так слушайте. Случалось ли вам тихим зимним вечером, сидя у домашнего камелька, предаваться сладостным воспоминаниям о любви или о юности и смотреть, как огонь исчерчивает дубовое полено? Вон там на горящем дереве вырисовываются красные клеточки шахматной доски, а здесь полено отливает бархатом; на огненном фоне пробегают, играют и скачут синие огоньки. И вот является неведомый живописец,— пользуясь красками этого пламени, с непередаваемым искусством набрасывает он среди лиловых и пурпуровых огоньков женский профиль какой-то сверхъестественной красоты, неслыханной нежности — явление мгновенное, которое никогда больше не повторится; волосы этой женщины развевает ветер, а черты ее дышат дивной страстью,— огонь в огне! Она улыбается, она исчезает, вы больше ее не увидите. Прощай, цветок, расцветший в пламени! Прощай, явление незавершенное, неожиданное, возникшее слишком рано или слиш-

ком поздно для того, чтобы стать прекрасным алмазом!

— А Полина?

— Так вы не поняли? Я начинаю снова. Посторонитесь! Посторонитесь! Вот она, венец мечтаний, женщина, быстролетная, как поцелуй, женщина, живая, как молния, и, как молния, опаляющая, существо неземное, вся — дух, вся — любовь! Она облеклась в какое-то пламенное тело, или же ради нее само пламя на мгновение одухотворилось! Черты ее такой чистоты, какая бывает только у небожителей. Не сияет ли она, как ангел? Не слышите ли вы воздушный шелест ее крыльев? Легче птицы опускается она подле вас, и грозные очи ее чаруют; ее тихое, но могучее дыхание с волшебной силой притягивает к себе ваши уста; она устремляется прочь и увлекает вас за собой, и вы не чувствуете под собою земли. Вы жаждете хоть единый раз исступленным движением руки коснуться этого белоснежного тела, жаждете смять ее золотистые волосы, поцеловать искрящиеся ее глаза. Вас опьяняет туман, вас околдовывает волшебная музыка. Вы вздрагиваете всем телом, вы весь — желание, весь — сплошная мука. О неизреченное счастье! Вы уже прильнули к устам этой женщины, но вдруг вы пробуждаетесь от страшной боли! Ах! Вы ударились головой об угол кровати, вы поцеловали темное красное дерево, холодную позолоту, бронзу или же медного амура.

— Ну, а Полина?

— Все еще мало? Так слушайте же. Один молодой человек, выезжая чудесным утром из Тура на пароходе «Город Анжер», держал в своей руке руку красивой женщины. И долго они любовались белой фигурой, которая нежданно возникла в тумане, над широкой гладью Луары, как детище воды и солнца или же как причуда облаков и воздуха. Легкое это создание то ундиной, то сильфидой парило в воздухе,— так слово, которого тщетно ищешь, витает где-то в памяти, но его нельзя поймать; видение блуждало между островами, оно кивало головой, прячась за ветви высоких тополей, потом женщина достигла исполинских размеров, и тогда засверкали бесчисленные складки ее платья, а быть может, то засиял ореол, очерченный солнцем во-

круг ее лица; видение парило над деревушками, над холмами, и казалось, что оно не даст пароходу пройти мимо замка Юссе. Можно было подумать, что это призрак Дамы, изображенной Антуаном де ла Саль, хочет защитить свою страну от вторжения современности.

— Хорошо, я понимаю, это о Полине. А Феодора?

— О! Феодора! С нею вы еще встретитесь... Вчера она была в Итальянском театре, сегодня будет в Опере, она везде. Если угодно, она — это общество.

Париж, 1830—1831 гг.

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

КРЕСТЬЯНЕ

Первая часть романа «Крестьяне», под названием «Кто с землей, тот с войной», появилась в газете «Ла Пресс» и печаталась с 8 по 23 декабря 1844 года, но дальнейшая публикация романа была прекращена по распоряжению издателя. Вместо «Крестьян» в газете начал печататься роман А. Дюма «Королева Марго».

Лишь через пять лет после смерти писателя, в 1855 году, в журнале «Ревю де Пари» была опубликована вторая часть романа. Полностью роман вышел в 1855 году. В том же году «Крестьяне» были включены в XVIII (второй дополнительный) том первого издания «Человеческой комедии».

Последние шесть глав своей схематичностью и сентиментальностью значительно отличаются от предыдущих: они были дописаны после смерти писателя его вдовой Э. Ганской-Бальзак.

Приступая к работе над этим произведением, Бальзак в 1837 году набросал конспект, в соответствии с которым материал последних глав должен был занять от трех до пяти томов будущего романа. Этим конспектом воспользовалась Ганская-Бальзак. Она сохранила сюжетную основу, намеченную Бальзаком, но подменила широкую картину социальной борьбы в деревне мелодраматической историей убийства Мишо.

В «Крестьянах» Бальзак воссоздает картину борьбы между

крестьянами и представителем новой буржуазной аристократии — графом Монкорне, бывшим наполеоновским генералом; писатель показывает, как становление буржуазных отношений сопровождается беспощадным закабалением мелкого крестьянского хозяйства ростовщическим капиталом.

Конец романа намечает исход этой драматической борьбы. Плоды победы пожинают буржуа — ростовщик Ригу и лесоторговец Гобертен. Крестьяне получают землю из рук ростовщиков за непомерно высокую цену, обрекая себя на долговую зависимость.

Закабаление крестьян ростовщиками Бальзак изображает с такой полнотой и точностью, что Маркс, анализируя в «Капитале» судьбу мелкой крестьянской земельной собственности, ссылается на Бальзака. Он пишет:

«В своем последнем романе «Крестьяне» Бальзак, вообще замечательный по глубокому пониманию реальных отношений, метко изображает, как мелкий крестьянин даром совершает всевозможные работы на своего ростовщика, чтобы сохранить его благоволение, и при этом полагает, что ничего не дарит ростовщику, так как для него самого его собственный труд не стоит никаких денежных затрат. Ростовщик, в свою очередь, убивает таким образом двух зайцев за раз. Он сберегает расходы на заработную плату и все больше и больше опутывает петлями ростовщической сети крестьянина, которого все быстрее разоряет, отвлекая его от работ на собственном поле» [1].

Ригу и его клика, по определению Бальзака, «делают из крестьян одновременно и своего помощника и свою добычу». Спасение деревни писатель видит в сохранении крупной земельной собственности, в защите ее от раздробления.

Несомненны симпатии Бальзака к дворянству. С горечью говоря о гибели культуры старого, дворянского общества, о неизбежности крушения крупного помещичьего землевладения, Бальзак вместе с тем делает видимой для читателя моральную несостоятельность поместного дворянства.

Реализм Бальзака проявился в романе в изображении подлинных условий существования крестьян. Здесь писатель шел против сложившегося во французской романтической литературе стремления к идеализации жизни деревни. Он правдиво показал обитателей деревни — их отсталость, невежество и т. п. Но отрицательные черты крестьян выступают в романе как порождение нужды и угнетения, как следствие тяжких условий жизни деревенской бедноты.

---

[1] К. Маркс, Капитал. Госполитиздат, 1954, т. III, стр. 43.

Масса крестьян у Бальзака далека от ясного понимания противоположности своих интересов интересам капиталистических хищников, что соответствовало исторической правде.

Только один персонаж романа наделен ясным антибуржуазным сознанием. Это «деревенский старейшина», «античный муж», республиканец Низрон, «твердый, как сталь», и «чистый, как золото». Неподкупный и честный, он обличает и помещиков и буржуа. В нем воплощаются зачатки народного протеста не только против феодального, но и против буржуазного строя.

Низрон, несомненно, принадлежит к тем «людям будущего», образы которых в творчестве Бальзака отметил Энгельс. Величественная фигура Низрона-гражданина явно противопоставлена в романе Ригу и его отвратительной клике.

Роман «Крестьяне» — выдающееся произведение Бальзака. Герои романа — Ригу, Монкорне, Фуршон и другие — яркие индивидуальные характеры, и вместе с тем каждый из них — резко очерченный социальный тип Франции периода Реставрации.

Стр. 5. *Гаво* Сильвен — парижский адвокат, друг Бальзака, его советчик в денежных делах.

Герострат — грек, сжегший в 356 году до н. э. храм Артемиды в Эфесе с единственной целью прославить свое имя; в переносном смысле — безумец, разрушитель.

Стр. 8. *Брегель* Ян Старший (1568—1625) — фламандский художник, прозванный «бархатным» за мягкость колорита его картин.

Стр. 11. *Сен-Клу* — дворец и парк близ Парижа, резиденция Наполеона I.

Стр. 14. *Тунское озеро* — живописное озеро в Швейцарии.

Аркадия — область Древней Греции; в литературе Аркадия — место действия идиллий, изображающих счастливую, мирную сельскую жизнь.

Стр. 15. *Гризайль* — живопись, выполненная оттенками одного цвета, чаще всего серого. Гризайль создает впечатление рельефности.

Стр. 17. *Дюбарри* Жанна (1743—1793) — фаворитка Людовика XV, была казнена во время революции XVIII века.

Стр. 20. *...как тот картонный великан, что кланялся Елизавете при входе в Кенильвортский замок.*— Имеется в виду эпизод из романа Вальтера Скотта «Кенильворт». При входе в замок королеву приветствовали огромные фигуры, изображавшие воинов.

Стр. 22. *«Деба»* — сокращенное название французской газеты «Журналь де Деба». При Реставрации газета поддерживала умеренно-либеральную оппозицию.

Стр. 25. *Сады Армиды.*— Армида — одна из героинь поэмы «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта Тассо (XVI в.), которая завлекла в свои волшебные сады влюбленного в нее рыцаря Ринальдо.

Стр. 26. *Изобретение Жана Руве.*— Французу Жану Руве (XVI в.) приписывалось изобретение лесосплава плотами.

Стр. 29. *Шарле* Никола Туссен (1792—1845) — французский литограф и рисовальщик, известный изображениями солдатских типов.

Стр. 45. *Ментор и Телемак* — герои поэмы Гомера «Одиссея». Ментор — наставник Телемака, сына Одиссея.

Стр. 53. *Лафатер* Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, создатель псевдонаучной теории — физиогномики, устанавливающей якобы существующую связь характера с наружностью человека.

Стр. 89. *Революция была понята, как победа галла над франком.*— Французская историография начала XIX века считала, что дворянство — потомки франков-завоевателей, народ происходит от галлов, коренных французов.

Жакерия — от презрительного прозвища «Жак-Простак», данного дворянством французским крестьянам, крупнейшее антифеодальное крестьянское восстание во Франции XIV века, жестоко подавленное дворянством.

Стр. 91. *Когда Бургундский дом воевал с французским королевским домом* — то есть в XIV веке.

Стр. 92. *Фукье-Тенвиль* Антуан (1746—1795) — общественный обвинитель революционного трибунала в эпоху французской революции конца XVIII века.

Стр. 94. *Питт* Вильям-младший (1759—1806) — английский премьер-министр, ярый враг республиканской Франции и вдохновитель антифранцузской коалиции. *Кобург* — герцог Саксен-Кобургский — австрийский фельдмаршал, принимавший деятельное участие в борьбе европейских государств против французской революции.

...на манер Монгомери — французская поговорка, означающая такой дележ, при котором одному достается львиная доля добычи.

Стр. 96. *Поль-Луи Курье* (1772—1825) — французский публицист, автор памфлетов против Реставрации. Был убит своим слугой.

Стр. 99. *Филинт* — персонаж комедии Мольера «Мизантроп»; в противоположность другому герою пьесы, Альцесту, идет на компромисс со светским обществом. *Мировоззрение Филинта* — приспособленчество.

Стр. 100. *Луарская армия.*— В 1815 году, после разгрома наполеоновской армии при Ватерлоо, ее остатки отошли на Луару, где были распущены.

Герой Ста дней — Наполеон Бонапарт. «Сто дней» — второе, краткое правление Наполеона (с 20 марта по 22 июня 1815 года) после бегства его с о. Эльбы.

Стр. 116. *Дора* Клод (1734—1780)—французский поэт, представитель светской фривольной поэзии.

Стр. 126. *Ферроньерка* — лобная повязка с украшением посередине.

Стр. 129. *Беарнец* — прозвище короля Генриха IV (1553—1610). Беарн — провинция в Южной Франции, где он родился.

Стр. 133. *«Конституционель»*—умеренно-либеральная антиклерикальная газета.

Аббат Грегуар Анри (1750—1831)—деятель французской революции 1789 года, член Конвента. В период Реставрации принадлежал к либеральной оппозиции.

Франсуа Келлер — банкир, действующее лицо ряда произведений Бальзака.

Стр. 138. *Вольтижеры* — отряды особой французской легкой пехоты.

Стр. 142. *Гверильясы* — испанские партизаны, боровшиеся с наполеоновскими оккупантами в 1808—1813 годах.

Стр. 151. *Суд... сменяемый и несменяемый.*— В описываемый Бальзаком период несменяемыми судьями были во Франции лица, назначенные королевским указом.

Стр. 152. *Большая избирательная коллегия.*— Законом 1820 года во Франции были утверждены две избирательные коллегии по выборам в Палату депутатов. Коллегия округа именовалась Малой коллегией, а коллегия департамента — Большой.

Стр. 176. *«Оаристис»* («Дружеская беседа») — идиллия, которая приписывается древнегреческому поэту Феокриту (III в. до н. э.). В ней говорится о любовном объяснении погонщика быков с пастушкой. Название главы дано Бальзаком иронически.

Стр. 194. *Национальное имущество* — во время революции 1789—1794 годов земельные владения монастырей и поместья дво-

рян-эмигрантов были объявлены национальным имуществом, которое продавалось с торгов.

Стр. 195. *«Крестьянин с Дуная»* — басня Лафонтена, герой которой, исполненный мужества и преданности своему народу, обличает насилия, творимые римскими чиновниками над германскими племенами.

«Мститель» — французский военный корабль, потопленный английским флотом в Ламанше в 1794 году. Экипаж корабля предпочел погибнуть, но не сдаться неприятелю.

Стр. 217. *Сарбакан* — длинная трубка для выдувания стекла, разведения огня и т. п.

Стр. 218. *Френология* — псевдонаучная теория австрийского врача-анатома Галля (1758—1828), согласно которой по строению черепа можно якобы установить характер и способности человека.

Гелиогабал — римский император (218—222), известный своей жестокостью и развратом.

Стр. 219. *Телемит* — член идеальной телемской обители из романа Франсуа Рабле (1494—1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль». Девизом обители было: «Делай, что хочешь».

Стр. 238. *Суд Мраморного стола.*— В XVIII веке смотрители вод и лесов пользовались правом суда на своих участках. Апелляционный суд по вынесенным ими приговорам заседал в Париже, в здании судебных установлений, за мраморным столом, отчего и пошло название суда.

Стр. 239. *Алкиды* — потомки мифологического героя древних греков Персея и его сына Алкея. К ним принадлежал и Геракл.

Стр. 243. *Пирон* Алексис (1689—1773) — французский поэт, писавший комедии, сатиры и пародии.

Люс де Лансиваль (1764—1810) — французский писатель, автор трагедии «Гектор». *Парни* Эварист (1753—1814) — один из наиболее талантливых представителей легкой, преимущественно эротической французской поэзии XVIII века. *Сен-Ламбер* Жан-Франсуа (1716—1803) — французский поэт, автор поэмы «Времена года». *Руше* Жан-Антуан (1745—1794) — французский поэт, казненный во время революции. *Виже* Луи (1768—1820) — французский поэт, воспевавший Наполеона, а после Реставрации — Бурбонов. *Андрие* Франсуа (1759—1833) — французский писатель, получивший за свои комедии и сказки в стихах прозвище «последний классик». *Бершу* Жозеф (1765—1839) — автор дидактической поэмы «Гастрономия».

Делиль Жак, аббат (1738—1813) — французский поэт, переводчик произведений Вергилия и Мильтона.

Стр. 244. *«Налой»* — героико-комическая поэма Буало, написанная в 1674 году.

Паламед — один из греческих мифологических героев Троянской войны. В «Илиаде» ему приписывается изобретение весов, диска и различных игр.

Стр. 245. *Рея и Сатурн* — древнейшие верховные божества греческой и римской мифологии. К царствованию Сатурна древние относили «золотой век» — легендарную эпоху изобилия и мира на земле.

Стр. 246. *...в Бургундии есть еще один поэт.*— Имеется в виду представитель реакционного романтизма поэт Ламартин, родившийся в бургундском городе Маконе в 1790 году.

Стр. 250. *Нури* Адольф (1802—1839) — французский оперный певец.

Стр. 253. *Милон Кротонский* (VI в. до н. э.) — греческий атлет.

Стр. 271. *«Павел и Виргиния»* — роман-идиллия французского писателя Бернардена де Сен-Пьер (1737—1814), пользовавшийся большой популярностью в конце XVIII — начале XIX века.

Стр. 272. *...благоговейное отношение к сахару, которое господствовало в годы Империи.*— Вследствие морской блокады, организованной англичанами, во Франции в период Империи привозные продукты, в частности сахар, стали дефицитными и чрезвычайно возросли в цене.

Стр. 273. *«Султанка»* — дамский головной убор; «ангел» — фасон дамских рукавов, очень широких, доходящих только до локтя.

Стр. 281. *Агарь* — библейский персонаж, рабыня и наложница патриарха Авраама.

Стр. 333. *Черная банда* — так назывались в период Реставрации скупщики родовых аристократических замков, предназначенных на снос.

ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА

Первое издание романа в двух книгах с предисловием автора вышло в Париже в августе 1831 года.

Отдельные отрывки из «Шагреневой кожи» Бальзак публиковал в периодических изданиях еще до выхода романа в свет.

В декабре 1830 года в журнале «Карикатура» был напечатан вариант сцены в игорном доме (начало романа) под названием «Последний наполеондор». В 1831 году в майском номере «Ревю де

Де Монд» появился отрывок «Кутеж» (сцена оргии в доме Тайфера из первой части «Шагреневой кожи»). 27 мая 1831 года в «Ревю де Пари» был опубликован еще один отрывок из романа, под названием «Самоубийство поэта». При жизни Бальзака «Шагреневая кожа» издавалась семь раз.

В 1845 году «Шагреневая кожа» была включена автором в XIV том первого издания «Человеческой комедии» («Философские этюды»).

Замысел «Шагреневой кожи» складывался у Бальзака постепенно. Его можно проследить по записям в рабочем дневнике писателя. Самая ранняя из них гласит следующее:

«Изобретение кожи, олицетворяющей собой жизнь. Восточная сказка». Вторая запись: «Для философских сказок. Во-первых, шагреневая кожа. Чистое и простое выражение человеческой жизни, поскольку она жизнь и поскольку она механизм. Точная формула человеческой машины. Словом, описывается индивидуум, и о нем высказывается суждение, но описывается жизненно, не отвлеченно». Затем Бальзак определил философскую основу произведения следующим образом: «Она (философская сказка) останется формулой нашего теперешнего века, нашей жизни, нашего эгоизма».

Своему произведению Бальзак дал своеобразный графический эпиграф — черную горизонтальную волнистую линию. Этот эпиграф взят из романа английского писателя XVIII века Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена». Такого рода волнистую линию (только вертикальную) чертит концом своей палки один из персонажей стерновского романа, капрал Трим, высказывая свое суждение о человеческой жизни.

В первой рецензии на «Шагреневую кожу», появившейся в журнале «Карикатура» за подписью Александра Б., эпиграф объясняется следующим образом: «В романе жизнь человеческая передана как драма, которая змеится, колышется, извивается, причем изгибам ее надо отдаться, о чем упоминает остроумный эпиграф книги».

По своему жанру «Шагреневая кожа» относится к философским романам Бальзака; она возглавляет собой целую серию его философских произведений: романов, повестей и рассказов. Современный Бальзаку критик Ф. Шаль справедливо указывал, что писатель открыл в «Шагреневой коже» «фантастику нового времени». Действительно, рисуя судьбу молодого поэта, Бальзак раскрывает иррациональность самой буржуазной действительности, обнаруживает причудливость и жестокость игры страстей, элемент ужас-

ного, трагического, таящийся под оболочкой обыденности. Бальзаковская фантастика глубоко реалистична.

В «Шагреневой коже» Бальзак приблизился к раскрытию одного из существенных противоречий буржуазного общества: он показал несовместимость труда и наслаждения. Унылая «действительность нищеты» и неутоленных желаний становится уделом массы тружеников, в то время как на другом полюсе общества царит бешеная погоня за наслаждениями, разгул страстей, разрушающих человеческую личность.

Шагреневая кожа выступает в романе как символ роковой обреченности личности на пути утоления эгоистических желаний и страстей. «Желать — сжигает нас, а мочь — разрушает»,— говорит Рафаэлю старый антиквар. И отказ от страстей и желаний и бешеная погоня за ними оказываются одинаково пагубными для человека.

Рисуя жизненный путь Рафаэля, бедного поэта, мечтающего создать великие творения, которые покорят Париж, Бальзак в некоторой степени обращается к воспоминаниям своей юности. Здесь нашли отражение его воспоминания о годах в мансарде на улице Ледигьер, о смелых планах, неустанном труде и полуголодном существовании.

Многие проблемы и темы, затронутые в «Шагреневой коже», получили дальнейшее развитие в последующих романах Бальзака. Так, к теме судьбы поэта Бальзак обращается также и в романах «Утраченные иллюзии» и «Блеск и нищета куртизанок». Решающую роль в судьбе Рафаэля играет его приятель, светский жуир Растиньяк с его циничесной философией паразитизма и эгоизма. В дальнейшем Растиньяк становится одним из центральных персонажей «Человеческой комедии», выступая в романе «Отец Горио», в рассказе «Комедианты неведомо для себя», в романе «Блеск и нищета куртизанок» и в целом ряде других произведений Бальзака. В «Шагреневой коже», в сцене оргии, появляется еще один из основных персонажей «Человеческой комедии», банкир Тайфер, «утопающий в золоте убийца» (см. «Красная гостиница», «Отец Горио»).

В приемах типизации. применяемых в «Шагреневой коже», ясно выступают основные черты бальзаковского художественного метода, которые получили полное развитие в более поздних произведениях «Человеческой комедии»: сочетание большого обобщения, достигаемого путем гиперболы, сгущения красок, заострения образа, с искусством индивидуализации, с мастерством выразительной бытовой детали.

Стр. 337. *Савари* Феликс — французский астроном и математик, друг Бальзака.

Стр. 338. *Гуасакоалько* — река в Мексике; на берегу ее во время Реставрации (1814—1830) находилась колония французских ссыльных.

Дарсе Жан (1725—1801) — французский химик, разработавший способ извлечения из костей желатина для использования его как дешевого продукта питания в благотворительных учреждениях.

Стр. 339. *«Трант э карант»* (тридцать и сорок) — число очков в одноименной карточной игре.

Стр. 347. *Савояр* (савоец) — уроженец Савойи, департамента в Южной Франции.

Стр. 349. *Калибан* — фантастический персонаж из драмы Шекспира «Буря», получеловек-получудовище, «дух земли».

Стр. 350. *Сезострис* — греческое имя легендарного героя Египта, которого легенда отождествляла с фараоном Рамзесом II (XIII в. до н. э.).

Стр. 352. *Писарро* Франциско (1475—1541) — испанский завоеватель Перу; с неслыханной жестокостью проводил колонизацию захваченных земель.

Стр. 353. *Музей Руйша.*— Руйш, голландский ученый-анатом, создал большую анатомическую коллекцию, которая в 1717 году была куплена Петром I и отправлена в Петербург (Кунсткамера).

Лара — герой одноименной поэмы Байрона, тип гордого, властного человека.

Стр. 354. *Вотивные щиты* — щиты, которые древние римляне вешали в храмах в честь победы, одержанной над врагами.

Стр. 356. *...бессмертный наш естествоиспытатель...*— то есть французский естествоиспытатель Жорж Кювье (1769—1832), который путем сравнительно-анатомического метода восстанавливал ископаемые организмы по отдельным костям, найденным при раскопках.

Кадм — легендарный основатель древнегреческого города Фивы; согласно мифу, первые жители этого города выросли из зубов дракона, посеянных Кадмом.

Стр. 357. *Курульное кресло* — кресло, на котором восседали при исполнении своих обязанностей высшие римские магистраты: консулы, преторы и т. д.

Стр. 360. *...бог французского неверия...*— то есть французский писатель, философ-просветитель Вольтер (1694—1778), который

вел постоянную борьбу с религиозным мракобесием и изуверством церковников.

Гей-Люссак Жозеф-Луи (1778—1850) — французский физик и химик; законы, открытые им, имели большое значение для прогресса этих наук, для развития материалистического миропонимания. *Араго* Доминик Франсуа (1786—1853) — физик, совершивший ряд важных открытий в области астрономии, оптики, электромагнетизма, метеорологии и т. д.

Стр. 366. *Я видел распутный двор регента.*—Имеется в виду двор Филиппа Орлеанского, бывшего регентом (с 1715 по 1723 г.) в годы несовершеннолетия Людовика XV.

Стр. 369. *Сведенборг* Эммануэль (1688—1772)— шведский реакционный писатель, автор ряда религиозно-мистических произведений.

Стр. 371. *Леонарда* — кухарка, персонаж романа французского писателя Лесажа (1668—1747) «Похождения Жиль Блаза из Сантильяны».

Стр. 372. *...бюджет переехал... из Сен-Жерменского предместья на Шоссе д'Антен...* — то есть бюджетом теперь распоряжается не аристократия, а буржуазия (Сен-Жерменское предместье — аристократический квартал в Париже; Шоссе д'Антен — улица, где жили преимущественно представители крупной буржуазии).

Король-гражданин — прозвище, данное королю Луи-Филиппу кругами французской буржуазии.

Стр. 373. *Криспин* — тип пронырливого, хитрого слуги в старых итальянских комедиях, в комедиях Реньяра и Лесажа.

Стр. 374. *«Красный корсар»* — роман американского писателя Ф. Купера, вышедший в 1828 году.

Ботани-бэй (Ботаническая бухта) — бухта в Австралии; на ее берегах английское правительство в 1787 году основало колонию для ссыльных.

Стр. 375. *«De viris illustribus»* («О знаменитых мужах» — лат.) — жизнеописание великих людей древности, составленное римским историком Корнелием Непотом (I в. до н. э.).

Мэтр Алькофрибас — псевдоним Франсуа Рабле, французского писателя-сатирика XVI века, автора романа «Гаргантюа и Пантагрюэль».

Стр. 377. *...разбавлять атмосферу беседы азотом...* — то есть делать беседу вялой, скучной (азот — название химического элемента, по-гречески значит «безжизненный»).

...ложь Людовика XVIII; единение и забвение...— лозунг, провозглашенный Людовиком XVIII в начале его царство-

вания (единение всей французской нации и забвение внутренних разногласий), на деле оказался ложью, так как с первых же дней Реставрации противники Бурбонов стали подвергаться жестоким преследованиям.

Стр. 381. *Боссюэ* Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ, автор ряда исторических и богословских сочинений.

Балланшист — последователь французского публициста, философа-мистика Балланша (1776—1847), видевшего путь к прогрессу в осуществлении религиозно-мистических христианских идеалов.

Стр. 385. *Карлист* — приверженец французского короля Карла X, низвергнутого буржуазной революцией 1830 года.

Стр. 387. *Лафайет* Мари-Жозеф (1757—1834) — французский политический деятель, снискавший популярность как участник освободительной войны американского народа; в 1789 году был избран в Генеральные штаты, но в дальнейшем, напуганный активностью народных масс, сблизился с контрреволюционными кругами и 17 июля 1791 года руководил расстрелом народной демонстрации. В 1830 году способствовал возведению на престол Луи-Филиппа.

Стр. 388. *«История короля богемского и семи его замков»* — произведение французского писателя-романтика первой половины XIX века Шарля Нодье.

Стр. 389. *...изображая «Ревю де Де Монд»...* — редактор журнала «Ревю де Де Монд» Бюлоз был кривоглаз.

Стр. 390. *Биша* Франсуа (1771—1802) — французский ученый, врач-физиолог.

Стр. 393. *Оссиан* — легендарный шотландский певец; под его именем поэт Макферсон издал в 1762 году сборник своих эпических поэм-песен.

Стр. 395. *Каррaччи* Аннибал (1560—1609) — итальянский художник.

Стр. 396. *«Спасенная Венеция»* — трагедия английского драматурга Томаса Отвея (1652—1685).

Ларошельские смельчаки — Бори, Губен, Помье и Рау — четыре сержанта, служившие в Ла-Рошели; в 1822 году были казнены как участники революционного заговора.

Стр. 400. *Пандемониум Мильтона* — обиталище духов зла—демонов в поэме английского поэта Мильтона (1608—1674) «Потерянный рай».

Стр. 402. *Каримари, Каримара!*—восклицание Рабле (см. «Гаргантюа и Пантагрюэль», книга I, гл. 17).

Пиррон — древнегреческий философ-скептик (ок. 360—270 гг. до н. э.).

Буриданов осел.— Буридан, французский ученый-схоласт XIV века, доказывая невозможность свободы воли, будто бы приводил в пример осла, умершего с голоду между двумя мерами овса равной величины, одинаково привлекавшими его. Образ этот стал нарицательным для обозначения нерешительного, колеблющегося человека.

Стр. 403. *Дамьен* Робер-Франсуа — в 1757 году был четвертован за покушение на Людовика XV. По рассказам очевидцев, во время казни сдерживал четырех коней до тех пор, пока палачи не перерезали ему сухожилия на руках и ногах.

Стр. 410. *Виллель* — председатель совета министров во Франции в 20-х годах XIX века, ставленник ультрароялистов.

Стр. 414. *Марселина* — мать Фигаро, персонаж из комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

Стр. 418. *Мост Искусств* — предназначался для пешеходов, за переход по нему платили одно су.

Стр. 421. *«Свинцовые камеры»* — тюремные камеры под крышей Дворца дожей в Венеции; стены их были обиты свинцом, чтобы заключенные мучились от жары.

Стр. 424. *Диогенствовал* — то есть вел образ жизни по примеру древнегреческого философа Диогена (ок. 404—323 гг. до н. э.), который, согласно преданиям, отказался от всех земных благ и жил в бочке, довольствуясь лишь самым необходимым для поддержания существования. Диоген утверждал, что такой образ жизни будто бы способствует ясности ума и спокойствию духа, необходимым для мыслителя.

Стр. 425. *Ариэль* — фантастический персонаж из драмы Шекспира «Буря», дух воздуха.

Сен-Дени — школа для дочерей кавалеров ордена Почетного легиона, учрежденная Наполеоном I в пригороде Парижа Сен-Дени.

Стр. 426. *Новый Пигмалион.*— Пигмалион, по древнегреческим мифам,— скульптор, полюбивший прекрасную статую, изваянную им; боги, вняв его мольбам, вдохнули жизнь в эту статую.

Стр. 438. *Лозен* — придворный Людовика XIV, светский развратник, прославившийся своими похождениями.

...в таких галстуках, при виде которых может лопнуть от зависти вся Кроатия...— игра слов: французское слово cravate (галстук) считается происходящим от слова croat (хорватский). В форму хорватской армии входили чрезвычайно пышные галстуки, мода на которые перешла во Францию.

Стр. 439. *Письма Лекомба* — любовные письма Марии Лекомба, героини нашумевшего уголовного процесса в XVIII веке.

...читая «Клариссу Гарлоу», сочувствовать рычаниям Ловласа.— «Кларисса, или История молодой леди» — роман английского писателя Ричардсона (1689—1761). *Ловлас* — персонаж из этого романа, соблазнитель Клариссы.

Стр. 442. *Арсиноя* — персонаж из комедии Мольера «Мизантроп», тип лицемерной кокетки. *Араминта* — персонаж из комедии английского драматурга В. Конгрива (1670—1729) «Старый холостяк».

Стр. 452. *Дело с ожерельем.*— Имеется в виду нашумевшее скандальное дело о покупке ожерелья королевой Марией-Антуанеттой, в котором были замешаны многие видные французские государственные деятели, представители знати, духовенства и проч.

Стр. 454. *Жан-Поль* Рихтер (1763—1825) — немецкий писатель-романтик.

Стр. 482. *Герцог Кларенс* — брат английского короля Эдуарда IV (XV в.), приговоренный к смертной казни, по преданию, получил право выбора способа казни и просил утопить его в бочке с вином.

Стр. 489. *...геркулесова чаша... избавила вселенную от Александра.*— Согласно преданию, причиной смерти Александра Македонского послужила выпитая им на пиру колоссальная чаша вина.

Стр. 490. *Евсевий Сальверт* — автор книги «Философский и исторический опыт об именах людей, народов и географических названиях» (1823).

Стр. 491. *Баремова мораль.*— Бертран Барем (XVII в.) составил справочник по счетоводству. В данном случае слово «Баремова» употребляется в смысле мелочно-расчетливая.

Стр. 503. *Ролен* Шарль (1661—1741) — французский историк и педагог.

Стр. 513. *...сопротивление возобладало над движением...*— Имеется в виду борьба двух французских буржуазных партий после 1830 года: «партии движения», настаивавшей на либеральных реформах, и консервативной «партии сопротивления», вполне удовлетворенной политикой своего ставленника Луи-Филиппа.

Стр. 527. *Андуйлетская аббатиса* — действующее лицо романа английского писателя Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена», произнося ругательства, она выговаривала лишь половину слова, чтобы «уменьшить грех».

Стр. 529. *Вестолл* Ричард (1765—1836) — английский художник, иллюстратор Мильтона и Шекспира.

Проза императора Николая.— Имеется в виду воззвание Николая I к полякам после подавления восстания в Польше в 1830 году.

Стр. 551. *Орас Бьяншон* — врач, действующее лицо многих произведений «Человеческой комедии» Бальзака.

Стр. 558. *«Вот почему ваша дочь онемела»*—фраза из комедии Мольера «Лекарь поневоле».

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены сельской жизни

Крестьяне. *Перевод М. Линда* 5

ФИЛОСОФСКИЕ ЭТЮДЫ

Шагреневая кожа. *Перевод Б. Грифцова* 337
Примечания 592

БАЛЬЗАК

Собрание сочинений
в 24 томах. Том XVIII.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Иллюстрации художника
П. Н. Пинкисевича.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 6/IX 1960 г.
Тираж 349 000 экз. Изд. № 1602.
Зак. 2059. Бум. л. 9,5. Печ. л. 31,16 +
4 вкл. (0,41 п. л.). Уч.-изд. л. 33,4.

Ордена Ленина типография газеты
«Правда» имени И. В. Сталина.
Москва, улица «Правды», 24.